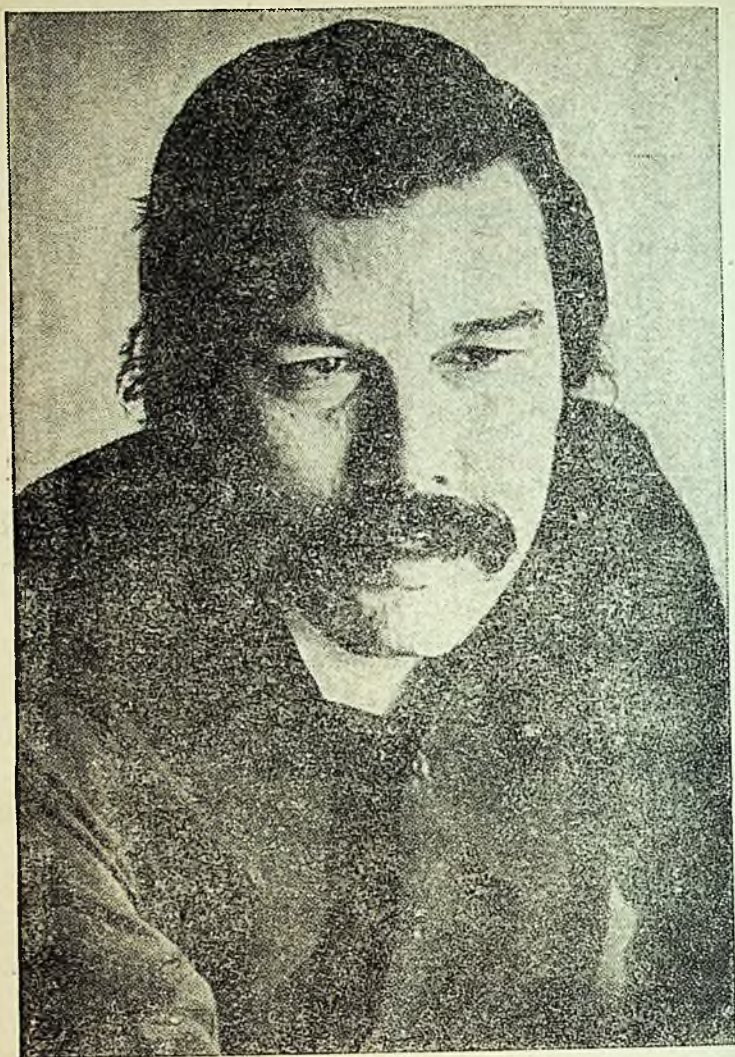


12
1180
227
Тимур Пулатов

Страсти бухарского дома





1788

Тимур Пулатов

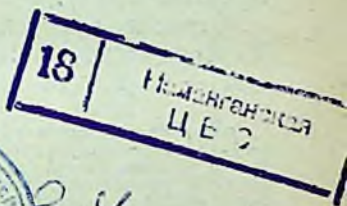
ло,
аз-
ся
а-
—

СТРАСТИ БУХАРСКОГО ДОМА

Роман - жизнеописание

МОРСКИЕ КОЧЕВНИКИ

Повесть



Ташкент
Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма
1987

Пулатов, Тимур.

Страсти бухарского дома: Роман-жизнеописание; Морские кочевники: Повесть; Яки серые, рыжие...: Рассказ;— Т.: Изд-во лит. и искусства, 1987—544 с.

Роман-жизнеописание «Страсти бухарского дома» — это маленькая трилогия о детстве, отрочестве и юности строптивого бухарца Душана Темурий, о трудном, порой драматическом становлении яркой, неповторимой личности, гражданина, который честен не только своими высокими помыслами, но и в своих делах и поступках.

В книгу входит и новая аллегорическая повесть «Морские кочевники», в которой автор осуждает мещанское безволие, соглашательство, страстно призывает к активной жизненной позиции.

P2

П $\frac{4702010200-42}{M 352(04)-87}$ 181-87

- © Издательство «Известия», 1982 г. («Завсегдатай» — «Яки серые, рыжие...»)
- © Издательство «Молодая гвардия», 1985 г. («Страсти бухарского дома»)
- © Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1987 г. («Морские кочевники», оформление, состав)

Страсти бухарского дома

КНИГА ПЕРВАЯ

ХОР МАЛЬЧИКОВ

ЛО,
аз-
ся
а-
Ч



I

Ему удалось теперь освоиться и со своим двором: правда, тянулось это дольше, чем с комнатой, где он родился, и с люлькой, где он рос.

Двор он видел еще из люльки: вечером отодвигались плавно и бесшумно шторы, словно боялись вспугнуть прохладу, что с верхушек деревьев опускалась на потрескавшиеся плиты, по которым уже бегал взад-вперед брат Амон. С раннего утра, к моменту его пробуждения, шторы эти, тяжелые и выгоревшие, закрывались, чтобы солнце не нагревало комнату, и на красной материи, на тех ее местах, что выгорели и выцвели, солнце застывало на весь долгий летний день желтыми пятнами, немного режущими глаза.

Но раз в месяц комната вдруг наполнялась светом, таким обильным, что все предметы вокруг теряли свои очертания,— это снимались шторы, двумя полосами красного вывешивались они потом во дворе, и он видел, как брат старательно выбивает из них пыль, густо осевшую между ворсинками бархата. А мать и бабушка уже вешали взамен другие шторы с желтыми пятнами на тех же местах, что и на снятых, потому что солнце всегда светило одинаково из-за высокой белой стены, что наглухо закрывала двор от улицы, из-за виноградника, чья правая сторона была оголена, из-за куста олеандра в кадке, посаженного так, чтобы закрывать окно, но поредевшего и поникшего от жары...

Эта короткая перемена декорации, вызывавшая в нем чувство восторга новым — обильный свет и движение родных у окна — была столь редкой и быстро исчезающей, что не успевал он освоиться с этим новым и снова впадал в лень и терпеливое ожидание, отчего все существование казалось ему однообразным до бесконечности.

Чувство это усиливалось еще и от занавесок, которыми закрывалась полностью его люлька, когда он за-

сыпал, а когда просыпался и в комнате никого не было, кто бы почувствовал его пробуждение, он лежал и разглядывал эти занавески, и казалось ему, что комната вся сжалась, уменьшилась, и окно с резными ставнями застыло возле его взгляда — ведь занавески были сделаны из такого же красного бархата, что и шторы, может, даже из одного большого куска, купленного в день его рождения. И он чувствовал тогда, что задыхается, что ему тесно и нехорошо, — и так продолжалось до тех пор, пока мать или бабушка не отодвигали осторожно — а вдруг мальчик еще спит! — занавески и, удивленные его долготерпением — ведь он не закричал, не стал качать люльку, — не начинали с ним говорить, ощупывая его тело и постель, называя его по имени: Душан.

Он уже знал, что его так зовут — Душан, и всякий раз, когда произносилось его имя, понимал, что за этим последует ласка, одобрение или даже порицание, ибо имя было дано ему скорее как отношение к нему других, как нечто чужое, пришедшее извне, как шторы, прикрывающие его от солнца, или как люлька, в которой он спал и которая столь часто тяготила его.

Едва отодвигались занавески, как взгляд его сразу обращался на окно через комнату, и он, довольный, ощущал, что пространство расширилось и между его люлькой у правой стены и окном появилось место, где могут теперь ходить или же сидеть мать, бабушка, отец и брат, который всегда, как только открывали Душану лицо, вбегал на минуту в комнату со двора, где он все знал и где все принадлежало ему, корчил рожицы, смеялся, а потом снова убегал в зной.

А то, что там, во дворе, зной, Душан знал уже, хотя и выносили его люльку из комнаты только к вечеру, когда отец поливал из ведра плиты; с закатанными высоко штанами, босиком, он выплескивал ладонью воду, сосредоточенный и немного хмурый, словно не верил еще в приход успокоительной прохлады, и вода, едва касаясь тяжелыми каплями плит, сразу же испарялась, и серый пар окутывал отца с ног до головы, и казалось, что он летает, чуть поднявшись над землей, — картина эта всегда забавляла мальчика.

Амон подносил отцу полное ведро, брал пустое и убегал снова к колодцу, тут же, во дворе, морщась от пара, залетевшего ему в ноздри и рот. И Душан, видя все это из своей люльки, понимал, что борются они за что-то существенное, значимое, как боги, от которых зависит, быть

вечеру и сумеркам, а затем и ночи или же жаркий день должен длиться вечно.

Всплески пара, полетав над кустом олеандра и забрав с собой запахи цветов, проникали через открытое окно в комнату и, кружась над люлькой, теплили его лицо, покрывая его потом, и тогда он чувствовал силу зноя, уже ослабленного, уходящего.

Пока поливали двор, бабушка то и дело заходила в комнату — тяжелая, большая и шумная — и выглядывала в окно, помахивая веером.

— Ой, не могу больше жить, душно! — Из веера падали на ковер листки сандала с клювом зеленой птицы или лепестками лотоса, нарисованными на них.

— Смотри-ка, ни один лист не шевельнется на винограднике, умру я этой ночью, если не прилетит ветер, — говорила она, собирая снова свой веер, а он ждал, пока не сложится опять полностью картинка на сандале, чтобы полюбоваться хижинкой, возле которой растет лотос, и птицей, собирающей своим длинным клювом нектар из цветка, — знакомым пейзажем.

Часто бабушка, чтобы поразвлечь его, беспокойного и суетливого, давала ему поиграть этим веером, и картина на сандале, как застывший образ, как данность его игр, его существования, с каждым разом блекла перед его взором, теряя краски и былую привлекательность, и только запах пряностей, мускуса и индиго (бабушка прятала свой веер в медном музыкальном сундучке рядом с коробкой с пряностями) никогда не притуплялся и был свеж и остр по-прежнему.

Он уже понимал, что бабушка не одобряет работу отца во дворе, но, даже если отец пришлет ветер для ее успокоения и избавит ее от сегодняшней смерти, она все равно не успокоится, ибо что-то ей давно и постоянно не нравилось в отце.

Отец, кажется, уже не замечал ее неудовольствия, и она, видя это, отходила от окна, чтобы освободить Душана из люльки.

— Но ты... ты все равно из нашего рода, — говорила бабушка, целуя свою ладонь, а потом лаская этой сухой ладонью его лоб, — благородный, нежный мальчик, в тебе нет ничего от отца, он просто как укор, как вина, а ведь сказано, что из вины рождается святость... Ну, что ты смотришь на меня святыми глазами, утешь меня...

По длине ее речи он понимал, что она требует ответа, ибо он уже различал речь и песню, крик и молчание и знал, что и речь и молчание рожают ответ, и он что-то говорил в ответ, чувствуя, что то, как он говорит, совсем не похоже на их, взрослых, речь, зато слова эти его, а не приобретенные, и ими он мог выразить больше, нежели они заученными словами, словами, которые их всех делают похожими друг на друга и говорящими одно и то же...

Теперь, освобожденный от люльки, он лежал и отдышал на широкой кровати, где спала мать и где она родила его, а у нее приняли его на свет.

Рук бабушки, когда она брала его к себе, он не чувствовал, привык уже к тому беспокойству, которое передавалось ему от бабушки, зато длительно и постепенно ощущал он ритуал освобождения от люльки.

С люлькой этой в его сознание пришел самый первый и самый сильный запрет. Запрет телу поворачиваться, делать какие-либо движения, ползать — бабушка держит его так, чтобы лежал он на спине прямо и ровно, с вытянутыми руками и ногами, а мать завязывает его поясом, ноги — узким, а живот до самой груди вместе с руками — широким, и еще к щекам прикладываются две дощечки, обшитые все тем же постылым бархатом, чтобы голова не качалась из стороны в сторону вместе с движением люльки, затягиваются плотно занавески, он долго борется со сном, так грубо навязанным ему, люлька качается все быстрее, поскрипывая покатыми ножками, и головокружение, сначала легкое и даже приятное, но затем тягостное, непрерывное, приносит ему освобождение от мук — сон.

Первые минуты он еще пытается во сне как-то повернуть тело, и бабушка, чуть приоткрыв занавеску, шепчет матери:

— Уснул... Видит во сне, что летает...

И действительно, ему, заснувшему от укачивания, казалось, что он летает над самыми неожиданными, не виданными им никогда местами — над скалой или пустыней, и видел он все это во сне так же отчетливо, как его прадед-кочевник, — ведь достаточно было этому прадеду проехать на верблюде по пустыне, как ощущение его, как опыт, как зримое воспоминание, могло оказаться в сознании маленького правнука — так во сне перед глазами Душана проходила, возвращаясь снова и снова, история рода...

Тягостным было для него укладывание в люльку, когда он уже мог стоять на ногах и осваивать комнату. В младенчестве отсутствие навыков и тяжесть тела держали его большую часть дня на земле, кроме тех минут, когда его брали на руки мать или отец, тогда он еще как-то терпеливо переносил муки от привязанных поясов, теперь же, когда он уже пробовал ходить и когда само это хождение было восторженным моментом освобождения, его снова заставляли смириться с запретом. Ждали, видимо, когда он полностью вырастет из люльки, чтобы потом ночной мир его, полный странных сновидений, перенесся на детскую кровать.

Кроватка эта уже стояла за дверью, в смежной темной комнате, куда ему запрещалось заглядывать, — ее он видел лишь в моменты, когда открывалась быстро стеклянная дверь, наглухо занавешенная черной материей, кто-то входил туда за чем-то, неся лампу (электрический свет почему-то не был туда проведен, и это еще больше усиливало тайну комнаты), и он радовался, когда слабый свет лампы освещал ненадолго кроватку, и он мог бросить на нее нетерпеливый взгляд.

Ко времени, когда он уже научился ходить, робко и нетвердо, комната, где он родился, перестала быть привлекательной и желанной. Взгляд его уже ничего не выражал, кроме скуки, если смотрел он на потолок, сложенный из резного дерева, не ровный и гладкий, а из квадратных углублений, из середины которых свисали деревянные шары, каждый покрашенный в свой цвет, но больше голубого и красного, и цвета эти плавно переходили от шаров на потолок и перебегали друг другу путь, образуя сложный рисунок.

Странно, но краски эти были видны лишь в полумраке комнаты, когда была она днем закрыта шторами, ночью же, едва зажигали яркий свет, краски блекли и уже ничем себя не выражали, темнели и прятались. В них был какой-то загадочный состав, буйный и радующий днем и мягкий, успокаивающий ночью, и по цвету лотолка, как по часам, можно было свободно следить за течением времени.

А время шло, ускользало, почти не касаясь его своей плотностью, — лишь забирало его новый опыт и отпечатывало в себе: сон и пробуждение, еда, игра, плач и снова сон — так с момента его появления на свет оно стало уходить, его время, чтобы когда-нибудь, показав ему всю свою длину, а затем и хвост, уйти навсегда...

Но сейчас ему казалось, что время навсегда остановилось в той комнате, которую он познавал: неподвижность вещей вокруг, черная, округлая печь в углу, в которую совсем недавно провели газ, и всю прошлую зиму язычок пламени, выглядывающий из изогнутой трубки, как из рожка, так развлекал его; кровать матери, белая, поскрипывающая, едва она ляжет после дневных хлопот: «Слава богу, день, кажется, прошел, только бы он не просыпался, не просился ко мне...»; его люлька, которая, даже если ее выносили, всегда возвращалась на прежнее место и ставилась на войлочные ленты-подстилки, чтобы не сползла на твердый пол и не стучала резко при укачивании; шкаф возле входной двери, грузный, как будто вросший в стену, с неприятно скрипучей дверцей, с потемневшим от времени лаком, но с четырьмя веселыми, серыми рогами антилопы — хранительницы рода, — приделанными по углам, на них вешалась отцовская шляпа, полотенце или надувной шар, чуть-чуть колышущийся от невидимого сквозняка, да еще пучок засохшей травы бессмертника — вот все, к чему он привык сначала и что создавало для него неизменною и неподвижною ощущение застывшего навсегда времени.

Единственное, что еще интересовало его в комнате своей недоступностью и загадкой, — музыкальный сундучок, который тоже имел свое всегдашнее место — под кроватью матери.

Открывался сундучок очень редко, пятью или шестью поворотами большого ключа, и начиная с первого поворота мелодия, едва слышная, набирала силу, но на последнем повороте аккорд вдруг снова ослабевал, и в тот момент, когда раздавалось нечто вроде щелчка, крышка сундучка, отделанная серебром, поднималась сама, но внутренность свою показывала не полностью, а только часть, не закрытую еще одной крышкой.

На видимой части сундучка были вперемешку сложены самые разные предметы — еще одни бабушкины очки, коробка с пряностями, бумага и конфеты, и, хотя бумага и конфеты были и на столике в комнате, неспрятанные — до них можно было дотрагиваться, — эти, что лежали в сундучке, запретные, привлекали и будоражили воображение. Хотелось скорее освоиться и с сундучком — последней запретной вещью в комнате, — чтобы освободиться потом, закончить знакомство с этим замкнутым пространством и устремиться в смежную темную комнату или же во двор, ибо казалось ему, что в при-

выкании, узнавании есть своя очередность, установленная взрослыми по своему опыту, а пока что-то не познано, как этот сундучок, ему не разрешено насладиться новой свободой.

Но от сундучка его почему-то все время отгоняли, чаще всех его открывала бабушка, реже мать, а Амон и отец даже, кажется, и не брали в руки ключ, тот ключ, который стал для него загадкой свободы.

Ему было интересно следить, как же они, взрослые, относятся к этим застывшим на своих местах вещам, о которых они давно знают все. Да никак. Иногда, правда, они трогали их, смахивая тряпкой пыль, но чаще проходили мимо, равнодушные, как будто то волнение, с которым они знакомились раньше с каждой вещью, давно прошло у них и теперь эти вещи привлекали к себе только его, вначале для того, чтобы почувствовал он маленькую свободу, когда разрешали ему узнавать их поближе, а когда он узнавал, эти же вещи становились для него преградой для освоения нового.

Входная дверь и окна — вот что еще как-то вносило разнообразие в его существование. Два высоких окна, идущих от пола, покрытого ковром, до самого потолка, к подвесным шарам, они выходили прямо на ту часть двора, что поливали каждый вечер, брат бегал по мокрым плитам, а потом через окно прыгал к нему в комнату раньше, чем бабушка могла остановить его криком. Зимой они закрывались ставнями на ночь, чтобы было теплее в комнате, а по утрам ставни долго не могли сдвинуть — холмики снега, сдуваемые ветром, что силился проникнуть к спящим, прижимали их к окну, и все ждали, пока отец не разбросает снег деревянной лопатой; он слышал, как снег скрипит под ногами отца и как стучит лопата, будто звуки эти рождались вдалеке, не за стеной. Наконец ставни открывались, и брат, замороженный, смотрел на снег, помаргивая от яркого его света, и все рвался во двор...

Вот эти окна и входная дверь еще каждый раз предлагали новые картины, и уже само их движение было сигналом предстоящего разнообразия: через дверь приходили к нему родные, неся нежность, ласку или порицание и недовольство, чужие люди, гости, а их приход тоже означал какую-то перемену в общей атмосфере комнаты — долгое чаепитие, шепот, жалобы на жару и маханье веерами, — и все это имело для него какой-то тайный смысл, загадку, которую так и хотелось поскорее

разгадать, ибо откуда ему было знать тогда, что порой разумный запрет, который хочется нарушить, все же полезнее разгадки, нетерпеливого освобождения от незнания,— все живое и неживое нуждается в защитной дымке, в покрове некой иллюзии, какой была окружена сейчас темная смежная комната или же музыкальный сундучок.

Зато все, к чему он теперь прикасался, что рассматривал в мельчайших подробностях, как, например, печка с газовым рожком, не внушало ему страха, страшным было то, чего он никогда не видел, но о существовании которого догадывался из слов взрослых. Правда, в темноте его иногда снова, как прежде, пугал шкаф, когда он вдруг скрипел от проезжающей по узкой улице машины, от усилия которой дрожала земля, и дрожь эта через стены и двор доходила и сюда, в комнату. Казалось, шкаф, мертвый и неподвижный, ожил, и это его неизвестное и невообразимое качество одушевляться тайно и пугало.

Но он говорил себе: «Это шкаф», и едва он произносил это слово, как сразу успокаивался, ибо видел и знал, как с ним обращаются взрослые, как хлопают они его дверцей, а он молчит и, даже когда покрывается пылью, стоит старый, жалкий и безответный. Он уже различал предметы по их названиям и по словам, которыми их обозначают, и чувствовал, что одни слова успокаивают, едва стоит произнести их, другие пугают, а третьи и вовсе окружены тайной — и слова эти и есть лицо и сущность вещей.

Правда, он уже тогда понимал, что для взрослых слова звучат по-иному. Часто прислушивался он к тому, как одну и ту же вещь или одного и того же человека, скажем, его самого, по-разному называли бабушка, говорящая по-таджикски, и отец, когда беседовал он с дедушкой из деревни по-узбекски,— думал, что стоит, наверное, о чем-то сказать по-таджикски, как оно тут же напугает, смутит: «ушиб, боль, смерть», а если по-узбекски — успокоит, порадует, и наоборот: «снег, свет, игра», сказанные по-узбекски, разозлят, а по-таджикски — вызовут восторг.

Отец и дедушка всегда говорили в его присутствии шепотом, по-узбекски медленно растягивая слова, словно вовсе не хотели произносить их, какне-то удрученные и подавленные, но вот они кончали говорить между собой и вспоминали о нем, обращаясь ласково по-таджик-

ски, целовали его, смеялись, и был он уверен, что говорили они неслышно лишь для того, чтобы не пугать его, а сейчас переводят для него весь разговор, не утаивая ни одного слова.

Впрочем, были и слова, которые произносились на обоих этих языках одинаково, с общим смыслом — «мама, папа, брат, бабушка» и его имя — Душан, все, что было для него особенно близким, пожалуй, самым близким из всех остальных слов, но их было мало, и вот они-то и были окружены тайной. Почему их произносят одинаково? Не потому ли, что они никогда не имеют другого смысла, кроме хорошего, и поэтому не раздваиваются, чтобы одних пугать, а других успокаивать? И почему их так мало? Не потому ли, что все страшное и таинственное существует не само по себе в отдельности, а живет в словах, стоит их только произнести, как страшное появляется, а молчи и не называй — страшного нет и не было.

Может быть, поэтому, когда сверстники его уже разговаривали, он все еще молчал и изредка, по просьбе, произносил те несколько общих для обоих языков слов — мама, папа, брат, бабушка и Душан, уверенный, что поймут его правильно и папа, говорящий часто по-узбекски, не обидится, не испугается, будет доволен.

— Ну, что с ним делать? — спрашивала мать. — Нет, все! Пора показывать его доктору!

— Но ведь ты сама доктор, должна понимать: ребенок начинает говорить, когда ему захочется. И вообще, все это оттого, что мы всегда говорим громко в его комнате, — убеждала ее бабушка. — А потом, этот узбекский... Мальчик совсем растерялся, в голове у него все перепуталось. Его материнский — таджикский, он должен слышать только этот язык...

— Он смысленный и веселый. И не болеет часто, — успокаивала себя мать, и разговор их на этом кончался.

Отец, тоже врач, был более терпелив и сдержан.

— Я знаю, что он не глухонемой ребенок... и надо ждать... Впрочем, — обращал он иронический взгляд в сторону бабушки, — узбекский ему тоже не мешает знать...

— Но ведь сначала один язык, а потом, пожалуйста, другой, — раздраженно отвечала бабушка, затем наклонялась к Душану (сейчас он уже сидел во дворе на коврике), давая понять, что более всего ему нужно теперь знать то, что она будет рассказывать, — бесконечно

болтливую и назидательную историю, которую из вечера к вечеру, едва повеет прохладой, ведет мудрый Попугай, такой же безъязыкий, как и Душан, но благодаря этому, вернее, наперекор этому, ставший вдруг без меры болтливым... Сказки Попугая — самые первые сказки, которые он услышал, но вместо удивления и наслаждения они утомляли его своей нескончаемостью, и он тревожился в душе, что и сам, как этот Попугай, научившись наконец разговаривать, станет говорить безудержно и одни глупости, ибо назидательность Попугая казалась ему не чем другим, как глупостью, — ведь он в этой назидательности ничего еще не понимал. И он еще больше боялся того времени, когда у него освободится язык для речи...

Но в один из вечеров, когда бабушка заставляла его слушать (ей казалось, что говорит она благородным литературным языком и что это будет для внука хорошей школой), а он все пытался встать и походить по двору, пришла робко соседка и обратилась за чем-то к бабушке, назвав ее «тутамулло»*, и бабушка встала с улыбкой, чтобы принять гостью. А он, пока женщины разговаривали, все думал, почему же так называли бабушку и она ничуть не обиделась, наоборот... Значит, она и есть тот самый ученый Попугай, который рассказывает свои истории, а он... он может смело начать говорить и никогда не станет болтливым...

Эта догадка так обрадовала его, принесла такое облегчение, уняла страх, что, возможно, и заставила его наконец заговорить, и первое, что он сказал внятно, было обращение к бабушке:

— Ты тути**, — лукавое и непосредственное.

Бабушка от удивления и восторга ничего вначале не поняла и стала поправлять его нетерпеливо и властно:

— Тута... скажи: тутажон. — Но вот ее осенило, она рассердилась, потом засмеялась над милой игрой слов, позвала мать, чтобы этими первыми словами внукашний раз подчеркнуть свою правоту; мать прибежала, радостная и испуганная: вот видишь, к какой неразберихе приводит, когда в доме говорят на двух языках, называют ее попугаем, но затем бабушка смирилась, ибо мать смеялась и целовала его.

* Тутамулло — так бухарские таджики обращаются к старой почтенной женщине, чтобы подчеркнуть ее ученость.

** Тути — попугай.

— Ладно, называй меня как хочешь, только не молчи,— разрешила ему бабушка от доброты душевной, и день этот был для него еще одним освобождением — ему не запрещалось теперь самому ходить по двору.

Двор он уже успел рассмотреть, когда в редкие часы после вечерней прохлады его выносили сюда и сажали на старую кровать, стоящую на политых плитках.

Кровать эта стояла тут всегда, в любую минуту; когда отодвигали шторы на окнах, он видел ее возле кадки с олеандром. Днем она нагревалась и поскрипывала ржавыми пружинами на солнце, вечером медленно остывала, на нее лил дождь, и снег, прежде чем покрыть остальную часть двора — закопанные в теплую землю кусты винограда, кусты роз, навес, из-под которого, раскачиваясь сами собой, хватали снег на лету качели брата,— засыпал эту кровать, и она казалась вечной мученицей.

В самом деле, почему никто не покрывает ее в холода старым ковриком, кровать, где, по рассказам бабушки, родился, рос, состарился и умер его дед. А ведь он любил говорить во сне — может, он делился чем-то с кроватью, которая видела, как он родился; бабушке же просто казалось, что это он сам с собой, сонный...

И вот когда его заставляли по вечерам сидеть на этой кровати, он напряженно внимал, желая услышать от кровати какую-нибудь тайну деда. Дед умер раньше, чем он родился, и поэтому должен же он что-то сообщить внуку важное, настолько важное, что не мог он передать это через бабушку, которая тоже смертна, или через маму, а нашептывал кровати, что стоит тут, во дворе, всегда.

И тогда он особенно трогательно относился к своей люльке, просил, когда его отвязывали, а люльку оставляли пустой, чтобы накрывали ее заботливо занавесками, не то она рассердится и выдаст какую-нибудь его тайну, скажем, недовольство бабушкой или мамой, когда они долго держат его привязанным, или его зависть к брату за то, что ему разрешалось бегать по двору и залезать на крышу,— пусть все думают, что он усвоил уроки бабушки — она наказывала ему быть терпеливым, независтливым, незлобивым и нежадным до еды.

Рядом с кроватью во дворе стоял в кадке куст олеандра, всегда зеленый и пыльный,— пчелы, что садились и рылись в его розовых цветах, улетаая, всегда отря-

живали крылышки, и над кроватью долго летало розовое облачко пыли.

Этот куст, старый и тоже бессмертный, единственный, кто всегда закрывал кровать своими редкими ветвями с узкими, твердыми листьями — на них день и ночь блестели капли влаги. Куст уже не пил и не ел, пресыщенный, но продолжал цвести из одного лишь чувства долга, и в этом ему помогало воспоминание, что жило внутри его стеблей коричневыми кольцами.

Каждую весну, когда кадку выносили из комнаты, где цветы зимовали, во двор, отец подрезал нижние сухие ветки, уже забывшие свои воспоминания, и принес Душану, чтобы он разглядывал их и обнюхивал. Казалось Душану, что и олеандр много знает, все слышит и запоминает и что куст, как и люлька, если не оказывать ему знаков внимания и любви, тоже может выдать взрослым его нехорошие мысли, — все, что появилось в этом доме до него, имело между собой тайный сговор, очень давний и прочный, все следили за ним, чтобы он был добрый, и едва стоило ему хотя бы в мыслях сделаться ненадолго злым, как все вокруг передавало друг другу эти его мысли, чтобы осудить. Вот поэтому-то, когда отец приносил ему срезанные ветки олеандра, он смотрел на куст за окном и делал вид, что его вынуждают играть этими ветками, сам он ни в чем не виноват, а раз между олеандром и отцом есть сговор и куст разрешил себя срезать, то он здесь ни при чем и даже не догадывается о существовании сговора, ибо казалось, что стоит ему дать понять, что он знает об их тайне, как будет наказан.

И когда он сидел на кровати вечером и голова его тяжелела от запахов распустившегося олеандра, было ему дурно от тоскливого, старческого запаха цветов, которые почему-то вечером, в прохладу, одурманивали особенно сильно, он молчал и терпел, стараясь ничем не выдать своего неудовольствия.

С двором у взрослых тоже был какой-то сговор. Днем, в жару, двор, наверное, не разрешал им выходить из комнат, а если и позволял, то лишь на короткое время, чтобы взрослые пробегали быстро к воротам на улицу или же на кухню; двор, видно, потешался над чем-то, поэтому, когда бабушка выходила из гостиной и бежала в комнату, где Душан спал, она всегда закрывала ладонью или веером глаза, чтобы не видеть, как двор хмурится.

Окруженный с четырех сторон высокими стенами, глухими, без окон на улицу, двор стоял весь день наполненный густой жарой, молчаливый, ибо редкий звук из улицы мог полететь так высоко, чтобы, обогнув стены, спуститься вовнутрь двора и прозвенеть на солнце.

Два воробья, один весь черный, ленивый, почти никогда не прыгающий, как второй, с желтым пятном на боку, да чья-то длинная худая кошка с рассеченным правым ухом, всегда хмурая и осторожная,— вот, пожалуй, все, кому двор разрешал прогуливаться днем по палисаднику и заглядывать в окна. И больше никто днем не смел появляться во дворе, да никто и не осмеливался: стоит какой-нибудь уличной вороне, утомившись от зноя, попытаться сесть на крышу, как казалось ему, что зашумит недовольно олеандр, нашептывая донос двору, и двор, проснувшись от дремы, дохнет на ворону ветром,— у птицы мигем распустятся перья, и ее унесет куда-то.

Вечером, когда все выносилось во двор — коврик, одеяла, чайник, столик для ужина, со двором, видимо, начинался другой сговор — двор был теперь деликатным, простодушным, заботливым и разрешал отдыхать в своем лоне до глубокой ночи, а отцу и брату до самого рассвета — они спали во дворе. Тогда все расхваливали двор, а он, освещенный с четырех сторон фонарями, блаженствовал и смущенно молчал.

— Какое счастье — двор,— говорила бабушка, самая искусная лстыница,— если бы я не боялась ящериц, я бы спала тут в прохладе...

Одна и та же ящерица, желтая, с черными пятнами от головы до хвоста и ровной белой линией на спине, вылезала вечером из трещины на стене, и пробиралась под фонарь, и застывала там, глядя на мошкарку — твердый мохнатый клубок, что летал вокруг света, никогда не рассыпаясь.

Воробьи спрятались, и двор разрешил охотиться теперь ящерице.

Правда, часто возвращался во двор и тот дневной кот, чтобы обнюхать кувшин с маслом на кухне, потрогать лапами обглоданные кости в ведре, а потом брезгливо отряхнуться, посмотреть из темноты на мальчика, спрятав куда-то все тело и выставив вперед только два красных глаза, но отец, едва кот появлялся, вскакивал и размахивал руками, прогоняя его, а потом снова садился на коврик и оглядывал двор, как бы желая узнать, до-

волен ли двор своим неусыпным сторожем. И позволит ли он остаться здесь на ночь отцу, а на рассвете схватить в охапку одеяло и подушку и бежать в комнату досыпать, чтобы двор не осудил его за злоупотребление гостеприимством.

Между взрослыми и двором действительно был какой-то сговор, ибо стоило как-то отцу проспать до первых лучей солнца, как встал он. потом с опухшими щеками, совсем чужой человек, больной и тихий.

— Это отца теленок облизал,— объяснила ему бабушка, и он знал уже, что теленком она называет большого жука с коричневой спиной и плоским, как язык, рогом, прогуливающегося с рассвета по двору.

Да, конечно, двор наказал отца и бросил к нему в постель теленка за то, что тот проспал и нарушил договор.

Он чувствовал себя чужим и беззащитным во дворе, все остальные как-то сумели договориться жить мирно, а его двор не любит, ибо не знает он, как с двором найти общий язык, и не потому ли ему запрещали до сих пор ходить самому по двору и, чтобы двор не злился на него, люльку его закрывали занавеской, а комнату — шторами.

Вот поэтому-то он вел себя поначалу очень тихо и робко, старался не кричать и не плакать — словом, очень хотелось ему понравиться четырем стенам, верхней площадке, покрытой плитами, где взрослые сидели весь вечер за разговорами, двум боковым дорожкам, ведущим к нижней площадке, также ровной и гладкой, палисаднику, откуда лозы винограда, ползя по навесам, закрывали обе части двора, хотелось ему, чтобы и деревянная лестница, ведущая на самую высокую площадку, откуда совсем просто залезть на крышу, привыкла к нему, но эту часть двора он еще не видел, поэтому особенно не старался.

Нравилось ему, когда его умывали перед ужином, переодевали, причесывали, он ощущал тогда в себе уверенность, зная, что таким двор скорее примет его в свое общество. Похоже, что вначале двор сопротивлялся его вторжению в свое пространство — он часто спотыкался о кровать или запутывался в ветках олеандра и падал, ощущая боль и обиду, чувствовал озноб или простуду, когда долго сидел во дворе, и тогда несколько дней его не выпускали из комнаты, а однажды у него глаз распух — все та же история с теленком, его мучила духота

и запах цветов, но потом стало легче, и, кажется, двор признал его, простил ему все за кротость, послушание и терпение.

Теперь он уже не сидел, как прежде, один на кровати весь вечер, а был со всеми на коврике и ужинал в обществе взрослых за деревянным столиком с изогнутыми вовне ножками и маленьким отверстием, куда после еды старательно опускали хлебные крошки в блюдо для воробьев.

Он уже пытался есть все без разбора, чтобы почувствовать вкус нового блюда, ибо принятому вовнутрь двора все казалось возможным и дозволенным. Вот он наклонился над блюдом из баранины, вдыхая запах петрушки и красного перца, но, увидев возле бабушки тарелку с жареной рыбой, протянул руку и тут же был осужден за чревоугодие и жадность.

— Ну сколько раз говорила: нельзя есть сразу вместе то, что ходит, с тем, что плавает, с тем, что летает. Запрещено!

— Не кричи так!— вступилась мама.— Мы ему, кажется, ни разу этого не объясняли... Нельзя, мальчик, понял?

— Почему?

— Грех!— сказала бабушка.

Мать с укором глянула на нее и объяснила по-своему:

— Можешь заболеть... Нельзя вместе баранину, птицу и рыбу...

Новый запрет, и этот, кажется, ненарушаемый, грех — можно заболеть. Он еще не знал, что все живое обитает на земле, на воде и в воздухе, это круг жизни, запрещено есть весь круг сразу: поедая один край, не видишь и не трогаешь другой — вот утешение и обман...

Чтобы забыть этот неприятный разговор, раздражения, крики, начали чаепитие, и сам ритуал его — разливание зеленого чая в чашки, ожидание, пока чашки опустятся на дно, постукивание пальцами по фарфору — все умиротворяло.

— Да,— вспомнил отец,— приходили с вестью: умер мясник Гаиб...

— Этого и надо было ожидать,— сказала бабушка устало,— ведь они младенца приняли в дом...

Все утихло после ее слов, принимая их за должное объяснение, а бабушка опустила низко голову и что-то прошептала беззвучно, так интимно, будто обращалась

к лицу более реальному, более близкому, чем те, кто сидел рядом с ней за столиком.

— А у нас кто умер, когда я родился?— спросил Душан, глядя на лица сидящих — на бабушку, отца, мать и брата — и сквозь страх понимая и радуясь, что все на месте, что все эти и были, когда он родился, никто не исчез и никого не прибавилось в семье.

— Посмотри, какой он бледный.— Мать сжала его колено.— Ну разве можно при детях говорить такое? Теперь он не уснет...

— Дедушка умер,— вмешался отец, который обычно всегда молчал за столом и говорил только в самые сложные минуты, объясняя что-то или отвергая, словом, исправляя оплошности женского воспитания.

— Да,— обрадовалась бабушка и, кажется, впервые поддержала отца, не стала спорить с ним, уводить от него Душана, чтобы отвлечь его своими сказками,— и он подарил тебе свое имя. Сказал: вот мое тайное имя, я сам ухажу, благородный твой дедушка...

— Как подарил? Ведь его звали Мумин, а меня — Душан...

— Правильно, Бобо Мумин,— смутилась бабушка, наверное, оттого, что придется ей теперь раскрыть важную семейную тайну.— Но у человека всегда бывает два имени, одно он называет другим, и все думают, что его действительно так зовут, а второе имя, которое не знает никто и его нельзя раскрывать,— это и есть его подлинное имя. Он отдает его своим самым близким перед смертью, тому, кого он особенно любил...

— А тот, кто взял и присвоил это тайное имя, потом может называть его другим?— спросил брат.

— Да, он называет взятое имя другим, но не сам человек, а другой раскрывает тайну его имени...

— А у меня есть еще тайное имя, кроме Амон?

— Человек долго не знает свое тайное имя, он только чувствует, что имя, которое он называет всем, не есть подлинное. Тайное свое имя он узнает вдруг когда-нибудь, чаще перед смертью... Вот у соседа нашего справа,— увлеклась бабушка, и казалось, то, о чем она никогда не говорила, и было ее тайным, подлинным разговором,— ну, тот, кто перекрасил позавчера свои ворота, его имя Пулат*, и все думают, что он должен быть крепким, мужественным — так, во всяком случае, желали его

* Пулат — сталь.

родители, когда давали ему имя, а он выглянет на улицу и, если пробежит мимо собака, три дня болеет от страха, забавный старик,— засмеялась бабушка, а потом умолкла, утомившись от собственного смеха, ибо смеялась она уже так редко — все, что она пережила, старость собрала в ней и сдавила горечью ее душу.— Ну, пора убирать со стола, ужин бедняка растянулся у нас в пиршество богатого...

Взрослые уже встали из-за стола и занялись приготовлением ко сну, ибо ужин сегодня действительно затянулся. Брат лежал рядом с Душаном на коврике, таком старом и стертом, без ворсинок, и было слышно, как стучит он задумчиво ногой об землю. Рассказ бабушки все волновал его и не давал покоя, и он не знал, с кем поговорить, думал, с Душаном скучно, он все равно ничего не понял.

— Скажи, а как имя мамы?— шепнул Душан, и Амон тут же пододвинулся к нему и жарко задышал ему в лицо. И они зашептали, глядя друг другу в глаза, словно в спокойствии другого искали себе утешения и мужества, ибо чувствовали, что пробираются к еще одной тайне, а какова она, эта тайна, когда раскроется, жуткая или забавная, было для них тревожной загадкой.

И вправду, оба они не знали до сих пор, как зовут их родителей, отец, когда обращался за чем-то к матери, окликал ее: «Мать Амона...»— и ни разу не назвал ее по имени, так же говорила с ним мать, храня в ответ и его имя в тайне, и даже когда говорила с бабушкой об отце, то непременно: «Отец Амона», «Об этом надо посоветоваться с отцом Амона» или «Подождем, когда придет отец Амона...» Говорили так, будто у них и вовсе не было имен, и, если бы не родился Амон, они бы уже никак не называли друг друга, старались бы не говорить между собой, боясь, что вдруг назовут кого-нибудь по имени и нарушат ужасную тайну всей своей жизни.

Душан вначале не думал об этом, но потом понял, что это вовсе не значит, что они больше любят Амона,— просто у родителей принято называть друг друга по имени первенца, а его, младшего, они любят особой любовью.

Когда он слышал, что имя Амон присутствует во всем — в ласке родителей, в их порицании друг друга, в их зове и ожидании,— он стал ревновать всех к брату и недолюбливать его — и так до сегодняшнего вечера, когда они сообща решили разгадать тайну родителей, и

пока он не понял, что имя Амона связывает родителей между собой не особой расположенностью к первенцу, а чем-то иным, скорее не радостным, а печальным.

Не прячут ли они так свои имена, боясь, что тот, кто еще не родился на свет в их доме или в доме соседей, возьмет их имя себе, а им, безмянным, не знающим свое настоящее, тайное имя, придется уйти насовсем, в другой мир, где живут люди с украденными именами или те, кто по доброте душевной сам отдал добровольно свое имя родившемуся?

Так думали дети во дворе, перешептываясь и замолкая всякий раз, едва кто-нибудь из взрослых проходил мимо, и еще они не понимали, отчего тогда их имена произносятся вслух так часто и во всеуслышанье, ведь их тоже могут украсть и присвоить своим любимцам? Да, ведь бабушка сказала, что настоящие имена в глубокой тайне, а эти — Амон, Душан — так, для обмана, и чем чаще себя называешь другим, тем сильнее удаляешь от чужих те, настоящие имена, которые сами они узнают когда-нибудь, если очень полюбят и захотят подарить своим любимцам перед смертью.

Выходит, что и все другие вокруг, на улице, называют не свои подлинные имена, а ложные, и между всеми людьми идет некий негласный обман, сговор, как между взрослыми и двором, кустом олеандра, что прикрыл своими цветами дедушкину кровать.

Значит, и ему надо вступить в эту игру, ведь, когда все заняты большой игрой, а один в стороне и только наблюдает — это так подозрительно и неуместно, так неестественно, что все невольно обратят на него внимание и сделают вид, что только у него одного ложное имя, а все остальные называют свои подлинные, — тогда все и попытаются выкрасть его тайное имя, которого пока он и сам не знает. Эта мысль так взволновала его, что он решил отныне говорить безудержно и везде, где можно, выкрикивать свое имя, чтобы обмануть как можно больше людей, — и вот это-то и помогло ему наконец избавиться от робости и страха, и он почувствовал, как слова сами, легкие и освобожденные, так и просятся быть названными и высказанными.

— Я Душан! Меня зовут Душан! — кричал он, прохаживаясь по двору и прислушиваясь, как его имя, несомое собственным звуком, как телом, кружится над кустом олеандра, заставляет воробьев встрепетаться и распушить крылышки, проникает всюду, где есть малейшая

дыра или щель.— Я Душан!— Незаметно подкрадывается он к бабушке и кричит ей в ухо:— Я Душан!

Теперь он не смущался гостей и сам подходил к ним, чтобы представиться, и был доволен, видя, что они закивали, поверили, были обмануты.

— Слава тебе, господи, прорезался язык,— всплакнула бабушка, трогательно разводя руками и жестом этим как бы показывая, как стало ей легко на душе.— Говорила же, терпение... Захотелось — вот и заговорил...

— Теперь его не остановишь, ведь помните, как было с Амоном?— радовалась мать.

— Пусть говорит, слов много, все равно до старости все не выговорит, а стариком будет — опять замолчит...

— А сколько их, слов? Столько, сколько вещей?— спрашивал он, ибо по-прежнему казалось ему, что вещи сами по себе не существуют, а возникают они тогда, когда названы. Стоит найти такое слово, которым можно было бы назвать тайну, что скрывается в темной, смежной комнате или музыкальном сундучке, как тайны этой не будет, но как найти эти слова, ведь сказала же бабушка, что даже до старости нельзя выговорить все слова, значит, многие тайны так и останутся неразгаданными, и утомившись от этого, он опять замолчит, сделавшись стариком.

Теперь, когда бабушка рассказывала ему по вечерам сказки Попугая — любимая ее воспитательная история, — он, всматриваясь в ее лицо, вдруг начинал смеяться.

— Нет, так я не могу!— обижалась она и делала вид, что собирается встать и уйти.

— Я Душан, а ты тути,— говорил он ей убежденный, что стоило ему однажды назвать ее так, как слово это сделало свое волшебство, превратило бабушку в попугая.

— Ну и что же? От этого я же не стала другой или хуже,— отвечала бабушка, чувствуя, что уже давно боится выходок внука и оттого незаметно теряет над ним власть.

— Стала ты попугай. Нет у тебя музыкального сундучка. Попугаи живут без сундучков. И теперь я отгадаю его тайну.

— Не торопись, вырастешь и узнаешь, что там, в сундучке. Разве тебе недостаточно того, что там музыка? Это ведь лучше того, что там внутри...

— Мне надоест видеть тебя попугаем, я скажу: ты

лопата, возьму и стану копать тобой палисадник,— говорил он, ибо был уверен, что и живое и вещь каждый раз меняют свою сущность, если их называть по-разному, все многолико...

— Глупости!— прерывала его бабушка, не догадываясь даже, что и в истории Попугая все бесконечно превращается, называясь каждый раз новыми именами...

Место, где он теперь сидел и слушал бабушку, было самым лучшим и уютным во дворе. Он прижимался спиной к теплой, еще не успевшей остынуть стене большой гостевой комнаты, справа его закрывали ставни, а слева он просил садиться бабушку, и получалось нечто вроде ниши, полутемного пространства — тихий, меланхолический голос бабушки, мягкое одеяло под ногами, чашка с остывшим чаем, откуда он изредка делал глоток, когда от увлекательного рассказа и теплого сквозняка высыхали губы, свет, падающий косо на его руки, резные узоры на ставнях, создающие ощущение красоты, древности и покоя, — все это искушало ленью и недалеким временем сна, когда он прямо отсюда, из своего теплого убежища, переберется в постель и ляжет...

Таких мест, которые он сам нашел и облюбовал, было не так уж много в доме, больше было мест, где становилось сразу неуютно, нехорошо, душно,— скажем, он дольше минуты не мог находиться в большой нише на стене, которая закрывала двор от улицы, там, где рядом с кувшином любил молча сидеть и думать брат. Или там, где нравилось быть отцу,— на кровати в нижней площадке под сенью виноградника — он тоже не мог усидеть. Отец часто сажал его рядом с собой на кровать, сам он на своем привычном месте, умиротворенный, приглашал Душана послушать какую-нибудь увлекательную историю, но Душан не мог, ерзал, думая, как бы ему так уйти, чтобы не обидеть отца, вот если бы отец пришел к нему и прижался, как и он, к теплой стене и закрылся от света ставней, они бы чудесно провели время вдвоем, но, видно, отцу там было не так хорошо, как на кровати, ибо все любили только свои места: и мама, и бабушка, и брат.

Кроме этих привычных и непривычных мест во дворе, были еще и места, не полностью разгаданные, со своей маленькой тайной, такие, как олеандр и виноградник.

Он уже успел проследить всю длину времени, от весны до глубокой осени, когда тонкие лозы виноградника отец закапывал в землю палисадника, а толстые и ста-

рые, которые нельзя было снять с навеса, закутывал бережно: сначала слой сухих листьев, сбитых с самого виноградника вокруг лозы, затем слой ваты, а потом уже сверху обматывал лентами войлока — Душан держал конец ленты, а брат прочищал садовой щеткой те лозы, которые еще не закутаны, снимал старую, висящую кору, чтобы не завелась там тля.

Всю зиму потом виноградник стоял обледенелый и вместо гроздьев с него свисали сосульки — воробьи стучали по ним клювиками и, простуженные, улетали. Но вот сосульки начинали укорачиваться, сбрасывая с себя капли; неделю они позванивали о мерзлую землю, временами умолкая, когда ненадолго возвращались холода, и опять удлиняясь. Но отец уже точил лопату и садовые ножницы, нетерпеливо пощелкивал ими возле своего уха, словно ножницы эти и должны были принести с собой тот далекий гул весны, долгожданный звук ее, от которого все сосульки разом падали с виноградника, оголяя его.

Тайной виноградника была его магическая власть над всеми, власть невидимая, неназванная, оттого и не разгаданная пока Душаном. Он только видел — стоило винограднику раздеться, сбросить со своих лоз прошлогодние листья и войлок, как все в доме, словно подражая ему, тоже снимали с себя зимние одежды, вдруг ставшие тяжелыми, пахнувшими едой и пылью, и тоже одевались легко, во все белое и чистое, а зимнее быстро прятали в сундук и закрывали на замок, стараясь скорее забыть о нем, как о чем-то неприятном и тягостном, и как все хмурились, ссорились, когда неожиданно на день или на два возвращалась опять зима, как неприятный гость, который что-то забыл в доме, — но такие дни, когда надо было снова доставать из сундука зимнюю одежду и надевать ее не аккуратно, на все пуговицы, а так, набрасывать себе на плечи, чтобы в любую минуту переодеться, — были очень редки, дни, похожие на фокус с переодеванием.

Как все были приветливы и милы, легко одетые, часами прохаживаясь под виноградником, наслаждаясь собственным крепким, помолодевшим телом, походкой, руками без перчаток и головой без шапки, на которой от лучей солнца пошевеливались волосы.

Площадка под виноградником была узка, и эти прогулки поодиночке были похожи на танец, на лесть винограднику, с которым, как и со двором, надо было

вступить в тайный сговор, а весна была в роли судьи и следила, не нарушается ли договор. В случае уловки или хитрости, замеченной в ком-то, в человеке или винограде, весна тут же посылает как наказание холод, чтобы нарушить все до нового соглашения.

А виноградник тем временем уже сбрасывал с себя зимнюю кору — с легким треском снимались с лозы длинные ленты, как кожа при линьке, и стелились они по земле, по плитам двора, путаясь под ногами. Обнаженная лоза, подставляя солнцу зеленое, гладкое тело с тонкой новой кожицей, набиралась со вздохом соков, и сок этот потом, напоив ветки, выступал на концах и застывал, превращаясь в белые, с пушинками почки.

Воробьи набрасывались на них с жадностью, пытаясь разорвать клювами, но, утомившись, довольствовались тем, что немного держали в клювах почки, будто были они сладкие, душистые и насыщали вкусом и запахом, а потом, так и оставив нетронутыми, улетали прочь. Пока зрели эти твердые почки, виноградник не ждал, а распускал свои усики, и они хлестали воробьев по ногам. Вначале ровные и висячие, усики толстели и скручивались колечками, чтобы потом выпрямиться снова, когда превратятся они в гроздья с ягодами.

Ягод ждать долго, и всех мучил соблазн пожевать эти усики, и каждый, тайком от другого, срывал их и наслаждался кисловатым, но таким земным, съедобным его соком — первым соком весны. Может, потом от этого сока все и становилось немного суетными, ходили быстро, с красными щеками и живым блеском в глазах — легкое головокружение и хмель. Даже бабушка, штопая что-то, вдруг напевала любовную песню, а отец, проходя мимо, усмехался, как бы уличая ее в том, что и она не удержалась и пожевала тайком усики.

Какой-то старик часто наведывался в эти дни в дом, просовывал голову в ворота и покашливал, робко так стучал пальцами по двери, чтобы привлечь внимание бабушки, и та, глянув на себя в зеркало и поправив платок, выходила во двор, и Душан не знал, о чем они там говорят, сидя на кровати, кажется, ни о чем, просто старик, поглаживая коротко стриженную бородку, вздыхал, глядя на виноградник, словно осуждая его за то, что тайной своей властью он заставил старика прийти сюда, в гости к бабушке. Бабушка, кажется, несколько не злилась на него за его молчание и, горделиво глядя куда-то сквозь гостя, перебирала четки — белую бусинку

к черной... Так они могли сидеть очень долго, кто этот старик? Не тот ли, кто после смерти бабушки приходил к бабушке, желая взять ее к себе для долгой будущей жизни, и кому бабушка отказала? Но вот возвращался отец с работы, старик смущенно вскакивал, извинялся и, сорвав усик, уходил пожеывая...

Этот легкий возбуждающий хмель длился до тех пор, пока из усиков не рождались гроздья с маленькими зелеными ягодами, а лозы не покрывались крупными, толстыми листьями с пятью концами — тремя острыми и двумя, по бокам стебелька, округлыми, — тогда все снова менялись, взрослые становились раздражительными, неразговорчивыми, и тот старик уже не приходил к бабушке, зная наверняка, что она теперь прогонит его. Это долгое время, когда днем занавешивают окна шторами и выходят во двор лишь вечером, да и здесь, не найдя прохлады, молчат, изнывая от духоты, и ни олеандр, ни виноградник уже не приносят успокоения. Видно, это то время, когда начинается новый сговор с виноградником, тягостный и обременительный. Уже и легкая одежда не приносит наслаждения, скорее удручает своей ненужностью, и как ждет тогда брат утра, чтобы побежать куда-то к речке, сбросить поскорее одежду и насладить тело водой...

Отец ходит под виноградником и оглядывает гроздья и, недовольный, уходит к себе к комнату, а все остальные смотрят на него: если возрадуется, значит, ягоды уже посинели и скоро сок внутри их загустеет и окрасит плод в черный цвет, цвет зрелости и вина.

Весь сок уходит потом из листьев и лоз в гроздья, ибо чем быстрее зреют ягоды, тем скорее желтеют листья, — теперь виноградник может готовиться к долгой зимней спячке, листья ему не нужны, и он сбрасывает их один за другим во двор.

Первыми вкус спелой ягоды чувствуют те самые воробы, что были обмануты некогда сосульками на винограднике, потом его твердыми почками и усиками — сейчас они дают волю своей затаенной обиде, ибо знают, что виноградник обленился к осени, тянет его к покою и сну, не будет он их отгонять.

И снова это настроение виноградника передается всем в доме, никто особенно и не торопится сорвать ягоды, все медлят, отец нехотя ставит лестницу, чтобы, поднявшись, срезать несколько крупных гроздьев. Их кладут не в тарелки, а на листья виноградника, сотворяют

круг — ягодка к ягодке, и все разглядывают этот натюр-морт... Уже, кажется, ни у кого и сил не осталось восторгаться вкусом иссиня-черных ягод, и только бабушка скорее из приличия, чтобы сделать приятное винограднику за его долгую работу, говорит:

— Вино...

Странно, ведь все ждали этого часа, когда весной переодевались, устраивали танцы под виноградником, украдкой жевали его усики, суетились, возбужденные, напевая любовные песни, и тот старик, который и в эту весну не сумел уговорить бабушку жить с ним вместе, все равно наведывался к ней, чтобы посидеть под сенью виноградника, — все ведь молились будущим гроздьям... А сейчас у всех какие-то задумчивые взгляды и тихие голоса, все ходят рассеянные, смотрят друг на друга и словно не замечают никого, занятые собственными размышлениями.

Говорят лишь о том, как полезен виноград и как сок его дает здоровье, а вино его возвращает жизнь умирающему, правда, ненадолго, а на то время, пока он успеет сказать свое последнее прости. Больше всех рассказывает об этом бабушка, как бы в назидание остальным, словом, ведет себя так, будто этой зимой обязательно умрет.

Этим летом было особенно душно внутри двора, вечерами все с мольбой смотрели на листья, желая увидеть, как они неожиданно затрепещут от дуновения, словно деревья и должны были дать двору прохладу. Но листья продолжали висеть неподвижно, как нарисованные на плотном воздухе, и Душану казалось, что можно рисовать на яблоне фиолетовые смоквы, а на олеандре гранаты, все перепутать, нарушить в природе гармонию и поиздеваться над ее здравым смыслом, разумом, не забывающим посылать летом двору такую ужасающую духоту — словом, хотелось придумать злую игру. Картину можно продолжить и рядом с деревом поставить еще и домик с плоской крышей и прохладной мансардой, чтобы потом, спрятавшись там, отдыхать. Сделать мансарду своим новым излюбленным местом, ибо во дворе, возле ставни, где ему нравилось сидеть, прижавшись спиной к стене, было тоже теперь неуютно и тоскливо.

И действительно, стоило ему провести на этом плотном воздухе воображаемую линию, как след нарисованного долго стоял перед его глазами и исчезал лишь тогда, когда его стирала наконец пыль.

Много пыли залетело во двор и висело густо в воздухе, окрашивая все в желтый цвет, и обессиленный двор уже не мог сопротивляться один этому нашествию, принимал пыль, задыхался, но ждал, пока не помогут ему люди, или птицы, или тот самый чужой кот, который выдавал себя теперь частым чиханием. Но никто не мог помочь двору, и он, видно, сердился, что нарушался тайный сговор о взаимопомощи.

Никто не заметил сквозь эту пыльную завесу, как заболел виноградник. На нижнюю площадку, где спал отец, закапал сок, отец вначале не понял, думал, что пошел наконец дождь, но безоблачное небо смутило его, и он увидел, как почернели и свернулись листья, гроздьи покрылись коричневыми крапинками, сморщились и выдавливали из себя сок, будто он, ядовитый, сжигал весь виноградник изнутри, вызывая изжогу и тошноту.

От листа к листу прыгали проворно пауки в поисках удобного места, где можно было спокойно ткать свои пыльные узоры, и только они, видно, были довольны болезнью виноградника, будто мстили ему за то, что прогонял их весной движениями усиков.

Все собрались под виноградником, чтобы посочувствовать ему, а он капал на всех ровными, тягучими каплями густого сока и стоял весь душный и пыльный.

— Надо срубить ветки, чтобы больной виноградник не заразил весь палисадник, — сказал отец.

— Пусть это сделает садовник, — возразила бабушка. — Он знает и умеет. А пока виноградник должен выпустить из себя весь отравленный сок и постоять немного голодный. Только голод поможет ему вылечиться...

Она сказала так уверенно, будто продолжала свой тайный сговор с виноградником, и Душану вдруг показалось, что с этого дня все вокруг открылось ему, позволило разгадать себя, весь двор, и все, что внутри его, и что несправедливо и жестоко запрещать ему лазить на крышу, чтобы весь дом потом принял его в свое сообщество.

Вечером он бродил по двору и ждал, пока мягко спустится вниз по лестнице кот — он и должен увлечь его за собой на крышу. Надо только успеть вовремя побежать за ним, не дать отцу закричать и замахать руками на кота.

Когда пришел кот, отец смывал пыль с листьев олеандра. Кот посмотрел на него, напрягая зрение, через плотную пыль и остался доволен, а на Душана он гля-

нул лишь мельком, краем глаза, не боясь его и зная на-верняка, что ему запрещено бежать на крышу; затем кот обнюхал кувшин в нише.

Наглый взгляд кота раззадорил Душана.

— Кот!— крикнул он, и не успел отец остановить его, как был он уже на лестнице и, собравшись там с духом, стал подниматься вверх, а кот не бежал, а лениво отступал и оглядывался, как бы оценивая меру храбрости преследователя.

Отец ничего не сказал, только отошел от олеандра и сел на кровать, чтобы понаблюдать за Душаном, и благо никого больше не было во дворе, не то бабушка из чувства постоянного противоречия отцу запретила бы Душану лезть на крышу.

Он еще не знал, отчего у отца и бабушки такие сложные отношения. Он только видел, что бабушка недовольна всем — приезжал дедушка из деревни, она хмурилась и не выходила из комнаты, и ей не нравилось, как он с акцентом говорит по-таджикски и что он шумный, дедушка, когда умывается во дворе, кричит, довольный прохладной водой, хвалит ее, сердится она и когда привозит с собой полную корзину инжира, сложив его рядами на листья смоковницы («как будто здесь, в городе, нельзя купить смоквы»), и учит Душана, как есть смокву,— разрезает плод на две половины и трет их друг о друга, чтобы, как он выражается, «убить хмельные зерна», а потом в рот («как будто дети растут безо всякого воспитания»),— и это язвительное отношение, передразнивание родственников отца, внешне безобидное, похожее на старческое ворчание, скрывало от Душана главное — нежелание бабушки до сих пор смириться с женитьбой его матери и отца.

Она вовсе не видела в этом необходимости и не думала, как покойный дедушка, что очень древний их род захирел и не несет в себе уже здоровья для будущих поколений, а это седьмое колено, начиная с матери Душана, нуждается в новой крови. Мать и вправду уродилась болезненной, слабой особой, и ко времени ее девичества, когда тонкие черты ее обрисовались какой-то неестественной для их рода красотой и изяществом, но зато в самой ней болезненное начало еще больше усилилось, дедушка потерял покой.

Род их, славившийся в городе особой ученостью и аристократизмом, жил всегда замкнуто и ревностно оберегая свою чистоту, теперь же стало ясно, что он не смо-

жет сохранить себя дальше без того, чтобы не соединиться с родом простых, деревенских людей, живущих в родстве со здоровой природой, и тогда дедушка заявил, что не пустит в дом никого из этих гнилых аристократов и что лучше мужем для его дочери станет человек из деревни, узбек ли, таджик ли, или казах, неважно, а не будет этого, родится слабоумное, больное потомство, непригодное для жизни.

Это он внушил и дочери, только бабушка считала все выдумкой, чудачеством и сумасшествием. Как может допустить она, чтобы мужем ее дочери стал простолюдин и чтобы благородный род их, издревле дающий умных и исправных судей, мог смешаться с родом строителей, откуда вышел отец Амона? Но хоть было это непристойно для него, дедушка сам занялся, с помощью друзей и знакомых, поисками простого, славного человека для своей дочери — и человек такой нашелся в институте, где училась будущая мать Амона.

Дедушка недолго прожил после рождения первенца, зато как он радовался, видя, что Амон весь в отца, крепкий и живучий, хотя и от матери перешли к нему некая мечтательность и меланхолия. Любил он Амона нежно, целыми днями не отпускал его от себя, да и ночью часто укладывался спать возле его люльки, чтобы терпеливым своим голосом унять его плач. От Амона должна была пойти новая ветвь в семье, и дедушка умирал, наверное, с высоким чувством спасителя рода...

Зато бабушка и по сей день не может скрыть своего раздражения отцом и его родственниками, приезжающими из деревни, и вот поэтому-то эти бесконечные придирки: «Просила же вас не привозить больше смоквы, никто у нас ее не ест», или: «Когда же вы наконец научитесь говорить по-таджикски, ведь в доме дети растут...»

Насчет смоквы она, конечно же, не права. Едва появится в воротах дедушка с корзиной, накрытой темно-зелеными листьями, как Амон и Душан бросаются к нему и после первых приветствий, поцелуев, нежностей сразу же роются в корзине, разбрасывая листья, а потом долго наслаждаются винным соком и запахом плодов, налитых солнцем и благоухающих.

Вот и сейчас на крыше, куда полез Душан, лежали и сушились между ростками пшеницы фиолетовые смоквы, выпуская из себя и разливая вокруг вино. Было такое ощущение, что где-то наверху, на стене, которой за-

крывалась крыша от улицы, растет куст смоковницы, одичалый и неухоженный, который долго ждал, что кто-нибудь поднимется к нему и соберет урожай, но, так и не дождавшись, стал сбрасывать вниз, на площадку крыши, перезрелые плоды — обманутая смоковница приняла площадку, поросшую пшеницей, за деревенское поле.

Мысль эта так позабавила Душана, что он невольно остановился посередине крыши, осматривая новый для себя мир вокруг — три невысоких белых стены, загораживающих улицу, и край площадки, уходящий вниз, в глубину двора, откуда смотрел на него отец.

Стоит сейчас сказать Душану: «смоковница», как воображаемый куст, который сбросил с себя плоды на пшеницу, действительно поднимется на стене и закроет его своими ветвями. Или лучше он нарисует этот куст на пыльном воздухе и будет любоваться до наступления полных сумерек.

— Спускайся! — крикнул ему снизу отец.

Как же так ступить, чтобы не раздавить плоды? Многие из них закатились, наверное, и спрятались в островках пшеницы, уже пожелтевшей и выгоревшей на солнце.

Возможно, что пшеница эта росла в деревне возле куста смоковницы, — весной, когда ливень смыл верхний слой крыши и комната, где спал отец, стала протекать, дедушка привез из деревни повозку пшеничных стеблей, и они вместе с отцом замешали эти стебли с глиной и покрыли крышу новым слоем, и не успела крыша обсохнуть, как на площадке показались ростки злака, — видно, вместе со стеблями попали в глину и зерна. Бродячий кот, за которым погнался сейчас Душан, прыгал всю весну по зеленым росткам и катался по ним, созывая других кошек для любовных утех.

Между стеблями, как награда за ловкость, лежала монета. Душан обрадовался находке, спрятал ее и спустился во двор. Он уже понимал, что монеты эти имеют ценность, в них заключен смысл и тайна — ведь часто, когда приходит к ним старик пекарь, Душан еще не знает, сколько лепешек возьмет у него мать, высунувшись из окна, ждет — две или четыре — и видит, что взамен хлеба мать отдает пекарю монеты.

— Не играй деньгами! Они переходили из рук в руки тысяч людей, среди них больные и грязные, — наставляла бабушка и, чтобы как-то унять его, как ей каза-

лось, болезненный интерес к деньгам, купила ему черепашку-копилку.

Конечно же, он так и думал, что монеты, бесконечно превращаясь, живут вместе с людьми, к одним они заходят в стойло в облике быка, у других лежат под кроватью, свернувшись змеей,— и так до тех пор, пока не приходит факир, чтобы колдовством своей флейты заманить эту змею и унести ее прочь; к третьим она заползет под платье — еще утром звонкая, сверкающая монета, а сейчас жук скарабей — щекочет их тело и грудь приятной истомой. Вот почему, когда в руках его оказывалась монета и он опускал ее в копилку — глиняную черепашку с горлышком на зеленом панцире — и монета со звоном падала в ее ненасытное чрево, ему казалось, что полонит он все живое и неживое — быка, люльку, змей и самого дьявола, о котором уже успела рассказать бабушка.

Он подносил к уху черепашку и, замирая от восторга, слушал, как звенят монеты, смотрел в темное ее горлышко, чтобы подглядеть момент какого-нибудь загадочного превращения, с трепетом ждал он того дня, когда чрево черепашки наполнится и не сможет более принимать в себя монеты — тогда он расколется черепашку, чтобы на свое сбережение купить бабушке подарок, но произойдет это еще не скоро, в день ее рождения.

Хотя бабушку и сердила его страсть к монетам («в нашем роду все презирали деньги, думали не о теле бренном, а о душе...»), но все же сама всякий раз, когда надо было уговорить его сделать что-то неприятное, обещала ему, как награду, монету. Проглатывание горького лекарства — одна монета, десять кругов по двору в тесных сапожках, чтобы они разносились,— две монеты,— эту таксу он установил сам, и бабушка подозрительно легко соглашалась, открывала сундучок и, пока он исполнял свою всегдашнюю короткую мелодию, которая теперь восхваляла сделку, торгашество и хитрость между ним и бабушкой, доставала оттуда плату, крошечные медные монеты, разрисованные вязью, такой же замысловатой, как на ставнях и воротах.

Должно быть, бабушка догадывалась, будучи в стоворе с сундучком, что монеты потом все равно вернуться к ней в день рождения, что черепашка — это все равно что сам сундучок, может взять к себе вовнутрь часть тайны сундучка и хранить до тех пор, пока копилку не разобьют. Только не знала она, что монеты, едва попада-

ют из сундучка в копилку, сразу же превращаются в быка или скарабея, ибо быком жить веселее, чем холодной монетой.

Теперь, когда его обижали и он чувствовал, что все взрослые как бы сговорились не жалеть его и не защищать, он бросался к своей копилке (она лежала в углу под шкафом, прикрытая маленькой подушкой), выносил ее во двор и гозорил, что вот сейчас выпустит из черепашки быка — он разбежится и затопчет весь палисадник, а петух склюет все зерно на кухне... Он понимал, что, кроме взрослых, у него должен быть еще кто-то очень близкий, который всегда поможет, защитит, — и этим существом стала для него копилка.

Но вот проходила злость, копилка пряталась на свое прежнее место под шкафом, а сам он, быстро проходя по двору, мимо неприятных и душных мест — кровати и кадки, садился в своем убежище возле открытой ставни, чувствуя себя одиноким и покинутым, ибо взрослые ждали, когда придет он к ним просить прощения.

Их четверо (Амон тоже со взрослыми), а он один — так делилась в часы ссоры семья, большинство и меньшинство. Большинство, поддерживаемое друг другом, ничуть, кажется, не переживало размолвку, ибо видел он, что они по-прежнему разговаривают, ходят с равнодушными, ничуть не тронутыми горечью лицами, как будто горе их столь мало и ничтожно, что его и не пытаются они делить между собой, а отгоняют от себя и не думают о нем, зато часть горечи, доставшаяся ему, его горечь, была неделима и делала его таким несчастным и одиноким...

«Одинокий» — было произнесенное им слово, и слово это ранило его, привело в убежище, отвернуло от всех, имело оно силу и власть, не то что цифра 1, когда он ее писал, стараясь подсчитать свои монеты, — 1 было пустым звуком, бессмысленным начертанием, линией холодной — вот почему он не запоминал цифры и не любил их за ненужность. Ведь в самом деле, как отличается цифра 1 от слова «один», хотя, казалось бы, что выражают они одно и то же и имеют одинаковый тайный смысл, — он чувствовал, что только к живому применяют слово «один», а когда живой умирает, то в ход идет цифра, как ярлычок.

Увлеченный этой своей догадкой, он старался приглядываться ко всему, что поддерживало его в правоте, — когда приходил кто-нибудь из соседей и угощал его яб-

локами, непременно приговаривал: «Не стесняйся, еще берн, чтобы было два», или пекарь — бабушке: «Простите, у меня нет сдачи за два хлеба, берите уж четыре...» — не три хлеба, а четыре, не одно яблоко, а два.

Один к одному — все должно было рождать пару, ничто не может быть принятым в одиночку, ни подаренное, ни купленное, зато мертвое и ненужное довольствовалось своей цифрой 1. Куст олеандра родил из себя две ветви, а сам ушел в землю и почти не показывался из кадки, две горлицы с открытыми от жажды клювами всегда залетали на кухню в поисках воды, и сушеную смокву на крыше можно пересчитать и увидеть, что все они в паре — ни одна не останется лежать сама... Значит, одинокий — это обиженный, отвергнутый, искусственно разделенный, как он в часы ссоры, парой же своей он считал бабушку, ибо больше, чем кто-нибудь в семье, она была с ним.

Неприятие же бабушкой отца он воспринимал как сопротивление третьему, кто хочет нарушить гармонию их пары, как попытку отца, подружившись с ним, отстранить бабушку и оставить ее в одиночестве, после чего она должна будет умереть от горя, — ведь мысль о том, что после его появления в доме кто-то должен уйти, уступив ему свое имя и место, и что этим человеком должна быть бабушка, не давала ему покоя с того вечера, когда он впервые узнал о тайне имен и об их толковании.

Часто теперь, когда бабушка читала ему, он вдруг переставал ее понимать, и рассеянный взгляд его блуждал по ее лицу, бледному и бескровному, он пытался понять, каким становится человек перед уходом, чтобы не прозевать момент предсмертных мук бабушки, как-то и чем-то помочь ей, чтобы она прожила еще немного и успела сказать тайну своей жизни, тайну, которую, он уверен, никто не знает до конца, а узнавший пронесет ее с собой дальше по жизни, так что в нем будут жить теперь двое — он и тот, кто исповедывался.

Хорошо, если это случится осенью, когда созреет виноград, сок оживит ее ненадолго, если Душан успеет намочить губы бабушки, они зашевелиятся и сумеют прошептать последнее прости. Нет, не ему: прости за ссоры, обиды и запрет — это было бы слишком просто и банально, так банально, что не могло бы содержать в себе тайну жизни; прости за нечто существенное, главное, может быть, за то, что она топтала пыль улиц, любовалась побегами виноградника, высасывала сок смоквы, следил

ла, как ящерица выслеживает мошкуру и как цветет олеандр, за то, что жизнь показала ей все это вечное и непреходящее, и рядом с этим вечным сама она оказалась случайной гостьей, пришедшей ненадолго, обманувшей это вечное и не сумевшей показаться величественной,— вот за это прости. Так объясняла бабушка как-то смысл своего прихода, и он, не поняв ничего, еще больше испугался, и страх за бабушку жил теперь в нем постоянно.

И еще ведь она была с ним в паре — один и еще один,— и он чувствовал уже сейчас, как после ее смерти он останется в одиночестве. Эти детские страхи, особенно сильные перед сном, заставляли его долго бодрствовать, но когда он засыпал наконец, не в люльке уже, а на той кровати, что стояла в темной смежной комнате и которую поставили вместо люльки, он видел загадочные и страшные картины, какие-то обрывки истории рода. Из глубины времени его будоражили видения охоты — скалы, бегущая лань, убийство или вдруг пески и кочевые верблюды, костры, в другом сне — дерзкие, пугающие лица, темные, глубокие пещеры, где жили его предки. Все это приходило как память, никогда не виданное им, но живущее в нем, переданное ему ушедшими, через них, их память и сновидения, чтобы мог он потом, вместе с опытом своей жизни, передать всю историю рода дальше, рода, ставшего в этом поколении еще более богатым памятью от смешения с родом кочевников и строителей, откуда вышел его отец.

Память рода волновала не только его, часто в воскресные дни семья садилась кругом на коврик во дворе, чтобы поделиться сновидениями, собирались стихийно, первой, например, садилась бабушка и окликала Амона:

— Ну-ка, расскажи, что тебе снилось?— И на зов ее прибегал не только Амон, мать и отец выходили из комнат, оставив дела, как будто приглашали их на семейный ритуал,— желание высказаться, освободиться, послушать,— и словно от искусного начала и конца этого ритуала зависело благополучие в семье.

Отец рассказывал, как он просыпался не раз ночью, убегая от тягостного сна, но стоило ему снова заснуть, как сновидения продолжались с прерванной картины, а видел он, как убивали его предка и что насильником, вне сомнения, был родственник убитого, ибо через человека чужого не передалась бы ему эта далекая тайна, и

вот теперь вдруг, через столько лет, увиденная убийцей картина ожила во сне отца, чтобы стал он свидетелем.

— Как будто моя совесть должна отвечать за то, что было в нашем роду до меня,— прибавил отец, и никто не стал его утешать, принимая вызов рода как должное.

Бабушке же снилась более мирная картина: девочка среди скал ищет пропавшую овцу, а с крыши дома наблюдает за ней ее отец, почему-то размахивает шестом с конским хвостом на конце. И, рассказывая это, бабушка даже всплакнула, ибо была уверена, что девочка эта ее мама и случилось это в те годы, когда самой бабушки еще не было на свете.

— Странно,— сказала она,— все равно ведь каждый живет по-своему, учась на собственных ошибках, а опыт рода остается в стороне, как нечто мертвое и ненужное. Он приходит лишь в сон, и ничего оттуда нельзя взять. Живи я в деревне, ведь у меня тоже могла бы пропасть овца и я тоже, как мать, искала бы ее, хотя то, что я увидела из ее жизни, должно меня научить осторожности... Видно, у каждого овца пропадает по-разному...

— Серо и скучно было бы так жить,— согласился с ней отец,— если бы все шагали по одним и тем же следам. Каждый хочет пробираться через новое и тайное, а это и есть его судьба.

Чувствовал он по лицам взрослых, что невинный разговор их, начавшийся со сновидений, закончился не очень приятно,— вот поэтому-то никто не поддержал отца, а он, видимо, рад был этому, ибо едва все умолкли, как отец, не вставая с места, потянулся к кровати — под ней, закрытая подушкой, лежала прохладная дыня, отец озорно присвистнул, подбрасывая ее и ловя на лету.

Бабушка не любила дыню, принесли ей поднос с персиками, с красной, чуть треснувшей кожурой, из которой в нетерпении выступали капли сока столь ароматного, что вкус его чувствовался во рту еще задолго до первого укуса.

Как будто зная точный час этого пиршества, всегда в воскресенье приходил какой-нибудь гость, и все вставали, приглашая его на фруктовый завтрак.

— Благословенно, благословенно,— говорил гость, кланяясь всем. И все тоже кланялись ему, не замечая великодушно комизма: ведь когда пятеро кланяются одному, то этот один должен чувствовать себя по меньшей мере принцем. Но это был не принц, просто робкий сосед заглянул к ним в свободный день узкаты, все ли

благополучно здесь, чтобы потом передать добрую весть дальше, всей улице, ибо считалось непристойным самим заявлять всем о собственном благополучии,— для этого и приходил человек, которого звали все «соглядатай».

Этим словом обычно награждают следящего за чем-то тайно и помышляющего зло, но приходящий сосед, хотя он тоже действовал тайно, все же был в отличие от того зловредного соглядатая добродушным соглядатаем.

Спрашивать открыто, все ли у вас дома хорошо, недостойно, словно благополучие, узнанное и названное, может быть украдено,— и посему все должно храниться в тайне. Вот эту тайну и должен был выведать добродушный соглядатай, но не во вред дому, скорее на пользу, чтобы все порадовались.

Те, к кому он приходил, прекрасно знали, зачем он постучался, соглядатай же тоже чувствовал свою цель разгаданной, но все же и гость и хозяева делали вид, что им ничего не известно о намерениях друг друга, притворялись, и все, что они делали потом, было похоже на хитрую игру.

После первых приветствий соглядатай переходил на «птичий язык»— как называла это бабушка,— чтобы через собственные жалобы выведать тайну благополучия.

— Утром я еле поднялся,— жаловался соглядатай на боли в пояснице,— все же возраст и уже думал, что не дойду до ваших ворот.

После чего бабушка старалась внушить ему обратное:

— Да нет, вы прекрасно выглядите... Не то что я, не могла вчера весь день стоять на ногах — голова кружилась...

— В нашем возрасте грешно жаловаться, мне без малого восемьдесят,— отвечал добродушный соглядатай.— Посмотрите, как дрожат мои руки, и щеки совсем обвисли, и глаза потеряли блеск, а без света они желтеют, слепнут.— И показывал руки, щеки, пододвигался поближе к бабушке, чтобы та заглянула в его глаза.

И эти его жалобы-уловки бабушка должна была сразу же отвергнуть, ссылаясь в ответ на свое неважное состояние, недомогание и болезни, а соглядатай слушал, с удовольствием попивая чай, и лицо его все больше светлело от узнанных вестей, ибо, если бы в доме было наоборот — неблагополучно, ответы бабушки должны были быть противоположными, она обязана была отвечать не жалобой на его жалобы, а говорить примерно следующее:

— А вы пробовали приложить на глаза змеиную шкурку? В прошлую весну, когда я увидела, как желтеют мои глаза, я месяц перед сном прикладывала к глазам свежие шкурки от только что полинявшей змеи — и все прошло. А поясницу я лечила травой, мелко рубила, перемешивала с горчицей и обвязывалась. Не пробовали?

— Мне уже советовали. Надо попробовать, — отвечал соглядатай, понимая по такому ее ответу, что в доме что-то неладно, а его фраза «мне уже советовали», сказанная для успокоения, должна была означать, что и у других не все благополучно, такова жизнь, надо крепиться...

Душан еще не разбирался во всех тонкостях их птичьего языка, зато он понимал другое — двор принял к себе вовнутрь гостя.

Двор жил в своем пространстве, привыкнув к их семье и находясь с ними в сговоре. У соглядатая же, хотя он и был добродушным, такого сговора со двором не было, и он приходил сюда на время и всячески давал двору понять, что он здесь гость, выведает тайну и уйдет, не прикасаясь ни к олеандру, ни к кувшину в нише, не станет расхаживать долго по палисаднику, не тронет кровать, пытаясь сдвинуть ее с места.

Гость просовывал голову в ворота и ждал неподвижно, пока его не заметят и не пригласят, — бабушка вставала с места, и гость кланялся, быстрыми шажками проходил потом под виноградником, прикрыв левую щеку ладонью, словно боясь, что комната отца хмуро глянет на него и осудит, а правую половину лица он держал открытой, чтобы хозяева увидели на ней робость и улыбку.

Поднявшись затем на верхнюю площадку, где все стоя встречали гостя, он повторял громко, глядя по очереди каждому в лицо: «Благословенно, благословенно»; как будто высшей радостью для него было узнать всех и удостовериться в их присутствии на свете.

— Мир и вам, — отвечали гостю, а он садился на коврик и впервые безбоязненно оглядывал двор, словно желал увидеть: двор понял по его жестам и словам, что он здесь всего лишь временный гость.

Чтобы поддержать гостя перед двором и чтобы самим как-то умиловить двор, давая ему понять, что соглядатай не собирается оставаться здесь дольше получаса, сразу же заваривали свежий чай, даже если гость при-

шел как раз в момент чаепития,— и красный чайник в горошек, проносимый из кухни через двор к гостю, и был тем знаком, который хозяева подавали двору для его успокоения.

Желтый сахар в кристаллах на блюде: «Усладите свой язык» — тоже был знаком и входил в ритуал гостеприимства.

Усладив язык желтым сахаром, соглядатай начинал затем эту свою игру, чтобы выведать тайну благополучия, и хозяева подыгрывали ему, жалуясь на сон, на аппетит, на несуществующие болезни, а двор, впустивший ненадолго чужого, молчаливо внимал, словно был самым большим ревнивцем и первый беспощадно покара- рал бы за нарушение законов игры, ибо считал себя дающим здоровье, благополучие, охранителем семьи и рода. И так до тех пор, пока хозяева не провожали гостя к воротам,— с лика двора тогда снималось напряжение, и двор снова был заботлив.

За воротами, куда провожали соглядатая, начинался странный мир улицы, несговорчивый, немного жестокий, не такой, как двор, признавший его своим,— с миром этим нельзя было вступить в сговор для тайной дружбы, он отвергал любое посягательство, не принимая ни улыбок, ни доброжелательного вида Душана, стоящего возле ворот. Он пускал в свой длинный и пыльный коридор всякого, знойный и высокомерный, предоставлял всякого самому себе, давая понять, что никто не должен рассчитывать на его снисхождение и теплоту. И наверное, поэтому никто не сидел на улице возле своих ворот, отдыхая, никто не стоял более минуты — встретятся знакомые, обменяются приветствиями и разойдутся, спешат в свои дворы; заедет сюда по ошибке машина, остановится посередине улицы и спешит задом уйти, ибо улица, где стоял их дом, была тупиком — длинный коридор между белыми стенами, глухими и без окон, где через каждые пять шагов стоят ворота — вход во дворы.

Один конец улицы был закрыт их двором, другой же пересекался новой улицей, широкой и шумной, по которой проезжали машины, и, стоя у ворот, можно было считать их сквозь пыльную завесу тихого и скучного коридора. Коридор был столь узким, что, когда машина пересекала его на том конце, можно было рассмотреть машину во всех ее подробностях — сначала показывался ее нос, неся за собой медленно тело, и, когда нос исчезал из виду, еще долго не было видно хвоста — ка-

бина с водителем. перед глазами, затем кузов с сеном, ягнятами, бревнами, а уже потом и сам хвост с облачком дыма. Как бы принюхиваясь к этому облачку, появлялся затем нос следующей машины — и так шли они целый день.

Сюда, к дому, доходил лишь слабый шум соседней улицы, и казалось, коридор их, такой маленький и тихий, должен быть робким и дружелюбным, ибо ничто не могло испортить его нрав и развить в нем чувство превосходства: ни толпы людей, ни машины, ни асфальт, вязкий от летней жары, ни фонари, ни деревья вдоль речки, ни внешний лоск и огни реклам, краски и каменные фасады,— тупик их был лишен всего этого, он жил задумчиво и неприхотливо вот уже добрую сотню лет, медленно осыпая свои старые глиняные стены, ничего не имея внутри себя примечательного, кроме нескольких старых собак, которые не могли уже бегать по другим улицам и, утомленные любознательностью, всегда бродили в тупике, принюхиваясь к его стенам. Да и люди ходили внутри одни и те же, новое лицо непременно оказывалось заблудившимся, попавшим сюда случайно и ищущим выхода. Амон терпеливо объяснял им, как нужно выйти обратно и куда свернуть, а часто, видя чужого, еще издали кричал предупредительно:

— Здесь тупик!

Чужой останавливался, не понимая, затем, глядя на двор, бормотал что-то недовольно, потому что двор их преграждал ему путь и теперь надо было возвращаться обратно на шумную улицу, чтобы продолжить поиски.

Такое впечатление, будто двор их, закрывший конец улицы, мешал всем, кто попадал в тупик по незнанию, и бабушка, как-то стоявшая у ворот с Душаном, даже рассердилась на заблудшего и замахала руками:

— Вы смотрите на наши ворота так, словно появились они вчера за одну ночь! Да будет вам известно, что дом наш стоит здесь уже триста лет! И еще будет стоять столько же, мир ему! Так что предупредите ваших детей, внуков и правнуков — желаю вам прожить до их рождения,— что здесь тупик, пусть зря не блуждают.

— Но ведь должен же быть проход на соседнюю улицу?!

— Да, но только через наш двор, но двор наш не проходная!

Бабушка была права, во дворе возле кухни была маленькая калитка и, открыв ее, можно было попасть на

пустырь, и калитка поэтому всегда держалась запертой. Ни у кого не было нужды проходить по этому твердому, покрытому солью пустырю, где всегда гуляли песчаные смерчи. Это была окраина города, но город рос с другой стороны, где была река.

Впрочем, даже если калитка и была бы открыта для чужих и чужие проходили бы через двор, не был бы тогда нарушен сговор семьи и двора — охранитель рода взбунтовался бы, утомившись от множества чужих лиц, чужих запахов, неискренних улыбок, топота чужих ног, когда оказавшийся в тупике пробежал бы по нижней площадке под виноградником, закрыв ладонью лицо от гнева отцовских окон, желая поскорее оказаться на пустыре.

Сколько тайн унесли бы с собой эти мимолетные гости, чтобы растерять их потом на пустыре, где неожиданно явившийся смерч сорвал бы с их языка эти тайны и растерял в пустоте! Ведь они, любопытные, непременно заглядывали бы мимоходом на кухню, на куст олеандра, увидели бы кувшин в нише, а через открытое окно — и темную смежную комнату и сразу бы разгадали, что там надежно прячется от Душана до сих пор, несмотря на то, что его уже пускали одного на улицу.

Амон пробежал из конца в конец весь коридор; вспуганный гудком машин, он возвращался обратно и бросался, играя, на ворота, распахивал их и мельком смотрел во двор, словно двор давал ему новое мужество для очередного пробега. Душан же пока прохаживался возле порога, а самые длинные его вылазки были от своих ворот до соседних — боялся белой дворняжки.

В самый первый его выход на улицу дворняжка, увидев незнакомое лицо, залаяла скорее от страха, чем отваги, и Душан, бледный, бросился назад, во двор.

— Ну отчего ты такой трусливый? Наверное, съел мозг овцы.— И стала бабушка винить во всем мать:— Ведь говорила же ей, следи, чтобы ребенок нечаянно не съел мозг.— Для нее же самой блюдо из жареного овечьего мозга было самой изысканной едой.

— Да не давала я ему ни разу, что я, не понимаю?!— оправдывалась мать, и ему понравилось объяснение бабушки: из мозга овцы переходит человеку вся овечья трусость и глупость.

— Почему же ты ешь, не боишься?

— Мне уже глупость не грозит...

Ответ этот нисколько не удовлетворил его, был он слишком похож на отмахивание от назойливости.

Значит, не только слова, называя одни и те же предметы по-разному, способны менять их облик, не только монеты, спрятанные в копилке, лежат там, превратившись в быка или петуха, но и живые существа без посредничества слов и монет могут передать свою сущность другим живым — стоит только полакомиться их мозгом. А что, если мама приготовит ему блюдо, приправленное мозгом петуха, — запоет ли он?

С этим вопросом он обращался теперь всякий раз, когда видел, что взрослые расположены говорить с ним, но едва он начинал, как они сердито вскакивали, обвиняя его в упрямстве, любви к фантазиям и бредням, ибо считали его уже вполне самостоятельным, способным самому во всем разобраться — что истинно, а что ложно. Так продолжалось до тех пор, пока он не подсмотрел на улице эпизод, взволновавший его больше, чем история со съеденным мозгом.

После полудня его уже не гнали в спальню и не стояли упрямо над душой, чтобы он уснул, дни стали прохладнее, и он понял, что его заставляли мучиться в кровати только из-за жары, теперь же он большую часть времени был во дворе и свободно, когда вздумается, выходил к воротам.

И вот в один из своих вольных выходов за пределы двора он увидел человека, идущего по коридору к широкой улице с горкой маленьких круглых хлебцев на голове.

«Должно быть, это пекарь», — подумал он, хотя знал, что пекарь, которому принадлежит их коридор и который, по договору с другими пекарями, обязан был торговать только в тупике, — старик. Ему нравилось смотреть, как старик, чуть пригнув голову, входил через их ворота, и хлебцы как приросшие друг к другу тоже наклонялись, затем горка опять выпрямлялась, когда он уже стоял во дворе, и пекарь, не снимая всю горку с головы, брал верхние хлебцы, чтобы передать бабушке. При этом он сам, видя, что его ловкость нравится Душану, подмигивал ему самодовольно, как жонглер после удачного номера, и уходил, оставив его мучиться загадкой. А это была действительно загадка — как может высокая горка хлебцев держаться на голове пекаря, притом идет он всегда быстро, забыв о своей ноше, руки сложены на бедрах и никакого напряжения на лице, ни ожидания,

что горка может развалиться, а ему надо быть всегда наготове, ибо хлебцы, упавшие на пыль улицы, наверняка уже никому не продать.

Он даже как-то попробовал — а вдруг получится! — удержать на голове два хлебца, только что купленных, но они упали и покатались по плитам, и бабушка, кажется, впервые так зло ударила его по рукам:

— Поцелуй быстро хлеб и попроси у него прощения, негодный!

От удивления он даже забыл рассердиться на бабушку за ее жестокость, а она, видя, что он стоит в нерешительности — как целовать, как просить прощения? — сама поцеловала пыльный хлебец, показала как и поднесла к его губам:

— Хлеб нельзя ронять, проси прощения! — И он поцеловал, хотя был уверен, что целует наверняка те монеты, которые отданы пекарю за хлеб и которые теперь превратились вот в такое наказание для него.

Зная, что урок этот ничему его не научил, бабушка в следующий раз сама попросила пекаря показать, как хлебцы держатся у него на голове, чтобы Душан успокоился и не стал больше пробовать.

Пекарь помрачнел, словно испугался, что теперь, когда он покажет, как этот фокус делается, мальчик перестанет с таким восторгом встречать его и затаив дыхание следить, как он достает верхние два хлебца, рассыплется горка или нет?

— Ну, извините его... — настаивала бабушка.

И пекарь, последний раз подмигнув Душану — прощайся с моей загадкой! — осторожно снял всю горку и, наклонив голову, показал кольцо, сшитое из материи и надетое на блестящую лысину, а когда старик ушел, бабушка объяснила, что хлебцы он носит на голове, чтобы оставались они такими же пышными, как вынутые из печи, и чтобы всегда имели аппетитный вид. Вот и весь фокус.

Этот пекарь, которого он увидел сейчас, был молодым, должно быть, сын того старика, и он тоже шел легко и непринужденно, удаляясь, и Душан уже хотел отвернуться и забыть о нем, но услышал вдруг крик ворон. Две вороны эти, сидевшие сейчас на заборе, нередко рылись в пыли тупика, отряхивая лапки, иногда залетали к ним во двор, нарушая договор двора с воробьями.

Он был уверен, что вороны крикнули для него, чтобы он позабавился, ибо едва он глянул на них, как они

бросились с забора на человека, несущего на голове хлебцы, схватили по хлебцу, сели обратно на забор, а затем молча улетели с ворованным, думая, наверное, что Душан остался в восторге от их проворства.

Человек на том конце тупика поднял руки, но горка наклонилась, и он не удержал ее, и хлебцы упали на песок. Он так и остался стоять, растерянный, схватившись за голову. Душан хотел бежать помочь ему, но, вспомнив нечто ужасное, закрыл ворота, думая, что человек, на которого напали сейчас птицы, сидит на песке и просит прощения у хлеба: «Хлеб ты наш милостивый, милосердный, тебе поклоняемся и у тебя просим пощады...»

— Бабушка, тот человек будет распят!

— Да, — сказала бабушка устало: одна мысль, что сейчас он будет требовать ответа на свои бредни, утомила ее. — Иди, погуляй еще...

Ему было страшно выйти и посмотреть на человека, который будет распят, и он остался во дворе, недовольный равнодушием бабушки.

После сказок Попугая любимым ее чтением была книга в кожаном переплете, тисненая золотом, она приносилась торжественно и так же торжественно уносилась после чтения и пряталась всегда в музыкальный сундучок под звон короткой и прелестной мелодии. Остальные книги (их было не так много, да и то почти все по медицине) стояли на полке, терпя пыль и духоту комнаты, написанное жадно ловило каждую струйку свежего воздуха, и оттого страницы книг раздувались и коробились, у этой же, которая особым своим свойством заслужила право лежать в одиночестве в сундучке, слушая музыку, в сундучке, где пахло мускусом и индиго, страницы всегда были свежие и прозрачные, так что казалось, что между буквами на одной странице и другой слой воздуха, и от воздуха этого страницы всякий раз меняли свой цвет, в зависимости от времени чтения.

Но чаще всего бабушка читала ему вечером, и от света электричества страницы становились матовыми с оттенком голубого. И не оттого ли история этой книги становилась для него еще более увлекательной? Он часто думал о ней, и вот теперь прочитанное бабушкой вдруг повторилось в реальности, когда увидел он, как вороны напали в тупике на человека и отняли его хлебцы.

Сейчас он ходил по двору и повторял про себя всю историю сначала, чтобы представить себе, что было с этим человеком до нападения ворон и что будет после,

до самого момента распятия. Правда, человек этот не был главным в истории, главным был Юсуф и его братья, но все равно надо вспомнить услышанное во всех подробностях, чтобы не пропустить эпизод с нападением птиц.

— Бабушка, сколько было у отца Юсуфа сыновей?— этого он не мог вспомнить.

— Одиннадцать!— крикнула бабушка, выглянув из окна.

Было у отца одиннадцать сыновей, но всех прекраснее был Юсуф. Решили за доброту и за любовь отца погубить его братья. Долго спорили, как умертвить, и вот придумали взять его с собой на охоту, а там бросили Юсуфа в колодец, а отцу сказали, что его волки растерзали. Отец стал слепнуть от горя, но Юсуф не погиб. Мимо колодца проезжал караван, и слышали торговцы стон из колодца. Спасли Юсуфа, а когда прибыли в свою страну, продали его в рабство. Жена вельможи, слугой которого был Юсуф, полюбила его...

— Как звали жену вельможи, которая полюбила Юсуфа?

— Зулейха!

Но Юсуф не любил Зулейху, и она решила отомстить ему. Сказала вельможе: «Юсуф хотел ограбить меня, спрячь его в тюрьму».

Вельможа поверил и бросил Юсуфа в подземную тюрьму, где сидели еще двое. Просыпается однажды один и говорит: «Мне снилось, будто несу я на голове хлебцы, и птицы бросились клевать хлеб». Другой вор говорит: «Мне тоже снилось, будто я выжимаю виноград, что бы это значило?»—«Это значит,— сказал Юсуф,— что ты, который выжимал виноград, будешь подавать своему хозяину вино, а ты же, кому снились птицы, будешь распят и птицы будут клевать твою голову...»

Душан вышел к воротам, тихо открыл их: человека, несшего на голове хлеб, уже не было в коридоре. Наверное, его распяли за то, что он не смог удержать на голове хлеб и он упал на землю. Ведь не зря же бабушка говорит часто: «Каким был хлеб в мои детские годы — ароматный, мягкий! А сейчас все хуже — и помол не тот, один обман...» И тут же, спохватившись, что ругает хлеб, еще раз подчеркивала для ясности, перенося гнев на пекаря: «Это пекарь плут...»

Бабушка наконец сдалась, утомившись от его настой-

чивости: «От чего ты умрешь?»— и, когда стояли они у ворот, сказала, показывая на высокий хвост смерча в небе: «От дьявола, он прилетит со смерчем и унесет меня...»— и пожалела, потому что теперь все вопросы его были только о нем, о дьяволе.

Он уже знал, что дьявол не человек и не зверь, удивительно расчетливый, он взял у того и другого все самое ценное для себя и сотворился; ум человека помогает ему в колдовстве, а язык заклинает, порицает, снимает запреты и освобождает, зато душа у него звериная, принимает самые различные обличья, чтобы не быть разгаданной и пойманной; а устрашает, плут, козьими рогами, бородой и хвостом, который может укорачиваться, удлиняться, словом, болтаться всякий раз в нужном размере, и, коль скоро ему приходится защищаться, презираемому и преследуемому всеми, на человечесьи руки он ловко приставил когти и, высунув их из-за забора, устрашает детей и хохочет.

Зная такой его облик — получеловека-полузверя, люди отказывают ему в родстве, делая это с таким отчаянием, будто их, людей, подозревают в тайной с ним связи, но и звери отмахиваются от него, приводя свои доводы и доказывая, что ум более подчеркивает принадлежность, чем душа, и что по человеческой речи дьявола скорее относят к людям, чем, скажем, по рогам и бороде — к животным.

Слушая все это, дьявол хихикает и, как бы примиряя людей и зверей, говорит, что принадлежит он всему роду живого и что сам он обиделся бы, если бы одна из спорящих сторон взяла его к себе в родство, отказав другой; он вездесущий, легко и непринужденно переходит от людей к животным и, наоборот, знает все их тайны и желанья и держит в своих руках все их связи.

— Каков плут?!— воскликнула бабушка.

И больше всего он удивился, когда она добавила, что в чем-то этот плут, такой мерзкий и страшный, бывает нужен людям. Взять, к примеру, лентяя плешивого, которого все вокруг зовут «дурак». Приходит к нему отец и говорит, что кто-то ворует дыни на их поле, и посылает лентяя проследить. Лентяй лежит между грядками и видит, как в полночь прилетает огромная птица, хочет взять когтями дыню, но лентяй хватается за лапы и летит вместе с ней, желая победить воровку упорством, наконец птица заговорила: «Отпусти ты меня, плешивый, а в награду я дам тебе маковое зернышко — оно

принесет тебе счастье. У царя дочь болеет, ты вылечишь ее этим зернышком и получишь ее в жены и полцарства в придачу». Птица эта, известно, заколдована дьяволом, дьявол любит ради забавы брать у зверей их души и передавать людям, превращая их в птиц, и наоборот, пускать души птиц в людей, а сам потешается от скуки — что из этого получится? Берет лентяй это зернышко — и отпускает птицу, идет к отцу: «Все вы смеетесь и называете меня дураком, а я царем стану». Отец не верит, в слезы, думает, как бы плешивый сын бед не натворил, а тот уже далеко от дома, к дворцу приближается. Во дворце и правда вокруг больной принцессы доктора спорят, но ей-то от этого не легче. Подходит дурак: «Я берусь ее вылечить» — и всех просит выйти. Принцесса поедает зернышко и на следующее утро — веселая, говорливая, как будто не болела больше года. Приходится царю сдержать свое слово и женить лентяя на принцессе и полцарства ему отдать в управление — повезло плешивому. А после их женитьбы и та птица снова превращается в человека, потому что был у них такой договор с дьяволом: если найдется кто-нибудь, кто не побоится схватить за лапы и летать с тобой, пока ты не взмолишься и не отдашь ему за свое освобождение маковое зернышко, тогда переселю я в тебя снова твою прежнюю душу...

Выходит, не будь этих дьявольских козней, плешивый лентяй никогда не нашел бы свое счастье, а всю жизнь звался бы дураком, — дьявол, сам того не желая, помог.

Это вполне здравое объяснение не успокоило его — ведь смерч должен забрать его пару и оставить его в тоске. Он скатал из глины шары, чтобы метать их в дьявола, едва тот приблизится к их воротам, чтобы унести бабушку, а сам, тайком открыв калитку, следил, когда же на пустыре за домом родится смерч.

Смерчи рождались часто, песок начинал ползти по земле, вбирая в себя сор — листья, клочья бумаги, вату, — тогда дьявол, вылезший из трещины на пустыре, весь еще в теплом пару недр, обкатывал со всех сторон песок, сотворяя из него столб, и поднимал его все выше, хвост смерча продолжал волочиться по земле, зато верхушка столба распускалась веером — и таким смерч покидал пустырь, чтобы потанцевать по улицам.

Едва смерч уходил из пустыря на промысел, Душан ждал его уже у своих ворот с глиняными шарами в руке, ибо думал он, что влажный шар, ударив дьявола,

обязательно отпечатает его тень на песке — сам дьявол, превратившись в птицу, сразу же улетит, зато Душан увидит, что попал в него, — дьявол оставит на песке свой силуэт, а сам, испугавшись, не вернется больше к их дому, чтобы забрать бабушку.

Дьяволы, видно, чувствовали эту угрозу и прямо с пустыря направлялись грабить на другие улицы, и долго в тупике их не было смерча, но вот один, самый дерзкий, все же забрел сюда. Распахнулись от сквозняка соседские ворота, и Душану показалось, что смерч вылез в коридор изнутри дома, — извиваясь, он уже плясал в тупике, вытягивая свой хвост из ворот и облизывая после мерзкого своего дела губы, как будто на них еще чувствовался вкус чьей-то души.

Ненасытный, он еще заглядывал верхушкой в другие дворы, перегнувшись на мгновение своим телом через стены, а хвост уже тянул в нетерпении к другим домам, — дьявол внутри вихря все время греб лапами, закрывая себя песком, там, где тело его могло обнажиться, песок кружился густо и плотно, а там, где дьявол мог задохнуться, он отталкивал от себя песок и так двигался к их воротам, посвистывая и веселясь.

Шел он не посередине тупика, а жался к стенам, и от дыхания его оставались на стенках влажные полосы, словно не надеялся он на зрение, а вынюхивал души, какая чем пахнет. Затем вдруг подобрал под себя хвост и улетел, прежде чем Душан бросил в него шар.

— Плут, — шепнул Душан, — плут! — ибо был уверен он, что дьявол понял его намерение и решил пока спрятаться и переждать — прилететь в следующий раз неожиданно и застать бабушку врасплох.

Душан побежал к тем воротам, откуда, как ему показалось, дьявол вышел, забрав душу. Постоял, напрягая слух, желая услышать плач и стенания, — ворота были уже закрыты, и он не решался толкнуть их и заглянуть вовнутрь.

Но ворота все же открылись, и вышла женщина, удивилась, улыбнулась Душану, узнав его, что-то сказала, легко так проведя рукой по его волосам. Но он промолчал, постоял с опущенной головой, затем пустился обратно и пересчитал свои шары.

Когда шары затвердели и стали трескаться, он вынес их за ворота и катал по тупику, мальчишки подсмотрели, всем это понравилось, и весь коридор вскоре был усыпан глиняными шарами, но случайный дождь намочил

их, проснулись утром, а вместо шаров — кучки глины под ногами.

Вечерами уже хор мальчиков пел в тупике — был сентябрь, месяц рамазан. Весь длинный сентябрь слушал он, как хор этот, вначале слишком робко, будто пробовали мальчишки голоса, пел все громче, переходя от порога к порогу и приближаясь к их воротам, — тогда он взбегал на крышу, чтобы лучше разобрать слова этой песенки, и сидел там, прячась, до тех пор, пока поющие не заглядывали к ним во двор.

Мы пришли к воротам вашим. Наша песенка проста.
В ней мы вам о том расскажем, что пришла пора поста.
Тридцать дней теперь мы будем к вам ходить по вечерам,
Вы свою похлебку ешьте. Ну а мы расскажем вам...

Они настаивали, чтобы их слушали тридцать дней, и каждый день одну и ту же песню, взамен лишь требовали внимания и благодарности, ибо хор возвращал многих к их детским годам и к их хору, к тому вечному хору мальчиков, из которого они уже ушли, уступив место своим детям и внукам. Но их слушали терпеливо не более двух-трех вечеров, от частого повторения слова песни уже не волновали, — бабушка спешила к мальчикам с горстью финников.

— Ну, будет вам! — прерывала пение, и каждый, получив финики, уходил, чтобы через минуту, остановившись у соседних ворот, начать снова — и в разноголоscopic хора слышен был теперь и голос Амона, — пока бабушка благодарила их, а хор кланялся в ответ, Амон успел выйти незаметно к воротам.

Послушав, как поет брат, Душан спускался потом с крыши, — неловко ему за то, что не разрешают ему пока петь в хоре мальчиков. Но этой осенью, когда он уже знал историю Юсуфа Прекрасного, запрещать не было смысла — услышав, что хор поет о Юсуфе, он почувствовал свое родство с мальчиками, понял, что он — один из них, хотя и были они из разных дворов, отгороженных друг от друга стенами, с опытом, непохожим на его опыт, ибо, должно быть, у каждого из них были свои правила в сговоре со своим двором, и то, что принималось одним двором, могло быть отвергнуто другим. Но как бы ни был он отгорожен от этих мальчиков, хор звал его к себе, манил, приглашал в свое сообщество

для долгого будущего братства. Правда, когда бабушка разрешила ему петь, мать и отец недовольно посмотрели на нее: «На горе себе рассказала о Юсуфе, и вообще дети врачей поют в дни поста...»

— Какой пост?— усмехнулась бабушка.— Прошли времена... Просто детские игры...

Была она права, навряд ли во всем тупике нашелся бы человек, воздержавшийся в дни поста от своего всегдашнего чревоугодия и перешедший на одноразовое питание после захода солнца, хотя бабушка уверяла, что воздержание только на пользу, ибо очищает человека изнутри для новой молодости, и что даже врачи теперь нередко лечат голодом.

Былого ритуала не осталось, зато остался месяц сентябрь, который возвращался каждый год, чтобы собрать хор мальчиков, остался ужин после заката — время, когда надо петь, осталась в памяти сама песня, и крыши остались такими же плоскими и широкими, как площадка, куда и поднимались в самые душные вечера, чтобы поужинать...

... Вы свою похлебку ешьте. Ну а мы расскажем вам,
Как из зарослей кашгарский выходил кричать петух.
Ранним утром звонкий голос пробуждал ваш сонный слух.
Ну а вечером — привет вам!— вновь у ваших мы ворот.
Поглядите — лунным светом скоро все вокруг зальет.
И тогда мы все увидим, что живется вам легко.
Тем, кто добр и благороден, до несчастий далеко...

Им не давали допеть. Те, кому лень было спуститься с крыши и прервать ужин, награждали их прямо сверху брызгами воды. Наклонялись над краем крыши женщины, веселые от сока винограда и смоквы, что бродил в их крови, смеясь, плескали на них ледяную воду, а мужья держали их за талии предупредительно,— этот неожиданный дождь, пришедший от избытка радости и доброты, приятно купал весь хор, капли охлаждали лица мальчиков, блестели на их волосах.

Казалось в такие дни, что весь город устроил свое вечернее пиршество на крышах, поднимешь голову, а наверху переговариваются тихо, протягивают руки через узкие тупики, чтобы угостить соседа чаем, финиками, и эта недолгая жизнь на крышах была создана для веселья и участия всех, знакомых и незнакомых.

А хор мальчиков пел им:

... Тем, кто добр и благороден, до несчастий далеко:

Благом в точь как у Юсуфа все закончится у вас.

Про Юсуфа наш короткий вы послушайте рассказ.

Жили-были десять братьев. Десять и еще один.

Десять были очень злые! Лишь Юсуф был добрый сын.

Раз Юсуфа на охоту десять братьев повели,

Там забросили в колодец. А потом домой пришли.

А потом отцу сказали:

— Брата волки растерзали...*

...И сказал Юсуф своим тюремным товарищам: вот истолкование ваших снов: ты, который выжимал виноград, будешь подавать своему хозяину вино, ты же, кому снились птицы, будешь распят, и птицы будут клевать твою голову. Царь страны тоже пожелал узнать, что означает его сон, а видел он, что семь тучных коров съели семь тощих, и еще приснились ему семь колосьев зеленых и столько же сухих. Но никто из вельмож не мог объяснить его сон, и тут на помощь пришел тюремный товарищ Юсуфа — сейчас он работал у царя, подавая ему вино. Вспомнил он о словах Юсуфа, сказанных по его поводу, и попросил царя послать за Юсуфом. Юсуфа привели из тюрьмы к царю, и он так толковал царский сон: будет семь лет отменный урожай на полях, но ты прикажи прятать зерно в амбарах, ибо следующие семь лет будет засуха, тогда ты сможешь накормить своих подданных припрятанным зерном. И Юсуф снова отправился в тюрьму.

Но случилось так, как сказал он: семь лет урожая и семь лет засухи, и тогда царь, вспомнив о Юсуфе, снова послал за ним, и Юсуф рассказал о своем деле. Зулейха упала перед царем на колени и попросила пощады за свои козни против Юсуфа, царь простил ее, а Юсуфу велел управлять всеми магазинами страны, чтобы зерно выдавалось людям в меру и чтобы хватило его на семь лет засухи...

Поглядите — лунным светом скоро все вокруг зальет,

И тогда мы вновь увидим, что живется вам легко...—

пел хор мальчиков, принявший в свое сообщество и Душана, и к ним выходили с горстью винограда, кланялись и благодарили, словно это поющие принесли им хорс-

* Вольный пересказ народной детской песенки.

шую жизнь, увиденную в лунном свете, и напоминания о далекой семилетней засухе лишь подчеркивали ощущение тихой, благостной жизни дворов, этого вечера с коротким дождем, смехом женщин, что подарили всем жизнь для полноты счастья...

Но вот прошел сентябрь, хор мальчиков не пел больше, и Душан теперь вместе со всеми готовился ко Дню Бабушки. Думала бабушка почему-то, что, как и ее мать, умрет она в шестьдесят три года, но вот прожила до семидесяти. «Нехорошо, ненормально,— злилась она во время споров о том, как лучше отметить этот день,— ведь не вступала же я в сговор с дьяволом, лучше уйти вовремя, чем задержаться...»

— Ну, кто говорит, что ты задержалась?!— в один голос кричали ей все, укоряли за невыдержанность, а Душан еще и добавлял:

— А ты, дьявол, не слушай!— словно мог плут обидеться на бабушку, махнуть на все и призвать ее сейчас же.

В доме теперь только и слышно было: садовник, монтер,— говорили эти слова несколько раз в день, ждали их прихода, словно два эти лица и должны были теперь заняться приготовлением ко Дню Бабушки, а все домашние вздохнут свободно, успокоятся и перестанут пререкаться между собой, как это случалось часто.

Наконец отец привел садовника, Душан весело взглянул на него, и что-то сняло его внутреннее напряжение, все остальные тоже облегченно вздохнули: бабушка и мама были довольны, что не оставили они без ухода заболевший виноградник. Душан же был рад, что садовника не распяли, вот он жив, пришел к ним с большим серпом в сумке, ибо был это тот самый человек, на которого напали в тупике вороны, когда нес он на голове хлебцы. Видно было, упавший на песок хлеб простил его, а распятым оказался другой, человек мерзкий и вороватый.

Весь вечер садовник размахивал серпом, большие лозы падали к его ногам, Амон и Душан подбирали их и складывали в сторону, чтобы поджечь потом. На срезах сразу же выступал обильный сок, и садовник обмазывал их красной целебной глиной.

А в смежной темной комнате, куда Душана по-прежнему не пускали, шла в это время тоже какая-то работа. Что-то передвигалось там, что-то переставлялось на новое место, бабушка стояла возле порога с лампой, и

освещала комнату, и следила, как бы Душан чего-нибудь не подглядел.

Когда садовник ушел, о нем уже не вспоминали, говорили теперь, где бы найти монтера, чтобы провел он электрический свет в смежную комнату. Затем мать и отец долго шептались, обсуждая, что же такое купить бабушке в день рождения, чтобы осталась она довольна.

Душан же ходил по двору и думал: как ему так незаметно разбить свою черепашку-копилку, чтобы собрать монеты. Казалось ему, что все будут жалеть копилку и сокрушаться, хотя и была она разбита с прекрасными намерениями,— пусть ему одному будет обидно, зато сбережет он другим душевное спокойствие.

Когда все были заняты каким-то важным делом, он поднялся на площадку крыши, повертел копилку возле уха и, услышав звон монет, решил. Черепашка упала к его ногам и раскололась точно по той линии, что скрепляла оба ее панциря; монеты, как ни странно, не рассыпались, словно приросшие к панцирю от долгого лежания внутри копилки, от бесконечных превращений в быка, петуха, наука, они блестели, наполнив половинки черепашки.

Теперь он уже спокойно прошагал по всему тупику и, дойдя до его конца, выходящего на шумную улицу, остановился, пропуская машины. Сюда он еще никогда сам не выходил, но благородная цель воодушевляла его, упрская за страх и неловкость.

Ему бы только перебежать улицу и немного пройти по тротуару.

Вдруг он догадался, что ему надо провести через улицу старика, который так же, как и он, стоял и ждал на обочине. Старик глянул на него и, видимо, подумал, в свою очередь, что надо ему помочь пройти мальчику, тогда он и сам будет в безопасности; желания старика и мальчика совпали и как бы придали им новых сил.

Возле магазина Душан попрощался со стариком, а сам зашел вовнутрь, к прилавкам. Продавцы разговаривали в пустом магазине, и он походил немного, осматривая товары, чтобы не прерывать их беседу.

Наконец один обратился к Душану, и мальчик высыпал на прилавок свои монеты. Продавец смотрел на них, не дотрагиваясь, удивленный и сконфуженный, словно были на них не два-три замысловатых рисунка, а рассматривал он силуэт того быка, что лежал раньше в копилке и не стерся еще до сих пор.

Потом он подозвал к себе другого продавца, и теперь оба они наклонились над монетами и застыли так. Они что-то сказали друг другу и, улыбаясь, глянули на Душана, затем первый продавец достал откуда-то красного сахарного петушка на длинной палочке и протянул Душану.

Душан взял петушка и вышел из магазина, а продавцы смотрели ему вслед, переговариваясь и прощая ему эту милую шутку,— ведь откуда им было знать, что бабушка, поощряя его всякий раз, доставала из музыкального сундучка не настоящие монеты, ценные на сегодня, а старые, времен эмира, считая, что подлинные монеты могут испортить его нрав, а бесценные — только превратить все в безобидную игру.

Пройдя немного, Душан не выдержал соблазна и лизнул петушка сбоку и, проглатывая сладкое, вспомнил вдруг, как вчера, когда бабушка весь вечер простояла у порога, освещая лампой смежную комнату, где работали отец с матерью, у лампы от долгого свечения прогорел фитиль,— бабушка сокрушалась и опять вспомнила о монтере, говоря, что, если он не появится завтра, она вообще откажется от его услуг и будет, как и прежде, пользоваться лампой.

Ему очень нравилось смотреть, как выходит бабушка, держа в правой руке эту медную лампу, разрисованную цветами, с коротким толстым стеклом, внутри которого светился огонек, свет освещал только половину ее лица, прыгал по плечу и волосам, а другую оставлял в загадочной темноте, и шла она, как будто со своей тайной, непонятная, со скрытым выражением лица, как идущий издалека человек, глядя на которого так и хочется отгадать, каким он предстанет пред тобой...

Душан вернулся в магазин, но продавцы, занятые по-прежнему беседой, не удивились, скорее даже насторожились, ибо теперь он явно мешал им.

— Мне фитиль для бабушки,— сказал он, боясь, как бы они не заговорили первыми и не отказали ему, и протянул назад петушка.

Они уже готовы были рассердиться, но что-то все же удержало их,— наверное, подумали, что раз уж начали так достойно игру, надо столь же достойно ее закончить.

— Больше не вернешься?— спросил один.

— Нет,— сказал он и покачал головой и положил петушка на прилавок.

Первый продавец снова нагнулся и достал из-под прилавка белый фитиль и отдал ему, а когда Душан ушел, заметил возвращенного петушка и пожалел, что мальчик оставил его, но выйти и догнать Душана было уже лень.

Всю дорогу в тупике Душан разглядывал фитиль, пытаюсь понять, отчего в нем появляется свет, делая все вокруг загадочным, а войдя во двор, спрятал фитиль.

Во дворе глянули на него сердитые лица, он поежился, словно пойманный на недозволенном, но, увидев возле ниши расколотый кувшин, успокоился, поняв, что между взрослыми произошла ссора из-за разбитого кувшина и что сердятся они не за его уход и столь долгое отсутствие, когда бегал он на запрещенную улицу.

Никто не думал о нем и когда он мылся перед сном, и когда зашел в комнату, чтобы лечь и помечтать немного о завтрашнем дне, когда все станут с утра дарить бабушке подарки...

Бабушка прошла мимо него в смежную комнату и больше не выходила оттуда, сколько бы он ни ждал, напрягая слух.

— Господи, наклони ухо свое,— услышал он потом ее шепот,— ты видишь, как я намучилась, со мной поспорились, разбила я кувшин, платок не так выкроила, хотела прогнать кошку, а на крыше нашла его расколотую черепашку, обманула мальчика с монетами и еще с монтером этим переругалась...— Говорила она так, словно слушатель, от которого ждала она участия, стоял, наклонив ухо, и внимал.

Он хотел еще что-нибудь услышать из того, чего он не знал и что произошло в доме в его отсутствие, но бабушка молчала, и тогда он вдруг почему-то решил, что, должно быть, она умерла, рассказав всю тайну своей жизни, как будто нарочно ждала этого часа, чтобы выговориться, убежденная, что после этого словесного освобождения она уснет навсегда.

Тихо открыл он дверь смежной комнаты и, нарушив запрет, вошел туда, в страхе и беспокойстве, без того удивления, которое приходит в его душу всякий раз, когда раскрывает он что-то, что было от него закрыто до сих пор дымкой тайны. Просто на удивление не хватило времени, и он наклонился над лицом бабушки, а потом еще и ладонью проверил и, почувствовав слабое, влажное дыхание бабушки, положил возле ее подушки

фитиль и, довольный своей ловкостью и незаметным коротким пребыванием в комнате, вышел.

Он понял теперь, почему бабушка осталась здесь ночевать — она сменила себе комнату, чтобы прожить следующие десять лет, — ведь говорила же она недавно, что никто и представить себе не может, как надоели ей стены ее комнаты, смотреть на них не может без ненависти, ни тепла в них, ни прохлады, словно неживые они, отвергают ее, не утешают, не украшают существование, и что ждет она свои семьдесят, чтобы перебраться в другую комнату, которая будет согревать ее и успокаивать новые десять лет, — и такой комнатой для нее стала эта, смежная.

Наверное, так заведено, не показывают новую комнату другим, чтобы она не привыкла к другому, запрещают смотреть на ее стены, дышать ее воздухом до тех пор, пока не переселится туда истинный ее хозяин, поэтому и не разрешали Душану заглядывать в темную смежную комнату.

Довольный тем, что теперь он понял эту простую житейскую мудрость и что купил фитиль, и почувствовал сейчас живое дыхание бабушки, своей пары, и умиротворенный мыслью, что будет жить она еще следующие десять лет до нового переселения, он стал засыпать тихо, без частого вздрагивания и ночных страхов, ибо все дни, которые он был на этом свете, казались ему ничем не омраченной идиллией...

II

Ему удалось теперь освоиться и со своей улицей. Она казалась поначалу миром без четкой формы, ощущал Душан улицу через ее свет и тепло, запахи; летом — ослепительно белый мир, помещенный в узкий коридор, где духота, уплотнившись, густая, шевелилась мушками перед глазами, искажая линию стен, полукруги поворотов... В носу сухо, рот закрыт ладонью, чтобы не глотнуть нечаянно этого вязкого, терпкого на вкус вещества — зноя, в глазах режет, и нет им защиты от солнца, ибо брови и ресницы иссушены, ломкие, едва зажмуриться или скривишь лицо, передразнивая кого-нибудь, — осыпаются; лето дано для того, чтобы ощутить себя, понять, чем ты слаб — дыханием, зрением, а чем силен, чем ловок — ногами, слухом.

Он смутно понимал, что мир великодушный, не желая показывать превосходство, стер свою форму, улица притаилась, еле дыша и скрывая в густоте зноя свои линии, для того чтобы подчеркнуть его, мальчика, форму, ошущая которую так хотелось Душану перебороть слабости тела. Вот новое испытание, настраивающее потом на философский лад: уход далеко от дома в жару, чтобы научиться дышать маленькими глотками и подолгу задерживать в себе воздух. Удивительно, ведь когда выпускает Душан обратно воздух сквозь пальцы, чувствует, как заметно он остыл внутри, приятно освежает лицо, мальчик улыбается, отвернувшись, чтобы скрыть от прохожего тайну своего открытия,— жара делает всех на одно лицо, с одними желаниями, и людей, и горлиц, и деревьев, а эта тайна с маленькой прохладой выделяет его из всего и по силе и независимости ставит рядом с независимостью самой луны, от которой ночью, если долго не спать и смотреть на нее, приходит прохлада.

В нем борются эти чувства — независимость и сострадание, ведь если собрать всех людей и заставить вдыхать, задерживая в себе, а потом разом выдыхать воздух — станет вокруг намного прохладнее. Зимой — наоборот, и, должно быть, негры, у которых нет зимы и лета, знают этот секрет. И глупо бояться черных, слишком черных людей, и когда уже перед самым сном черный человек, прячущийся с вечера в винограднике или в нижнем дворе за кустом олеандра, наклоняется к нему и дышит, Душан засыпает, понимая, что негр, знающий, как и он сам, тайну прохладного воздуха, не сделает ему плохого. Он станет над его головой, положив одну руку на спинку кровати, ногу поставив за ногу, — на негре шляпа с длинными изогнутыми полями и в руке трость — и будет смотреть и улыбаться, и длинный ряд его зубов, мелькнув во мгле, усыпит прохладой.

Бабушка сказала, что души насильно умерщвленных, улетая на луну, возвращаются оттуда доживать, превратившись в негров, вот отчего негры всегда остаются детьми и много пляшут, они почти ничего не носят, и тело у них черное, как будто они валялись в пыли улицы, как мальчишки.

Сейчас, когда стоит негр с тростью, как телохранитель у изголовья, вспоминаются обиды после этих весенних драчек в пыли улицы. Выйдешь к воротам, а тебя уже ждут, стоят вдоль стены, вытянув вперед острые носы и подбородки, — в глубине глаз притаилась

усмешка,— а когда один бросается, а другие подбадривают криками, прыгая вокруг, Душан не чувствует ни страха, ни радости — весенние драчки на теплом воздухе маят упругим телом, горячей кровью. Страх приходит потом — мимо этих ворот надо проходить тихо и осторожно, мальчик, выбежав со двора, положил его на обе лопатки, зато живущего в этом дворе он сам повалил и оставил в позоре на песке.

Но домов, мимо которых надо проходить не дыша, с опаской, больше на их улице, чем ворот, на которых Душан мысленно поставил знак победы — трость негра, и отсюда желание побороть неловкость, слабость, чтобы к следующей весне та часть улицы, по которой шагал бы он без страха, стала длиннее.

Задание себе: прыгать каждый день по плитам двора до ста раз, не обращая внимания на запрет бабушки:

— Не прыгай! Стряхнешь с себя дух детства... Глупый, когда поймешь, что каждый возраст имеет свою прелесть — и детство, и отрочество, и время мужества, и старость — ведь пожалеешь. Не надо перепрыгивать, надо прочувствовать всю длину жизни...

Но он выдерживает до конца — и после ста прыжков падает усталый на кровать, думая, что быть взрослым все равно что быть усталым, ведь недаром бабушка любит приговаривать: «Да, жизнь утомляет...»

После переселения в тайную смежную комнату — в ней стояла кровать бабушки и низкий, ниже кровати, резной, с голубыми ножками и покрытый перламутром столик, на котором лежали бабушкины очки и ее книжка-вопросник, словом, ничего теперь загадочного и привлекательного для Душана,— все думали, что болезнь, о которой часто говорит бабушка, останется в старой комнате и не перейдет с ней. Но смежная комната не признала бабушку; принявшая смерть деда, она, видно, жила воспоминаниями о нем, а может, всерьез думала, что дедушка, превратившись в своей новой жизни в птицу, вернется, залетит в окно и сойдет между рамами гнездо и будет жить, довольствуясь теснотой, а комната согреет ее, заслоняя от дождя и солнца. Но что бы ни думала смежная комната, была она неудобной, бабушка жаловалась, что стены сырые и что плохо она проветривается, мама и отец уговаривали бабушку уйти из этой комнаты туда, где родился Душан, ее любимец, и от любимца перейдет ей бодрость и здоровье, а смежную в

наказание оставят без жильца и теплого дыхания, чтобы покрывшись потолок паутиной и плесенью,— ведь нет большей кары для комнаты, не принявшей человека, чем стоять всегда в темноте и не слышать скрипа собственных дверей, блестящих окон, которые открываются утром; нет большего позора, если не может она прогнать пауков, которые в отместку за ее прошлую благодетельную жизнь выют перед ее глазами свою паутину.

Но бабушка не соглашалась, кашляла и терпела, говорила, что дело не в комнате, а в ней самой. Если ей не спится, вспоминает она дни, когда огорчала дедушку грубым словом, злым взглядом, и вот комната, принявшая смерть деда, все чистое и доброе отпустила с его душой, а грубое и мерзкое оставила внутри своих стен, чтобы укорять потом бабушку.

— О, как трудно быть лучше, как легко пасть,— говорила она, когда отказывалась переселиться на новое место.

Теперь она редко на кого злилась, говорила тихо и кротко, и Душан обижался, видя, что перестала бабушка быть его сторонницей. Приходил с улицы, побитый мальчишками, а она, вместо того чтобы броситься за ворота, успокаивала: «Ты их прости, ладно, прости», наклонялась, сжимая его руку: «Прости»— и таким умоляющим тоном, будто взяла на себя всю их вину и просила простить ее, а не их. И отца она неожиданно полюбила и, если видела, что Амон или Душан непослушны и грубы с отцом, внушала им: «Нельзя так, ведь это ваш отец»— и Душан думал, что действительно нельзя грубо с отцом, может случиться как с бабушкой — комната отца будет укорять его всю жизнь и беспокоить.

В воскресные вечера бабушка читала отцу по-арабски свою книжку-вопросник, и они спорили, но не как раньше, а тихо и дружелюбно.

— Интересно, а что там сказано об анатомии человека?

Бабушка читала:

— «Хорошо,— сказал лекарь.— Расскажи мне об основе жил».— «Основа жил,— отвечала девушка,— сердечная жила, и от нее расходятся остальные жилы. Их много, триста шестьдесят. Аллах сделал язык толмачом, и глаза — светильниками, и ноздри — вдыхающими запах, и руки — хватающими. Печень —местилище милости, селезенка — смеха, а в почках находится коварство...»

— Это истинно,— говорила бабушка, закрыв вопросник и поглаживая его кожаный синий переплет,— я утихла и умиротворилась с тех пор, как заболела почками.

— Выходит, больной печению утрачивает доброту?— снисходительно, с высоты своих ученых знаний, улыбался отец.— Наука, которая со времен этого вопросника стала знать все или почти все, утверждает, что не в почках дело. Вернее, так: человек с больной почкой может быть страшно коварным, таким же коварным, как и со здоровой печению. Дело не в этом...

— В чем же?

— Вопросы характера, нравственности зависят от воспитания. Конечно, это...

— Какой же вы утомительный, доктор Но-Шпа,— говорила бабушка, вставая и прекращая спор до следующего воскресного дня.

— Поразмышляем неделю, поразмышляем,— следом вставал отец, казалось совершенно не обративший внимания на то, как назвала его смешно бабушка: доктор Но-Шпа, хотя в те дни, когда бабушка впервые так к нему обратилась, отцу это нравилось, и он, довольный, повторил про себя несколько раз: «Доктор Но-Шпа, звучит! Где-нибудь в Японии или Малайе — нет, а у нас на дверях кабинета: «Уролог доктор Но-Шпа» — все валят из любопытства...»

А появилось это слово в доме в то время, когда бабушка пожаловалась на боли в почках, перепробовала все средства, не легче, и отец сказал:

— Попринимайте но-шпу, поступило к нам новое лекарство.

— Что-нибудь японское или корейское?— заинтересовалась бабушка, сдержанно относящаяся ко всему, о чем говорят «новое», тем более если это новое имеет отношение к лечению.

— Да нет, химическое. Европейские таблетки...

— А называется как имя человека...

— И название хорошее, и само лекарство,— уговаривал отец, и, видя как искренне старается он угодить, бабушка кротко сказала:

— Боюсь я твоего лекарства, доктор Но-Шпа, не обижайся...

Всем понравилось, как закончился этот их разговор — любовно, по-родственному,— раньше бабушка обяза-

тельно упрекнула бы отца, съязвила: «Неужели ваша школьная книга мудрее жизни?»

Душан переживал теперь сложное чувство — довольство тем, что отец и бабушка полюбили друг друга, и ревность — ведь видел он, что пара его все больше удаляется, редко прикасается с ним душевно, а история из «Хазори як шаб»* так и осталась недосказанной. Но откуда было ему знать, что бабушка отдаляется от него скорее инстинктивно, из охранительного желанья тишины и покоя, ибо не хотелось ей тратить на игры, на шум и суету с ним остатки сил, — дерзость или честолюбие, ревность или упрямство, — все, что почти каждый день обнаруживалось в Душане новое, должна была сглаживать мать, чтобы дурное и хорошее в его характере держалось в гармонии.

В доме часто можно было слышать:

— Не шумите! Бабушка себя плохо чувствует... — Но Душану казалось, что слова эти всего лишь запрет, ничего серьезного и тревожного нет, ведь как может быть плохо бабушке, которая сидит с ними, ест с ними, ходит, встречается с соседками, и все вокруг, к чему она прикасается, с чем общается для того, чтобы чувствовать себя живой, — здоровое и жизнерадостное?

Но иногда все же он ощущал странное беспокойство, сонливость, если сидел рядом с бабушкой. Его удивляло: почему в бабушке нет больше запахов, когда наклоняется к нему, чтобы прошептать что-то. И не только рот ее ничем не пахнет, как у младенца без зубов, но и руки, платье, вся она будто без плоти, сделанная из соли или чистого песка, который неприятен тем, что, нюхая его, ничего не чувствуешь и не ощущаешь — ведь все живое и здоровое, кроме цвета и формы, имеет еще и запах.

А бывали дни после буйных игр и дерзких выходов, когда и Душан делался тихим и печальным песочным человеком, как бабушка. Просыпался и долго лежал в постели, чувствуя, что пропали у него желанья, внутри тихо и хочется беспричинно плакать, ибо ничто не отвлекает от тоски, которая всегда, как черный прямой столбик, внутри человека — от пяток до корней волос на голове — и на которую, как объяснила бабушка, наннзана душа. И вот в дни, когда столбик этот, наполненный до краев, пошевеливался внутри, Душана тянуло в

* Книга сказок «Тысяча и одна ночь».

комнату бабушки. Красные шары на потолке раздражали его, на красном одеяле он не мог уснуть, а от желтого болела голова, и эти цвета были теперь тягостны, и только голубой и зеленый — цвета комнаты бабушки — успокаивали ощущением уединенности и заботы. И тогда, казалось, он понимал смысл слов бабушки: человек более всего чувствует себя защищенным, если долго живет в окружении одних и тех же вещей — столетней кровати, как у нее, старого шкафа, привычные вещи продлевают жизнь, а все, что часто меняется перед глазами, утомляет и беспокоит своей временностью, намекая на тщетность всего, что в человеке и вокруг него.

Глядя на печального Душана, который уходил от всех к бабушкиной кровати, покрытой голубым одеялом, прохладной и мягкой, мать не знала, как помочь сыну, чем развеселить: «Что тебя беспокоит? Ну почему ты такой?» — и злилась на бабушку, когда та говорила:

— Да не трогайте вы мальчика, ему и это надо...

— Но ведь он страдает, я вижу!

— В страдании и одиночестве и рождается душа, не мешай ему. Скоро пройдет, и он опять захочет радоваться...

И вправду, это странное состояние проходило, и он просыпался полный желаний быть со всеми, тело снова пахло загаром, как будто в суете улицы он растратил душу, а уйдя в себя, одинокий, опять наполнился, и теперь в красоте веселья и нгр тело его должно чувствовать свою силу.

В заботах каждого дня никто из взрослых не проследил начала той поры, когда Душан стал удаляться все больше от двора, виноградника, куста олеандра, темной смежной комнаты — мира, где он родился и к которому так долго и мучительно привыкал, прикасаясь душой, и который понял и принял его как родного.

Ничто уже не волновало в пространстве дома, он все освоил и узнал во дворе и на крыше, все открыто, отовсюду снят запрет, музыкальный же сундучок оказался самой банальной вещью, вместилищем пуговиц многих времен — костяных, стеклянных, медных, пластмассовых — и документов разных лет, ненужных, с бессмысленными теперь надписями, лежавших как приложение к пуговицам.

Он давно позабыл обо всех своих договорах со двором, тайных шепотах с кроватью дедушки и клятвах олеандру, трезвый и высокомерный, смеялся над своими

вчерашними страхами, не понимая, что, оторвав все это от сердца, он больше уже никогда не вернется к прошлому, разве лишь в воспоминаниях,— не взволнуется, не возрадуется, а жить прошлым, как живет бабушка,— скучно и тоскливо, как бывает скучна ее мудрость, дремлющая в воспоминаниях.

Однажды, когда Душан вернулся с улицы после игр, весь белый от пыли, и его стали купать, мать вдруг поразилась, не узнав его кожи. Детское, холеное исчезло с его тела, и мать даже всплакнула, почувствовав по сухим складкам на шее сына, по смуглым грубым рукам, по всему его облику, что удалился от родных и что прозевали они час, когда мир улицы, где, по словам бабушки, дьявол чувствует себя безнаказанным, стал забирать мальчика и уводить все дальше от семьи.

«Уличный мальчишка»,— говорила теперь мама, когда злилась на него, не зная, что и улица не приняла сына до конца и что за воротами Душан нередко чувствовал себя одиноким, понимал, что мальчишки не полностью доверяют ему, видя, что бывает он мрачен, угрюм и высокомерен, бегаёт хуже других, устает и что нет у него простоты и легкости в общении. Видя, как он важно вышагивает возле ворот в белой рубашке с наглухо застегнутым в жару воротом, даже взрослые не могли не улыбнуться желанию Душана выделиться, и кто-то назвал его «маленький имам»*.

Упрямый и обидчивый, он сказал себе: все, что за воротами, принимать близко к сердцу не обязательно, если любовь к дому и родным — долг, то перед улицей, когда смеется она над тобой, можно захлопнуть двери и уйти в себя, обидели — несколько дней выдержать, не выходить, пока не забудется обида или же виноватые мальчишки не позовут обратно к себе и не признают его права быть равными с ними во всем — играх, дерзких и грубых выходках. Те два или три дня, когда он добровольно заточал себя дома, вовсе не были скучными и нестерпимыми, как для Амона, если его в наказание не пускали за ворота. Душан воображал себя Юсуфом Прекрасным, брошенным злыми братьями в колодезь, но поднявшимся благодаря страданиям на такую высоту почета и уважения. И вот, прочувствовав весь этот путь — от унижения до возвышения, с каким удовольст-

* И м а м — духовный наставник.

вием спешил Душан потом простить братьям, и это чувство сострадания и доброты к прошенным было столь сильным, что он плакал, переживая втайне, перед сном,— ведь, причинив ему страдания, братья тоже пострадались, и как прекрасно, что не мстит он мелко, а прощает...

Если мальчики стучали в ворота и звали его опять на игры, маленький имам с удовольствием замечал по их лицам, что, хотя и считают его слабым, нелюдимым, смеются, все же не хватало им той доли мягкости и доброжелательности, которые Душан вносил в их среду своим присутствием, искренне страдая над поранившим руку, над избитым или обманутым. А в те минуты, когда пересиливал всегдашнюю робость и рассказывал истории из «Хазори як шаб» и видел, как братья, которых он простил великодушно, смотрят на него как на самого умного и знающего, радости его не было предела, и Душан смущался, чувствуя, что не выдержать ему на лице строгости, какая бывает у наставника.

Брат Амон был со всеми; сильный, простодушный, он легко сходился и с мальчиками и со взрослыми и не выделялся ничем в своей компании учащихся, местом сборищ и игр которых был тот самый пустырь за домом, где рождались песчаные смерчи, эти скрытые дьяволы. Об Амоне отец любил говорить: «хозяин жизни», Душан же своей впечатлительностью себя утомляет и всех вокруг. И может быть, из-за этого различия Амон очень рано почувствовал неприязнь к брату — ведь окружающие не только отталкивали Душана от себя, но к нему и тянулись, ибо у всех было такое ощущение, что маленький имам личность более интересная и загадочная, чем Амон.

Часто злило Амона то, что не признавал Душан власти старшего брата, делал вид, что не нуждается в уличных играх или драчках в его поддержке, и вообще упрямо сторонился всюду Амона, смутно понимал, что стоит хотя бы раз поддаться влиянию старшего, как ничего не останется в нем такого, к чему тянулись мальчики, прельщаясь его спокойствием, чувством собственного достоинства и умом.

— Мне стыдно быть братом слабого,— говорил Амон.— Думаешь, мне не обидно слушать, как все кричат, толкая тебя к воротам: «У маленького имама зуб шатается, у маленького имама штаны лопнули!» Хочешь к нам в компанию? Мы бегаем к бане, и сзади, где по-

валенный забор, есть дырочка на мутном стекле, и мы смотрим, как купаются женщины...

Душан не понимал, что в этом интересного — подглядывать тайно, как купаются женщины, зато он видел, что, если учащийся приводил на пустырь своего младшего брата или соседского мальчика, еще не доросшего до школы, младший во всем ему прислуживал, бегал за водой, лез на тутовое дерево за ягодами. Ничего, правда, нет дурного в том, чтобы сбегать домой за водой для брата, но ведь это не похоже на простую любезность, старшие говорят грубым, небрежным тоном, желая показать свою власть. А как можно быть подчиненным в одной компании, если в другой тобой нередко восторгаются?

Смотреть же на женщин в бане — запретно, непристойно. Разве может это зрелище купальниц так взволновать, как слова женщины, которую Душан уже несколько раз видел на улице? Когда он поливал вечером возле дома, чтобы было прохладно, эта женщина в зеленом платье долго смотрела на мальчика, и мальчик почувствовал, что нравится, — и сказала: «Жаль, ты не мой брат, я бы тебя очень любила...»

Душан от смущения зашел в дом, зато в следующий раз выдержал, когда увидел, что идет она издали, сделал спокойное и нарочито равнодушное лицо — в ожидании встречи много раз учился этому выражению перед зеркалом, — а женщина улыбнулась, и Душан потом долго смотрел ей вслед, жалея, что у нее нет брата.

Сколько трепетного в этой его тайне: «Жаль, ты не мой брат, я бы тебя очень любила» — об этом никто не знает, кроме него и женщины, грубо не шутят, не смеются, и это ожидание ее у ворот и ее взгляд — все можно беречь от пробуждения до сна, жить со всем этим, забывая обиды.

Странное чувство к прохожей женщине, и не столько к ней самой, сколько к сказанному ею, не давало уснуть; летом его кровать была вынесена на верхнюю площадку двора, и Душан пытался отвлечься, думая о том, как не похожа тень луны на тень солнца днем, — ему казалось, что вместе со светом луна посылает и свою тень, и она ложится, зацепившись за листья виноградника или за ставни, а потом улетает, снятая дуновением прохлады, — и тогда кровать открывалась для тревожного и неуютного света, и когда мальчик не успевал заснуть в спокойной и мягкой тени, знал, что про-

зевал свой час, и теперь, если бабушка не примет его к себе в постель, не уснет до рассвета. Тень луны синеватая, густая, можно просунуть в обе руки и не увидеть ее, и рука будет пахнуть пылью, солнце же стоит и само сжигает собственную тень, оставляя лишь слабое ее отражение, и, когда днем бежишь по улице, хрустит соль во рту, будто тень, которую сожгло дотла солнце, была соленая. Луна всегда живая, торопится, забирая с собой тень, солнце же может стоять на одном месте с утра до вечера, потом неожиданно скатиться, но, если луна не выйдет и не уйдет, раздаривая прохладу, не взойдет и солнце, безжалостное и терпеливое,— Душан хорошо понял.

Все это заботило его и в ту ночь, когда он лежал и не мог вспомнить, куда спрятал свою старую копилку-черепашку. Думал с вечера положить к себе под кровать, чтобы утром, сразу после сна, вынести черепашку за ворота, где его будет ждать мальчик, такой же глупый, как Душан тех времен, когда страстно копил он монеты. Мальчик этот после лихорадки сидел у своих ворот, желтый и тихий, и, чтобы как-то взбодрить его, Душан сказал, что подарит ему копилку, а когда желтый на минуту посветлел, а затем опять притворно заскучал, сказав, что копилка без монет все равно что живот без еды, а родители его люди жадные, Душан пообещал тихому, что, если достанется ему за что монета, не истратит, а принесет в его копилку,— плут тогда согласился.

«Она лежит, наверное, в правой нише лестней комнаты»,— подумал Душан и решил сейчас же принести ее, чтобы спокойно уснуть. Но не так-то просто пробраться сейчас к лестней комнате, и, хотя окна ее выходят сюда же, на верхнюю площадку, где спит Душан недалеко от кровати бабушки и матери, чуткая бабушка может проснуться от его нечаянного шороха и вскрикнуть — ужас, ей покажется, что, поставив с улицы на стену длинную лестницу, прыгнули к ним во двор ночные воры в ватных сапогах,— испугается не только мама, вторя голосу бабушки, проснутся отец и Амон, спящие на нижней площадке — так далеко будет слышен шум суматохи. Мужчины, делая вид, что ничуть не испугались, бросятся зажигать свет, чтобы лучше все видеть... Когда Душан тоже спал на мужской половине двора, справа от кровати отца, он часто ждал, что вот наступит такая минута, когда им надо будет спасти женскую половину двора от позора и ограбления,— и тогда он поймет,

храбр отец или нет, и как поведет себя Амон, который все время желает подчинить его себе. Наслушавшись рассказов о ночных ворах, которые уже с вечера ходят по улицам с длинными лестницами и высматривают, куда бы их потом поставить, и носят в чемоданчиках свою ватную, бесшумную одежду, Душан лежал и смотрел на стены, думая, что вот покажутся сначала руки, а затем и голова в ватной феске — поговаривали, что водит своих разбойников Джавад-турок, — прислушивался, не продолжится ли шорох, и, намучившись, крался потом с нижней площадки наверх и ложился, прижавшись к бабушке, и засыпал быстро, наверное, оттого, что бабушка, которая больше всех боялась ночных воров, должна была утешиться от прикосновения его тела и, успокоившись, утешить мальчика ответно.

Первое время бабушка умиленно вскрикивала, найдя его утром в своей постели, потом решили перенести его кровать к женщинам, и Амон сказал:

— Я давно понял, что он тайная женщина... когда в общей бане он засмушался и пожелал мыться в трусах.

Конечно же, Амон еще раз съязвит, и не без удовольствия, если вот сейчас он заденет в темноте что-то угловатое, неправильно стоящее, и, проснувшись, все увидят, что это не Джавад-турок ползет к летней комнате. Только надо выдержать, не смотреть на маму и бабушку, слышал он, что от напряженного, испуганного взгляда просыпаются даже очень крепко спящие.

У порога комнаты Душан хотел было подняться, но вдруг испугался, услышав в комнате шепот отца, подумал: значит, что-то случилось, раз отец и мать не спят в своих постелях во дворе, а уединились в темной комнате, чтобы никто не узнал об их тайне. О чем же они говорят и что такое делают, чего не должен видеть ни он, ни Амон, ни бабушка, — странно и загадочно. Душан полежал, не шелохнувшись, а когда снова услышал шепот отца и вздох матери в ответ из глухой глубины, маленькая, скорее прочувствованная, чем понятая, догадка заставила его устыдиться того, что он мог бы узнать недозволенное, запретное из мира родителей, — а когда Душан опять был на своей кровати и лежал, желая поскорее уснуть, чтобы не слышать, как отец и мать тихо выходят во двор и идут каждый к своему месту, мать — недалеко от Душана, отец — на нижнюю площадку (однажды уже он видел сквозь сон, как бесшумно выходят они из летней комнаты, но не задумался, как сейчас, над

увиденным), неожиданно понял, что случилось нечто страшное — ушла тайна их имен, он отчетливо услышал среди шепота и отдельных, по забывчивости громко сказанных слов, как назвал отец мать «Мастура-апа» и мать тоже сняла запрет с его имени: «Равшан-ака»*, и, хотя Душан уже раньше знал эти их имена, казалось ему, что они не подлинные, так назвались родители для повседневной жизни, а подлинные имена свои они не называют даже себе вслух. Но, может, даже в день свадьбы они не решились шепнуть друг другу свои подлинные имена, боясь, что вот пройдет много времени, любовь уйдет и захочется кому-нибудь из них со зла сделать другому вред — узнают, что рождается у соседней младенец, пойдет отец и продаст им тайное имя матери, подаренное ему в день любви... Глупо ведь так думать, и все оттого, что не может он сейчас уснуть и боится увидеть, как выходят они. Но почему же они обращаются друг к другу так обыденно, по-уличному, как все? Может, они услышали, как ползет он к летней комнате, и, чтобы обмануть его, назвались так? А сейчас, когда мальчик в своей постели, они снова шепчут заветные, тайные имена, редко и осторожно называемые, и в такие минуты, когда они так счастливы и беспечны, что не боятся открыться и умереть.

Поразило его еще то, как мать, обращаясь к отцу, называла его не только «отец Амона», скрывая имя, но и «братом Равшаном», не мужем, а он ее не женой, не «матерью Амона», а «сестрицей Мастурой», хотя все это было очень странно, ибо знал Душан, что сестра не может выйти замуж за брата и нежелательно даже, чтобы брат взял себе в жены кого-нибудь из дальних родственников.

Ведь сказал же Душан как-то со злости матери, когда не мог уже терпеть насмешек Амона:

— Зачем вы не родили мне сестру?— И когда мать пыталась узнать, к чему это он сказал так, а Душан не желал, как всегда, жаловаться на брата, пояснил:— Я бы женился на ней...

И тогда мать долго объясняла ему, почему нельзя жениться на единокровной сестре, но он так и не понял, и казалось Душану, что родная сестра была бы самым лучшим другом, ибо, выросшие у одних родителей, они были бы так нежны и внимательны друг к другу, как никто чужой, даже если этот чужой и полюбил бы.

* А п а — сестра, а к а — брат.

— Аленушка, сестрица моя!
Выплынь, выплынь на бережок...
— ...Ах, братец мой Иванушка!
Тяжел камень на дно тянет...—

не мог забыть он услышанное в одной русской сказке.

Наверное, думал Душан, матери было бы куда лучше, если бы ее мужем стал родной брат, а не «отец Амона», человек, которого она совсем не знала до той поры, пока не стала его женой, и не есть ли это их игра, договор — в особые, приятные минуты называть друг друга не мужем, не «отцом Амона», а братом, сестрой? Как будто знали они друг друга всегда, родились и росли в одном доме, одинаково любимые, и с полученной и нестраченной любовью воображают себя в игре счастливыми. Ведь какая мука с человеком, которого любили не так, как тебя, больше обижали, обманывали, такие люди, объяснила бабушка, растут вечно жадными и ненасытными в любви, озабоченными только собой.

Может, Амону тоже не хватает любви и потому он так дерзок с Душаном? Ах, если бы столько любви чувствовал к себе Душан, если бы ему было так просто и хорошо со всеми, как Амону? Чего еще хочет брат? К Душану приглядываются внимательно, его приходят послушать, тот мальчик, которому он подарил копилку-черепашку, верно выразил то, что чувствовали к маленькому имаму все: «Спасибо, я тебя уважаю», Амона же любят, и неужели любовь хочет властвовать, иначе и не назовешь то, как ведет себя с ним брат, если взрослых нет дома, — чувствует себя довольным, когда садится на Душана и заставляет его ползти по двору, нарочно придумает такую игру, чтобы Душан проиграл, а Душан старается благородно не заметить его хитрости.

Бабушка изумленно заметила, что не Душан, а Амон с возрастом все больше становится похожим манерой говорить, походкой и даже выражением лица на деда-судью. Казалось ей, что внук попал на жизненную дорожку, проложенную дедом, и теперь должен многое повторить в его судьбе, и, глядя, как Амон растет, бабушка узнавала, каким был дед до того, как она увидела его впервые, всю длину его жизни, от рождения до смерти, и, должно быть, ее радовало ощущение того, что дед оказался не пришедшим к ней из чужой семьи, а был вроде родного брата, с которым она вместе росла и стала ему не просто женой, «матерью Мастуры», а сестрицей...

Неужели дед-судья умел быть таким надменным, каким становился Амон, слушающий, как бабушка читает и переводит с арабского старые письма из музыкального сундучка, посланные когда-то деду с просьбой смягчить наказание или помиловать.

— «О ласкающий рабов! Рабская челобитная от низкого из рабов, богомольца за Ваше здравие, стремящегося доставить Вам довольство, раба Вашего Истам-ходжи, моему господину в надежде на согласие и милость в том, что я тысячу раз пожертвовал бы собой за дорогую благословенную голову моего господина. О господин, о ласкающий рабов! С тысячью бессилий и смущений, подобно тому хромоту муравью, который принес премудрому Сулейману ляжку саранчи, я подношу в знак рабства и моления за Вас одно блюдо с хлебом, семь голов сахару, семь пачек чаю, семь яшиков леденцов, пять блюд с фруктами — каковые представил в ученый дом моего господина, о чем рабски и докладываю... Я грешен, виноват, простите... Я грешен, виноват, простите... Я грешен, виноват, простите...» — повторялось в этом письме семикратно, и все то время, пока бабушка читала, а Амон воображал себя надменным судьей, к которому обращались с мольбой, Душан не мог избавиться от впечатления, что кто-то пытается его унижить, смущало и беспокоило мальчика, может быть, это повторяющееся «я грешен, виноват, простите», а может, взволновал его образ хромого муравья, несущего судье ляжку саранчи, и бабушка, заметив, каким он становится впечатлительным после чтения таких старых прошений, пыталась успокоить внука:

— Но так писали давно. Видишь, здесь дата. По сегодняшнему счету: тысяча девятьсот четвертый год.

Это: тысяча девятьсот четвертый год — ничего ему не говорило, было у него совершенно другое ощущение времени — не в протяженность, из года в год, по возрастанью, а так, как будто время сгущалось и уплотнялось, и когда однажды какой-то взрослый на улице, видя, что Душан пытается залезть на дерево, крикнул ему: «Осторожно, убьешься!» — услышал сдержанный и уверенный ответ:

— Я проживу как мой дед — семьдесят два года!

Такое странное течение времени не в длину, а вовнутрь себя, его способность сгущаться Душан заметил в тот день, когда Амона увезли в больницу (боялись: аппендицит), и все то время, пока не видел брата, Ду-

шан чувствовал, как любовь, которая, казалось, уже совсем выветрена многими днями обид и злобы, вдруг опять собралась в нем. Он бродил по стихшему тревожно дому, трогал все, что было дорого Амону, — его книги, кровать, деревянную саблю, покрытую серебристым лаком, — и будто касался душой, подбадривая брата. И эти два или три дня, пока Амона держали в больнице, Душан столько прочувствовал, что понял: то время, которое повторяется ежедневным восходом солнца, однообразием полдня и вечера и делает вид, что помогает человеку жить, на самом деле незаметно течет, и ни одно утро, если внимательно приглядеться, не похоже на прошедшее, и это течение времени, которое называется «взрослеть», «пойти в школу», и забирает с собой, уходя, любовь к брату, к двору, к музыкальному сундучку.

Но есть другое, внутреннее время, когда становится тревожно и человек тоскует, как он по Амону, и когда опять чувствуется любовь. И теперь его заботило это: — Что я чувствовал, когда родился?

Вопрос казался столь трудным для взрослых, что сначала они просто отмахивались:

— Ты ведь лучше должен это знать!

— А ты, бабушка, что чувствовала? А ты, мама?

— Не помню.

— А что человек чувствует, когда умирает, бабушка?

— Он, должно быть, так устает за время жизни, что ничего уже не чувствует. — Так, казалось бы, незаметно, вся семья размышляет на тему, что должен чувствовать младенец при рождении и почему, если он не вскрикнет в этот момент в плаче, считается, что он так и не родился, чтобы жить, — ведь плач скорее относится к смерти, а к жизни — радость.

— Действительно, странно, — озабочен отец, — почему именно плач? Ведь лучше оповещать о своем рождении криком бодрости...

Вопрос толкуется теперь по-разному, сложные и запутанные его стороны кажутся понятными и поддаются объяснению, хотя и двойному, как всегда, когда в семье касаются темы «жизни и смерти», — научному, познавательному — матери и отца: «Сейчас уже доказано, что в момент рождения младенец испытывает потрясение. Развиваясь в полной тишине, в мраке и почти без движения, среди однообразных запахов, он появляется, и мир ошеломляет его, ослепляет светом, пугает звуками, красками вокруг, непривычными запахами — и вот пер-

вое, чем он отвечает на все,— плач, своим отчаянным воплем младенец как бы заявляет о праве жить»; и житейскому, мудрому — бабушки: «Ты говоришь о начале, а потом? Вот я вспомнила, что любил поговаривать дедушка Амона: «У человека в жизни бывает семь удовольствий и сорок печалей...» В предчувствии этого невольно завопишь»...

— Есть такая поговорка?— озадачен отец.

— Нет, просто и год и целая человеческая судьба стояла у него из чисел. Как будто он смотрел в глубь вещей и переводил все на числа. Говорил, например, предчувствуя неурожай: «Что ж, надо быть готовым, год этот, похоже, принесет нам семь наслаждений и восемьдесят огорчений...» Жаль, в этом Амон наш совсем не похож на деда-судью, не чувствует чисел, а не чувствуя чисел — не будешь видеть и ступеней. Ощущение уходящих лет, которые собираются вокруг души кольцами, как в стволе дерева, и стягивают ее незаметно, не давая взлететь,— вот что значат ступени...

Эти рассуждения не очень близки и понятны Душану, как и все, что относится к старости, уходу; сейчас его волнует узнанное недавно — что родился он в той самой летней комнате, которая всегда имела в своем облике что-то таинственно-притягательное. Была она почти в два раза выше остальных комнат, с крышей без лестницы — единственное место в доме, куда ни Душан, ни даже брат Амон никогда не поднимались.

Зимой и весной в летней комнате никто не жил, и Душан часто заглядывал в темноту комнаты через край длинных, от пола до самых крыш, замерзших окон, чтобы увидеть, кто там шумит и вздыхает по вечерам. Бабушка объяснила, что никто страшный не вселяется туда на то время, пока люди не живут в ней,— ни дьявол и ни джинн, просто легким и тонким ее стенам не хватает зимой воздуха, и они дышат с трудом. И действительно, стены летней комнаты словно просвечивались на солнце, и днем, в жару, когда гонят туда Душана, он лежит и смотрит, как ползают по резному, голубому с красным, потолку маленькие фигурки, проходя сложный путь от двора через свет в стекле, через то место в ставнях, где отошли лепные узоры на орнаменте, мимо медных ручек и на потолок,— отражение бабушки во дворе или мамы. В особо яркие дни, когда лучи солнца своим тайным ходом преломлялись на окнах соседского двора, по потолку пробегали и фигурки проходящих по улице — для

того чтобы попасть внутрь летней комнаты, фигуркам надо было изощряться на выдумку — пройти через пустоты в правой стене между нишами (пустоты между шестью нишами и вздыхали, набрав в себя воздух), блеснуть в старинной яшмовой люстре, прежде чем качаться на потолке.

Самое удивительное зрелище наступало в те редкие минуты, когда встречались на голубом фигурки бабушки или мамы со двора и прохожих с улицы. Волнуясь, Душан ждал — остановятся ли они, поговорят ли, и, если фигурки останавливались, запутавшись внутри орнаментов, Душан выбегал в резкий, душный двор — ему казалось, что соседка, фигурку которой он видел сейчас на потолке, окажется каким-то чудом во дворе, рядом с бабушкой, мирно беседующей. Так было несколько раз, но потом Душан понял, что тени людей живут самостоятельной жизнью: отделившись благодаря игре солнца от хозяина, тень прыгает, где ей нравится, проходит в скрытых местах, встречается и беседует с другой тенью, жалуясь на скупость хозяина или, наоборот, восхваляя его добродетели, — и теперь, если кто-то из взрослых неожиданно открывал ставни летней комнаты, Душан замирал от волнения, казалось, что сейчас обязательно пришемят чью-нибудь тень, пришедшую поболтать с тенью бабушки или соседки. И неудивительно поэтому, что в летней комнате мать родила и Душана и брата, и здесь шепчет она втайне имя отца, а бабушка часто говорит, что, хотя и кощунственно — требовать для себя последнего места на этой земле, знает она, что судьба сжалится над ней и уход свой встретит она в прохладе и тиши этой комнаты.

Может быть, тени живут и после того, как не станут их хозяина, и бабушка думает, что когда-нибудь потом тень ее, прилетевшая с улицы, встретится с тенью матери, пробегающей по двору, и они поговорят о том, как живут, все ли в порядке, послушны ли дети, а мама, ничего не знающая о беседе теней, почувствует что-то грустное и вспомнит бабушку...

Лежа в прохладе этой комнаты, где совершалось таинство жизни и смерти, он думал над тем, что сказала женщина, которую на улице прозвали мальчишки «богомолем» за то, что ходила она неизменно в зеленом, осторожно ступая по пыли, — что-то необычное было в ее походке: ступив шаг, она в такт себе легко кланялась.

«Жаль, ты не мой брат, я бы тебя очень любила» —

можно было теперь, услышав, как мать назвала отца братом, понять не только как знак ласки. «Она хочет иметь меня мужем» — эта странная и такая поначалу неправдоподобная мысль волновала его все больше, ибо к ощущению облика женщины-богомла примешивалась и жалость.

Он слышал, как женщины ругают ее, упрекают ее своих мужей: «Тогда убирайся к той, что живет в мансарде! Она принимает всех!» Видел он, как вслед ей шепчутся, глядя неодобрительно, а она в самых пыльных местах улицы снимает сандалии и идет босая через пустырь за домом к себе на второй этаж в мансарду, — Душан бежит на крышу и оттуда следит за ней до тех пор, пока мальчишки на пустыре не пропоют ей свою песню и не скроется богомол в своем домике.

Лист на дереве зеленый. Богомол того же цвета.
Низко кланяется он первому лучу рассвета.
Ранним утром, в жаркий полдень и вечернею порою
Он склоняется пред солнцем, перед ветром и пчелою.

Лист свернется в хмурый дождик — богомолу новый домик.
Лист сгорит под солнцем долгим — не обидится бездомный.
Будет кланяться опять,
Будет в мыслях повторять:

Если я не успокою ветер, дождь и мглу,
Если я не успокою медоносную пчелу,
Если кланяться не буду,
Не придет на землю утро.

Все это — ощущение странного облика женщины-богомла, песни, которую ей вслед пели всегда мальчишки, вместе с игрой теней на потолке летней комнаты, разгаданным смыслом тайных имен, ночным шепотом родителей — наполнял его впечатлительную душу, мир, который более всего нуждается в защитной дымке иллюзии и тайны. По вкусам, пристрастиям бабушки, мамы, отца и Амона, по тому, как ведут они себя и что их заботит, он смутно догадывался, что, должно быть, действительно, кроме того мира, что вокруг, каждый носит в себе и свой мир и, как объяснила бабушка, «душа, она как медоносная пчела, собирающая пыльцу с тысяч цветов для капли меда...».

Если я не успокою ветер, дождь и мглу,
Если я не успокою медоносную пчелу,
Если кланяться не буду,
Не придет на землю утро.

Не надо ли это понимать так: быть лживым, злым, подлым — значит никогда не успокоить медоносную пчелу и что только правдивые и кроткие, чья душа светла и спокойна, могут выдержать ветер, дождь и мглу, все, что приносит тоску и боль, и не благодаря ли их зову утро все же наступает после каждой ночи? Так, тревожась, прося бабушку пояснить, пробирался он к пониманию того, что беспокоило из увиденного и услышанного, и как удивился он, когда узнал, что мир бабушки был таким же странным и чарующим, как и его собственный.

— Ничего не понимаю, что делается вокруг, — часто жаловалась бабушка. — Все куда-то уходит, ускользает. Оказывается, можно жить со всеми, разговаривать, улыбаться, но на самом деле быть совсем в другом времени. Значит, не я улыбаюсь и киваю из другого времени, а моя тень? Ведь еще вчера мы верили, что стоит свернуть за угол дома — встретишь говорящую черепаху или кота, несущего трость своего господина... И было привычно все это, хорошо. Сейчас все просто, всему есть объяснение, но простота эта запутывает и усложняет. Вчера Амон рассказывал о каких-то камнях на Луне...

Странно, что не все живут плотно и дружно в одном времени, время похоже на луч, который, попадая началом в стекло, отражаясь, тянется, и в разных местах его длины, ухватившись, барахтаются ошеломленная бабушка и «научный мальчик» Амон, а мир вокруг, над которым висит разнородное время (как сказочное существо с лицом старухи, грудью девушки и ногами младенца, которое приговаривает: «Когда вырастут мои ноги, вот будет веселье, сварю их в котле и угощу любовника...»), тоже делится на возрасты, и не потому ли каждому близок тот мир, который знаешь и чувствуешь, где переживаешь в одиночестве слова женщины-богомолы, фантазии, страхи, тайные желанья? И не потому ли бабушка не может уже бодрствовать всю длину дня: в полдень, в самые жаркие часы, она засыпает в летней комнате рядом с Душаном, разглядывающим тени на потолке, — засыпает тихо и неожиданно, на полуслове. Душан же теперь не спит днем, если мама свободна, забежит она к нему, чтобы позаниматься числами и бук-

вами — готовит мальчика в школу, — но Душан ленится, зевает, ему душно, а когда мать, рассердившись, уходит, думает: отчего не может запомнить эти числа, ведь все же говорят, какой он сообразительный?

Раньше, когда Душан засыпал днем, казалось ему, что, разделив время на две половины, он не прочувствовал всю его длину и прозевал что-то очень важное. Отсюда его вопросы: «А что было, когда я спал? Кто приходил?» — как будто сам день готовил себя заранее для жизни с восхода до захода, продумал все — будет ли ясным и солнечным или же принесет в послеобеденный час дождь, а ближе к вечеру ветер сдует с крыш песок, — и человек должен все время бодрствовать, готовый к тому, чтобы пропустить через себя судьбу дня, если же он уснет, отвернувшись от светлой половины суток, день почувствует себя обманутым и обязательно накажет — болезнью, дурным настроением после сна...

Бабушке, должно быть, простителен этот дневной сон, утомленная болезнью, она чувствовала легкое облегчение — не значит ли это, что человек старый и больной не обязан стоять навтыжку перед строгим лицом дня и день должен быть к нему милосерден?

В июле же, в самые жаркие дни, когда все лежали обессиленные и робкие, бабушка, наоборот, ощущала странный прилив сил, не спала тогда днем, готовила на кухне, ходила к соседкам — в этом месяце она когда-то давно родила своего первенца, и тело ее, помня об этом, по старой привычке собиралось с силами, желая помочь ей в новых родах, — обманутая сила эта тратилась бабушкой на разговоры с соседками, на улыбку и смех, тогда и говорили все вокруг, что «бабушка родилась заново» — забывшая, как рожать младенцев, родила себя.

Душан чувствовал, что нельзя убежать в свой внутренний мир, не тоскуя по миру вокруг, по играм с мальчиками после ссор и обид, ведь красота лучей и теней на потолке приходит извне и без долгого созерцания луны ночью не прочувствуешь всю тоску по насильно умерщвленным, души которых возвращаются доживать, превратившись в негров — черных человечков, прячущихся в темноте виноградника и убаюкивающих своими взглядами таких же беззащитных, как и они, — детей.

Ощущение красоты и формы волнует, когда рассматриваешь обыкновенный лист тута — как сотворилось такое чудо, как растет оно, не забывая от весны к весне свою форму, похожую на форму ладони человека. Моло-

дой лист — на форму его ладони, старый и пыльный — на ладонь бабушки, но тоже по-своему красивый, потому что уголки листа все еще не свернулись, а тоненький стебелек, на котором держится, трепещущий лист, еще не треснул и не надломился, — и как лист помнит, сколько ему расти, чтобы не отяжелеть и не сорваться со стебелька, и какой памятью знает, куда распустить свои ветки, какую нарисовать себе форму, чтобы быть красивым?

Во всем столько красоты — в цветке олеандра, в форме бабочки, в воде, если она течет и в ней плавают лучи, но лучше всего красоту воды передает капля, собравшаяся в цветке, — видишь, как луч солнца долетел до нее и стал наматывать на свою нить и забирать каплю, — смотришь с жадностью, жалея, что еще миг — и капля улетит в небо. Так и с бабочками, сто бабочек удивляют и ошеломляют, покрывая красным палисадник, отдавая красоту траве и кустам, но красоту самой бабочки можно ощутить, лишь рассматривая одну, — видишь каждую линию на теле, голубые точки на крылышке и серебристую пудру, так осторожно, словно боясь нарушить расцветку, посыпанную на пух ее тела, что кажется, вот сейчас затрепещет бабочка — пудра улетит и изменится окраска.

Удивительно: всей этой красоте будто нет дела до него. Душан подумал, что старый тут на поляне за домом рос и до того дня, как он родился, и, говорят, будет еще сто лет расти, даже простую бабочку поймать очень трудно, чтобы полюбоваться ее красотой, а сколько раз роза колола его шипами, прежде чем удавалось сорвать ее для больной бабушки, и тот соседский мальчик, которым все взрослые восторгаются, говоря, что он красивый, — какой он заносчивый, бездушный, прозвали его глупым павлином.

Все красивое вокруг равнодушно взирает на мальчика, и сколько раз чувствовал Душан, как от долгого созерцания листьев тута холодеет душа, а если мальчик опять уходил в себя, в часы перед сном или в дни, когда не хотелось никого видеть и выходить на улицу, — душа снова теплела, и тогда тревожился он, что огорчил маму, хотел быть ласковее с Амоном, простить всем обиды. Эти меланхолические переживания длятся обычно недолго — видно, сама натура заботится о таких днях, помнит о времени; мальчика, утомленного красотой, она уводит осторожно, чтобы мог он в одиночестве ощутить

свою душу, которая, как «медоносная пчела, собирает пыльцу с тысяч цветов для капли меда...»

А сколько волнения на улице в те дни, когда готовится веселье или свадьба, слышно всюду: «Приглашена Олия, вы слышали — танцевать будет Олия» — имя произносится с благоговением и взрослыми и мальчиками из круга Душана, говорят о ее знаменитых, шириной в четыре пальца, рубиновых браслетах, которые надевает Олия на руки и на ноги: «каждый стоит миаليون — подарок любовников» — они позванивают при малейшем движении ее красивого тела.

Те, кто не сумел попасть во двор свадьбы, лезут на деревья посмотреть на танец Олии, стоят, восторженные, на крышах, а когда веселье кончается, об этом вечере говорят еще долго: «Нет, не так было: сначала учитель Камол в пьяном веселье бросил к ее ногам сторублевую бумажку: кто больше? И тогда шофер Нуриддин-дево-на* — вот кто мужчина! — бросил сразу три сторублевки, хотел еще, но жена его вовремя оттащила...»

Это какое-то сумасшествие с деньгами, брошенными к ногам танцовщицы; мальчики Нуриддина ходят героями, глядя с укором на Амона и Душана, отец которых — скромный врач, хотя и ученый — знаток неизвестного ранее бухарцам языка — французского, — не участвует вместе с другими мужчинами улицы в гульбе на широкую ногу.

— Красота ослепляет, и люди, оглупев, бросают деньги, — пояснила бабушка. — В мои годы к ногам танцовщиц бросали ключи от целых поместий — варвары и язычники!

Но таких дней развлечений, сборищ, после которых вся улица говорила бы и спорила, было мало, люди собирались еще раз или два — весной, в «дни молодого ветра», и осенью, в «проводы ветра», чтобы пускать змеев. В небе плыли сотни змеев разных цветов, с тремя углами, шестиугольные, шевеля хвостами и радуя мальчиков, чьи змеи улетали выше всех. Должно быть, оттого, что сама эта игра была связана со встречей и проводами ветра, с созерцанием облаков и неба, с пением змеев, с таинственными высотами, куда уплывали змеи, — в ней не было той суетливости, духа соперничества, как во время танца Олии: все, кто стоял на крышах, пуская змеев, были вежливы и деликатны, и, если случалось,

* Девона — одержимый.

что змей, привязанный на ночь за ветку дерева, чтобы своим пением усыплять двор, срывался и улетал в высоты, огорченному дарили соседи своих змеев, ибо считалось, что, если не все встретят и проводят ветер, лето будет засушливое.

Почему красота танцовщицы Олии делает человека бездумным и низким, а красота летящих змеев, облаков и ветра — душевными и участливыми? Бабушка бьет его по плечу: «Не думай так много, ведь человек, который уходит в себя, — слепнет рано или же глохнет. Глаз должен видеть, а ухо слышать...»

— Ты ведь сама говорила, что бывают люди с поставленными вовнутрь зрачками. Прозорливые...

Кто эти, с внутренним зрением и слухом? Может, они тоже чувствуют медленное превращение? Слушая недавно, как отец читал матери медицинскую книгу, где рассказывалось о людях с обезьяньей лапой, слоновой ногой, лежащих в позе легавой собаки, Душан подумал, что вот подтверждение бабушкиных рассказов о превращениях — волка в царевича, плутоватого торговца в черепаху — и ученых объяснений мамы: «А человек кем был раньше?» — «Обезьяной».

Наверное, больные с обезьяньей лапой или слоновой ногой — это те, кто медленно превращается в другие существа с такой же удивительной и красивой формой, как человеческая форма — в собако-птицу, человеко-обезьяну, женщину-богомолу.

«Заблудился мальчик и уснул под деревом, увидела женщина-богомол, какой он красивый, покачалась над ним, поклонялась, затем осторожно взяла его, спящего, и унесла к себе в зеленый домик...»

В эту последнюю весну перед школой Душана приняли к себе в компанию учащиеся, местом встреч которых был пустырь, почему-то называемый русским словом «полянка». «Аз полянка дур нарав»*, «Полянка даги тут кук, аччик»**. Раньше казалось Душану, что на узбекском говорят только в деревне, откуда приезжает дедушка, или что живут в городе несколько таких узбеков, как отец, которых привезли издалека, чтобы выдать за них болезненных дочерей для здорового рода — как сделал покойный дед-судья. Но здесь, в компании учащихся, были и узбекские мальчики, приходящие на

* Не ходи дальше полянки (тадж.).

** Тутовые ягоды на полянке синие, кислые (узб.)

пустырь из соседнего квартала, и, если случалось, что какой-нибудь таджикский мальчик, повздорив из-за пустяка, называл узбеков обидным словом «пришелец», узбекские мальчики, для того чтобы подчеркнуть свое достоинство, показывали на Душана, говоря, что самый смысленый и спокойный из всех — узбек.

— Нет, я только наполовину... Я дружу со всеми.

— Ты полный узбек, ты весь в отца. И фамилия у тебя узбекская — Темурий, — шептали ему, сидя под турами. — Будь нашим атаманом.

— А что мне делать?

— Кто будет называть нас презрительно, того мы побьем по твоему знаку.

— Нет, зачем драться? Я буду мирить вас. — И он страстно умолял всех прощать обиды и не ссориться.

— Сказано ведь о нем: маленький имам, — отчаивались мальчики, и Душан в такие минуты особенно остро ощущал, что не чувствуют его до конца своим ни таджикские мальчики, ни узбекские, хотя, если бы он делал так, как хотят они, — затевал бы драки или принимал бы чью-нибудь сторону в ссорах, — все было бы по-другому, но не потерял ли бы он своего лица, не стал бы как все — для этого надо родиться, как Амон, покладистым, хитроватым, то есть полным жизни.

Первые дни Душан чувствовал себя очень скованно на пустыре — ведь попал он к мальчикам, которые собирались здесь давно, были у них свои разговоры, свои излюбленные места под тенью тутов с обеих сторон вдоль дороги. И сами туты были справедливо, по-братски поделены между мальчиками, и, кроме хозяина дерева, никто не смел весной собирать с него плоды.

В эту весну, когда Душану по праву взрослого досталась половина шелковицы, вся левая сторона синего тутта, ягод так и не удалось собрать — приехали из деревни с серпами и вилами, чтобы срубить ветки и увезти их с листьями на корм удивительным червям, которые ткут шелковую нить. К вечеру деревья уже стояли голые, открыв пространство пустыря от дороги к дороге, от одних стен к другим, там, где поднималась от мраморных своих ступенек заброшенная теперь соборная мечеть с мансардой сбоку — домиком женщины-богомолы.

Под голубым, разрисованным навесом, на потресканных каменных плитах сидели притихшие мальчики, каждый смотрел на свое дерево без листьев и ягод. Смотрели, и тоска быстро забывалась. Двое перешептываются,

и вот уже мальчики, посмеиваясь, уходят за угол собора, остальные, догадавшись, крадутся за ними, и в тот самый момент, когда приятель снимает штаны, а другой поднимает над его голым телом кисточку с тушью, желая написать ниже спины длинное непристойное выражение, чтобы всех смутить и раззадорить, компания с криком бросается на шутников — кончается забава тем, что оба приятеля, облитые с ног до головы тушью, уходят домой — ночью, во сне, они забудут обиды. Обычные забавы мальчиков, рассказы о женившихся в четырнадцать лет, об увиденных тайком картинах из запретной жизни взрослых, смех, грубые выражения; но не только это легкомыслие в глазах маленького имама, бывают и вечера сдержанности, чаще после летнего дня, когда повеет прохлады, приятные часы — среди темноты ночи слышится голос, рассказывающий длинную и нескончаемую историю «Эмира Тимура, сына Искандера Двурогого*, губителя неверных, язычников и злодеев во всех странах и землях, заклятого врага колдунов и смутьянов».

Все больше удаляясь от взрослых внутри дома, Душан внимательно присматривался к взрослым на улице и выделял среди них самых забавных, чьи поговорки, походку или жест можно повторить иронически, чтобы посмешить публику на пустыре (слабеющая любовь к родным проявлялась в пародийном ощущении чужих), хотя эта насмешливость часто вредит мальчику, самого огорчает, как было после загадочного и зловещего по тону пожелания больной соседки, сидящей целый день у ворот. Она поймала маленького имама в момент, когда дразнил он ее, повторяя излюбленную фразу женщины, обращенную к прохожим: «Все ходят, а у меня ноги тонкие, как у птички, все едят сытно, а мне в горлышко зерно не попадает, все поют, а у меня язык бесчувственный».

Сначала ему нравилось, как эта женщина «умеет подать» свою болезнь, чтобы вызвать сострадание (всяк проходящий спросит, есть ли вода в ее ведрах, убран ли двор?), но потом Душан понял, что в ее сравнении себя с тонконогой птицей есть и особая хитрость, какая бывает у давно болеющих в отношениях с окружающими, — ведь нет ничего зазорного и глупого считать себя

* Искандер Двурогий — одно из восточных имен Александра Македонского.

птицей, да еще «библейской», горлицей — она-то и поет редко, и отворачивается от крупных зерен.

Забавное представление вскоре приелось, хитрость была отгадана, и захотелось спародировать женщину у ворот, представить образ чуточку по-иному, чтобы было смешно, и вот тогда-то женщина-горлица, задетая дурачеством самого благожелательного мальчика на улице, и высказала ему свое странное пожелание, смысл которого Душан не сразу понял.

С трудом дождавшись вечера, он достал незаметно из шкафа свою книжку-вопросник и написал:

П а ч и м у н и л з а е с т ч у ж у ю п и щ у — и долго потом не мог уснуть, гадая, что ответят на это мама или бабушка, которые и придумали игру с вопросником, чтобы мог он для интереса к письму записывать туда свои вопросы, а утром читать ответы взрослых.

Почему нельзя есть чужую пищу? — было исправлено утром, а рядом написан ответ: нельзя, чтобы один наедался от хвоста до ушей, а другой голодал, — мамин почерк, хотя это «от хвоста до ушей» выдает бабушку, вопрос был слишком сложным, с нравоучительным выводом, потому ответ писался под диктовку бабушки.

Но ведь он не это хотел узнать, вернее, не так выразил свой вопрос — мальчик раздражен и отказывается от завтрака, пока не ответят ему, что дурного пожелала больная женщина. «Какая женщина?» — «Больная, я ее передразнивал, я виноват». Даже отец решает не уходить на службу, пока не выяснят, что же случилось, и стоит, полистывая раздраженно синюю книгу, с которой не расстается эти дни, — его любимое чтение — игривая повесть «Окассен и Николет», название ее с французским носовым «о» он с удовольствием, безо всякого повода: «Окассен и Николет» — повторял, пробегая по двору и не слышал бабушкино насмешливое: «Европеец!»

— Чтобы ты всю жизнь, мальчик, ел с чужим народом его пищу, — вот что пожелала ему женщина-горлица.

— Как можно желать ребенку такое? И что все это значит?!

— Да ерунда, предрассудки неграмотной женщины, — успокаивает всех отец. — Ну, есть же такое выражение: горек хлеб чужбины, но какое это может иметь отношение к судьбе нашего мальчика?

Бабушка с утра ушла к соседкам — был тот редкий

день, когда она чувствовала себя лучше,— потому разговор быстро кончился, чтобы мальчик скорее забыл о тревожном, хотя без ее патриаршеского слова он все равно чувствовал себя не защищенным от недоброго пожелания женщины-горлицы. Но, наверное, так лучше, что все обошлось без бабушки и ее толкования, чего-нибудь вроде: «мальчик безгрешен, ведь ему нет еще и семи», «болезнь — седьмое человеческое дело, должно учить мудрости и размышлению, а не злословию,— мелкий пошел люд, ой мелкий!»— это (ее загадочное число «семь») еще больше осложнило бы все, ибо многое, что она говорила,— непонятно мальчику, пугало его холодной точностью и скукой. Ведь сколь бы ни была очистительна и предохранительна для семьи ее ироническая мудрость, была она для всех тягостной своим трагизмом, ибо содержала в себе выжимки жизни, ее глубокое ядро без шелухи — страстей, глупостей, ошибок, беспечности и веселья, того, что составляет полноту жизни.

«Она пожелала мне попасть в чужой город, где люди едят то, что для меня покажется невкусным»— в таком примирительном тоне решил для себя загадку Душан, когда засыпал. «Всем покажется, что меня это тревожит, я похудею и умру. Надо будет, как только я приеду в чужой город, сразу объявить всем, чтобы не радовались. «Знайте, что я — Душан Темурий — совсем не люблю есть. За завтраком я сижу час, за обедом два, а за ужином всем надоедает то, как я долго подношу ложку ко рту,— отец не выдерживает и прогоняет меня»— так желание иронизировать над словами соседки кончилось у него успокоительной самопародией, а эта длинная и стройная мысль о том, как он приедет в чужой город и что заявит на вокзале, долго не поддавалась ему, он строил ее слово к слову, окрашивая чувством и страстью, воображение нарисовало ему как приложение к этой фразе какой-то вокзал и какую-то толпу с тарелками с какой-то несъедобной массой (он слышал, что где-то едят морскую капусту, конскую колбасу, устрицы).

Но вот как складно и умно он все придумал, а стоит постараться записать хотя бы несколько слов в вопросник, начинается скандал, мама недовольна, плачет: «Через сорок дней ведь в школу», а для чего все, зачем нужно учиться, вставать, ходить куда-то? Из последних мучивших его вопросов: «Зачем жаба?»— это он написал правильно, молодец: «Чтобы есть вредных комаров».

«Зачем комар?» — тоже правильно, умница, но мама озадачена, если написать: «Для того, чтобы его съела жаба», — жестоко, надо найти полезность самого комара без того, чтобы он мог только насыщать жабу. Почерком папы записано: «Комар, думается, полезен тем, что на кончиках лапок переносит пыльцу от одного цветка лотоса к другому и роднит их» — оказывается, если немножко присочинить, можно полезное приподнять до уровня красивого — ведь действительно красиво: комар летает с пылью от лотоса-папы к лотосу-маме. «Зачем залатая рыбка?» — фу, как нехорошо написал: «Зачем золотая рыбка?» — «Низачем, она кушает и плавает», — странно, есть вещи, которые низачем. Ответ Амона: «Для того, чтобы ее съела большая рыба... Правда, ее не пускают в аквариум». «Может быть, польза золотой рыбки в том, что она очищает воду», — размышляет вслух папа. «Да ничего она не очищает, — не соглашается бабушка, — она просто красива, душа радуется». Вот так всегда полезность понимается сразу, с одного взгляда на уродливую жабу, а к красоте надо идти долго, ее сразу не увидишь и не поймашь, зачем цветок — его не ест ни рыба, ни корова, ни комар, ни жаба, зачем сажать то, что несъедобно. «Жестоко сажать цветы на корм жабе».

— Смотрите, как правильно он написал, это надо сохранить в музыкальном сундучке рядом с реликвиями семьи! — восторгам взрослых нет конца, а он стоит смущенный, как пойманный на недозволенном, — а ведь действительно, стоило ему нарушить всякие правила обучения — копирование, слепое подражание начертанному мамой: «Не отвлекайся, не пиши отсебятины», как все получилось хорошо: и родители довольны, и цветок — он тайно надеется на это — спасен.

А семь человеческих дел, о которых говорила бабушка, — рождение, мужество, ремесло, женитьба, отцовство, война, болезнь. Жизнь проходит от одного дела к другому и то, как человек достойно идет через это, и делает его судьбу непохожей. Смерть, уход тоже дело, но дело тайное, неначертанное, может, потому, что трудно отделить его от рождения, рождение есть начало превращения для нового рождения, — это носят в себе как память и деревья и бабочки, и «человек должен уметь с достоинством уйти, боится же ухода тот, кто в суете растерял душу, а она бьется во все окна и не может найти дорогу домой», — говорила бабушка, тихо беседуя

с зеленоглазкой. В последние дни к ней часто наведывалась эта маленькая, вся черная и старая женщина со странными глазами, которую все называли «тутамулло-и-чашмикабут»*. Понял Душан, что делом ее было ходить ко всем старым больным людям и утешать их, подготавливая к уходу, хотя сама она не меньше других нуждалась в участии, ибо прожила уже восемьдесят два года. Может быть, такая бесстрастная и терпеливая перед лицом чужой старости, она страшится своей, и те слова, которые она находит для других, кажутся неискренними и неубедительными, когда думает она о себе. Может, и зеленоглазка принимает у себя тайно утешительницу более знающую и терпеливую, а к той, в свою очередь, участлива другая — и вот так не связывают ли часы утешения всех живущих одной судьбой?

Но, видно, бабушка не нуждалась в утешении, за долгие свои дни она все обдумала и поняла и теперь сидела со спокойным лицом напротив зеленоглазки и молчала.

Они часто сидели так в молчании, даже чай не пили, боясь, видно, звоном чашек вспугнуть ту особую, густую атмосферу комнаты, которая окружала их ушедшие в себя, отрешенные фигуры. Так могли они молчать многозначительно час и два и только перед расставанием обменивались любезностями и пожеланиями, такими же короткими, как и при встрече.

Не понимал Душан: неужели бабушке и зеленоглазке достаточно было просто посидеть рядом, бессловесно, чтобы сказать обо всем? Или, может, у тех, кто к старости делается молчаливым, появляется свой «птичий язык», благодаря которому окружающие не слышат то, что должно быть тайной уходящей и утешительницы? Поэтому, как бабушка и зеленоглазка прощались любезно у ворот, видно было, что, не произнеся ни одного слова в час свидания, они все же сумели поговорить о многом, а теперь расстаются до следующего раза довольные тем, что никто из родных ничего не понял из их беседы. Душан даже подумал, что, может быть, давно зеленоглазка была пчелой или вороной, уходила уже из этого мира, чтобы вернуться, превратившись в человека, — и вот когда она рождалась, солнце не тем краем глянуло ей в глаза, и они получились зелеными.

Может, в те часы, когда казалось, что они молчат,

* Зеленоглазая наставница.

зеленоглазка рассказывала бабушке на «птичьем языке» о том, что пережила она в своем превращении, и что надо делать, и как вести себя после ухода, чтобы родиться вновь благополучно — лотосом с изящной чашкой или горлицей с сизыми крыльями. Ведь сама она не выполнила легкомысленно очень важного условия и родилась в наказание среди целого черноволосого и черноглазого народа зеленоглазкой, и все показывают на нее пальцами как на чужую и заглядывают ей в глаза.

Наверное, те, кто удивленно заглядывал ей в глаза, думали, как и Душан: почему люди, так похожие друг на друга цветом лица и речью, одеждой и своими домами, живут все вместе? И становятся ли они похожи от этой совместной жизни или же потом их пускает к себе большинство, видя, что и пришельцы такие же, как все. Должно быть, уютнее и безопаснее среди своих, понимаешь, о чем спрашивают, и можешь ответить, и еда своего народа привычнее, вкуснее, а надеть на себя феску — примут за разбойника Джавада-турка и бросятся ловить, а если появишься, как тот негр, который стоит перед сном в шляпе с изогнутыми полями и тростью, — будут дергать за руку и кричать: «Слон! Слон!», думая, что ты приехал с цирком. Соседа, который долго жил в Японии, называют насмешливо «Маруф-япон», а он, чтобы доказать всем, что душой он остался бухарцем, любит говорить: «Наш народ умный, догадливый, ни в чем не уступает японцам, но вот зеленый чай мы завариваем по-иному...» Он уже знал, что самая близкая страна — Афганистан. «Твой прадед похоронен в Афганистане», «Хитрец Касым успел переправить свое золото к афганам, самый горячий ветер, от которого, как от мороза, опадают листья с тутов, — афганец, у бабушки на ногах кожа разъедена афганской язвой, слухи: «В этом году может быть неурожай в деревне, ожидают саранчу из Афганистана» — можно подумать, что сидит у себя в горах и в пустыне народ, который только и занят тем, что посылает сюда саранчу, язву, горячий ветер, принимает у себя с распростертыми объятиями самых хитрых бухарцев и с удовольствием хоронит самых достойных.

— А зачем мой прадед поехал в Афганистан?

— Он был послом.

— Ездил на коне и порол всех плеткой?

— Чепуха какая-то! Почему порол? У тебя совсем нет чувства гордости за людей своего рода!

Это не может не возмутить бабушку — ироническое отношение к знаменитым предкам, о деде-судье он как-то спросил: «А он брал взятки?»

Нет, он совсем не желал думать так плохо о прадеде, просто, когда услышал, что был он послан в афганском городе, это помогло ему выразить наблюдаемое вокруг: никто не может быть таким надменным, как бухарец, таким льстивым, хитроумным. Вот ведь откуда это: «афганская саранча», «афганская язва», «афганская черная смерть» — смерть от жажды в пустыне, «пришелец» — пренебрежительное обращение к узбекским мальчикам.

— Только не говори об этом вслух, — просит бабушка, — скажут: отщепенец. К тебе и так уже приглядываются с подозрением...

Больше всего мальчика впечатляет эта «афганская черная смерть». В часы бессонницы, пугаясь, он ясно видит пески, ощущает физически жар белого пространства без пятна тени, его страшат и две другие стихии — море, когда ни один из четырех берегов не виден, а вода раскачивается и пенится до темных глубин, где нечем дышать, и высота, думает: «Что будет, если я окажусь на высокой горе и не смогу спуститься», и даже спрашивает об этом маму.

— Ну зачем думать о том, что никогда не может быть?

— А все-таки вдруг?

Откуда страхи, эти выразительные картины, если мальчик никогда не видел моря и не поднимался на горы? А кто-нибудь в роду был на море, умирал в пустыне от жажды? Может, передалось ему, как память, как воспоминание, пережитое в роду до него, и не потому ли уже с первого своего дня младенец живет воспоминаниями своего прошедшего дня и более далекими — предков?

А время, вбирая в себя все эти волнения и заботы, приблизилось незаметно к тому дню, когда мальчику исполнилось семь лет. Сам он лишь изредка думал о том, что вот наступит день с приятной суматохой и подарками, поцелуями родных — деревенский дед тоже придет, — зато замечал, как часто думают и говорят о «втором его возрасте» мама и бабушка. Ведь считалось, что истинная жизнь начинается с этого возраста, а первый, до семи лет, был как учеба, где прощаются великодушно ошибки, глупости, злоба и грех, хотя считается: от того,

как с рождения человек поймет этот мир и как мир примет его, многое зависит во второй жизни, но с той самой первой минуты после семи, когда слышится внутренний предупредительный звон, начинается бесстрастный подсчет всего — и дурного и хорошего.

«Теперь надо узнать свое тайное имя, — подумал Душан после суетливого дня поздравлений и скучных наставлений: «Отныне ты взрослый, все понимаешь и за все отвечаешь сам». Наверное, это имя дается как еще одно испытание второго возраста, если его украдут, отвечаешь сам смертельным одиночеством».

Это был день, когда он вспоминал все свои обиды, давнишние и вчерашние, как его передразнивали, подражая его скучному, высокомерному лицу, холодному и равнодушному взгляду, каким нередко он смотрел на всех, — и вот вдруг он увидел себя со стороны, скучным и жалким, будто тот, кто имеет тайное имя, встал с кровати, оставив лежать человека, которого все знают под именем Душан, и пристально взглянул на него сверху, и все понял, и шепнул: «Ты надоел мне».

В такие минуты, когда человек понимает, как надоел он самому себе и окружающим, он, должно быть, и меняет свое имя, и тайное имя обновляет его. Вот почему змея так часто оставляет на деревьях, на крышах домов белую сухую шкуру, — в старой шкуре, ползая всюду, чтобы зло ужалить, она становится узнаваемой и понятной в своих дурных намерениях — то плохое, что помышляет змея, выступает черными пятнами на ее теле, шкура твердеет и делается неуютной, как старая одежда, и в этой шкуре все узнают ее, крича: «Душите змею!» Уползая к себе, разоблаченная, принимает она в темноте норы новое имя, и, повторяя как заклинание, выползает из своей шкуры навыворот, догоняя кончиком жала собственный хвост и как бы показывая этим, что, принимая новое имя, она вовсе не отказывается от старого, просто одно имя имеет два названия, то, что читается с начала, понятное и привычное — подлинное, а с конца до начала — тайное: Душан — Нашуд.

Он чуть не воскликнул от удивления, когда увидел, что имя, прочитанное с конца, Нашуд*, имеет смысл, и тот, который и должно выражать тайное имя. Ведь было бы глупо и опрометчиво брать себе такое тайное имя, которое красотой, созвучием и смыслом привлекало бы, —

* Нашуд — несовершенный, несостоявшийся.

к примеру, Бабур, Фирдоуси, Саади, Амир-Темур* — всякому пришло бы желание украсть такое имя и отдать своему младенцу. А ходить, называя себя Несостоятельным, Несовершенным, — сколько в этом тайной хитрости и самосохранения. Кому захочется назваться так уничтожительно, так несимпатично, сказать: я несовершенный, все равно что сказать: я урод.

Он уже хотел завтрашний день, свой второй возраст, начать с этого имени, странного и шокирующего, но потом вспомнил, что сказала бабушка — ведь человек сам не знает своего тайного имени. Теперь это мешало уснуть: что значит — сам не знает? А кто же знает за него? Кто-то чужой, кто выбалтывает соседу? Может, и он знает с десяток тайных имен тех, кто сам ничего не знает, кроме своего надоевшего, всем известного имени? Может, знать чье-то тайное имя — значит видеть его совсем другим. Не таким добрым и красивым, каким человек себе кажется? Может, стоит сделать самое простое — прочитать свое имя с конца, как придет отрезвление, увидишь, какой ты несостоявшийся?

Тот, кто встал с твоей кровати и смотрит на тебя, скучного и нелюдимого, — существо, родившееся из звуков прочитанного наоборот имени, — и есть двойник, которого не обманешь, он знает все, каким бы ты хорошим ни притворялся, он дух иронии и противоречия: «Ну, что в тебя вселилось, какое противоречие?!» Это он рассказывает о подобных тебе: «Жил гадкий, плешивый человек...», а ты, боясь его и желая усмирить, льстишь, думая, что ироничный двойник не чувствует твоей лести: «Жил добрый, прекрасный человек...» История о глупом господине и его умном слуге — это, наверное, рассказ об одном человеке, что-то ему не понравилось в какой-то миг в самом себе, может, слуге было слишком тесно в господине, а господину слишком голодно в слуге, вот он и выскочил, разделились, пожил каждый со своей моралью, потешились, а в счастливом конце господин опять загнал вовнутрь слугу и успокоился.

Когда жили они отдельно, слишком уж бросалось в глаза, что ум утешает бедность, а глупость разбавляет богатство, и, наверное, не может быть так, чтобы один был и богатым, и умным, и здоровым, с розовым лицом и красивой улыбкой, единственная забота которого — задний, тридцать второй зуб, который чуть царапает

* Имена великих поэтов и полководцев.

десну. Только непонятно, отчего такой умный и такой бедный и как глупый мог сделаться богатым?

«Может, сам я выскочил из Амона?»— думал Душан, ведь все говорят, что братья такие разные, непохожие, часто ощущал Душан, что не хватает ему живости Амона, которому легко и с мальчиками, и с девочками. Девочки, эти существа, похожие на ярких бабочек, на цветки, всегда возле Амона, окружают его красотой и изяществом, чувствуя, что он сильный и великодушный, а возле Душана они хмурятся, будто спокойный взгляд его, негривый, смущает. И сколько ни желай, что вот принесут они и тебе долю ласки и кокетства (ведь ты кровный брат Амона и что-то же должно и в тебе быть привлекательного, в форме глаз или в длинных руках), все напрасно. Замечают его только самые бледные и тихие девочки, часто болеющие,— стоит ему вообразить, что вот эта смущающаяся, всегда чистая, в неярком платье и будет тайно любоваться им на улице, впуская силу и уверенность, как нет ее больше у ворот, заболела ветрянкой или афганской лихорадкой.

А с Амоном и в семье веселее, все новое первым носит он, мать, примеряя на нем какую-нибудь ярко-красную рубашку — любимый цвет Амона,— прыгает вокруг и восклицает, в четыре руки поправляют ему воротник и приглаживают волосы, одно удовольствие дарить ему обновки, все сидит красиво и ладно, «а старое носить очередь Душана».

Он подумал: заставляя носить старые брюки и обувь брата, не желают ли они загнать его обратно в Амона, чтобы стал он чуточку веселым и покладистым? Ему так неудобно в сандалиях брата, перешедших от одних ног к другим, ведь сколько пришлось им, неношенным, бегать по пыли улиц и по плитам двора, прежде чем привыкли они к шагу брата. И вот, когда сандалии утомились, сделались жесткими в своей форме, не хотят больше менять изгиб и линии, отдают их Душану. Разве не наказание носить свитер, привыкший к чужим плечам, чувствующий себя уютно возле груди Амона; какой бывает Душан нелепый, шаг смущается ступить свободно, ибо что-то не нравится в нем плуту свитеру — длинная худая шея или медленные, любящие покой руки.

Должно быть, в складках одежды и сандалий, привыкших к Амону, поселился и дремлет его дух — веселый и живой, и родители, из добрых чувств «загоняя его

в Амона», хотят, чтобы и Душану было легко и просто в жизни.

И чтобы быстрее распрощаться с первым возрастом, через который он уже ступил, любил Душан поиздеваться над собой, пятилетним или шестилетним, рассказывая мальчикам на пустыре:

«Однажды Юсуфу подарили монету, он уснул, сжав ее в руке, а когда проснулся, поднял крик: «Кто украл мою монету, кто украл?» Все ищут: под кроватью, под столом, он тоже ищет и плачет, не разжимая руки. Так искали бы еще день, но отец догадался посмотреть в дырочку, куда еще никто не заглядывал,— в его кулак, смотрят, а монета там, со вчерашнего дня...»

«Однажды Юсуф возвращался зимой из магазина, и захотелось ему по-маленькому. Сказал брату: «Подержи мою сумку, я сейчас». Ветер дул со снегом, он решил — за угол дома, побежал туда, расстегиваясь, и вдруг провалился в яму. Брат ждал его, замерз и стал искать, потому что не видел он, как Юсуф провалился, доставал из сумки его горячий хлеб...»

«Однажды Юсуфа лизнул во сне жук-теленочек. Он проснулся весь опухший, глаз не видно, ходит по дому и плачет, говорит родным: «Вы не видели Юсуфа? Юсуф потерялся...»

Все это в действительности произошло с ним, история с монетой, зажатой в кулак, с ямой, покрытой снегом, и с неузнанным лицом, и многое другое, над чем он теперь иронизировал, желая стряхнуть с себя, как ненужный и тягостный, опыт, а Юсуфом он называл себя для того, чтобы вокруг не видели, как подражает он Амону. Пытается ходить легко и первым начинать разговор с девочками и говорить быстро, уверенно, но получается так неестественно-комично, что кругом смеются добродушно над маленьким имамом, и ему приходится в смущении спасаться бегством в объятия бабушки с ее тихой, успокаивающей песней:

Как это было все давно! Цвет миндаля забыла я.

Не помню — красный? белый? синий — какой цветок у миндаля?

Но помню я, что у него весной запах был чудесный.

О, запах незабвенный! Желанья... Молодость моя.

Какого ж цвета был цветок? Не вспомню. Не могу. Не знаю.

Жаль, не окрашены в цвета далеких дней воспоминанья.

Твой запах — все, что помню я, — цветок прекрасный миндаля.

Вот как по-разному относятся к прожитому. Он — проницательно от полноты жизни и ощущения будущего, еще долгого и кажущегося от детской непосредственности и наивности таким легким и желанным, бабушка, которая все это прошла, теряя лучшее, «не помня, не умея, не зная» — с грустью. Только раз в тревоге мелькнуло у Душана: интересно, что станет с прожитым в этом втором возрасте, который пустил его к себе, в возрасте мужества, и что будет с ним в третьем возрасте ремесла, и как отзовется это сильное и волнующее чувство, которое пришло к нему в день, когда готовились они с Амоном к поездке в деревню, столь желанную, что не успел он даже тепло, по-родственному попрощаться с домашними. Забыл разбудить бабушку, а она ведь так просила, когда, волнуясь, вместе с ними ждала машину, но не выдержала и уснула, как всегда, в полдень в летней комнате, шепнув Душану: «Я сейчас, я ненадолго». Он глянул на белое и спокойное лицо с капельками пота вокруг глаз, хотел все же разбудить, но потом подумал, как долго она будет целовать его — ведь мальчик впервые уезжал так далеко от дома, — не стал, выбежал к воротам.

Он ждал, что вот сейчас, из окна машины, проследит наконец за всей длиной той большой улицы, куда выходил их коридор, поедет затем и по другим улицам и всему городу — удивительное зрелище незнакомых мест и людей, которые — странно — не знают, куда едут братья; знакомый мальчик прижмется к жаркой белой стене, чтобы машина не задела его, глянет на их радостные лица, и догадается, и долго потом будет с завистью смотреть на братьев, которых увозят из духоты тесных переулков на простор, к деревьям, цветам и бабочкам. Но ничего такого не было, машина проехала немного по большой улице, затем неожиданно повернула направо, и братья увидели знакомый пустырь, закричали мальчикам под тугами, но те — жаль — не услышали, и машина вся в пыли выехала на дорогу, и здесь Душан с удивлением понял, что город кончился, а дом их еще совсем близко. Это открытие смутило его, и он опустил голову, чтобы подумать об увиденном, но деревенский дед толкнул его в бок и захохотал, довольный тем, что машина не прыгает больше на камнях улицы, не наклоняется с боку на бок в тесноте между стенами, а едет прямо и ровно.

Дед обнимал братьев, хлопал их по плечам и все спрашивал Душана:

— Ты ведь и вправду первый раз к нам едешь?— И сам же удивился и никак не мог поверить, что первый, смотрел строго на мальчика, будто хотел уличить во лжи, обнимал, словно жалел:— Вот времена, вот жизнь, теперь и родственники ездят друг к другу раз в сто лет.— И почему-то смеялся до слез над этим прискорбнем, и Душан, глядя на него, подумал, что ворчит он и жалует ушедшее свое «старое доброе время» совсем не как бабушка, разбавляет горечь и иронию восторгом и весельем.— В наше время никто и слова такого не знал — алимент!— Вынимал из одного и другого кармана какие-то бумаги, видно, ходил в скучную городскую контору и поэтому заехал за братьями так поздно.— Ничего, мы тоже кое-что знаем, кое-где были. Пришлось даже в свое время потолкаться в приличном обществе в поисках подруги жизни.— И удивление, которое он вынес из этого общества:— Молодые люди, знайте: женщины приличного общества так любезны, что не поймешь — приглашают ли тебя к любовному порханью или же просто так воспитаны и ничего такого не думают...

Из «молодых людей» только Амон, поддавшись атмосфере его веселого настроения, словоохотлив. Душан же молчит, ибо смущен тем, что не удалось ему увидеть город, такое чувство, будто мир от дома и пустыря до этой дороги остался навсегда не увиденным и не прочувствованным в линиях, в свете, в запахах, в лицах, и это потерянное беспокоило. Ведь казалось, что все вокруг будет узнаваться и приниматься шаг за шагом и день за днем, сначала двор, потом весь дом и улица за воротами, пустырь и туты, и такое узнавание, без пропущенных пространств и улиц, и рисуется в его сознании одной сплошной картиной без загадок и волнующих тайн, картиной простой и понятной. Он еще задолго стал волноваться, думая, что вот возьмут его из привычной атмосферы двора и улицы и провезут через незнакомые места в городе, и он не успеет разглядеть все и прочувствовать, и станет ему неуютно и беспокойно, потому что непонятные и непрочувствованные места, улицы, к которым он так и не вернется уже никогда, не проедет через них,— все останется чужим, странным и тревожным, будет беспокоить то, что где-то вне мира, который принял его и который он разглядел, есть еще мир, куда его не пустили, будто обнадеживали, дразнили, говоря:

«Вот чуть вырастешь — увидишь, к лету можно будет бегать и в ту часть города, где собор...», а теперь, когда он ждал, желал, волновался, — обманули.

Он глянул на ровный ряд странной формы холмиков — разрушенную белую крепость — и тоже ничего не прочувствовал, огорченный, подумал только, что двор их, видимо, всегда не уверен в своей защите, потому еще и город закрывает его этими стенами, и здесь, где кончаются его стены, — низкий, в рост деревьев, просторный и открытый мир деревни, где, по рассказам деда, на ворота замков не вешают, знал, что если придет время терять, так уж теряют все сразу, это в городе, глупые, утешают себя надежными стенами и крепостями, думая, что терять по частям разумнее.

Душан смотрел на деда и все думал: как будет с ним? Хорошо ли? Уютно? Ведь он почти совсем не знает деревенского деда, чувствует только, что рядом с ним быстро утомляется от его веселого нрава и громкого голоса. Не обидит ли? Не предаст? Он ведь теперь и за бабушку и за отца. А смущает в нем, может быть, то, что говорит он по-таджикски твердо и небрежно, словно передразнивает язык бабушки в отместку за ее вечное: «Когда же вы наконец научитесь говорить по-таджикски, ведь в доме дети растут...» Страшно будет, если что-то не понравится ему в Душане и он нахмурится и не станет с ним разговаривать, а в деревне все незнакомое и чужое, — что делать? Как быть тогда, Амон, конечно же, будет с дедом... тогда он встанет утром и пойдет назад по этой дороге. Кругом будет пыльно и жарко, какие-то проезжие люди, видя его, одинокого, городского, опрятного, будут кричать и спрашивать, но маленький имам, как всегда невозмутимо, будет шагать прямо, без тени расслабленности и усталости, не расстегнув даже белого воротника рубашки и не вынимая из нагрудного кармана сложенного аккуратно платка — главное — чувство собственного достоинства и независимость.

Так сильно было в нем и так ново это чувство увозимого от дома, и так беспокоился он теперь, что даже представил себя в образе обиженного, идущего обратно к дому под ярким светом и солнцем, и, когда смотрел он на себя со стороны, из окна машины, вдруг понял: все, что он видит вокруг, — деревья вдоль дороги, зеленые поля, еще не убранные и желтые, уже пустые, со стаями птиц, — давно знакомо ему, будто он видит это второй или третий раз, такие вот деревья и низкие, ниже доро-

ги, поля, и потому совсем не радуется, не высовывается, как Амон, всякий раз из окна, если увидит одинокого жеребенка, сконфуженно обнюхивающего пыль на дороге, или козу, стоящую в обнимку с тутом и жующую торопливо, бормоча, листья.

Увидев себя бесстрастным и природу вокруг спокойной и знакомой, он успокоился и повеселел: ведь нет ничего страшного в том, что не сумел он посмотреть на часть города, по которой думал проехать, увиденное и знакомое — маленький двор, тупик, выходящий на большую улицу или пустырь — вполне удовлетворяют любопытство к миру, а то, что и не суждено увидеть, так и будет стоять в стороне, удивительно похожее на увиденное, как эта дорога.

Поэтому, наверно, не удивился он тому, что к дому деда они проехали не через всю деревню, как ждал мальчик, а свернули с дороги, и Амон закричал, узнав дом. Повезло прохладой речки, машина поднялась на мост, и стало видно, что дом стоит на краю поля, сзади темные заросли, о странных обитателях которых шептал им на ухо дед столько страшного (бабушка: «Довольно о всяких демонах, не делайте из детей язычников!»), и рядом тихий абрикосовый сад. Это удивительное совпадение — то, что и деревенский дом, как и городской, был не в центре поселения, не возле главной площади, а далеко на окраине,— видно, так было записано в судьбе их рода строить свои дома в тихом безлюдье, сбоку скромных пустырей — окончательно успокоило Душана, столько знакомого, родственно-защитного, и мальчику захотелось сразу же, сойдя с машины, побежать вокруг дома, его приветливых, теплых стен и ворот, которые похожестью со стенами и воротами его городского дома давно, еще не видя мальчика, приняли его.

Он еще раз глянул на деда, как бы спрашивая: «Неужели все правда? Правда?» — как будто, если бы мальчик заметил на лице деда плутоватую улыбку и услышал: «Я пошутил», он бы почувствовал себя несчастным и обманутым навсегда. Но почему правда о дьяволе с книжечкой, живущем якобы в этих зарослях, так нужна ему сейчас, ведь когда бабушка сердилась: «Все это сказки, языческие легенды», он успокаивался, веря ей и думая, так ли важно, что где-то в деревне, возле дома деда, в дупле орешины сидит женщина-демон, расчесывая волосы, чудовищно длинные зеленые груди ее вынуты и спрятаны в траве в ожидании, что проходящий

через заросли, о судьбе которого написано в ее книжечке, упадет, споткнувшись, и попадет к ней в вечное услужение. Не это ли тайное влекло Душана, не за этим ли он сюда ехал, не признаваясь даже самому себе?

И дед, словно поняв его, когда выпрыгивали они из машины, сказал:

— Все правда о зарослях, как я говорил.

— Правда? Но откуда ты знаешь?

— Ведь и ангелы не знают того, что знают старики. Приехали! Добро пожаловать!

Братья в восторге: дед так великодушен, едва сошли с машины у ворот: «Понимаю, вам не терпится», кивнул в сторону зарослей,— в отличие от бабушки, которая все запрещает, дед все разрешает, приговаривая при этом лукаво:

— Я воспитываю, снимая запреты. Полная воля и хитроумие! Хотя, впрочем, запрещать и разрешать — это одно и то же! Запрет бабушки воспитывает душу, мое разрешение — тело, набирайтесь соков!

Душан глянул на него с досадой, чувствуя в его словах утомительную назидательность бабушки — а ведь сейчас ему так легко и свободно без нее,— конечно, подло думать, что бабушка ему в тягость, просто он что-то угадал в деревенском деде такое, чего раньше не знал, что-то очень трогательное и родственное, поэтому и удалилась от него бабушка.

Подумав так и смутившись, Душан глянул на женщину, которая вышла встречать их к воротам, и, пока она целовала его великодушно подставленный лоб, вспомнил, что видел ее как-то в городском доме и что мама сказала: «Твоя родная тетя». Глянул — и ничего родственного не почувствовал к ней, но не побежал за Амоном к зарослям, а постоял возле тети, чтобы она не обиделась,— ведь как глупо, родственник, одной крови, а чувства нет, как чужая, зато она, наверное, любила его, младшего, и гостя, привезшего радостную суматоху; чтобы не было ей больно от его равнодушия, мальчик улыбнулся тете и сказал: «Да, все хорошо у нас, мама просила приехать, все вас любят» — и пошел за Амоном, вспомнив о том, что говорил дед: «Все интересное бывает в зарослях после полуночи, днем — ничего, пусто и скучно».

Сам вид этих зарослей тревожил загадочностью, кругом ровная, одинаковая зелень, и только возвышается над полем холмик белого песка, поросший густым сакса-

улом — как все это сохранилось, почему не убрали холмик, не засеяли, не сровняли, из страха ли, из суеверия? Можно подумать что угодно — место удивительных приключений, неразгаданных происшествий, всюду сонная ночная жизнь, и только в этом месте под луной творится странное и немыслимое, как с коноводом, который, проходя мимо зарослей, решил отдохнуть в прохладе, а проснувшись, вылез с закрытыми глазами и все время ржал, как лошадь, прополз через мост и бросился в воду...

Об этом Душан услышал, сидя в стороне от компании деревенских мальчиков, которые сразу же приняли к себе Амона, удивительно легко говорившего с ними по-узбекски.

— А чей это отец, коновод?

— Говорят, из соседней деревни. Вот так он ржал.— И трое мальчиков, ползая на животах, показывали, как вел себя странно коновод, превращенный в жеребца. Амон, вскочив, стал подгонять их криками и прыгать на них, изображая всадника. Душан развеселился, подошел к ним и сел тихо.

— Говорят, родился у него жеребец с белым пятном на боку, резвый, все не давался ему, дикий. Коновод вышел из себя и прямо в это белое пятно и посадил ему клеймо. А через день так с ним стало, вода затянула в себя.

— А жеребенок?

— Так и не нашли... и в степи искали...

Необычная эта и волнующая атмосфера коротких разговоров, духоты вокруг и редкого для этого часа пения птицы, и Душан подумал, что, должно быть, там, где говорят по-узбекски, и случается такое с коноводом и жеребцом, и только в этом мире узбекского языка есть такие мальчики, и заросли, и дом деда, и так коротко, отдыхая, поет птица, и что всякому языку человека нужен для выражения свой, непохожий мир, а для таджикского, чтобы назвать себя,— их городской дом, и олеандр, и улица, выходящая на пустырь с тутами, а заговори сейчас на таджикском, сам дух языка испугается от незнания окружающего, от неумения произнести, потому-то и сидел мальчик сконфуженный, боясь говорить.

Деревенские мальчики, видно понимая его волнение, старались не надоедать ему вопросами, обо всем городском — автофургонах, царапающих стены, дрессированных собачках, леденцах в красных коробках, раздвиж-

ных партах, пасте «Идеал», смывающей чернила, спортивных синих тапочках, жвачных конфетах с тмином, ручке, пишушей пятью цветами,— рассказывал Амон, и в этом полупешоте доверия и теплоты Душан вдруг почувствовал опять то редкое и счастливое состояние острого ощущения своего «я» и окружающего, что бывает только в этом глубоко человеческом, задорно-мечтательном возрасте.

Дед пришел звать их на ужин в самое неподходящее время, когда решили уже вести братьев в глубь зарослей, потому братья закричали, замахали в досаде, но дед сказал, что ужинают у них и ложатся рано и нельзя, чтобы двое маленьких горожан жили здесь по другим часам. Мальчики, отвернувшись, зашептались, и было решено собраться завтра с утра, чтобы посмотреть на ночные проделки женщины, живущей в дупле орешины, ведь тот, кого она опутает зелеными волосами, чтобы поднять к себе наверх, оставит следы на траве, и вот по следам этим мальчики и найдут орешину.

Пока шли к дому, Душан все думал о завтрашнем страшном, отстал и упал, ступив на какой-то темный куст, дед и Амон терпеливо подождали его, и Душану было приятно видеть брата заботливым и нежным. С той минуты, как они сели в машину, Душан заметил, какой брат добрый, может, потому, что был ошеломлен он новым, красивым, смотрит на все весело и жадно и душа его смягчается.

Зато дед удивил Душана, когда долго смотрел, как он идет к ним по тропинке, вынимая из рукавов рубашки колючки темного куста:

— Я вот давно наблюдаю за тобой, и в городе, и здесь. Это в характере — не ходить там, где идут все. Мы идем по тропинке, а тебя тянет в сторону, где колючий куст. Да, это в натуре, трудно тебе будет в жизни...

— Он всегда так,— подтвердил Амон,— ему тесно с кем-нибудь вдвоем на улице, обязательно свернет...

«Этот неразгаданный дед» — ироническое выражение бабушки. Оказывается, не только Душан желает разгадать его, но и дед следит за каждым шагом мальчика. Еще больше удивился Душан, когда Амон бросился к какому-то полосатому, круглому камню, думая, что это притаившаяся черепаха, вернулся сконфуженный, и дед сказал:

— Глупый, ведь камень, похожий на черепаху, интереснее. Я бы его взял и увез с собой в город.— И стал

объяснять, что вся прелесть этого камня в том, что внутри его есть желание, беспокоящее камень, заставляющее его притворяться, и чтобы быть похожим на существо хотя и близкой, но другой формы, надо напрячься, не боясь разорвать внутренние нити и пролить каплю крови — замечали в трещинах камня красное? Как затрепетал камень, как заволновался он, когда Амон бросился поднимать его, и как было ему тяжело и горестно, когда неудачное притворство было разоблачено! А черепаха менее интересна, можно сказать, что она совсем неинтересна, потому что в своем благодущии давно позабыла время, когда была камнем и тоже притворялась, ничто ее больше не мучает: ни желание изменить форму, окраску и цвет и быть похожей на существо более сложной формы, ни готовность к пожертвованию хотя бы каплей крови, — словом, все, что еще не стало, а желает стать, богато и интересно: а все ставшее и успокоившееся — бледно и банально, ибо там, где природа устала и нет у нее желания менять форму, все разлагается изнутри и панцирь снова делается каменным, возвращаясь к изначальному своему низшему состоянию.

«Любопытно, — думал Душан, — значит, забор, желающий стать домом, — лучше самого дома, деревня, притворяющаяся, будто она город, — интереснее города, собачка, делающая вид, что прыгает она выше дрессировщика, — богаче его...»

А сам он со своей странной привычкой — ходить всегда не по тропинке и ровной дороге по следам взрослых или рядом с ними, а по краям и ямам, через кусты, куда его несодолжимо тянет и где один неверный шаг — и можно упасть, пораниться. Разве не похож он в своем желании убежать от знакомого, надоевшего, банального и идти туда, где не ступит никогда здравомыслящий и осторожный Амон, на притворившийся камень?

Наверное, всюду лежат, притаившись и изменив свою окраску, такие вот камни с внутренним желанием, корни, похожие на куриные лапы, стекла, притворяющиеся каплями, медные шарик, делающие искусно вид, что они чем-то похожи на людей, каждый человек обнаружит среди них себе родственного двойника. И не поэтому ли люди, найдя круглый камень с глазами, вешают себе на шею, пропустив через мокрый глаз нитку, монеты зашивают младенцу поверх кармана, а голубые стекла вплетают в косы, чтобы двойник, если человек утом-

лен и рассеян, болен или крепко уснул, отвел от него беду.

Душан хотел было вернуться и забрать с собой заветный камень, но дед торопил их, потому мальчик лишь запомнил дерево и куст, чтобы завтра найти под ними этого трогательного притворщика.

Удивительно, тетя опять встретила их у ворот, будто все это время, пока братья сидели возле зарослей, с места не сдвинулась, думала: если будет стоять там, где Душан обидел ее нечуткостью, мальчик измучается от стыда и, увидев ее снова возле ворот, вдруг почувствует к ней родственное и нежное, словно его ощущение родственного должно было прийти не только от ее облика...

Невеста, невеста...
Заколдованное место,
Кто с места сойдет,
Жениха не найдет.

Душан испуганно остановился, думая, как же ему теперь быть, если не сумеет он справиться с равнодушием, если пройдет спокойно, как дед и Амон, мимо тети в дом, как смотреть потом на усталую, измученную чем-то тетю и что говорить, и это так его смутило, так повергло, что он побежал к тете и обнял ее, вдруг почувствовав на ее груди знакомый запах, тот тихий, ни на что не похожий запах, который шел только от людей одной с ним крови — мамы, деда, отца, и мальчику стало так горько от неведомых ему потерь, от тайн, мучивших и омрачавших жизнь взрослых, и так легко от приобщения к родственному, похожего на клятву верности, службы, защиты,— всего этого он не выдержал и заплакал.

Странно ведь, почему он не пережил это чувство родственного, когда обнимал отца или бабушку, почему он ощутил это через тетю, которую видел только раз мельком, почти незнакомую ему, и почему именно здесь и сейчас вдруг открылось ему это сострадание и эта радость ко всем в роду; и к маме, и к неразгаданному деду, и к Амону, и все ведь от прикосновения к тете, стоящей на «заколдованном своем месте» у ворот. Может быть, черты рода ярче и гуще, чем у всех остальных, были собраны в ней, и вот надо было сюда прнехать и, прикоснувшись к тете, будто волшебной палочкой, пробудить дремлющее чувство, чтобы передалось оно потом

дальше, к тем, кто был всегда рядом в доме? Не об этом ли говорила бабушка, провожая его:

— Вернись другим, полюби нас на стороне...

Дом деда удивил его своей непохожестью. Ведь думал он, что все внутри дома и сам дом должен быть похожим на их городской, раз живет в доме родственник,— потому деревенский дом не манил мальчика, казался скучным, давно виданным и узнанным, и это его даже радовало, думал, что не надо тратить себя на знакомство с деревенским домом, все его внимание займет дед, которого надо понять и открыть для себя, и тетя, которую надо полюбить.

Но вот он зашел в дом и увидел, что двор его пуст, а сам он белый и низкий, простой и местами даже неряшливый, будто строили его, не заботясь о красоте линий и стен, без еле заметных тонкостей, присущих облику их городского дома, где мраморные стоки под рукомоївниками, красные шары вделаны во все углы двора и красный, просвечиваясь, чуть оттеняет серость стен, где двери расположены так, чтобы движением своим менять свет и тень, вместе с тенью виноградных стеблей создающие очарование в те редкие майские вечера, когда дует ветер, идущий от растений,— его называют зеленым ветром.

Глядя на все вокруг, Душан вдруг понял, что такой дом больше всего и подходит к облику деда, выражая его сущность и образ жизни,— в доме две комнаты и обе летние, боковые стены почти полностью открыты, так что комнаты просто и естественно выходят в абрикосовый сад, будто комнаты есть продолжение сада. Сад так разросся, что теснил незаметно и обнимал дом, положив тяжелые ветки с плодами на крыши, а стволами касаясь стен, а местами и входя внутрь стен острыми боками, да так просто и без разрушений, словно был между садом и домом договор — года через два или три деревья должны войти в комнаты и наклониться над кроватью, где решено было уложить Душана.

Мальчик первый раз спал не на своей кровати и потому долго не мог уснуть, хотя и чувствовал себя усталым и измученным от пережитого. Он все думал над тем, как деревья войдут в дом, посмотрят на все вокруг, на потолок, на скромное житье деда, наклонятся над люлькой тетиного младенца и помашут ему ветками в утешение, а потом выйдут с другой стороны дома, отряхивая с себя во дворе абрикосы, чтобы расти у ворот, где

сейчас пустырь, и весь дом покрасится в красный цвет. И еще он думал над тем, как много он увидит — и абрикосовый сад в дневном свете, и заросли, и холм за речкой, поросший шиповником, и гумно, где угрюмые от духоты быки перемалывают стебли, — ведь новая жизнь будет длиться целый месяц — август, пока не вернется он опять к старой.

— Спице, сегодняшний день не в счет, — сказал дед. — Все начнется завтра с утра! — А сам ушел в соседнюю комнату, где лежал в люльке тетин младенец, который глянул на Душана, потянулся было к нему всем телом, но, видно, утомившись, сразу заплакал.

Слышно было всю ночь, как разговаривают в этой комнате тетя и дед, вначале тихо, думая, что мальчики еще не заснули, затем почему-то громко, и Душан улыбнулся, услышав любимое деда: «В наше время никто и слова такого не знал — алимент!» На сей раз он, должно быть, сердился, потому что слово это, диковинное и нечеловеческое, раз о нем никто не слышал, произнес он издеваясь и зло смеясь.

— Не нужно нам это, прошу тебя, умоляю, — сказал он потом тете. — Проживем благородно, фу, гадко все это, противно! Не нужны эти копейки, так — в бегах по конторам да адвокатам — взятые! А адвокат-то паршивый — в такой позе, будто ворочает делами кожевенной фабрики или другого наследства. А всего-то, самое большее, что может и чего не может, — алимент! Черт, не хочу! Умру!

— Зачем же вы пили? К чему? — робко сказала тетя и замолчала.

— Для смелости — на адвоката, — ответил дед и как-то тихо и незлобно рассмеялся, и, услышав этот смех среди ночных шорохов сада, свиста светлячков и стука перезревших плодов, которые больше всего почему-то падают после полуночи, Душан уснул наконец.

А когда проснулся — вчерашнего пережитого и услышанного будто и не было вовсе, потому что сад он не сумел разглядеть в полумраке, а разговор тети с делом не дослушал. Все было сначала, как после испорченной игры или после ссоры, когда решают жить по-новому. Вот и сад открылся, и Амон уже бегал босиком по траве, тетя готовила им молочный завтрак, а дед ушел, чтобы позвонить с почты домой в город и сказать, что приехали они благополучно.

Душан сел на порог и смотрел на брата, прыгающего

за абрикосами, лицо и руки Амона были красные от сока, а ноги зеленые, и сам он, красно-зеленый человек, весь какой-то восторженно-сумасшедший.

Душану, невыспавшемуся, было плохо, знобило, и будь он спокойный, как обычно, отдохнувший, наверняка не поддался бы настроению брата, а сейчас будто загнали его в Амона. С криком он понесся в сад, и братья вместе бегали между деревьями в радостном волнении, катались по траве и листьям, и сок раздавленных плодов брызгал им в лицо.

Как будто Амон, так много думавший о том часе, когда соберутся мальчики в заросли в гости к женщине, живущей в орешине, сам вселился в беса, а Душан в брата, а потом, возбужденный, забежал в комнату, вспомнив о гнезде стрижа, повешенном на потолке, как перевернутая глиняная чашка. Мальчик схватил шапку деда и стал кидать вверх — стриж удивленно выглянул, спрятался, затем опять высунул голову, испуганно вспорхнул и полетел над кроватью и зеркалом, над столом, где стояла ваза. Душан все бросал шапку, желая прогнать стрижа в сад, на волю, но стриж, видно, не поимал его намерений, все летал по комнате.

«Ах, ты вылетишь!» — крикнул мальчик и так забежал, такой поднял шум, что птица растерянно ударилась со всего лета об стену и стала падать, но над самым стеклом вазы задержалась, чтобы подняться к гнезду. Вот здесь-то Душан и попал в нее — удивительно, такая резвая и живая птица и вдруг упала тихо и легко, словно жизни в ней не было, а сама она бумажная.

Увидев, как лежит стриж спокойно, закрыв тело крыльями, мальчик сначала не понял, что случилось, а когда заметил, как меняется его окраска, темно-коричневое тело светлеет и цвет от головы уходит к грудке и вниз, будто птица была только недавно покрашена и краска сейчас высыхает прямо на глазах, Душан выбежал от волнения в сад, неожиданно подумал глупость, дерзость, вместо того чтобы каяться, — вот почему птицы моются с утра, едва проснутся и защебечут, это они жизнь на себя наводят, как красоту, красятся в свой цвет, так и люди, когда умоются после сна, чувствуют, что живые, мертвых же моют другие, но вода не оживляет их, разве что если из святого колодца...

Боясь, как бы дед или тетя — хозяйева дома — не увидели его злое дело, Душан пошел к брату и рассказал, и, пока Амон с любопытством рассматривал мертвую

и будет биться в темноте по углам, но, увидев наконец освещенное блюдце, напьется, чтобы забыть горечь, затем коснется в последний раз подушки, на которой покоилась ее голова в день рождения и в день смерти, и луна протянет луч, чтобы забрать душу навсегда...

Вечер будет тихим, безветренным, иначе, если душа потянется вверх и подует ветер, луч может согнуться и, сбившись с пути, застрять где-нибудь в листьях тута на поляне, и тогда в новом своем превращении появится не совсем совершенное существо — горлица с коротким крылом или богомол без одной лапы...

Ведь нет ничего страшнее взгляда горлицы, которая прилетает каждое утро и смотрит на всех с укором, будто живые виноваты, должны были они в момент, когда поднимается душа, стоять возле деревьев и трясти ветки, чтобы луч не застрял, — ведь проводы должны быть достойными, даже если всем уже не терпится вздохнуть тайно с облегчением.

Наверное, и это знала бабушка, — то, что держит она всех в строгости и послушании, было для семьи бременем, а когда не станет ее, распадется семья изнутри, будет больше веселья и беспечности, меньше мудрости и терпения, словно сразу забудут все ее наставления.

А что же останется?

«Какого ж цвета был цветок? Не вспомню. Не могу. Не знаю». Разве только это, что записала она когда-то в книжку-вопросник Душана. «Кто такой глупый?» — «Тот, кто ходит быстро, громко говорит, много ест, часто смотрит себе под ноги, думая найти монету, кто чихает и не закрывает рукой рта, кто продолжает храпеть, даже когда его будят и просят...»

Значит, умный — кто закрывает рот и обрызгивает себя, не храпит, потому что не спит и терпит, не поднимает монету, говорит тихо, в ухо собеседнику, ходит медленно и всюду опаздывает, мало ест и худеет...

Неужели это? Старость живет в нем со дня рождения, так же как в бабушке часть его молодости, которую она унесла, и умный тот, из кого порой лезет глупость, а больной и тихий носит в себе столько страсти и здоровья, и как бы ни вела себя память, как бы ни старалась она забыть — он, ощущая бремя, но терпеливо и достойно будет носить в себе старость...

А жара тем временем стала короче, еле хватало ее до вечера, горлица умолкла, одуванчик улетел с крыши, луна ушла выше...

КНИГА ВТОРАЯ

ЧИСЛА И СТУПЕНИ



Теперь ему казалось, что он изгнан из прежнего существования, оторван насильно, ибо не чувствовал ни к чему вкуса, желания притупились, и захотелось ему стать бродягой. Где-то в неведомых ему местах снова изголодаться по жизни. Хоть какая-то жизнь мелькнет... Пойдет Душан той самой дорогой, по которой вез его дед в деревню обратно — на похороны бабушки. Ляжет в тени тут, чтобы пожевать сухие ягоды, и вдруг увидит тех двух дровосеков, сначала их желтые сапоги в пыли, затем ручки длинных топоров, прижатых, как ружья, к боку, вскрикнет от удивления, выдавая себя... А они присядут, радуясь встрече, Душан же посмотрит на них вблизи и еще раз убедится в верности своей странной догадки... да, ведь дровосеки эти лишь притворяются пришельцами с гор, памирцами, спустившимися в город на заработки. Заняты только тем, что ходят по тесным дворам, пилят и колют дрова и складывают их башенкой, куполом, полукруглой стеной, как подскажет настроенье и фантазия,— если башенкой, значит, им сегодня особенно тесно на этой улице, душа сжимается от тоски, хочется наверх, где простор, если же сложат куполом, наоборот, хотят скрыться под его сводом от чего-то тревожащего, будто видели дурной сон, а если храбры они сегодня и мужественны, если хотят оградить свой дом от позора ограбления, то воображают, что, прижавшись к полукруглой стене, отстреливаются из ружей, которые в часы, когда они работают, снова превращаются в топоры матчои*.

И сама песня, которую они поют: «Все есть у меня, ах, все есть у меня...», должно быть, родилась среди скал, когда все вокруг возмущалось в природе, дул сильный ветер. М — звук движения, сила ветра, АТ — скала треснула, ЧО — покатались вниз камни, чертя ручей, И...

* М а т ч о и — странствующие дровосеки.

МАТЧОЙ... А они скрывались за скалой, напуганные, изумленные, подражая этим звукам, и придумали это как заклинание, чтобы успокоить все вокруг...

Все есть у меня, ах, все есть у меня,
Руки и сила в руках есть у меня.
Есть три дня работа у меня,
А свободен я четыре дня.
Я четыре дня живу свободным.
Но четыре дня хожу голодным...
Ах, все есть у меня...

Терпеливые и неприхотливые, они едят и спят там же, где и работают, а хозяева прячут от них подальше молодых жен и дочерей, но, если пробежит женщина мимо них по двору, дровосеки обязательно остановят ее, чтобы обнять за талию,— Душан хотел бы теперь жить так и, кочуя по деревням с этими двумя бродягами, притворившимися дровосеками, хоть чем-то сгладить то дурное впечатление, которое оставил у них отец, не пожелавший, чтобы дровосеки остались ночевать у них.

— Нет, нам негде вам постелить!— сердито говорил отец.— До завтра, до утра...— желая скорее выпроводить их на улицу.

С таким усердием поднимали топоры, так били, казалось, чурки дымятся... Только почему-то топоры их не блестели — ведь дым, огонь,— словно были матовые, потели, потеряв где-то в дереве свою страсть... Ничто так не гасит, не умиротворяет, как дерево, особенно мертвое, если было оно столбом, подпоркой навеса или виноградника, ибо стало оно терпеливой частью дома, а через дом этот и частью племени, рода. Вот так, случайно искра топора, а может взбудоражить, напомнить о далекой жизни предков, словно это искра их очага или топора — просто спряталась в столбе и терпеливо ждала по сей день...

Потом дровосеки складывали срезанные столбы в нише двора простой стеной, от низа до верха ниши, не так искусно, как соседям — куполом под навесом,— и, может, это злило отца, не понимавшего игру их настроения, как знать? Словом, не разрешил, не смягчился даже, когда один из них, как бы шутя, сказал, что могут они переночевать и в нише, стоя терпеливо, лишь бы над головой не светила луна, ибо что-то тревожит их в полнолуние, навевает...

И только они это сказали, Душан понял все и ночью не сомкнул глаз, желая поймать тот миг, когда над ним наклонится негр с тростью — телохранитель и, пойманный и разгаданный мальчиком, побежит потом от его кровати через весь двор прямо в нишу, а там превратится в горца с топором, чтобы был Душан доволен и удовлетворен.

Лежа в постели, Душан слышал, как отец с матерью поспорили. Мать удивлялась их странствиям, неприхотливой жизни, говорила: ведь не калеки, не больные, высокие, красивые мужчины; могли где-нибудь работать на фабрике, имея дом и семью, все же лучше, чем быть отовсюду гонимыми,— непонятный народ... Хотя говорила мать деликатно, но все же чувствовалось, что обидел ее жестокий поступок отца. Отец же вначале убеждал ее, что с дровосеками все сложнее, не так, как она думает, еще два поколения назад деды их были кочевниками, сыновья же поднялись в горы, но еще не прижились, вот и гонит их обратно в долину, а у кочевника, потерявшего кочевье и привычную жизнь, появляются в городе дурные бродяжки замашки полувора.

— Да нет, как будто они славные.... ничего воровского,— возразила мать. И должно быть, это «славные» и раздражило отца окончательно, будто то, как она назвала этих чужих мужчин, было сильнее и впечатлительнее тех слов, которыми мать хвалила за что-нибудь отца.

— Вот и хорошо, ты поняла, почему я их прогнал,— сказал отец, подчеркивая каждое слово и делая между ними паузы от злости.— Они были к тебе внимательны, а ты теряла голову, становясь суетливой и жалкой. Воры и бродяги!

Утром следующего дня дровосеки пришли чуть раньше и работали быстрее, желая скорее закончить со столбами; видно, их уже ждали в других дворах, заманили посулами, а может, сам властный вид отца, стоявшего над ними, подгонял?

Братья, Амон с Душаном, ходили и собирали стружки, мать же глядела на голубоглазых красавцев из окна, а они, заметив ее, пилили как-то озорно и легко, хотя и давил на них сверху угрюмой молчаливостью отец, которого как будто все отпустило после смерти бабушки, чтобы мог он чувствовать себя хозяином. И не отсюда ли его желание еще раз поторговаться с дровосеками о плате? А дровосеки в ответ зывали к сове-

сти и памяти отца, говоря, что ведь вчера он был согласен, но отец требовал сбавить, убежденный, что они умышленно, лентясь, растянули работу на два дня, хотя делать было почти нечего, и сурово настаивал на своем. Возможно, он просто был придиричив, видя, что мать несколько раз выходила во двор, желая, наверное, вмешаться, но не вмешивалась, что-то ее удерживало.

Душан хотел было выбежать за ними на улицу или сказать об этом матери, объяснить, что уходит их домохранитель, узнав все, что было в долгой жизни их родных, всего рода дедов и прадедов, этот добрый хранитель, давший клятву перед самой вечностью: не нарушать ни одной тайны, не раскрывать ради злого умысла, но пропускать через свое сито все мелкое и ненужное — обиды, боли, обман и болезни семьи, — чтобы от одного к другому передавать лишь мужество и благородство, этот хранитель, о котором так много рассказывала ему бабушка, ушел теперь от них, отвергнутый и оскорбленный по незнанию и недомыслию отца. Как обидно — не умышленно прогневанный и назло прогнанный, а по простому непониманию, невниманию отца.

Сказать ему? Не посмеется ли, не назовет ли, как обычно, чепухой и бредом? А потом, еще в этот же день, вечером, когда Душан узнал об отъезде отца, он почти не удивился и не огорчился, будто знал давно и успел уже множество раз погоревать об этом, да так, что истратил все свои чувства к отцу. Выслушал все спокойно, и среди длинных и, казалось бы, таких связных убедительных объяснений отца и матери только раз порадовался за себя, когда узнал, что недавний их странный поступок, когда отдали Душана в школу, а через неделю запретили ходить, объясняя это его медлительностью, ленью, неряшливостью и тугодумием, — все на самом деле тоже было связано с отъездом отца в Афганистан. А он-то подумал о себе плохое, презирал себя, чуть было не поверил в то, что он самый тупой и ленивый в классе, и все из-за раздражительности матери.

Теперь же, когда Душан понял тайный смысл жизни родителей и жизнь эта обнажилась в своей трезвости и неприглядности, стало понятно, отчего бабушка вечно была недовольна отцом. Откуда было знать мальчику о том, что отец уже давно мечтает уехать куда-нибудь далеко, где платят хорошо за работу врача, скажем в Афганистан, по найму, чтобы мог он пять лет копить деньги на машину и квартиру в европейской части горо-

да, где селились все, кто считал себя удачно вписавшимся в современную жизнь. Говорил отец, что задыхается в старом родовом доме, вечно жарком и пыльном, а новая квартира ему нужна для престижа семьи, чтобы в будущем сделать из сыновей деловых людей, которые не отстали бы от жизни, не затерялись на задворках, не запылились, не зачахли... На насмешливые слова бабушки, обвинявшей отца в любви к моде, к мишуре жизни, отец отвечал с искренним недоумением:

— Да что в этом дурного?! Я хочу, чтобы Душан играл на фортепьяно...— И почему-то начинал сердиться, понимая, наверное, что играющий на фортепьяно Душан — такая неубедительная картина.— А Амон пусть купается в ванне... Хорошо у тех, к кому я ходил, как к людям умным, в их квартиры. Ведь двор в доме — это еще не главное!

— Вы только послушайте,— зло посмеивалась бабушка и говорила нарочито громко, чтобы, должно быть, убедить всех остальных, ибо в спокойной властности, терпеливой несуетности была по-прежнему убеждена в своей правоте и пронизательности.— Он даже перестает правильно выражаться, ученый человек, когда говорит об этом современном, модном, пахнущем, ярко блестящем. Давно ли твой отец был кочевником? А ты, его сын, еще как следует не привыкнув к земле, хочешь, минувшая деревню и глиняный наш город, устремиться сразу в каменный. Какая путаница?! Смотри: как бы ты не запутался и не потерял себя и семью. И благословенная наша Бухара не сразу строилась—от двора к двору,—так и человек должен жить в своей среде, не метаться от своего к чужому,—втолковывала бабушка, но потом, уже ближе к смерти, перестала спорить, а отец, видя, как слабеют все ее доводы перед лицом смерти, какими бы они разумными ни были, становился все настойчивее в своих желаниях, которые от одного лишь того, что были обращены в будущее, в саму жизнь, казались ему верными. Но будущую жизнь эту еще надо было прожить, чтобы почувствовать ее ценность. А может, ошибочность?

Но прошло время, и, когда с отъездом отца в Афганистан все было решено, пригласили дровосеков, чтобы убрать всю левую сторону виноградника, спилить и сложить в нише его столбы — без мужчины в доме виноградник может теперь захиреть, и, если не срезать, не облегчить его, сгниют столбы и погребут под собой палисадник.

Но ведь странно — отец, должно быть, понимал, что если доводы бабушки о глиняном и каменном городе по нынешним ученым представлениям и не казались до конца верными, то житейская логика в них все же была. Ведь сам-то он понял пронизательно все мытарства этих дровосеков, ушедших от привычной жизни в пустыне, но так и не пришедших пока, не нашедших покой в горах и превратившихся оттого в городе в полуворов-полубродяг. Выходит, легко понять жизнь другого, а в своей запутаться, даже если она похожа на жизнь, которую понял. Понимать и желать — ничего близкого в них нет, наоборот, одно лишь противоречие, понимание удерживает, а желание уводит, чтобы и отец, как и эти дровосеки, метался в поисках чего-то мнимого между разными жизнями, городами, родиной и чужбиной. Что гонит, что удовлетворит отца, найдет ли лучшее, если все противоречие, вся суетная борьба понимания и желания в нем самом; какую свою ненасытную часть он удовлетворит, если достигнет того, о чем мечтает? И не получится ли так, что, едва он почувствует умиротворение, перебравшись в новую квартиру, как желания поведут его совсем в другую сторону — и так вечный удел... полувора-полубродяги.

Душан, конечно, всего не понимал, что судьба могла дать отцу, но, вспомнив о разговоре матери и отца, его слова о дровосеках в ночь перед проводами отца, вдруг почувствовал к нему жалость: ведь и отец как дровосек. Может, глядя на них, он почувствовал сильное влечение к бродяжничеству, к приключениям, потому гнал дровосеков, не давая им ночлега. Все связаны между собой, как отец и дровосеки, смутными желаниями, беспокоящими, зовущими, и если негр-телохранитель притворялся дровосеком, а в дровосеке обнаружилось родственное с отцом, то, может быть, сон Душана всегда оберегал не отдельно, сам по себе живущий его телохранитель, а отец, дух отца?

Успокоенный этой своей догадкой, Душан уснул; зато в тот вечер, когда проводили отца в новую жизнь, кажущуюся ему такой заманчивой, все в доме не могли лечь в постели, говорили вполголоса, что теперь будет без отца. Амон обещал матери жалеть ее и защищать, Душан же внутренне был удален от суматохи, все ожидал, что вот вернется опять обиженный негр-телохранитель. Милосердный, он позабудет обиду отца, зная, что быть добрым и великодушным не так-то просто, надо

привыкнуть к насмешкам злых и подлых, а более всего нуждаются в защите те несчастные, которые сплошь и рядом делают глупости по недомыслию.

Так чувствовал он в эту ночь, что, оставшись без негра-телохранителя, духа отца, устремленного в алчную погоню, теперь теряет и другие связи; ветер, всегда приносивший ему прохладу, расторгает с ним договор, и луна отворачивается, и жуки больше не хотят жить в их дворе — и все для того, чтобы почувствовал он свое самое тяжкое, самое жестокое сиротство, по сравнению с которым жизнь без отца и даже без матери еще не кажется такой невыносимой.

Первые два дня, которые проводили они в каменном городе, чтобы вернуться в старый, глиняный лишь переночевать, мать еще была с Душаном, успокаивала, объясняя, что не так-то просто попасть в интернат — беготня и хлопоты, но потом сама устала, сделалась раздражительной.

Душан стоял возле дверей, не сходя с места, а она бежала, даже не взглянув на него, по коридору, к другому служащему за подписью, повторяя, что все будет хорошо, ибо им помогает дядя Наби-заде, и вот эти бумаги с печатями, которые Душан рассматривал тайком дома, чтобы прочитать на каждой бумаге свое имя крупно и печатно — Душан Темурий, и приводили его почему-то в смятение.

И вправду, должно быть, все это затеяно, чтобы оторвать его наконец от дома, матери и Амона, от памяти бабушки — так Душан безболезненно отправился в свой интернат... Туда, где жизнь совсем не похожа на знакомую ему, узнанную и пережитую, да, наверное, все так и есть, думал Душан. И если судьба его меняется теперь резко, теряя естественное свое течение от вещи, от дня, понятого им и прочувствованного, к вещи и дню чужому, далекому, насильно данному, значит, он должен не жить вольно, полной грудью, а просто быть, чтобы перетерпеть и выжить.

От этих подробных рассказов матери, несмотря на их красочность, все же веяло чем-то неестественным, надуманным, и Душан уже заранее воспринимал интернат как место, где лучше казаться, чем быть, ибо место это заданное, давно еще, до него, устоявшееся, со своим бытом и жизнью, которую Душан не пережил и потому боялся.

Даже мать ошиблась — в то утро, когда они уезжа-

ли, ждала капризов, упреков, а вышла во двор, взглянула на сына и порадовалась, удивившись тому, как он спокоен и хорошо выглядит. Но, едва машина отъехала от дома и повернула на главную улицу, чтобы увезти его в местечко Зармитан, горечь отпустила Душана, словно его тревоги передались теперь матери, которая в эти предотъездные дни казалась суетливой и равнодушной к нему. Мать сжала ему руку и вся задрожала, будто никак не могла собрать в себе горечь, чтобы заплакать, Душан же, почувствовав облегчение, как бы отстранился от ее тревог и уже думал о том, как встретят его в Зармитане. Должно быть, впервые за все время его жизни что-то переместилось в мальчике, перестроилось, слабость и малодушие согнулись, чтобы сделать его характер гибче, а сознание объемнее, и все это движение и родило в нем простую и успокоительную мысль: «Ничего... надо все перетерпеть, прожить...» И хотя это было повторением когда-то сказанных слов бабушки или отца, не понятных и не оцененных тогда Душаном, сейчас они, дремавшие в глубине сознания как ненужное, вдруг проснулись, вспомнились и пошли, чтобы сделать причудливый ход, тронуть его за живое и выразить чужими словами и премудростью то, что он сам чувствовал теперь.

Душану сделалось легко, и все, что его ждало впереди, уже не казалось таким страшным. И он решил не считать деревья и столбы и не запоминать в подробностях дорогу, по которой его вез на своей машине сосед Бахшилло, решил, как бы ни оказалось там тяжело, он не уйдет, не сбежит, смирится, ибо эта перемена, заставившая почувствовать себя спокойным, а мать, наоборот, страдающей, переживающей вместо сына, и смирила Душана.

Эта перемена, начавшаяся от отца, а может быть, еще от прадеда и задевшая теперь жизнь матери и его жизнь и передававшаяся дальше чужому человеку — Бахшилло, сделавшая соседа холодно-равнодушным, так занимала мальчика всю дорогу, что он не заметил, как подъехали к Зармитану. Только удивило Душана, что Зармитан оказался местом, похожим на деревню деда, — такая же речка возле первых домов, туги и поле по левую сторону холма, будто поездка к деду, неожиданно прерванная, теперь продолжается.

— А как я там буду говорить? — шепнул он матери, и та, укорявшая себя, что не могла устроить все так,

чтобы не отрывать мальчика от дома, обрадовалась: заговорил наконец, стала убеждать Душана: все это не страшно, в интернате говорят на трех языках: таджикском, узбекском и русском, можно объяснять на том, который знаешь лучше, или же смешивать все три языка — прекрасно поймут. И вот тут единственный раз сосед Бахшилло не выдержал свою роль отрешенного и вмешался, обратившись к Душану так же ласково, как в дни младенчества, на «вы»:

— А вы не подавайтесь всей этой мешанине. Старайтесь больше говорить на нашем, таджикском. Он уже блекнет и теряется в Бухаре...— И пока он говорил все это убежденно, машина проехала мимо песчаного холма к одинокому, но большому и длинному дому — вдоль его жарких стен, заросших колючими кустами, — к воротам.

Вслед машине кричали и свистели мальчишки, бегающие по глиняному забору, прыгающие вниз, к кустам, и, глядя на их возбужденный, задорный вид, Душан понял, что они и есть учащиеся интерната, не стесненные жестким порядком, ибо сама атмосфера Зармитана, так похожая на деревню деда, не могла не настраивать на простоту нравов, на расслабленность.

— Здесь, — сказала мать шоферу, быстро, суетясь, вышла из машины, показывая на старинные ворота, и ощущения умиротворенности и уверенности, продолжавшиеся от городского их дома до речки Зармитана, холма и ворот, словно остуженные этими словами матери, вдруг сменились суетливостью, будто только подстроившись к настроению матери, ее нарочито неестественной быстроте движений, Душан мог теперь обрести уверенность среди чужих людей.

«Но ведь она сейчас уедет... так нельзя», — подумал Душан, мельком, с невниманием глядя на то, как открылось в воротах окошко и мать подала кому-то в протянутую руку бумагу, видимо пропуск.

Ворота распахнулись так широко, что ожидавший тесноты и духоты Душан с удивлением увидел большой двор с палисадником и далеко, по обе стороны окна классных комнат. Из такой дали учащиеся не могли разглядеть новичка в окно. Подумав, что бессмысленно искать поддержки у матери и что отныне он остается здесь один, Душан вновь замкнулся, пока шел через двор, а потом и через коридор ко второму двору, самому большому, с верхней и нижней площадками, с классными комнатами и двумя лестницами, ведущими в мансарды.

Мать на все показывала, желая взбодрить сына, сказала, что был это гостинный дом бухарского князя Арифа, будто не только облик самого дома, но и имя — Ариф — могло наполнить Душана ощущением места, привязанностью к нему, но сын смотрел на окна, на смутно различимые лица учащихся и воспитателей, а когда уходили из этого двора по второму, каменному коридору, повстречали толпу мальчиков, которые, видно, сразу же узнали в Душане новичка, потому-то каждый из них, пробегая, старался толкнуть его плечом, чтобы выходкой этой уже с первого знакомства приобщить его к дерзкой жизни силы, озорства и плутовства.

Это были такие же мальчики, как на его улице, в деревне деда, в городской школе, куда ходил он всего неделю, только более раскованные и грубоватые, загоревшие возле здешней речки, шумные и самостоятельные без родительской опеки. Мимо Душана по коридору, квакая и пуская струйки воды на стены, прополз мальчик, подгоняемый старшим, который, сидя на нем верхом, хохотал, раскачиваясь из стороны в сторону. И кто-то в сутолоке коридора наступил Душану на ногу, сразу же вернувшись, насупленно потребовал «верни!», но, видя, как Душан недоуменно растерян, угрожающе прошептал: «Ты что?! Ну-ка наступи!» — и подставил правую ногу. И побежал потом, успокоенный, не задумываясь наверняка над тем, что странным своим поступком, сам того не ведая, сообщил новичку одно из правил их совместной жизни.

Душан понимал, что мальчики так знакомятся, приглядываясь друг к другу, наступая, толкая, как бы невзначай прижимая к прохладной, вспотевшей от их частых дыханий стене коридора, проверяя дух и желая разгадать чужую слабость, чтобы рассказать потом о ней дальше.

Только не знал он еще, что во всем этом посягательстве есть предел; можно бить по голове, животу, но в любой, даже в самой беспорядочной свалке наступающий неосознанно помнит о запретном месте — ноге. Если даже самый сильный нечаянно наступил на ногу противника, он тут же сконфуженно отступает и подставляет свою в знак примирения, как сейчас этот рыжий в коридоре. Из хаоса драк, жестоких избиений и рождается потом чувство вины, совестно становится, дикое и необузданное само находит себе черту, после которой рождаются в человеке неписанные правила, и одним из них,

может быть, самым первым, в детстве и есть «возвращенная печать ноги».

Уверены мальчики, что, если печать не возвращена, у младших будут неудачи в учебе и болезни, у старших же слабость в драках и измена в любви, но сейчас Душан не знал обо всем этом, шагал с матерью к третьему двору, который, открывшись из коридора, поразил его своим пространством — белым и унылым, сдержанным видом двух рядов низких классов.

Эти классные комнаты с одинаковыми окнами и дверьми казались чем-то случайным и даже тягостным для двора, в котором столько воздуха и солнца, криков и шума играющих в глубине двора мальчиков; своим видом комнаты эти примешивали нечто жестокое, неестественное к свободному веселью всего пространства.

Но как ни странно, нечто успокоительное, даже знакомое почувствовал Душан именно в этом ряду классов, когда, проходя мимо открытого окна, мать суетливо наклонилась к нему, чтобы прошептать, показывая на силуэт воспитателя в классе: «Пай-Хамбаров... Душан», и только она это сказала, как воспитатель, словно услышав свое имя рядом с непривычным, незнакомым ему именем новичка («Пай-Хамбаров... Душан»), удивился и, выглянув в окно, приветливо закивал матери, показывая пальцем на Душана и словно вопрошая, но строго и с иронией: «Это он? Он... проказник?»

— Да, да,— обрадованно закивала мать, радуясь, должно быть, такому взаимопониманию через оценку — проказник, а в это время уже весь класс потянулся к двум окнам, чтобы посмотреть на Душана.

Душан открыто, сдерживая смущение, глянул на Пай-Хамбарова и на всех остальных в окнах, и, обменявшись взглядами, почувствовал облегчение, как почувствовала его вдруг мать, увидев воспитателя. А когда Пай-Хамбаров вышел к ним, оставив шумный класс без присмотра, Душану сделалось и вовсе хорошо, ибо почувствовал он что-то привычное, даже родственное во всем облике своего воспитателя, какую-то мягкость и слабость, что-то меланхолическое и странное.

И рука его оказалась совсем легкой, почти без веса, когда положил он ее на плечи Душана, чтобы, предупредительно наклонившись, выслушать мать.

— Вот привела к вам... оставляю,— сказала мать, и только, должно быть, само обаяние, исходящее от Пай-Хамбарова, мешало ей заплакать.

— Славно и хорошо,— ободрил Пай-Хамбаров, еще раз взглянув на Душана и не убирая с его плеча руки.— Сегодня мы его не возьмем в класс, пусть отдохнет и побегает по двору, привыкая. Ты свободен, мальчик,— сказал он Душану, и в том, что он назвал его не по имени и не строго: «учащийся», был, наверное, тоже свой смысл, желание сказать Душану: если ты столько дней готовишься к приезду сюда, рвешься через любопытство и страх в сумасшедшей гонке, устроенной матерью, через дворы и коридоры, тесноту и волнения, все так... но все равно этим «ты свободен, мальчик» надобно подчеркнуть, что ты еще не наш, надо напрячься, доказать, что ты достоин принятия и любви...

Душан обиделся на Пай-Хамбарова и пошел за матерью, а она, словно ее давно приняли здесь и полюбили, легко повела его обратно во второй двор, где была комната отдыха его класса. А когда усадила в комнате за стол, стала вдруг быстро прощаться, не мигая, властно глядя ему в глаза, сказала: «Я тебе верю... очень верю... Знай, это недолго, в воскресенье я опять приеду», а Душан слушал ее, и не было в нем ни сострадания, ни жалости, и таким спокойно-равнодушным остался в комнате. И видел потом из окна, что мать почему-то пошла не к выходу, к первому двору, а обратно к третьему и вернулась оттуда, разговаривая с Пай-Хамбаровым.

«Не мать же остается, а он был так холоден ко мне,— подумал Душан, все еще обижаясь на Пай-Хамбарова, даже ревнуя его.— А с ней идет уже два раза...»,— подумал и успокоился, решил, что совсем неплохо иметь учителем Пай-Хамбарова, ведь в той школе, откуда его забрали обратно домой, его учила женщина, и может, поэтому все считали его неспособным. Здесь же, где начнется все заново, он попытается преодолеть и это,— медлительность и лень.

Пока Душан ехал сюда и шел через коридоры по дворам интерната, его отпускало, становилось легко и свободно, но потом опять чье-то обидное слово или жест, новое волнение или ожидание сжимало его всего, чтобы стал он вновь бесчувственным от смутного, все накапывающегося внутреннего беспокойства.

Желая понять, что же с ним творится, он смотрел на стены, на шкаф с книгами и столик в углу, где были сложены игры, проникаясь ощущением уже знакомого и виденного — этой комнаты, двора, коридора, стен и

переходов, всего, что было им прежде никогда не виденным, незнакомым. И вот — странно — вновь пришло к нему ощущение того, что все это он видел уже, среди всего был и пережил и ничто теперь из увиденного не могло его взволновать и порадовать. Отчего? Может, кто-нибудь в роду, скажем, прадед, был в таком же дворе и, как и Душан, пережил знакомство с миром классных комнат духовной семинарии, кто знает? Не значит ли это, что в ощущениях каждого последующего из их рода, как готовое, столько пережитого опыта, страсти и страданий предыдущих, что для таких, как Душан, уже не остается ничего, а если остается для переживаний, то так мало, что еле хватает энергии лишь удивиться и восторгнуться раз. После этого последнего восторга вся мера неузнанного и неразгаданного исчезает, чтобы захирел и погиб весь род без новых эмоций от тяжести всеобщей разгаданности.

И мальчик Аппак, который вбежал в комнату и, не замечая Душана, сел, тяжело дыша, тоже казался знакомым, да еще таким, с которым связано нечто неприятное, драка.

— Имя странное — Душан... — криво усмехаясь, сказал Аппак.

Душан решил сдерживать обиду и как можно бесстрастнее, с достоинством ответил:

— Я родился в понедельник. А это ведь не очень хороший день. Но чтобы не обижаться на судьбу и не высказать свое презрение к понедельнику, решили умилоствовать этот день и назвать — Душан*, — сказал он так, как объясняла ему бабушка, как велела говорить, если будут смеяться над его именем, не раскрывая, разумеется, того, что имя это все равно не подлинное.

— Тогда правильно — Душам. — Аппаку понравилось и то, как Душан это сказал и как держался невозмутимо, он внимательно и на этот раз не без ехидства посмотрел на новичка.

— Да, конечно, Душам, но Душан легче, привычнее, — сказал Душан и сам подумал, что даже это внешне называемое имя тоже с обманом — не «и»,

— Ну да, ведь дети дракона зовутся драконятами, а коровы телятами, — согласно закивал Аппак, должно быть утомившись от всех этих премудростей с именами новичка. Оказывается, его выгнал с урока Пай-Хамба-

* Душан — от душамбе: понедельник.

ров и велел в наказание вытереть пол в комнате отдыха.

— Но пол здесь чистый. Ты не выдашь меня?— спросил Аппак и позвал Душана в спальню, чтобы мог он заранее занять пустующую кровать рядом с его кроватью.

— Разденься и ложись, будет дежурный гнать, скажу, что тебя лихорадило. Вообще-то свобода! Здесь никто никого не гонит, только Пай-Хамбаров иногда из класса, если нечаянно попадешь в него. Знаешь, трубка медная, в нее закладываешь абрикосовую косточку и стреляешь. Я сам изобрел... Сейчас все по интернату бегают, трубки выворачивают. Один чудила хотел даже водопровод ломать... Ну, идем, ложись. Раббима хотят рядом со мной, а от него нехорошо пахнет...

Аппак взял чемодан Душана, а его самого потянул к выходу, за руку, но Душан, смущаясь, не знал, что делать, ведь нехорошо ложиться днем, притворившись больным, и все из-за прихоти Аппака, властного, стреляющего из медной трубки. Наверное, чтобы не солгать Пай-Хамбарову, надо солгать Аппаку, унизиться, сказав, что и от него самого дурно пахнет, иначе стрелок из трубки не отстанет...

Но в это самое время весь класс вбежал в комнату, оттеснив Душана и Аппака в угол, и хотя Душан еще издали слышал какой-то смутный гул, чувствуя, как бегут мальчики через двор, но все равно их появление было неожиданным. Свистели, топали ногами мальчики, которых ждали теперь до вечера беготня по дворам школы, коридоры, безделье и игры — веселые часы, не омрачаемые даже жесткими правилами мужского интерната.

Стали приглядываться к Душану, но не толкали, как в коридоре, подчеркнута с вниманием смотрели — одни, чтобы сразу же выразить взглядом неприязнь, другие — равнодушно, но были и такие, легкие на знакомство, как Аппак, которые, подойдя к Душану, молча протягивали руку, чтобы пожать ее, а потом отойти в сторону.

После уроков, прежде чем звать мальчиков в столовую, загоняли их в комнату отдыха, чтобы не бегали они по двору и не заглядывали в окна старших классов. Об этом сказал Душану дежурный Мордехай, тоскливо и не мигая глядя не в лицо новичку, а в его наглухо застег-

нутый воротник. Оказывается, Пай-Хамбаров велел ему показать Душану умывальную комнату и спальню.

Умывальная с множеством медных кранов на вздутых, вспотевших стенах была здесь же, рядом с комнатой, откуда Мордехай с Аппаком позвали Душана во двор. Такая же дверь, как и первая, вторая, третья по ряду между нижней и верхней площадками двора, и, глядя на эти двери, Душан вдруг проникся ощущением чего-то потерянного... словно он уже заходил в одну из дверей, чтобы поискать забытое, но что это было, не смог вспомнить — странно... А следующая дверь была уже спальней, куда мальчики зашли, чтобы поставить в ряду чемоданов и мешков чемодан Душана.

Душан заметил, как хорошо заправлены кровати, весь облик спальни был в резком контрасте с умывальной, и, должно быть, эта чистота и порядок чем-то смущали Аппака, который бросился на кровать, кричал, катался с боку на бок, не обращая внимания на дежурного Мордехая, сбросил на пол одеяло. Затем выбежал вон из спальни.

— Он меня не уважает, — пояснил робко Мордехай. — Хочет, чтобы мне попало за беспорядок. — И, пока они с Душаном поправляли одеяло, спросил: — Ты будешь спать с ним?

— Не знаю, где скажут...

— Он вскакивает среди ночи, говорит: надо выпустить храп и открывает окно. К нам залетают такие черные бабочки. Вялые, как куколки червей. Ни бабочки, ни черви-дегенераты — выпускают прямо в лицо белую жидкость... — Мордехай, видно, еще что-то хотел рассказать из тревожащего, но, увидев в окно Пай-Хамбарова, прошептал: — Скорее, не то нам влетит...

«За что?» — хотел спросить Душан, ибо успел решить для себя, что Пай-Хамбаров человек незлобивый и мягкий.

Они как раз выбегали из спальни, когда столкнулись с воспитателем во дворе. Пай-Хамбаров выразительно посмотрел на мальчиков, как бы желая угадать, чем они занимались в спальне, спросил Мордехая:

— Ну, все показал новичку? — И, не дождавшись ответа, зашел в комнату отдыха, не взглянув еще раз на Душана.

Душан опять обиделся было на Пай-Хамбарова за равнодушие, ведь воспитатель ему сразу чем-то понравился, и, сидя в комнате, мальчик все думал о том, что

же такое ему скажет Пай-Хамбаров подбадривающее. Но потом решил, что глупо обижаться, ведь Пай-Хамбаров почти ничего не знает о нем, не знает, как тоскует он о своем отце, хотя и не признается в этом даже себе. Воспитатель, должно быть, думает, что Душан такой же, как Аппак, стреляющий в учителя косточкой, как Мордехай, боящийся ночных бабочек.

«Ладно,— подумал Душан,— буду сам... без Пай-Хамбарова» и, слыша, как все кричат: «Котлеты с макаронами!»— и бегут в умывальную, остался стоять, сконфуженный, во дворе.

А в столовой, рядом со спальней, уже гудели и позванивали ложками мальчики старших классов, дежурные толкались у окна, подавая тарелки с супом.

Душан попробовал суп, но не смог есть, непонятно отчего потерял вкус к еде. А когда отодвинул от себя тарелку с макаронами, вдруг вспомнил заклинание женщины-горлицы: «Чтобы ты всю жизнь, мальчик, ел с чужим народом его пищу» — и возмущенные домашних этими ее словами.

Вот не может он встать сейчас решительно и сказать: «Я, Душан Темурий, могу не есть неделями, не радуйтесь...», как думал тогда, не может ведь... Не может сделать много важного, о чем воображал, значит, не только мать и отец, их жизнь, перевернутая наизнанку, оказалась другой, но сам он, Душан, другой, каждый раз не такой, каким он себя представлял...

— Не хочешь?— потянул к себе его тарелку рядом сидящий мальчик Ямин.— Наверное, тайком пожевал копченую колбасу...

— Со свиной?— иронически спросил Душан.

— Наверное, со свиной, ты ведь ел...

— Нет, свинину я не ем,— ответил Душан, уверенный, что убедил Ямина.

— Душан, не давай, ешь сам!— через широкий стол и головы мальчиков закричал Аппак, видно, все это время следящий одним глазом за своей тарелкой, другим за Душаном.

— Мне не хочется... с дороги,— ответил Душан, видя, как все подняли головы, посмотрели на него и запомнили имя новичка.

— В мешочек положи котлету, до вечера не протухнет. А капусту на ужин — выбросишь. Есть у тебя мешочек?— деловито и озабоченно спрашивал Аппак, и Душан только теперь заметил, как все, орудуя над та-

релкой правой рукой, левой прижимают к столу мешочки, храня там вкусное, домашнее, что привозили родители по воскресным дням.

Как-то само собой, необдуманно Душан опять сказал о свинине, пробормотав в ответ Аппаку, что ему не нравятся свиные котлеты, и едва это услышали в столовой, как начался смех, стук ложками, топот ног под столами, а Ямин подбадривал веселящихся, не давая смеху затихнуть, говоря: «Как заладил он о свинье, как заладил, обжора...», пока не послышался голос Пай-Хамбарова:

— Прекрати, Ямин! Не забудьте — начать и кончить за двадцать минут. Вот уже четвертые-седьмые классы двери ломают в столовой...

Душан мельком глянул, удивившись тому, что и Пай-Хамбаров здесь обедает за отдельным столом в углу с двумя воспитателями, а через минуту голос Пай-Хамбарова послышался возле самого уха:

— Ты что, вправду не ешь свинину?

Душан, не ожидавший такого вопроса, вообще не думавший, что Пай-Хамбаров так быстро пройдет от своего угла до его стола, смутился и встал:

— Мне соседка говорила: ты будешь есть чужую пищу... Мне с тех пор нехорошо от свинины. У нас дома никто ее не ел, — говорил Душан, боясь и радуясь своей необычайной словоохотливости, странному нервному состоянию, когда он, в общем-то неразговорчивый и замкнутый, вдруг начинал признаваться неосознанно в том, в чем не хотелось особенно признаваться. — Думаю, что та соседка говорила о свинине...

— Любопытно, — ответил Пай-Хамбаров, как-то выразительно глянув на Душана. И добавил: — Ты должен привыкнуть ее есть, иначе у нас тебе будет трудно... — И, отходя от Душана, перевел разговор опять на обычное, продолжая шутить: — А эти, семиклассники, все двери ломают...

Должно быть, его не очень добродушно-шутливое «двери ломают» относилось не столько к самим учащимся, сколько к их воспитательнице, которая была видна в окно и по адресу которой Пай-Хамбаров сказал что-то смешное своим коллегам, отчего те весело смеялись.

А после обеда Душан, хотя и отдыхал со всеми и сидел потом в комнате отдыха, пока мальчики, кряхтя и сопя, трудились над уроками письма и чтения, опять почувствовал себя отрешенным. И так до вечера, пока не

разрешили побегать в большом дворе, где было спортивное поле, истоптанное сотнями голых ног на песке.

Мальчики группами гоняли мяч в разных концах поля, а воспитатели, собравшись в круг, сидели, расслабившись, в плетеных креслах и болтали. Старшие учащиеся поливали вокруг них землю из ведер, из кувшинов, чтобы от неожиданного порыва ветра не обдало воспитателей вечерней, теплой пылью, и этот плеск воды, должно быть, создавал ощущение свободы и отрешенности от дневной школьной суеты, ибо какое болтливое безделье и лень бывают без островка прохлады вокруг, даже в такой осенний вечер, как сейчас, когда жара, державшаяся неослабно с самого утра, близко к вечеру от легкого дуновения ветра неожиданно уходит в небо, чтобы уступить долгое вечернее и ночное время прохлады, а близко к утру, опять перед жарой, несколькими всплескам холода.

Глядя на то, как, сладко зевая, отдыхают воспитатели, среди которых был и Пай-Хамбаров, Душан вспомнил долгие вечерние чаепития отца, который, казалось, больше всех ждет часа, когда Амон с Душаном польют двор, чтобы мог он потом растянуться на кровати, уйдя в себя, не слушая и не отвечая, прочувствовать всем своим существом каждый миг медленного течения времени до сна, «небесного мига бухарца» — так назвала это время бабушка.

Все знакомо и прочувствованно, значит, и для Пай-Хамбарова, внешне такого озабоченного и делового, вся эта дневная жизнь классов и столовой, комнаты отдыха, которую, должно быть, лишь из чувства иронии связывают с отдыхом, — тягостный отрезок времени, и он тоже ждет вот таких минут расслабленности в плетеных креслах, оставшихся от князя Арифа...

Душану не дали подумать до конца и понять, позвали играть, толкали, подбрасывая к его ногам мяч, желая испытать на ловкость; Душан два раза ударил неуклюже в сторону Аппака и Мордехая и снова отошел к краю поля, удивляясь тому, как это хилый и нездоровый на вид Мордехай бодро бегают по полю, видно, старается, лезет из кожи вон, чтобы подвижные и ловкие признали его равным и не обижали.

Душан же притворяться не будет, бегают он плохо, увидев его в трусах на поляне во время игры в футбол, мальчики смеялись, показывая на его длинные ноги с плоскими стопами. Он давно решил про себя, что его

должны принять таким, каков он есть,— хитрить и плутовать, чтобы произвести впечатление, он не может.

«Вот и правильно! Благороден!»— помнится, воскликнула бабушка. Она сидела возле среднего окна летней комнаты, пытаясь поймать в волосах Душана красного с черными крапинками жука — божью коровку.

Божья коровка, улети на небо,
Там твои детки кушают котлетки...

«Зато котлеты у них тоже «свинные», — усмеялся про себя Душан, хотел придумать еще что-нибудь о божьей коровке и ее жестоких детях, ведя одну мысль к другой, часто самой неожиданной, казалось бы, не связанной с предыдущим и шокирующей, но крики дежурного воспитателя: «Первый, налево! Четвертый, направо, рядом с шестым!» — не дали ему подумать.

Был приказ учащимся постройиться здесь же, в поле, не расходясь после игр. Видел Душан, как помрачнели воспитатели, не желая вставать с кресел, даже менять позы, — так хорошо они расслабились, слышал мальчик, как Пай-Хамбаров оказал недовольно: «Ведь надо же ему свою неспособность окрашивать вот этими бессмысленными каждодневными сборами», но не помял, о чем речь.

Речь же шла о ежевечернем сборе, на котором директор Аблясанов говорил о том, как прошел день интерната, доволен ли он, говорил проникновенно и горячо, давая выход накопившемуся за день огорчению, словом, перед тем как идти в умывальную комнату, все выстраивались вокруг директора, воспитателей, поваров и коноха, чтобы еще раз увидеть друг друга, но уже не в суете и криках, а в торжественном молчании, которое, как бы подводя черту перед ночью, должно было наполнить свидения своим личным, глубоко человеческим содержанием. И действительно, со временем Душан так привык к этим сборам, что сумел разделить свои ощущения на личные, интимные, куда никто не смел проникать, и на коллективные — вечерний сбор и был тем пределом, тем освобождением, когда Душан отдавался самому себе.

Воспитатели подгоняли нетерпеливо, но строились все равно долго, ибо многие старшие учащиеся, оказывается, бегали в это время в переулках Зармитана, далеко от интерната; все ждали, пока они влезут с улицы

на забор. Душан, волнуясь, смотрел, как они прыгают вниз, чтобы побежать в строй, а воспитатели делали вид, что не замечают их шалостей.

Душан несколько раз считал, сбиваясь, пока наконец не пересчитал всю группу взрослых — оказалось, что воспитателей вместе с поварами и прачками сорок человек. Вот Пай-Хамбаров медленно, как бы разрезая эту группу надвое, продвинулся к той самой воспитательнице, по адресу которой шутил сегодня в столовой, с невинным видом стал с ней рядом и заговорил, держа себя нарочито прямо и игриво. Она отвечала нехотя, а отдельные слова даже были резки, ибо, сказав что-то, Пай-Хамбаров выжидающе и удивленно смотрел на ее сконфуженное лицо.

Душан, который все продолжал оглядывать воспитателей, снова выделил их обоих, только эта пара и была чем-то привлекательна, может быть, какой-то своей тайной, еще не разгаданной другими. И наверное, они сами чувствовали, что каждый в отдельности они ничем не примечательны и, только когда вместе, рядом, привлекают внимание. Душан так увлекся, смотря на элегантно-пронического Пай-Хамбарова и на ту, с которой он непринужденно болтал, что пропустил момент появления директора, которого мальчик, еще не видя, боялся за свои слабости, упрямство, независимость, почему-то уверенный, что Аблясанов будет ему во всем противиться.

Но то, о чем Аблясанов стал говорить, оказалось все не страшным, должно быть, своей непонятностью. Воспитатели стали по обе стороны от директора, чтобы с деланным почтением слушать.

— Вчера ночью, — начал Аблясанов, и самые первые слова, сказанные с возмущением, без всяких предисловий, внутренних переходов и ораторских ухищрений, и показались Душану успокоительными в облике директора, — не знаю, как их назвать...

— Хулиганы! Вредители! — послышалось из строя учащих вместе со смехом, повизгиванием и топотом.

Аблясанов сделал паузу, чтобы мрачно оглядеть строй учащих, взгляд его попал и на Душана, который внутренне сжался, ожидая возмущения директора этой дерзкой выходкой, но услышал:

— Спасибо за точность... Не то я, по старческой забывчивости, чуть не назвал их молодцами, патриотами интерната. — И продолжил, снова возмутившись: — Где

сторожа? Почему они не ловят тех, кто не спит, а топчет огороды уважаемых людей Зармитана? Не стыдно?— Он говорил так проникновенно-просто, словно не успел высказать свое неудовольствие дома, в кругу близких, прервал от негодования речь, а потом снова собрался с духом, чтобы продолжить ее с тех самых слов, которыми кончил.— Вы что же, друзья мои? Если вас перевели сюда из детдома, сирот, смешали с четырьмя первыми классами тех, у кого, слава богу, есть родители, устроив мне хаос, неразбериху...

— Репу с луком,— снова послышалось из строя тех, кто стоял напротив Аблясанова и, не мигая, слушал его с нарочитым интересом.

— Вот именно! Сегодня же прикажу повару накормить вас этим блюдом,— ответил директор, отвлекшись на минуту от своей речи, будто отвечал добродушно на реплику не тех, кого отчитывал как хулиганов, а друзьям, с которым затеял игру. Затем продолжил сердито:— Нет, я разберусь! Мы поймаем тех, кто обижает уважаемых людей Зармитана. В конце концов... попросим отделить от нас детдом, из-за которого мы и решили перевести наших девочек в отдельный интернат. Ха! Попробуйте и их сюда смешать, вот и будет: хулиганы из детдома, нормальные дети с родителями и девочки... Потеряли стыд и совесть!

Душан видел, что слова Аблясанова никого не трогают и не пугают, учащиеся толкались, наступали друг другу на ноги, словом, воспринимали все это как безвредное назидание человека, который дальше своих угроз не пойдет. Казалось, что из всех двухсот учащихся только Душану все это было интересно и значительно. Новичок, он всему этому верил, как чему-то серьезному, и удивлялся, думая, почему это Аблясанов говорит так, как если бы ему захотелось пародировать Душанова отца?

Вспомнил Душан, как отец рассказывал о своем новом начальнике, будто он так же стоял во дворе, жестикулируя и принимая важный вид, но потом становясь жалким и растерянным, и даже те же слова говорил: «уважаемые люди», «потеряли стыд и совесть». Вдоволь посмеявшись, отец сказал бабушке о том, как сложно вести себя в канцелярии на европейский манер, чего требует современная служебная этика; приходя в контору из дома, где свой восточный быт,— от смешения этого самые милейшие и добрейшие люди делаются смешными

и чопорными и сами же тайно страдают от этой своей комической чопорности.

Душан, конечно же, не замечал еще этого раздвоения, трущихся друг об друга европейских и восточных частей Аблясанова, которые никак не могли совпасть в гармонии, чтобы не делать его таким смешным. Впрочем, к этому ироническому чувству Душана примешивалось ощущение добродушия и бесхитростной прямоты, когда смотрел он и слушал сейчас директора; чем-то деревенским, острым, дедовским веяло от него, чем-то близким, что заставило мальчика вспомнить ночной разговор деда с тетей, его признание, что выпил он лишь «для храбрости — на адвоката», и еще какое-то утро в их городском доме, когда Душан сидел, как всегда, мрачный и тихий после сна, а дед, чтобы развеселить его, сказал странное про лису и ежа: «Лиса знает множество мелких тайн, а еж лишь одну, но великую тайну. А она есть тайна немногих избранных, а для повседневности нужны эти лисьи тайны...» Бабушка, которая почти никогда не говорила на такие серьезные темы с деревенским дедом, вдруг снизошла и возразила, скорее из чувства противоречия, чем убежденности:

— Выходит, малое, воровское, суетно бегающее от дерева к дереву носит в себе великое? Но как? Никогда не поверю... Скорее великой тайной обладает лиса. Она из чувства брезгливости и ежа-то не тронет, протянет лапу, еж трусливо свернется, лиса горделиво отойдет...

— Вот-вот! Но не горделиво, а сконфуженно, ибо чувствует, что в еже кроется... — торопливо отвечал дед, словно обрадовавшись, что нашелся наконец равный по силе убеждения и упрямости собеседник, с которым можно о многом накопившемся поговорить; но бабушка, как бы пожалев, что снизошла, опять приняла горделиво-надменный вид и вышла на середине фразы деда, давая понять, что слова ее истинны и не требуют полемики...

Все сложно смешалось, о чем-то прямо подумалось, а о чем-то мелькнуло у Душана лишь как догадка, как предчувствие. Может, отец, иронизировавший во дворе над своим начальником, сам того не желая и не подозревая, показывал свою глубоко затаенную неприязнь к деревенскому деду? Странно — ведь дед одной с ним крови, родной отец. Как можно? Может, неприязнь эта появилась у отца в тот день, когда деревенский дед единственный раз поддержал бабушку против своего

сына, посмеявшись над его желанием вдали от семьи заработать денег, не боясь, что семья может распасться без мужчины. Значит, смеясь над начальником, что-то здоровое, человеческое в отце смеялось над собственными слабостями?

А этот первый для Душана сбор на спортивном поле кончился так же неожиданно, как и начался. Аблясанов, сделав неожиданную долгую паузу, во время которой разволновался до того, что не мог далее продолжить свое выступление, в сердцах махнул рукой, и учащиеся с первого шага так резво побежали впереди воспитателей, к коридору, словно все это время, пока директор возмущался, они не стояли сонно и молча, а трусили вокруг него по полю. Душан, не привыкший к таким неожиданностям, отстал от своего класса и опять невольно подслушал, как возмущался какой-то воспитатель:

— Что за бессмысленное рвение?! В гаждиванском интернате мы собирались только по субботам...

— Не забывайте, коллега-брат, что интернат вообще дело новое... И здесь, где особенно трудно соединить новые принципы образования с нашим традиционным воспитанием, возможны поиски и борьба идей, слабейшая из которых гибнет от порчи...— степенно ответил ему пожилой воспитатель, видимо работавший здесь со дня открытия и ставший ревнителем зармитанского родного интерната.— Вот и нас не успели разъединить с ташлакским, как объединили с детдомом... забрав милых моему сердцу девочек...

Простор двора стал сужаться, прижатый с обеих сторон коричневыми стенами классов, и Душан, подталкиваемый сзади, забежал в тесный каменный коридор, гудящий от смеха и криков, сделал несколько неверных шагов, и у самого выхода в простор другого двора мальчика сжали со всех сторон, устроив драку. Он стал задыхаться, чувствуя, как сзади собирается какая-то дерзкая, необузданная сила... сейчас повалится он с ног, и тело его, будто сорвали с него одежду, распластается в беззащитной позе... Душан еще не знал, что так забавляются старшие, детдомовские: почти каждый вечер, после собрания в третьем дворе, они загоняли всех в коридор и устраивали свалку. Десять самых сильных и рослых подростков стояли, загородив выход и держа всех, пока не набивался полный коридор мальчиков, другие десять тогда дружно наваливались сзади, и вот

эту силу, которая разом пыталась вытолкнуть всех вперед, и почувствовал Душан, пока еле держался на ногах, вдруг поняв, что упасть и растянуться на холодных камнях коридора ему не дадут плотно прижатые к нему тела сокашников. И едва он так подумал, как понесло его с криками вместе со всеми вперед. Передние один за другим ловко выскакивали из тесноты коридора во двор, он же, подбадриваемый их прыжками, смехом освободившихся, все же не смог так ловко и хорошо, как другие, прыгнуть и у самого выхода споткнулся о что-то твердое, крепко вбитое. Падая, успел заметить, скорее почувствовать, что после него еще двое не смогли удержаться на ногах, один из них знакомый — Аршак.

Мимо Душана, посмеиваясь, бежали мальчики — в умывальную, в спальную комнату... И только когда Душан встал на ноги, почувствовал острую боль в колене, его тут же успокоил участливый вопрос Аппака: «Ушибся?», на который Душан ответил как можно бесстрастнее:

— Нет, ничего...

Душан и такой же слабый, не сумевший устоять на ногах Аршак переглянулись, как бы смущаясь друг друга, и пошли рядом к спальне, но Аппак остановил Душана, потянув его за руку...

— Запомни это место. — Он как-то трогательно-суетливо прыгал возле угрюмого Душана, показывая ему на бревно, вкопанное у самого выхода из коридора. — Когда запрут в коридоре... будут выталкивать со всеми, помни о бревне. Почувствуешь, что уже выход, отсчитай про себя — раз-два. — Аппак не поленился и побежал с начала коридора до самого выхода, чтобы показать Душану свою хитрость. — Три! — и ловко прыгнул затем через бревно, объясняя: — За два месяца я уже многому научился. А это испытание самое пустяковое, так старшие новичков испытывают. Есть еще потруднее...

Чтобы как-то отвлечь от себя чрезмерное внимание, смущенный Душан спросил:

— А Аршак? Он все эти два месяца падал?

Аршака, не уходившего в спальню и стоявшего и слушавшего их разговор, взволновало замечание Душана, от которого он ждал лишь сочувствия:

— Я уже не новичок! Просто зазевался в коридоре, вспомнил, как мы мед ели на пасеке с армянином. Это ты новичок, Душан! Кривоногий, красноухий! Я покажу тебе, кто сильнее...

— Хватит, Насосик!— прервал его Аппак, и Аршак удивительно быстро притих и побежал в умывальную, а Душан подумал, глядя ему вслед, что, должно быть, новичок — болес оскорбительное, чем Насосик, это значит — слабый, неумелый, каждый второй его может толкнуть и обидеть.

— А кто его так — Насосик?— усмехнулся Душан, думая, что сам он не даст себя в обиду, даже если никогда и не научится ловко перепрыгивать через бревно.

— А он и есть Насосик, с таким фокусом: глотает воздух, надувая себе живот. И показывает, как воздух ползет внутри живота вниз, и разом выпускает между ног...

Так, спокойно болтая, они дошли к спальне, желая забежать туда незаметно, но вот Пай-Хамбаров, будто ждавший их появления, выглянул в окно и погнал мальчиков в умывальную. Странно, он ведь шел сзади после сбора, а пришел раньше в спальню. И наверное, видел, как Душан упал? Не заступился. И все воспитатели сделали вид, что ничего не произошло, как и перед сбором, когда притворились, будто не видят, как старшие учащиеся прыгают через забор во двор.

В умывальной комнате Душан долго не мог найти себе удобного места, ходил с тазом, смущаясь того, что разом столько мальчиков, по пояс раздевшись, а то и вовсе голые, бегают, обливают друг друга водой, хохочут от удовольствия, словно жили они весь день только ради этих вечерних минут. А голубую с цепочкой боковую дверь, видно, открывали для мальчиков лишь перед сном, через нее они, искупавшись, бежали прямо в постель.

Вот и Мордехай не может выбрать себе удобную скамью, чтобы поставить таз, уходит почему-то за перегородку, затем опять появляется рядом с Душаном, делая вид, что вытирается. Должно быть, и его, как и Душана, мучила совесть, когда он думал, что так и ляжет в кровать, не помыв ноги. Душан, как бы сочувствуя такому же, как и он, мальчику, смущавшемуся, любящему мыться в одиночестве, чтобы не смеялись, увидев его худое тело, помахал Мордехаю, но Мордехай не увидел его в сером пару умывальной.

— Время кончилось!— объявил Пай-Хамбаров, открывая дверь с цепочкой, и все заторопились, вытираясь, и побежали в спальню. Видя, что и Мордехай пошел

не помывшись, Душан пробрался к своей кровати и лег, вздохнув тяжело. Лежал и не слышал, о чем шептал ему Аппак, следил за Пай-Хамбаровым, который ходил, проверяя, как сложена одежда и висят на спинке кровати полотенца.

Душан боялся, что вот сейчас Пай-Хамбаров коснется его сухого полотенца и уличит, и это будет первая ложь его новой жизни, того возраста ступеней и чисел, о котором бабушка говорила: «От лжи прожитое сильнее сожмет душу в кольцо...»

Почему бабушка опять вспомнилась своей скучной назидательностью? Именно здесь, где все, с просторами дворов, грубостями старших учащихся, странной речью Аблясанова, и невниманием Пай-Хамбарова, и этой умывальной комнатой, как будто своей жизненностью, правдоподобием противится, насмехается над ее кругами, повторяющимися без свежести и дуновения нового, всезнанием и мудростью?

Вдруг спальня зашумела, вскочил Аппак, и Душан понял, что Пай-Хамбаров наконец оставил их одних, позвав к совести и чувству порядка. Дежурный Раббим слабо протестовал, но никто уже не обращал на него внимания. Кидали друг в друга подушки, ползали под кроватями, а Истам сел верхом на Аршака и, погоняя его, как ослика, запел под одобрительные возгласы мальчишек:

Келлиа бинам — хараки,
Шуяша бинам — пираки,
Як куртаю як изор,
Онеш мурат ба рузош*.

«Як куртаю як изор!» — кричали в ответ мальчишки, прыгали, одни изображая погонщиков, другие — мулов и ослов, но потом разом, как по чьему-то приказу, все утихло.

Душан удивился внезапной тишине в спальне, подумал даже: не появился ли опять Пай-Хамбаров, но услышал, как робко, боясь высказаться до конца, заговорили о старших учащихся и о жгутах, которые вставляют они между пальцами ног спящего и поджигают,

* Я вижу, на осле везут отдать невесту,

Я вижу, как старик готов принять невесту.

Приданое ее одни штаны с рубахой.

Чтоб смерть взяла тебя, скулая мать невесты (тадж.).

называя злую шутку «велосипедом». Душан слушал, но все не понимал, ждал, что будут спорить, что Аппак так же подробно и терпеливо, как сделал он это возле коридора, расскажет, о чем речь, но Аппак, как и все, укрывшись одеялом.

Сама атмосфера спальни стала мрачной, едва кто-то вспомнил о горящих жгутах, но обсуждали это недолго, словно боялись, что от долгого разговора из самих тревожных слов сотворятся в спальне детдомовцы: лучше промолчать, не называть их совсем, не глядя друг на друга, успокоиться и заснуть.

Это беспокойство — от мальчика к мальчику, и так по всей спальне — не передалось лишь Душану; повернувшись на правый бок, он видел Аппака, а лежа на левом — Ямина; шепнул Ямину:

— Из какого ты города?

— Гаждивана... Речка есть... — Перед тем как ответить, вздохнул облегченно Ямин, очень тяготившийся молчанием.

Душан вспомнил, что он уже сегодня слышал об этом Гаждиване от воспитателя.

— Да! — с вызовом сказал Ямин. — Это Болоталиев, дядя... Защитит меня. В том интернате, Душан, девочки были... Все вместе спали...

— Хорошо с девочками, — шепнул Душан, но, видно, все напряженно прислушивались к их разговору, засмеялись в разных углах спальни, сначала тихо, но потом озорно и весело.

— С девочками Душан хочет! Душан с девочками хочет! Душан — девочка!

Даже оробевшего, притихшего Аппака крики эти взбудрили, и он прямо со своей кровати потянулся к Душану и, оказавшись с ним в одной постели, потолкал Душана в бок, играючи укусил его в плечо... И снова все притихли, будто каждый приступ веселья был вымученным, искусственным, а нормальным, предсонным состоянием было это тревожное ожидание, без скрипов и шорохов.

Потом стали засыпать — слышно было это по храпу, резким движениям поднятых словно для защиты рук, стону, только Аппак не спал еще и смотрел не мигая на Душана. Он, видно, ждал, пока все уснут, чтобы поделиться чем-то с новым соседом, потом шепнул:

— Если я усну, Душан, смотри, чтобы они не сде-

лали мне «велосипед». За боковой дверью, в комнате отдыха Пай-Хамбаров. Крикнешь его...

— Спи,— сказал тихо Душан.

— Старшие спят в первом дворе. Но ты увидишь их тени в окне. Крикнешь: Пай-Хамбаров... дядя... дядя Пай-Хамбаров,— и, как только сказал это Аппак, успокоенный и умиротворенный, уснул, не успев пожелать спокойной ночи.

А ведь после обеда, когда Душан лег рядом с его кроватью, Аппак неожиданно предложил: «Будем говорить друг другу перед сном: спокойной ночи?»— словно эта вежливость, внимание худого и слабого соседа, как магическое, могло защитить его от злых шуток старшекласников и отогнать дурные сновидения.

Аппак спит, а недалеко — Ямин, которого защитит дядя Болоталиев. Должно быть, соврал, что дядя, сказал так, чтобы не обижали. А за Ямином по ряду — Мордехай, до лица которого уже не доходит свет окна.

Душан вспомнил, как стояли они сегодня с Мордехаем на краю поля, задыхаясь от пыли, но не желая ни уходить, ни гонять со всеми мяч; увидел Мордехай на заборе двух ящериц.

— Обе ящерицы лежат животами вниз, не знаешь, у какой из них болит живот,— сказал забавно Мордехай.

А за Мордехаем спит Раббим, Аппак наговорил о нем гадко так. Вовсе не от Раббима дурно пахнет, в спальне душно. Наверное, Раббиму лучше спалось бы на этой кровати, ведь ему так хотелось, что-то влекло его сюда, может, добрый негр-телохранитель шепнул, что, если он привыкнет к этому месту, вырастет большим, если нет, останется карликом и будет выступать с лилипутами в цирке...

Вот кто-то опять вскрикнул во сне и забормотал невнятно, на языке, который понимает только его двойник, а ему, будто ждавшие этого знака, стали отвечать другие, каждый на свой лад — и так пошло по рядам бормотание, похожее на жалобы, на стон, на речь, которой выражают себя разве что мартышки. Неужели права бабушка, сказавшая матери, чтобы проследила она за ночным бормотанием Душана, плохо выговаривающего «р», будто так рождается в человеке речь, ломаются плохо выговариваемые слова, отделяются в гортани, раскатываясь от щеки и от языка к нёбу, отшлифовываются до совершенства самые первые, заветные, рождающиеся из глубин, из речи предков. И хотя все берут гото-

вые слова, даровые, из общего для всех языка, все равно каждый в речи проходит свой путь, чтобы передать ее, сотворенную из ночных восклицаний и стонов пороуду, а где-нибудь дальше выболтает язык всего себя...

Умывальная комната, из которой он хотел выбежать, когда была она полна мальчиков, и которую хотел во всех деталях рассмотреть лишь в одиночестве, чтобы привыкнуть, оказалась сейчас еще более неудобной. Душан остановился, думая: вот теперь, когда умывальная пустая, он все равно в ней не может мыться — и то, что в нем весь день собиралось, сейчас вдруг так наполнило все его существо горечью... он стал задыхаться, чувствуя, что уже не может выразиться и освободиться — ни словами, ни поступком, — и это так повергло его... он закричал и бросился к стене и бил по ней кулаками, а затем сполз по скользкому, вдыхая запах плесени, и растянулся на полу...

А когда стало легче, сел и почувствовал слабость и желание плакать. Стыдясь этого чувства, пошел обратно в спальню, лег. Но открылась боковая дверь, Пай-Хамбаров наклонился над ним, будто все подсмотрел и подслушал.

— Ты что? — спросил воспитатель охрипшим, сонным голосом.

Душан ничего не испытывал к нему теперь: ни интереса, ни неприязни, — просто смотрел Пай-Хамбарову в лицо.

Что-то смутило воспитателя в тяжелом, пронизательном взгляде мальчика, какая-то внутренняя сила. Пай-Хамбаров закашлял и потрогал его колено, около того места, где был ушиб.

— Упал в коридоре? Я все знаю, не волнуйся. Мы знаем имена тех, кто устроил свалку. — И, оглядев спящих и прислушавшись к их бормотанию, Пай-Хамбаров сказал, уходя к себе в комнату отдыха: — Если будет болеть, скажешь завтра дежурной воспитательнице...

И едва он ушел, Душан все же не выдержал и заплакал, сам не понимая отчего, может быть, оттого, что завтрашняя воспитательница пожалеет его. И перед тем как забыться, вспомнил о женщине-богомоле из мансарды, подумал, что вот приходит осень и туты на поляне облетят...

Дождь пройдет... свежо...

Лист свернется... домик, —

пршептал Душан, засыгая.

А следующий день, несмотря на то, что Душана мучила изжога, пришел так быстро, что мальчик раньше всех выбежал из умывальной и лег, ожидая дежурную воспитательницу. И не очень удивился, когда увидел, что ею оказалась та самая женщина, рядом с которой, непринужденно болтая, стоял Пай-Хамбаров. Ведь в его словах: «Если будет болеть, скажешь завтра воспитательнице», сказанных вчера ночью, он уловил оттенок и чего-то личного, близости этих двух взрослых, словно хотел Пай-Хамбаров сказать: «Не волнуйся, она делает тебе хорошо, я ее знаю...»— и уже тогда подумал Душан, что, наверное, дежурить будет она.

Едва воспитательница вошла в спальню, как поднялся шум, запрыгали вокруг нее мальчики, хватая ее за руки, суетясь и обнимая дежурную, а она, медлительная, располневшая, простодушная, поправляла по-хозяйски одеяла, журуя незло за беспорядок, спросила:

— Кто у нас новичок?

Душан не сразу понял вопрос, подумал еще с утра, что новичком бывают, наверное, лишь первый день, потом же он на равных со всеми, невыделяем.

— Душан!— показали на него со всех сторон, но не укоряя, как вчера, а весело, играючи, словно теперь это было просто безобидной шуткой.

— Зови меня: тетушка Бибисара,— сказала воспитательница подчеркнуто, будто уверенная, что с первого раза новичок не запомнит.— Как твоя нога?

— Спасибо, хорошо...

— «Спасибо, хорошо»,— вдруг мило и незло передразнила его тетушка.— О, ты хорошо воспитан! Сразу видно, что бухарец... Если хочешь, ложись, я посмотрю ногу...

— Нет, не болит,— сказал Душан, боясь, что как только станет он показывать ей ушиб, вся спальня сбегится смотреть, будут толкаться, продолжая подшучивать.

— И не будет болеть,— убежденно, словно заранее все знала и предвидела, сказала тетушка Бибисара,— ты мальчик терпеливый. Спи. Завтра день хлопотный. Поедем колхоз смотреть...— И в том, как она себя назвала, и в этой манере объяснять было что-то близкое Душану, трогательное, и он почувствовал себя легко с тетушкой Бибисарой, хотя и не решался, как другие, обнимать ее и гладить по руке.

«Из-за этого я кажусь ей недобрым», — только и подумал Душан.

Как только тетушка Бибисара ушла, стало тихо, но не так тревожно, как вчера, должно быть, все были спокойны, зная, что тетушка очень чуткая, не пустит к ним старшекласников с горящими жгутами.

— Ты сегодня стал лучше говорить, — шепнул Душан Аппаку, — за ночь немного исправилась твоя картавость...

Аппак не понял, о чем это он, шепнул в ответ:

— Не засыпай... — И приподнялся, чтобы посмотреть, все ли уснули: — Камин Подкидыш спит, Истам храпит, Шамиль Штаны... Ты почему ворочаешься, Мордехай?

Мордехай, полусонный, посмотрел на Аппака, сказал:

— У червяка нет шипов, но если наступить на него, то все равно закричишь. Отчего так?

— Трус ты! — ответил ему Аппак и, потянувшись к постели Душана, обнял его и шепнул: — Бинокль этот Мордехай. — Он не мог подобрать слов, чтобы объяснить. — Трепло. Язык длинный и уши...

— Зачем ты так? Злишься... — удивился Душан.

— Глаза у него нечистые. Доносит воспитателям на нас...

— Мы ведь ничего дурного не делаем... У Мордехая живот болел, про ящериц говорил. Должно быть, боится их, — зевая и расслабляясь, проговорил Душан.

— Ничего ты не знаешь... Меня старшекласник спрашивает: «У вас есть стукачи, мы им в коридоре темную устроим...» Я сейчас лежал и думал об этом. Мордехай или нет? — Аппак снова лег и с обидой, будто уличили его в чем-то недозволенном, сказал: — Ты многого не понимаешь... не созрел еще.

Но Душан уже не слушал его, а когда проснулся, разбуженный Аппаком, подумал, что тот короткий сон, который он успел увидеть, был вовсе не сном, а продолжением разговора о Мордехае, потому удивился и не понял Аппака, сказавшего:

— Проснись, они уже начали...

— Я ведь не спал, о чем ты? — ответил Душан, думая, что Аппак его разыгрывает, потом встал с трудом и пошел за ним к боковой двери.

— Ложись. — Аппак, тяжело дыша от волнения, растянулся возле порога и, показывая на маленькую светлую точку в двери, шепнул: — Смотри сюда...

Душан посмотрел правым глазом, но ничего не увидел, левый глаз попал в точку, свет расширился, открывая пространство комнаты, где сидели друг против друга, боком к двери Пай-Хамбаров и тетушка Бибисара.

Душан от неожиданности отпрянул назад и хотел было уже бежать в постель, но Аппак держал его за плечи, повторяя:

— Смотри... Сейчас будут разговаривать...

Вдруг Пай-Хамбаров резко наклонился почти всем телом над столом, чтобы взять тетушкины руки в свои, но тетушка Бибисара легко оттолкнула его, но потом, словно испугавшись своего жеста, вскопчила и стала рядом с невозмутимо сидящим теперь Пай-Хамбаровым. И заговорила торопливо и сбивчиво:

— Оставьте, я ведь замужем... будут только разговоры... О, если бы я была уверена, что вы не играете...

Пай-Хамбаров встал, худощавый и хитроватый, рядом с этой престодушной, растерянной тетушкой, потянулся к ней, но Душан уже не мог смотреть, бросился к кровати, боясь, что вот теперь, когда им с Аппаком известна тайна Пай-Хамбарова и тетушки Бибисары, их уличат, накажут за непристойное поведение.

Аппак еще немного полежал возле двери и, вернувшись, хотел рассказать об увиденном Душану, но Душан сердито прервал его, все еще стыдясь своего поступка.

— Некрасиво это! Спи! Дурно...

А сам вдруг вспомнил о том, как подслушал шепот отца и матери в летней комнате ночью, и не понимая, отчего не лежат они на своих постелях, испугался. Тогда все получилось неумышленно. И сейчас разве думал он, ползя за Аппаком к двери, увидеть такое? Но почему любопытство, дурное и мелкое, заставило его смотреть, не зажмурившись от стыда?

Душан подумал о матери, оставленной в одиночестве, вспомнил ее слова, сказанные в ответ на язвительное замечание отца: «Конечно, я ведь еще не так стара в свои тридцать три года...» Отец, ничего не возразив, вышел во двор, потому что в комнате было душно. Мать же оставалась стоять в своей странной позе, прислонившись к стене, словно ноги ее не могли держать отяжелевшее тело, а над головой ее забавно прыгало пятно, шарик света, пытаясь спуститься и засветить левый глаз. А через минуту во дворе послышался гневный голос бабушки, защищавшей мать:

— Ты ее, чистую и добрую, испортил, измордовал, а теперь удивляешься и раздражаешься ее недостатками! Знай, это твои недостатки! Ты ее сделал своей копией и вот, видя себя со стороны в ее облике, поражаешься!?

Душан затосковал, вспомнив это, будто бабушка обвиняла отца сейчас, на виду у всей спальни. Тогда же, стоя рядом с матерью в комнате, он даже не огорчился. Наверное, то, что не трогает эмоционально, не огорчает сразу, в тот миг, откладывается исподволь где-нибудь в памяти для позднего осмысления и ощущения.

Неужели и Наби-заде, о котором мать столько говорила, бегая по конторам, называя «добрым дядей», вот так же не отстает теперь от нее, как Пай-Хамбаров от тетушки Бибисары? И мать, наверное, чтобы отрезвить дядюшку Наби-заде, все время напоминает о своем замужестве...

Душан поворочался с боку на бок, чувство ревности мешало ему заснуть так же быстро, как Аппак, которого, кажется, ничто никогда не мучает. Чувство ревности вдруг сделало их очень похожими друг на друга — Наби-заде и Пай-Хамбарова, неприятными, и Душан подумал, что, узнавая нрав Пай-Хамбарова, он будет все знать и о маминном преследователе — Наби-заде.

— Бедная тетушка, — прошептал Душан, глядя на боковую дверь и прислушиваясь, — уйди от него, оттолкни...

Но потом решил забыть обо всем этом, чтобы не ошибиться в тех, кого он здесь встретил, как ошибся в первом своем впечатлении в Аблясанове. Все, должно быть, правы по-своему, живя по-разному, хорошо, в свѣдѣм, малом: а больше того, что есть. Душан поймет потом, когда устанет и делается ко всему равнодушным. Сейчас же даже воспитатель, говоривший о «порче идей», — Айязов оказался трогательным и незлобивым, когда поучал старшекласника, бегавшего по забору:

— Лоботряс! Не стыдно?! Какой замечательный дворец вам дали, гордиться бы и петь! Ломают заборы, двери, длинными полосами снимают краски нашего национального орнамента...

А когда старшекласник, убегавший, видимо, грабить огороды уважаемых людей Зармитана, прыгнул к нему вниз и стал, опустив голову, в виноватой позе, Айязов, такой возмущенный, разгоряченный, неожиданно резко

остыл и подзбрел, объясняя окружающим его мальчишкам:

— Не могу я строго, вы ведь знаете и пользуетесь этим, плуты! Сам дух этого дворца, где было насилие и надругательство над личностью...— И, забыв уже о виноватом, стал рассказывать, какой это был дворец князя Арифа, какие были у князя лошади чистой породы и каким сам Айязов был хорошим конюхом:— Тогда мы кормили коней только отборным овсом, ни одного притравленного зерна. Теперь же мне достают по знакомству такой овес для почечного чая.

— У лошадей раньше почки не болели,— чтобы поддержать разговор, сказал виноватый.

Глядя на то, с каким восторгом увлечения говорит обо всем этом Айязов, Душан подумал, что, должно быть, каждый человек знает две-три близкие и дорогие ему истины, одно-два воспоминания из прошлого, и всего этого достаточно, чтобы возбудить его, увлечь, сделать словоохотливым и смешливым,— для Айязова таким увлекающим стало воспоминание о времени князя Арифа, а в остальном, о чем он думает и спорит — «порче идей» или алгебре, которую преподаст,— он живет лишь постольку, поскольку есть эта большая идея.

Болоталиев же, который коротко так и учтиво поспорил с Айязовым после сбора, гаждиванец, земляк Ямина. Душан, кажется, тоже разгадал его, когда увидел, что Ямин, ждавший, пока воспитатель появится в коридоре, играя, как земляк земляка, обнял Болоталиева, отряхивая с его рукава сор.

Болоталиев, не желая выделять Ямина, земляка, чтобы выдержать правила воспитания, сказал:

— Ладно, не лишни ко мне, гаждиванец должен быть гордым и во всем впереди утонченного, изнеженного бухарца. Думаешь, мне было легко променять теплый дом на здешнюю мансарду?.. Терплю, став изгнанником жены...— В этом его неожиданном признании Душан почувствовал столько человеческого, что сразу же забыл о своем первом впечатлении, когда представился ему Болоталиев ворчащим по мелочам и надменным.

Вот таким успокоенным, привыкающим к интернату прожил Душан до воскресного дня — с утра должна была приехать к нему мать с Амоном. Волнения, разговоры о родителях начались еще с вечера пятницы, а в субботу собрались те матери, которые забирали своих мальчиков на день домой. Мордехай, Истам, Дамирали,

Ирод уехали домой, Аршак же отказывался, говоря, что ему здесь нравится, — мать его даже всплакнула. Аппак сказал Душану еще перед сном в пятницу, что к нему никто не ездит, взрослый, проживет он и без родителей. Душана растрогали его слова, и он рассказал о себе, как мать предупредила, что в первое воскресенье она не сможет забрать его домой, затеяли ремонт, виноградник вырубает, а нижнюю площадку двора, провалившуюся от дождя, засыпают и собирают плитами заново.

— Зато ты приедешь будто в новый дом! — утешала его мать.

Как ни сдерживал себя Душан, желая казаться равнодушным, все же после завтрака, еще задолго до прихода родителей, не выдержал, пошел в первый двор, к воротам, где должны были они собраться. Он посмотрел на пустой двор, чтобы привыкнуть к нему и чувствовать себя там с матерью свободно. Чья-то старая мать уже стояла сиротливо, как просительница. Душан глянул на нее и смущенно ушел назад, побродил во втором дворе, не таком пугающем, волнующем, а когда пошел опять к воротам, узнал от бегающих, кричащих мальчишек, что старуха эта — мать старшеклассника, который не хотел к ней выходить. Вместе с другими женщинами она сидела сейчас под навесом, а сына искали в других дворах и наконец поймали во втором коридоре, спрятавшегося наверху, между балками.

— Говорил: не ходи больше. Опять пришла? — сердился он на мать.

Она стыдилась, стыдила его, показывая на мальчишек вокруг:

— Посмотри, все радуются... Едят вкусное, домашнее...

Старшеклассника повели к директору Аблясанову наставлять, и он как-то странно посмотрел на Душана, будто удивляясь тому, что и Душан среди них всех.

Чтобы не казаться таким бессердечным, Душан еще издали побежал к матери и, обнимая, сел между ней и Амоном. И оба они, мать и Амон, как-то выжидающе смотрели на него, словно знали что-то такое, что он мог утаить.

— Тебе здесь хорошо? — хлопала его по плечу мать, желая вывести из сонного состояния, в которое впал Душан, едва сел и коснулся ее телом. — Привык?

— Тебя кто обижает? — спросил строго Амон, ему

не сиделось, он встал, желая найти обидчиков брата и ответить им по достоинству.— Смотри, наш род Темурный еще никогда ни перед кем не трусил!

— Нет,— сказал Душан матери тихо,— никто не обижает.— И внимательно посмотрел на измученное, серое лицо матери, проникаясь уже заранее неприязнью к незнакомому Наби-заде.— А как отец? Пишет?

— Ты почему спрашиваешь?— удивилась мать.— Снился отец?— И в суете и спешке вынула мешочек:— Вот, сшила тебе. Положим все вкусное. Ты с товарищами делись... Пай-Хамбаров здесь? Хотела с ним переговорить...

— Я его видел... с утра,— ответил Душан, удивившись тому, как фамильярно, без тени учтивости назвала его воспитателя мать — не «дядя Пай-Хамбаров», не «Амин Турдыевич» — на европейский лад... хотя в его присутствии смущалась, заискивала.

Воспитатели тоже, один за другим, подходили к навесу, чтобы говорить с родителями. Слышно было, как они хвалят учащихся, должно быть утаивая все дурное для разговора с глазу на глаз.

— Поищем твоего воспитателя,— сказала мать, и они пошли теми же дворами и коридорами, как и в первый день, а на спортивном поле увидели Амона, играющего с учащимися в футбол. Были они все черные от пыли, которая стояла над ними, как тень.

— Амону здесь нравится,— сказал Душан, но голосом твердым и равнодушным, каким он умел подавить в себе обиду и волнение.

— Да, со всеми уже на «ты»,— ответила мать.— Совсем не как мой младший.— Потом заволновавшись, словно выболтала тайну:— Но это только кажется, поверь, я ведь знаю как мать. В нем нет терпения и живучести, он здесь расползся бы, стал хулиганить... Потеряли бы мы его. А ты, наоборот, соберешься...

Мать давно не говорила с ним так серьезно, убеждая, а ведь все для того, чтобы убедить его в чем-то неверном. Что-то отодвинуло от матери сына за то время, пока они не виделись, и Душан показался матери изменившимся, повзрослевшим.

— Иди пока к Амону, а я поищу Пай-Хамбарова,— сказала мать, словно ради него и ехала сюда.

Едва Амон, веселый, легко подружившийся с незнакомыми мальчиками, увидел фигуру брата, одиноко стоящего на краю поля, как вдруг проникся он его настрое-

нием, будто прочувствовал все, что пережил здесь Душан. Амон побежал к брату, желая обнять его, шуточно потолкать в бок, развеселить, ибо он уже раз чувствовал Душана таким — в деревне деда, когда побил его в саду, и вот теперь все это вернулось к нему, как лина, здесь, в интернате...

— Ну что ты? Что ты так?— говорил ему Амон.— Ты обижаешься на меня? За что?— И обнял его плечи и поцеловал при всех, повторяя:— Ну, зачем ты такой... невеселый?—И вдруг увидел Душан, что Амон плачет, и весь сжался от жалости и удивления такой перемене — беззаботного веселья на горечь...

— Не обижаюсь на тебя, нет...— попытался улыбнуться Душан.— Ты-то здесь при чем? Не думай...— Чувствуя, как неожиданные слезы брата дали ему такое вдохновение, так утешили, что решил он впредь ни словом, ни жестом не выказывать своей слабости...

И первое, что он сравнивал, привыкнув немного к школьному быту,— дворы, свой и здешний, князя Арифа. Раньше, когда прошлое в нем не было отделено от настоящего, в сплошном протяжении времени, Душан не чувствовал тяжесть пережитого, пока однажды Аппак не шепнул ему перед сном: «У тебя есть воспоминания, Душан? Ну, то, о чем ты чаще всего думаешь?» И этот вопрос Аппака был как бы той последней чертой, той догадкой, после чего время и расчленилось.

Вспоминал он в то время чаще всего свой двор в его тихие, молчаливые дни. Отец стоял с лопатой в палисаднике, и на ручке лопаты, на месте, где треснуло дерево, было синее пятно — об этом он думал, желая вспомнить, какая была эта лопата, в деталях, еще одну вещь из домашних вещей, которая бы сейчас как-то согрела, но ничего не мог вспомнить, кроме этого треснувшего места с краской.

«Аппак сказал очень точно,— решил Душан.— Думать — это значит вспоминать. А о том, чего не пережил, не думается... бесполезно...»

Думал о том дне, когда двор неожиданно открыл себя для чужих, шумный и серый от пыли, чтобы принять тех, кто пришел почтить усопшую бабушку. И был он удивительно похож на этот двор интерната, разгаданный, суетливый и неудобный, будто продолжение его домашнего двора. Что дано ему в какой последовательности — смерть бабушки для того, чтобы он увидел домашний двор таким, как здешний, и заранее смирился с бу-

душей своей жизнью? Или, может, смерть бабушки никак не повлияла на его судьбу и в разгаданный, как будто проклятый за что-то двор князя его все равно послали бы жить?

Вот так, через сравнение дворов, Душан проникся ощущением разделенного времени — на прошлое и настоящее (прошлое — это воспоминание, которое заставляет думать), и это было для него еще одной важной ступенью возраста, перехода из детства в отрочество, когда настоящее тревожит, требует напряженного постижения. И даже сам внешний облик Душана с нелепым длинным и несоразмерно худым телом, угловатостью выражал это внутреннее борение и изменение. И очень нужно было для него это ощущение прожитого как успокоительное, ибо Душану, так трудно ладившему с людьми, приходилось искать утешения в прошлом, память отбирала для него все лучшее, а неприятное, обиды Душан старался быстрее позабыть. Так что все у него было сложно, он не только иронизировал когда-то над собой пяти-шестилетним, но и вспоминал теперь это время как самое дорогое.

Душан помнит и другое свое переживание — любопытство, не боль от потери, не тоску, а интерес к смерти бабушки как к новому, непонятному. Простодушный возраст, когда прошлое и настоящее было не так резко очерчено в сознании, время тянулось почти незаметно — через смену цветов и полутонов на винограднике во дворе, на кусте олеандра, в густой стоящей пыли с отблесками солнца.

Цвета — красный на серый, чтобы исчезнуть от порыва ветра и снова повториться желтым после дождя; одни цвета блекли, другие исчезали навсегда, и только эти два — голубой и зеленый — повторялись вокруг, пройдя через стужу зимы и желтизну шаввала*, месяца после рамазана, пробиваясь сквозь снег в палисаднике. Должно быть, природа по-своему делила свое время, в противовес человеческому тягучему времени, которое не знает возраста; время природы длилось повторяясь, и посредством зеленого и голубого, небесного, прошлое соединяло себя с будущим через настоящее. Цвета эти всегда спокойны, наверное, знают, что ничто другое, кроме них, не будит в человеке мысли о вечности, и не

* Ш а в в а л — месяц октябрь.

от созерцания ли голубого и зеленого бабушка часто бранила себя за то, что не сумела показаться величественной перед вечностью, которая обманула ее.

«Ах, как обманула меня жизнь, как обманула! Поманила к себе из мрака и, пока я грелась в ее свете, жизнь не сказала, что всему есть предел. А когда я поняла, что поймана жизнью и обманута, было уже поздно — снова озябла...»

Зеленый и голубой — цвета вечности, которую бранила бабушка за холодность и недостижимость. Значит, остальные цвета — черный, белый, желтый — повседневности, обманчивой суеты, цвета эти и согревали бабушку, доступные своей разгадкой. Черный — цвет земли, бешеного быка, которого Душан видел на дороге в Зармитан, все мальчики черные на лицо, мужской цвет. И переменчивость этого цвета, стремление обмануть черный как тягостный и необязательный видно по имени мальчика, которого называли «Аппак»*.

Вспомнив, как усмехнулся Аппак, услышав в первый день его имя, Душан спросил как-то перед сном:

— А тебя почему так странно называли, Аппак, ты ведь чернее негра?

— Снег тогда валил, бело кругом было, — зевая, ответил Аппак. — Да, я черный. Знаешь, черным бывает меч, очень острый меч. А белой — женщина... И черный озадевает ею...

— Белый цвет тоже много значит... — сказал Душан, не зная, как правильнее выразить то, о чем вспомнилось: в бабушкины поминки женщины оделись во все белое, и мать потом еще долго ходила в белом платье.

Белый — цвет матери-роженницы, цвет загадки, потому что, когда не спится, из мрака идет белый отблеск, и колдуны, перед тем как снимать хворь или любовную хандру, надевают белую перчатку, так что и руку, способную творить чудеса, называют белой. Значит, все таинственное — рождение, смерть, бессонница, свет луны — под знаком белого цвета, а обыденное вокруг — черного. И не оттого ли все черное однозначно, может тянуться друг за другом, лишь для внешнего несходства называясь по-разному? Черного быка, к примеру, называют и тенью, и тучей, и даже ночью.

— Такой огромный, разъяренный бык стал поперек дороги, Аппак, и как туча бросился на машину, — рассказывал о своей поездке в Зармитан Душан.

* Аппак — белый-пребелый (узб.).

— А я бы не испугался, отмахнулся как от вороны! — ответил Аппак, опять выпячивая свое «я».

Вот, оказывается, можно называть быка и вороной по признаку одинакового цвета, если хочешь высказать к его силе и ярости свое презрение.

Об этом тайном смысле черного Душан думал в тот день, когда был наказан. Обычно сдержанный, избегающий буйных игр, Душан выбежал в перерыве из класса, подталкиваемый мальчиками, и отделился, остановившись во дворе и глядя на то, как мальчики за порогом классной комнаты затеяли игру в жабу — передний наклонялся, а бежавший следом прыгал со всего размаху через него, скользя задом по его спине, и так один за другим, ловкие, разгоряченные, хохочущие... Он увидел, как Аппак прыгнул раз, озорно, будто любуясь собственным гибким телом, затем еще мелькнуло лицо Аппака, какое-то безудержно довольное, молодцеватое, и столько в каждом его жесте было красоты и умения, столько манящего, дразнящего... Душан вдруг не выдержал и как-то необдуманно, сам того не желая, побежал в тот момент, когда Аппак, покотившись через десять спи, сам стал в позе жабы, дрожа от нетерпения. Душан прыгнул, но не так ловко, повалился на спину Аппака, и, обнявшись, они оба упали на землю.

— Куча мала! Куча мала! — закричали мальчики, бросаясь один за другим на упавших, и все случилось так неожиданно, что Душан не успел испугаться.

Аппак попытался встать, расталкивая мальчиков и нещадно ударяя их ногами. Душан же задыхался, прижатый телами; подумал, что вот Аппак сейчас выберется из этой свалки, а он останется лежать до прихода Пай-Хамбарова, воспитатель увидит, какой он неловкий.

Аппак встал наконец, крича на всех и посылая удары направо и налево.

— Попробуйте его ударить, только попробуйте! — кричал Аппак, пробираясь к Душану, чтобы помочь ему. Но, видно, Аппак что-то не рассчитал или, может, ему помешали, набросившись сзади, только потянул он Душана за руку не совсем удачно. Душан поднялся и успел уже отбежать к лестнице у дверей класса, но поскользнулся, неудачно ступил, хотел удержаться, схватившись за поручни, не смог и упал вторично.

Видя, что он опять на земле, мальчики не стали больше валиться в кучу, как-то странно молча направились

в класс, будто вот теперь, когда Душан еще раз упал, они вдоволь насытились своей грубой выходкой.

Душан постоял немного, думая, пойти ли во второй двор, но, увидев, как Пай-Хамбаров направляется к классу, удивился, что в суматохе не услышал звонка на урок.

Аппак держал в руках две половинки шара, хотел сказать что-то, показывая Душану, но при виде воспитателя быстро бросил их куда-то в песок.

— Ты что? — не понял его Душан.

— Мраморный шар с лестницы... треснул, — шепнул Аппак, и по тому, как сказал это Аппак, Душан понял, что это он, падая, задел... да, хотел он взяться, но что-то гладкое ускользнуло из-под руки...

На уроке Пай-Хамбаров заметил, что Душан рассеян, сделал ему замечание, но Душан не мог сосредоточиться, желая вспомнить, какой это был шар. Странно, сотни раз пробегал из класса в класс мимо двух этих шаров, вделанных как украшение по краям лестницы, ведущей в мансарду, трогал их, любуясь, но сейчас от переживаний не мог представить, какого они цвета.

Душан не выдержал и написал Аппаку, сидевшему в первые дни с ним, но теперь прогнанному в последний ряд за болтовню: «Какой шар?» — «Да вот же он... черный», — мелькнуло у Душана, когда поднял он голову на скрип двери, несколько не удивившись тому, что Аблясанов зашел в класс, держа в руке половинки шара.

Мальчики встали из-за парт следом за удивленным и сконфуженным Пай-Хамбаровым, который так смотрел на директора, будто хотел сказать ему: «Никак не привыкну к тому, что вы входите в класс без стука, да еще на самом интересном месте урока».

Аблясанов торжествующе выдержал паузу, уверенный, что мальчики сами взглядами выдадут виновника, и, когда все посмотрели на Душана, спросил:

— Кто — Душан Темурий?

Душан не ответил, но вышел из-за парты, и эта готовность молча, не боясь, признаться в проступке, должно быть, не очень понравилась Аблясанову, который нетерпеливо топнул ногой и приказал:

— За мной, в кабинет...

И только когда Аблясанов и Душан уже выходили за дверь, Пай-Хамбаров не выдержал и спросил, больше обращаясь к классу, нежели к директору:

— Прошу объяснить — что случилось? Надеюсь, ничего смертельного?

Но дверь класса уже закрылась, и Аблясанов повел Душана через третий двор, в свой кабинет, и мальчик, даже не глянув на перила лестницы, на единственный теперь оставшийся черный шар, только подумал: «Что будет с разбитым, склеят? Или же снимут и второй?», а что будет сейчас с ним, чем он ответит за свой нечаянный поступок, Душан не знал. «Скажу, мать заплатит», — решил он.

Душан первый раз шел в кабинет директора, и, как и все, кто еще там не был, боялся, хотя те, кто был в этом кабинете, хвастались потом, чувствуя себя храбрцами. Аппак был четыре раза за все время знакомства с Душаном и каждый раз возвращался из кабинета так, будто убедил, осилил, перекричал директора, внушая Душану, что ничего не будет страшного, если и его за какие-нибудь проделки вызовут к Аблясанову.

И действительно, кабинет был в самой простой комнате с одним столом и несколькими стульями, без портретов и лозунгов на серых стенах, из которых просачивалась сырость. Должно быть, болезненно чувствуя эту сырость, Аблясанов, прежде чем сесть за стол, обвязал поясницу теплым пледом. И только тогда, готовясь к основательной и неторопливой беседе, тяжело опустился в кресло и еще поерзал, ибо край пледа подвернулся и мешал ему сидеть расслабившись. Душана он посадил возле стены, а половинки черного шара поставил перед собой и долго разглядывал, будто не понимая, как такая крепкая порода, мрамор, треснула от прикосновения слабых рук Душана.

Его взгляд, в котором Душан уловил недоумение и сожаление, подбодрил мальчика, начало беседы обещало быть совсем не строгим и официальным. Душан был в таком же недоумении, как и директор, потому подумал, что сможет легко отделаться, раз их настроения совпали.

— Это ты сделал? — спросил Аблясанов как-то вяло, не глядя на Душана, словно тяготясь тем, что ему приходится вести столь неприятную беседу.

— Да, — коротко и твердо ответил Душан, смотря на половинки шара, которые Аблясанов приставлял друг к другу, желая, видимо, найти линию, по которой, причудливо и сложно изгибаясь, прошла трещина.

— Мне сказали, что ты.— В тоне директора чувствовалось возбуждение, но Душан отнес это не за счет своей проделки, а к половинкам шара, которые никак не хотели пристать к той линии, что развела их, а Аблясанов нервничал, много и искренне суетился, как делал это в самый первый день приезда Душана на вечернем сборе.

— Почему ты не спрашиваешь: кто сказал?— удивленно и, кажется, первый раз за все время возни с шаром глянул на Душана, прищурившись, Аблясанов.

— Не знаю,— ответил Душан, чувствуя себя наконец совсем свободно и думая о том, как он удивит мальчиков рассказом о том, что ему было совсем не страшно в кабинете. Он действительно не знал, что и думать, только мелькнула мысль, что кто-то из мальчиков пожаловался...

— Ты ведь знаешь, Душан Темурий, что шар этот украшал лестницу, которая ведет в мансарду, где живут воспитатели. Твои воспитатели,— опять вяло сказал Аблясанов, потому что освободился, отодвинул от себя половинки шара.— Люди, которые учат и воспитывают, передают тебе свои знания, ум, свой житейский опыт, часто болея, но не обращая на это внимания...

Тон, который он взял, и эта длинная фраза насторожили Душана, он даже хотел сказать как спасительное: «Ну, что теперь... виноват... мать заплатит...»

— Шар — это часть лестницы, а лестница — часть двора, тогда как двор — часть всего интерната. И если сегодня мы разобьем шар, а завтра повалим забор, то потом в самый раз и растаскать по частям весь интернат... Но, к счастью, на каждого разрушителя есть десять, сто честных мальчиков, которые, разоблачив разрушителя, приходят и называют мне его имя...

В этой очень убедительной речи было, однако, много неубедительного, хотя бы с забором, который Душан вовсе не собирался ломать, он хотел сказать об этом, но не знал, как выразиться, потому что сказать просто: «Я виноват... случилось нечаянно» казалось теперь в его устах неубедительным.

— Ты виноват?..— как-то просто разрешил сомнения Душана Аблясанов неожиданно.

— Да, виноват,— ответил Душан с готовностью.

Аблясанов кивнул в знак одобрения, поправил плед и спросил, на сей раз как бы обвиняя и взывая к совести:

— Но ты-то сам разоблачаешь дурных мальчиков?! Ты-то сам что делаешь для родного интерната? Ты сколько уже здесь — год? Два? Пора, пора, голубчик, жить заботами коллектива, следить, кто портит имущество, сплетничает о воспитателях, обижает младших, и обо всем говорить мне или своему классному воспитателю. Кто твой классный воспитатель?

— Амин Турдыевич Пай-Хамбаров, — тихо сказал Душан.

— Да, Амину Турдыевичу... но лучше мне, — сказал бесстрастно Аблясанов, не выдавая своего отрицательного отношения к Пай-Хамбарову, с которым расходился в вопросах воспитания. — Договорились?

Душан хотел было как-то неопределенно кивнуть или чем-то другим ответить на вопрос Аблясанова, но молчал, вспоминая о том, как Аппак или другие, взрослые учащиеся относятся к тем, кого называют «трепачами», «стукачами», избивая их в коридорах или в свалке во время игры в жабу.

— Если договорились, можешь идти в класс, — нетерпеливо поерзал в кресле Аблясанов. — А мальчикам скажешь, что мать твоя внесет деньги за шар, чтобы не догадались о нашем договоре...

— Я... конечно... мне неприятно... осуждаю, — сказал Душан, чувствуя, как возмутится сейчас Аблясанов, прогневаается — ведь добра желал, закрывая глаза на проступок Душана. — Но я люблю один... все играют вместе, а мне не играется... и я не узнаю, что они дурного сделают...

— А ты играй со всеми, не отделяйся. Ко мне почти все прибегают говорить, только ты один в стороне. Когда и ты придешь, я буду спокоен, зная, что слежу за всеми своими любимыми детьми, — настанвал Аблясанов, и, понимая, что теперь так неопределенно, не договаривая, не откажешься, Душан сказал:

— Нет, я не смогу... не услежу за всеми. А за шар отвечу, виноват...

Аблясанов как-то удивленно, жалеючи посмотрел на Душана, будто оценивая все последствия его отказа, затем, подойдя к окну, постучал пробежавшему мимо его кабинета старшекласснику:

— Позови ко мне Амина Турдыевича!

Старшекласснику съезжилась было от его стука, но, услышав совершенно безобидную просьбу, с готовностью побежал, и Душан, не мигая, следил, как старшеклас-

ник бежит к двери класса, а потом в молчании, пока Аблясанов постукивал половинками шара, видел, как Пай-Хамбаров с недовольным видом пошел к кабинету по той самой дорожке, по которой только что бежал услужливый старшекласник.

И едва Пай-Хамбаров переступил порог кабинета, как Аблясанов, словно куда-то заторопился, складывая бумаги, сказал:

— Этот провинившийся, Амин Турдыевич, должен отработать те тридцать рублей, на которые причинил убыток интернату, разбив шар. В левом углу двора под землей сгнила водопроводная труба. Оттого частая течь наружу, в спортивное поле, и слабый напор воды в пищеблоке. Отмерьте ему земли — два метра в длину и полметра в глубину, освободите от уроков, и пусть начинает копать... Копать первым — это почетно, понял? — обратился он к Душану так дружелюбно, будто они на этой работе, как на самой легкой из всех, давно и по-свойски порешили.

— Но ведь как? При чем здесь копанье? Я не одобряю такую меру исправления! — возразил Пай-Хамбаров. — И откуда вы взяли, что шар стоит именно тридцать рублей?

— Вы, молодой человек, разве знаете цену старому? — возмущенно шагнул в сторону Пай-Хамбарова Аблясанов. — Этому древнему мраморному шару цены нет. Тридцать рублей по нынешним бухгалтерским накладным, где одна финансовая путаница.

Пай-Хамбаров отступил в угол, беспокояно глядя то на директора, то на Душана, пока не догадался выпроводить из кабинета молчаливого свидетеля их с директором стычки:

— Подожди меня за дверью, Душан...

Душан вышел, постоял во дворе, недалеко от окон кабинета, еще не приходя в себя после столь неожиданного решения Аблясанова, затем направился в угол двора, где ему предстояло копать, а мальчики из его класса кричали ему и свистели, ибо всем не терпелось узнать, о чем с ним говорили Аблясанов и Пай-Хамбаров.

Место, где просачивалась вода из гнилой трубы, Душан знал. Если земля на краю поля высыхала, покрываясь коркой соли, значит, Зармитан отпускал интернату мало воды; если же воды было достаточно, она выхо-

дила из трубы наружу, играющие в футбол загораживали ее песком, бегая и гоняя мяч через лужи.

Пай-Хамбаров долго не выходил из кабинета, должно быть затеяв с Аблясановым очередной спор о воспитании. Учащиеся знали, что их воспитатели разделились на сторонников традиционного, свободного воспитания — их возглавлял сам Аблясанов — и прогрессистов, которых вдохновлял Пай-Хамбаров, желая для своих учащихся современного европейского воспитания, более нравственного, взывающего к совести, духовному, — так им казалось. Группа Аблясанова, все из местных, зармитанских, живущих сытно на земле, в своих глухих домах с огородами, называли их презрительно «книжниками», далекими от жизни, иссушающими учащихся, делающими их избалованными умниками, оторванными от своего языка и обычаев; сами же воспитывали и наказывали трудом и рублем. Пай-Хамбаров и все «книжники» были в Зармитане чужаками, пришельцами и, терпя на первых порах неудобства, жили в холодных мансардах здесь же, в школе. И перед каждым очередным учебным годом ждали, что Аблясанова наконец снимут, чтобы заменить новым директором, прогрессистом, разумеется, а когда в начале года Аблясанов снова появлялся в своем неизменно белом костюме, близком к покрою кителя, тонком синтетическом черном галстуке, торжественно пристегнув к лацкану медаль, и открывая собрание воспитателей и учащихся в присутствии повара, прачки и конюха, «книжники» ворчали, говоря, что его, человека в общем-то далекого от воспитания и малокультурного, работавшего бухгалтером и наездником на конном заводе, терпят за как-то былые заслуги; будто бы он, татарин, зная местный язык, был переводчиком в отряде, прогнавшем из Зармитана князя Арифа. То, что Аблясанов был татарин, вспоминали лишь по какому-то недоразумению, ибо уже давно весь облик директора, манера и образ его жизни ничем не отличались от зармитанского.

Пока Душан стоял возле забора, бегали по двору сторож и уборщица в понсках ключа от амбара, где лежали лопаты. Затем вышел и полусонный конюх, которого Душан за все время своей жизни здесь видел всего лишь два раза: один раз перевозящего на бричке мимо ворот интерната каменную соль, наверное, для того, чтобы ее лизали хворые зармитанские лошади на конном заводе, во второй раз его бричка была наполнена углем,

и проехал он не мимо интерната, как того ожидал Душан, а свернул за углом и въехал в ворота, сидя на козлах ровный и какой-то непонятно надменный, и бричка его загромычала к деревянному складу в первом дворе. Все остальное время, между двумя этими выездами, Душан видел его спящим в амбаре, куда мальчики из любопытства иногда заглядывали в щель; поговаривали, что из этого сонного состояния уже никто не решается его вывести, даже Аблясанов побаивается коноха за неласковый язык.

Этот конох и нашел Душану лопату, а сам с каким-то особым удовольствием тщательно измерил землю и сказал, уходя:

— Я душой отдыхаю, когда другие работают. Ты копай, парень, а я погляжу на тебя из амбара, наслаждаясь тем, какой ты молодец.

Душан просто и открыто глянул на коноха и кивнул, он чувствовал себя хорошо и спокойно, вспомнил, с каким усердием копал он в своем палисаднике вместе с отцом и Амоном, и решил скорее начать — не терпелось...

В первый свой взмах он копнул неумело, лопата пошла вкось, почти не взяв рыхлой, размокшей земли, и, стараясь собрать всю силу и сноровку, Душан от волнения не заметил, как подошел к нему возбужденный, разругавшийся с Аблясановым Пай-Хамбаров.

— Ничего, мы это все разберем! Выпрямим перегибы его трудового воспитания! — Пай-Хамбаров суетился и торопился опять в класс, и, как только он ушел со двора, в окне кабинета появился Аблясанов, который посмотрел на Душана и остался доволен.

Первое время, наверное минут десять, Душан работал так увлеченно, торопливо и играючи, что не почувствовал, как лопата, отскочив, несколько раз ударила его по ногам. Он удивлялся, думая, как просто и легко делать то, что дано ему в наказание.

В перерыве мальчики из всех дворов прибежали смотреть на Душана, Аппак хотел помочь ему, но конох закашлял из амбара и погрозил Аппаку, покрутив в воздухе мотком веревки, на которую собирался лечь. Душан засмутился, думая, что мальчики начнут подтрунивать над ним, но — странно — никто, кажется, и не удивился, увидев его за необычным занятием, подходили молча, заглянув в яму, которую вырыл Душан, равнодушные, должно быть, не впервые видели они, как их сокаш-

ник-одиночка, на виду всей школы горделиво взмахивая лопатой, искупает свою вину.

Подошла к краю его ямки и делегация сочувствующих воспитателей, которых привел Пай-Хамбаров. Тестушка Бибисара взволнованно ходила вокруг того места, где копал Душан, решивший, что не будет обращать на них внимания. Он только раз глянул на воспитателей, увидел гаждиванца Болоталнева, удивившись тому, что и он сочувствующий, хотя рядом с земляком Ямином кажется таким серьезно-доступным. Был здесь ничем себя не выражающий, бесстрастный физик Кушаков, а чуть поодаль, больше заинтересованные самим забором, под которым труба дала течь, чем происшествием с Душаном, ходили физвоспитатель Бессараб и военвоспитатель Сердолюк, оба холостые и неразлучные среди чужих, зармитанцев; они даже жили в одной комнате. Приглядывались, не зная местного языка и здешних нравов, и потому предусмотрительно долго не примыкали ни к прогрессистам, ни к традиционалистам, отчего одинаково раздражали и тех и других.

Едва все ушли на урок, Душан почувствовал, как неуверенной стала рука и заломило в пояснице; но была уже перекопана земля до трети отметки, и мальчик решил, что передохнет, лишь когда выкопает половину ямы. Видя, как упрям Душан, конюх, отдыхающий у ворот амбара, время от времени сочувственно наставлял его.

— Снимай больше в ширину, моя печень, а когда будет пространство, легче трубу открыть...

Душан улыбнулся, и этот открытый, чуть смущенный взгляд мальчика снова понравился конюху, в устах которого «моя печень» была самой большой лаской, ибо обращался он так к своей лошади.

— Ну, спроси, что ты хотел?— потянул под себя веревки и сел конюх, единственный раз за много времени почувствовавший интерес к общению.

— Мне нравится,— сказал Душан, выпрямившись и облокотившись на ручку лопаты,— вы как-то странно говорите... моя печень...

— А!— рассмеялся конюх, хотя и не сказал Душану ничего забавного, просто для беседы настраивал себя конюх на веселый лад.— Ты разве не знал, что вся любовь человека помещается в его печени?

— Знал. Мне бабушка читала по древнему... мудрому вопроснику.

— Потому люди и пьют — горько, чтобы испортить печень. А я не пью и вот единственный, кто еще любит...

— Вы — любите? — как-то озорно, в тон собеседнику, спросил Душан. — Вы только с лошадыю своей разговариваете, как ни увижу...

Конюх вдруг рассердился, сделавшись опять надменным, каким бывает он, когда сидит на козлах своей брички, и махнул на Душана рукой:

— Я люблю молча... страдаю, — сказал, и встал, и вышел из амбара с двумя половинками шара в руке, и, в сердцах ударив их друг о друга, глянул сердито на Душана, словно жалея о том, что, забыв о своих правилах молчальника, заговорил с мальчиком по душам: — Ну, продолжай! Посмотрим, кто быстрее...

Душан снова увлекся, почувствовав, как пришла к нему сила после короткой передышки и этой странной беседы с конюхом; кто-то близко подошел к нему, посмотрел, но Душан не поднял головы, наверное, это был учащийся, прогнанный с урока.

А в другом конце двора, возле злополучной лестницы, мастерил что-то конюх; Душан несколько раз посмотрел на него мельком, ничего не разобрав, и только когда выпрямился, чтобы отдышаться, понял по тому, как нервничает, суетится всегда безразлично-сонный конюх, что возится он с шаром.

«Вставляет обратно», — догадался Душан и почему-то со злорадством подумал, что ничего у конюха не получится, потому что Душан уже отработывал за разбитый шар; все, что должен был выразить собой шар в сознании Аблясанова, переместилось, правда в большем объеме и размере, в эту яму, и теперь не может быть так, чтобы яма была выкопана, и шар вставлен обратно рядом со вторым, иначе получится, что обманут Душан, копает безо всякой вины.

После каждого взмаха Душан смотрел на конюха, конюх, загнав шар в стальной ободок, тоже смотрел самодовольно на мальчика, и так они, словно подтрунивая друг над другом, подмигивая, соревновались, кто окажется ловчее.

— Ну, братец, держится, держится! — вдруг громко восторгнулся конюх, и Душан удивился не тому, что шар он вставил, а голосу конюха, будто тот восторг, который он держал в себе долго, теперь вырвался, словно сам шар вытолкнул из него этот искренний, заразительный возглас удовольствия. И не успел мальчик ни обра-

доваться, ни огорчиться, как конюх стал гнать его прочь со двора.

— Ну, довольно, воробей, клевать землю, оставь! Шар испугался моих золотых рук и встал рядом с братцем своим навтыжку, будто сейчас сам хозяин-князь войдет.— И пытался отобрать у Душана лопату, чтобы отнести ее обратно в амбар.

— Нет, мне велено... три метра,— сказал Душан, поглядывая на окна кабинета и своего класса.

— Кто велел, тот и приказал пожалеть тебя!— сказал конюх строго, и по тону его Душан понял, что действительно был между ним и Аблясановым такой договор — если шар станет на место, Душана простить и отправить назад в класс.

— Нет!— снова возразил Душан, огорченный тем, что ему не дали сделать свое дело до конца. А потом в самодовольной позе встал возле ямы, показывая на оголенную трубу, из которой бьет вода.

Он отдал конюху лопату и только теперь почувствовал, как болят ладони, натертые до крови. И от смущения и конфуза не зная, как настоять на своем, Душан сказал неожиданно:

— Ислам Сабирович Айязов тоже был конюхом,— словно хотел мальчик упрекнуть в чем-то собеседника.

— Да, был!— с сердитой готовностью откликнулся конюх и жестом позвал к себе Душана.— Иди посиди со мной, печень моя, директор домой обедать пошел. Каждые два часа должен покушать — болезнь у него странная. Наверное, от голодного детства.— И когда Душан встал возле ворот, чувствуя, как задыхается от мышинного амбарного запаха, добавил:— Да, был мой тесть и конюхом князя Арифа. В тот год, когда князь убежал, Айязов за меня дочь свою сватал. Змея была покойница! Стал я его зятем, Айязов говорит: «Ты теперь возьми мое дело, я учителем поработаю». Поверил я ему, взял, и вот с тех пор он учитель, а я конюх... Ну иди! Опять язык мой развязался. Только с тобой и позволю себе говорить. Мы с двух концов одно дело делали и оба обманутыми остались. Шар стоит, как и раньше, зато и земля разрыта — это называется лишний обман природы...

— Шар все равно треснутый,— упрямо сказал Душан.— Копал не зря.

— Не знаю, может, когда-то и был треснутым. Сейчас вижу — целый. А половина ямы вырыта, это я тоже

вижу, вот в чем премудрость, — заключил конюх, закрывая амбар и страдая, должно быть, от этой загадки: почему земля вырыта, когда шар на месте?

Душан, с таким нетерпением ожидавший потом вечера, часа, когда все лягут в постели, полежат немного молча, чтобы согреться, дыша под одеяло, а затем разом опять зашумят, спрашивая о дневном случившемся, был немало удивлен тем, что никто не говорит с ним, словно не знает о том, что Душан был наказан двухчасовой работой у забора. Просто, наверное, никого из мальчиков это не взволновало, не тронуло, и только сам Душан в одиночестве переживал случившееся, ожидая сочувствия, похвалы; может быть, единственный раз ему захотелось быть в центре внимания — ведь не обещал ничего дурного, не смалодушничал, — но все отвернулись, укрылись одеялами. Душан в досаде повернулся с боку на бок, чувствуя, как стынут у него ноги, и только Аппак, видно, понимающий его состояние, сказал громко, чтобы все слышали:

— Я тебе обещаю, Душан... найду того, кто донес. И ткну его мордой в грязь! Как осла слюнявого...

— Спи... забудь об этом, — с обидой в голосе проговорил Душан, чувствуя, как вместо облегчения после слов Аппака озноб пробежал по спине от окоченевших ног.

Он подышал на ладонь — всегда так проверял, заболел ли? Дыхание было горячим, и едва он это почувствовал и подумал, что заболел, будто отошла тяжесть от тела, которое сжималось и ломило, тело стало бесчувственным и забилося дрожью.

Он не мог уже глубоко вздохнуть, дышал часто и коротко, слабеющее тело, без веса, в лихорадке не могло найти себе места в постели, ворочалось, не зная, как удобнее и спокойнее лежать. Будто дверь распахнута настежь и снята правая стена спальни, а кровать Душана поставлена в том месте, где собирается с двух открытых сторон холод со двора, ставшего вдруг в сознании Душана большим и неудобным.

— Аппак, — шепнул Душан, зная, как Аппак спит чутко и просыпается в любой час ночи так легко, с таким довольным выражением лица, словно выспался. Душан по утрам, скованный меланхолией, с завистью смотрел, как встает сосед, задорный, веселый, сам день его радовал, возбуждал, в то время как ночь и сон, наоборот, утомляли.

— Аппак,— снова позвал Душан, не подозревая, что его могут услышать в комнате отдыха, где дежурила тетушка Бибисара. Боковая дверь тихо открылась, и в слабом свете, идущем из соседней комнаты, показалась полная, медлительная фигура тетушки.

Душан знал, что дежурит сегодня тетушка Бибисара, которая пришла бы по первому зову, но мальчик не хотел беспокоить ее. Помахал лопатой, покопал немного в сыром дворе и почувствовал себя плохо — так все и скажут. Только Аппак, от уверенного слова которого Душану сразу делается легко, может знать о его лихорадке. А если узнает тетушка, станет известно и Пай-Хамбарову, который — Душан в этом уверен — сидит сейчас в комнате отдыха, неотразимо красивый, самоуверенный, настойчивый в своих ухаживаниях, и тетушка Бибисара по-прежнему, не зная, игра ли это или просто прихоть Пай-Хамбарова, теряется, смущаясь. Поговаривали учащиеся, что молва о его ухаживаниях вышла уже за пределы интерната и пошла от двора к двору — по Зармитану, дойдя до мужа тетушки — учетчика пушнины, и что муж, как в старых, добропорядочных романах, устроил сцену ревности. Тетушка, такая вялая и мягкосердечная, вдруг, говорят, собралась вся, сжалась и обвинила мужа в низости и мещанстве, не выдала тайну, но и не отреклась, потому что сама уже была полностью в этой игре; мысль о том, что самый интересный мужчина интерната ухаживает за ней, была для нее такой волнующей, и не появивсь Пай-Хамбаров вдруг, в ночь ее дежурства, ровно в одиннадцать часов в комнате отдыха, чтобы развлекать тетушку, она посчитала бы свою жизнь пустой и никчемной.

Видя, что тетушка осторожными, вкрадчивыми шагами приближается, Душан закрыл глаза, а когда мальчик снова посмотрел на нее, тетушка уже уходила обратно к полуоткрытой двери, довольная тем, что в спальне все спокойно.

И вдруг Душану стало беспокойно от мысли, что уйдет она теперь до утра и никто ему не поможет; вернувшись в комнату отдыха, тетушка скажет негромко Пай-Хамбарову: «Все спокойно, уснули», и останутся они там за дверью, оба довольные, возбужденные — и вот это их довольство, отрешенность от всего, незнание и смутный страх мальчика.

— Тетушка Бибисара,— шепнул Душан, и высушив из-под одеяла руки, поднял их, чтобы тетушка уви-

дела в свете двери. Чуткая, она сразу услышала и, пойдя к кровати Душана, поняла, почему ее позвал мальчик; встревоженная, наклонилась и, коснувшись губами лба мальчика, почувствовала, какой у него жар. В таких случаях она умела быть спокойной; чтобы не напугать Душана, сказала:

— Ничего... ты немного заболел, но это пройдет.— И уже дальше, не выдержав своего спокойствия, суетливо заторопилась к двери, чтобы сказать Пай-Хамбарову.

Пай-Хамбаров, наоборот, в таких случаях забывал об осторожности, в его тоне Душан уловил нотки нетерпения, когда воспитатель спросил:

— Что с тобой? Болит?

— Мне холодно... и горло.— Обиделся Душан на то, как спросил Пай-Хамбаров.

— Вот вам плоды воспитания!— забыв о том, что кругом спят, увлеченно громко сказал Пай-Хамбаров.— Довольно либеральничать! А мальчика? В изолятор, конечно...

Изолятор в этом же дворе, за умывальной. Душан удивленно заглядывал как-то в окно, желая увидеть заболевшего желудком Мордехая, но все же, когда его уложили там в кровать, мальчик растерялся от такой близости к месту, где его всю ночь лихорадило, подумал: для того чтобы скорее выздороветь, надо быть подальше от их спальни, будто сама спальня теперь сделалась местом нездоровым, от которого надо отгородиться хотя бы расстоянием.

Но что его как-то утешало — ощущение новизны места и себя, заболевшего, в белой комнате, на просторной кровати, где можно лежать освобожденным от изо дня в день повторяющейся суеты — утреннего пробуждения по команде дежурного, спортивного нелепого бега по двору, уроков, еды в определенный час, сна по команде.

Рядом с Душаном лежали в этой комнате изолятора еще два мальчика, и оказалось, что Душан их откуда-то знает — Акрама из четвертого класса и старшего — Наима из седьмого. Зато они оба, должно быть из высокомерия к возрасту, сделали вид, будто Душан вообще неизвестно откуда взявшийся пришелец, не из их интерната.

— Я здесь давно,— сказал Душан, подумав, что, наверное, они его разыгрывают, не желая сразу быть

дружелюбно расположенными. Душан не обиделся, зная, что так с ним всегда на новом месте, даже если это изолятор интерната, в двух шагах от спальни, где его уже почти все приняли; ему надо опять преодолевать неприязнь с первого взгляда на его внешность, обманчиво кажущуюся неприятно-заносчивой.

Сами же соседи были привлекательны тем, что как-то легко, не страдая, переносили болезнь, ничто не удерживало их долго в постели, даже боли и высокая температура. Особенно озорным казался старший — Наим, который прыгал с кровати на кровать, едва дежурная сиделка выходила, бегал по комнате, частенько поглядывая в зеркальце и любясь уже чернеющим пушком над верхней губой.

Он был почему-то уверен, что в такие бездеятельные дни, когда отрок скрывается от посторонних глаз, у него вдруг, в одно прекрасное утро, вырастают усы, и он другой, возмужалый и неотразимый, предстает перед девушками, чтобы поразить.

Хотя Душан трудно переносил всякую, даже такую легкую болезнь — ангину, — он поддался игривому настроению соседней и, как только сестра Гуль приходила, чтобы натереть Наиму спину какой-то пахучей мазью, Душан, как и Акрам, садился на кровать, чтобы подыгрывать Наиму.

Уже третий вечер Наим говорил слащавым голосом одно и то же, едва Гуль дотрагивалась до его голой спины:

— Сегодня ваши руки такие теплые, сестра... Ох, я горю весь, ох, пожар...

— Испорченные дети! — махала в их сторону, отчаявшись, сестра Гуль. — Больше я не приду вас лечить. — И было в ее смущении, во всем облике что-то трогательное, словно она, только в прошлом году окончившая Ташлакский женский интернат и приглашенная в этот, мужской, сиделкой, хотя и старалась казаться очень взрослой и неприступной, все же не могла отделаться от ощущения того, что и она все еще школьница.

Подтрунивая над ними, Душан все же приглядывался, как ведут себя Наим и Гуль, и очень уж было заметно, что оба они как-то неестественны, напряжены, отчего Наим чрезмерно суетился, становясь грубоватым, смущая этим Гуль, и Душан почувствовал, что оба этих подростка, чем-то очень похожие, друг другу нравятся.

Между семью и девятью вечера, после всех уколов и взтираний палата их оставалась без присмотра — дневные сиделки уже кончали работу, а ночные еще не заступали по графику. А там, за окнами, кончался ужин, и свободные от занятий мальчишки бегали вокруг изолятора, заглядывая во все палаты, и Аппак и Мордехай даже раз забежали в палату.

— Шан, что тебе вкусного принести?— крикнул Аппак, оттолкнув от себя осторожного Мордехая, который тянул его обратно, говоря: «Сюда нельзя, заразиться можно...»

— Ничего, Пак, спасибо,— обрадовался и хотел встать с кровати Душан,— послезавтра из дома придут. Мне лучше.— И, должно быть, эта приятельская, доброжелательная атмосфера встречи мальчишек чем-то покорила Наима, который недовольно топнул ногой и вытолкнул Аппака за дверь.

Не успел Душан ни удивиться, ни обидеться, как Наим стал объяснять:

— У него глаза нехорошие. Я его часто вижу, как он бежит по коридору, оглядываясь... Ты ведь заметил, мальчик, что сюда заходят только люди с добренькими, чистенькими глазами, как у горлиц. И санитарка и врач так поднимают ресницы, будто боятся замарать глаза... Поверь, у твоего приятеля они дурные, о таких и сказано, что они могут сглазить,— говорил Наим, поглядывая в зеркальце и собираясь, как и вчера, сбежать тайком из интерната, чтобы побродить с товарищами по переулкам Зармитана.

Душан не мог понять, искренен ли он или играет, но на всякий случай сказал:

— Не верю, Аппак — добрый.— И, как бывает у него нередко, добавил необдуманно и неосторожно:— А твоя Гуль ни разу прямо не посмотрит, не выдерживает взгляд...

Наим, удивленный, остановился возле кровати Душана, затем медленно наклонился, хмурясь и кривясь, и Душан, думая, что он опять играет, открыто и не мигая посмотрел на Наима.

— А ты вообще слепой!— сказал вдруг Наим злобно и, схватив с соседней кровати подушку, закрыл лицо мальчика и прижал так, что Душан стал задыхаться, не зная, как защититься.

Только когда под окнами раздался свист, Наим отшвырнул подушку, чтобы побежать к двери, где его уже

ждали сокашники, зовущие на вечернюю прогулку по Зармитану.

Душан глубоко вздохнул и как-то виновато посмотрел на Акрама, который все это время спокойно сидел на своей кровати и смотрел.

— Злой он,— сказал Душан и, отвернувшись, накрылся с головой одеялом, чтобы полежать не шевелясь и забыться, не чувствуя горечь обиды.

— А ты пожалуешься директору?— раздался голос Акрама сначала издали.— Скажешь, что тебя душил старшеклассник?— Акрам в нетерпении, должно быть, уже слез со своей кровати и запрыгал возле Душана, потому что говорил он уже над самым ухом мальчика.— Я бы сказал — не побоялся...— И добавил непонятно к чему:— Мне наездник понравился на конном заводе. Буду таким отважным.

Душан сделал вид, что уснул, думая о Наиме:

«Нехороший... я любовался им... какое у него тело красивое. Как они похожи с Гуль... мягкий, с лицом девушки. А внутри жестокий...»

Все это время Акрам, оказывается, стоял над Душаном, не зная, как к нему подступиться, и только когда выразил к нему свое отношение, сказав: «Трус ты, Шаник, не умеешь постоять за себя», пошел и лег, довольный тем, что не удалось ему подговорить Душана.

«Старшие на поле... гоняют в футбол... стройные и красивые»,— подумал Душан, чувствуя, как занимает его это, как вдруг — через Наима — проникся он ощущением формы, чтобы различать красивые выразительные лица. Отчего это стало занимать его? Не от разговора ли с Акрамом, когда Душан, взяв зеркальце со столика Наима, украдкой глянул: не выросли ли у него за ночь усы?

— Тебя сюда из-за щеки положили?— спросил Акрам.

— Из-за горла...

— У тебя левая щека вздутая, заметил?— продолжал настойчиво Акрам.

— Это с рождения. Не вздутость, а форма,— ответил Душан, несколько не смутившись, ибо давно переживает из-за странной формы лица, а теперь успокоился.

— Он не той стороной на свет выходил,— усмехнулся Н. м.— Все ловко выныривали, держа голову прямо, а он измерял, как лучше выйти — этим ли боком или не э? Осторожничал...

— Наверное, вылезая, знал, что будут бить в жизни, а, Шан, знал?— жестикулируя и корча какую-то невысказанную дурацкую гримасу, спросил Акрам.

Душан почувствовал, как кто-то подошел к его кровати, подумал: дежурная сиделка, но, когда сняли с его головы одеяло и задышали взволнованно на его вспотевшее лицо, увидел Наима.

— Успел я? Никто не заметил мое отсутствие?— спросил он Душана и, не дождавшись ответа, сел на край его кровати, чтобы поделиться тем, что его так взволновало.

— Бегу я, Шан... В общем, Гуль увидела, что я бегу, чуть не заплакала от досады. Я ей объяснил, что аккуратно вытер ее мазь со спины, прежде чем выйти...

Душан почти не вникал в смысл его слов, он смотрел в лицо Наима, и ему показалось, что Наим такой непосредственный, восторженный и говорит так, будто они ровесники с Душаном. Чтобы не казаться обиженным, Душан спросил:

— Она зармитанская? Здесь живет?

— Конечно! Гонит меня обратно, говорит: после натирания нельзя даже по теплой комнате ходить, а я на улицу выбежал...

Душан вылез из-под одеяла и сел на подушку, чувствуя, что Наим в своем восторге неумен, нестрашен, а больше кажется беспомощным, ждущим какого-то участия, сказал:

— Нет, она не зармитанская. Ты узнай у нее...

— А это зачем?— не понял Наим.— Какая разница?

— У нее лицо интересное, утонченное,— тихо сказал Душан, думая сделать Наиму приятное.— Может, переехала из Бухары?

Наим встал, удивленно глядя на Душана и переспрашивая:

— Утонченное? Да ты бухарский националист, Шан!— и бросился обнимать Душана, повалил его на кровать. Душан же, боящийся таких буйств, как-то вымученно смеялся, слабо отбиваясь, и так, пока шум их и возню не услышала сиделка из соседней палаты.

А перед самым сном, когда Душана разморило от тепла и покоя и он лежал, умиротворенный примирением с Наимом, Наим вдруг снова обратился к нему:

— Душан Темурий, а за что тебя директор заставил копать?

Душан вяло, зевая, рассказал кратко, опустив подробности, и даже такой его рассказ чем-то возбудил Наима.

— Тебе надо было притвориться. Сказать, что этот шар напоминал тебе страусовое яйцо. Ты решил разбить его, чтобы сделать из желтка огромную яичницу на весь класс,— сказал Наим так, будто жалел, что история эта случилась не с ним.

Душан хмыкнул, потом зевнул, уверенный, что Наим опять его разыгрывает.

— Не понимаю... Меня бы послали в другую больницу...

— Что непонятного? Ты как будто только что прои-зошел от обезьяны. Никуда бы тебя не послали, чудакам прощается...

Акраму, который, кажется, только теперь понял весь смысл их разговора, понравился ответ Душана, и он вставил ухмыляясь:

— Конечно, Душан лежал бы сейчас в сумасшедшей больнице...

— Цыц!— крикнул на Акрама Наим.— Слушай, Душан, мне очень нравится, как поступал Насреддин... Принес однажды на мельницу пшеницу и начал перекладывать зерно из чужих мешков к себе. «Что ты делаешь?»— спрашивает его мельник. «А я дурак»,— отвечает Насреддин. «Если ты дурак, почему не сыплешь свою пшеницу в чужие мешки?»—«Я обыкновенный дурак, а если бы я делал, как ты говоришь, я был бы дураком набитым»,— ответил Насреддин...

Наим замолчал, ожидая, должно быть, смеха или другой реакции слушателей, но Душан, которого анекдот не тронул, тоже деликатно молчал, Акрам же, который всегда туго соображал, после паузы спросил:

— И что? Что мельник сделал?

— А что мельник?!— почувствовалась в тоне Найма досада.— Мельник, наверное, рассмеялся и отпустил Насреддина...

— А может, не отпустил?— не успокаивался Акрам.— Может, взял и отправил в сумасшедшую больницу...

— Конечно, если бы мельник был таким, как ты! Ослом набитым!— рассердился Наим, и, чтобы не осталась у него в душе горечь от неблагоприятных слушателей— сечь что-то Наима взволновало в анекдоте, хотел, чтобы и другие знали,— Душан спросил:

— А Насреддин, Наим, какая ему польза от такого притворства? Ведь мельник все равно назад отобрал пшеницу, прежде чем отпустить Насреддина...

— Отобрал, конечно!— сказал Наим, воодушевившись, будто обрадовался догадливости собеседника.— Но ведь пшеница это... как бы тебе сказать? Внешняя польза, для желудка. А какой чудак ищет этой пользы? Когда Насреддин хотел заняться торговлей, он купил в одном месте базара девять яиц на рубль, сел в другом месте и за тот же рубль отдал целый десяток яиц. Когда у него спросили: «Ходжа, почему ты торгуешь себе в убыток?»—Насреддин ответил: «Не все ли равно, прибыль или убыток, пусть друзья видят, что я торгую, и уважают меня еще больше...»

Этот анекдот понравился Душану, он тихо рассмеялся, но не успел ничего сказать, потому что Акрам опять вставил в разговор:

— По-моему, это глупость—торговать себе в убыток!

— Ты что, Акрам, аткендец?— язвительно спросил его Наим.

— Нет, а при чем здесь аткендец?

— Аткендцам очень не нравится этот анекдот. Услышат — вскакивают, машут руками, считая, что Насреддин оскорбил святое дело — торговлю...

Душан послушал их перепалку, боясь, что Наим обидится и не захочет рассказать еще что-нибудь о Насреддине.

— А какая польза нужна Насреддину, Наим?— спросил он дружелюбно и тихо.

— Чудаку нужна внутренняя польза, чтобы он мог говорить правду, за которую его не били бы или били несильно... Пригласили как-то Насреддина на званый обед. Он надел поношенное платье, и никто не обратил на него внимания. Тихоенько побежал ходжа домой, облачился в богатые одежды, сверху накинул еще шубу и вернулся. Насреддина почтительно встретили у дверей дома и посадили на почетное место. Указывая на вкусные блюда, хозяин начал его угощать: «Пожалуйста, ходжа, отведайте!» А Насреддин, подтягивая шубу к блюду, сказал: «Прошу, начини ты, шуба моя!»—«Что ты делаешь, ходжа?»— удивились гости. «Раз почет шубе, пусть шуба и кушает»,— объявил Насреддин.

— Этот анекдот я знаю,— сказал Акрам.

Душан тоже слышал его раньше от мальчишек на

своей улице, но не стал говорить Наиму, только чуть огорчился, что анекдот слышанный и не совсем интересный, слишком назидательный. Но, чтобы как-то подержать разговор, Душан спросил:

— А ты сам, Наим, когда-нибудь притворялся, говорил что-нибудь сумасбродное?

— Пробовал, у меня это плохо получается.

— Почему же? А было ли — сделал что-нибудь недозволенное и, чтобы не наказали, притворился?

— Пробовал, Шан... Но, ей-богу, у тебя это получится. Ты весь какой-то странный. И эта щека левая, и взгляд... Попробуй когда-нибудь, Шан, ей-богу! — Наим непонятно зачем зашагал по палате, жестикулируя, будто от его просьбы к Душану что-то зависело для него важное. — Ты любого можешь провести, даже самого опытного психиатра.

Душан поежился от его слов и от того, что Наим весь загорелся своей идеей. Акрам что-то пожевал, затем фыркнул:

— Не соглашайся, Шан. Он тебя на преступление толкает. Что ты хочешь, чтобы он сделал, а, Наим?

Наима это как будто охладило, он сделался спокойнее и сел на свою кровать.

— Ничего, просто я говорю ему на будущее. Когда что-нибудь совершит предосудительное...

Душан огорчился и даже испугался, не понимая, куда клонит разговор Наим, и очень жалел, что беседа их, начавшись так хорошо, слово за слово сделалась скучной и необязательной.

— Ничего я не совершу, постараюсь жить с оглядкой, — с иронией сказал Душан, чувствуя вдруг, что устал, и эта усталость, интонация его голоса, должно быть, усыпляюще подействовали на Наима и Акрама, ибо ни один из них не ответил Душану — оба, посапывая, неожиданно уснули.

Душан поворочался с боку на бок, ему было неприятно оттого, что так неумно сказал о том, что ничего не совершит предосудительного, ибо только теперь, когда Наим спал, понял, каким был интересным их вечерний разговор. Не о том ли говорил ему когда-то и деревенский дед: «Все, что еще не стало, а желает стать, богато и интересно, а все ставшее и успокоившееся бедно и банально, нет в нем готовности к жертвованию хотя бы каплей крови...»

Ведь говорил же дед, что лучше ради правды по-

жертвовать каплей крови, чем быть самодовольным глупцом, наивно думающим, что всем он обладает. Это истина, и сколько их в жизни? Наверное, не так много, если через несколько лет совсем в другом месте после деда повторил ее Наим? А завтра, наверное, Душан догадается о том, о чем через много лет скажут другие: к мысли одного человека цепляется мысль другого, а к его еще чьи-то, и так связаны все люди одной мыслью по кругу. Что это за мысль? О чем? Будто все люди бьются над ее разгадкой.

В первый свой приезд деревенский дед ходил шумный и удивленный по дворам интерната, заглядывая на кухню, в умывальную, в класс Душана, как-то подобострастно почтительно, словно иронизируя, здоровался с воспитателями, а потом долго смотрел на Душана, словно ничего не понимая не только в этой маленькой интернатской жизни, но и во всем своем прожитом.

— За что тебя сюда?— спросил он Душана так, словно тот скрывал дурное, о чем дед не знал.— Да где ты?!

Тетя даже не зашла в ворота, сидела утомленная, расстроенная на камне, а между ее ног стоял как-то вызывающе прямо, не шевелясь, тот самый мальчик, которого Душан видел еще в люльке в деревне. Душан посмотрел на них: наверное, опять приезжали в городскую контору. Что ищет эта троица? Какую защиту у адвоката?

Была очень тягостная встреча, подолгу молчали, словно не зная, как выразить то, что волновало, а когда находили слова, говорили торопливо, раздраженно-нервно, как дед.

— Бери свой мешок и давай к нам! Сирота при живой матери! И при живом отце!

— Да разве можно? Надо поговорить... Разрешат ли?— возражала тетя, и чувствовалось, что ей не сидится здесь, тревожит что-то постороннее.

— Понимаю я своим крохотным умишком, своей плешью сверкающей, понимаю я своей жиденькой бородкой и клянусь! Сейчас время коллективной жизни! Но разве я, ты, вот этот сверчок,— показал дед на тетиного младенца,— мы не коллектив?! Говорил я, Душан, трудно тебе придется — не верил. Вот сбылось!— Когда дед выразился сполна и они уехали, Душану сделалось легко, и каким бы ни был тяжелым их разговор, он быстро

забылся — наверное, для того, чтобы вспомнилось все теперь. «Что эта за мысль? О чем? А есть ли она?»

Но откуда у деда этот странный вопрос: «За что тебя сюда?»

Так спрашивали мальчики, когда знакомились, будто в интернат их отправляли за провинность. Ведь не мог же дед подслушать их долгие ночные разговоры и странное признание Аппака?

— А тебя за что, Душан?

— Не знаю толком... отец уехал. Может быть, за то, что я был скучен, ел плохо и во мне было мало жизни...

— Мне бы твои заботы! — рассмеялся Аппак и стал рассказывать о том, как зачала его мать на стороне в отместку мужу, который ее не любил, и что у отца вдруг опять родилась любовь и любил он Аппака даже больше законнорожденных своих детей — и так, пока не раскрылся обман; тогда отдали Аппака в интернат.

— Это какой отец тебя любил? — спросил Душан. — Тот, от которого ты родился?

— Я не так выразился. Муж матери — вот как точнее!

Вспомнив это забавное, Душан уснул, а на следующий день узнал от учащих, которые следят за каждым шагом своих воспитателей и все о них знают, что было собрание, где традиционалисты и прогрессисты выступили друг против друга, начав разговор о нем, о Душане. Что будто бы Пай-Хамбаров обвинил Аблясанова в том, что, цепляясь за все отжившее в воспитании и учебе, он еще живет в старом времени, из которого никак не желает ступить в новое. И приводил в пример расколотый шар, спрашивая: «А не пахнет ли идеализация шара из наследства князя идеализацией старины?» На что Аблясанов, возмущенный, ответил, подергивая лацкан кителя, на котором у него была приколата медаль: «Я еще тогда хотел разбить этот дворец! Еще в те годы просил дать по нему залп из пушки, чтобы стереть с лица земли!» И, в свою очередь, намекнул собранию на какие-то недозволенные связи между холостяком Пай-Хамбаровым и замужней тетушкой Бибисарой, в которых надо административно разобраться.

Пай-Хамбарова поддержали: тетушка Бибисара, сидевшая все время стыдливо бледная, физик Кушаков, физвоспитатель Бессараб, ботаник и учитель пения Ким, Берлин, преподаватель немецкого, которого все почему-то звали Гамбург, — словом, все, кто жил в мансарде.

Гаждиванец Болоталиев в последнюю минуту переметнулся к Аблясанову, ибо вспомнил, как директор обещал ему в будущем году землю под дом в Зармитане. Военвоспитатель Сердолюк, все время сидевший с таким выражением, будто хотел сказать: «Что за баталии? Даже развернуться негде! Недостойно», — воздержался, так и не прикнув ни к какой стороне, поэтому собрание кончилось на равных, но с решением вернуться к «делу Душана Темурия» еще раз.

Душан понимал, конечно, что не все так юмористично на собрании воспитателей, у которых свои сложности и печали, но ему так передали мальчики, смеясь и иронизируя добродушно, как иронизируют учащиеся над учителями, которых все же любят. И хотя в их рассказе много смешного, Душану было неприятно узнать, что его имя склоняли, его это смутило. Покоробило мальчика и поведение матери, которая приехала, чтобы проведать сына после болезни. Они почти ни о чем не говорили, кроме как о случившемся, и мать еще раз требовала от Душана, чтобы он повторил, что ему говорил директор в кабинете и каким тоном.

— Не надо, скорее бы забыть, — сказал Душан, но мать призналась, что Пай-Хамбаров настаивает на ее жалобе в районо. Душан не стал спрашивать, что означает это — районо, ему было обидно оттого, что мать невнимательна к нему, все время говорит о Пай-Хамбаре, ищет его по дворам. Что-то нехорошее накапливалось в Душане от обиды, что-то непристойное, что-то неприятное к матери, чего раньше никогда не было, даже если мать причиняла ему боль.

— Странные дела, — кривясь и ухмыляясь, проговорил Душан, — говорят, Пай-Хамбаров связан с тетушкой Бибисарой...

— Как это связан? — по фразе не поняла мать, но по тону Душана будто догадалась...

— Как мужчина и женщина, — четко сказал Душан, уже бесстрастно, и, видя, как мать смутилась, решил исправить впечатление от своих слов. — Может, неправда, глупо...

Мать сердито встала, сделавшись вдруг холодно-горделивой, и сказала:

— Ты здесь портишься, Душан. Какое тебе дело до жизни взрослых?

Дома, куда она привезла Душана на воскресенье, мать снова сделалась приветливой и, кажется, чуточку

грустной, будто изрядно устала в интернате. Что ее держало там в напряжении? Может, история с Душаном и разбитым шаром?

Амон, как всегда, был рад брату, звал его на улицу, но Душану хотелось быть во дворе. И в этот приезд его не покидало ощущение, что двор меняется, становится неуютнее. Тепло из него уходило, дух выветривался, и уже не умиротворял он, не успокаивал. Где его тайны? Где негр-телохранитель с тростью? Смешно все это. И обидно вовсе не оттого, что его здесь никогда не было, нет, он жил, но обманул Душана, предал...

И даже внешне двор был серым, как бы мать ни старалась держать его в чистоте, придавая свежесть стенам, складывая заново треснувшую балку, перестилая крышу, говоря все время о Наби-заде, без которого она не достала бы доски, кирпич, известь. Наби-заде! И заботы у матери, оставшейся без отца, стали мельче, и разговоры. Все по-другому. Разве бабушка, будь она жива, разрешила бы заниматься жалобами в какие-то конторы, району, тратить на это жизнь и время?

Да, прав дед, жизнь уходит из этих тихих, одиноких дворов в другие, неведомые дворы для коллективной жизни. За что? За какое проклятие? Разве в них неуютно человеку, одиноко? Ведь весь род... вся история... Душану надо будет до конца понять эту новую жизнь, чтобы ответить...

А пока, возвращаясь в интернат, он думал о том, как изменилось его ощущение времени, которое раньше текло сплошь, без дней и лет, как будто не было никакого его течения, а было чувство естественной, простой жизни, и что теперь что-то переменялось в самом времени, и делилось оно на эпизоды, долгие истории, которые надо было переживать от начала и до конца...

II

Ему удалось освоиться и с этими тремя дворами, куда устремился дух их родового двора, но, испугавшись пространства и чужой среды, шума, топота и скрежета многолюдной, плотной жизни, стал рассеиваться в пыли и духоте неба, оставив последнего в роду озябшим в одиночестве.

Он вспоминал имена тех, кто был до него: Истамходжа — отец бабушки, Махмуд-ходжа — отец отца, Мир-Темур — отец прапрадеда... Можно ли так ска-

зять: отец прапрапрадеда? Эта невозможность выразить, неточность смутила его как знак далекого, неощутимого родства, которое даже словами не выражалось, не то что внутренне, духовно, как связь. Далее: Мир-Исмаил... Проще, наверное, назвать его — отец Мир-Темура. По-арабски витиевато и изящно звучит: Мир-Исмаил ибн Мир-Артык... Исмаил сын Артыка... Еще он знает по-арабски и тайно гордится этим, как собственным, неприобретенным: аль касосил миналхак... Вернее, он вычитал это: «и я был таким, как ты», но фраза ему понравилась тем, что поддается толкованию, в ней заложена тайная множественность, которую может постичь только мудрый. А он мудрый отрок, некрасивый, нестройный, нелепый в своих частях тела, как все в его возрасте. Но еще и скучный, назидательный. «И я был таким, как ты» — можно толковать как данное в начале жизни, как рок: «И я был таким, как ты, когда родился». Отсюда, как следствие, как судьба, продолжение толкования: «И я был таким, как ты, и ты будешь таким, как я» (в конце жизни), и поскольку в толковании конец изречения связан с его началом, то окончательно его выражение таково: «Какими бы разными ни были наши пути в жизни, мы придем к одному, ибо начали с одного».

Имя Артык * дано было предку из-за странного роста, как шестого пальца на руке. Через каждые два поколения род повторял этот свой необычный знак на ком-нибудь из мужчин, не трогая женщин, должно быть шадя их красивые ручки («Целую, мадам! Целую, мадам!» — шептал Душан, смеясь). Но и у мужчин шестой палец, наверное, из-за особого противостояния планет, с каждым столетием делался все короче, пока род вдруг внутренне совсем не зачах, не давая больше мальчиков. У Мир-Саттара двенадцать дочерей, Санд-Акбара — восемь, Мир-Кадыра — шесть дочерей. Ни одного мальчика, хотя и девочки пошли на убыль, достигнув своего зенита у Мир-Вали, давшего роду шестнадцать девочек. После Мир-Кадыра Мир-Афзал дал четырех девочек, две из них — близнецы, умерли в один и тот же год, заболев нервным расстройством, хотя и жили в разных городах, в общем-то счастливой супружеской жизнью.

Что-то, должно быть, менялось в роду после этих близнецов, где-то бралась сила и хитрость, чтобы обма-

* Артык — лишний (узб.).

нуть луну — планету женского начала, чтобы снова родился мальчик, но уже без нароста, с нормальной рукой, которого называли на радостях Худойдод *. Хотя радоваться вроде было бы нечему, потому что в Худойдоде чувствовалось, как порода устала, измельчала, неспособная более давать сильных мужчин, как раньше, пусть с наростом, шестым пальцем, но зато небезвольных, как Худойдод, который за десять лет пустил по ветру столько из наследства, сколько было заработано другими до него за пятьдесят лет. От него и пошла в роду поговорка: «Луну обманешь — солнце будет мстить».

Он уже знал, что солнце почитается как мужское, отцовское, начало. И понял, как из иронии просветления, мудрости постижения рождаются поговорки.

Сам он тоже... пусть скучноватый, обидчивый, но мудрый. Только странно, каким холодом веет от всех его мыслей, ничто бывшее в роду не взволнует, не смягчит, а ведь страдали, наверное, были трагедии из-за шестого пальца, дурачеств Худойдоды. Но, может, чтобы понять так глубоко проникновенно, нужен холод сосредоточения, а удивление, тепло, сострадание, все, что вносит личное, субъективное, исказит, обманет?

Но пока его заботит простое: кто будет следующий в роду от него — девочка или мальчик? Гуль как-то, подыгрывая Наиму, сказала: какая удача, что мать родила ее девочкой... К чему она это сказала, он не слышал, только помнит, как у нее что-то упало на пол, она присела, воскликнув, не успев прикрыть обнажившиеся колени. На правой ноге у нее родимое пятно коричневого цвета...

«А горлица с помятым крылом на крыше, наверное, воплощение прапрапрадеда Артыка», — подумал Душан, усмехнувшись. А ведь он верил когда-то в такое прямое превращение, жил этим, восторгаясь неведомыми жуткими ходами жизни, разгадка которых сулила радость.

А теперь время освобождало его от веры и заставляло, горько усмехаясь, отказываться от многого в себе, увидев это наивным и глупым. Он становился скептиком, находя ложное не вовне, как многие в его возрасте, не в других, а в себе, смеясь над своей тайной любовью к женщине-богомолу.

Неужели одна часть жизни дана для узнавания, а

* Худойдод — данный милостиво (тадж.).

другая — чтобы отвергнуть это узнанное как ложное? А сам человек, теряя прежнее, постигая другое, не мельчает ли, не озлобляется ли от суеты, как обозлила почему-то Душана правда о замужестве матери?

Не все оказалось таким романтическим, весь этот рассказ о захиревшем роде и новой крови, которую будто бы нес род отца — деревенских строителей — в жилы аристократов-судей, благодаря стараниям деда, якобы умиротворенного под конец жизни женитьбой бедного студента на его болезненной внучке.

Все проще и обыденнее. Время энергичных молодых людей из таких глухих местечек, как Зармитан, которые, желая утвердиться, устремляются в город, перешедший на узбекский язык в конторах и делопроизводстве, и, добившись уверенности на суровой своей, прозаической службе, хотят для разнообразия чего-нибудь художественного, для души — красивой бухарской девушки из распавшегося старинного рода, оставшегося ни с чем, кроме домашнего своего языка — таджикского.

Боясь, как бы вялые, растерянные дочери не остались старыми девами, родители, проклиная свою судьбу, все же выдают их за «хозяев жизни», чтобы хотя бы так приобщиться ко времени. А «хозяева» потом устремляются дальше, к новым возможностям, как устремился отец Душана в Афганистан.

А эти необычные для здешних мест женщины, спрашивая о которых Душан получил от Наима насмешливое прозвище: бухарский националист? Не переселились ли они сюда когда-нибудь из Бухары? Надо поподробнее узнать об этом в один из своих выходов в Зармитан.

А пока Душан стоял в третьем, большом дворе, выгнанный из класса учителем математики Моллаевым, и смотрел, как бегают по полю десятиклассники с винтовками. Вот они бросились на землю по команде военного воспитателя Сердолюка и неуклюже поползли, делая много движений, все серьезные, сосредоточенные, но застревающие в пыльных ямах из-за своих длинных винтовок. Наим был похож на жабу, прыгающую по песку с прутником между лапами, — так он смешно отталкивался носками от земли, прижимая гладкий ствол винтовки к груди и скатываясь по ней вперед...

— Вперед! Вперед! К цели! — слышно было, как подгонял Сердолюк, пританцовывающий на упругих ногах вдоль забора. Время от времени он приставлял к глазам

1
бинокль, чтобы посмотреть, в нужную ли точку направлено острие штыка.

Душан чувствует, что Моллаев не любит его, может, возненавидел с первого дня математики. Математика не дается Душану, и это неприятие точного, но такого бессмысленного: «Если один поезд доехал из точки А до точки Б за семь часов при скорости шестьдесят километров в час, а другой поезд до точки В...» — у него тоже давнее, как болезненное. Его сковывает, не давая проснуться воображению уже само начало задачи с «если». «Если один бегун добежал с точки...» «Если одна птицеферма дает в год миллион яиц...» Эта точность кажется ему мнимой, потому что за этим «если», которое несет в себе предложение, не чувствуется обязательности и правдоподобия, и когда сегодня Моллаев начал, стоя у доски: «Если...» — Душан, невольно, может быть желая разрядить серьезность обстановки, которая грозила ему провалом, нерешением задачи, сказал громко: «А если нет?»

В классе засмеялись, конечно, не самой плоской шутке «Если...», «А если нет?» — но возможности расслабиться, а когда Моллаев спросил: «Кто посмел?», Душан встал и вышел из-за парты, вызываясь глядя на учителя.

В глазах Моллаева появилась злоба, но он сдержал себя и только устало и вяло покачал укоряюще головой:

— И это Душан Темурий... Самый худший по математике... Вместо того чтобы стараться, догонять таких, как Мордехай, Аршак... — И, направившись к двери, театрально широко открыл ее, кивнув в направлении двора. — Иди... Пусть ты меня не уважаешь, лично меня... но ты оскорбил сейчас великих людей, которые придумали математику и обогатили ее. Иди и подумай над этим. А когда поймешь, я тебе снова разрешу быть на математике...

И Душан вышел, почему-то возле самой двери почувствовав неловкость, даже стыд, и вовсе, конечно, не из-за великих людей, которые были для него так же абстрактны, как и их «если», а из-за того, что ему надо как-то выходить из этой истории, переживая ее, маясь под окнами, во дворе, не желая легко и просто, как другие, просить прощения у Моллаева, говоря: «Простите меня, Азербайджан Исаевич...» — «А что ты понял?» — «Вел себя дурно». — «Нет, не только это должен был понять...» — так будет продолжаться бесконечно их объ-

яснение, уязвляя самолюбие Душана и слово за слово превращая их разговор, так хорошо начавшийся, в тягостную бессмыслицу, потому что Душан обязательно запутается из-за своей горделивости и нежелания лгать. «Ничего ты не понял, Душан Темурий, подумай еще перед сном...» — так все кончится, начавшись, как всегда, с ерунды, неосторожного слова, которое вылетает часто само, будто не Душан его говорит, а лукавый, ироничный двойник, вселившийся в него, а Душану потом приходится отвечать за него.

Плохо у него и с грамматикой, суффиксы и префиксы утомляют его холодностью заучивания, многократного повторения без понимания. Зато на уроках истории и литературы он чувствует себя совсем другим, уверенным, способным, и делается от этого не наглым, как другие, отлично знающие историю, не вызывающим, а мягким, робким, желая, чтобы Анварова им любовалась, восторгалась. Ему кажется, что когда Моллаев возмущается в учительской: «Ну, дубина, дубина этот Темурий! Я его вынужден был опять выгнать вон из класса!», Анварова говорит, обращаясь больше к Аблясанову, чтобы смягчить впечатление: «А у меня он такой трогательный... Из любви к предмету прочитал учебник до конца и все запомнил. Вчера я сидела с такой ужасной мигренью — а они это видели — и говорю: «Теперь мне надо рассказать вам о завоевательских походах нашего земляка — Темурленга, которого в Европе знают как Тамерлана...» Вдруг этот Душан поднимает руку: «Вам, наверное, нездоровится, Хадича Назаровна, позвольте, я расскажу?» И знаете, вышел и, волнуясь, рассказал вместо меня. Где неправильно, я его, конечно, попраляла, но в целом, кроме этой легенды об «эмире Тимуре, сыне Искандера Двурогого, губителя неверных, язычников и злодеев...» и еще чего-то, что он вплел в рассказ ни к селу ни к городу, все в общем правильно...» — «Это он нарочно серьезный предмет разбавил чушью несусветной, — не успокаивается Моллаев. — У него в характере все точное, проверенное вдруг портить какой-нибудь скептической репликой...» — «Ну, это возрастное, пройдет», — вынужден вмешаться в спор Пай-Хамбаров, ибо как главный воспитатель Душанова класса чувствует в словах Моллаева упрек себе. Аблясанов, видя, что и ему не обойтись без слова, чтобы хоть как-то повернуть спор учителей в правильную сторону, говорит как-то вяло, будто необязательно, то есть осто-

рожно: «Конечно, кривизну характера надо исправлять... Но я не вижу, Хадича Назаровна, ничего особенно дурного, если, конечно, это не все время, как принцип или закон, которому надо подчиниться... предосудительного, если историческая правда подкрепляется народной легендой... очищенной от мистики, тумана... религиозного дурмана...» Он говорит так путано-осторожно после того знаменитого собрания, когда прогрессисты чуть было не взяли перевес, но вынужден еще как-то спорить, потому что Анварова считается прогрессисткой, сторонницей чистых, без каких-либо примесей суеверий, догадок, научных знаний.

Анварова часто сидит в классе нахохлившись, грузная, медлительная. Кто-то из мальчиков узнал, что болезнь ее называется бруцеллез и передается парнокопытными животными, и от этого Душану интересно и на уроках биологии. «Наверное, Анварова нечаянно съела свиному», — думает Душан.

Десятиклассники уже снова бегали по полю, через равные промежутки времени, по команде Сердолюка, задерживая шаг и делая телом такое резкое движение вперед, будто прокалывали штыком врага. В момент рывка они поддевали носком песок, но песок не успевал подняться, придавленный твердым шагом подошв, — слышно было, как воздух лопается под ногами. Звук этот напоминал хлопанье самодельных песочных снарядов — в интернате нередко стреляли ими, устраивая нападение одного класса на другой.

Сделав рывок, Наим подмаргивал Душану, Душан кивал в ответ подбадривающе, довольный тем, что, выгнанный с таким позором из класса, увидел Наима во дворе. Теперь они часто виделись после того, как лежали вместе в изоляторе.

С Аппаком же Душан не мог сблизиться, хотя и старался. Что-то смущало в нем, может быть, слишком живая его натура. Аппак же, который раньше тянулся к Душану, трогательно оберегая его, как более сильный, теперь раздражался, думая, наверное, что Душан холодный и надменно-недоступный. Душан так и не подружился ни с кем из своих, потому что тянет его к тем, кто старше, к Наиму.

Аппак достал где-то кусок свиного сала и, когда Ямин уснул, намазал ему лицо и губы, положил сало ему на подушку. К утру сало расплылось большим желтым пятном, и Душан, проснувшись, почувствовал в

спальные псиный запах. Странно, почему кажется, что свинина пахнет псиной?

А Ямина потом до самого завтрака рвало в туалете. Аппак ехидно сидел возле него на унитазе и смотрел. У Ямина волосы так гладко блестели, словно он помазал их бриолином.

— Разойдись!— была команда Сердолюка, и десятиклассники, которым не хотелось так быстро составлять винтовки в пирамиду, побежали по полю, целясь друг в друга и крича самые вздорные команды, вроде: «Левую ногу за правое плечо! Шагом паралитика марш!» Чувствовалось, что теперь, когда свободны они от надзора военвоспитателя, в них собирается воинственный дух.

Наим подошел к Душану, и Душан, смеясь, потрогал его винтовку, гладкий приклад, хотел прицелиться, но Наим, играючи, приставил к его животу штык, Душан тогда и увидел на черном, уже ржавом стволе «1895»— дату клеймения оружия. Это его почему-то взволновало, он заговорил удивленно и торопливо:

— Смотри-ка! Восемьдесят лет винтовке!— И не сумел никак больше выразить свои ощущения времени, через которое прошли и войны, и смерть прадеда, еще чьи-то смерти, какая-то жизнь и возня, и как будто все это наслоилось в нем, в его памяти и душе, и теперь пронзило тоской, чем-то смутным, холодом одиночества, словно тянулось оно так, что, дойдя до Душана, время должно было ослабнуть и уйти, не согрев. Душан, чтобы скрыть смущение, сказал Наиму как-то невпопад, совсем не то, что хотел:— Мне казалось, что винтовки новые. Вы так бегали отважно... А они как бутафорские...

Любопытно, почему то, что взволновало догадками и предчувствиями, искренним удивлением, пришедшим из глубины постижения, часто невозможно выразить словами, говоришь не то, путаешься, делаешь косноязычным... зато, когда лжешь, говоришь складно и убедительно?

Может, искреннее еще надо осмыслить, чтобы понять его единственно правильный смысл и выразить, а ложное лежит готовое, на все случаи жизни, на самой поверхности ума, откуда ложное само слетает, едва пошевелишь мозгами?

«Сказка о Золушке и бедном юноше, дающем новую жизнь захиревшему роду!»— еще раз усмехнулся Душан, чувствуя, что только юмор, ирония может как-то

сохранить его привязанность к отцу, которого он не видел уже четыре года, и к матери, приехавшей к нему все реже.

Лишь мелькнуло из далекого воспоминания — это... бабушка... и старик, жующий виноградный ус и сказавший о своем сватовстве к бабушке ироническое: «Бо пири хартози...»* в смысле: «Конечно, какой теперь из меня, простите, жених, ни бодрости, ни прыти...»

Ирод, наверное, был прав, говоря, какие они бывают сладострастные, эти бухарские старики, женятся на молоденьких — и ха-ха! Ха-ха! Ирод как-то выразительно-выпукло изображал их порхание, ухаживание, укладывание. Душана же, который из-за ревности к бухарцам сдерживал смех, вдруг осенило, когда проникся он ощущением горькой иронии Ирода.

— Сам-то ты родился от молодой женщины и старика, признавайся, Ирод! — схватил его Душан сзади и прижал к кровати.

— Это правда! Выродок! Выродок! — закричали вокруг, толкая Душана на Ирода и наваливаясь на них, чтобы заставить Ирода признаться.

— Да, правда! Верно это! — закричал Ирод, чтобы услышали его в шумной суете. — Старик оказался таким прытким, что бедная мама моя вскоре слегла...

— Не кричи! — удивился Мордехай тому, как признался Ирод не тихо, стыдясь, и решил тоже поделиться своим знанием этой жизни. — Я думал, наоборот. Наш старик сосед, женившись на молодой, не выдержал... его хватил кондрашка...

— У старика Ирода была сухотка, — вставил Аршак. — У одного армянина-ювелира была сухотка, он погубил много молодых жен...

— Ну, сколько — много? Сколько? — прыгнул к Аршаку Душан и наступил ему на ногу, чтобы толкнуть на кровать.

— Шан, ты всегда глупо встречаешь, — морщась от боли, отошел в угол спальни Аршак. — Откуда я знаю? Ну, двух женщин погубил. Этого мало?

— Я думал, семь или восемь, а две женщины — это действительно чепуха, к тому же если они не армянки, — сказал Душан, все более возбуждаясь, игриво, иронично и зло, что с ним теперь бывало нередко, когда он видел,

* «Мне разве что осталось теперь участвовать в ослиных бегах» (тадж.).

что мальчики говорят о чем-то, в чем он не особенно сведущ; тогда он вступал в разговор и превращал его своими репликами в спор, в ссору.

— Представь себе, что они были местные, бухарские. И ювелир тот все еще живет в Бухаре. Скажу, можешь проверить: напротив кирпичного здания с железной оградой, где помещалось когда-то английское торговое представительство,— с достоинством ответил Аршак и вышел, держа туловище ровно, в струнку, так, как только могут держать мальчики, чьи знакомые страдают сухоткой.

— Только непонятно, отчего он такой гордый, этот Шак-Ишак, если имеет знакомых, мучающихся сухоткой,— кивнул вслед Аршаку Душан, но никто его не поддержал, потому что всем понравился в споре Аршак, а не он.

Душана покорило и то, как Аршак горделиво вышел из спора, как мальчики промолчали, не поддержав реплику, которая казалась Душану остроумной и разящей, и, только когда он успокоился, сделалось ему горько от глупого и банального, чем жил его ум, от заученного, инфантильного, нервозного, что делало его ядовитым, злым, без чувства внутреннего достоинства и уверенности. И не отсюда ли это желание — сначала унижить собеседника, чтобы потом говорить с ним, униженным, на равных? Говорить с униженным на равных может лишь слабый, не уверенный в себе, ранимый. Значит, все в себе, труднее всего победить себя, ибо все дурное во сто крат больше, чем вовне, в нем самом, хотя и вовне много вздорного... к примеру, это обыгрывание фамилии воспитателя: Берлин-Гамбург...

И теперь часто, когда Душан разочаровывался в своих товарищах или считал книжные знания вздорными лишь потому, что не был способен их усвоить, думал: в чем истина? Где взять силы, чтобы быть уверенным, великодушным, не в зеленом ли камне, к которому приходят на пустырь за речкой зармитанцы и поклоняются? Со слабым зрением сидят возле камня и подолгу смотрят на него, не мигая, уверенные, что зеленый свет, который камень излучает, вылечит трахому или глаукому, слепцы же, суется и толкаясь, ощупывают камень, ставший от прикосновений тысяч рук гладким и блестящим, и, словно намотав на палец его луч, проводят ладонями по глазам, называя свой идол несколько вычурно: «Свет восточной слободы».

И так в его сознании боролись восточное представление, суеверное и мистическое, с научным, практическим, и хотя он в усмешку назвал двух «научных мальчиков» — Абдуллу и Шера — Эстрадиолом и Тестостероном*, видя, как они увлечены изобретательством, холодным и точным пониманием, все равно где-то в глубине души Душан побанвался их, чувствуя, должно быть, что будущая жизнь принадлежит им. Эстрадиол и Тестостерон и успевают по всем предметам, и поощряют их на каких-то математических соревнованиях, называя в числе самых умных и современно мыслящих, сумевших так быстро избавиться от суеверного тумана в голове и мистических вывертов.

Вот ведь, оказывается, и Пай-Хамбаров, кажущийся современным, — выпускник Московского университета, почитатель Гёте, любящий часто бормотать себе под нос во время дежурств игривое, юношески задорное:

Сердце дышит безответно
Вечно молодым огнем,
Клокоча, пылает Этна
В снежном панцире своем.

Тронешь ты, как луч рассвета,
Грозные зубцы стены,
И, как прежде, слышит Гетам
Дуновение весны...

Даже он, похоже, иногда теряется и утомляется от ритма жизни, ведомой огнем, энергией и паром, и ему хочется расслабиться и уйти в себя, должно быть, для того, чтобы потом с новыми силами пойти против отживших идей Аблясанова. Душан с благодарностью глянул на Пай-Хамбарова, когда утром в спальне над ним стал посмеиваться Эстрадиол, удивительно быстро влезший вовнутрь коричневого с черными жестяными пуговицами кителя и брюк — интернатскую униформу, в которую всех одели с этого года.

Видя, как медленно, борясь с утренней депрессией, разглаживает Душан воротник кителя, с тоской глядя на пуговицы, Эстрадиол обозвал его «черепахой».

* Эстрадиол и тестостерон — мужские и женские гормоны.

— А я оделся как конь!— прыгнул Эстрадаиол к Пай-Хамбарову и забегал вокруг воспитателя, ожидая похвалы.

Пай-Хамбаров глянул на Душапа, на его мрачное, застывшее лицо, с которым он встречал утро, заботы, и что-то задело воспитателя, вспомнилось знакомое, и он сказал несколько вычурно:

— Да, конь... Конечно, прекрасно мчаться как ветер, свободно и горделиво. Право, сколько красивого, возвышенного в беге коня! Конь мчится, и само время растерянно останавливается перед его бегом. Да... Но думал ли ты, Шер, сколько терпения... как мужествен, исполнен эпического достоинства ход черепахи. Будто ей мало мгновения, не насыщается она тем, чем насыщается конь, — коротким бегом, галопом, — ей нужно в своей медлительности прочувствовать каждый миг времени — и так до нескончаемости... И знаешь, друг мой, лично я всегда питаю тайную зависть к коню, но все симпатии моего сердца относятся все же к черепахе...

Человек, находящийся на земле, на колючке зармитанского садо-огорода, не рассуждал бы столь возвышенно: это слова все еще живущего в мансарде интерната, куда ведет деревянная, запретная для учащихся лестница, но уже чувствующего по особым приметам и отношениям окружающих приближение своего часа; потому Пай-Хамбаров так снисходителен к слабостям Душана. Мать в последний свой приезд едва вышла из машины в какой-то нелепой европейски-синтетической шубе, с жестами и ужимками уже почти незамужней женщины, сразу сообщила Душапу, что Аблясанова снимают — доблясаеь-таки слабая, одинокая, разрывающаяся на части между старым их родовым двором и модным портным, справедливости, под которой подразумевала «комиссию району». Место директора займет теперь Пай-Хамбаров — доброжелатель, почитатель и прочее... Бабушка, помнится, так до конца жизни и не понявшая назначение контор, где творятся всевозможные полезные дела по топке, снегозадержанию, пескочистке, водоснабжению, углезаготовке, без чего дом их рухнул бы в один прекрасный день, смытый ливнем, заваленный снегом или же опыленный жарой, ворчала: «Чтобы ваш водоканал углем завалило! А вашу тозарную базу водой затопило из хлебопекарни!»

«Вот канал-то смогла отделить от воды. А товар от базы — что проще? — смеялась мать, не подозревая, дол-

жно быть, тогда, что и самой придется разъединять рай с оно, обл с фином, называя все это справедливостью, хотя задуматься — в этом так много суеты, человек сожмется, тоска... Так далекая от житейской суеты бухарская женщина вынуждена явиться на прием в районо к председателю Наби-заде в синтетическом, не по плечу скроенном... Душана пронзила, как боль, как тоска, мысль о Наби-заде, которого он видел всего лишь раз и ничего в общем-то не понял. Зато они, Аблясанов и Айязов — Душан случайно увидел из-за ограды в садо-огородах, — не могли не чувствовать за своей спиной какую-то возню смены власти, но ни взглядом, ни жестом не выдавали своей растерянности. Видя, как Аблясанов с душой работает на своей сытой, ухоженной земле, Душан подумал, что будь на его месте Пай-Хамбаров теряющим место директора, воспитатель не пережил бы драмы, а Аблясанов расслаблен, умиротворен ощущением рода, корня, социального происхождения... Сгонят с интернатских кресел, преспокойно вернется в беседку, которую соорудил здесь же, в садо-огороде, да еще скажет: «Славно поработали, и для них успели, и для себя. А у Пай-Хамбарова не выйдет, кишка тонка для напряжения».

Заметив, с каким интересом наблюдает Душан за Аблясановым, остановился заинтригованный Ямин, бегавший доселе вокруг ограды, собирая опавшие груши.

— Что с тобой? — толкнул Душана в бок Ямин. — Ты как замороженный. Увидит, что мы не в слесарке...

— А ты... кто бы, по-твоему, был хорошим директором? — спросил Душан вяло, как будто безо всякого интереса, как умел он «не подать» вида в самом волнующем для себя разговоре.

— Решено уже... Пай-Хамбаров... Он не такой вялый...

— Что значит: не вялый?

— Живой, значит, не такой притворяющийся, как ты. Прямой, значит...

— А я — кривой? — сел от досады на кучу сухих листьев и стал, морщась, выплевывать твердую кожуру груши Душан.

Ямин хотел было ответить как-то озорно, шутя, но не мог сразу найти нужных слов, ибо смутил его взгляд Душана, который прямо и не мигая смотрел в глаза Ямину. Только, кажется, Ямин и заметил что-то не совсем обычное, диковинное во взгляде Душана — в мину-

ты, когда он хотел высказать к кому-то свое презрение, глаза его становились надменными, незлыми, негорделивыми, он смотрел так, словно видел человека насквозь и увиденное вызывало в нем чувство сострадания.

— Ладно!— махнул рукой Душан, чтобы снять напряжение, затем стал бить тыльной стороной ладони по выпуклому, еще не отгрызенному месту груши.— Хочешь посмотреть на себя?— и показал, как из прогнившей части груши выползает белый, будто наполненный молоком, червяк — без единой черной крапинки или зеленого волоска — удивительное создание.

— Черт с тобой,— хихикнул Ямин.— Называй меня хоть ежом...

— Нет, ежом я тебя не назову. Еж бы понимал, что лучше Аблясанова директора не найти,— прошептал Душан, продолжая наблюдать за тем, как работает старик на своем клочке, и думая, что с его уходом что-то изменится, сдвинется в застывшей жизни интерната, к которой Душан как будто привык и принял ее такой неуютной, несколько сумбурной, грубоватой, но напряженной из-за тяжбы воспитателей за место директора; что-то станет новым, и он должен будет заново понять это, и в этом своем понимании, в пробе жить по-другому сделает много ошибок, за которые придется отвечать если не перед воспитателями, так перед собой.

Пока Душан сидел на листьях, все еще пребывая в меланхолическом настроении, Ямин вытянул прутиком молочного червяка из груши и бросил под язык, явно ожидая, что Душан удивится его выходке, затем стал жевать. А когда прожевал червяка, сказал в оправдание:

— Червяк со всего дерева собрал сок для медка! Мы в Гаждиване столько этих медовых червей поели!..— и рассердился вдруг на Душана, толкнул его в бок ногой, словно, проглотив червяка, с которым Душан его сравнивал, Ямин снова почувствовал свою личность выпрямленной и неповторимой.

— К черту твоё настроение! Пусть его выносит твоя мать! Или твои друзья... которых у тебя нет.— По всему было видно, что зармитанская тишина, запах листьев, на которых они сидели, и беспокойное осеннее солнце, нагревающее его бритую голову, настраивало Ямина на агрессивный лад.— И над всеми ты ироцизируешь! В театре, куда нас повезли, тебе актеры не понравились...

Ты, Душан, умнее нас?! Обыкновенный вонючий огород, в котором, прости меня, ни хрена не растет у директора, ты почему-то называешь «садо-огородом». А халат, который дирекция дарит приезжему писателю, ты называешь «фрако-халатом».

— Нобелевским фрако-халатом,— уточнил Душан и сказал это так спокойно-равнодушно, чтобы сбить с Ямина злость.

— Ладно, пусть так. А мы глупцы. То, что придумано нами, пошло и глупо. Гамбург-Берлин — тебе не нравится, банально!

— Да, глупо! И все вы занимаетесь собачьими хвостами! И бывает у верблюда слюна, ядовитая слюна — вот вы чем озабочены!.. Вам бы ослиц ставить мордами вперед и...— Душан плюнул. Он заговорил все это, как-то дурашливо улыбаясь, шутовским тоном, чувствуя, однако, что не это его трогает, не это злит — к нему снова возвращалось то странное состояние легкой оглушенности, которая словно уводила его, отрешала от всего...

За разговорами они не услышали, как забил медный колокол в третьем дворе интерната, установленный так, чтобы звуки его долетали до самых отдаленных переулков Зармитана, где могли бегать учащиеся, которых приглашали в столовую на ужин или в красный уголок на читку газеты.

Поскольку старинный колокол князя Арифа был установлен взамен слабого электрического звонка лично Аблясановым, то его, естественно, не могло сейчас не смутить поведение двух учащихся, спорящих за забором его огорода и не слышавших звона, и посему директор без всякого злого намерения, а скорее игриво подкрался к ним близко, чтобы крикнуть из-за дерева:

— Для вас что же, отдельный звон?!

Душан и Ямин вскочили, готовые выслушать выговор, но, убегая вниз к пустырю, Душан успел уловить нестрогие нотки в словах директора и посему посчитал бы себя неудовлетворенным, если бы не ответил почти в тон Аблясанову:

— Виноват! Медь, должно быть, немного отсырела ближе к зиме, оттого не звенит, а ухаает...— И со всего маху первым решил вскочить на забор, но прыгнул неудачно и, свалившись назад, попал ногой в лужу и обрызгал Ямина.

Оказалось, что их как раз звали в душевую, и, хотя

Душану всегда было лень купаться, он решил пойти с Ямином, чтобы услужить ему,— было что-то жестокое, нечеловеческое в том, что он злился на безвинного гаждиванца, который согласился побродить с ним по Зармитану.

— Ладно, забудем! Я тебе по-королевски потру спину,— сказал Душан, когда забежали они в спальню, чтобы взять полотенца. А когда шли в душевую, мелькнуло у Душана смутное и необязательное, над чем не надо задумываться: отчего это Ямин всегда моется в длинных, до коленей, черных трусах, все бегают в душевой красные, в пару, показывая, какие у них крепкие мускулы на голом теле, и только Ямин, как отшельник среди них, в темном углу, страдающий...

Душан долго не мог привыкнуть к атмосфере этой душевой, пробовал приучить легкие к плотности и вкусу пара, чтобы не задыхаться. Он был впереди своих сверстников в стремлении оригинальничать, поражать чем-нибудь из ряда вон, нравиться и для этих целей облюбовал себе самую дальнюю нишу: над ней пускала струйку холодной воды треснувшая труба.

Он взбирался в нишу и садился в расслабленной позе, скрестив ноги, чтобы, как он сам выразился, посредством внутреннего самосозерцания понять себя. Шумные плескания, беготня с тазами и мочалками, топот не мешали ему, он желал, углубившись в движение мыслей, малейшие повороты настроения, разделить свое «я» на части, чтобы потом, достигнув их единства, уметь управлять собой. Струйка холодной воды сверху, бьющая резко, с напором и всегда в одну точку головы, чуть выше темечка, где по нынешним научным представлениям находился гипоталамус, должна была, по словам Душана, еще более сосредоточить мысли, не дать им блуждать бесполезно.

Он продолжал думать о причине своего несносного, язвительного отношения на прогулке к Ямину, который в общем-то неплохой парень, если не замечать его главного недостатка — притворства: если ему невыгодно что-то слышать, Ямин делает вид, что туг на ухо.

«Ну а эти двое просто не понимают друг друга. И навряд ли когда-нибудь поймут»,— подумал Душан, отвлекшись на минуту от самоанализа и прислушиваясь к тому, как кричат Аппак и Дамирали. Аппак подбросил под ноги Дамирали кусочек мыла, чтобы тот, пойдя к крау с тазом, поскользнулся и упал, и покатился на

голой спине до самой двери душевой по гладкому, будто облитому яичным белком полу. Противному и липкому, по которому Душан ходит только на носках.

Аппак и Дамирвали пытались вначале объясниться мирно, затем, слово за слово, запутались и почему-то вспомнили места, где родились, — Варзоб и Нарзоб, и Душан подумал о том, как причудливо сознание. Слово собеседника, каким бы оно возбуждающим и оскорбительным ни было, сознание воспринимает не прямо, чтобы тут же понять и ответить на него правильно, а опосредственно, через виток других, ранее произнесенных или еще не сказанных слов, и, прежде чем понять истинный смысл сказанного, сознание выбирает то, что в нем отложено прежним своим опытом, чтобы сверить — а в опыте этом может быть неприязнь к данному человеку, — и потому ответное слово выглядит искаженно, как ответ на непонятое, недосказанное. Каким сознание должно быть чистым от шелухи этих наслоений, чтобы правильно понять другого, а избавлению от шелухи помогает самосозерцание, чем занят сейчас бухарец в душевой.

Сосредоточившись, он вспомнил все, что было с ним в последние дни, — ссоры, чьи-то обидные слова, и сознание сначала отбирало, будто по поверхности, самое простое, затем оно пошло как бы вглубь, по второму своему витку, от рыхлого к более твердому слою, где редко что забывается, легко отбрасывается, — вспомнилась обида на мать, на то, что ушла так быстро в прошлый раз, и суетливое лицо Амона (боже, как оно изменилось, мясистым и неприятным стал его нос), который не выдерживает того, что ему уже шестнадцать лет — достойным должен быть и молчаливым — и хвастает какой-то ерундой: мотороллером, и еще вспомнилось Душану то, что вспоминать было сладостно — будто во сне говорит ему о любви какая-то женщина, он не знает, кто она и зачем, только тоска осталась — это он ощущает даже сейчас во рту — чуть вспухшим языком, и такое чувство, что с ней и освободится от горечи. А горечь, оставшись, опустилась, должно быть, в самые глубины сознания, откуда никогда не исчезает, разве что поднимается как воспоминание, и вот сейчас эта горечь от странного сна и заставила его почувствовать всю подоплеку своего настроения, своих нелепых тирад перед Яминном в Зармитане.

Да, иначе и не может быть, это Аппак, Ирод, Дами-

рали, Аршак, почти все в классе сговорился, чтобы спровоцировать Душана на какую-нибудь подлость, низость, чтобы не слишком выделялся он своими, как выразился Ирод, «гнилыми нравственными устоями». Каждый уже сделал младшеклассникам по «велосипеду», а он обещал, говорил, готовился, а когда наступила ночь, притворился больным. Его стали сторониться, называя надменным, хитроумным, и чувствовалось, как между ним и мальчиками накапливается раздражение, отчуждение, и лишь один Эстрадиол еще снизошел, чтобы побеседовать с Душаном по-приятельски и объяснить, что, если он будет слишком обострять обстановку, его избьют в темном коридоре, закрыв ходы и выходы, или самому Душану поставят между пальцами такой жгут, что он надолго останется калекой. Боясь «велосипеда», Душан плохо спал эти последние ночи, и, может быть, нервная возбужденность не давала ему сегодня как следует сосредоточиться в своей нише.

Душан поднял голову и в пелене серого пара увидел Ямина с тазом воды, ищущего, на какой бы скамье пристроиться, позвал его, показывая на свободное место.

— Значит, потрешь спину?— спросил Ямин, но с опаской огляделся, боясь, как бы никто не услышал о его договоре с Душаном, которому объявлен негласный бойкот.

— Обещал же: по-королевски,— кивнул Душан, а Ямин уже поставил таз, пристроившись между Аршаком и Тестостероном, спросил удивленно:

— А где Эстрадиол? Как же один гормон без другого?— за что получил быстрый и короткий удар по шее — в «стиле каратэ», как называл удар спортивный Тестостерон.

У Ямина потемнело в глазах, он долго и не мигая смотрел в воду и, чтобы показать свое презрение к культуре силы, сказал, подняв руки в молитвенной позе:

— О господи, который сделал воду чистой и не сделал грязной, слава тебе!— Опустил руки и прежде чем коснулся ими воды:— Прими меня в число кающихся и в число очищенных... Будь моим свидетелем в день встречи с тобой, приучи мой язык к пониманию тебя.— Полощет рот и пускает прямо в Тестостерона струю воды. Тестостерон презрительно отодвигается от Ямина, когда видит, с какой тщательностью он чистит поздრი указательным пальцем.— Не запрещай мне райские ветры, прими меня в число тех, кто чувствует запах рай-

ского ветра, его дух и красоту.— Потом моет лицо, продолжая как бы иронизировать над Тестостероном, к явному удовольствию Аршака, который вслушивается в каждое слово ритуального мытья.— О господи, сделай мое лицо белым...

— Пак, это он над тобой издевается!— зовет Аппака Тестостерон и презирает:— «Сделай мое лицо ослиным, голову плешивой...»

Ямин, не обращая на него внимания, моет теперь правую руку до плеча:

— О господи, представь мне книгу мою справа и вечность в раю слева.— Полощет левую руку, продолжая тем же бесстрастным тоном:— Не передавай мне мою книгу со стороны севера и за спиной и не связывай ее с моей шеей...

Ставит таз на пол и становится в него ногами:

— О господи, укрепи мои ноги, когда путь становится скользким, сделай мое стремление...— Ямин умолк на полуслове, словно прикусил язык, снова получив удар «каратэ». Душан не заметил, как окружили его Аппак, Эстрадиол, откуда-то появившийся в душевой, и Тестостерон, как навалились на Ямина, пытаясь скрутить ему руки, и только по крикам Аппака: «Не имеешь ты права так мыться!», понял, что пытаются они стянуть с него трусы.

Ямин отбивался лежа, скорчившись возле ног мальчиков, которые, шутя и смеясь, лили на него воду из своих тазов, но Аппак не отставал от него, дергал его за трусы, все крича:

— Меченый! Поэтому в трусах моется. У него такое пятно сзади, чертова печать!— и катался по полу, сцепившись с Ямином, под крики и хохот мальчиков, и так до тех пор, пока не порвал на нем трусы.

Ямин лежал, прижавшись животом к полу, и вздрагивал, как от нервного тика, мальчики молча стояли над ним, ожидая, что теперь-то, когда он совсем почти голый, признается. «Скоты»,— подумал Душан, понимая, что вся эта дикость затеяна из-за того, что Ямин пошел прогуляться с ним по Зармитану, и все, кто сейчас стоит над голым Ямином, сами голые, дикие, необузданные, так и ждут, чтобы наброситься и на него.

— Ну, признавайся!— пнул Ямина ногой Аппак и под общий хохот добавил:— Иначе мы посадим тебя к твоему дружку Шану в нишу и поглядим разницу...

Ямин не выдержал и разрыдался, ударяя кулаками по полу и еще пнул ногой чей-то таз:

— Да, родимое пятно у меня сзади большое, почему вам показывать должен?!

— Ну вот!— театрално развел руками Аппак:— Наконец истина... Думаю, чего он все время в трусах... Вот где истина.— Кругом прыгали и ударяли в тазы, как будто праздновали победу, а Аппак властным жестом заставил всех замолчать, чтобы спросить:— Как, братцы, смотреть будем? Или на слово поверим Яму?

Эти слова показались многим чересчур невкусными, неумными, потому что все единодушно отказались:

— Зачем? Поверим...

А Ямин, уже сидя, обвязывался полотенцем, с неприязнью поглядывая на Аппака, и, должно быть, то, что он не до конца чувствовал вину, задело Аппака, и он сказал:

— А ты знаешь, Ям, ни один порядочный узбек не выдаст за тебя дочь?

— Что ж, найдется непорядочный, который поймет, что не моя это вина,— успокоившись, сказал Ямин.

— Ям, еще ничто не потеряно,— засмеялся Ирод.— Если до пятнадцати лет никто не сведет твое пятно, ты можешь сам себе... И никакой действительно вины!

Вокруг притихли, слушая Ямина, но слова Ирода снова развеселили всех.

— Ям, хочешь, я тебе сделаю!— закричал Аршак.— У меня рука точная, как бритва!

Душан медленно опустил ноги и вышел из ниши, думая, что теперь, когда история с Ямином закончилась безобидной шуткой Аршака, все оставят в покое гаждиванца, но Аппак, который, видно, еще не сполна наслаждался своей выходкой, сказал зло, чтобы снова унижить Ямина:

— Постой, Ям, а может быть, сам ты не узбек?— И эти слова его так задело Душана, что он вмешался и сказал вместо Ямина как можно ироничнее:

— Ты почти прав, Пак, Ямин — бухарский таджик. Ты ведь сам говорил, что узбеки и таджики так похожи, что ничем их не различишь. Теперь ты понимаешь чем?

Не только эта реплика Душана, но само вмешательство его в спор было столь неожиданным, что Аппак долго молчал, криво усмехаясь и поглядывая на напряженно ожидающих мальчиков вокруг, затем вдруг резко ответил Душану:

— А вы кто сами — бухарцы? Вы — узбеки, говорящие по-таджикски, или таджики, притворяющиеся узбеками?! Вот что я хотел у тебя спросить. И сам ты кто? С узбеками ты узбек, с таджиками таджик, виляешь, хитришь...

Душан понимал, что хотя Аппак и старается, чтобы разговор их кончился дракой, но тон им взят неверный, да и сама тема спора не имела в себе столько страсти, не рождала злость, потому он ответил, пренебрежительно махнув рукой:

— Все это как-то пресно, Пак, все, что ты спрашиваешь...

— Нет, ты ответь, не виляй!

Лицо Душана сделалось еще более ироничным, даже холодно-надменным — таким он умеет быть, когда хочет показать, что зря снизошел до разговора с этим собеседником, слишком скучным и банальным.

— Моя национальность — манс... Ты, конечно, не знаешь, где этот народ живет и откуда его корни, ты, помнится, болел в те дни, когда мы изучали историю маисского народа, — решил подурочить его Душан и этим насладиться.

— Ерунда! Нет такого народа, — понял намерение Душана Аппак и растерялся, зная, что в таких спорах, когда надо кого-нибудь одурочить, способнее Душана никого нет.

— Есть такой народ! — упрямо повторил Душан, но ему не дали продолжить, закричали:

— Он тебя за нос водит, Пак! Маис — это паша джугара! В Африке называют манс, у нас — джугара...

— Вот и вся разница, — сказал Душан, — а злак один. Только я действительно хочу быть мансом, этой удивительной нацией, которая умеет достойно вести себя среди других. С плохими узбеками я узбек, с плохими таджиками таджик, с плохими армянами позвольте мне быть армянином... чтобы иметь язык, понимаешь, Пак, язык... глагол... чтобы умел я говорить: «Ты плохой узбек». А мне ответят: «Но ты ведь тоже армянин». А я скажу: «Раз я с вами, раз я ваш, и меня тоже называют плохим таджиком... это оттого, что и я взял часть плохого... а если вы отдадите, позвольте я возьму все плохое, чтобы у вас не осталось и потому...» Душан неожиданно умолк, чувствуя, что если он не возьмет себя в руки, не стиснет зубы в молчании, его разнесет и

дальше и он скажет многое из того, что его волнует, и все от странного состояния, которое угнетало его уже несколько дней, оглушенности, из которой возможны были короткие выходы вот такими торопливыми, нервными монологами, голосом, в котором уже были слышны нотки рыдания.

Многие словно были удивлены и растеряны этим его монологом, столь обнаженным и откровенным, хотя некоторые и восприняли его речь иронически, подумали, что желает он оправдания, примирения, и только, кажется, одного Ирода пронзило, взволновало, и он сказал восхищенно уходящему торопливо Душану:

— Ну вот, наконец нам открылось истинное лицо бухарца!

А Душан уже не слышал, что было дальше, чем ответили в душевой на реплику Ирода, который — это явно почувствовалось — старался как-то сгладить трение между всеми и Душаном, не так резко отлучать его за непокорность: ведь все же искренен, не мелочится, говорит страстно и умно, а все это достоинства, которых у многих нет. Одевшись в прихожей, Душан прошел через боковую дверь в спальню, чтобы готовиться к завтрашней воскресной встрече с матерью. Может быть, впервые он решил поделиться с ней. Рассказать о том, как сложились тяжело и глупо его отношения с классом, и подумал, что лучше будет, если он обо всем ей напишет, чтобы она спокойно прочтала все дома и в следующий свой приезд ответила бы ему. Написать подробно, психологически и морально обосновать свой отказ делать по наущению целой группы людей, по их приглашению дурное... Это было бы его первым письмом, первой попыткой понять и выразить себя через письмо, прожить посредством слов в том состоянии, в котором не мог он прожить в реальной жизни, в быту. После мытья все соберутся в комнате отдыха, а в спальне он сможет сосредоточенно писать в одиночестве до самого вечера. Душан решил начать, но что-то в глубине сознания противилось его намерению. Что это? Может быть, поделившись с матерью, он выкажет свою слабость? Рассказывать о том, как отреклись от тебя, — слабость, не он ли всегда гордился и оберегал свое одиночество? Никогда не жаловался, когда ему трудно, что его не понимают, отталкивают. Почему теперь он должен раскрыться?

Недавно Душан всю ночь думал о матери. Вспомнил

и об отце — теперь это уже ясно, хотя мать все еще не решается говорить о том, что отец оставил их. Душан стал понимать это с тех пор, как засуежилась мать, боже милостивый, ведь только покинутая, униженная этим женщина, так боящаяся одиночества, может столько тратить души на комиссию, на деятельность по устройству какой-то призрачной жизни вовне, на смену директора в интернате, где воспитывается ее сын.

А сам он разве не мельчает, не мелко ли то, о чем он хочет написать? Не полоса ли в роду, в семье, мельчание характеров, суета — кровь устала, разжижилась? И он решил не писать, чтобы самое первое его письмо не осталось таким беспомощным, подумал, что завтра, когда встретится с матерью, он все почувствует и, если сможет, постарается объяснить ей внятно, и, может быть, опять вернется то чудо, повторится тот миг, когда сын дышал с матерью одним вдохом, еще безымянным младенцем в утробе...

Это вошло у него в привычку — приходиться в первый двор, к навесам, где встречались родители с детьми, позже всех. Мать, переговариваясь с другими женщинами, ждала его и всегда от волнения или от какого-то смущения вставала, увидев медленно приближающегося Душана. И каждый раз, пока он шел к ней, удивлялась перемене его облика, тому, какой он всегда разный — то покажется уже совсем взрослым, серьезным, под стать своим прожитым четырнадцатью годам, то совсем еще слабым и незащищенным ребенком, который нуждается в утешении и участии, но из-за горделивости не высказывает это. Таким она увидела его в последний свой приезд, и по тому, как мать говорила с ним, как смотрела, Душан понял, что кажется он матери беззащитным, и оттого еще больше помрачнел и был неразговорчив.

Сегодня же по контрасту — он снова хотел казаться взрослым и спокойным, ироничным от ощущения внутренней силы, обаятельным и внимательным к матери, любящим ее нежно, чтобы мать, страдающая оттого, что все так нелепо сложилось в семье и в их роду, хоть на миг успокоилась, глядя на сына, решив, что вот бывают же дни, даже целые недели, когда Душану хорошо здесь.

«Утешу ее, и рассказа не получится, — подумал Душан, выходя из столовой после завтрака и направляясь к навесу, где должна была уже ждать его мать. — Зря

все же... письма не получилось. Когда посмеялись, успокоились бы, сидя долго вместе, отдал бы ей письмо, прощаясь...»

И он решил все же рассказать, в несколько игривом, юмористическом тоне человека, принимающего самостоятельные решения, но все равно делящегося такими курьезными и забавными случаями с близкими, чтобы позабавить.

«Конечно, мать скажет: как можно одному и столько дней? Надо поладить. Хочешь, я скажу Пай-Хамбарову, чтобы он как-то деликатно, умно помирил вас? Я буду сопротивляться, скажу, что все сам улажу, но не сделаю, как хотят они. И так, слово за слово мать — убеждая, я же противясь ей... и найдется решение... упрямым назовет», — подумал Душан и замедлил шаг, стал меланхолично-серьезным, глянул под навес, одним взглядом обозревая всю его длину, и странно, на всегдашнем месте матери не увидел. Зато мать Аршака, сидящая обычно с краю скамьи, устроилась поудобнее на месте матери Душана, уверенная, что та уже не придет.

Душан смутился, увидев, как внимательно смотрят на него матери Ирода, Дамирали, Шамиля. Он уже знал, кому из матерей нравится, а у кого вызывает неприязнь, но не сам по себе, как отрок, неправильно сложенный, горбящийся, с холодным лицом, а через их отношение к его матери. За столько лет, по воскресным дням встречаясь под навесом, мать успела со многими женщинами из естественного чувства соперничества — у кого сын умнее, прилежнее, муж с солидным положением — поругаться и помириться, услышать горькие слова упрека, самой упрекнуть, сделавшись сварливой и неприятной. И сейчас, когда Душан остановился в растерянности, ища мать взглядом по двору, он вдруг проникся ощущением всех этих родительских симпатий и антипатий, всей этой мелочности, от которой сделалось ему нехорошо и тоскливо. Только мелькнуло как спасительное, ироническое, что могло снова привести его в чувство: «Да... а ты вот хотел ей рассказать... чтобы она слушала, чувствуя, какой ты сильный...» И эта мысль так возбудила Душана, придавая ему дерзости, легкости, словно отрезвление стало что-то делить в его сознании, разлагать тот комок внутри, который держал его все эти дни ссоры с мальчиками в хорошем, чутком к себе, к своей совести настрое; и, разлагаясь, комок

опьянял, будто состоял из одурманивающего вещества. И в этом состоянии веселого опьянения он стал сбегать с лестницы, делая большие прыжки и чувствуя, как бегут за ним следом, щелкая кошельками, Аршак, Ирод и другие мальчики из его класса, считая рубли и копейки, которые выпросили они у родителей.

А впереди торопились к себе в спальную комнату третьеклассники, помахивая полными мешочками домашней еды, чтобы скорее начать обмен: за два яйца — обрезок колбасы, за котлету — фаршированный баклажан, как обменивались когда-то и в классе Душана, когда брали у родителей не деньгами, а натурой.

Душан, уже поддавшись своему игривому настроению, весь в ощущении бега, преследования, оглянулся назад, чтобы махнуть рукой своим и дать им понять, чтобы бежали за ним, никуда не сворачивая, по направлению к спальне младших учащихся. Знак, данный Душаном, был понят, бежавшие следом напряглись, прибавляя шаг и настороженно оглядываясь, но у самого порога спальни какой-то третьеклассник упал споткнувшись, и, пока он поднимался, прижимая к груди мешочек, мальчики, ведомые Душаном, смешались с младшими, затолкали их внутрь спальни.

В суматохе и тесноте спальни Душан все же успел заметить, как мелькнули лица Аппака, Шамиля, Дамир-рали, удивленно глянул на него и Мордехай, растерянно Ямин, словом, откуда-то вдруг все собрались, будто знали, ждали, что именно сегодня Душан решится на такой дерзкий шаг.

— Все к стенке! Живо, лицом к стенке! — прокричал Душан и, не владея более собой, толкнул какого-то третьеклассника. Но почему-то не к стенке, а на кровать, успев вырвать у него из рук мешочек. Впрочем, крик Душана прозвучал несколько нелепо, ибо команда была излишней. Едва увидев, как старшеклассники загоняют их в спальню и становятся на карауле снаружи, плотно закрыв за ними дверь, третьеклассники все поняли — ведь не первый раз отбирали у них старшие мешочки после свидания с родителями. Потому еще до крика Душана все сами побежали к стенке и стали в ряд спинами к нападающим, дрожа от страха и боясь звать на помощь воспитателя.

Душан подбежал к стене, но не успел вырвать у первого мальчика мешочек, тот сам выронил.

— Хватайте, ребята! — Душан швырнул мешочек Ап-

паку, потом второй — Ямину, третий — Ироду, и все получилось так быстро и ловко, что Душан сам удивился и, пятясь назад к двери, пожалел, что не может продолжить это постыдное дело где-нибудь дальше, в соседней спальне четвертого класса, потому что нравилось ему, как смотрят на него с уважением и завистью мальчики, как выбегают вместе с ним из спальни, пряча мешочки, и как бегут потом, подпрыгивая, довольные, Аппак, Аршак... Довольные тем, что Душан оказался таким, как они, не раз нападавшие на младших...

В комнате отдыха, куда старшекласники забежали, они первые несколько минут молча и сосредоточенно рылись каждый в своем мешочке, осматривая содержимое, затем Аппак поднял голову и сказал Душану, так ожидавшему услышать что-нибудь лестное от мальчиков:

— Ну, молодец, Шан! Все было так неожиданно! И очень ловко!

— Да, хорошо сработано. Все шито-крыто, будто Шан ночами репетировал свое нападение, — откликнулся со своего угла Ирод, и все как-то вымученно засмеялись.

Затем опять молча и сосредоточенно порылись в мешочках, прежде чем Аппак спросил:

— Дверь на крючке?

— Сам закрывал, — ответил дежурный Мордехай и вынул из мешочка яйцо и поставил перед собой на стол, почему-то робко глянув на Душана.

Остальные тоже стали класть на стол из своих мешочков — яйцо, яйцо, яйцо, почти у всех яйца. Смеясь и толкая друг друга в бок, крутили мальчики на столе яйца, затем кто-то швырнул в кого-то яйцо, и оно полетело, и с таким звуком, будто хлопнули ладонями, ударилось, вареное, о стену и покатилося под стол. И во всей этой возне с яйцами было что-то гнетущее, раздражающее Душана, и, чтобы хоть как-то разрядить обстановку, он встал и помахал тюбиком с пастой, которая оказалась в его мешочке среди съедобного:

— Тише, братцы! Послушайте, что написано: «Паста... состав синтомицина... наносится на ожог... три раза в день...» так... вот самое интересное: «имеет нежный, современный запах»... Ха-ха! Поистине, братцы, современность пахнет очень нежно, — как-то вымученно смеясь и чувствуя свою вину, проговорил Душан. — Да, удивительно нежно пахнет сегодняшний день и вся эта

жизнь...— Но ему не дали выразить то, что в нем накопилось,— сожаление содеянным, брезгливость ко всему, что делалось теперь вокруг...

— Да, если иметь в виду запах этих яиц,— сказал Аппак, вставая.— Ладно, надо кончать мужские поделки, скоро сюда воспитатель заглянет. Пусть кто-нибудь яйца эти уберет со стола и выбросит в мусорку. А заодно и все эти мешочки с остальной едой...

— Пусть Шан сам и убирает,— сказал Шамиль, идя следом за Аппаком к двери.

Душана это так покорило, так унизило, словно сказали вслух о его вине.

— Нет, Ам, сделай милость,— язвительно проговорил Душан, подбегая к Шамилю и сжимая крепко его локоть,— убери. Я нагадил, а ты убери!

Шамиль возмущенно сделал шаг назад и такое движение всем телом, словно хотел замахнуться на Душана.

— Во-первых, я не Ам, а Шам... А во-вторых... ты зря думаешь, что показал свое геройство. Десяток вареных яиц — это не откуп, правда, Пак? Пусть он на чем-нибудь настоящем себя покажет... тогда состоится торжественное примирение.

Аппак слушал их, держа дверь за ручку, сначала спокойно, но где-то с середины фразы Шамиля усмехнулся, так же явно не одобряя Душана. Но, чтобы опять не обострять с Душаном, сказал:

— Мне кажется, ты не прав, Шам. Важно начало... А Шан сегодня сделал первый шаг. Хороший шаг. Хотя, конечно, личность познается на крупных делах. Вот если он все же решится на «велосипед», тогда будет другой разговор.

— А потом эта паста!— воскликнул Шамиль, почему-то явно не желая успокаиваться.— Ты прости меня, Шан, но у тебя все как-то нелепо и нескладно. А нелепость всегда ведет к жестокости. Надо же так, чтобы именно тебе попался мешочек с пастой, в которой, может быть, бедный малыш-третьеклассник так нуждается. Ему сделали «велосипед», а ожог по сей день не проходит, мать принесла ему пасту с нежным современным запахом...

Только эти трое стояли возле двери, не решаясь выйти, Аппак, Шамиль и Душан, остальные же продолжали сидеть за столом и крутить яйца, не вмешиваясь в спор. И этот заговор молчания сидящих больше возмутил

Душана, чем слова Шамиля,— их желание быть сторонними наблюдателями до тех пор, пока кто-нибудь не победит в споре.

— Отойди от двери, Пак,— сказал вдруг Душан холодным и твердым тоном,— и опусти снова задвижку,— и весь внутренне сжался, чтобы собраться с духом и высказаться достаточно убедительно, не боясь побоев, оскорблений.— Встаньте оба сюда!— И показал Аппаку и Шамилю угол комнаты, и таким властным, выразительным жестом, что оба они, несколько сконфуженные, отошли от двери и стали. Сам Душан отошел в противоположный угол и, со всего маху ударив кулаком по стене, сказал:

— И ты меня судишь теперь, Ам! Все вы... Приглашали сделать подлость. И ты теперь, Пак, сам развращенный, судишь меня, чтобы показать, какой ты великодушный. Добрый, милосердный... А когда я поступил сегодня по-скотски, чтобы у меня была ослиная физиономия, вы меня попрекаете, что не принес я сена в ваш хлев, а яиц... и ты их, Ам, даже не можешь заткнуть себе в...— Не помня себя от гнева, Душан бросился на Шамиля, но тот ловко вывернулся, подставив ему ногу, и, как только Душан упал, ударившись плечом об угол, Шамиль выскочил за дверь. За ним Аппак, а потом один за другим мимо лежащего Душана пробежали и другие мальчишки, бросая на него кто робкие, а кто и злорадные взгляды.

А Душан упал и не мог встать, почувствовав, как ушла сразу злость, ненависть и стало тоскливо от ощущения своей беспомощности, неумения сказать, убедить...

Последним уходил Мордехай, но возле порога он остановился, чтобы наклониться над Душаном. Душан смотрел на его желтые ботинки, а Мордехай, не решаясь заговорить, стоял над ним и вздыхал.

«Странно,— подумал Душан,— они у него из свиной кожи... пористые и сальные...»

— Шан, ты должен встать и умыться,— сказал Мордехай почему-то строго, словно Душан уже отказывался сделать, что он просит.— И забыть все... Пошлости...— И протянул руку Душану, помогая ему сесть.

Душан прямо и открыто глянул в глаза приятелю взглядом, который всегда нравился Мордехаю своей честностью.

— А как забудешь?..— хрипло, еле шевеля вздутыми

губами, спросил Душан. — Это все ничего, и они ничего, она уже во мне сидит, эта ненависть. Так всегда: если кому-то не удастся подавить твою волю, то он все делает, чтобы ты хотя бы возненавидел себя. Как я сейчас... Я так ненавижу себя, Мордехай, за все... Ты поймешь, ты умница и тонкий...

Потом весь этот свободный от занятий и обязанностей день Душан бродил в одиночестве по всем трем дворам интерната, как бы заново ощущая его холодные коридоры, в которых, как обычно, толпились и курили старшекласники, постоял на краю спортивного поля, чувствуя, как с каждым часом все труднее становится дышать — тяжесть в груди и в висках. Будто все, с чем он сжился, весь этот быт, ритм и распорядок жизни вновь отдалялись от него, отчуждаясь, и даже подумалось Душану, что, если бы он сейчас вышел за ворота и навсегда ушел из интерната, никто бы его отсутствия не заметил, будто Душана никогда здесь и не было, ни левая, ни правая стена не дрогнула бы, не закрипела бы без хозяина его кровать. Что это? И почему чувства и мысль занесло в такую крайность? И только когда увидел, как выносят из кабинета Аблясанова стулья, понял Душан, что в какой-то миг что-то исказилось в сознании, сдвинулось, и он стал думать не о своих ощущениях, а об Аблясанове, который завтра навсегда оставлял интернат. С ним так бывало: переживая дурной поступок или обиду, нанесенную кем-то, он неожиданно и не понимая еще этого начинал переживать за кого-то, глядя на все окружающее его глазами, и было это как бы продолжением его собственных ощущений, как случилось сейчас, когда то, что должен был ощущать, прощаясь с интернатом, Аблясанов, сделалось его, Душана, переживанием. А что ему Аблясанов? Разве он любил его или чувствовал привязанность? Ничего подобного, но интересно, как наложились чувства старика на его чувства, и, может быть, чувствовать другого, ставить себя на его место — это и есть понимание ближнего, и это понимание и должно рождать сострадание или желание унижить, сделать зло?

Думая об этом, Душан вышел за ворота интерната и пошел мимо рядов маленького и серого зармитанского базара к пустырю на левый берег речки и остановился, боясь и не желая этого многолюдия, толпы зармитанцев, взрослых и детей, каждый из которых в своих траншеях откапывал кирпичи, складывая их ровными ряда-

ми на солнце. От тонких, звенящих кирпичей, которые некогда были стеной и фундаментом дома, шел пар. Прошлой весной кто-то случайно, забивая в землю железный кол и желая привязать на пустыре лошадь, услышал звон и, убрав слой глины, обнаружил сложенную из целых кирпичей стену дома дореволюционной постройки, ушедшего под землю, и вот с тех пор выкапывание на пустыре кирпичей, полусгнивших балок, бревен, некогда покрывавших потолки домов, и даже целых дверей, расписанных орнаментом, стало одним из доходных промыслов зармитанцев. С утра приходили сюда с кувшинами и едой, разделив пустырь на неприкосновенные участки, а вечером более ловкие зармитанцы скупали у своих земляков дневную добычу и увозили на машинах или арбах-двуколках, чтобы перепродать тем, кто строил на другом конце Зармитана дома. Интернатские какое-то время наблюдали за этой суетой на пустыре, сидя на заборах и посмеиваясь, кричали:

— Выше кирку, зармитанцы! Еще выше!— Затем, когда юмор иссяк, стали один за другим, сначала тайком, прыгать вниз, чтобы в час, свободный от занятий, подсобить зармитанцам и заработать на одеколон, сигареты, ремни. Из своих Душан заметил сейчас на пустыре Ирода и Шамиля. Были заняты они тем, что насыпали в корзину глину из траншей, чтобы унести на край пустыря. Увидев Душана, они, довольные, замахали ему, приглашая к себе, но Душан повернулся и ушел обратно, чувствуя ко всему безразличие и апатию.

Не дожидаясь ужина, он лег и лежал так один, не шевелясь, ощущая, как что-то сковывает тело, наливается оно кровью или желчью, становясь тяжелым и чужим, словно отделяется от духа, от сознания, а сознание само, набираясь новой плоти, смотрит на тело в кровати, завернутое с головой в одеяло, как на нечто презренное, ненужное, немощное.

«Да, я так себе противен»,— подумалось Душану.

Возвращаясь поздно вечером в спальню и видя, что Душан давно лег, мальчики не шумели, не топали, как обычно, а один за другим, стараясь не беспокоить Душана, тихо ложились в свои постели. Душан прислушался, даже вполголоса анекдотов не рассказывали, только Аршак раз подал голос, спросив:

— Пака нет? Ну ясно, ходит, обнюхивает...— И в ответ несколько мальчишек хихикнули.

Потом слышались в спальне вкрадчивые шаги дежурной тетушки Бибисары, как прошла она между рядами, должно быть удивляясь необычной для этого часа тишине, и Душан ждал, заметит она пустующую кровать Аппака или нет, а когда ушла, бесшумно закрыв боковую дверь, подумал, что Аппак, наверное, так ловко сложил одеяло на своей кровати, в такой форме, будто лежит сейчас под ним.

Странно — вот опять Душан почему-то больше переживал об Аппаке, чем о себе, даже не подумал, что тетушка Бибисара знает о его дневном поступке — не могли не пожаловаться третьеклассники. Но не это Душана беспокоило, не было в нем страха разоблачения, и все, должно быть, от презрения к себе.

Почему-то сделалось Душану особенно тяжело, когда все вокруг уснуло — труднее стало дышать, а в горле собирался комок, который мешал пересилить тоску, разрыдаться, закричать. И чтобы не дать волю беспокойству, успокоить нервную дрожь в себе, Душан сел и стал торопливо одеваться, желая выйти во двор, залитый светом полной луны.

Во дворе он стал возле пожарного ящика с песком и задышал свободнее, до глубины груди, поглядывая на окна соседней спальни, не замечая, как крадется к нему Аппак, закрыв ладонью сигарету, чтобы огонек в темноте не был замечен в комнатах напротив, где не спали еще дежурные воспитатели.

Почувствовав запах сигареты, Душан оглянулся и невольно вздрогнул, увидев Аппака; торопливо шепнул, удивившись:

— Ты откуда, Пак? Ведь не ночевал еще... — И недовольный тем, что сказал так откровенно по-приятельски, нахмурился Душан, сделав обиженную физиономию.

Аппак улыбнулся в темноте, сдерживая смех, — ему не терпелось рассказать о своих ночных приключениях, чтобы показаться умелым, хитроумным, ловким и вызвать зависть.

— Да бегал тут в одно место, — шепнул Аппак. — А ты как заметил, что меня нет? Я ведь так ловко сделал из одеяла манекен. Никому ни слова, Шан, понял? Никто, кроме тебя, не знает. Только ты почувствовал, потому что живешь одной интуицией, тонко. — Видно было, что Аппак хочет окончательно помириться с ним,

но Душан все еще стоял насупленный, будто равнодушный ко всему, что говорит Аппак.

Аппак бросил сигарету в пожарный ящик, засыпал песком и вдруг обнял Душана и стал дружески хлопать его по бокам, толкать, чтобы вывести его из состояния оцепенения:

— Ну ладно, не дуйся на меня... виноват. Но и ты, я столько лет тянусь к тебе, чтобы быть тебе лучшим другом... но тепла не чувствую. Вот и предал тебя от злости... Конечно, от злости, я ведь тоже имею гордость, а ты холоден ко мне... Но я... у меня совести мало, трачу ее, и в тебе, Шан, я вижу свою совесть. Вот и сейчас я бегал и тратил совесть, а потом услышал, как ты укоряешь...

Душан не знал, как понимать его, искренен он или нет, потому что так шептать о совести может лишь человек, который не до конца понимает, что творится в нем самом и в том, кого он называет своей совестью, и потому ответ Душана получился скучным и назидательным, как необязательный:

— Не знаю, Пак... Но не лучше ли сохранить свою совесть, чем утешаться, видя ее в другом? Называть другого своей совестью? Так я думаю, Пак... А потом: какая я тебе совесть, когда во мне самом много дурного? Злого... И хочу от злого в себе избавиться, а это самое трудное...

— Нет, Шан!— Аппак опять обнял его, но не грубо теперь, а как бы успокаивая и утешая.— В тебе много замечательного... И ты лучше меня, в этом я могу поклясться... А я часто совесть теряю. Вот и сегодня...— Аппак говорил об этом так, словно не жалел, а хвастал этими потерями, будто совесть была ему в тягость, и Душана это покорило, потому что чувствовал он фальшь:

— Ты так говоришь об этом... странно,— сказал Душан.— Выходит, ты из тех, кто с легкостью продает свою совесть, а в совести другого не хочет видеть ни малейшего изъяна, не прощает...— но не договорил, потому что не нравился ему поворот их разговора— так он мог сказать много обидного, на что Аппак бы не ответил, потому что не был так искренен, страстен, как Душан.— Ладно, лучше расскажи, где ты бегал...— И улыбнулся подбадривающе, понимая...

— А ты никому не скажешь?— заговорщически шепнул Аппак.

— Никому, естественно... потому что все, кроме меня, знают. Слышал, как сказали: ходит сейчас, обнюхивает...

Аппак сначала сконфузился, растерялся, но потом рассмеялся тихо:

— Подглядели, значит, прошпионили. Это Аршак, шею сверну...— и наклонился прямо к уху Душана и, горячо дыша, зашептал:— Есть одна в Зармитане. Десятиклассник Идрис первым ее нашел. Ну, понимаешь, такая: разведенная, с дочкой живет и матерью-старухой... Мне интересно, кто сегодня на очереди, вот и бегал вокруг ее дома, вынюхивал.— Аппак хихикнул и стал зажигать вторую сигарету.

— А кто? Ты видел?— разволновался Душан, тяжело задышал, хотя и старался казаться бесстрастным...

— Ты знаешь, честно — не разобрал. То ли это был зармитанский аптекарь — Садриев... то ли — веришь?— наш Болоталиев. Клянусь... Темень была с той стороны переулка, где ее дверь. Открыл — только узкая полоска света изнутри — и так быстро шмыгнул в дом, что не успел я разглядеть...

Душан нарочно зевнул, давая понять, что его все это мало волнует, и сказал:

— Пошли спать.

Но, лежа в постели в ожидании сна, он долго думал над тем, что рассказал ему Аппак, не мог успокоиться, воображая, какая она из себя, эта женщина. Так и не представив ее облика, не уверенный, был ли это Болоталиев, все же на какой-то миг испытал к воспитателю чувство ревности — усмехнулся: вспомнил его несколько нелепую походку и как он торопливо, держа обеими руками два куска хлеба, ест, поочередно откусывая от каждого куска.

Потом Душан успокоился, подумав о том, что оставили его в покое, не вызвали к директору за дебош в третьем классе, и все из-за того, что уже неделю все жили как бы в межвластии — Аблясанов, уходя, уже не хотел наказывать, а Пай-Хамбаров еще не хотел, ибо не имел на то особых полномочий.

Недавно мальчики заспорили, когда Аппак неожиданно перед сном спросил, как бы тревожно:

— Интересно, лучше нам будет при искусственнике или хуже?— называя Пай-Хамбарова кличкой, которая давно, еще с четвертого класса, прикрепилась среди них к воспитателю; однажды в порыве откровенности, так

любящий о себе рассказывать, он поведал классу, что так и не отведал в младенчестве материнского молока — какой-то запах его смутил, и отказался он брать грудь, и тогда пришлось его вскармливать искусственным питанием, за что и был прозван Аппаком «искусственник». И было это первой чертой иронии, за которой остались целых три года любви, обожания, подражания Пай-Хамбарову, когда был он у них не только единственным учителем по всем дисциплинам и воспитателем, но и защитником вместо отца, добрым, внимательным, всегда приходящим на помощь, деликатно не выделяющим любимчиком, о недостатках которого боязно было не только говорить, но и замечать их — казалось, что их просто нет у Пай-Хамбарова. И вот эта кличка «искусственник» как бы выражала теперь новое отношение к воспитателю, ибо отныне он учил не один, появились и другие учителя, по новым наукам, и обожать их всех было просто невозможно, и не потому, что у всех у них были большие недостатки — просто мальчики выросли и стали замечать смешные привычки своих учителей, их ошибки, противоречивые суждения — и все это заглушало ту слепую веру и любовь к своему первому воспитателю — Пай-Хамбарову, сделав отношение к нему ироничным и более трезвым.

Зато едва Пай-Хамбаров занял место директора, с первого дня «новых веяний» жизнь в интернате стала меняться, перестраиваясь: убыстрился ритм, словно завели отставшие часы и расписали быт по минутам, чтобы почувствовали все порядок и дисциплину и полноту дня от подъема по команде дежурного до самого времени сна. Организовали кружки филателистов и кролиководов, слесарные, кулинарные мастерские, общества любителей русских и узбекских народных инструментов, так что день, не способный более вмещать все это в свою полноту, распирало, и какой-нибудь час, в полдень или ближе к закату, обязательно лопался. И тогда все чувствовали, что больше не могут выдержать нагрузки, ворчали, но продолжали делать все, как задумал прогрессист. И только старые воспитатели во главе с Айязовым, не выдержав темпа, гордо ушли из интерната, зато бедная тетушка Бибисара, сменившая цветастое платье зармитанского покроя на удобную для бега европейскую юбку, терпела из-за своих не умерших еще до конца нежных чувств к Пай-Хамбарову.

Пока Душан из врожденной осторожности ко всему

новому не-торопясь обдумывал, в какой кружок ему лучше войти, чтобы были там приятные мальчики, как Мордехай, все успели организовать по способностям и вкусам, и пришлось Душану играть в обществе любителей узбекских народных инструментов — благо оркестр там был еще не полностью собран. И хотя сразу выяснилось, что у Душана нет музыкального слуха и чувства ритма, все равно его оставили среди любителей — ведь не быть же ему в самом деле не охваченным культурным воспитанием.

А вечером почти ежедневно устраивали для старшеклассников «два часа танцев», где, кроме танобар, лязги, рохат, оёкуйин*, разучивали евро-восточные гибриды — бухарский вальс, андижанскую польку, пскентский фокстрот, туркестанское танго, по поводу которых неуклюжий, после двух па спотыкающийся Душан язвительно сказал такому же нескладному Мордехаю:

— Вот к чему привело увлечение нашего «искусственника» «Западно-восточным диваном» Гёте...

И так танцевали, говоря колкости и резвясь, до того дня, пока им вдруг не объявили, что завтра, в воскресенье, придут к ним приглашенные в гости старшеклассницы ташлакского женского интерната. И было это вначале встречено растерянностью, а потом, после осмысления, таким ликованием, что даже Душан поддался суетливому, нервозному ожиданию, приготовлению к встрече. Стали доставать из тайников одеколон, Аппак безопасной бритвой весь день подправлял себе едва чернеющий пушок над верхней губой, пришивали пуговицы к пиджакам, гладили брюки и воротники, с непривычки чихая от пара из-под раскаленных утюгов.

И долго потом не могли уснуть, болтая о завтрашнем, — кому какая девушка будет напарницей в танце. Ироду пророчили хромоножку, низкорослому Аршаку — двухметровую баскетболистку, а Мордехаю — партнершу с гусиной лапой, будто бы подойдет к нему красивая внешне ташлакская воспитанница и, пригласив на «дамский вальс», протянет руку, у Мордехая в глазах потемнеет от радости, и, не видя ничего перед собой, он обнимет ее одной рукой за талию, а другой сожмет нежно ладонь партнерши — и похолодеет от ужаса, крикнет на весь зал, почувствовав, что сжимает он сросшиеся гуси-

* Узбекские национальные танцы.

ной кожей указательный и большой палец прекрасной танцовщицы.

— Боже, какая чушь!— воскликнул Мордехай, икая от холодного ужаса.

— Это женщины-демоны,— сказал Дамирали,— слышал я, что, если они привяжутся, не оторвешь, усохнешь и кончишь свой век молодым и чахоточным.— И, видя, что никто особенно не заинтригован его словами — даже Мордехай не откликнулся,— Дамирали, чтобы поддержать разговор в таких же развязных тонах, вспомнил о Ямине, подтрунивание над которым всегда было беспронгрышным:— Интересно, а к Яму подойдет какая-нибудь или еще издали почувствует?..

Ямин, должно быть, сам хотел ответить; возмущенный, он даже привстал на постели, но хихиканье мальчиков сегодня почему-то острее и быстрее задело Душана, который сбросил с себя одеяло, сел и, презрительно глядя на Дамирали, сказал:

— Все это пошло, Дам... жестоко и пошло. И ведь знаешь, что Ям страдает... не мудро.— И поймал на себе благодарный и такой страдальческий взгляд Ямина.

— «Не мудро»,— передразнил его Дамирали, но больше ничего не мог ответить, только агрессивно насулился, готовый полезть в драку. Видя все это, Аппак поспешил вмешаться, чтобы сгладить, потушить страсти.

— Хватит вам, братцы! В такой вечер... — И пропел, дурашливо жестикулируя:—«Ведь завтра весь мир будет наш... Его красоты, его красотки. Ха! Ха!» Ты сказал, Шан, о мудрости, и я вспомнил, что ты хотел как-то рассказать о своей классификации всех этих умников-разумников... Братцы, это должно быть интересно...

Пока он говорил, Душан успокоился и, любящий рассказывать назидательное, удивлять и даже пошопкивать, с готовностью откликнулся:

— Это не совсем мое, Пак, часть говорила мне бабушка, интеллигентная, религиозно образованная, словом, «из бывших». А часть я сам домыслил и построил некую систему... Значит, так: просто умный — это понимающий все, но почти всегда действующий в разладе с совестью и внутренними своими сокровенными святыми потребностями. Все, что у умного в сознании,— приобретенное, но недостаточно духовно окрашенное, оттого и мысли его часто невозвышенны. Он много действует и все направляет вовне, на мир,— и много злого. Разумный — проникающий и видящий все глубже и точ-

нее умного и сам состоящий из противоположных положительных и отрицательных частей, оттого более сдержанный, осторожный и деликатный с миром, он уже не все посылает вовне, а думает о своей душе... Зато мудрый — это видящий все в гармонии, с собой в ладу, доводы ума проверяет сердцем и умеет так управлять собой, чтобы не причинять другим хлопот. Мудрость — это не философия, а житейское поведение.— Некоторое время в спальне молча обдумывали сказанное Душаном, осмыслили, не желая, должно быть, спорить, и лишь Тестостерон решил возразить, и не из-за того, что придумал нечто более убедительное, отвергающее услышанное, а из всегдашнего чувства противоречия самому Душану.

— Ну, ты не прав, Шан, ум — это не обязательно зло и подлость!— Но никто Тестостерона не поддержал — наверное, в ожидании завтрашней встречи с ташлакскими воспитанницами не хотели спорить на отвлеченные темы, а желали лишь говорить и думать о девушках.

Душан и сам ждал, что вот в спальне наступит тишина, все уснут, и под храп и стоны грезивших о чистых и невинных ташлакских девушках он сможет думать свое навязчивое, неотступное теперь — о женщине, которую показал ему случайно в зармитанском переулке Аппак, тогда еще не зная о приезде девушек; они договорились, что завтра же, спрятавшись у ее дома, проследят приход очередного поклонника, теперь же отложили свою авантюру на другой раз.

Это действительно было как навязчивое, ибо вот уже три ночи подряд он вспоминал в мельчайших подробностях, как зашли они с Аппаком в магазин, чтобы купить бриолин для волос, и Аппак, слегка растерянный, сжал руку Душану, показывая взглядом на женщину, болтающую с продавщицей. Душан не понял, и Аппак, толкая его подалее от прилавка, шепнул:

— Это та... помнишь? Я рассказывал, как ночью у ее дома...— И только он это прошептал, как что-то дрогнуло внутри Душана, взволновало, будто могла женщина сейчас посмотреть на него и догадаться о том, что он думал о ней, еще не зная, какая она из себя. Аппак снова пошел к прилавку за бриолином. Душан же остался стоять недалеко от двери, осматривая женщину в красном платье, так подчеркивающим расплывшую ее фигуру, ведя торопливым, будто воровским

взглядом по ее голым рукам — от плеча до самых пальцев, и проникаясь ощущением каких-то тайн, запретов, чего-то недозволенного и постыдного, что возбуждало воображение, делая его смелым и дерзким. Видя, что продавщица собирается прощаться с собеседницей, Душан незаметно для Аппака вышел из магазина и побежал за угол дома, уверенный, что женщина пройдет мимо него по этой дороге. И, чувствуя, как стынут у него руки от волнения, собирая жар крови на щеках, слышал по стуку туфель, как приближается она, чтобы свернуть к нему за угол.

«Нет, не увидела меня... не заподозрит», — мелькнуло у Душана как спасительное, когда шел он медленно с видом празднующегося, слыша ее все ближе, все тревожнее. И в тот миг, когда она поравнялась с ним и шагнула чуть вперед, услышал Душан запах, никогда еще не прочувствованный им, новый и острый, запах ее волос и голых рук. И возникло у Душана вдруг странное, нестерпимое желание коснуться пальцами ее плеча и, успокоившись, убежать. Не в силах сладить со своим желанием, он поднял руку, и только теперь, когда все чувства в нем обострились, увидел на ее плече, на белой коже коричневое родимое пятно. Короткий взгляд, но зато как сжался от него Душан, отрезвленный, пристыженный, невольно остановился, не желая дальше идти, будто одного этого взгляда на родимое пятно на плече женщины было достаточно, чтобы проникся он глубоким ощущением неведомой жизни, будто почувствовал он, каким было ее детство и вся жизнь до сегодняшнего дня, которую Душан измерил своей тоской и горечью. И повеяло от всего ее облика человеческим, тем, что надо преодолеть, осмеять, обхамить, теряя себя нравственно, чтобы отдаться чувственным желаниям с интрижками, подсматриванием, обманом, греховным.

Женщина, должно быть, что-то почувствовала, услышав, как Душан стал. Оглянулась и, встретившись с его спокойным, пронизывающим долгим взглядом, дрогнула, ибо никто еще на нее так не смотрел, и, улыбнувшись Душану усмиряюще, торопливо пошла. А он, довольный тем, что она заметила его и запомнила, побежал назад к Аппаку, который нервничал, ходил возле магазина и искал Душана. На вопрос, где он был, Душан ответил, вспомнив строчку из песенки, теперь уже, к сожалению, одну строчку:

— Лист на дереве зеленый. Богомол того же цвета...

А потом молчал всю дорогу, помрачнел, как бывало с ним нередко, когда возбуждение спадало и оставалось лишь одно голое обдумывание случившегося. И так через заботы дня, пока ночью, перед сном вдруг опять не вспомнил о женщине, сначала остро, как прорвавшийся сквозь лень и дремоту толчок-вспоминание, лихорадочное, «моторное возбуждение», как назвал его сам Душан, когда мысль делается навязчивой, думается об одном и том же пережитом. Он отбрасывал лишнее и собирал все волнующее, начиная вспоминать не с того момента, когда Аппак показал на нее в магазине — в этом он не чувствовал острых ощущений — а с того, как остался один разглядывать ее фигуру, голые до плеч руки и ноги, покрытые внизу до щиколоток белой пылью...

«Что? Закричала бы от неожиданности... если бы тронул ее плечо? — думал Душан. — Рука сама поднялась, как бесчувственная, неуправляемая... Должно быть, оттого, что все чувство собралось в желание... А где оно, желание? В сердце? Но ведь я ее не люблю... Нет, теперь люблю, но ведь не ее всю, а лишь голые руки. И если смоем она пыль с ног, буду ли любить ее ноги... потому что они будут белые... без загара... И запах полюбил. Что это так пахло в ее волосах.. И вся она? Не было в ней запаха уюта, дома... Наверное, от доступности все это выветрилось, и впитала она смесь духов и кремов... «Нежный, современный запах...» Вот от нее и полюбил я этот запах... И вдруг это родимое пятно, как запретное, отрезвляющее», — вспоминал Душан, и от назойливого повторения одни и те же ощущения теряли свое чувственное, желанное, чтобы остались лишь холодные, точные мысли уже по поводу пережитого, прочувствованного. И он так ждал этого воскресного вечера, чтобы, спрятавшись у ее дома, увидеть женщину другой, новой, чтобы наполниться живыми ощущениями от ее речи и жестов, всего ее облика, а потом долго переживать снова, не делясь ни с кем, скрывая от всех свою ревность к ее поклонникам. Впрочем, ревности-то особой не было, потому что их он еще не видел, а гадать — был ли это аптекарь или Болоталнев, бесполезное занятие. Главное, что и ему досталось от нее — это приятное беспокойство «моторного возбуждения», значит, будь там хоть сто мужчин-поклонников, обая-

ния ее хватит, чтобы наполнить все его ощущения до остроты, до нетерпения.

Придя в воскресное утро, мать не могла не заметить эту странную возбужденность всегда меланхоличного, бесстрастного на вид сына и суетливый подъем во всем интернате.

— Что это у вас сегодня все как-то... говорливые?— удивленно поглядывая на Аршака, сидящего со своей матерью, на Ирода, спросила мать.

Душан слегка смутился, как будто уличила она его в недозволенном, и сказал так, будто все это его не касается:

— Ташлакские девушки... их ждут сегодня в гости... Ну, знаешь... обмен визитами. Потом мы как-нибудь к ним поедем... Говорят, Пай-Хамбарову уже тесно в нашем интернате, и он тихо-тихо хочет прибрать к рукам и ташлакский, чтобы объединить и женский и мужской...

— Вот как?! Да, он очень энергичный, грамотный, современный директор,— сказала мать тоже совсем не то, что думала.— Ах, Душан, Душан, как время бежит! Вот к тебе уже девушки приезжают.— Голос ее неожиданно дрогнул, и мать, чтобы скрыть от окружающих слезы, прижалась лицом к плечу сына. Душан взял ее руку и по тому, как дрожало тело матери, понял, что пересиливала она в себе что-то, а он, подойдя к ней, как всегда невнимательный, ничего не заметил.— И знаешь...— Мать быстро подняла голову и глянула на сына уже сухими глазами, оставив пятнами слезы на его плече.— И Амон скоро женится... хорошая... да ты, наверное, ее помнишь — Мавлюда... за полянкой жила..

И хотя Душан не вспомнил, все это его по-доброму взволновало, развеселило — известие о скорой женитьбе брата.

— Как-то не верится, что Амон... молодец... А жить где будут?

— В той части города... Отец Мавлюды в пятиэтажном доме квартиру им достает,— сказала мать, и Душан, только теперь подумавший: «Мать другая, не такая, как всегда», понял: то, что иногда раздражало его в матери — чрезмерная суетливость и нарочитая, нервная веселость, с которой она появлялась в интернате,— исчезло.

Что-то усталое и трагическое появилось в ее взгляде, словно то, что мешало ей ощущать себя такой, какой

она была всегда, спокойной, в чем-то рассудительной и доброй, ушло наконец, освободив искренние чувства. И, увидев ее такой открытой и естественной, Душан вдруг понял все и нечаянно сказал вслух: «Это отец...», чувствуя всю тоску, боль еще не высказанного матерью. Матери послышалось вместо «это отец» что-то другое, хотя и близкое, но не утверждение и понимание, а вопрос и недоумение, словно он спросил: «А отец?»

— Ты спросил, а отец? — сказала мать, открыто и не мигая глядя в глаза Душану; не боясь показаться неправой, неудачливой сыну, который, — была мать уверена в этом давно — все почувствовал, пережил и, может, успокоился. — Отец живет с другой женщиной... женой... я четыре года скрывала, Душан, прости. Но ты ведь такой чуткий, все давно знал... В Ташкент с ней уехал, — добавила мать это бытовое сообщение, так, как заранее predetermined еще много лет назад.

Душану почему-то сделалось стыдно, и он опустил голову, словно увидел нечто недостойное, недозволенное, запретное в матери и в отце, и за этим запретным скрывалось столько горя, и неправды, и выгоды, злобы, и это так расстроило ясный ход многих его сокровенных мыслей, что он не мог ничего сказать, кроме этих слов,

— Я это знал, мама... и плакал... — И вдруг действительно заплакал оттого, что сказал это слово, солгал, и, взяв мать под руку и провожая ее в толпе женщин к воротам, говорил искренне и горячо: — Если Амон женится... Ты ведь знаешь, мама, я ведь всегда говорил... и теперь скажу, что я не женюсь... наш старый дом... буду оберегать тебя...

— Хороший сын... — только и смогла сказать мать, растроганная его неожиданным и таким искренним порывом, что удивило и обрадовало ее, уже давно не видевшую сына по-родному, по-родственному сочувствующим, думала, что холодный, равнодушный, а здесь вдруг он весь раскрылся, да так страстно, что мать поверить боялась. — А я плохая, дурная... не согрела тебя, душу твою остудила... оторвала от дома...

Душан провожал ее к машине, а потом долго стоял, одинокий, на обочине дороги, думая о том, как будет теперь мать? Куда поехала? Успокоенная, избавленная от суеты, хорошая — как примет ее такой судьба? Милосердно ли? Увлеченный своим гаданием, Душан не заметил, как подъехал к воротам интерната автобус с ташлакскими девушками и как все — гости и хозяйка —

выстроились в третьем дворе для знакомства. Душан хотел было спрятаться в коридоре, но Пай-Хамбаров заметил его и позвал в строй, прервав свою приветственную речь, и, пока Душан шел мимо мальчиков и девочек, все почему-то смотрели на него и улыбались, будто совершил он что-то недозволенное.

Душан стал между Аппаком и Мордехаем и от волнения не мог разобрать сразу, о чем так возвышенно, желая всем понравиться, говорит Пай-Хамбаров. Только подумалось почему-то Душану именно это: «если собрали здесь их девятый класс и класс десятый, то и девушек должно быть два класса.

«...Да... ведь и две воспитательницы»,— увидел Душан за строем девушек их воспитательниц, чем-то похожих на добрую тетюшку Бибисару. И, уловив это сходство, Душан совсем успокоился и, осмелев, стал осматривать каждую девушку в отдельности, их простоватые лица без тени кокетства и смущения — должно быть, внушили им воспитательницы еще в Ташлаке, что едут они на очередное торжество, как ездили коллективно в Бухару в театр, в музей, посему обязаны показать себя хорошо воспитанными, скромными, чтобы не подумали испорченные зармитанские мальчики плохое о нравах ташлакского интерната. И, наверное, внушение это было таким долгим и убедительным, что казалось — лица девушек, обращенные к строю нетерпеливо топаящих, толкающих друг друга, хихикающих мальчиков, замкнулись навсегда в равнодушии и холодной неприступности.

— ...Итак, добро пожаловать!— закончил наконец свою речь Пай-Хамбаров; и по объявленному ранее распорядку, который опоздавший Душан не слышал, мальчики бросились знакомиться с гостями, каждый церемонно пожимал руку той девушке, которая приглянулась ему, когда жадно всматривался из строя в лица ташлакских воспитанниц. Познакомившись, кавалер должен был быть с напарницей великодушным и внимательным до торжественных проводов гостей в конце дня.

Душан, не сразу разобравшись в этой веселой суете, отстал и, когда пошел, сконфуженный, к смешавшимся в толпу мальчикам и девушкам, от холодной неприступности которых и следа не осталось, то как-то инстинктивно, внутренне чувствуя схожесть в натуре, потянулся к тихой, болезненной на вид девушке, стоящей чуть

в стороне и заметно нервничающей из-за того, что никто еще не выбрал ее в напарницы. Душан чуть поклонился и, протягивая руку, забыл сделать игриво-простодушное лицо, чтобы понравиться.

— Вазира,— протяжно произнесла она в ответ, оживившись, будто не произнесенное доселе имя сковывало ее, угнетало. С любопытством глянула на Душана, удивившись загадочности его облика — с угрюмого лица глядели на нее доверчивые глаза.

Больше они ничего не успели сказать друг другу, потому что все уже направлялись в библиотеку, откуда и начинался показ гостям интерната.

В тесном коридоре, по которому мальчики, предупредительно взяв под локоть, вели своих девушек, Душана оттеснили от Вазиры, и он оказался рядом с Ямином, идущим без напарницы; по тоскливому выражению его лица понял Душан, как переживает он сейчас, боясь издевательства сокашников. Вместо того чтобы взбодрить его чем-то, Душан вдруг шепнул ему сокровенное, то, что обычно от всех скрывал, переживая в одиночестве:

— Знаешь, Ямин... отец ушел от нас...— возможно внутренне чувствуя, что его трагедия чем-то утешит Ямина с его мелкими заботами, приблизит к нему, но тут же пожалел, что сказал, и не потому, что ответ Ямина не удовлетворил его: «Ты ведь знал это давно... как-то делился», а от чувства горечи, обиды и оттого, что уже раз делился с Ямином и вот теперь не выдержал, признался, показавшись капризным, назойливым.

Ямин хотел еще что-то сказать Душану, может, дружеское, утешительное, поняв свою оплошность, но при выходе из коридора ждала Душана Вазира, близоруко шурясь в толпу, Душан шагнул к ней, оставив смутившегося Ямина, который, должно быть, подумал в коридоре, что и Душан без напарницы.

Душан молча повел Вазиру за всеми по второму двору к библиотеке, чувствуя, как удивленно и капризно смотрит на него напарница, не понимая его странного состояния оцепенения и растерянности.

— Шан, смелее!— толкнул его в бок и прошел мимо веселый Аппак с напарницей, и был он весь такой открытый, разговорчивый, обаятельный, когда вместе со своей девушкой оглянулся, чтобы еще и подбадривающе подмигнуть Душану, а заодно и взглянуть на его на-

парницу. Душан успел увидеть его девушку, которая, будто заразившись настроением Аппака, так же весело смеясь, смотрела на все вокруг, и такая, вся воплощение беззаботности, красоты, здоровья, понравилась Душану.

— Вазира!— помахала она подруге, коротко глянув и на Душана, и, пританцовывая в такт шагу Аппака, заторопилась вперед.

— Это Карима,— тяготясь молчанием Душана, не сказала, а выдохнула Вазира и глянула на него с укором, ожидая ответа.

— Да?— вдруг как бы очнулся, вымученно улыбнулся, подобрел Душан, как умел он взвинчивать себя до такого ложного состояния.— А этот парень с ней...

Вазира ответила не сразу, словно и ей надо было через что-то пройти в себе, сковывающее:

— Его я не знаю... Но думаю, они чем-то близки с Каримой. А Карима — душа, не человек. Ни тени хитрости, сплошное веселье — вальс — вальс — вальс! Она у нас раньше всех с мальчиками стала встречаться, еще с седьмого класса. Сплошное счастье и трагедии! А вы... вы какой-то странный, вы весь как комок внутри себя, не расколешь,— сказала Вазира, мило улыбаясь и говоря это как бы в шутку, чтобы Душан не обиделся.

— Откуда вы... так сразу?— хотел было рассердиться, но сдержал себя и сделался угрюмым Душан, а потом, когда шел сзади Вазиры мимо полок с книгами, все не знал, удивляться ее пронизательности или обидеться тому, что с первых минут знакомства посмела сказать такое, вроде бы упрекнуть, обвинить.

Пары, обходя с обеих сторон длинные полки, смотрели не на книги, а друг на друга, будто выставляя напоказ достоинства своих напарниц и напарников. Вот Ирод прошел с серьезно-торжественным лицом, и торжественность эта была смешна, ибо подчеркивала размеры его длинноватого носа. Зато была с ним не хромоножка, которую пророчили Ироду в ночь перед встречей, а круглолицая толстушка: видно подлаживаясь к своему напарнику, она также выглядела торжественно.

«Да, Ирод, в любви все торжественно и серьезно»,— хотел шепнуть ему Душан, но, увидев Аршака, чуть не рассмеялся — низкорослому родственнику бухарского ювелира и впрямь досталась высокая, несколько не-

складная, выше кавалера на полторы головы де-вушка.

«Я ведь люблю высоких и стройных, как ливанский кедр, красавиц, ара, ара!»— вспомнил, как иронизировал над собой Аршак, и развеселился Душан, забыв о том, что хотел обидеться на Вазиру, и стал искать взглядом по всему залу Аппака с его напарницей— Каримой, незаметно для Вазиры отошел к выходу, чтобы лучше видеть.

Аппак и Карима, никого уже не замечавшие в многолюдной библиотеке, увлеченные друг другом, листали какую-то толстую книгу, смеясь и иронизируя, и держались они так мило и естественно, что Душан, подавив минутную ревность в себе, полюбовался Каримой, чувствуя, какой он по сравнению с тем же Аппаком, у которого тысяча недостатков, слабый, скучный и несовершенный.

И все же, не боясь показаться Кариме смешным, сам удивляясь своей смелости, он подошел к ним, решил проверить, что же так влечет его в ней— цвет кожи, запах волос, стройное тело или красота ног? (Ведь чувственный опыт его, пришедший от женщины, к дому которой они хотели пойти с Аппаком, был еще таким малым и несовершенным), но не успел Душан разглядеть Кариму сзади, Аппак заметил его, великодушно обнял, привлекая к себе в компанию, сказал Кариме:

— Это Душан, который прекрасно сказал по поводу писателя Нурова: «Пора ему дать нобелевский фразо-халат!» Так, Шан?

— Не совсем так, Пак... но все же,— пробормотал Душан, не ожидавший, что Аппак станет цитировать его, взял том Нурова, чтобы тоже пролистать.

— А как вы сказали?— Из-за плеча Аппака Карима игриво глянула на Душана и, встретившись с ним взглядом, почему-то чуть съежилась. Душан улыбнулся, желая произвести лучшее впечатление, хотел сказать что-нибудь шутливое, но лишь кивнул, подумав: «Как быстро они уже на «ты», а она ежится от моего взгляда», и, выйдя следом за ними из библиотеки, снова увидел одинокую Вазиру.

— Простите,— шутливым тоном сказал Душан,— мы все время теряемся. Обещаю...— И действительно, весь остаток дня, в классных комнатах, мастерских, спортивном зале, старался держаться рядом с Вазирой,

которая, видно по всему, нервничала и переживала, поняв, что не понравилась Душану. В столовой на торжественном обеде он сел с ней рядом и все удивлялся тому, почему Вазира его ничем не волнует, не трогает, сколько бы Душан ни старался заставить себя, чувствуя, что он сам заинтересовал девушку, может, и понравился. Ведь она во всем кажется лучше Каримы: своим спокойствием, наблюдательностью: с первого взгляда разглядела комок внутри Душана, и лицо ее тоньше, обаятельнее, но все ищет он за длинным столом эту веселую, грубоватую, но прекрасно сложенную спортивную Кариму, чтобы снова глянуть на нее, хотя понимает, что никогда не сможет так свободно вести себя с ней, как теперь с Вазирой, никогда не обратит на себя ее внимание — вздрогнет Карима от его пронзительного, тяжелого взгляда и отвернется, оставаясь хотя и разгаданной, но недоступной.

«А эту я тоже сразу разгадал,— подумал Душан, подвигая к Вазире салатницу.— Этот тип барышень кажется по натуре немного замкнутым и скучноватым. Они лишь поначалу идут к любви долго, мучаясь, сомневаясь, присматриваясь, с приливами и отливами чувств... ненавидя избранника и ссорясь с ним... и так до тех пор, пока их вдруг не охватывает страсть, сильная, слепая. И такая делается рабой мужчины, готова на жертвы, подавляя в себе боль и обиды, которые временами выходят наружу ревностью, мнительностью, истерикой. Таких надо бояться и бежать от них подальше»,— решил Душан под конец своего психологического анализа, от самоуверенности восхищаясь собой за якобы хорошее понимание женской души.

— Вы убедились в моей правоте?— неожиданно обратилась к нему Вазира.

— В чем... простите?— в тон ей игриво спросил Душан.

— В Кариме... Правда, беззаботное существо, без всяких претензий к жизни?

— Беззаботное?— переспросил Душан, заметив некую нелогичность в словах соседки.— Но ведь беззаботное и без всяких претензий к жизни— это разные понятия, даже противоположные. Беззаботный— это, простите меня, дурак. А человек без претензий к жизни— мудрец, своей неприхотливостью желающий облегчить себе жизнь.

Вазира слушала его, глядя ему прямо в глаза и ра-

дуясь такой неожиданной словоохотливости и интересным суждениям.

— Может быть, я неточно выразилась?..

— Нет, вы очень точно выразились,— сказал Душан.— Потому что тот, кого иногда называют дураком, есть на самом деле мудрец, ибо только мудрец может не бояться прикинуться дураком...

Такой поворот разговора Вазиру чем-то не удовлетворил, и посему она поспешила внести ясность:

— То, что вы говорите, очень интересно. Но я близкая подруга Каримы. И смею вам сказать, что мудрости там нет ни грамма.

— Может быть, я ведь ее не знаю. А потом, к чему женщине мудрость?— вдруг снова заскучав и потеряв интерес к беседе с Вазирой, сказал Душан. И устался на подругу Мордехая — маленькую черную девушку с острым подбородком, желая увидеть, какие у нее руки, в форме ли «гусиной лапы», как пророчили ему мальчики, называя ее женщиной-демоном. И, увидев, как ловко орудует она ножом и вилкой, кивнул Мордехая, показывая свою пятерню: мол, все в порядке с твоей подругой.

Мордехай понял и, вместо того чтобы ответно похвалить напарницу Душана, соорудил глубокомысленную физиономию, поглаживая ладонями себе щеки и надувая их, что должно было, видимо, означать: какая у тебя неприступно-холодная подруга, профессорша — решаете вечные вопросы?..

«И вправду, она меня не трогает... говорит всякое скучное»,— подумал Душан, глянув недовольно на Вазирку, которая, видно по всему, переживала, наклонив красное от обиды лицо над тарелкой, все — и напротив, справа, слева — непринужденно болтают, обращаясь друг к другу на «ты», смеются, подтрунивая над своими сокашниками и воспитателями, хвастают, бахвалятся, говорят о самом простом, обыденном, что им интересно,— джинсовых брюках, хоккее, породах собак, марках автомашин, одичавших без хозяев ослах... Интересно понаблюдать, как ведут себя мальчики, словно надевают на себя маски, чтобы показаться совсем другими, понравиться. Всегда тихий и печальный Мордехай вдруг сделался суетливым, словоохотливым со своей подругой — Сарой, а ехидный, злобный Дамирали, наоборот, выглядел сусальным, елейным, будто готов был расплакаться от умиления, глядя на Саиду — девушку

с надменным лицом и узкими, как у мышки, бегающими глазками. Только Аппак был самим собой — веселый и чуточку дерзковатый, и весь его облик, в котором не было никогда тени сомнения, первой меланхолии, был устремлен к Кариме для забавы, смеха, легкости.

Впрочем, и Душан такой, как есть, и оттого все у него с Вазирой идет туго, скучно, пытаются после длинных пауз заговорить о чем-нибудь увлекательном, но, не умея держаться просто и естественно, как Аппак и Карима, раздражаются еще больше.

«Что за мука? — подумал Душан. — Она тихая и славная, не обидит. Значит, я неумелый...» И посмотрел на дальний стол в углу, где обедали воспитатели — гости и хозяйка — во главе с остроумным и обаятельным Пай-Хамбаровым, — увидев, как ташлакские воспитательницы влюбленно смотрят на него и, перебивая друг друга, соревнуясь, задают ему вопросы, забыв о рядом сидящей, мрачной, ревнующей тетушке Бибисаре.

«Вот кто неотразим, наш «искусственник», — подумал Душан. — Надо было у него учиться... не всякой чуши химической, механической, которая все равно осталась непонятной, а искусству общения с людьми. А я с третьего класса стал к Пай-Хамбарову равнодушен...» И провел Душан взглядом по всей длине стола, за которым сидели мальчики с напарницами, слыша, что общий, единый разговор, для всех поначалу обязательный, как этикет вежливости, потух, иссяк, дойдя до банальностей, и каждый теперь занят только своим разговором, более интимным, нежелательным для слуха соседней пары, и от всех этих десятков разговоров стоит сплошной гул, как стена, мимо которой незаметно пробирались к выходу Аппак и Карима.

Для Душана этот дерзкий шаг приятеля, уводящего из столовой свою подругу, показался столь неожиданным, что он даже привстал, чтобы посмотреть, видит ли это Пай-Хамбаров. Директор продолжал увлеченно что-то рассказывать, не замечая, а может быть, притворяясь, что не замечает, а когда Душан снова сел, поерзав на стуле от нетерпения, Аппака и Каримы уже не было в зале.

«Куда ее повел? — растерянно подумал Душан. — Неужели так быстро... целовать?» И неожиданно обратился к Вазире, как бы прося ее пожалеть, быть к нему снисходительной:

— Простите... я так с вами... у меня неприятность... и так совпало, что именно сегодня...

— А что, если не секрет?— не откликнулась, а будто зашебетала от удовольствия Вазира.— Может, я смогу помочь?..

И эта ее взволнованность, возбужденность снова чем-то подавила Душана, ее готовность банально утешать, лезть в его личное показала Душану посягательством — все сокровенное должен носить в себе, не раскрывая, не делясь ни с кем. И может, оттого, чтобы не давать волю своему раздражению, не казаться снова нестерпимо скучным, Душан неожиданно встал, шепнув Вазире:

— Идемте к выходу... не бойтесь,— и вышел из-за стола, пропустив вперед Вазиру, которая была в восторге от его затей, и пошел, держась ровно и горделиво, не прячась, как Аппак, довольный своей выходкой и как бы любящая собой со стороны.

Жаль — ни одна из увлеченных пар не заметила, как идет к выходу Душан, ведя подругу, и только у самой двери, когда он уже ступил одной ногой за порог, послышался голос Пай-Хамбарова:

— Душан, это как понять?

Душан спокойно глянул в сторону далекого стола воспитателей и ответил:

— Спасибо за обед!— и почувствовал, как теряет сразу независимость и горделивую осанку, становясь обычным нарушителем дисциплины от стольких укоряющих взглядов воспитателей, и своих и чужих, ташлакских.— Мы здесь... прогуляемся во дворе...— И шагнул за дверь, слыша, как укоряют ташлакские воспитательницы отставшую, растерявшуюся Вазиру:

— А ты, Вазира?! Шадыева, вернись! Стыд какой!

«Вернись, и я тебя прощу»,— запели в один голос девушки вслед смущенной, раскрасневшейся Вазире, которая вышла во двор, смеясь, довольная тем, что осилила в себе робость, протянула Душану руку, как бы отдавая во власть его защиты, дружбы, великодушия.

Душан взял ее за руку и побежал вместе с ней к коридору, подальше от окон столовой, слышал, как Вазира говорит одобрительно:

— Вы, оказывается, решительный... Не то что я, трусиха...

Он лишь снисходительно улыбнулся в ответ, чувствуя, как, отрезвленный видом пустого двора, не донесет даже до первого коридора весь свой пыл, дерзость, все

обаяние игры — нахмурится; делается опять недостудно-холодным, потому что казалось Душану: Вазира со своим подбадриванием, одобрением давит на него, посягает, не зная, что Душан боится всего чрезмерного — высоких похвал, восторгов, радостного веселья, не знам, как с этим сладить, чтобы потом не разочароваться.

— А мы ведь не первые ушли так... — проговорил Душан, желая узнать: видела ли Вазира, как вышли впереди них Аппак с Каримой.

— Да, ваш приятель и моя приятельница первые догадались покинуть это скучное сборище жующих без конца...

— Ну вот — видите?! — в тон ей, иронично и нервно, не в силах более притворяться, воскликнул Душан. — Есть люди решительнее нас. — И, крепко сжимая ее руку, побежал к комнате отдыха второго двора, уверенный почему-то, что Аппак именно там с Каримой и прячутся от всех.

Еще какое-то время вдоль стены классной комнаты Вазира бежала с ним, догадываясь, кого он ищет в своем безудержном возбуждении, упрямстве, еще раз заставляла себя быть снисходительной, терпеливой, сдержанной, но почти у самого порога комнаты отдыха не выдержала и резко остановилась, и чуть не заплакала от обиды, удивившись тому, что Душан будто и не заметил, не понял, что произошло, дальше он уже сделал несколько шагов один, разгоряченный, ничем не сдерживая себя, забежал в переднюю и резко потянул к себе дверь.

Дверь распахнулась, и за то короткое время, пока Аппак с Каримой опомнились и повернулись на скрип, Душан успел заметить, как приятель крепко держал свою подругу за талию, пытаясь поцеловать ее, и как Карима, наклонив голову назад в изгибе красивого тела, не поддавалась — лишь прыгали они оба в такт, смеясь и покачиваясь...

— Извините... надо дверь закрывать, — проговорил Душан без волнения в голосе и даже цинично, чтобы подавить в себе ревность, но тут же пожалел, испугался, потому что заметил на себе презрительный взгляд Каримы, в нетерпении повернувшейся к Душану спиной, будто она в чем-то его заподозрила; и лишь Аппак, пожелавший сгладить неприятное впечатление, великодушно спросил:

— Что тебе, Шан? Действительно, дверь... Опыта

зачти никакого. А где твоя Вазочка? Можешь ее напро-
тив, в спальню...

Душану не понравилось то, как Аппак говорит, и, чтобы не давать волю его развязному тону, он захлопнул дверь перед самым его носом и выбежал во двор, вспомнив, как поступил нехорошо с Вазирой, дурно и не по-мужски.

Он сбежал весь двор, затем по коридору — к спортивному полю, вернулся назад к столовой в тот самый момент, когда все уже выходили оттуда, чтобы направиться в клуб. Увидев Душана, одиноко идущего за всеми с виноватым видом, Пай-Хамбаров отстал от толпы, чтобы тихо сказать ему:

— Конечно, я понимаю, Темурий, девушки, волнение, хочется показаться перед ними мужественными, развязными. Но учти, что мужественный не обязательно развязный, недисциплинированный, а наоборот. Мужественный — это терпеливый, и только такие, поверь моему опыту, могут добиться успеха у девушек. Так что прошу тебя без выходок...

«Да я вовсе не развязный,— хотел ему ответить от обиды Душан, но промолчал и подумал с горечью:— Я не собранный, как Аппак, неумелый...»

— А та, которую ты выбрал для знакомства, вовсе не дурна,— наклонился над Душаном и шепнул по-отцовски добро Пай-Хамбаров.— Поверь моему вкусу — что-то в ней есть, изюминка, несмотря на внешнюю замкнутость. Так что поздравляю, друг мой, и еще раз прошу, чтобы все было корректно, в меру и достойно, они ведь приглашены сюда не для того, чтобы покорять вас навсегда, а для безобидного дружеского общения... облагораживания ваших грубых сердец...

— Понимаю, в воспитательных целях... А мы ответным визитом?— не зная, что сказать, спросил Душан. И услышал, как рассмеялся Пай-Хамбаров, довольный:

— Что, не терпится?— и добавил, торопясь вперед, к группе воспитателей.— Ну, слава богу, Темурий, хоть что-то тебе понравилось, заинтересовало в интернате...

Пока шли через оба двора и коридора к клубу, Душан озабоченно смотрел по сторонам, пытаясь увидеть Вазиру, чтобы сразу же подойти к ней, просить прощения,— ведь так ведут себя лишь хамы, поднимают девушку из-за стола, кокетничают, заигрывают с ней и

бегут потом, взявши ее за руку, к другой, которую желают видеть, ревнуют... И как был удивлен и растерян Душан, когда увидел в толпе учащихся Вазиру, идущую рядом со смущенным, оробевшим Ямином, который, не зная, как отвечать ей, лишь радостно кивал и поддакивал.

«Чем она его привлекла?»— подумал Душан, вспомнив растерянное лицо Ямина, который с самого утра держался один, в стороне от шума и веселья, боясь, как бы кто-нибудь из мальчиков не стал подтрунивать зло, крикнув: «Ямин, Ямин, не забудь... Аминь!»

Этот дурацкий выговор-дразнилку придумал Шамиль в ночь перед приездом девушек и сказал, что если Ямин забудет о своей «метке» и подойдет знакомиться с ташлакской воспитанницей, то Шамиль тут же напомнит, прокукует из толпы: «Ямин, не забудь... Аминь!»

Бедняга Ямин, должно быть, так обрадовался девушке, которая первая заговорила с ним, тронутая его печальным видом, что забыл о предупреждении Шамиля, шел с Вазирой и трогательно смущался, краснея, как барышня, и, такой, он взволновал чем-то и Душана.

«Ну и хорошо, что она с Ямином. Это его так взбодрит... Только бы Шамиль не испортил своей глупостью,— подумал Душан, удивляясь неприятно тому, что приревновал он теперь и Вазиру, и, чтобы справиться с волнением, стал пробираться сквозь толпу к Шамилю, желая предупредить его, пригрозить, но, увидев, как Шамиль увлечен своей Харисой, не слышит ничего и не видит, отстал. И только, кажется, Душан один и заметил, как выбежали из комнаты отдыха Аппак и Карима и, смешавшись с толпой, зашли и заняли места в клубе. Душан постоял возле выхода, поймав на себе долгий и победный взгляд Вазиры, которая шла вместе с Ямином мимо рядов, чтобы сесть недалеко от подруги Каримы.

«Все здесь игра... суета и притворство»,— решил утешить себя Душан и вдруг вспомнил, что надо идти за кулисы: по программе оба оркестра народных инструментов — и русский и узбекский — должны были развлечь гостей.

Но на сцене Душан был снова собран, чуток и натянут как струна, боясь сфальшивить, и так держался до конца концерта, видя, как Вазира с Ямином оживленно переговариваются, подмигивает ему Аппак подбад-

ривающе и удивленно, большими, круглыми глазами смотрит Карима, будто не веря, что Душан, который показался ей неприятным и назойливым, может так хорошо играть, спокойно и с достоинством сидеть у всех на виду.

А потом объявили танцы... танцы, танцы, и оркестранты прямо со сцены попрыгали в зал, чтобы обнять напарниц и закружиться под звуки бухарского вальса из репродуктора; Душан же отошел к стене, чувствуя, как собирается в нем обида. Но на кого? Иронически прищурившись, он смотрел на танцующих. Неужели так трогают его эти две пары — Аппак с Каримой и Ямин с Вазирой, которые все время танцуют рядом, почти касаясь друг друга, лукаво переговариваются... конечно же, осуждая Душана.

«Мнят о себе, какие они неотразимые... и только я один без напарницы — об этом и перешептываются. А Ямин... как старается!» — вдруг вновь неприятно проснувшись в Душане ревность, задышалось труднее, щеки покраснели от жара, будто шум, топот, смех били по его лицу волнами.

«Что ж, к черту... все это не по мне... веселье не моя стихия», — подумал Душан и стал пробираться к выходу, но с каждым шагом чувствуя, что бегство это похоже не на силу одиночки, пренебрегающего мишурой, ярким блеском, обманчивыми звуками, а на слабость, ибо все надо уметь: настоящая личность легко ведет себя и там, где бездумье, власть ритма, красоты, любовных ухаживаний. И, подумав об этом, Душан резко остановился у самого порога и повернулся в зал, поймав на себе тревожный взгляд Вазирой, которой, видно по всему, не хотелось, чтобы Душан уходил.

Взгляд ее взбодрил Душана, но сделалось ему не легко и хорошо, наоборот, пробудилось в нем что-то злое. Помрачнев, он вернулся назад, стоял и осуждающе смотрел на Ямина, ожидая, что вот глянет он на Душана и поймет, что слишком увлекся, ухаживая за его девушкой.

Но Ямин был так же увлечен партнершей и в фокстроте, и в танго, и снова в вальсе и, должно быть, понимая, чего требует от него Душан, даже ни разу не глянул в его сторону.

Танцевал он как-то удивительно легко, даже артистично, а Вазира не отставала от своего партнера в умении — может, это и вывело Душана из себя.

«Сейчас я ему напомню», — подумал он, решительно направляясь к толпе танцующих, а на кончике языка уже вертелось это подлое, гнусное издевательство: «Ямин, Ямин, не забудь... Аминь!», фраза, которая должна была ввергнуть соперника в стыд, позор, но освободить Душана от ревности и злости, и, освобожденный так, он почувствовал бы себя победителем.

Искушение сделало его дерзким и заносчивым, он пытался шутить направо и налево: «Мордехай, ты как слоник бирманский», «Выше протезную ногу, Ирод!», «Не зацепись хвостом, Раббим!», ибо, прежде чем сказать такое Ямину, он должен был пройти через маленькую, безобидную роль хама.

Так шел Душан, задевая мальчиков плоскими шутками, подмигивая девушкам, пока вдруг не увидел Ямина вблизи, и одного взгляда было достаточно, чтобы, отрезвев, пронзиться ощущением чего-то более глубокого и истинного, чем все то, что заботило его сейчас, и сделалось Душану совестно и тоскливо от печали и обиды другого, ближнего — молчанье его, смущение было как запрет, как святое слово, непроизносимое...

Увидев рядом с собой растерянного Душана, Аппак обнял его, приглашая к себе, и движения Аппака и Каримы, ритм и пластика их танца, в котором было столько задора и энергии, увлекли Душана. Тело его задрожало, оживившись, мускулы напряглись, чтобы почувствовал он слаженный такт этой пары и приноровился к ней.

— Веселись, Шан, веселись! — подбадривал его Аппак, глядя на Душана странными, будто затуманенными глазами, и весь он был опьяненным, бесшабашным, отрешенным от всего, и в экстазе полета Аппак перестал даже замечать перед собой подругу, только механически, будто настроенный в такт с нею, двигался в танце. И так, связанное общим ритмом веселье танцующих достигло самой сладкой, самой одурманивающей своей точки, после которой все как бы разрывалось и виделось Душану лишь отдельными вихрями, мазками — сияющие блеском глаза, улыбки сквозь сжатые зубы, похожие на оскал, красные плечи, будто наэлектризованные, голые колени ног, не чувствующих твердое перед собой.

Во всем было столько манящего, увлекающего, гасящего робость, смущение, зовущего полностью раскрепоститься, что Душан, в котором что-то отпустило,

пересилило внутренне, вошел в ритм и так умело припрорвался к движениям Каримы, что незаметно стал теснить от нее Аппака.

А Карима все продолжала манить Душана, будто увлекая в какие-то неведомые высоты — все, что было в ней живого, каждый нерв, каждый изгиб тела, собралось в обаятельную, красивую, в манящую, играющую, но недоступную стихию, которой Душан желал полностью отдаться, не думая о краткости сладкого сна, который казался нескончаемым праздником. Вот ведь пересилил себя, сумел выйти из своей старой оболочки и слиться в танце со всеми пластичными-эластичными Аппаками, Иродами, Шамилями, для которых веселиться, наслаждаться красиво, со вкусом так же просто и естественно, как дышать. И, радостный, счастливый своим умением, Душан совсем забылся, кружась, поймал Кариму за талию, чувствуя, как задрожало, желая ускользнуть, рыбе ее тело, но не сумело, ослабевая, в следующем круге движения тела их прижались, и, чувствуя совсем близко, возле своих губ алый, полуоткрытый ее рот, обжигающую дрожь ее груди, Душан прошептал с роковой обреченностью, не помня себя:

— Карима... люблю тебя.— И едва он это сказал, как сразу отрезвел, потеряв линию полета, напуганный и оскорбленный не ее упрямым, капризным смехом в ответ, а состоянием — ложным, опьяненным, в котором он сделал признание.

Заметив сконфуженного Душана и нервно смеющуюся ему в лицо Кариму, Аппак поспешил к напарнице, легким движением увлекая ее снова в танец и уводя подальше от Душана.

Душан постоял в замешательстве, не чувствуя, как толкают его танцующие, а когда повернулся, чтобы идти к выходу, Вазира поймала его за руку.

— Живее, Душан, живее, я видела: вы так прекрасно танцуете!— И запрыгала возле него, оставив Ямина в стороне.

Душан обрадовался Вазире, спасительнице, но, как ни пытался увлечься снова, забыться, перебороть скованность и хотя бы на миг вернуть то ощущение дурмана, полета, в котором был с Каримой, не получалось легко и непринужденно. Душан снова ощущал себя обособленным, сжатым в комок и вытолкнутым из массы танцующих и, подумав с досадой и горечью стыда о своем признании Кариме, вдруг понял все.

«Ведь колдовство,— подумал он,— я в этом дурмане веселья, в балагане танца вдруг незаметно потерялся и растворился. И, не ощущая, не помня себя, так глупо потерял голову с Каримой...»

— Что с вами? Очнитесь!— с укором, жалея, что пригласила его на танец, сказала Вазира.

— Я весь внимание.— Душан, не зная, как быть с ней, прижал ее холодную, нервную руку к груди.— Простите...— Но не успел договорить, услышал где-то в конце зала голос не то Шамиля, не то Дамирали: «Ямин, Ямин, не забудь.. Аминь!» И шум, топот, возню в ответ, прямо-таки истеричный вопль Ямина: «Оставьте меня в покое, скоты?!»

— Что случилось?— спросила Вазира, удивившись тому, с каким упрямством, расталкивая пары, ведет ее Душан к двери.— Я, кажется, слышала Ямина?..

— Это не Ямин... Пройдемся немного и опять вернемся к Ямину. Обещаю...— сказал Душан, выходя во двор и вдыхая свежий вечерний воздух.

Несколько пар, также сбежавших из зала, сидело в разных темных местах спортивного поля — на бревнах, козлах, и, глядя на них, Душан усмехнулся:

— Мы с вами неоригинальны... Что же, найдем своего козла...

— Я согласна,— не смогла от удовольствия сдержаться Вазира и добавила с явным расчетом на то, чтобы Душан приревновал:— Только недолго. Ямин будет искать...

— Хорошо,— согласно кивнул Душан, не чувствуя к ней ничего: ни ревности, ни интереса, и найдя свой козел, они прижались к холодному дереву.

Душан молчал, не зная, что говорить, все еще чувствуя себя оскорбленным циничным смехом Каримы. Неужели он выглядел таким нелепым, смешным и нудным по сравнению с Аппаком, что она и в мыслях не допустила... будто оскорбил Душан ее своим признанием?

— Может, вы что-нибудь скажете?— услышал он обиженный голос Вазиры.— На прощание... Мы ведь скоро уедем...

— Уедете?— переспросил Душан так, словно удивился, затем торопливо потянул Вазиру к себе, ее хрупкое, податливое тело, и поцеловал ее губы... но ничего не почувствовал, кроме соленого привкуса во рту.

Вазира вся задрожала от неожиданности, а потом

глянула на него, сияющая, радостная, и, кокетливо укоряя за нетерпение и неумелость, прижалась к нему, обняв Душана за шею.

«Нет,— мелькнуло у Душана,— я ее не чувствую... не люблю». И, видя, как Вазира торжественно, словно заученно, поднялась на носки, сомкнув колечком губы, Душан обреченно закрыл глаза... но поцелуя не получилось из-за неожиданного шума, топота во дворе.

— Танцы кончились,— проговорил Душан, смутившись, как и Вазира, и увидел, как парами выбегают из зала мальчики и девушки и среди них одинокий Ямин, трагически смотрящий по сторонам и ищущий Вазира.

— Ямин,— овладев собой, спокойно сказал Душан.

— Спрячемся,— заговорщически шепнула Вазира, но Душан сделал вид, что не расслышал, побежал навстречу Ямину.

— Ямин!— крикнул Душан, еще издали взмахивая руками.— Вазира ждет тебя!..

Ямин подбежал, тяжело дыша от возбуждения, пронзительно, словно пытаясь уличить Душана в чем-то недостойном, посмотрел на него.

— Она ничего не поняла... не узнала?— тоскливо шепнул Ямин.

— Ничего — клянусь! Ни драки, ни шума... ни хамского крика Шамиля,— в упор, не отводя взгляда, смотрел на него Душан, не замечая, однако, следов драки на лице Ямина.

— Я ей нравлюсь?— неожиданно спросил нетерпеливый гаждиванец и, не дождавшись ответа, довольный, побежал в сторону спортивного поля.

А с Душана будто спало напряжение, и, желая одиночества и покоя, он даже не вышел к автобусу, чтобы проводить дезушек.

Мальчики же вернулись в спальню возбужденные, шумные и всю ночь, до самого утра, не могли успокоиться — говорили о дне, когда поедут в Ташлак с ответным визитом, о своих девушках, называя их имена как заклинание, боясь к тому времени забыть их, смеялись и язвили над неудачниками...

Душана все это не трогало, не волновало, он только подумал, засыпая: «Может, хорошо, непорочное в людях надо открывать долго, постепенно... терпения не

хватит... а порок привлекает, потому что наружу открытый?» А среди ночи, когда проснулся от разговоров в спальне, то, о чем он подумал ранее, продолжилось в его ощущениях другой странной догадкой: «У Вазиры даже губы неоткрытые, соленые... а Гульсум вся давно без защитной оболочки, замазывает свой порок кремами и пудрой!..» Мысль эта, как толчок, окончательно разбудила Душана, потянувшись к кровати Аппака, он шепнул:

— Пойдем завтра к дому Гульсум, Пак?

Аппак усмехнулся, но, чтобы как-то смягчить свой отказ, лег к Душану на кровать, обнимая бухарца.

— Сдалась тебе эта ведьма Гульсум... Столько красавиц нас любит... Завтра еду к Кариме. Хочешь — вместе? Если не Вазира — выберешь себе другую. Ты золотая медаль для любой девушки, тебя надо только раскусить... попробовать на зуб.

— Просто я хотел узнать: Болоталиев к ней ходит или?..—сказал Душан, подавляя в себе обиду.

— А тебе не все равно?! Пусть к ней сам черт ходит — плюнь! Будь выше...— Аппак помолчал, прежде чем сказать другим, страстным тоном:— И вообще, Шан... поберегись... Давно хотел тебе сказать: куда-то тебя клонит к опасному. Ты спокоен, трезв... но вдруг такое выкинешь — просто ахнуть можно!

— Ты о чем это?— рассердившись, отодвинулся от него Душан, и Аппак, чтобы не затевать спор в такое неудобное время, молча встал.

А в следующую ночь Аппак и Ирод, уложив в свои постели манекены, решили добираться в Ташлак если не на попутной машине, то пешком, рассчитали торопливым шагом тридцать километров пройти за пять часов, чтобы хотя бы к утру встретиться со своими девушками. А после них каждый вечер по два мальчика устремлялись в темноту... так что мальчики не забывали своих девушек, а их воспитатели, некогда слывшие прогрессистами, не забывали о зармитанской земле, которая казалась им податливой для прочного и спокойного быта.

Тихо покинув свои холодные мансарды, они строили дома все больше из тех старинных кирпичей, которые откапывали на пустыре. Томатс-Ротт, Кушаков, Сердюлюк работали медленно и основательно, складывая фундамент и стены дома в свободные от занятий часы, Болоталиеву же почему-то не терпелось. И, не зная в

своим строительным усердием меры, он даже как-то решил не проводить внеклассного занятия. Крикнул, желая пересилить шум и возню мальчиков, которые никак не могли сесть на свои места и уgomониться:

— Я вижу, у вас сегодня нет настроения шевелить мозгами. Нет? Тогда прошу за мной на пустырь — пошевелим мускулами...

— Что, конечно же, полезней... что, конечно же, полезней всяких знаний и наук,— пропел Душан шутовским тоном, продолжая сидеть и невозмутимо глядеть на мальчиков, которые с восторгом бежали к выходу.

— Темурий, значит, не идет?!— в голосе Болоталиева прозвучали недовольные, даже злые нотки.

— Нет, я все же хочу попробовать пошевелить мозгами,— упрямо посмотрел на воспитателя Душан. — Не получится — пошевелю ушами, но отнюдь не мускулами...

— Да ведь бухарцы всегда боятся ручки замарать,— Болоталиев резко повернулся и вышел, даже не закрыв за собой двери.

Душана возмутил тон Болоталиева, его угрожающий вид; он полистал учебник астрономии, затем открыл хрестоматию по литературе, но не мог успокоиться.

Выбежал во двор, хлопнув дверью и не зная, чем заняться, зашагал к третьему двору и у самого выхода из коридора был замечен Пай-Хамбаровым из окна кабинета. У директора была привычка: в свободные минуты смотреть из кабинета в конец коридора — если появится учащийся, чем-нибудь заинтересовавший его, Пай-Хамбаров стучал в окно и вызывал его для беседы. Беседа могла быть самой разной: в каком классе учишься? Кто родители? Есть ли брат? А если брат ходит в нормальную, дневную школу, почему решили не отдавать в интернат? Но чаще всего был вопрос: нравится ли тебе в интернате? С какого времени стало нравиться больше? На что подхалим отвечал бодро:

— С тех пор, как вы стали директором, Амни Турдыевич!

Пай-Хамбаров хмурился и, устало махнув рукой, делал выговор собеседнику:

— Ну, к чему это. Ты еще, можно сказать, совсем не жил, а уже пропитался вредным запахом подхалимства. Откуда? Не генетическим ли путем? Тогда как нам, вос-

питателям, бороться, исправлять, выпрямлять? Мы ведь не владеем секретами генной инженерии...

Душан, которого увидел Пай-Хамбаров, был, конечно же, находкой, ибо директор знал, что беседовать с ним хотя и трудно, но всегда интересно — обязательно скажет что-нибудь небанальное, а то и остренькое, на грани недозволенного, предосудительного. Поэтому, желая взять инициативу в свои руки, Пай-Хамбаров сказал укоряюще, едва Душан открыл дверь кабинета и глянул директору в глаза:

— Ну, этот всегда озабочен, мировая скорбь, а, Темурий?

Встреча эта была для Душана столь неожиданной, что он не знал, как объяснить свое раздражение и надо ли объяснять.

— Скажи честно, Темурий, был ли хотя бы один день в твоей жизни здесь, чтобы тебе было хорошо? Нравилось? — Пай-Хамбаров почувствовал, что, возможно, взял не тот, несколько резковатый, унижительный для Душана тон и что разговаривать так с бухарцем — значит заведомо не добиться его расположения и искренности.

— Вы говорите так, будто сегодня вечером собираетесь вручать мне мою характеристику и аттестат зрелости, — сказал Душан хмуро, делая вид, что не заметил жеста Пай-Хамбарова, пригласившего его сесть напротив.

— Ну хотя бы так! Верно! Допустим, что к вечеру я должен написать твою характеристику. И заметь — она потом будет следовать за тобой всю жизнь: и в армии, и в институте, и на службе... — обрадовался Пай-Хамбаров такому повороту разговора, казавшемуся ему более безобидным.

Душан, который все еще не понимал, к чему клонится беседа, сказал тихо, опустив глаза, словно ему стало вдруг жаль Пай-Хамбарова:

— Не знаю... только я написал бы на себя другую характеристику. Не лучше, нет, другую...

Ответ был таким, которого ждал Пай-Хамбаров, — небанальный, остренький, и директор даже привстал от удовольствия, думая, как бы так сказать, чтобы Душан оценил, проникаясь симпатией к собеседнику.

— Выходит, мы не так понимаем твой характер? Мы, коллектив воспитателей, которые думаем о тебе, даже когда ты спишь? К чему этот пессимизм? Конечно, я

чувствую, ты сейчас подавлен, находишься в кризисном возрасте. Все время от времени испытывают кризис: и большая общность людей, и отдельная семья, и даже отдельная личность. Однако ты не должен чувствовать одиночества, ибо все, кто попал в полосу кризиса, находятся под нашим особым наблюдением... Ты, Темурий, почему не на занятии?

Этот неожиданный вопрос заставил Душана съезжиться — забывшись, расслабился во время длинного монолога Пай-Хамбарова, успокоили приятные нотки его неторопливого, доброжелательного голоса.

— Я отказался копать кирпичи! — сердито сказал Душан. — Для Болоталиева... Все пошли, я остался один.

— Как один? — удивленно переспросил Пай-Хамбаров. — И ты один из всего класса отказался? — И будто только теперь понял — рассмеялся и, шагнув к Душану, стал рядом, высокий, но уже чуть располневший, словно желая хорошенько разглядеть смельчака. — Все пошли, а он один отказался, ибо чувствует в себе гордость, желание не поступать против совести... Да, Темурий, определенно из тебя не получится молот, ты рожден быть наковальней. Это трудный, но наиболее достойный путь в жизни, ибо как сказал старик Гёте: «Человеку кажется более почетным и желанным быть молотом, а не наковальней, и все же какой необычайной внутренней силой нужно обладать, чтобы выдержать эти бесконечные, неумолимо повторяющиеся удары...»

— Да, — ответил ему с ироническим пафосом Душан. — Но какие прекрасные молоты делаются потом из наковален, когда на них появляются трещины!

— Возможно, возможно... — решил сбить высокий тон разговора Пай-Хамбаров, чтобы не вредить его воспитательному смыслу. — Я уважаю твой возрастной скептицизм, но позволь... — Здесь он должен был не договорить и повернуться к двери с недовольным видом. Широко распахнув ее, в кабинет торопливо вошел взволнованный Томато-Ротт, воскликнув с порога:

— Такого, простите меня, уважаемый Амин Турдыевич, в моей практике еще не было! — Но, заметив Душана, сбавил голос и пробормотал что-то, наклонившись к уху Пай-Хамбарова, и Душан, в котором все напряглось от дурного предчувствия, лишь по движениям губ воспитателя понял отдельные слова: «Амин», «драка», «дежурство»...

Пай-Хамбаров как бы возмутился, но не столько происшедшим, сколько невнятным шепотом Томато-Ротта, и, не дослушав его, сел в свое директорское кресло.

— Да не нужно делать из этого тайны, уважаемый Альфред Иванович. Уверен, что они, — показал Пай-Хамбаров в сторону Душана, — уже раньше нас узнали. Так что прошу без шепота... И будьте самокритичны, если это случилось в ваше дежурство...

Вместо того чтобы стать самокритичным, Альфред Иванович сделался вдруг язвительным — поправил галстук, кашлянул солидно, чтобы доложить по всей форме, как подчиненный директору:

— Довожу до вашего сведения, Амин Турдыевич, что сегодня утром девятиклассник Ямин Базаров участвовал в драке и случайно, как он утверждает, упав, повредил руку. Пострадавший доставлен в зармитанскую больницу, где, по словам врача, чувствует себя хорошо... — И добавил, не сдержавшись, уже не по форме: — Дикость какая...

Все, что сжалось в Душане от тоски, и вытолкнуло его сейчас вон из кабинета. Вслед ему донеслась лишь реплика Пай-Хамбарова: «А мы только что говорили о кризисе возраста», но, может быть, все это послышалось. Душан был в таком напряжении, что не заметил, как пробежал мимо спортивного поля, прыгнул через забор в зармитанский переулок.

И, поглощенный своими переживаниями, которые радовали и заставляли страдать, Душан не удивился, не взволновался встрече с дровосеками — матчои. Прижав к плечу свои длинные, как ружья, топоры, они перебежали дорогу, подальше от криков женщин у ворот, усмехаясь в рыжие бороды.

— Воры и бродяги! Отвернешься — белье стащат с веревки, зазеваешься — дочь соблазнят — все одно!

Лишь вспомнилось Душану как далекое, заветное, когда глянул он на лица дровосеков, на их желтые, стоптанные уже сапоги... но ничего не узнал, было как в тумане...

В палату Душана не пустили, и, должно быть, Ямин, услышав голос бухарца, как тот просит, умоляет врача, крикнул в окно:

— Шан, ты ко мне? Подойди со двора...

Душан подтянулся на подоконнике, глотнул резкий

запах палаты, но выдержал и повис так на локтях — и сразу увидел среди больных Ямина, которого сестра гнала в кровать. Гаждиванец вовсе не выглядел страдающим от боли, бледное лицо его было спокойным и умиротворенным.

— Что же ты так? Дуралей!.. — только и смог вымолвить Душан.

— Теперь уже никто не сможет издеваться... Я показал им! — нахмурился, вспомнив прошлые обиды, Ямин, но тут же перешел на шуточный тон: — Ура! Ура! Ура!

Эти возгласы Ямина как волной ударили в Душана, он покачнулся и, не в силах больше держаться на бесчувственных локтях, прыгнул вниз, а когда возвращался обратно, увидел возле базара, как бегут навстречу взволнованные мальчишки.

Душану не хотелось, чтобы они останавливались, расспрашивали, потому свернул он и спрятался за воротами базара, будто, пойдя один к Ямину, совершил бесчестный поступок.

Теперь, когда мальчишки убежали с пустыря, можно было пойти к интернату кратчайшим путем. Время близилось к вечеру, и с пустыря ушли не только интернатские, но и зармитанские старатели, оставив свои ямы, землянки, лежанки. Ночью в них соберется туман, закрыв на дне мышей, ежей, чертей, драконов, а утром, когда копатели взмахнут лопатой, мышинный запах пощекочет им ноздри.

«Вот так когда-нибудь и наш дом уйдет в землю, — подумал Душан, — а когда откапают его, чтобы унести кирпичи, бревна, ворота, кольца, пуговицы, иглы, плевательницы, построят на месте одного дома множество маленьких, тесных, острокрыших, как дом Гульсум».

Где-то на середине пустыря Душан вдруг услышал голос и, подумав, что это мальчишки решили пошутить над ним, поугаать, пошел, не сворачивая, к яме с зубчатыми краями. Душан стал, не дойдя к яме, и крикнул:

— Довольно прятаться... я же вижу... нет настроения... — и крикнул он это через силу, действительно не желая никого видеть, затевать игры...

Из ямы выглянули удивленно не мальчишки, не сфинксы, которых на ночь должен скрыть туман, а те два дровосека, пожевывая, и Душан от растерянности, не зная, что сказать, присел на корточки и виноватым тоном спросил:

— Вы... в Бухару?

— В Бухару... а что?— сказал дровосек, которого Душан почему-то лучше запомнил после встречи в переулке, а теперь испугался после необдуманного вопроса.

— Возьмите меня с собой,— попросил Душан, подумав, что теперь он связан с ними, раз заговорил, спросил — не может же он выглядеть болтуном, обманщиком, праздношатающимся, тем более попал в такое неловкое положение, приняв дровосеков за мальчиков.

— Зачем с нами?— заговорил с Душаном дровосек, которого он испугался минуту назад, но который теперь ему нравился — у него было необычное для здешних мест лицо — без скул, с прямым носом над рыжей бородой — недаром Душан его запомнил.— Мы будем добираться долго... может быть, год... Пока не поработаем во всех домах по пути.

— А мне и нужно долго... пусть пройдет зима, лето,— заговорил Душан быстро и взволнованно, подумав, что, только будучи с ними откровенным, доверчивым, общительным, можно добиться расположения.— В Бухаре у нас родовой дом. Брат женится... Я чувствую, что и мать выйдет замуж вторично... за старца Наби-заде. Ей ведь еще и сорока нет...

И действительно, то, что он говорил и как, понравилось дровосекам. Позвав Душана к себе в яму, где они ужинали, закусывая хлебом и вареным мясом, дровосеки разглядывали бухарца как диковинку, хохотали ему в лицо, продолжая жевать.

— Да ты какой-то не такой...— весело сказал дровосек помоложе,— будто осколок давно ушедшей жизни...— И протянул Душану хлеб с обрезком мяса.

Душан поднес хлеб ко рту, хотел откусить, чувствуя голод, но не стал, думая, что неприлично говорить жуя.

— Не знаю, как будет дома,— сказал Душан.— Но дома будет по-другому... потому что я другой...— Он умолк, заметив, как внимательно его слушают, и смутился, подумав, что, наверное, говорит совсем не о том. Это его заботило потому, что и дровосек помоложе теперь ему понравился, а людям, которые нравятся, нельзя говорить приблизительно, неточно, скучно и совсем не о том, ведь разговор их до этого казался Душану необя-

зательным, случайным, как их встреча, как вопрос Душана: в Бухару ли они?

Душан выглянул из ямы, посмотрел вокруг, глубоко вдыхая прохладный вечерний воздух, и сказал:

— Хорошо у вас.— И это были наконец те слова, которые казались ему искренними, точными, будто все их предыдущие разговоры и вопросы отстоялись в глубине души для скупого выражения сокровенного...

— Хорошо-то хорошо,— проговорил дровосек помоложе, зевая.— А что ты умеешь? Нужники чистить не умеешь? Следить за неверными женами? Нас и это заставляют делать. Хитрить и лгать на базаре не умеешь?

— Следить за неверными женами?— рассмеялся Душан.— Это зачем еще?— И расслабился, почувствовав себя свободнее, хотел откусить хлеб, но, услышав шаги, весь сжался и выглянул наружу.

Совсем близко, шагах в десяти от него, Аппак нагнулся и взял лопату, видно брошенную в спешке, и ушел в темноту. Потом показался Ирод, который также пискал что-то...

— Ну и как, ты думаешь, тебя встретят дома?— сказал дровосек так, словно только теперь заметил на Душане интернатскую униформу.

— Встретят просто,— ответил Душан беззаботно, будто отныне, когда все решено, понято, договорено, начиналась игра, чтобы легче было им втроем жить дальше.— Отец удивится и обрадуется, крикнет соседей. Брат увидит, что для меня, чужого, холодного, зарезали теленка, и упрекнет отца.

— Тогда пошли есть твоего теленка!— рассмеявшись, дровосеки тяжело поднялись, сытые, и один из них протянул Душану топор.

Душан прижал топор к плечу, чувствуя, как холод стали пронзил его до ног, и, чтобы согреться, прыгнул через яму и запел заветное, что помнил из всего, что пережил:

Все есть у меня, ах, все есть у меня...

Руки и сила в руках есть у меня.—

и оглянулся, чтобы увидеть на возвышенности силуэт интерната... и не услышал ни звука, ни шороха, ни сту-

ка обвалившейся стены — лишь дом князя Арифа резче и быстрее, чем ожидал Душан, отодвинулся и вошел в плотную темноту, мерцая странным, матовым светом в контурах, будто облепленный светлячками, ракушками, фосфорическими рыбами, летучими мышами, огнедышащими драконами, чертями, пожирающими пламя и тихо переваривающими его в чреве...

СЕМЬ УДОВОЛЬСТВИЙ
И СОРОК ПЕЧАЛЕЙ



Он вдруг понял, что все эти годы с ним происходило нечто, что скользило по его сознанию, слабо касаясь. Нет, сознание его не было затуманено, как у слабоумного, все он чувствовал остро, всех запомнил и обо всем узнал в меру своего разумения. И ни о чем ни разу не пожалел...

И о чем бесполезно и никчемно прожитом мог жалеть сейчас Душан, ибо не было у юноши еще горького опыта и ощущения потери от безоглядно промелькнувших лет. Еще сладость надежд и обольщений не сгустилась желчью.

Но временами все же накатывалась усталость... Вернувшись домой, Душан вдруг как бы прозрел, понял, что все эти девять лет в Зармитане он был вынут из густой, плотной жизни, тепло и жар выветрились из него, чтобы мог остаться лишь голый скелет, высушенный и почерневший...

Серое облачко набежало, замутило поверхность существования, и Душан все всматривался вокруг сконфуженно, все не понимал... Контуры двора еле очерчивались, плоские крыши казались чуть вогнутыми... Такое ощущение, будто от толчка, который никто и не почувствовал в свое время, основание дома сместилось, повернулось вокруг оси, а углы и стыки стен слегка отодвинулись. Соседские ворота, которые открывались вовнутрь, сейчас широко распахивались наружу, едва не касаясь стен их дома.

Братья-разбойники Гани, Амин, Рахмат... сестра их Бунафша. Душан как-то давно пригласил ее на чердак и предложил, насупившись: «Давай поженимся!»—«А как?»—встрепенулась Бунафша. Душан долго и мрачно молчал, а затем взял и сбежал вниз по лестнице...

Мать пыталась втолковать Душану, что ощущение неуютности и запущенности навсвадет не сам дом. Правда, за эти годы, омываемый ливнями, осыпаемый песчаными

бурями и иссушаемый афганским ветром — таффотом, дом множество раз перестраивался и переделывался. Но все дело в коварстве соседей, чьи ворота напротив. Видя, что родовой дом Темурий остался теперь без хозяина, они теснят его пристройками — гаражом, хлевом, широкими воротами, да еще часть улицы присовокупили к своему домовладению.

— Наби-заде уже нашел было покупателя... А я, дура, все противилась. Как же, говорю, разве оставлю сына без крыши над головой? Ведь скоро он невесту приведет... А он сердится, топает ногой. И я не устояла, согласилась, чтобы полдома отгородил и продал... И как он с таким тяжелым характером уже сорок лет управляет солидной конторой? Если что надумает — не отступит, хоть умри! Не представляю, каким он был в молодости. И его дети все в него — настырные, ничего святого за душой... — Мать говорила теперь смешанно — вроде и доверительно, но и выражая недовольство мужем, все было в ее словах — растерянной и чувствующей себя в чем-то виноватой перед сыном.

Только раз во время воскресного свидания с сыном в интернате попыталась она робко внушить Душану, что теперешний ее муж будет для него роднее родного отца, но Душан с таким недоверием глянул на нее, что мать больше никогда не говорила с ним о Наби-заде.

— Вот Амон сразу принял его и назвал отцом, — добавила она тогда с горечью.

— А сама как? Довольна? — вдруг сжалился Душан.

Мать ведь знала, что Амон податлив на лесть и обман, великодушно прощает ошибки и промахи, ибо больше озабочен собой. Душан же должен убедиться, что мать не только искренна, но и требует сострадания и сочувствия, когда умоляет и сетует — вот тогда сын смягчится, поверит.

— А как мне быть одинокой?! У Амона свои заботы, семья. Меня же, растерянную и унылую, любой толкнет и обидит, а наблюдающий прохожий еще и виноватой назовет... А он, хоть и старый уже... — Тут мать упрямо тряхнула головой, словно решила похвастать хотя бы перед собой: — На него еще женщины поглядывают... Да ты и сам видел — манеры прошлых времен, благородная воспитанность.

Мать всегда втайне надеялась: выйдет Душан из интерната и дома смягчится... Но когда в день его возвращения увидела все тот же холодный, невозмутимый

взгляд, обращенный к Наби-заде, поняла: не поймет ее сын, не одобрит...

Не почувствовала она, что Душан сам мучился потом, после ухода Наби-заде. Ходил из комнаты в комнату, пытаясь понять, что же неприятное отталкивает его от Наби-заде, хотя тот всячески пытается расположить к себе Душана: обещал устроить на хорошую работу и даже — удивительно! — предложил вместе прокатиться куда-нибудь развеяться — в Москву или на Черное море.

Мягкий, вкрадчивый старик с благородной осанкой. С такой же блестящей лысиной, как на бюсте-макете, который учитель анатомии всякий раз приносил с собой на урок и который всегда привлекал Душана красивой формой черепа.

Чтобы окончательно не расстраивать мать, Душан ушел в летнюю комнату, ругая себя за то, что так холодно, даже враждебно встретил Наби-заде, потом вышел, желая сказать матери что-нибудь подбадривающее, но, увидев, как она прихорашивается возле зеркала, вдруг сказал:

— Дочь его и сын от той... умершей жены будут всю жизнь преследовать тебя. Из-за дома его, из-за его десяти тысяч...

— А мне ничего этого не надо, — повернулась к сыну и спокойно и невозмутимо ответила она, будто давно все уже обдумала и успокоилась. — Мне и своего жалованья хватает... Вот выйду немного из этого взбалмошного состояния, оглянусь вокруг, старым друзьям напишу, а когда снова обрету в себе уверенность, продолжу свой труд научный. Мне бы год спокойной жизни, чтобы никто не дергал, и диссертация напишется, и защита пройдет успешно... Это истинное... Остальное, я поняла, одна иллюзия. Все связи временны, даже с любимым человеком, главное — в себе самой опору найти и опереться с невозмутимым видом...

— Наверное, ты права, — сказал Душан, не совсем вникая в то, о чем мать сейчас так убежденно говорила, и вовсе не потому, что считал ее слова случайным капризом. Он чувствовал, что и она растеряна, как и он сам. И откуда ему было взять уверенности и правильно судить о том же Наби-заде, если ощущал Душан в своей жизни какой-то провал, будто была она прожита беспорядочно, короткими эпизодами, без непрерывного переживания, удивления и досады. И вполне естественно, что он все позабыл не только о близких соседях — братьях

Амине и Рахмате, с которыми пел когда-то в хоре, но и о родных, жизнь которых прошла не на его глазах. А они, странно, словно позабыв об этом, требовали горячего его участия, обижались, называя его холодным и равнодушным.

Даже то казалось Душану непривычным, что мать мечется между их родовым домом и домом мужа, — днем, когда Наби-заде сидит у себя в конторе, она забегает поговорить с Душаном, ночью же снова уходит... Возьмет Душана за руку и втолковывает ему вкрадчиво, что по обычаю возвратившемуся после стольких лет отсутствия домой не принято не показываться на людях больше трех дней и что надо позвать сверстников со всего квартала «Суфиён» на угощение, выпить, позабавиться, забыть обиды и помириться с заклятыми врагами.

Теперь уже не Аппак, Ямин, Дамирали, Мордехай, Шамиль — сверстники и друзья, а Саид, Бахшилло, Нуриддин, Камин, Афзал... И эти, кого Душан знал раньше всех, еще в детские годы, и они, оказывается, каждый преуспел в своем рвении, теряя по ходу жизни все слабое и случайное, чтобы естественно вписаться в текущее время, чувствуя себя если и не счастливым, то, по крайней мере, расторопным. Все дома свои сложили и обзавелись семьями. Камин зовется теперь смиренно — добрым семьянином. Правда, что-то там было примешано, какая-то непристойность в чисто бухарском духе, что-то связанное с его соученицей Марзией, после чего Камин вынужден был жениться на ней, но мать, рассказывая Душану, старалась не делать на этом непристойном особом упора.

По утрам мать занимала Душана разговорами да воспоминаниями, а вечером Амон приезжал на своей машине. Неизменно бодрый, улыбающийся, он вбегал в дом и обнимал брата, троекратно целуя его.

Душан сконфуженно опускал голову, а Амон все хохотал, прижимал брата к стене, и было во всех его жестах столько нервного, беспокойного, тревожащего, что Душан не знал, что же сказать такое в ответ, чтобы успокоить его. Чувствовалось, что Амон что-то пытается преодолеть в себе, отчужденность, что ли, холодок равнодушия, которое остудило его душу за то время, пока они росли врозь. Душан страдал от этого. Амон же по живости своей природы переживал это охлаждение совсем по-иному, как измену братскому долгу. И может быть, от этого, от невозможности с первого дня наладить

между собой и Душаном полюбовные, братские отношения, Амон выглядел неестественно веселым, шумным.

Амон не то чтобы возмужал с тех пор, как братья виделись в последний раз на его свадьбе, он огрубел, все в нем затвердело, и эта твердость в характере, что вылилась в нем так неожиданно вопреки тому, что все в детстве пророчили ему гибкость, покладистость и доброжелательность ко всем, и смущала чем-то Душана, не позволяя ему привыкнуть к его манере держаться, говорить. Мясистый нос его еще больше навис над губой, и, может быть, от этого речь его была свистящей и вялой, будто говорил он все необязательное, интересное только ему одному.

В первый же день Амон пришел с женой Мавлюдой, а она как глянула с порога на Душана, так весь вечер смотрела на него удивленно, будто не узнавала его, и, не молвив ни единого слова, сидела напряженная, чуткая, стараясь понять и почувствовать Душана, показавшегося ей совсем другим. Словом, каждый из них, людей кровных и близких, обнаруживал теперь друг в друге такую непохожесть, такое непривычное несоответствие с ранее прочувствованным и запомнившимся, с тем, что делало их безошибочно любящими друг друга и всех вместе, что каждый был вправе усомниться, а были ли они близки вообще когда-нибудь?

Амон ерзал в беспокойстве, чувствуя себя неуютно за столом и раздражаясь тем, что Душан своей угрюмостью подавляет его. Поговорили и о соседях, с которыми много лет были в натянутых отношениях, и все из-за ничего, из-за чисто бухарского желания казаться умнее и ловчее живущих напротив.

— Эх, брат, брат мой любимый... Жизни в тебе мало, сегодняшней, суетливой жизни совсем нет... Иной Амин утром едва глаза откроет, шсвелнет рукой — и уже преступное само к нему лезет, чтобы в кулак он его зажал, ибо за ночь кровь в нем так сгустилась... Тебя совесть мучает, я знаю... И ты от нелепости своей страдаешь, от неумения шаг правильно ступить...

— Ну, ты мрачно... — пытался возразить Душан. — Хотя все, должно быть, ты верно говоришь, ибо видишь изнутри. А я, брат, и не замечаю всего этого, преступно-наказуемого. Меня другое смущает... что не ладится что-то между всеми, будто души замкнули... Суета, тоска... Не в лишних тысячах дело — это пустая материя...

Душан помнил, что среди семейных историй самой

банальной была история сватовства старшего соседского сына Гани за Мастуру. Но дедушка, не пожелавший выдать свою дочь за городского олуфту*, отослал назад сватов вместе с их подарками. Мирзаевы посчитали это за такое оскорбление, что буквально на следующий день была объявлена семейству Темурий война — несколько пустых бутылок были разбиты вдребезги об порог их дома и посыпаны солью осколки, чтобы всяк выходящий помнил, что за воротами дома его ждет презрение соседей.

Бабушка сказала тогда о Мирзаевых:

— Подумать только, эти неучи захотели породниться с домом, который в квартале называют «Тахти куча»**!

Мирзаевы, понимая, что все это сказано скорее от неуверенности и растерянности, пользовались, несмотря на свою неученость, более изящным оружием — иронией. Механики, мясники, заведующие мебельным магазином — «хозяйева жизни», они отлично знали, что нынешние врачи и мечтать не могут о «широком восточном размахе» во всем и вынуждены изо дня в день довольствоваться тихим существованием.

— Чарли! Чарли! — кричали братьям вслед Амин и Рахмат. — Вы забыли дома свои клоунские тросточки!

В этой «тросточке клоуна», кроме юмористического, был скрыт еще и зловещий смысл, который младшие Мирзаевы и обыгрывали, ибо трость в руках мальчиков — символ скорби и сиротства, опершись на нее, идут впереди гроба отца...

Амон крепко побил Рахмата, выследив его возле дома, но Мирзаевы решили деликатно замять скандал, ибо, должно быть, приберегли на будущее более тонкую, в бухарском духе месть.

Сватавшийся Гани сейчас управляет всем торговым делом в городе, живет в особняке в самом прохладном квартале, возле Шергиранских ворот, остальные же братья, поделив между собой родовой дом, теснят семью Темурий, пристраивая к своему дому новые комнаты, живут несколько семей с общим котлом, в то время как семья Мастуры расползлась, распалась...

— Вот так, брат, — вдруг помрачнел Амон. — Но это не конец... Наш род Темурий еще воспрянет!

— Не надо о них, неинтересно, — слабо возразил Ду-

* Олуфта — франт.

** Тахти куча — «Трон улицы».

шан.— Ты лучше что-нибудь вспомни из своей жизни, чего я не знаю и чему можно радоваться...

Но Амон, в душе которого, должно быть, накопилось злого и горестного о Мирзаевых, услышав просьбу Душана, досадливо поморщился, подумав, что брат испугался чего-то.

— Я ведь на тебя надеюсь... Пусть все они... и я в том числе, пусть все мы изворотливостью и плутовством возьмем, но ты — умом. Ум у тебя странный, но светлый, а я — плутишка, прости меня, брат... Я старцу нашему улыбаюсь, и змеиным ядом поясницу ему растирал однажды... Прости, из меня глупость прет...

Амон размяк, скис и попытался встать, чтобы уйти, но пошатнулся и, ухватившись за раму окна, уставился на вошедшего во двор, невозмутимого и тихого, без лишнего шума и скрипа своим ключом отворившего ворота.

Это был Юртаев, приятель отца, часто приходивший раньше, но затем исчезнувший напрочь с отъездом отца, а теперь опять объявившийся. Мать попросила Юртаева помочь Душану, и следовательно не только помог в одном щекотливом деле, но и бескорыстно, на правах друга семьи, еще и опекал Душана, дабы не попал он снова в нелепую историю. И чтобы даже в мелочах не чувствовал он препятствия, Юртаеву был выдан ключ от дома, и в любое время, если путь его пролегал по улицам «Суфиёна», мог заглянуть в дом Темурий, чтобы перекинуться с Душаном двумя-тремя ничего не значащими фразами, вроде: «Где думаешь кончать десятый класс? И в вечерней школе, конечно, неплохо, если прилежно...», «Хорошо, конечно, еще немного побездельничать, отойти, но знай, что работа не любит, когда ею долго пренебрегают», — все вроде бы участливо, без нажима, даже афористично: «Работа не любит, когда ею долго пренебрегают».

Все терпимо, только Амон почему-то выходит из себя, если видит Юртаева. Может, чувствует себя ущемленным, когда чужой человек вот так спокойно открывает ворота их дома и заходит с невозмутимым видом, словно он на равных правах со всеми владелец.

Увидев вошедшего Юртаева, Душан побледнел и встал, чтобы выйти ему навстречу, но Амон, строго приказав ему оставаться на месте, сам выбежал во двор.

Душан сел, желая сосредоточиться, чтобы отвечать Мавлюде, которая вдруг заговорила быстро и без пауз, но не мог, смотрел в глубину двора, где объяснялись сейчас Амон и Юртаев.

— Укем ба хаккаш расид, кози, мухр пахш кунед, охир!*— услышал он слова Амона, сказанные со смешанными нотками подобострастия и упрямства.

Душан не разбирал слов Юртаева, только по тону чувствовал, что пытается он что-то терпеливо втолковать Амону, но Амон, должно быть, превратно понимал смысл его вежливого тона, чувствуя в этом растерянность следователя. Душан, испугавшись, как бы Амон не наговорил грубого, бросился к окну, чтобы позвать его, но Амон вдруг схватил Юртаева за руку, пытаюсь потянуть его за собой в комнату.

— Уважьте хоть раз, посидите с нами, мы хоть и не следователи, но и у нас во рту мед тает, и мы поем сладкоголосо... Особенно моя женушка-соловушка...— говорил Амон и всерьез и с мольбой, уничижительно и с иронией...

Юртаев, не зная, как от него отделаться, попытался освободить руку, но Амон крепко вцепился, насулившись.

— Ичкан сан, юкол!**— вдруг не выдержал и крикнул на Амона Юртаев.

Душан в смятении хотел было выскочить во двор, чтобы извиниться за грубую выходку брата, но остановился возле порога, только теперь сообразив, что одернул Юртаев брата, сказав свою фразу по-узбекски.

Душан близко познакомился со следователем в тот день, когда, сбежав из интерната, попал в нелепую историю, и уже успел подметить его некоторые странности и привычки. Одной из его таких странностей было желание осадить, одернуть собеседника неожиданным переходом на узбекский язык, хотя говорил по-узбекски ломано и коряво, с чисто бухарским произношением, смягчая и проглатывая гласные звуки.

— Я ведь с вами так... как со старшим братом. Ду-мал, за столом смягчимся, развеселимся. И я бы обнял вас как нашего покровителя,— говорил Амон, провожая Юртаева к воротам и все извиняясь. Но едва закрыл за ним ворота, как опять выпрямился, почернел от злости и, вбежав в комнату, бросился к Душану, прижимая его к стене.— Ну, что это ты натворил такое?! Полоумный! Я бы убил тебя, если б не был с тобой одной крови!

Мавлюда вскрикнула, хотела вмешаться, чтобы раз-

* — Брат же мой уже получил сполна, так поставьте наконец свою печать! (тадж.).

**— Ты пьян, с глаз долой! (узб.).

нять их, но Амон оттолкнул ее, а сам пошел и сел на стул, тяжело дыша.

— Все у тебя шиворот-навыворот! Иной мать свою родную продаст, жену, детей-малюток, чтобы только в тюрьму не угодить, а этот... чистый... подлец ты этакный, невинный... ему дурь в голову ударила, блажь... Ты слушай меня, брат.— Он схватил Душана за руку и усадил рядом с собой за стол, всматриваясь ему в глаза с подобострастием.— Я две тысячи рублей выложу, слышишь? Две выложу, чтобы только Юртаев этот перестал ходить сюда, чтобы отстал... Надо ему как-то все это по любовному, по обоюдному согласию... эти тысячи преподнести. Давай обмозгуем вместе, как это сделать?

— Да что ты!— только и сумел возразить на это Душан.— Он ведь и плохого ничего не делает...

— Он что, отец, опекать тебя?— не успокаивался, ходил взад-вперед Амон.— Я, брат, подозрителен стал. Может, это и плохо, но Юртаев мне подозрителен чем-то... Лежишь на диване, расслабившись, чай пьешь, а он уже в окно смотрит, тихо, значит, ворота отворил нашего дома...

Душан, не совсем внимательно слушавший его, вдруг спросил о том, что его взволновало:

— А откуда они у тебя? Эти тысячи?

— Я могу и больше,— начал было хвастливо Амон, но Мавлюда, сидевшая все так же тихо, неожиданно резко швырнула мужу в лицо его шляпу и крикнула:

— Собирайся домой! И не смей впутывать Душана в эту историю с двумя тысячами!

— Да, да, домой,— неожиданно покорно проговорил Амон и пошел прямым и твердым шагом к воротам, будто и не пил вовсе, не злился на Юртаева и не хвастал деньгами за столом,— все позабыл и уехал с женой в свою квартиру в современном бетонном районе города.

А Душан постоял в тишине двора, чтобы подуматься о Мавлюде, ибо его тронуло то, как она сказала мужу, запретив впутывать в дело с тысячами рублями...

С тех пор как Душан увидел ее мельком в интернате перед самой свадьбой, Мавлюда еще больше похорошела. Но тогда ее миловидное лицо ничего не выражало, кроме своей естественной привлекательности и чистоты, за которой скрывались робость и мягкость. Сейчас тонкие черты ее лица резче и выпуклее подчеркивали красоту молодой женщины... но вдруг это вылезло из нее — властное, даже сварливое.

«Это, должно быть, Амона нрав ее портит», — подумал Душан, чувствуя горечь от того, что и они с братом как чужие.

Но похоже, что Амон больше переживал их отчужденность. Уже в самый первый день, когда Душан вернулся из интерната, появилась в семье напряженность. Душан не желал жить с матерью в доме Наби-заде, Амон же не хотел, даже на время, переселиться из своей квартиры в родовой дом, чтобы не оставлять брата в одиночестве.

— А на что я ему? — возражал Амон, желая грубостью скрыть давнишнюю обиду. — Он ведь со мной как чужой, а я душой тянулся и чувствовал лишь холод...

Благо, деревенский дед согласился приехать, хотя Душан после шума и скрежета интерната желал лишь одиночества. Двор и дом выглядели другими — перестроенными, перекрашенными, и все же Душан замечал в нем еще немало штрихов, узнаваемых, вспоминаемых. Все та же серая крыша с пучками засохшей прошлогодней травы, только теперь это была не крыша прохладного навеса. Для того чтобы из летней комнаты пройти прямо к навесу, обе яблони в палисаднике были срублены и верхняя площадка расширена, а виноградник, который тянулся над нижней площадкой, задыхался от тесноты.

И Душан, с удивлением и досадой всматриваясь во все это, ходил по дому, потерявшему свой прежний облик и похожему теперь на опустившегося полубродягу. Неожиданное появление Юртаева снова взбудоражило его, а злобное поведение Амона показалось ему до того унижительным, что в эту ночь он долго не мог уснуть.

Он думал о том, что бывает такой момент, как вспышка, обжигающая, смертельная, когда, не помня себя, несешься к опасному с таким отчаянием, с ощущением сладостного освобождения, будто это и есть выход из тупика. И кажется тогда, что только страдание, о котором доселе и не помышлял, может возродить, освободив от всего мелкого и капризного, ложного...

Это, видно, накапливалось исподволь, но последний год в интернате казался Душану особенно бессмысленным, наполненный чем-то, от чего тоска схватывает, — и главное, все это тянется изо дня в день, без просвета. И тут вдруг его осенило как спасительное: а что, если пострадать за что-нибудь, помучиться, пусть даже несправедливо, — не будет ли это встряской? Не это ли смятение заметил в нем Аппак, когда предостерег Душана перед самым его побегом из интерната: «Поберегись, Шан...

Давно хотел тебе сказать: куда-то тебя клонит к опасному. Ты спокоен, трезв... но вдруг такое выкинешь, просто ахнуть можно!»

Доктор Туя-Казаков, беседовавший потом вкрадчиво с Душаном, высказал свое, в общем-то неоригинальное психиатрическое суждение, мол, в таком опасном возрасте, когда Душан не ощущал уже себя отроком, но еще не преодолел, не вошел естественно и безболезненно за черту юношеского возраста, и бывают шоковые состояния, похожие на сумасшествие, когда, преодолевая отчаяние, хочется выкинуть нечто из ряда вон, чтобы поразить и себя и окружающих.

Но все дело в том, что Душан не сам это сознательно выкинул, а все вышло нелепо и неожиданно.

Огородами и задними дворами убежал он в ту ночь с дровосеками из Зармитана. Шли вроде бодро, болтая, они — с топорами за плечами, Душан — подняв над головой палку с двумя узелками на конце. А кругом прозрачно, умиротворяет слабый свист цикад... И так шли по проселочной дороге, поглядывая на затухающие огни Зармитана, пока не решили наконец свернуть на широкую дорогу. Свернули, и тут свет фар неожиданно ослепил — дровосеки заметались было, но попадали на землю, чтобы уползти в кусты, Душан же стоял, ничего не соображая и оттого не чувствуя ни страха, ни удивления... А из двух машин, преградивших им дорогу, уже выбежали люди в форме и стали издалека, делая какие-то замысловатые прыжки, окружать...

Дровосеков тут же затолкали в машину, но Душана почему-то сразу не тронули, и он стоял, растерянный, не зная, влезать ли и ему в знак солидарности с дровосеками в машину или же сделать вид, что не знаком с ними.

Один из нападавших, в белой рубашке и штанах, видно, только что поднятый с постели и не успевший набросить на себя китель, вырвал у Душана узелок и стал лихорадочно рыться в нем, поднося каждую вынутую вещь к ярким фарам машины — моток веревки, стоптанные ботинки, детские пеленки. Заметив на его лице досаду, Душан сам протянул ему второй узелок, тот в нетерпении разорвал узел и потянул черную вещь, которая оказалась синтетической шубкой.

— Вот пропажа, — без особого восторга, будто почувствовав нервный спад после преследования, произнес мужчина, и один из постовых кивком головы приказал и Душану занять место в машине.

В тесной машине с одним маленьким окном, прижавшись плечом к дровосеку помоложе, Душан, не чувствуя ни страха, ни даже растерянности, ощущал сопричастность и желание разделить весь позор, все унижение, которое могло ожидать теперь дровосеков. Это желание до конца быть вместе с теми, с кем тронулся добровольно в путь, не хитрить, не отречься, так вдохновляло его, что Душан чуть было не заплакал от обиды, когда молодой дровосек, едва поместили их вместе в одной комнате зармитанской милиции, шепнул Душану:

— Ты себя с нами не путай... Скажешь: сам своим ходом шел, и никто меня на кражу не подбивал...

— А вы ведь и не подбивали,— удивился Душан и с раздражением глянул вокруг, на стены комнаты с сырыми пятнами...— Я сам... и отвечу за себя... И вас не подведу...—И, услышав, как говорят они между собой о том, будут ли их допрашивать вместе или каждого в отдельности, нашел все это таким забавным, что стал с нетерпением ждать первого вопроса.

Он попытался было простодушно шутить, но напарники были так мрачны и насуплены, что Душан наконец понял, в какую серьезную историю они попали.

«А вдруг в тюрьму посадят?!»— подумал Душан, чувствуя нестерпимую тоску, желание тут же постучать в обитую железом дверь, кричать о своей невинности. Его смущало и то, что он снова в Зармитане, в десяти шагах от интерната. Он напряг память и представил всех своих, как лежат они перед сном, не шелохнувшись, почти не дыша, а между кроватями, еле передвигая располневшие ноги, ходит тетушка Бибисара. Аппак, конечно же, заметил, что кровать Душана пуста, и шепнул, посмеиваясь, Шамилю, что после первого неудачного порыва к Гульсум бухарца снова потянуло... не успокоится, пока не отдастся полностью манящему, порочному...

Мысль о том, что вся его жизнь может теперь резко измениться, пойти неожиданным путем и что это новое, каким бы оно ни было ужасным, нелепым, и есть, наверное, спасение и выход, стала успокаивать Душана и казаться ему привлекательной.

Это новое, неизведанное, щекочущее нервы показалось Душану таким желанным, что он радостно и обреченно решил про себя: «Пусть посадят. Куда они, туда и я, не отрекусь от них и не продам... Надо, чтобы мне было трудно, нестерпимо трудно...» Он думал обо всем этом искренне, не рисуясь, не лукавя, ибо не было в нем

еще опыта вины, заточения, позора, всеобщего порицания, всего, что связано с заключением, и потому тюрьму он воспринял как место, может быть, суровое, со своими правилами, ущемляющими свободу и волю, но несколько не оскорблявшими...

Воодушевившись своим решением, Душан хотел было сказать об этом дровосекам, но те, оказывается, уснули безмятежно,— видно, не впервые ночевали в заточении. Зато утром они удивили и поразили Душана, когда сказали на допросе, что никогда не видели злополучной шубы и что если бы знали, что этот сбежавший из интерната еще и шубу украл, то сами тут же выдали бы его первому попавшему постовому.

Ведущий допрос в какую-то минуту, должно быть, поверил им, и дровосеки, переглянувшись между собой, облегченно вздохнули. Слово за слово выяснилось, что синтетическая дрянная шуба принадлежит жене одного из милиционеров и после чистки висела во дворе на веревке. Дровосеки, забирая все без разбора у зазевавшихся зармитанцев, вместе с мешками, сапогами, пеленками прихватили и шубу, и Душан уже готов был взять часть их вины на себя, если бы не повели они себя так непристойно, сразу же отрекшись от него.

— Так, значит, ты украл шубу?— спросил лейтенант, но как-то вяло и, кажется, без особого интереса.

Услышав, как он говорит, Душан возмущился не столько самому тону лейтенанта, который спросил так, будто утверждал давно известное, сколько тому, в чем Душана подозревали. Эта пошлая шуба, эта банальщина для скудного на воображение мелкого ворюшки... Неужто он... неужто Душан, если бы решился на что-нибудь из ряда воп, скандальное, потратил бы свой порыв, всю игру ума на мелкую кражу?

Спросивший ждал, пока Душан справится с волнением, и долгое его молчание воспринял как обычную в таких случаях уловку.

— Тебе ясен мой вопрос?— спросил он по-прежнему безучастно.

Те двое дровосеков в нетерпении встали со скамьи, затем опять шумно сели.

— Ясен...— проговорил Душан.— И вообще мне все ясно...— как-то загадочно добавил он, и вдруг, не выдержав нервного напряжения, захохотал. И услышал сквозь хохот следующий вопрос:

— А из интерната ты действительно сбежал?

Вопрос этот показался Душану более серьезным, более укоряющим, чем с шубой, и, почувствовав себя неуютно, Душан отвел глаза.

— Сбежал... — тихо произнес он.

Лейтенант повернулся к нему боком, словно с Душаном ему все было ясно, и сказал сержанту:

— Ты этих двоих в третью комнату отведи. И пусть все письменно изложат и подтвердят.

Сержант с готовностью стал выталкивать дрезосеков за дверь, приговаривая:

— Расписку дадите и сразу же прямым из Зармитана, — а те успевали и подобострастно кивать лейтенанту, и направлять мрачные взгляды в сторону притихшего Душана.

— А ты подожди в соседней комнате, — сказал лейтенант Душану так, будто сам перестал верить во все то, что происходило в его кабинете, будто была это какая-то неумная, никчемная чья-то прихоть... с этой дурацкой шубой, расписками. Лейтенант был растерян, ибо не чувствовал в себе твердой воли... что-то размягчило его, разморило, и он вдруг стал зевать, долго и часто, полусонно моргая и опуская глаза... может быть, прямой, честный взгляд Душана волю его разжижил, твердость разбавил сомнением...

А Душан, сидя в совершенно пустой, пахнувшей кле-ем комнате, где была лишь одна скамья без стола напротив, без шкафа, чувствовал себя обманутым и оскорбленным. Переживая все это, Душан нечаянно уснул, растянувшись на скамье, гладко отполированной телами многих заключенных до него...

А когда проснулся, мрачный, с тяжелой головой, сразу же услышал за дверью голоса: Пай-Хамбарова, матери... — а мать откуда здесь? — и еще чей-то, очень редко вмешивающийся в спор чужой голос, который возражал Пай-Хамбарову. Мать же, видно, как обычно, металась без своего мнения, кажется, соглашаясь и с Пай-Хамбаровым, но плачем своим, похожим на причитание, вроде бы и возражала директору интерната. И только слова лейтенанта разобрал Душан, потому что недавно слышал его и видел, прочувствовал всего, и то, что он отвечал теперь каждому, было как бы продолжением разговора с самим Душаном.

— Не знаю, решайте сами... Я на все согласен... — И хотя он говорил это тише всех, не споря, не возбуждаясь, как Пай-Хамбаров, Душан понимал только его до-

воды, ибо мать и директор появились так неожиданно, что не могли настроить на свою волну Душана, сколько бы тот ни напрягался.

Дверь широко распахнулась, и мать с плачем бросилась его обнимать, приговаривая: «Боже, что с тобой сделали? Где ты? В пустой комнате, на скамье... и уснул...— Показала на незнакомца:— Поздоровайся... папин давний друг... следовательно, товарищ Юртаев.— И кивнула в сторону Пай-Хамбарова, стоявшего с горделиво-оскорбленным видом:— И любимый директор твой так огорчен...— И сделала нервный жест по направлению лейтенанта, который продолжал сидеть за столом в своем кабинете, просматривая какие-то бумаги:— А товарищ лейтенант тебя отпускает...»

Мать в своей искренней радости делала столько лишних движений и жестов, что Душан не успевал следить за направлением ее руки, только растерянно глянул в глубину, на лейтенанта в соседней комнате и, не сдержавшись, воскликнул:

— Как отпускает? Куда?

Никто, кажется, не обратил внимания на его странный вопрос, и только Пай-Хамбаров, думавший, как воспользоваться остротой момента для своих воспитательных сентенций, сказал строго:

— Ну, беглец... здравствуй... Помнишь, недавно мы говорили с тобой о кризисе... В опасном возрасте частенько выкинут из ряда вон... этакое... экстравагантное. Выкинут и смиряется... А мы, ваши воспитатели, разве не делали все, чтобы ваш шаг, который мы называем «вывихом», не привел к чересчур опасному, преступному? Все мы реалисты, что там скрывать. Я ожидал от тебя Темурий, всего. Думал даже, что будешь волочиться какой-нибудь зармитанской красавицей и забросишь учебу... Но этот твой шаг... бегство из интерната — в голсе не укладывается! И это после девяти лет воспитания, заботы... всего доброго, чем был ты окружен...

— Проклятые матчи!— вдруг воскликнула мать. Отец Душана когда-то приревновал меня к одному... колот у нас дрова... Они ведь воры, бродяги, убеж он меня,— и правда!

— Ты тяжко оскорбил не только меня, своего директора,— продолжал, нисколько не изменив тона, Пай-Хамбаров, все больше обращаясь почему-то к Юртаеву. Оскорбил воспитателей, ребят, с которыми рос и учился. Разве они это простят? Такое не прощается! И если с

не слезная просьба твоей матери и заверения товарища следователя из Бухары... мы бы еще подумали: принять тебя назад в интернат?.. И хотя факт кражи тобой шубы до конца не установлен... а товарищ лейтенант вообще сомневается... а я верю его сомнению, ибо не мог же я, прости меня, все девять лет воспитывать мелкого воришку... Мать твоя клятвенно заверяет, а следователь на основе тонкого анализа подтверждает твою невиновность... и хотя пострадавший, у жены которого унесли шубу, все же настаивает на наказании, мы посовещались и решили, что коллектив интерната на один год, до конца твоей учебы, возьмет тебя на поруки...

Душан, все это время нарочито бесстрастно слушавший несколько путаную речь Пай-Хамбарова, то отходя на шаг от стены, то прислоняясь к ней, вдруг усмехнулся, явно не ожидая такого поворота.

— Не пойму: крал я или не крал?— спросил он с вызовом.

Мать вскрикнула и подбежала к нему, но, прежде чем успела что-то возразить, Пай-Хамбаров сказал, обозленный такой дерзостью:

— Это ты совесть свою спроси. Она знает...

— А почему это: на поруки, если, как вы говорите, я не крал?— продолжал язвительно спрашивать Душан и хотел еще что-то добавить, возмутившись, но мать не позволила, схватила его за руку:

— Умоляю... не спорь, смирись...— И потянула его, крепко держа за локоть, через кабинет лейтенанта к выходу, все приговаривая от растерянности:— Как стыдно мне... как горько...

Душан весь сжался, выйдя на улицу, и зашагал за Пай-Хамбаровым в сторону интерната. Мать по-прежнему не отпускала его руки, чувствуя, как с каждым шагом в Душане накапливается сопротивление. Душан и думать не желал о том, как войдет он сейчас в ворота интерната и как встретят его учащиеся, которые, конечно же, все до единого уже знают о его бегстве.

Душан прошел мимо аптеки, вспомнил почему-то Болоталнева, бегавшего по ночам к Гульсум, повернул за всеми в сторону базара. И вдруг упрямо стал и заявил:

— Нет, не пойду в интернат... Не надо, опять сбегу. Сегодня же ночью сбегу... куда-нибудь в пустыню, к геологам...— Говорил он все это торопясь и был многословен оттого, что хотел убедить, в злости отдернул руку и

сел на скамью с таким видом, что даже бесстрастный Пай-Хамбаров смутился. Мать же, растерянная, беспокойная, глядела на Юртаева, ища у него поддержки, и повторяла:

— Образумься... не надо.

Юртаев хотел было пристыдить, начав назидательным тоном, но, не выдержав холодного, насмешливого взгляда Душана, только пробормотал:

— И это в то время... когда все вроде наладилось... Нельзя так жестоко с матерью...

Душан, видя, как все они, не ожидавшие такого поворота, разом лишились уверенности, сказал угрожающим тоном:

— Иначе я всем буду говорить, что украл... Пусть гонят из интерната!

— Да что ты?! Ты наговариваешь на себя?!— снова всплакнула мать, но Юртаев отвел ее в сторону и зашептал тревожно, чтобы Душан не слышал:

— Надо увозить его отсюда... Это опасно, что внушил себе, будто это он украл...

Пай-Хамбаров постоял, удивленно пожимая плечами, затем вдруг вспомнил о чем-то и заторопился:

— Вы здесь решайте... А я в интернат. Уйма дел, печальное событие, которое из головы вылетело... Бывший наш директор скончался, Аблясанов... Хоронить будем...— И, повернувшись к Душану, с ноткой грусти в голосе сказал:— Да, Темурий, не успеешь ты доехать до своей Бухары, как забудешь... все, чему мы тебя учили — добру и наукам... Забудешь наше и постарайся все заново постичь сам... но уверен, друг мой, опять впадешь в заблуждение... Умоляю, помни хотя бы это... притчу о коне и черепахе... Хотя бы ее. И знай, что я ее сам сочинил... Так, балуюсь иногда сочинительством — влияние Гёте...

«Сердце дышит безответно... Вечно молодым огнем...»— вспомнилось сейчас Душану, и он улыбнулся, почувствовав успокоение. Эта строка любимого стихотворения Пай-Хамбарова своим звучанием как бы разбавила горечь и примирила его с тишиной этой ночи, со двором за окном, откуда повеяло прохладой... И, умиротворенный, он задремал, привыкая к странному ощущению того, что он один в большом доме, и, наверное, это чувство одиночества еще какое-то время держало Душана в состоянии полуяви-полузабытья... и вдруг почудилось ему сквозь дрему, как кто-то из близких, одной с ним

крови, окликнет его, ищет в потемках, на ощупь...

Душан почти физически ощущал его прикосновение. Сел на кровати, дрожа телом и прислушиваясь: уже и собака не лаяла, и соседи за стеной легли спать, только изредка ветер шумел в пожелтевших листьях винограда-ника.

Душан встал, вышел к воротам и всматривался в черную полосу переулка — серые, дрожащие блики молодой луны, едва касаясь стен, как бы уходили сквозь них во дворы, в соседний двор, чтобы коснуться лица спящей Бунафши... Что это было? — спрашивал себя Душан. Что встревожило? Бунафше ли приснился тот день на чердаке?

Душан дошел до конца переулка и вдруг у самого поворота на большую улицу различил знакомый силуэт и, пораженный, боялся окликнуть, словно от звука его голоса привидение в облике деда могло тут же исчезнуть, забежав в ворота, возле которых дед сидел на камне.

— Сверчок, — позвал его дед и, не вставая, обессиленный, протянул руки, и Душан, все еще не веря своим глазам, уткнулся лицом в колени деда, чувствуя родственное, защитное и все повторяя в изумлении:

— Как же вы так? Сами шли? Я как чувствовал...

Дед встал, опершись о плечо Душана, и Душан еще больше удивился тому, каким стал дед другим после их последней встречи в интернате: ростом вроде ниже, и весь притих, оробел... не хохотал уже, не ходил шумно и быстро, не ругал по всякому поводу и без повода эту жизнь, а дал слово самой жизни быть с ней деликатным, неназойливым...

— А я хожу и ишу... помню, что у ваших ворот стоял круглый камень: когда мне было тесно во дворе, я выходил и садился на него... — говорил дед. — Ощупаю в темноте камень, стучусь в ворота — выходят... чужие. Людей зря тревожил...

— Мама ведь знала, но в суматохе забыла сказать, что вы едете, — отвечал Душан, обнимая деда за плечо и радуясь, что сегодня наконец он уснет сладко, потому что будет ощущать рядом дыхание близкого человека. — А я задремал было, но чувствую голос... И вышел навстречу... А камня уже нет у ворот. Амон раздробил ломом, мол, некому теперь сидеть вечером на улице. Телевизор смотря...

Но Душану так и не удалось уснуть в эту ночь, да и не хотелось, он все смотрел на деда, слушал его, удивляясь, словно видел перед собой совсем другого человека. Пышную, «языческую» бороду свою он сбрил наполовину, сделал клинышком, как у старых городских учителей в медресе.

— Отец не объявлялся?.. Остался без жены и детей... Вторая жена — это не жена, а так... чтобы естество свое скормить... Одиночество и старость свою усыпить... А старость ведь бывает и сумасшедшей, если поддаться ее прихоти... Вот у тебя сейчас дух бродит, все ищет, и сотворяет он тебя из двух своих начал — светлого и темного. И держит в равновесии. И тогда и семья тебе в радость, и работа, и жизнь вокруг... А к старости дух устаёт от самого себя... и выскакивает в сторону темного, глупого и сумасшедшего... Было и со мной такое,— признался дед,— но я обуздал... сел на себя верхом и давай хлестать себя, кентавра. И, видимо, даже переусердствовал: вдруг больше человеческого выползло — стал тише и тоскливее... Ну а о женщине со вторым мужем и разговора нет...

— Значит, и вы... не одобряете Наби-задс?— осторожно, будто стыдясь своего вопроса, спросил Душан.

— И мать твоя, наверное, чувствует, что все это непрочное,— уклончиво ответил дед.— И потому бегаёт сейчас и умоляет... собрать всех хочет, и дальних и близких родственников, чтобы жили все вместе... И мне палисала, чтобы с тетей твоей — Рабией переехали мы сюда. Я бы ещё стерпел — сидел бы весь день на камне у ворот и так бы кончил свой век. А что делать Рабие? Она ведь вся деревенская... А идти на пятом десятке женщине на текстильную фабрику и переучиваться... Не знаю!..— Дед умолк, и они долго лежали, каждый на своей кровати, но не шелохнувшись, будто боясь дышать, ибо было уже то время, далеко за полночь, когда все вокруг: и шелест листьев во дворе, и короткие лучи луны — настраивало на загадочный благоговейный лад, на легкую грусть, которая непонятно отчего захватывала сердце и, сжав его, отпускала, будто не легкие дышали полной грудью, а сердце, короткими и тревожными толчками... И все оттого, что человек, готовя себя ко сну, вдруг обманул ночь, не уснул, а ночь туманила его голову, сладостно и обманчиво дурманила...

Душан вспомнил: такое же странное и непонятное чувство пережил он когда-то давно в доме деда, вспо-

мнил, как дед возмущался: «Не нужны эти копейки, так — в бегах по конторам да адвокатам взятые!» — и, услышав, как дед тихо кашлянул, проверяя, уснул Душан или нет, сказал:

— А я, дед, тоже в странную историю попал.. Думал: посадят. И совсем не страшно мне стало, а наоборот: жутко мне захотелось проверить себя. Жутко! — повторил Душан и засмеялся. — Сначала не знал — почему. Сбежал из интерната и думаю: куда теперь? Пусть хоть в лагерь. Нового захотелось, дерзкого. Бывает же: назло делают. Вот и хотел я себе назло, всем назло — все это трудное вынести... Смешно! А потом, когда остыл, стал думать: что за блажь такая? Как гипноз! И вдруг вспомнил, как отец с бабушкой когда-то говорили, что ничто плохое в роду не проходит даром. Если ты сделал дурное и сам не отвегил, обязательно кто-нибудь следующий в роду ответит за тебя... И я подумал: наверное, мой черед отвечать за неправильную жизнь... может, отца... а может, еще кого-нибудь из близких, не знаю...

Дед ответил не сразу, и Душан даже подумал, что, не дослушав его длинный рассказ, утомленный, дед уснул. Приподнялся, чтобы посмотреть, ибо то, о чем он рассказал, все еще волновало Душана и не давало ему покоя. Услышав, как скрипнула кровать Душана, дед сказал:

— Мать и об этом мне написала... Вообще-то справедливо, когда каждый сам за свое дурное отвечает... Но если верить тому, что бабушка-покойница говорила, то получается, что я в своем заключении ответил за грехи тех, кто был до меня и кто еще не родился... может, и за грехи твоего будущего внука...

Это неожиданное признание деда так взволновало Душана, что он резко сел, свесив ноги, и умоляющим тоном, не думая о том, что дед может быть уже в предсонном забытии, попросил:

— Расскажи, дедушка! Как хорошо, что мы с тобой говорим обо всем этом! Я как-то давно, мельком слышал... не помню уже от кого, что ты сидел... но тогда я не придавал этому значения и забыл. Недаром я всегда чувствовал, что мы с тобой — ты и я — ближе всех остальных родственников... А бабушка, может, из-за ревности наговаривала на тебя...

— Это она так, не от злости, — глухо отозвался дед, а может, темнота комнаты исказила голос, который Ду-

шан так жаждал услышать. Помолчав немного, дед добавил:—Удивительная женщина была покойница... Одна из самых богатых в городе, семья ее лишилась всего... Через голод прошла, войну, а все же сумела остаться и прожить в своей эпохе до конца жизни, пребывая в каком-то чистом, детском неведении... И современность оставила ее в покое, не касалась, будто был между ними негласный договор... Я же в заключении и понял, что эпоха моя кончилась... еще задолго до отведенного мне жизнью срока... Ты задумайся над этим и поймешь, что все—и время, и отдельный народ, и отдельный человек рождены лишь для своей эпохи... и только для нее. Брось сейчас в нашу эпоху какого-нибудь хорезмийца из времен Чингисхана — и он тут же погибнет... А я так старался попасть из своей эпохи в нашу... все делал, чтобы жить в ней... но не сумел... не судьба...

Душан не все понимал из сказанного дедом, хотя и напрягался, но сама беседа так взволновала его, что он вдруг удивился своей словоохотливости и откровенности, не зная еще, что это просто нервный выход, разрядка после стольких дней суматохи.

— А за что тебя?— спросил он торопливо.— Справедливо ли?

— Да как тебе сказать... справедливо или нет? Работал я тогда в ремесленном училище. Директором — вот как высоко взобрался!— тихо засмеялся он и продолжал так, будто рассказывал о ком-то чужом, удивляя Душана своим бесстрастным, даже равнодушным тоном.— Словом, вину мою нашли в том, что взял я на работу сторожем сына богатого торговца каракулем... Не знал я про этого торговца... да и самого его давно не было в живых... Может, и еще что было за ним — не знаю. А я наивно говорю: при чем здесь сын? Ведь не он торговал и обманывал народ... Да и не бухгалтером же я его взял, а обыкновенным сторожем... Ему даже меньше, чем тебе было — лет шестнадцать... Жить-то ему как-то надо было. И мать-старуху кормить... И вот тогда уже, сидя в лагере, понял я простую вещь: жизнь, она штука густая, из цельного гранита сделана — такая твердая, что захочет — покроется потом, захочет — всегда сухой и жаркой останется, и нет в ней такого понятия, как справедливо — несправедливо... Человек бьется над этим, голову ломает... А жизнь — таваккал... судьба... что на лбу написано. Это и есть ее высшая справедливость. И справедливым оказалось то, что там в лагере и кончилась

моя эпоха, а для этой, новой, я не подходил... И мудрость жизни в чем? В том, что она не искушала меня, не обманывала, не водила за нос. Взяла, разом отрезала и отрезвила... хотя я и очень старался, очень хотел пожить в ней... а получилось, что и я, как тот, из времен Чингисхана...

Дед умолк, и Душан, с какой-то досадой теперь и обидой слушавший его, подумал, что дед продолжит. И, боясь, что дед так и не договорит, не прояснит то, что требовало возражений, проговорил робко:

— Выходит, вы и не жалеете, что вас несправедливо?.. Ведь поступили-то вы правильно с сыном торговца, по чести. Помогли человеку... А то, что в эпоху не попали... Да как это? Вы ведь живете... И как вы старались — тоже не пойму? Вы ведь не хитрили и не приспособлялись...

— Нет, не приспособлялся... И это не помогло бы. Как ты не понимаешь, что бывают люди, которых как бы отторгают, ну, не подходят они... жизнь отторгает... Ты, может быть, и этого не знал, что сам-то я здешний, бухарский... Жили в гузаре «Буйробофон», плели весь век циновки... После бегства эмира... в голодный год, подались с отцом, матерью и двумя сестрами в Оромитан. Все же в деревне было легче. Здесь больше ковры ткали... а мы за свои циновки взялись. И таким ходовым товаром они стали... Начали было обживать, но опять не судьба... Холера прискакала и всю семью за неделю и скосила...

Дед умолк, а Душан, с напряжением слушавший, повернул в его сторону голову. Из окна на кровать деда падал уже предутренний, шевелящийся, как серый дым, свет. Дед поежился и повернулся на другой бок, и Душан подумал, что так, неожиданно, на полуслове, он и заснет теперь, но дед кашлянул и продолжал чуть тише:

— Остался я, значит, один... Позвал меня курбаши Кор-Шермат. «Иди,— говорит,— к нам, басмачам нужны крепкие, отчаянные ребята. Лошадь тебе дам, оружие и хорошую одежду — не прогадаешь... Будешь скакать на лошади и жен неверных целовать... А когда победим — кишлак тебе дам, а может, целую волость...» Я попросил его дать мне время до вечера, мол, в соседнем кишлаке с больной тетей надо проститься. А сам в ту же ночь пешком опять в Бухару вернулся... А здесь все бурлит, в нашей дремотной, благословенной... Кругом возгласы, ликование. «Все,— говорят,— со старой

эпохой разом покойчено...» Ну, вместе с ними и я старался. С малого начал — устроился сторожем в медресе. Здесь же и стал учиться у новых преподавателей новым наукам... И сам уже вскоре преподавал... А когда ремесленное училище открыли — директором стал. Все быстро, хорошо... А жизнь, оказывается, плутовка, прищурившись, лукаво наблюдала... А потом — раз! Стой! Куда ты?!

— Вы так странно рассказываете, будто не жалеете вовсе ни себя, ни других... кого несправедливо осудили, — все больше удивляясь деду, все больше огорчаясь какой-то его вялости, отрешенности, сказал Душан.

— А чего мне себя жалеть? — непонятно, то ли усмехнулся дед, то ли просто хмыкнул, осерчав. — Это вы, кто по-европейски воспитаны, ищите во всем только поверхностного смысла: справедливо — несправедливо... А я знаю, что все по высшему счету, по судьбе... Справедлива с тобой судьба — так и справедливо...

— Не пойму, — обидевшись, резковато возразил Душан, — зачем ты подчеркиваешь: европейское, восточное... Жизнь-то одна...

— Жизнь-то одна, правильно... Но отношение к жизни разное... Видел я в лагере... больше всего злились, возмущались, искали справедливости, день и ночь писали жалобы именно те из наших, кто по-европейски был образован... Ты пойми, я не осуждаю их, глупо было бы... Просто после каждого их возмущения и желания сделать лучше — хуже становилось, еще жестче.

— А ты... философствовал... эпоху постигал, — усмехнулся Душан.

— Да... И еще со мной другое, странное произошло. Многие эти возмущающиеся потом в какую-то мистикку тихо ушли... а я, наоборот, перестал верить в посмертное существование. Все эти годы, которые я просидел, я чувствовал, как время сгустилось, уплотнилось и стало под стать, самой жизни, как гранит... В потустороннюю жизнь верят, наверное, те, кто чувствует легкость времени, его протяженность, — словом, баловни судьбы... А я стал ценить каждый подаренный миг этой жизни... ибо знал, что для меня она состоит из одних только крох... после богатого пиршества. Я отказался от всего корыстного, честолюбивого, ложных, одурманивающих надежд, и, как горлица, обратился к простому... И это новое в моей душе так поддержало меня, так помогло выстоять. Главное, я знал, как буду жить, когда выйду

на свободу... знал, что вернусь опять туда, откуда начал,— в деревню, в Оромитан, к своим цинькам.

Душан слушал все это с досадой, с горечью, не соглашаясь с дедом, внутренне противясь всему, что он говорил теперь,— а ведь как хорошо, по-любовному, родственному начали они разговор, какая ночь была хорошая — умиротворяла, разбавляла нервное, дурное. Сейчас же, когда ночь далеко перешла за свою половину и забрезжил издали рассвет, в самой атмосфере комнаты, где они лежали, должно быть, накопилось столько возбуждающего, нервного, что Душан не мог сдержать себя, чтобы не съязвить, не показать себя опять беспокойным, упрямым.

— Да, дед, удивительно... Таким я тебя никогда не знал — рассуждающим... В чем-то я, может, и согласен с тобой, но во многом... Ну а я... я-то в какой эпохе?— спросил Душан, думая, что хотя бы этим смутит деда, и, услышав его растерянным, неуверенным, мирно заснет, удовлетворенный.

— Ты «между»,— спокойно сказал дед, словно давно и это обдумал и был уверен в своей правоте.— Между двумя укладами жизни — традиционным и современным, между двумя языками, между двумя отношениями к одному явлению — скажем, к рождению, смерти... Тебе труднее, намного труднее, чем мне, чем бабушке,— об отце твоём и матери не говорю... они как бы выскочили... от одного полюса ушли, к другому не пришли... Тебе труднее, потому что когда два уклада трутся друг об друга, градус жизни повышается до точки кипения... Хотя кипения этого на поверхности и не видно... как с тем веществом — напони-ка, напони... в химии,— которое внешне спокойно, не шевелится, не дышит... но спокойствие это обманчивое, ибо на самом деле оно кипит... Другое это, высшее кипение... Ты «между»... это такая нагрузка на нервы-то, градус то повышается до возбуждения, то потом резко падает, охладившись до меланхолии... Тут надо такую душу иметь, чтобы чувствовалось в ней всегда загадочное озарение, порыв, чтобы объять эти половины, эти «два», переварить в себе и остаться человеком... Многие не выдерживают этих градусов, пытаются приспособиться в старом — не получается... бросаются к новому — и тут же обжигаются... вот и мечутся, ведя лишь существование — хитрят, плутуют... и радуются своей тихой лисьей радостью, что души у них нет... Да вот...— Дед хотел было еще что-то добавить, но едва

он вспомнил о лисе, как прокричал с соседнего двора первый петух, сначала хрипло, будто задохнувшись от утреннего тумана, затем звонко... и другие петухи стали вторить ему, перекликаясь...

— ...Вот... а я с первым петухом обычно просыпаюсь,— проговорил дед, зевая, и Душан, ожидавший, что он поднимется теперь и выйдет во двор, удивился тому, что дед, сказав это, неожиданно уснул, чуть посапывая...

Душан закрыл глаза, тоже пытаюсь заснуть или хотя бы подремать эти оставшиеся пару часов — ведь утром он первый день пойдет на работу в контору Наби-заде, которая называется несколько странно: Управление по старому фонду, и которая, казалось, даже этим своим названием как бы укоряла Душана за то, что он не выдержал характер до конца, не повременил, а согласился служить под началом человека... вроде бы и неродного отца... но и не отца вовсе, не признанного Душаном, двусмысленное положение...

Но думал сейчас Душан не об этом, его все еще волновала, будоражила неожиданная беседа с дедом. Так много вдруг Душан понял и так много осталось для него непонятным, загадочным из того, что было в этой жизни, и было невыдуманным, не вздорным, ибо шло от страдавшей души человека одной с ним крови, а значит, и понимающего, и чувствующего этот мир если не одинаково, то близко, под одним углом чувствования.

Тихо встал Душан и вышел во двор, поеживаясь от прохлады. Небо ушло высоко, и из темной с синим оттенком глубины звезды выглядели густыми, яркими, как всегда в этот час и в эту ночь осени: потом, мерцая, звезды уйдут выше, чтобы слиться со светом раннего утра...

«Не знаю... но в этом дед мудр,— подумал Душан.— Он меня понял и разгадал... Ведь и вправду я всюду «между» и разрываюсь. И порой так мучительно страдаю от этой раздвоенности, нервы не выдерживают... А я не знал и думал: отчего я такой? Отчего Амон другой, и Аппак... А дед просто все объяснил. А главное, сказал, как надо жить. Объять все, вместить в себя и примирить края так, чтобы «два» было гармонией «один» и «один»... а не значит ли это — мучительное преодоление, соединение краев, полюсов, холодного и горячего, старого и нового... ибо жизнь, должно быть, во все времена проходила только через это преодоление.

— Судьба,— вслух повторил Душан слово деда и вздохнул, будто с прозрением этим ощутил тяжесть и будто тяжелая ноша эта и есть то, что наполнит его жизнь до конца новым смыслом...

Пока Душан открывал замки на воротах, вдруг легко рассвело.

Как всегда в этот час, перед тем как жители гузара начнут распахивать свои ворота, на улице замаячила одинокая фигура фарроша — подметальщика. Длинной своей метлой он поднимал пыль, а она густо повисала над его головой в белой накидке, между стенами в тесноте переулка, но едва фаррош делал следующий шаг, пыль тут же оседала обратно... и так, кажется, тысячи лет, сколько стоит город, пыль его, поднимаясь по утрам, снова ложилась на серую его землю тем же тонким слоем...

Увлеченный фаррош и не заметил, как Душан вышел из ворот и, пройдя короткий переулок, свернул к тому пустырю за домом, который все называли русским словом «полянка» и откуда начиналась территория соседнего гузара «Яланги».

Позавчера, впервые прогуливаясь здесь после своего возвращения, Душан увидел, что той полянки, которую он помнил, уже нет, а из двенадцати тутовников каким-то чудом между домами стояли оставшиеся два, будто тени тех срубленных деревьев, некогда могучих, с широкой кроной.

Возле одного из домов и заметил Душан камень и по тому, как он лежал далеко от порога, понял, что он ничейный, его просто должны разбить на куски и вывезти подальше, на свалку.

Это был обыкновенный коричневый камень, кусок скалы, но уже принявший «живую» форму, без острых углов, почти овальный, чем-то похожий на тот, который лежал когда-то возле их ворот.

Наверное, камень этот нашли, когда копали землю, толкали так и сяк, но ни к чему не пристроили — ни к стене нового дома, ни к его основе. Он подходил естественной своей формой и обликом лишь к тому дому, который, должно быть, вместе со стражем своих ворот ушел когда-то в землю — старая часть города, знал Душан, растет этажами не вверх, как современная, где живет сейчас Амон, а уходит дом за домом в землю, в толщу тьмы и извечной сырости... но какой-нибудь камень от тесноты или смещения вдруг выйдет опять наружу, что-

бы стать потом возле других ворот, как бы связывая ушедших навсегда и ныне живущих...

Душан напрягся, но с первого рывка не смог, камень, весивший пуда два, не поддался. И, только когда нащупал в камне углубление, почти что насквозь продырявившее его, чтобы сделаться оком камня в мраке земли, взялся поудобнее и понес, пошатываясь.

Он опустил свою ношу сбоку ворот, в то место, где стоял их родовой камень,— и удивительно, новый камень удачно вошел и лег в выемке, как будто она была заранее вырыта для него.

Душан сел на камень, чтобы отдышаться, и фаррош, из конца переулка наблюдавший все это время за Душаном, тоже сел там же, где стоял, прямо на песок, будто это был тот миг, когда все напрягшиеся во всех концах города должны были, не сговариваясь, передохнуть.

-- Доброе утро!— крикнул ему Душан.

Фаррош кивнул, продолжая сидеть в какой-то отрешенной позе, и Душан еще раз с удивлением отметил про себя, что подметальщик их гузара за девять лет, пока Душан был в интернате, нисколько не изменился. Звали его ака Сафо, и Душан знал его столько же, сколько помнил себя, то есть всегда. И почталъон, прихрамывающий старик Юнон, остался таким же, и продавец хлебной лавки через улицу Ибрагим по прозвищу Доннш*. Это, должно быть, подумал Душан, не изменились они потому, что весь век работают на одном месте, и вообще, отметил он, бухарцы стараются держаться за свои места — пекарей, продавцов, парикмахеров — и передавать их, как по наследству, своим детям. Лишь пришлые — каршинцы, хорезмийцы, сурханцы — всегда в напряжении, устремлены в будущее, хотят продвигаться по службе... Что же в бухарцах расслаблено и вынуто, да так, что не ведают они вкуса ни к чему, кроме своего извечного, скромного занятия? Ведь не желание же казаться всегда такими, будто их годы не трогают...

Душан почему-то вспомнил давнюю ссору бездетных соседей. Видно, им было тесно ругаться во дворе, муж и жена выбежали на улицу и, не обращая ни на кого внимания, продолжали кричать. Жена подбегала к каждому камню у ворот и убеждала мужа, что дети, которых она зачала, но не смогла родить, превратились вот в эти камни...

* Д о н н ш — знающий, мудрый.

— Нет! — злился на нее муж. — Вот во что они превратились... — И показывал на уличных собак, в страхе жавшихся к стенам от их криков.

Что это было? Обычная ссора отчаявшихся мужчины и женщины, и говорили они о камнях у ворот и собаках просто от злости, чтобы больше ранить друг друга, не вкладывая в это никакого иного смысла? Или все еще верили, что усилне природы в их образе, ее порыв к созиданию не проходит даром, а просто уходит в другое качество, в камни, в животных?..

Пока Душан думал об этом забавном, скрипнули соседские ворота и выглянула Бунафша. Она с удивлением посмотрела на Душана и дольше, чем вчера, задержалась, неожиданно улыбнувшись, найдя его, должно быть, таким нелепым и трогательным — угрюмого и будто вросшего в камень, простодушно предложившего ей когда-то: «Давай поженемся...»

Душан смутился от ее взгляда, хотя вчера, точно так же сконфузившись, возненавидел себя и дал себе слово при следующей встрече с Бунафшой быть бесстрастно-уверенным, давно отучившимся в интернате робеть при виде понравившейся девушки.

— Доброе утро, — пробормотал он, но Бунафша не успела ему ответить — ее властно сзади потянули в дом, и вместо ее лица быстро, как сменившийся кадр в кино, показалось на том же месте лицо ее брата — Рахмата.

— Доброе утро, — ответил он за сестру и вежливо, как-то певуче вдруг заговорил с Душаном на «вы», будто за все время отрочества, пока они не виделись, у каждого было столько добрых перемен в жизни, столько успехов, что простая форма обращения показалась бы недозволенным панибратством: — Я вижу, вы опять все на прежнее место... Похвально... Сразу видно, что мужчина в дом вернулся... — Говорил он все это хотя и вежливо, но как-то значительно, внушительно, и Душан хотел было уже сказать ему без обиняков: «Слушай, Мат, влез бы ты... знаешь куда? Ослу в ухо», тоном, каким он говорил с любым своим одногодком в интернате, но вспомнил о тайной вражде, соперничестве семей — обо всем, чему в детстве не придавал значения, не замечал в простодушии и всегдашнем своем желании мирить ссорившихся, не принимать определенно ничью сторону, но хитроумно делать вид, что со всеми хорош... А теперь ему

приходится как-то глупо, в тон Рахмату, отвечать многозначительно:

— Да, камень... Но это отнюдь не посягательство на чью-то территорию. Просто возвращение на прежнее место...

И они бы продолжили обмен подобными тонкими любезностями воспитанных бухарцев, если бы не мать, которая, свернув из-за угла, вдруг появилась со стороны полянки.

Рахмат вежливо кивнул ей и ушел за ворота, а мать, удивившись, словно не веря, что видит Душана, воскликнула:

— Что случилось? Тебе плохо?— ибо знала, что ему всегда по утрам нехорошо, день встречал насупившись, угрюмо, будто ждал одних неприятностей, но, заметив, что он мрачнее и бледнее обычного, испугалась.

— Дедушка спит... А я, чтобы не мешать ему...— постарался успокоить ее Душан, тревожно-мятущуюся, но как всегда заботливую, вот и сейчас принесшую ему в тяжелой сумке завтрак... вся в ожидании, что сын сядет за стол и начнет есть, а она будет смотреть на него, не отводя глаз, и тихо вздыхать.

— Дедушка... И спит в такой час? Как?!— будто не понимала она чего-то важного и оттого еще больше встревожилась.

— Приехал он очень поздно... блуждал. А потом мы разговорились. И так хорошо говорили — до первых петухов...

— Разговорились...— облегченно вздохнула мать.— Я знаю, дедушка тебя так любит...

Душан почему-то смутился и ничего не ответил. Нагнувшись, легко достал ключ, каждый раз в темноте падающий в расщелину возле порога, и открыл дверь легкой комнаты.

— Ты, конечно, тоже немного поспал?— спросила мать, раскладывая на столе еще теплый завтрак.— У тебя ведь сегодня такой день...

— Не пойду я в контору. Отдохну еще пару дней,— вдруг сказал Душан, и начался у них спор из-за этого, какой-то нелепый и бессмысленный, и все потому, что Душан был в прескверном настроении, чувствуя апатию после ночного возбуждения. Мать убеждала его, что нехорошо так, его уже ждут... каким бы чужим ни казался ему Наби-заде, все же он искренне помогает, и что не думала она увидеть его таким. Все же день, запоминаю-

щийся на всю жизнь, день его первой самостоятельности — с каким нетерпением ждут в его возрасте, с каким радостным желанием, а он, Душан, мрачный и недовольный... словом, вроде бы убедил. Но перед тем как выйти из дома, Душан побродил по двору, все думая о Бунафше — и только теперь понимая, почему говорил он с матерью, сам того не желая, упрямо и грубо, должно быть, сама мысль о конторе, такая нежеланная, затемнила, не дала ему пережить то волнение, приятное, необъяснимое чувство, которое испытал он от взгляда и улыбки Бунафши.

«Я женюсь на ней,— вдруг решил он про себя твердо.— Ведь еще в детстве хотел... Все будет против. Но я полюблю ее наперекор всему... И она увидит, какой я мужчина. И полюбит меня за это по-настоящему...»

Эта дерзкая мысль так охватила его, таким наполнила странным и чудесным переживанием, что Душан вновь почувствовал подъем, страстное желание любить сейчас же, жениться сегодня же, не откладывая. И все оттого, что чувствовал он в себе потребность сделать что-нибудь из скучного ряда вон, что-нибудь такое самостоятельное, что утвердило бы его в глазах окружающих. И эта потребность остро, самостоятельно, начавшаяся с побега из интерната и выразившаяся потом в желании пострадать, была такой непреодолимой, что граничила с безрассудством, которое в его возрасте смело идет на встречу ошибкам, разочарованиям, ибо не признает их.

Охваченный нервным порывом, он и не заметил, как оказался у места своей работы — старого двухэтажного дома какого-то бывшего богатея, с просторным двором, множеством деревянных лестниц, ведущих наверх, где, судя по вывескам у ворот, помещалось сразу несколько контор: «Коллегия адвокатов», «Городское отделение республиканской фирмы «Цветы и декоративные растения», «Ремметалл», «Управление по старому фонду»...

Наби-заде, должно быть, увидел Душана еще из окна своего кабинета, ибо вышел ему навстречу во двор, и Душан насторожился, ожидая, что его теперешний начальник снова будет неприступно-бесстрастным, как и во время первой их встречи.

Откуда было знать Наби-заде, что Душан, едва почувствует властное давление, неважно кого, родного ли человека, постороннего ли, сразу же упрямо отчуждается; вот поэтому, наверное, их первая беседа была такой краткой, из одних только бессмысленных однозначных

вопросов и ответов, и оставила у обоих чувство досады. Но сегодня Наби-заде старался казаться другим.

— Ну, здравствуй,— протянул он как-то по-свойски, просто и дружелюбно руку.— Мне приятно, что ты не опоздал... Сейчас я познакомлю тебя с дядюшкой Сафо. Он очень опытный работник... правда, не без странностей, это ты сам сумеешь заметить. Но на первых порах он введет тебя в дело.— И вправду, где его хваленая бесстрастность? Наверное, от чрезмерного внутреннего напряжения, он срывался, и сейчас, разговаривая с Душаном, смотрел не прямо ему в глаза, но резко и тревожно всматривался по сторонам, оглядываясь, да так выразительно, что заставлял поневоле и Душана оглядываться с собою вместе.— У тебя цепкий ум, и работа учетчика не покажется тебе сложной... Учетчики — мы так называем своих конторских в разговоре, но по штатному расписанию вы звучите, конечно же, более солидно — инспекторы... Поработаешь у нас младшим инспектором, а со временем...

Даже в этом «учетчик-инспектор» Душан почувствовал какую-то неосновательность, двусмысленность того, чем он будет здесь заниматься под началом Наби-заде (хотя, проработав немного, поймет, что был не прав, как заметит со временем и то, что оглядываться по сторонам, разговаривая, было одной из привычек Наби-заде, тех безобидных старческих привычек, которые растворили в себе его человеческую натуру).

Душана неприятно удивил сам двор, по которому они прошли,— несмотря на множество контор, он был почти безлюден, будто все упорно и сосредоточенно трудились над разгадкой чего-то, и этой своей безлюдностью он сразу напомнил Душану двор интерната в самый первый день, когда его привели туда. Он знал, что тишина таких дворов и домов, поделенных между конторами, школами, обществами, филиалами,— обманчивая и что за нею скрывается суэта, безалаберность, скрежет, бумажный и канцелярский запах жизни.

Комната, куда Наби-заде привел его, как и ожидал Душан, была вся забита шкафами. Двум тяжелым, наполненным переплетенными томами шкафам не оказалось места вдоль стен, и они были поставлены почти посередине комнаты, желтыми фанерными спинами друг к другу, так что почти закрывали оба стола.

— Знакомьтесь... Старший инспектор.— Наби-заде кивнул в сторону робкого на вид, худощавого старика,

который при их появлении резко встал.— И наш новый младший инспектор Душан Темурни...

— Мираков,— представился старший инспектор, и своей робостью, мягким голосом и всем своим действительно странным, непривычным для конторских работников видом — благообразностью, изысканными манерами — сразу понравился Душану.

— Ака Сафо уже все знает,— коротко пояснил Наби-заде.— Ну, желаю тебе, друг, успехов.— И Наби-заде снова вышел во двор, чтобы пройти мимо других комнат управления — вдоль длинной стены под навесом — к своему кабинету.

— Прошу вас, это ваш стол,— сказал Мираков, показывая на место напротив.— Простите, здесь у нас немного неудобно из-за этих шкафов.

В его манере говорить была какая-то настороженность и даже недоверчивость, которая, впрочем, вполне разбавлялась мягкостью его тона и обращения.

Душан, чувствуя себя скованно от его настороженности, сел за свой стол, гладкий, совершенно пустой, без традиционного чернильного прибора и флакончика с канцелярским клеем, который ожидал увидеть.

— Батюшка вам, наверное, уже объяснил,— начал Мираков медленно, подбирая каждое слово.— Но я кратко, поскольку он строго велел... Нет более удачного названия: «Управление по старому фонду»... ибо оно ведаёт действительно старыми домами, двухсот-трехсотлетней давности, в глиняном нашем городе... Одному домовладельцу мы разрешаем снести свой дом. Другому сделать еще и дополнительную пристройку, если это, конечно, не портит рисунок улицы. Архитектор наш, Бзенковский, решает. А наш археолог — Нина Серафимовна Цой, почтенная женщина,— заносит в архив возраст сносимого дома или маленькой мечети... Есть в нашем управлении и реставрационная мастерская. Усто Ширин — мастер златоукий следит за ремонтом больших мечетей, таких, как Калян или медресе Мир-и-Араб... Мы же, инспектора, заняты вроде бы будничной работой — раз в году, начиная с осени, ходим по домам, чтобы измерить комнаты, дворы, кухни, и заглянуть в план дома, начертанный архитектором, и проверить, все ли здесь соответствует этому плану. Не расширил ли хозяин без ведома и разрешения нашего управления свое жилье, пристроив новую комнату, а может, кухню, гараж... Простите, сейчас...— И Мираков принялся торопливо вынимать из

шкафа — кипа за кипой — бумаги в переплете и класть их на стол Душана. — Начните с первого домоуправления. Полистайте, и вы найдете схему и названия улиц, переулков и тупиков и план каждого дома. Улицы все с современными названиями — Рабочая, Широкая, Первомайская, Урицкого, Верхне-Оренбургская, Восьмого Марта, Асфальтная... Названия эти знакомы каждому... Но есть среди тех, в дома которых вы придете с проверкой, и такие — правда, теперь уже попадаются все реже, — кто называет свои гузары по-старому, как помнят с рождения... Полистайте, и вы увидите, что первое домоуправление сейчас на территории бывшего джариба «Шайх Рангрез»* и гузары там в прошлом веке назывались «Поччо Ходжа»***, «Кокилайи калон»****, «Алвондж»*****, «Махаллайи кухня»*****, а тот, где находится наше управление, — «Куйи мургкушон»*****... Для удобства я написал все их сбоку — вы увидите... Извините, я вообще плохо рассказываю и удивляюсь, что сейчас разговорился... Батюшка ваш в торжества просит меня сказать с трибуны, но я робею...

Но Душана раздосадовало не столько его пространное и скучноватое объяснение и сам вид этих переплетенных томов на его столе, сколько то, что Мираков называл Наби-заде «ваш батюшка», да еще настороженно, робей и извиняясь поминутно, будто трезво ощущал дистанцию между собой и неродным сыном управляющего, давая понять, что ни на мгновение не забывает об этом.

Мираков сел и тихо, даже не шелестя листами, продолжил чтение бумаг, и Душану ничего не оставалось, как раскрыть один из больших томов, первый попавшийся под руку. Он листал, всматривался в чертежи, вчитывался между линиями схем в названия улиц, не стараясь поначалу вникать, ничего не принимая из того, что видит, не понимая смысла и ненавидя себя за то, что согласился на это дело, и сидит здесь, как слабоумный, неспособный к другой, более понятной, имеющей хоть какой-то смысл работе.

Полистав первый том, он сделал резкое движение, хотел было бросить все и выбежать из комнаты, но еле

* «Старец красильщик».

** «Зять Ходжи».

*** «Большое Коккло».

**** «Алвондж-Люлька».

***** «Старая еврейская слобода».

***** «Улица убивающих птиц».

сдержал себя и потянулся ко второму тому, должно быть, такому же скучному, напичканному схемами, планами, линиями, начертанными неуклюже, нетвердой рукой, будто архитектор Бзенковский — фамилию эту он сразу запомнил — был дилетантом.

— Вы курите?— вдруг спросил Мираков, о существовании которого Душан стал забывать — так сидел старик, словно не дышал.

— Нет,— поднял голову Душан, и по взгляду старшего инспектора понял, что тот все время внимательно, хотя и по-прежнему настороженно, наблюдает за ним.

— Спасибо,— поблагодарил Мираков, и Душана вдруг и это покорило — его чрезмерная вежливость.

Душан чувствовал, как в нем медленно накапливается дерзкое, скандальное, раздражительное. И боясь что-нибудь сказать Миракову язвительное, он углубился, стал читать внимательнее... череда названий — старых, таджикских... узбекских, русских... И должно быть, это многоязычие в бумагах так совпало с его собственной языковой неопределенностью — два родных, таджикский и узбекский, и русский, язык обучения в интернате... и одинаково пока непрочное владение всеми тремя языками.

«Турки Джанди»— обратил он внимание на название гузара... Джанди... Что это? Может, Джанги?

— Простите, «Турки Джанди»... не искаженное ли «Турки Джанги»*?— спросил он у Миракова, и старик с удовольствием откликнулся, но только чуть растерянная улыбка говорила о том, что он вынужден опровергнуть догадку младшего инспектора.

— Я вижу, у вас врожденный слух к слову... Но не отчаивайтесь этой ничтожной неудаче — ведь важен сам поиск, сравнение... Хотя и мне, конечно же, было бы приятно, если бы гузар назывался именем какого-нибудь воинственного турка... Тут бы мы с вами стали тянуть нить дальше, к истории... может, к воинам... А может, пошли бы по другому пути — ведь в определении «воинственный» виден характер человека... Но, увы! Гузар назван по имени имама Абу Насра Ахмада бен Фазль Муса Джанди, ученика и сподвижника Абу Кабра Исхака Калобادي... судя по имени — араба и мусульманского миссионера... Оба имама жили в десятом веке... Вот какой далекий от нас дух мы сейчас встревожили. Дух самого

* «Турки Джанги» — воинственный турок (тадж.).

Калобадн, которого бухарцы издавна почитали как главного стража города, охраняющего его от врага...

— Это очень интересно, я не знал,— смущение от этого незнания заставило Душана забыть горечь того, что догадка его не подтвердилась. Но он заметил, как постепенно исчезала с лица Миракова настороженность, когда он все это рассказывал, и как снова спохватился старик, едва умолк, должно быть, ругая себя теперь за откровенность.

— Да, интересно,— пробормотал он.— Хотя во все эти тонкости нам, инспекторам, не стоит углубляться. Батюшка ваш прав...

— Но почему же?...— удивленный, хотел было возразить Душан, но Мираков, произнося само слово «батюшка», будто сотворил облик Наби-заде, вызвал его дух, и слабое возражение Душана уже не могло помешать управляющему неожиданно появиться у порога комнаты и услышал их спор.

— О чем это вы — молодой и старый?— спросил Наби-заде. И, как обычно, после своего просторного кабинета чувствующий себя спокойно в тесноте этой комнаты, повернулся к окну, выходящему на узкий переулок, и, глядя, как один из встречных пытается прижать другого к стене, чтобы пройти дальше, сказал, ухмыльнувшись:

— Меня всегда умиляет... двое в таком переулке. И я думаю: а китайцев-то уже, друзья мои, целый миллиард...

— Да, миллиард — это много,— из вежливости молвил Мираков.

— Много! Не то слово. Густо, плотно, тьма... негде воробью сесть...— остроумно рассуждал Наби-заде, все еще стоя у окна.

— Нам рассказывал учитель, что они вроде бы всех воробьев своих истребили,— неожиданно серьезно вставил Душан и пожалел, смутился, что встрял в этот шутивно-глупый разговор.

— Да, природа не любит пустоты,— вздохнул лукаво Мираков.— Истребили птиц — и заполнили их места людьми. Так и с деревьями, я думаю, с горами, озерами — переруби все, перекопай, высуши — и кругом будут только одни люди, люди, люди, люди... Впрочем,— добавил поспешно Мираков, перехватив недовольный взгляд Наби-заде,— нам сейчас больше всего и нужны люди...

Наби-заде никак ему не возразил, только еще раз как

бы придавил своим тяжелым взглядом, и повернулся к Душану:

— Душан, пошли обедать.— Но во дворе помедлил, чтобы подождать под навесом Душана, и, когда тот вышел нехотя, сказал шепотом:— Заметил, как он мыслит?.. Как этот... у Гоголя: «Господа, спасем Луну, потому что Земля хочет сесть на нее...»— И неожиданно громко засмеялся, довольный своим сравнением, но Душана это покорибило, и он угрюмо глянул вокруг, видя, что уже и другие двери распахиваются, выпуская на обед адвокатов, цветоводов, ремметаллистов и своих, старофондников...

Наби-заде понял, что сказал как-то не так, и поспешил предложить Душану:

— Пошли домой обедать. Мать что-то вкусное приготовила...

— Ко мне дед приехал,— сказал Душан примирительно, чтобы не обижать Наби-заде.— Один сидит...

— Да, мать говорила. Скажи, что я приду его повидать.— И Наби-заде пошел к воротам, к какому-то невзрачному маленькому автобусу, который возил его одного — с обеда на службу, со службы на обед, делая большой и сложный круг по городу, потому что прямо из управления к дому — два шага — машина не могла проехать из-за тесноты переулков.

Душан постоял во дворе, проходящие мимо осматривали новичка, но он не замечал никого, все еще переживал то, как пренебрежительно, желая унижить, сказал Наби-заде о Миракове, и вместо того, чтобы сбегать на этот час домой, к деду, почему-то вернулся к Миракову.

Тот, оказывается, уже успел разложить перед собой на салфетке помидор, луковицу, яйцо — скромный свой обед; наклонившись, с каким-то усилием резал хлеб, и, увидев Душана, растерянно встал и тут же стал извиняться:

— Простите меня, дорогое дитя... А я-то подумал, что вы с батюшкой на машине...

Душану стало неловко оттого, что так взволновал старика, и, не зная, чем объяснить свое возвращение, вдруг предложил:

— Давайте, я сбегаю за кипятком... Здесь ведь рядом чайхана, я утром запомнил...

— Да ну что вы, я не посмею вас утруждать... Я всегда сам.— Мираков вздыхал, суетился, перекладывая

на столе помидор, яйцо.— Этот работник на вашем месте... который уволился, не сошедшись характерами с вашим батюшкой, он умудрялся как-то на самодельном своем кипятильнике, на спирте...— Но уже достал из шкафа железный чайник и протянул Душану...

А когда Душан вернулся и Мираков заварил чай, старик вдруг спросил:

— И не пьете?..

— Пробовал... У меня от вина днем голова болит,— простодушно признался Душан.— Только если немного, перед сном... Были у нас и такие в интернате, кто выпивал... а потом бегал по Зармитану в поисках приключений...

— Значит, и не курите, и не пьете... Забавно... А я в вашем возрасте до смерти напивался. Однажды и вправду помирать стал.

— Вы? Пили?— удивился Душан.— Не похоже...

— Это сейчас стало не похоже... А еще лет десять назад лицо было стертое, почти без черт... Перед войной бросил, а после войны опять взялся. Но недолго... В сорок седьмом благодаря одной умнейшей женщине... Не столько, впрочем, умнейшая, сколько отважная. Ольга Александровна Сухарева... Может, слышали?

— Нет, не слышал,— весь подался вперед в ожидании щекотливого рассказа Душан.— Актриса?

Но Мираков вдруг опять замкнулся, видимо укоряя себя за излишнюю откровенность, и сказал:

— А батюшка ваш, рассказывают, в молодости...

— Не называйте его моим батюшкой,— резковато сказал Душан, обидевшись тому, что Мираков начал было, но не закончил свой рассказ о женщине, спасшей его от пьянства.

— Простите, дорогое дитя, простите... Да, да, я это заметил, когда вы утром зашли с ним. А теперь, когда вы вернулись сейчас, уже был уверен... Хорошо, не буду, коли вам неприятно...

— Не то, чтобы неприятно... Впрочем,— засмеялся вымученно Душан,— мне даже нравится это «батюшка». Только давайте условимся называть его так вообще, между собой, без отношения ко мне...

— Прекрасная идея!— по-мальчишески весело захопал в ладони Мираков, довольный тем, что Душан, не обидевшись на него, сам нашел такой простой выход из неприятного положения.— Ведь называют же своего на-

чальника и шефом, и боссом, и хозяином, а у нас мило и патриархально — батюшка...

— Вы о нем начали рассказывать...

— Да, да! Поговаривают, что наш батюшка в молодости был прямо сорвиголова. Ничего и никого не признавал... По сей день вспоминают в гузаре «Магохи курпа»* — батюшка наш тогда там жил, — что в году двадцать седьмом, напившись, он кричал и созывал всех к могиле Ходжи Мухаммеда Паррона... Люди собрались с перепугу, а батюшка наш, говорят, еще больше разошелся и кричит: «Вот, смотрите, здесь ни дьявола нет, ни святого!» — и так пнул сапогом изо всех сил... верхний камень могилы и провалился... Толпа в ужасе подала на землю, чтобы не видеть, как святой накажет батюшку за богохульство. А он еще больше возмутился: «Смотри, ни хрена там, и ни наказания за грехи, ни отпущения грехов. Одна труха костяная... А вы тысячу лет верили дурману этому...» Да, люди верили, что Мухаммед Паррон** — самый главный миршаб*** Бухары — покровитель всех, кто ночью стережет дома и улицы от грабителей. А Парроном его называли потому, что он и сам, говорят, наказывал отъявленных, таких, кого стража не могла ни догнать, ни поймать... По-нынешнему, как главарей мафии в Италии или в Америке... Таких Паррон сам сбрасывал с лошади или наказывал параличом, бывало, что и язык отнимался у отчаянных лгунов... А батюшка наш, пнувший ногой его могилу, видят все, возвышается над грудой камней, жив и невредим...

— А он и вправду не наказал?! — вырвалось от нетерпения у Душана.

— Как видите, дитя мое, — будто удивившись его вопросу, пожал плечами Мираков.

— Ну а дальше?

— Дальше... Только эта часть истории длинная, потому что она поступок, подвиг... Дальше все просто и коротко. Только отец, говорят, проклял нашего батюшку — верующий был человек, одурманенный. И он перебрался в другой конец города, в дом своей жены... Простите, — Мираков, будто поперхнувшись, закашлял, — той жены... Учиться в Ташкент поехал. И, вернувшись, на должностях... Выше, выше — а потом все ниже, к старости, и

* «Впадина у базара одеял».

** Паррон — сбрасывающий (тадж.).

*** Миршаб — полицейстер.

теперь вот здесь, в управлении... Только умоляю вас, дитя мое,— вдруг понизил голос до дрожи, до нервного напряжения Мираков,— обещайте мне не говорить об этом, ни словом, ни жестом не намекать... иначе он меня съест. Ах я, глупый болтун, не знаю меры, не промолчу, не утаю, не проглочу... и язык меня мой продает. Надо же, чтобы так было: собственный орган человека, к примеру, его язык, или рука, или почка были его кровными врагами, и все время подводили его, предавали, будто эта почка чужая, у какого-нибудь лъстеца с подвохом взята и искусственно пересажена,— печально, но и не без доли лукавства, заключил Мираков.— Так вы обещаете?

— Меня и просить не надо об этом.— Душан весь передернулся от обиды.— Я еще никого не продавал... Только себя. Но это мое дело.

— Это как же? Как же — сам себя?— заинтересовался чрезвычайно Мираков.

Душан подавил обиду и вздохнул, удивляясь своему желанью высказаться.

— Может, я наивно выражусь... Но часто бывает: говорю себе — не буду это делать, это плохо, зло, но делаю. Вот и недавно обещал себе: не пойду работать к батюшке, не хочу, чтобы думали, будто он меня опекает, поблажку делает... Вроде мечусь от светлого к темному, от темного к мрачному и обратно — и всему оправдание нахожу. Но оправдание, чувствую, слабое, обманчивое...

— Ну! Да мы с вами, дитя мое, как одной крови!— обрадованно воскликнул Мираков.— Вот и я иной раз чувствую — в редкие теперь уже дни,— вроде все хорошо... думаю: дай-ка тряхну стариной... гульну — стаканчик-другой вина пропущу... или за соседкой-вдовушкой поухаживаю — мало ли где дьявол одинокого человека разыгрывает?... И только напрягусь, как — раз! — приступ каменный в почке... или ломота адская в суставах. Сваливаюсь в постель, и не только пятидесятилетняя вдовушка, но и цветок нежный противен. Только и утешаю себя, приговаривая: «Не для тебя эта прыть, брат! Не для тебя, не забывайся!», зная, что тут мой ангел-хранитель вмешался.— Мираков как-то тихо, будто довольный своей иронией над собой, засмеялся.

Душан лишь улыбнулся ему и в досаде пояснил:

— Я ведь не о такой раздвоенности, физической. Я о мыслях, душевном.— И сконфуженно замолчал, жа-

дея, что выразился так многозначительно, не смог рассказать о своих переживаниях шутя, легко и смеясь над собой, как Мираков, чья самоирония хотя и была отчасти позой, но сделалась как бы его привычкой жить, стариковской чертой легко относиться к своим неудачам, зная наверняка, что эти неудачи будут преследовать его до конца.

— Я понимаю, понимаю,— вроде бы жалея Душана, сказал Мираков и вдруг спешно глянул на часы, спохватившись:— Давайте полистаем еще каждый свои тома, а то через минуту-другую батюшка нагрет...

И теперь почти до самого конца дня Мираков молчал, сосредоточенно углубившись в бумаги, сделавшись неожиданно холодным и недоступным и как бы отгородившись от Душана своей этой холодностью. Что замкнуло его? Навело на его мягкое, приятное, извиняющееся лицо глянец отгороженности, даже какой-то значительности, что, впрочем, совсем и не шло ему. Станный человек.

«Но с этим «батюшка» он замечательно придумал,— решил Душан и попытался хоть как-то вникнуть во все эти схемы и чертежи, смысл которых опять от него ускользал.— Удачно повернул от меня ко всем». И почувствовал, как сделалось ему легко, когда сговорились они называть так Наби-заде между собой, отделили его от Душана и сделали просто общим лицом — «батюшкой всего управления», не отчимом, не мужем матери. Это обрадовало Душана, успокоило и сделало его чувства к Наби-заде ровнее, спокойнее, сняло неловкость, болезненное переживание от неспособности принять его как близкого человека.

Успокоившись, он снова стал вникать, и бесчисленные линии на схемах гузаров перестали казаться ему столь запутанными. Он яснее представлял контуры... главная улица, центр гузара и отходящие от нее улочки, с выходом на соседний переулок, который упирается в тупик. Гузар отделен от другого лишь глухой задней стеной домов и воротами входа и выхода, которые запирались на ночь. Душан, заинтересовавшись этим, написал отдельно название гузаров с воротами — «Хонако», «Амири», «Хиёбон»...

Эти названия звучали для него маняще и загадочно. Ведь в детстве, кроме нескольких соседских гузаров, он почти нигде не бывал в городе, а потом, пока жил в интернате, его сверстники все обежали, осмотрели, проник-

лись духом улиц и переулков, далеких от их дома... А он, оторванный все эти годы от дома, был теперь как гость, как чужой, и все манило его, волновало...

Вот схема его гузара — Суфиён, улица, где их дом, — Пролетарская, в нее упирается короткий переулок Маяковского, образуя букву Т, а где-то посередине перерезает улица Чапаева...

Он закрыл том и поднял голову, вспомнив, как взволновала его Бунафша. Он снова пережил сейчас это, уже несколько притупившееся, но еще не потерявшее сладость чувство, потом вдруг смутился и ругнул себя в душе за то, что опять оробел сегодня при встрече.

Он пытался понять, чем же Бунафша привлекает его, что влечет к ней, да так сильно, он даже слово себе дал жениться на ней, несмотря ни на что.

— Ака Сафо, — прервал тягостное молчание Душан, — вы начали было рассказывать... об актрисе, которая спасла вас...

Мираков с деланным равнодушием закрыл свой том и как-то вяло пробормотал:

— Во-первых, дитя мое, не много ли вы хотите знать в первый день нашего знакомства? А, во-вторых, она была, к счастью, не актрисой... Мне сдается почему-то, что актриса, наоборот, все глубже втянула бы меня в пучину... во мглу, в тину — как бы покрасивее это назвать? И вообще мне велено быть вашим наставником по работе, а не по жизни. — Сказал он это заключительное с иронией, каким-то полушутовским тоном, что обескуражило Душана, смутило, да так, что сказал он первое глупое, что пришло на ум от всегдашнего желания противоречить собеседнику, если тот говорит с ним как-то неуважительно, иронизируя:

— Зря вы так... мне нравятся актрисы. — И, уловив на лице Миракова такое неподдельное умиление, такое почти ребяческое плутовское выражение сочувствия, первым сам не выдержал и вдруг захохотал над собственным сказанным, да так искренне и заразительно, что и Мираков в ответ засмеялся, но каким-то глухим, надорванным голосом, будто не смеялся, а всхлипывал. От напряжения у старика, давно, видно, не смеявшегося, даже слезы выступили на глазах, и, вытирая их, он проговорил:

— Вот спасибо. Уже и забыл, когда так веселился... На этой веселой, приподнятой волне Душана понесло

домой, и еще издали он увидел, что дед сидит на камне у ворот, в такой странной позе, будто прирос к нему...

— С возвращением,— протянул к нему руку дед, всматриваясь Душану в лицо.— Вижу, что ты сегодня за день повзрослел на целую жизнь...

— Там такой любопытнейший старик. Мы оба в одной комнате,— с ходу, сгоряча проговорил Душан, садясь к деду на край камня.

— А кто он?— По лицу деда промелькнула тень ревности.

— Ну, как тебе сказать?— от неожиданности и прямоты его вопроса Душан не сообразил, как выразиться поточнее.— Коренной бухарец...

Дед почему-то хмыкнул и поерзал на камне, будто хотел встать, но раздумал:

— Чем-то нафталиновым пахнет от этих коренных бухарцев. Будто тепло из них выветрило... И осталась лишь одна маска...

— Любишь ты все подвергать сомнению,— обиделся Душан.— Ты ведь не видел и не знаешь Миракова.

— Ах, его зовут Мираков!— воскликнул дед, да так, что прохожий, ушедший уже далеко от их ворот, услышал и обернулся.— Фамилия, прямо скажу, аристократическая... Ты узнай — не из рода ли он хаджей Мираков, именем которых назван даже гузар. И не сын ли он Амона Девонбеги, главного бухгалтера самого эмира? Три слоя нафталина!— подчеркнул он для пушей убедительности.

Душан резко встал и толкнул ворота, чтобы ступить через порог, но остановился:

— Вижу, ты не в духе... Боюсь, поругаемся — соседи сбегутся. На войне Мираков был,— вдруг вспомнил он как спасительное и, победно глянув на деда, шагнул в дом. И услышал за спиной удивленный и даже, кажется, растерянный голос деда:

— Ну, если на войне был — то другой человек. Прощу прощения.

Душан смягчился и остановился во дворе, глядя, как тяжело ступает по каменным плитам дед, словно все каменное притягивает его к себе, все ниже к земле... И, вспомнив, как он сказал как-то, что вся жизнь — это годы от камня к камню, детство промелькнет на камне у ворот, чтобы к старости, сделав круг, опять вернуться к этому камню, уже остывшему, потускневшему, без всегдашнего своего беспокойного духа, Душан с жа-

лостью посмотрел на деда, помрачнел, но, чтобы не давать волю своему настроению, притворно-весело воскликнул:

— Поужинаем вместе! И весь вечер наш. Будем жить! Жить!

Мать опять прибежала, неся в сумке ужин, и сразу же следом за ней приехал и Амон. И оба они с матерью все расспрашивали Душана о его работе, все с нетерпением ждали, что он, рассказывая, будет доволен, даже похвастает своими успехами, посмеется, но Душан замкнулся вдруг в себе, отвечал неохотно, хотя и старался быть разговорчивым, ибо видел, что и мать и брат не из простого любопытства расспрашивают, а желают быть участливыми, родственно заинтересованными.

Ужинали они молча и даже как-то напряженно, только раз мать сказала, глядя на всех, сожалея:

— Как хорошо... собирались бы за одним большим столом — нас четверо, Мавлюда и отец Амона, и все бы советовались, говорили о будущей свадьбе Душана.

Душан не ответил. То, что он узнал о Наби-заде, распотрошившего у всех на виду могилу святого, неприятно сковывало его, и он уже хотел как-то дерзко, кривя рот от злорадства, рассказать обо всем этом деду, но пересилил свое желание, чтобы не смущать мать. Только подумал:

«Что она ему? Наверное, носки штопает, грелку ставит на поясницу — сиделка и домработница при старике. И еще мечется между своей работой и двумя домами с сумкой еды. И все оттого, чтобы не чувствовать одиночества... Это мы с Амоном виноваты. Были бы с ней потеплее, может, и не пошла бы за него...»

Он глянул на мать, как она убирает со стола, хотел сказать что-нибудь хорошее, подбадривающее, но не смог пересилить себя. Встал и, злясь на себя, вышел во двор, провожаемый настроенно-печальным взглядом матери.

Амон тоже сегодня, странно, был каким-то другим, подавленным и молчаливым, не хвастал, не куражился, не вынимал и не бросал на стол сторублевые кредитки, и, видя, что с Душаном особенно не разговоришься (а пришел он, чтобы еще раз попытаться уговорить Душана пожить у него на квартире), уединился с дедом в маленькой комнате для, как выразился дед, «душещипательной беседы».

А Душан все бродил по двору, приближался к воро-

там, но опять отходил назад, борясь с соблазном выйти на улицу и посмотреть в сторону соседнего дома, словно было в этом что-то предосудительное. А когда все же не выдержал и вышел, первым, кого увидел, была Бунафша.

Маленькими скованными шажками шла она от своих ворот к их дому, и был у нее такой вид, будто переживала в это время что-то такое сложное, такое новое и чудесное...

Душан по обыкновению смутился было, но сдержал себя и постоял с видом бесстрастным, даже холодноватым, каким и думал встретить ее — и нравился себе, хотя и боялся удивить и разочаровать ее.

Бунафша остановилась, смущенная, и протянула в его сторону блюдо, прикрытое салфеткой. Душан не дотянулся, шагнул к ней и услышал:

— Примите поздравления...

— Это нам? — от неожиданности не знал, что сказать, Душан, хотя и сразу понял, что это праздничный улиш*.

— О, вы совсем забыли в своей школе... — Бунафша глянула на него не то чтобы с укором, а с каким-то недоумением, сожалением. — Пост кончился...

— Как, вы постились? — Душан не выдержал позы и широко и радостно улыбнулся своей находчивости.

— Нет. Никто у нас не постился. Только бабушка, — ответила Бунафша скороговоркой, и Душан, уже не слушая ее и весь охваченный своим, воображаемым, возбужденным, закивал.

— Да, да, я помню все.. И тогда все поздравляли друг друга... Просто приятно поздравить... — И вспомнил, что не принято возвращать пустое блюдо, бросился в дом. — Я сейчас... подождите, — на ходу откинул салфетку, вдохнул знакомый запах бесхитростных, на простой воде замешенных и зажаренных треугольников и четырехугольников из серого теста. Наверное, за простоту приготовления (ведь любой бедняк найдет у себя на дне мешка горсть муки, чтобы нажарить десяток треугольников, которые больше всего любят дети), называла их бабушка «святыми пустышками».

Душан не хотел, чтобы мать увидела его сейчас, за

* Улиш — буквально: доля. Подношения, которыми обменивались друг с другом жители гузара в дни народных праздников или поста.

метила его волнение, это суетливое метание от ворот во двор, хотя только мать знает наверняка, что положить в блюдо ответным подношением, взамен этим «святым пустышкам» — то, что не готовили уже в их доме с тех пор, как не стало бабушки.

Душан забежал на кухню, высыпал пустышки на стол и, так и ничего не придумав, прыгнул — раз! второй! — сорвал с дерева два яблока и, прикрыв их салфеткой, снова вернулся к воротам.

Посмотрел по сторонам, удивленный и растерянный... «Братья увидели, что она ждет, и позвали, поругали, — первое, что пришло на ум Душану. — Она ведь не зря сама принесла». И хотел он уже побежать к их воротам, чтобы вернуть блюдо с двумя яблоками, но вовремя вспомнил, что с улишем от соседа к соседу ходят женщины, девушки да маленькие дети. Он огорчился, вспомнив это, но все же упрямо повторил про себя: «Могла ведь и бабушка... А сама принесла...»

Не зная, куда себя деть от волнения, он почему-то зашел в комнату, где сидели дед с Амоном, и тихо сел на край кровати. Дед и сейчас, как и под утро, когда говорил с Душаном, был в назидательном настроении, внашал Амону:

— Смотри что называть «утверждением»! Да, в твоём возрасте все озабочены утверждением. Но то, как ты пытаешься это сделать, — нехорошо! Подумай трезво над этим. — Душан заметил, что дед говорил с Амоном не так душевно, как с ним, суховатым тоном и почти что равнодушно, может, сама атмосфера ночи располагала тогда к теплоте и душевности? — Твое «я» желает добиться самостоятельности нередко в ущерб другим. Но знай, такое «я» — обманчивое, оно всегда в беспокойстве, в тревоге, ибо стоит в позе драчуна, если не сказать рвача, по отношению к невозмутимому миру...

— Все так живут, милый дед, — возражал Амон, хотя и смиренно, тихо. — Чуть зазвасяшься — и уже тебя нет в седле... А кони уже далеко! Деньги — вот что во все времена делало человека уверенным...

— Не кони, а кляча, не деньги, а бумажная труха, — глянул на Душана, будто ища его поддержки, дед. — Но есть в тебе еще другое «я», незагубленное до конца, хотя ты и всячески подавляешь его в себе... Но со временем поймешь, что только оно дает успокоение. Это «я» куда более терпеливое, неприхотливое, скромное, не желающее более того, что нужно, а нужно-то малость:

горсть муки да чашка простой воды для пустышек...

Душан, услышав это, даже привстал от удивления, думая, не увидел ли дед, как он нес эти «святые пустышки», но никто не обратил внимания на него...

— Есть залог, который был внесен твоим родом, чтобы жизнь не забывала выделять тебе твой улиш — долю... Ему, Душану, его долю среди множества, бесчисленного множества долей каждого...

— Не знаю, не знаю,— вдруг заупрямился Амон,— ты, наверное, в другое время жил, чтобы думать над этим. А мне, чтобы в своем каракулевом заводе на складе продержаться с хорошим выражением лица, надо заведующему каждую неделю его долю из своей выделять... А он поди знай — куда дальше... к чьей доле прибавляет... может, директора. Мне не говорят, я человек маленький. Помалкивай, и все, иначе лишишься своей доли...

— Ты о мерзкой доле говоришь, гиблой! — перебил его, рассердившись, дед. — Это не та доля от залога рода — та божеская доля, справедливая... А заведующий твой червь могильный, и директор... А ты за ум возмись!

Душану хотя и было все это интересно, но не сиделось. Он вышел во двор, чтобы еще раз вспомнить, как было, как увидел ее, она протянула блюдо, сказала, он ответил...

Мать уже взяла свою сумку, собираясь уходить, ибо чувствовала себя неловко в присутствии свекра, не знала, как вести себя теперь, о чем говорить с человеком одного с Наби-заде возраста.

— Душан,— позвала она сына под навес и осторожно, будто извиняясь, стала спрашивать:— Ты почему не пришел к нам обедать? Ведь обещал. И с дедом не обедал...

— Не знаю, передумал.— Душан лишь кратко взглянул на мать, и этот его недобрый взгляд не понравился ей.

— Но ведь обещал,— повторила она.— Нельзя так со взрослыми. Дал слово...— И, видя, как Душан угрюмо молчит, не оправдываясь, не желая объясняться, крикнула вдруг в сердцах:— Ну, что у тебя за характер?! В кого ты такой?! Я уже заранее не завидую той, которая будет тебе женой! Ты ее измучаешь, доведешь до умопомрачения этими своими шараханьями! Во всем — в мслочах, в крупном! — Даже невозмутимый

взгляд Душана не смог сдерживать ее, даже дед и Амон, удивленные, выглянули из окна комнаты.— Ты холодный эгоист! Она все ночи будет рыдать в одиночестве на своей подушке... Господи, что будет с тобой дальше, если уже сейчас у тебя два лица?

— Я женюсь на Бунафше,— неожиданно, но упрямо и твердо заявил Душан.

— На ком?!— Мать, изумленная, закрыла ладонью себе рот, но не сдержалась и захохотала истерично.— На этой?.. Амон, он не в своем уме... Он говорит так, чтобы сделать мне больно...

Дед, прихлопывая ее по плечу, повел в комнату, приговаривая:

— Успокойся... Нельзя себя так огорчать...

А мать все всхлипывала, испуганно, отчаянно.

— Он это сделает, я знаю... Но что ты в ней нашел — хилой, черной? Всем назло женится. И несчастным будет. Несчастливым! Несчастливым!— повторяла она, будто заклинала...

II

Он мало-помалу становился исправным служащим: просмотрел все двести пять томов, которые были втиснуты в шкафы — на каждый гузар по отдельному тому.

Вначале испытывал досаду от монотонности этой работы, от похожих друг на друга чертежей и планов, но постепенно втянулся и даже таким сделался вдумчивым и внимательным, что сумел обнаружить в томах немало путаницы, которую, оказывается, и Мираков не замечал. Бывший до него инспектор то ли по халатности, то ли от вечной спешки план дома одного гузара подшивал к другому, схему центральной улицы вклеивал куда-то на периферию...

— Старик с тридцатью тремя болячками. Отсидел здесь два года только ради пенсии,— сказал о нем Мираков.

Сам Мираков в эту осень тоже часто болел, и в его отсутствие Душан принимал посетителей, преимущественно домоуправов, и научился говорить с ними кратко и сухо, и все они, шестнадцать домоуправляющих, ежемесячно приносящих в управление разного рода сведения, обращались с ним несколько подобострастно, должно быть, зная, что он приходится кем-то самому управляющему.

Это и корбило Душана. И он старался делать все

четко и быстро, чтобы домоуправы, все пожилые люди из отставных военных, милицейских чинов, не думали, будто он сидит здесь за чьей-то спиной. Тут же, в их присутствии, писал бумагу на имя архитектора Бзенковского с просьбой проверить, возможно ли расширение эниного дома без ущерба всей улице. А в свободные, без посетителей часы снова с педантичным упорством переставлял тома в шкафах из одного в другой... и расставлял для удобства все тома так, чтобы гузары шли друг за другом не по номерам, как раньше, а в алфавитном порядке, по своим названиям. И домоуправляющие немало удивлялись тому, как четко наладилась в инспекторской работа, без суеты, спешки и нервотрепки — нужный том сразу же достается из шкафа, план дома тут же под рукой — а их, домов, в старом фонде города десять тысяч.

Откуда им, людям с военной выправкой, любящим широко распахивать дверь и входить, твердо ступая, в кабинет, было знать, что совсем юный еще инспектор давно нашел себе оправдание во всем этом механическом, пудном переключивании томов с места на место, наведении порядка в чертежах и схемах: из гордости он просто не хотел, чтобы кто-то подумал, что он как неродной сын Наби-заде имеет право на поблажки, на лень, халатность, заносчивость.

Мираков, ненадолго вышедший на работу перед тем, как снова свалиться в постель от приступа почечной болезни, удивился:

— Да вы, дитя мое, просто клад! Откуда у вас такая любовь к порядку? Такой врожденный нюх к четкости и ритму конторы?

— Сам не пойму. Внутри у меня какая-то неустроенность. И хочется, чтобы хотя бы вовне был порядок...

— Но не радуйтесь, дитя мое, вы не сделаете блестящей карьеры. Образцовые служащие до пенсии сидят на своем месте — их не пускают в начальники. У начальника свои приметы, свое качество... Так что готовьте себе черные нарукавники. А пока я болею, попользуйтесь мной... Впрочем, может, я и ошибаюсь. Сдается мне, что вы — личность непредсказуемая. Или — или. Или выйдете с нарукавниками на пенсию, или плюнете на все — и опять деру дадите, как из интерната... куда-нибудь... даже не представляю куда. Может, в пустыню?..

Душан уже знал всех своих конторских, и все они —

двадцать человек, — от уборщицы до главного бухгалтера, поначалу настороженно приглядывавшиеся к нему, согласились с мнением Миракова, что Душан в общем-то милый, хорошо воспитанный и даже несколько «старомодный» молодой человек (это последнее особенно ценилось ими, людьми в общем-то пожилыми), а когда заметили еще, что между Душаном и Наби-заде странные, натянутые отношения, полностью приняли его.

В беготне большого двора, среди многочисленных дверей двух этажей дома он различал теперь и адвокатов и цветоводов, и удивляло Душана то, что и среди них нет молодых, а самой старой, лет семидесяти, была машинистка, одна работающая на все четыре конторы.

Он уже замечал и некоторые штрихи и подробности, к примеру, какого-нибудь адвоката, который, как бы не вписываясь в свою коллегия, сторонился всех и всегда шел обедать с цветоводом, который также всем своим видом выпадал, нарушая спаянность собственной фирмы.

А сам дом, должно быть, от деловитости контор поскрипывал, трещало дерево лестниц и навесов, тронутое светло-коричневым цветом старины, — их пока не догадались закрасить синей масляной краской — под цвет дверей кабинетов, энергично открываемых, запираемых на замок, прижимаемых железными решетками... Понимал ли торговец Касым, что в доме, в котором он почти не жил — карванбаши, старшина гильдии купцов, все время был в пути из России или в Россию с товарами, — разместится столько столов и шкафов?.. Воскрес бы и пришел посмотреть, сколько бесхитростного товара валяется под ногами — скрепок... поднял бы одну и попробовал на зуб — крепка: что скрепят и сложат в шкаф, то не заберешь назад — навек.

О таком парадоксальном, порой даже вздорном думалось Душану, если вдруг он уставал от однообразия текущих дней и как бы останавливался, хватался за голову, чтобы взглянуть на себя, такого аккуратного, педантичного, смахивающего по утрам пыль со стола, роющегося в шкафах, со стороны. И этот отделившийся ироничный двойник, удивленный и даже чуточку растерянный, желал скорее какого-нибудь разнообразия, чего-нибудь иного, и Душан готов был хоть завтра сменить темп и ритм работы и выйти наконец в город, чтобы ходить от дома к дому в гузарах — измерять, подсчитывать, записывать..

Но Мираков все еще прибалывал: «Осенью я всегда такой, но к зиме отойду, чтобы тянуть дальше», и осмотр домов решено было начать в этом году зимой, ибо некому заменять Миракова на текущей работе с посетителями.

Вечерняя школа, куда Душан пошел в десятый класс, к удовлетворению Юртаева, еще как-то разнообразила жизнь. Юртаев говорил наедине с дедом, вкрадчиво и тихо, и Душан услышал, когда он прощался у ворот:

— Ну, я теперь спокоен, когда вы здесь...

И не столько сама учеба в вечерней школе вносила это разнообразие, сколько, как и в конторе, окружение взрослых людей — степенных родителей, которые вдруг терялись, бормотали что-то невнятное у доски, говорили о каких-то сверхурочных, которые им пришлось отрабатывать вместо того, чтобы заучивать теорему по физике или статью по правовому воспитанию, и Душан сразу понял, что интернатское обучение, считавшееся провинциальным, поверхностным, все же в сравнении с вечерней школой оказалось на высоте.

Частенько к нему без всякого дела заходил теперь и Наби-заде. Он был какой-то притихший, исхудавший, должно быть, как и Мираков, болезненно переносил осень, садился на пустующее место старшего инспектора и как-то удивленно оглядывался по сторонам — и так каждый раз, будто каждый раз замечал какие-нибудь перемены в комнате и не мог сразу привыкнуть к ним, оттого чувствовал себя неуютно поначалу и срзал.

Душан, успокоившийся уже в первые дни работы, определивший к Наби-заде свое отношение, как к «батьшке всего управления», лицу в равной мере и чужому и близкому всем служащим, теперь снова должен был как-то близко воспринимать его, невольно втянутый в переживания, сомнения Наби-заде, ибо сын и дочь не давали ему покоя.

Они являлись каждый по отдельности, и Душан видел из окна, как запирался изнутри кабинет Наби-заде на время долгого разговора отца с дочерью, располневшей, медлительной особой, ни одной черточкой лица не похожей на изнеженного, манерного отца.

На следующий день или в тот же день к вечеру, будто осведомленный о визите сестры, торопливо устремлялся в кабинет Наби-заде брат, совсем непохожий на сестру — порывистый, нервный, но вопреки своей порывистости удивительно вписанный во все и из всего уме-

ющий извлечь пользу, одним словом, из нынешних, современных, как сказал о нем Мираков.

И Наби-заде, казалось бы, такой невозмутимый перед житейской суетой, теперь метался между дочерью и сыном с отцовской любовью к одному и ненавистью к другой, и Душан, глядя на все это, вдруг как-то опять почувствовал себя причастным к Наби-заде, чем-то обязанным, и даже связанным смутным родственным... Это снова его смутило, расстроило. И еще эта полная непохожесть отца, дочери и сына друг на друга казалась такой неестественной и загадочной, и то, что сын и дочь не только враждуют между собой, но вместе оба смертельно ненавидят его мать, думая, что она руки хочет нагреть на имуществе и сбережениях Наби-заде — оттого ходят они объясняться с отцом не домой, а на службу... И все, объяснила Душану мать, из-за того, что сын и дочь уже сейчас хотят что-нибудь урвать заранее, для начала хотя бы дарственную на машину.

Наби-заде обещал, но медлил, должно быть, еще в чем-то сомневаясь, ходил по двору управления, обдумывая с иронической улыбкой на губах, и заходил к Душану.

— Ты видел, дочь приходила? Я всегда говорю знакомым: такой дочери ни у кого нет — нежнейшее существо, привязана ко мне до гроба... Когда я лежал с инсультом и не мог, прости меня, к горшочку подползти — она меня на руках... А сын у меня, прямо скажу, дрянь!

Но через несколько дней, после очередного долгого объяснения с сыном, появился у дверей инспекторской довольный, кажется, даже чуточку устало-умиротворенный оттого, что перестал терзаться и принял наконец решение с этой дарственной.

— И все-таки не зря мы, восточные люди, связываем с сыном столько надежд. Было со мной одно дело, кляузное. Гершович в нашем управлении, писатель — ха! ха! — написал в Ташкент кляузу, будто я имею что-то от тех средств, которые отпускаются на ремонт мечетей... Сын столько сделал — и следователя сумели переубедить... словом, отвел клевету. И доказал свое родственное... А дочь в это время сидела сложа руки: чем, мол, кончится...

И после такой его откровенности Душан облегченно вздыхал, думая, что наконец-то решилось дело с дарственной, если не в пользу сердобольной, выходившей его

в больнице дочери, то хотя бы в пользу такого энергичного, знающего все ходы и выходы судебные сына, но тут каким-то образом во все это оказывалась вовлеченной и мать — то ли она за что-то стыдила Наби-заде... словом, Наби-заде снова заходил, чтобы поделиться, раздраженный, взъерошенный. Но, усмирённый холодным взглядом Душана, говорил как-то обреченно:

— Боже, в какое нелепое неистовство приходит женщина, когда растеряна, вся подозрительна! Вот и мать твоя... обвиняла меня, будто я дом ваш хочу продать и оставить тебя без крыши... и будто уже дочь моя нашла покупателя. Грозилась, что напишет в Ташкент, в суд заявит... Это она со мной так, когда я возбужден всей этой каруселью, зол... Но едва успокоюсь, делаюсь домашнему тихим и уютным, она тут же мне списочек, что надо купить — финскую стенку, ковер, японскую посуду на сорок восемь персон... на пять тысяч списочек... И все, должно быть, потому, что я не оправдал ее надежд. Но что поделаешь?! Я многого не обещал — стар, холоден, терзаем детьми и недугами. Покровительство обещал, защиту... Вот и сейчас приходила объясняться. И так мне тоскливо стало, подумал: ни тебе! никому! Не будет меня — бегайте по адвокатам, делите! — И, как и в прошлый раз, повернулся к окну, наблюдая за прохожими в узком переулке, и сказал: — И эти, двое встречных, не могут без раздражения уступить друг другу дорогу. Миллионы людей.

Душан, молчавший все время из деликатности, когда жаловался он на дочь, сына, сказал вдруг о том, что вчера услышал случайно по радио и что взволновало его:

— Не знаю, меня не это трогает... В прошлом году голодных и больных умерло семнадцать миллионов детей. Во всем мире. Это страшно... — И сам смутился, подумав, что сказал не к месту, совсем не в тон разговору, ведь не этого ожидал услышать от него Наби-заде, который со всей неразберихой в собственном семействе вдруг раскрылся перед Душаном, стал понятным... Конечно же, не этого ожидал — а свои миллионы детей вставил в разговор для красного словца, — но какого тогда суждения может ждать от него семидесятилетний старик? Сочувствия? И чего им, старикам, требовать от Душана, когда они друг с другом не очень-то откровенны, недоверчивы, как были недоверчивы дед и Мираков, когда встретились недавно в конторе. Посидели,

поглядели друг на друга, прищурились, но так и не разговорились, хотя и видели, что Душан переживает смущенно — ведь это он уговорил деда прийти: «Вы чем-то похожи... И поймете один другого, понравитесь...»

Не понравились, наверно, потому, что были наслышаны от Душана друг о друге хорошего, и дед лишь кратко сказал о Миракове:

— Он такой худой, боюсь, не почувствует даже собственной смерти...

— Худой! — обиделся его словам Душан. — И больше ты ничего в нем не заметил... Вообще ты мрачно настроен...

— А при чем здесь я? — будто удивился и лукаво глянул на него дед. — Это год начался не очень удачно, с пятницы. Под знаком Венеры по гороскопу...

— И что это значит?

— Это значит, что среди людей будет несправедливость и ложь. И порча большая на суше и на море. Иран воюет с соседом, а Англия на море с Аргентиной... Осень ожидалась относительно хорошей — много хлопка и пшеницы, зато подорожал мед и винограда мало... И будет мор на стариков... На всяких — и на дурных, и на праведных... — сказал он так, что у Душана все дрогнуло от жалости и предчувствия.

— И ты веришь этому? — спросил он больше от растерянности.

— А почему бы и нет? Я старик, мне уже можно верить даже в несусветную чертовщину. И унесу эту веру с собой. И ее не будет...

— А вообще, как это? — возбужденно спросил Душан о том, что его всегда заботило своей загадочностью. — Что это — смерть? И не боязно ли?

— У каждого по-разному, — бесстрастно ответил дед. — Я по себе сужу: до двадцати лет я рос вширь и вглубь и был, как и ты, любопытен: что есть смерть? Какова она? Но в тридцать, когда начал утверждаться, вдруг стал бояться ее. Сидит в голове эта подлая мысль: «Это я хочу взять у жизни и это, а вдруг не успею — умру раньше времени». Покоя не находил в себе от этой подлой мысли. И так — пока в сорок лет такой кризис испытал, такое безверие и сомнение во всем началось — вот теперь, думаю, и погибну. Но не погиб, хотя все условия были, все так сплелось, что в смерти и спасение. Не погиб, а возродился для нового понима-

ния... и так постепенно, минуя пятьдесят, шестьдесят, семьдесят, теперь уже стал чувствовать, в чем вкус и мера, где черта, которую нельзя переступить,— и так следую по сей день этому чувству жизни. Называется оно «просветление». И приходит не само по себе как подарок, за него надо заплатить таким внутренним потрясением, которое слабых не шадит... Амон слабый, весь в отца, жизнь, боюсь, срубит... эту ветвь нашего рода. Я говорил ему о залоге, который вносит род для каждого — помнишь? И о доле, которую жизнь по справедливости выделяет каждому. Вот эта доля и имеет свою меру, свой вкус и свою черту, которую я стал чувствовать. Эта доля тех, кто растворяет себя в других, кто лишен корысти, себялюбия, кто, растворившись, становится частичкой жизни, без которой жизнь не полна...

— Этому надо верить, что жизнь к тебе справедлива,— задумчиво сказал Душан.

— А жизнь — справедлива! Я уже говорил в прошлый раз и повторю: по высшему счету — очень справедлива! — воскликнул дед. — И это должно стать верой, твоей высшей верой... Иначе как же? Не успел родиться, а уже заражен нигилизмом... Это чувство не было нам знакомо ни в кои века. Оно привнесенное — европейское, западное чувство. Этот нигилизм — отрицание жизни как высшей справедливости, это неверие в самоценность бытия, где присутствует и твоя доля, и родило водородную бомбу...

Душан не сразу ответил, вникая в смысл сказанного дедом, но, так и не поняв многого, улыбнулся виновато:

— Высоко ты взял!

Дед кашлянул сконфуженно, словно опомнившись, и, согласившись, кивнул.

— Прав ты... Спорит и изрекает истину тот, кто жизни не вкусил. И какой я прозревший, если не могу обо всем этом загадочно молчать?

— Зачем же молчать? — удивился Душан. — Я не о том. Меня смутило то, что я услышал: в прошлом году, оказывается, в мире умерло семнадцать миллионов детей от голода и болезней. Представляешь?! И я сказал об этом Наби-заде... может, он призадумается? — нанвны тоном заключил Душан.

— Страдаешь? Сострадать чужим и невидимым — удел с... Но я не зря сказал, что ты «между».

Сострадание — идеал старой, доброй Европы. А сумел бы ты соединить в себе это с нашим, восточным идеалом — справедливостью, чтобы через них, через оба сплетенных в одно сильное чувство, воспринимать жизнь? Как много ты понял бы! — воскликнул, увлеченный своей идеей, дед. — Но можно ли соединить эти оба пламени, чтобы самому не сгореть? Не разорвут ли высокие температуры, когда сомкнутся? — продолжил он горячо, но тут же, как спохватившись, глянул на Душана в упор. — Наивно?

— Почему же?.. — не сразу сообразил Душан, что ответить, ибо не ожидал такого вопроса.

— Наивно, наивно, я чувствую, — упрямо повторил дед, будто ловя себя на чем-то предосудительном. — Когда мы, старые бухарцы, страстно рассуждаем о морали, то выглядим такими наивными! И не оттого, что лукавим, нет. Если ощущаешь в себе с возрастом покой и отдохновение от целостной картины бытия, то выпячивать какую-то одну ее сторону, нажимать на нее, пережевывать — не суета ли?

— Доживу до твоих лет, тогда и отвечу, — шутливо уклонился от его вопроса Душан, и ходил потом, и переживал — чего-то важного не понял из сказанного дедом, и это непонимание тяготило его, ибо дед говорил искренне сокровенное.

Жизнь вокруг как бы расширилась... стали проглядывать новые лица, но не все, что говорили ему Мираков, Наби-заде и даже мать, мог уразуметь он и оттого выглядел в эти дни растерянным и подавленным. И тогда как спасительное, волнующее среди всего давящего, интригующего были мысли о Бунафше. Вспомнится о ней и забудется, потом опять всплывет вроде бы без всякого внешнего повода — на работе, дома, перед сном, когда вслушивался он, уснул ли наконец дед.

Он теперь ловил себя на том, что часто думает о Бунафше, чувствуя приятное, тревожное и досадное. И впрямь, разве не досадно, живут рядом, разделенные лишь узкой улочкой, наверное, в один и тот же час выходят во двор, завтракают и, должно быть, ложатся спать, как и все в городе, в одно и то же время... («А она... вспомнит ли обо мне, подумает ли, перед тем как сладко заснуть, прижавшись правой щекой к подушке?») И даже если напрячься, в тихую погоду, когда соседи справа не говорят громко, в очередной раз пос-

сорившись из-за какой-то газовой плиты, которая горит плохо, то можно услышать, как из ее двора доносятся звуки, правда, неразборчивые, как будто что-то упало металлическое или прочертила по дереву своим дергающим звуком пила...

Но, может, именно это — близость их домов, незащищенность и открытость — и мешает? Утром, когда он выходит из дома, одновременно распахивают вместе с ним свои ворота и соседи, все переговариваясь о чем-то незначительном, но обязательном — этикет вежливости, — идут немного вместе, пока не пройдут переулок, чтобы разойтись потом направо и налево, но Бунафшу, которая в этот же час идет в школу, он почему-то ни разу не увидел... Наверное, минутой раньше или позже ускользает...

И вдруг его подзадорило дерзкое. Вернее, думал он об этом часто, с тоской поглядывая на стены ее дома, отделенные от их двора плотным воздухом улицы, — вкус и запах этого воздуха во всех его движениях и дуновениях нижних и верхних сквозняков он ощутил еще в детстве, в первые свои выходы за ворота, и должно быть, это понятное и преодоленное и заставило его теперь решиться. Он поднялся к мансарде и стал, пошатываясь, на лестнице, чтобы увидеть угол ее двора, срезаемый стеной кухни и верхней площадкой.

Когда-то, играя с ее братьями, он часто забегал и с тех пор хорошо помнил ее двор во всех проходах и переходах от площадок к лестницам, под которыми братья прятались, в линиях белых стен, прерываемых ставнями окон, мимо которых Душан крался в напряжении... все было открыто, как и в собственном дворе, и привычно. И может, потому, что на это открытое и привычное Душан смотрел сейчас украдкой, как на недозволенное и запретное, и повеяло со двора загадочным, тревожно-меняющим, а это смешало, смыло контуры, и Душан ничего не различал от волнения, только столбик дыма — видно, сжигали листья в палисаднике.

Душан напрягался и всматривался, думая, что вот мелькнет у края площадки, и он увидет в дымке ее силуэт. Сделает она шаг, второй и предстанет, как всегда, насмешливая (Душан почему-то такой ее и запомнил) и снова уйдет в невидимую часть двора. Но потом, будто почувствовав, что на нее пристально смотрят, вернется ненадолго — и так будет манить и дразнить его воображение.

Душан подождал и уже хотел в досаде лезть на крышу, чтобы сесть там на самом краю, свесив ноги, и не мигая смотреть на открывшуюся картину ее двора, всех окон и дверей, откуда, удивленные такой его дерзостью, выскочат братья. И начнется словесная дуэль, язвительная и иносказательная, вроде: «Что, сосед, тесен наш двор, грудь сжимает? Спускайтесь к нам — подышать...» — «Вы там, я вижу, земляных червей жарите в листьях?» — и прочая ерунда, которая, должно быть, позабавит Бунафшу.

Но Душан не успел собраться с духом; оглянувшись, он вдруг увидел, как дед смотрит на него из окна, загадочно улыбаясь. Душан смутился и стал быстро спускаться, а дед успел выйти к нему во двор, понимающе и даже будто жалеючи глядя на оробевшего внука.

— Что ты так... странно смотришь? — будто удивляясь, пожал плечами Душан.

Дед как-то озорно ухмыльнулся, желая скрыть растерянность от такого напористого вопроса Душана:

— Удивительно! Все идут к цели прямо, кратким путем, а ты, как всегда, окольным... А она мила, ей-богу, мила... Другой бы — да тот же Амон! — поймал бы ее за руку на улице и, угрюмо насупившись, «Идем со мной, прогуляемся!» — так, что ли, вы, современные, ухаживаете? А ты все по крышам да по лестницам. Был бы у тебя хоть один друг закадычный, он бы тебя вмиг научил всем этим порханиям...

— Ты сказал — мила? — досадливо спросил Душан, ему показалось, что эта характеристика деда и восприятие Бунафши так не вяжется с его восприятием, как-то обедняет ее образ.

— Да, очень! А тебе, тебе она какой кажется? — полупшепотом, как о недозволенном, заговорщически прищурившись, спросил дед.

Душан в напряжении подумал, смущенно улыбаясь и досадуя на себя за то, что вот на языке вертится это слово, а выразить его он не может.

— Не скажу, — упрямо вскинул он голову.

— Тайна, тайна, — передразнил его дед. — Просто ты слеп и никак ее не видишь. А я вот сижу с утра до вечера на камне — спасибо тебе за то, что прикатил его к воротам, — и всех замечаю... А она идет... вернее, не идет, как ты, шаркая ногами... ее несет на крыльях сама молодость, сама чистота. И она идет, ощущая в себе легкость от этого, горделиво, будто любуясь собой со

стороны... но вдруг видит меня, старого черта, сросшегося с камнем, и разом смущается. Щеки наливаются румянцем — и так обаятельно она улыбается мне, уже уходящему, кровь которого разбавлена желчью и солью, так мило и непосредственно, что в последний раз еще моя душа теплеет. Нет, даже не теплеет уже, а вспоминает о чем-то смутном, далеком волнении... Истинно, надо быть старым, чтобы восхищаться молодостью, и молодым, чтобы с любопытством всматриваться в старость...

— А почему это я слеп? — с обидой дослушал его Душан. — Я как-нибудь сам разберусь, не ошибусь.

— Потому ты слеп, что не дано тебе всмотреться в свою сверстницу. Нужно удаление в возрасте, расстояние. Но ты в чем-то и богаче меня в этой своей слепоте, как летучая мышь богаче мыши, снующей по дырам да по норам. Ты чувствуешь, а это истинно... Ты слышишь ее, как слышит летучая мышь цель, к которой летит...

— Я не только чувствую, я думаю о ней часто, — взбодрился Душан и потому признался трогательно-наивно. И, вспоминая потом, как тепло говорил с ним дед, будто поощряя и подбадривая, Душан еле дождался на следующий день обеденного перерыва, и глухими, задними переулками пошел к ее школе.

Школа — довоенная трехэтажная постройка с высокой крышей и небольшими окнами, стоящая на границе старой и новой части города, всем своим видом резко выделялась из ряда тех глиняных домов, мимо которых Душан шел, и, наверное, это и заставило его остановиться, почувствовав вдруг растерянность. Все же он вошел.

Душан всматривался, но почему-то не видел ее в классе, зато учительница повернула к нему голову, замолкнув на полуслове, отодвинули с облегченным свои тетради учащиеся и тоже уставились на этого глуповато улыбающегося пришельца — замигали ему, закивали, засвистели. И среди этого общего движения и шума Душан и заметил наконец Бунафшу, сидевшую за передней партой с каким-то мальчиком, совсем близко к двери, возле которой Душан стоял в насмешливо-неприступной позе.

И в следующий миг он уже бежал вниз вместе с Бунафшой, повторявшей почти что испуганно:

— Что случилось?! Ну, говори же!

Во дворе его разом отпустило, он жадно всматривался в нее, пытаясь понять, какая же она из себя, мила ли, как говорил дед, и чем вообще привлекла его к себе.

— Ничего не случилось... Просто я хотел видеть тебя. Живем рядом — не вижу. И пришел сюда, потому что думаю о тебе с тех пор, как принесла улиш. Нет, даже раньше... — И он разом умолк, видя, как Бунафша почему-то нахмурилась.

— Живем рядом, а пришел сюда... И что дальше? — Она не выдержала и улыбнулась, видя, каким он стал беспомощным.

— Но ведь я думал — там братья. Я вчера даже с крыши подсматривал, — радостно сообщил он.

— И что в этом хорошего — подсматривать с крыши? — Сделавшись строгой, она пожала печами и, вдруг почувствовав что-то, глянула наверх, где из распахнутого окна класса, толкая друг друга, показывали на них пальцами, веселились ее одноклассники, а над их головами возвышалась любопытствующая учительница.

Наверное, чтобы подразнить подруг и показаться властной, она сказала, усмехнувшись:

— А что братья? Если мне кто нравится — они не посмеют...

— А тебе нравится? — Душан вдруг с досадой подумал о сидящем с ней за партой — Из этих? — и кивнул в сторону веселящегося окна.

— Есть один... Не знаю, — лукаво глянула она на Душана.

— Да ничего он в тебе не понимает, ничего! — горячо и убежденно сказал Душан. — Одногодки ничего не понимают. Вот дед мой. Он сказал, что ты мила... А я всматриваюсь — и не вижу. Мне просто приятно...

— Не видишь?! И ты пришел мне это сказать?! — Бунафша упрямо тряхнула головой и, резко повернувшись, побежала обратно в школу.

Душан смешался от неожиданности, хотел было догнать ее, объяснить, но притихшие в окне отрезвили его, и он пошел, ругая себя за простодушную откровенность.

«Надо было строже. И бесстрастнее, — подумал он и вспомнил, как Аппак влюблял в себя зармитанок веселой грубостью и настойчивостью, ни словом, ни жестом не выдавая свои чувства. — Прав дед, Амон бы схватил ее за руку... Расскажу это деду, а он опять истолкует по-своему, мол, и ухаживаешь ты не по-нашему, не по-

восточному». Думая обо всем этом, Душан вышел на широкую улицу.

Как бы повторяя в уме все заново, Душан легко вбежал в подъезд одного из домов и, глядя поочередно на номера всех дверей, поднялся на третий этаж, где жил Амон.

Дверь открыла удивленная Мавлюда, и Душан с напускной веселостью сказал прямо с порога:

— Я к вам обедать. Принимай, хозяйюшка.

— А Амона опять нет,— сказала Мавлюда обычную в таких случаях фразу, когда брата не было дома, и взяла Душана за руку.— Заходи, не стесняйся. Вместе пообедаем.

Она была в широком платье, скрывавшем ее расплывшую фигуру, и села за стол как-то боком, и, глядя на ее подобрешее лицо, на котором выпрямились, стерлись злые черточки, Душан вдруг спросил:

— А тебе хорошо с братом?— но тут же поняв, что, возможно, покажется бестактным, добавил:— Я ведь не чужой вам...

Мавлюда всегда чувствовала себя как-то неуютно в обществе Душана, она с первого дня сразу заметила, что он во всем не похож на Амона, и казалось ей, что все, чем они живут, представляется Душану неестественным, даже никчемным. И вправду, ничто из того, что радовало их — новая арабская мебель, фотообои на стенах их квартиры,— ничто не привлекало его и ни о чем таком с ним нельзя было говорить в застолье, и все оттого, что не чувствовал он ни вкуса, ни запаха домашнего уюта. И отсюда — от неловкости и смущения и ее всегдашние слова, в которые она не вкладывала никакого смысла: «А Амона нет дома», когда видела Душана у порога, будто вдвоем им, Мавлюде и Амону, легче вынести присутствие неразговорчивого, угрюмого гостя.

Но сейчас его вопрос не то чтобы смутил Мавлюду, он удивил и порадовал нотками участия и заинтересованности.

— Как тебе сказать?— вздохнула Мавлюда.— Бывает по-разному, как и в других семьях. Только одно меня в нем смущает. Педантичность, что ли. Любит, чтобы все было вылизано в доме, каждое пятнышко. Все тихо и чинно. Он говорит: «Дом — мое убежище! На работе я один, дома другой». А я люблю, чтобы было шумно. Люблю быть в гостях. Есть у меня одна старуха, вроде как доверенная. Бегаю к ней советоваться. Она

говорит, что у него, наверное, болезненное. А я так люблю быть в гостях. Весь век просидела бы у этой старухи, доверенной моей, лишь бы в тишину этой квартиры не вслушиваться...— Говорила она все это как-то осторожно, будто боялась, что не так и не то скажет и покажется Душану глупой и банальной.

— А как вы познакомились? Я, кажется, спрашивал у брата и забыл.— По тому, как Душан это спросил, Мавлюда поняла и с удивлением и любопытством посмотрела на него.

— Уж не понравилась ли какая?— весело сказала она.— Признавайся, ну-ка признавайся...

Душан осторожно положил ложку на край тарелки и в упор глянул на Мавлюду, будто проверяя, можно ли ей довериться, но Мавлюда уже сама догадалась, о ком он думает.

— Бунафша?

— Ну как она? Только честно. Какой ты ее видишь? Мне интересно,— возбужденно заговорил Душан.

— Какая она?— Мавлюда призадумалась, как бы вспоминая Бунафшу.— Не знаю, Душан. Обычная она. Мы ведь с ней вместе играли в нашем гузаре «Яланги», она на три года младше.

— Что значит, обычная?— Слова ее задели Душана, но он, стараясь ничем не выдать себя, пробормотал:— Вот и мы с тобой рядом жили, а тебя я не помню в детстве. А ее помню...

— Зато Амон помнит,— обиделась вдруг Мавлюда.— И сватов прислал...

Душан помрачнел и отвернулся к окну, поглядел на прохожих на улице, а потом заметил то, чего не замечал раньше, когда был в квартире брата. Старые резные ставни, возле которых он так любил сидеть вечерами и слушать бабушку, были, оказывается, привезены из их старого дома и прибиты к этим коричневого цвета рамам, чтобы закрывать окна третьего этажа.

«Вот так,— мелькнуло у Душана досадное,— жить в современном и приобщать себя к благородной старине столь безвкусным сочетанием. В этом весь сегодняшний бухарец...»

Душан повернулся к притихшей, погрузневшей Мавлюде и сказал как можно бодрее:

— Спасибо, хозяйюшка, мне пора... Служба...

И Мавлюда, мучаясь оттого, что повела себя как-то не так, сказала не то, пошла за Душаном по лестнице,

но Душан и на улице не мог забыть об этих ставнях, да еще вспомнил некстати, как в пылу откровенности Наби-заде рассказал ему о какой-то китайской вазе, которую мать унесла с собой в дом к старому мужу, и о последней ссоре из-за этой вазы в благородном семействе.

— Ах, если бы ты знал, что и обыкновенная дрянная ваза становится в расплывающейся семье яблоком раздора, если уже не один и не два, а компания из трех интеллигентных лиц — моих ученых детей и твоей, прости меня, матери, все делят и делят у живого пока еще отца-мужа, — в сердцах говорил Наби-заде. — А я не выдержал в очередной раз и в пылу гнева эту самую вазу об пол. Не вам, мол, и не мне! А матушка твоя будто этой минуты и ждала всю жизнь, будто молилась на эту вазу — гляжу, без лишнего шума и ответного скандала мне новый списочек на пятьсот рублей. Эта ваза, говорит, по нынешним комиссионным ценам не меньше пятисот рублей стоит, будьте добры — возместите... Ну, я ей какую-то дрянь под ноги бросил рублей на двести, что-то пушисто-синтетическое, коврик не коврик, словом, собачий мех. Потом еще какую-то искусственно-химическую на плечи рублей на триста — шубу, словом, думаю, умиротворил до поры... Но нет, вижу, что-то еще подспудно гнетет ее, какая-то неудовлетворенность, которую и высказать вслух не хочет. Только говорит: «Дело даже не в этих пятистах рублях, а в том, что досталась мне эта ваза по наследству. А моя бабушка была лучше и добрее вас». Вот так! Опять не угодил...

— Не везет вам на жен, — не выдержал и с иронией сказал Душан.

— Ты прав, — несколько не обиделся Наби-заде. — Это как рок. У той, первой, тоже было много претензий, но больше медицинского характера. «Я, — любила подчеркивать, — не сиделка при ваших болезнях». Чуть что не так, она рта не даст мне раскрыть. «Это, — говорит, — вас лекарство возбуждает, пойдите лучше к соседям и там накричитесь». И выставляла меня за дверь, будто виноват я, что с детства с головы до ног терзаем недугами...

— И что же вы хотите от матери? — задрожал от обиды голос Душана. — Теперь она сиделка, вот и требует сполна за вазу...

Даже это, брошенное со злостью, ничуть, похоже, не задело Наби-заде, было такое ощущение, что он легко подтрунивает над теперешней своей жизнью и расска-

зывает о ней просто, чтобы доставить себе удовольствие.

Он лишь удивленно, даже с уважением посмотрел на Душана и промолвил:

— А ты мудрец. Говоришь все точно и судишь обо всем кратко и метко!— сказал он, грустно улыбаясь, и вдруг что-то затаенное, что-то доселе скрываемое — боль или обида — вырвалось у него наружу, и Наби-заде, схватив Душана за руки, порывисто, с мольбою признался:— Я бы много, очень много отдал за то, чтобы ты назвал меня отцом!

Душан от неожиданности отпрянул назад.

— Признай! Назови хотя бы ты — чужой! И я много отдам! У меня столько всего, и больше половины припрятано — они и знать не знают! И все это я завещаю тебе!— У Наби-заде тело задрожало мелкой дрожью, глаза увлажнились.

— Да вы шутите, наверное,— вконец смутился Душан.— Я ведь не пойму, о чем вы, о каком завещании...

Наби-заде, ослабев от нервного напряжения, сел, упершись локтями о стол Миракова и закрыв лицо руками, покачивался, будто горько сожалел о чем-то.

— Эх, жизнь, жизнь,— прошептал он глухо, будто говорил то, что нельзя было выразить вслух,— промелькнула, и под конец так все сплелось, что и не поймешь, где просвет. И чтобы на старости лет ни одна живая душа не могла назвать тебя отцом. А я, я искренне доброе хочу сделать, но кому? Я как-то пригрозил в сердцах великовозрастным своим отпрыскам: «Не вам, не вам, лучше все интернату сирот завещать», а они поклялись врача нанять и в больницу меня к сумасшедшим запрятать... Классический случай! Драма!— сказав это, он вдруг резко встал, выпрямился и, сделавшись снова строгим, повелел Душану:— Забудь! Ничего этого не было!— И быстро вышел из комнаты, оставив Душана в растерянности и недоумении.

И несколько дней потом Душан старался не попадаться на глаза Наби-заде, да и сам «батюшка», видно еще не остывший, не заходил к нему в комнату поболтать. Раз подумал Душан рассказать об их странном разговоре с Наби-заде деду или матери, но не стал, ибо чувствовал, что чего-то не понимает до конца в отношениях Наби-заде, его взрослых детей и матери, чего-то очень важного для верного суждения. И, чтобы как-то отвлечься от тягостных мыслей, Душану захотелось повидаться с Мираковым, снова надолго слегшим в постель.

Мираков жил в квартале «Равгангарон»* в юго-западной части города, и Душан, просмотрев нужный том, начертил в своем воображении краткий путь туда — через гузары «Модарн-хон», «Мухаммад-атолик» и далее мимо мечети, которую называли «Бесутун», единственной теперь в районе с мрачноватым именем «Мурдашуён»**.

Душану уже давно приелась его ежедневная, однообразная работа, которую он по-прежнему делал и за Миракова. И он даже как-то простодушно поделился с одним из домоуправляющих, мол, не терпится уже скорее начать проверку самих кварталов, хотя и знал, что и это, как и все его увлечения, ненадолго. Но признание его удивило и даже как-то обидело домоуправляющего, он стал в позу, сказав: «Если вы уж так не доверяете нам, молодой человек, то можете обойти проверочно несколько домов в гузаре, чтобы прояснить для себя картину нашего усердия». Вот так, несколько витиевато, да еще это «молодой человек», подчеркивающее дистанцию в возрасте и опыте между ним и давно вышедшим в отставку по основной работе и теперь служащим домоуправом из укоровившейся привычки властвовать.

Рядом с домоуправляющими Мираков выглядел каким-то неосновательным, даже легкомысленным, хотя бы этой своей привычкой опускать ручку в чернильницу, а потом долго разглядывать ее, повернув на свет, прежде чем поставить свою подпись на какой-то справке, будто втайне усмехался он или пародировал весь этот строгий конторский стиль работы. И вообще он был так насторожен, в таком всегда внутреннем напряжении, что казалось Душану, будто он вообще занял свое место по недоразумению, с черного хода и держится в управлении уже двадцать лет лишь потому, что Наби-заде, опутанный семейными дрязгами, ни разу внимательно не всмотрелся в старшего инспектора. Всмотрелся бы и тут же разоблачил, вывел бы на чистую воду и увидел бы, как соответствует его месту, как кстати, ну, хотя бы этот домоуправляющий, который обиделся на Душана.

Это странное ощущение не покинуло Душана и тогда, когда он нашел наконец дом Миракова и постучался в ворота, ибо и дом его, невзрачный на вид, с маленькими стенами, был пристроен как будто незаконно где-то

* «Маслобойщики».

** «Обмывальщики покойников».

сбоку остальных домов гузара, основательных, образцово содержащихся. И даже то, что на стук Душана никто не откликнулся, смутило его не меньше, будто совсем некстати он пытался вникнуть в такую сторону существования Миракова, которая ускользала, не позволяла понять себя.

На повторный стук Душана вышла какая-то женщина из соседнего дома и, глянув на Душана, недовольно проворчала:

— Не слышат они... А вы кто?

— Мы вместе работаем в конторе,— пояснил Душан, подумав, что перепутал дом, ибо насторожило его, когда женщина сказала «они».

— В какой такой конторе?— прищурилась недоверчиво женщина.

— В управлении... В гузаре «Мир-и-Араб»...

— Амина!— крикнула вдруг женщина, толкнув запертые ворота. И тут же отошла, стала у своих ворот.

Крик ее смутил Душана, и он поспешил сказать, как бы оправдываясь:

— Может, я ошибся...

— Здесь. Все здесь,— властно сказала женщина, но, услышав, как открывают изнутри ворот засов, вся переменилась, сделавшись приветливой и даже угодливой.

— Это моя дочь,— доверительно прошептала она, и едва ворота Миракова приоткрылись, как женщина тут же скрылась в своем доме.

Вышедшая прошла мимо Душана как-то боком, прикрыв лицо платком, и Душан даже не успел толком ничего разобрать, не то чтобы разглядеть эту дочь соседки — так быстро она исчезла. Зато Мираков появился у ворот, как всегда наигранно веселый, даже бесшабашный, должно быть, тем самым скрывая свое некоторое смущение.

— Как я рад, дитя мое, как я рад...— И эта неизменность его даже в первых сказанных словах еще больше подчеркивала неловкость ситуации, и посему Душан поспешил было оправдаться, но вышло все как-то даже уничижительно.

— Я бы давно пришел... но я такой глупец, что даже хорошее не решаюсь делать из-за робости...

— Да заходите же, дитя мое,— обнял его за плечи Мираков,— я, ей-богу, искренне рад. Это я должен перед вами оправдываться за столь долгое отсутствие в присутственном месте.— Он был в каком-то нервном воз-

буждении, его рука на плече Душана дрожала, а глаза лихорадочно блестели.— А то, что вы избавили меня от моей сиделки,— так это счастье. Вы слышали, как ее матушка крикнула: «Амина!»— И он смешно и трогательно изобразил соседку и тут же, понизив тон, заговорщически добавил:— С женщиной так... лучше все время желать и не достигать, чем, достигнув ее расположения, пребывать потом в каком-то сытом и тупом безразличии...

— Не знаю,— сказал Душан первое, что пришло на ум,— вам виднес...

Это простодушно, от смущения высказанное Душаном, вдруг так развеселило старика, что он, ухватившись за дверь комнаты, в которую вел гостя, засмеялся, да так заразительно, искренне, что прослезился.

— Мне виднее, говорите?— повторял он и снова смеялся, не в силах сдержать себя.

Душан в ответ лишь улыбался, глядя на маленький двор, где было собрано много всякого разного,— огромный кувшин с разбитым горлом, велосипедные шины, какое-то железное колесо — непонятно для чего. И сама обстановка двора так естественно вязалась с обликом хозяйна, заразительно смеявшегося над пустяком, нелепо сказанным, да еще с такой легкостью и непосредственностью говорившего о пошлом и банальном, что это прозвучало вполне пристойно.

Комната, куда они вошли, была, видимо, единственной жилой постройкой в этом тесном дворе, и Душан, еще не видя ее, заранее предчувствовал, что будет вся она пропитана затяжной, застоявшейся болезнью, хотя тягостная атмосфера эта не могла до конца подавить тот проничный, плутоватый дух, который исходил от каждого слова, взгляда Миракова.

На низеньком столике возле железной кровати, основной, довосной формы, дымилась в блюде вареная тыква. Видно, Мираков только собрался резать ее, чтобы положить ломтиками в тарелки бесхитростную еду себе и своей терпеливой сиделке.

— Я ведь совсем не признаю лекарств,— поспешил сказать Мираков, заметив сконфуженный взгляд Душана.— Пью сырую воду натошак, прикладываю к больным местам глину и ем тыкву... Прошу отведать со мной, если не брезгуете...

— А я еще в интернате... мне хотелось перейти на все вегетарианское, но не вышло,— признался Душан,

едва они уселись друг против друга на коврике.— Хотел волю свою испытать. И испытал бы, мне нетрудно. Меня ведь к мясному совсем не тянет. Думал: буду есть только груши, орехи и тыкву... Но не вышло — там ведь ешь что дают... Но я не отказался от этой мысли. Женюсь и тогда, может, не буду есть мясного...

Мираков, с каким-то восторженным умилением слушавший это неожиданное признание, вдруг сделался грустным:

— Вот тогда ничего и не выйдет, когда рядом жена...

Но Душан, все еще переживавший высказанное собственное признание, поначалу не обратил внимания на слова Миракова, подумал лишь о том, откуда у него такое доверие и откровенность с людьми, которые на много лет старше, и почему он такой рассудительный и скрытный со своими сверстниками?

— Да, да,— кивнул Душан, все еще не до конца сознавая, о чем Мираков говорит,— вот и я думаю: стоит ли жениться? Кругом один разлад да тяжба. У Набизаде с матерью, а раньше у нее с отцом, а у него с той женой и детьми. Вот и вы сказали. А я как предчувствовал. Мать рассказывала, что я еще в пятилетнем возрасте упрямо заявил: «Никогда не женюсь, куплю себе бочку меда и буду есть до конца жизни». Так и сказал, оказывается... И при чем здесь бочка меда? Что это значит?— снова сделался простодушно-откровенным Душан, говоривший все это торопливо, будто боялся, что Мираков не поверит ему. Но едва замолчал он, как вдруг вспомнил о Бунафше, смутился, хотел было сказать еще что-то, чтобы смягчить разговор, но не успел.

— И я не пойму, что значит в детском сознании эта бочка с медом?— промолвил Мираков, поднося ко рту ломтик тыквы и не прожевывая, а разминая губами.— Это, думаю, и сам доктор Фрейд не смог бы растолковать.

— Фрейд?!— удивленно воскликнул Душан.— Интересно. А ведь он был в нашей интернатской библиотеке. Замечательная была библиотека, княжеская. Ведь князь Ариф, рассказывали, и в Петербурге учился, и в Берлине ездил, книги по всему миру собирал... А я все это листал, хотел вчитаться, но не понимал. Хотя и чувствовал, что книги эти настоящие, в них тайна есть... А потом Аблясанова сменил образованный Пай-Хамбаров и в первый же день приказал очистить от всего этого библиотеку. Мол, зря ломаем мы головы свои...

И встали на место Гоголя и Фрейда — Суинчев, Лайлаков, Дырищев, Пилавов, Какадиев... Глянешь только на обложку, и сразу поймешь, о чем они в своих книгах пишут...

Мираков прожевал и, как бы спохватившись, предложил Душану:

— А вы берите, дитя мое, не стесняйтесь, ведь время обеда...— И тут же перешел на настороженный тон:— И вы, значит, заметили такую удивительную закономерность? Чем грамотнее, образованнее управляющий, тем он активнее борется со всем истинным, будто это истинное не дает ему спокойно спать. И я такое наблюдал в нашем управлении. До батюшки командовал нами Идрисов, человек в общем-то случайный, малограмотный. Мы так добродушно посмеивались над ним, у него со словом «инстанция» была вечная борьба. Вызывает, например, меня и протягивает бумагу. «Отвезите,— говорит,— срочно...»— и тут слово «инстанция», непроизносимое, ужасно трудное для него, не может Идрисов выговорить. Так несколько раз, а потом в сердцах махнул рукой и вышел из положения: «...на станцию». «Отвезите на станцию, поняли меня...» И сам смеется. И вот этот человек в самый первый день прихода к нам в управление говорит: «Можно ходить и проверять, какой у кого дом. Верно. Но можно ходить с душой и с головой на плечах. Я, например, хожу по гузарам, и мне интересно: кто здесь живет, каковы нравы улицы, какова ее история, кто из интересных, выдающихся людей проживал...» Словом, приказал не формально относиться к делу, ибо жизнь квартала — это прежде всего жизнь людей, а что может быть увлекательнее? Вот так Идрисов приказал. Откуда это у него? Прирожденное чутье? Вкус? Незамутненный ум? Не знаю... Знаю только, что при батюшке все изменилось. Я по привычке было хожу по дворам и во все вникаю, расспрашиваю... А один подозрительный, которому мои расспросы показались вторжением в его частную жизнь, пришел и пожаловался на меня... Хорошо еще, что Ольга Александровна Сухарева приезжала к нам при Идрисове...

— Это которая вам всю жизнь изменила?— быстро спросил Душан.

— А откуда вы знаете?— прищурился недоверчиво Мираков.

— Вы ведь сами как-то обмолвились, но не стали рассказывать. А я с тех пор все ждал...

Мираков помолчал, подумал, и Душан уже решил, что он на сей раз умолчит об этой женщине, и пожалел, что спросил так прямо.

— «Жизнь изменила» — громко сказано... Но если скажу: наполнила мое дело смыслом, целью, будет правильно... И верно, сижу я у себя в конторе — дело было, кажется, году в сорок седьмом, после войны — скучный, растерянный. И вот приезжает из Ташкента простое такое существо, маленькое, сухопарое, с рюкзаком за плечами. Рюкзак этот с нехитрым скарбом она, казалось, не снимала с плеч, даже когда садилась кушать, вроде как улитка со своим домиком... Ольга Александровна Сухарева. Желает по всем гузарам походить, по всем домам, чтобы историю города описать. Ну я поначалу равнодушно отнесся к ней. А потом вижу, каждый вечер прибегает ко мне да такое удивительное рассказывает о моем же городе, что я знать не знал... Вот так — приехал человек со стороны и повернул меня лицом к моему же дому... Замечательная женщина! Мы с ней подружились, и я писал ей о том, что узнавал нового о гузарах. Только в последние годы она не ездит больше. И слышал я, что живет она теперь в Москве. Обидели ее наши местные грамотные, наверное, то, чему она себя посвятила — изучению нас, бухарцев, показалось им то ли подозрительным... не знаю, как выразиться, — заключил было Мираков, но, видя по лицу Душана, что рассказ его не очень заинтересовал, спросил:

— Вот вам и история женщины... А вы, наверное, ожидали чего-нибудь остренького, любовного?..

— Да нет. — Душан отвел глаза, но тут же справился со смущением. — А книгу она написала?

— Написала. Но вышла книга лишь через много лет. «Кварталы Бухары»... Сейчас покажу... — Мираков спешно пододвинул к себе пыльный сундучок, стоящий под кроватью, и, открывая его, вдруг сказал властно Душану: — Кани, бо забони руси гуед...* «Аввал бирасон аз тарафам арзи дуоро... В-он ки биаму лобару бар куйин Бухоро...»

Душан напрягся, перебирая в уме слова, а Мираков все это время держал в руке серую книгу.

— «Прежде чем пойти по улицам на заре... Произнеси клятву верности Бухаре...»

* Скажите-ка это по-русски (тадж.).

Мираков слушал, все время подбадривающе кивая, но остался, видимо, не очень доволен.

— Суховато, без блеска, но точно по смыслу. Это Фитрат*. С ним я познакомился в доме Сиддик-хана, при котором состоял секретарем... Сухарева все записала о дяде эмира с моих слов.— Мираков полистал книгу, придерживав не без удовольствия то место, где Сухарева написала ему дарственную с теплыми словами.— Знаете, и в прошлом веке люди жили странно — эмиры, например, любили удалять от себя братьев и близких родственников, опасаясь дворцового переворота. И Сиддик-хан был в нашем квартале под домашним арестом... Ах, какая у него была библиотека! Все лучшее, что создали умы на Западе и на Востоке, собрал он. Там я и прочитал Фрейда, изданного в Петербурге... И Фитрат пользовался этой библиотекой, когда писал своего «Индийского гостя». — Со смешанным чувством протянул он книгу Душану и сказал после паузы: — Возьмите домой, вам будет интересно. — И вдруг выразился так, будто озарило что-то интересное: — Да, вот мысль пронзила о наших современниках — образованных сотрудниках. Они ведь какие?! Они все по верхам нахватили, где-то подсмотрели, где-то подслушали, и хотя горды этим и считают себя всезнающими, однако подспудно чувствуют свою неполноценность. И вот борются они со всем вечным, истинным, пытаются искоренить великое и заменить все подделкой, типа книжек Пилавова, потому что удобоваримый Пилавов им понятнее и ближе... Вот и думаю я, что батюшка запретил углубляться в историю кварталов, боясь, как бы то, что он сделал в молодости, пнув ногой могилу святого, не стало известным всему городу...

Душан, не очень-то понявший все его рассуждения о современно образованных, услышав о Наби-заде, вдруг проникся каким-то странным чувством, не то жалости, не то стыда, и, чтобы справиться с этим, сказал Миракову:

— Не надо, не называйте его больше так... батюшкой.

Мираков удивленно посмотрел на Душана и, не понимая, шутит он или всерьез, спросил:

— Это почему же? Ведь вам нравилось...

* Фитрат — поэт-просветитель.

Душан помолчал, опустив голову, и весь неожиданно сжался от тоски.

— Он другим мне показался... когда умолял отцом его назвать...

Волнение Душана будто передалось Миракову, и он как-то глухо прошептал:

— Ах, вон как повернулось дело... Да-да, я его понимаю... Вот и я хочу назвать ее, свою сиделку, сестрой — какое это прекрасное слово «брат», «сестра!» — а она, сорокалетняя, замуж хочет. Понимаете — замуж?! Набитая соломой! Все думают, что хорошо быть мужем или женой, но обременительно отцом, сыном, сестрой. А это ведь свято — быть сыном, братом, сестрой! — Мираков покашлял и сказал уже другим, строгим тоном: — А вы жестоки, дитя мое. Ну что вам стоит назвать его отцом? Сделайте такую любезность старнику, успокойте его душу, может быть, грешную, может быть, разорванную на части. Что вам стоит?!

— Не могу я, — растерянно проговорил Душан, — не знаю, как мать с ним. Но ведь для меня он совсем чужой, я ведь его не чувствую как родного...

— А если это вопрос вопросов для него?! Вы ведь понимаете, как для нашего брата, восточного человека, тягостно умирать с сознанием, что никто, ни одна душа не назвала его искренне «отцом»?! Да и не только для восточного, думаю.

— Я все это понимаю, постигаю, — что вовне. Вот только с собой не могу сладить, — признался Душан, будто стыдясь этой своей извечной слабости. — Может, вам это покажется смешным и нелепым, то, что я чувствую, что жизнь во мне не течет свободно. Она вроде обо что-то спотыкается. И все время приходится преодолевать себя, и в мелочах, и в большом... Дед говорит, это оттого, что я мечусь между двумя крайностями — разными языками, укладами и разным бытом. — Он хотел было добавить, что, может быть, оттого еще не желает называть Наби-заде отцом, что он взамен этому наследство обещал, но говорить об этом не стал, боясь почему-то показаться необидительным.

— Может, ваш досточтимый дедушка и верно толкует эту вашу раздвоенность, — как бы осторожно начал Мираков. — Бедное дитя, вы, можно сказать, еще только начали жить, а уже утратили всякую естественность и защищенность. Чувствую я — притронься к вашей воспаленной душе, и она тут же вспыхнет от маленькой

искры,— продолжил Мираков жалеючи, и, слушая его, Душан вдруг подумал: ведь они так похожи, эти старики — Мираков и дед, несмотря на кажущуюся разность во всем, вот и толкуют об одном и том же, только с разных сторон, и жаль, что в первую свою встречу они оба сжались, отмалчивались многозначительно, но так и не разговорились. А может, оттого и не разговорились, что знают об одном и том же и боялись показать друг другу неинтересными?

И теперь, едва Мираков вышел после болезни на работу, они встретились с дедом во второй раз, ибо чувствовал каждый, что нельзя им вот так расставаться, каждый носит в себе тайну прожитого, передуманного, пусть маленькую тайну, но понятную только им, старикам.

И может быть, поэтому Душан, ждавший от их разговора таких откровений, таких мудрых прозрений, был удивлен и раздосадован тем, о чем они спорили. А спорили они с таким лукавством, с такой иронией, будто заранее договорились спародировать многомудрый разговор старых людей, чтобы подразнить Душана.

Мираков, доставая из шкафа и раскладывая на своем столе папки с бумагами, чернильницу, скрепки, сказал:

— А еще сколько человеку нужно разных мелочей, кроме крупных вещей?! Тьма!— И принялся дотошно перечислять, загибая после каждого счета палец руки:— Ремень для брюк нужен? Пуговицы? зубочистка, кошелек, ножницы, обыкновенный карандаш нужен?

— Без зубочистки можно обойтись. Как и без кошелька. Не надо носить с собой денег, и вообще не надо денег,— ответил ему дед, как-то смиренно сидевший с краю стола.

— Ну, хорошо, а ремень?

— Можно шнурочком подвязаться...

— Вот, шнурочек-то нужен!

— А вы попробуйте одной нижней пуговицей и китель свой застегнуть, и брюки пристегнуть...

— И эта проклятая пуговица все же нужна! Или, может, зубочисткой китель и брюки друг к другу пристегнуть?

— Нет, зубочистка вообще вещь лишняя. Можно глиной зубы чистить, как в наше время...

— Значит, глина... Глина нужна... Три миллиарда со-

рок семь миллионов триста двадцать шесть тысяч восемьсот сорок две мелкие вещи нужны человеку, а из крупных лишь пятьсот сорок тысяч четыреста пять,— проговорил Мираков, и почему-то хмыкнул.

— Это откуда такие фарисейские подсчеты?— нахмурился недоверчиво дед.— Где вычитали? В коране ничего такого не сказано...

— Коран, простите меня, был бы самой глупейшей книгой, если бы писал о таких подсчетах. Это, можно сказать, я подсчитал, когда долгие месяцы болел. И что только не перебирает в своем умишке одинокий человек?!

— Вот вы и признали себя фарисеем!— воскликнул дед.

— Признал. И больше того скажу,— вдруг перешел с шутливого тона на серьезный Мираков,— это удел человека — уметь самое сложное и путаться в самом простом, в мелочах, не уметь малого; и что самое удивительное — постоянно накапливать в себе это свое неумение в малом, запутываться, не находя выхода. Разве все это не портит ему жизнь?

— Но мелочь, о которой вы говорили, и крупное — не одно ли?!— с каким-то вызовом спросил дед.— Все это многоэтажная тюрьма: на верхних этажах крупное по нынешним представлениям — машины, дачи, ковры, хрусталь, а внизу, в подвале,— черпак для нужника, навоз да жижа. А все одно — что верх, что низ! И сколько бы вы ни напрягались, пытаюсь успеть обежать все этажи,— не достигнете... не придет умиротворение и покой. Жизнь не обманешь! Она справедлива!— И дед, такой уверенный в себе и вдохновленный, хотел еще что-то добавить, но вдруг побледнел и сделался робким, увидев в окно идущего к ним в комнату Наби-заде.

И едва Наби-заде, чем-то взволнованный и встревоженный, открыл дверь, как дед тут же встал, да так почтительно и подобострастно, что и Мираков и Душан произвольно последовали его примеру.

Наби-заде, явно не ожидавший увидеть здесь деда и даже, кажется, не думавший, что и Мираков может оказаться на своем месте, лишь обратил взор на Душана, желая что-то сказать, но сдержался и вроде чуть смутился. От смущения его все почувствовали себя неловко, и дед, кашлянув, поспешил обратиться к вошедшему:

— Как вы себя чувствуете, досточтимый? Как ваше здоровье?

— Чувствую себя так, как можно чувствовать в нашем с вами возрасте...

— Как точно сказано! Золотые ваши уста!— как-то угодливо заулыбался дед, и Душан, никогда его таким не знавший, стоял удивленный и неприятно смущенный его таким поведением.— А я проходил мимо... Дай-ка, думаю, посмотрю, как работает внук, довольны ли им старшие?— словно оправдывался дед.

— Он юноша почтительный.— Наби-заде с какой-то затаенной тоской глянул на Душана.

— Золотые ваши уста!— повторил дед и так посмотрел на Миракова, будто ждал от него поддержки, но Мираков, продолжая стоять в смиренной позе, смотрел на всех поочередно каким-то понимающим, просветленным взглядом.

— Душан, ты зайди ко мне!— вдруг велел Наби-заде, и едва он вышел, как дед сразу же взволнованно замахал руками:

— Иди сейчас же! Ведь старший велел... Не зли его, не зли...

Душан с неприязнью вошел к Наби-заде и увидел его другим — холодноватым, даже надменным.

— Садись,— рассеянно сказал Наби-заде и потер лоб, будто вспоминал:— Зачем я тебя вызвал?

Притворство его показалось Душану еще более несносным, чем притворство деда, и Душан резко встал, собираясь уходить.

— Да, вспомнил.— Наби-заде жестом велел ему снова садиться.— Но прошло все, успокоился.— И, вдруг пронзительно глянув на Душана, скривился в какой-то жалостливой гримасе, и, будто боясь, что Душан его не так поймет, сказал глухо:— И зачем я все это тебе говорю?! Боюсь?!— Он словно прислушался к звучанию собственного голоса и окончательно утвердился в своем мнении:— Да, боюсь! Я и раньше боялся... когда они в одиночку. Но теперь — смотрю — пришли вместе. Сговорились!— Наби-заде вскочил, походил по комнате, возбужденный, и резко повернулся к Душану:— А ты с дедом ни о чем таком не сговаривался?

Душан не выдержал его подозрительного взгляда и опустил голову.

— Не пойму, о чем вы?— тихо сказал он.

И это тихо и искренне сказанное будто отрезвило Наби-заде, и он пояснил извиняющимся тоном:

— Я ведь не выдержу, когда замкнется круг разгово-

ра... О господи, и почему я все это тебе говорю — неспосному, дерзкому? Ты кто? И что в тебе я чувствую? А делюсь только с тобой. Ведь не вину же я чувствую перед тобой, правда? Ведь не хотел я дом твой продавать, и мать твою обманом не увел... Не такой я отпетый мошенник и даже не благородный рыцарь. Так себе — человек середины. Как все. Но странно — с тобой одним делюсь. А ведь ты меня не то чтобы защитить или дельный совет дать, но и утешить не сможешь... Ну, иди! Забудь! — заключил он, как и в прошлый раз, каким-то капризным тоном.

Душан постоял, посмотрел, как он идет, еле волоча ноги, к своему столу, как садится тяжело, и тихо закрыл дверь кабинета. И сразу же во дворе, едва дохнуло на него весенним, еще прохладным воздухом, Душану сдавило горло, и он закашлял, боясь, как бы слезы не выступили на глазах.

А когда, успокоившись, вернулся к себе, деда уже не было в комнате. Мираков вопросительно посмотрел ему в лицо, но из деликатности не решился ни о чем спрашивать.

Душан, чтобы не смотреть на него, стал листать какие-то бумаги, но по тому, как Мираков вздыхал и ерзал на стуле, чувствовалось, что ему все же не терпится узнать.

— Я так понял... его дочь и сын вместе приходили, — тихо произнес Душан, все еще не решаясь смотреть на него.

— Да, это новый поворот дела, — тут же откликнулся Мираков и, помолчав, добавил с грустью: — И я, честно признаться, после того, что вы сказали у меня дома, стал несколько иначе смотреть на всю ситуацию вокруг Наби-заде... А ведь я мог и раньше догадаться, но — увы! — все мы слишком в себе... А вот дед ваш — мудрец и проницательный.

Душан глянул на Миракова, чтобы понять, говорит ли тот искренне.

— Он такое мне сейчас сказал... Не знаю, стоит ли говорить?! Он будто бы глянул в лицо Наби-заде, еще когда тот по двору сюда шел, и почувствовал, даже не различив ясно этого лица сквозь мутное стекло, — Мираков сделал паузу, видя, что запутался. — Будто дед ваш почувствовал, увидел его скорый конец... Возможно, это ему только почудилось. А вы ничего такого в нем не заметили, когда говорили?

Что-то сжалось в Душане от тоски, будто дурное предчувствие передалось и ему, когда понял он вдруг после этих слов Миракова весь смысл странного, такого унижительного поведения деда.

— Ничего... Только он мне чересчур мнительным показался. Спрашивал, не сговорились ли...— Душан умолк, не решаясь дальше раскрывать свой разговор с Наби-заде, только добавил тревожно:— Он весь мучается, просит о чем-то и тут же отказывается.

— Да,— произнес Мираков многозначительно.— Не стану себя в этой жизни хвалить — признаю, что и я много всякого ошибочного и недозволенного сделал, и нет мне места в раю. Но от одного меня ангел-хранитель удерживал всегда — от денег и накопительства.— И, понизив голос, Мираков шепнул доверительно:— Поговаривают, не знаю, правда это или нет — да и собственные его дети где-то сболтнули,— что у него больше пятидесяти тысяч, да еще «золотого» займа на столько же... и всякого другого добра припрятано.

— Откуда такая сумма?— рассеянно спросил Душан, все еще переживавший неприятное чувство после разговора с Наби-заде.

— Да разное говорят. Будто это часть того, что отпускалось на ремонт мечетей, и будто он еще в молодости где-то в пьяной компании выразился: «Где не грешно теперь брать — так это в мечети...» Только прошу вас, умоляю,— вдруг спохватился и испуганно проговорил Мираков,— это все вы не от меня слышали. Ни жестом, прошу вас, ни словом не дайте ему понять, ведь иначе он меня со света сживет...

— А пятьдесят тысяч — это много?— прервал его излияния Душан, все еще не чувствуя интереса к беседе.— Что бы дали на это из тех крупных и мелких вещичек?

— Много ли?— Мираков как-то загадочно глянул на Душана, то ли стыдя его за какой-то подвох, то ли жалея.— Ну, не будем больше на эту тему! Я себе слово дал и опять вот сболтнул...

И, будто обидевшись друг на друга, почти не говорили они потом — листали бумаги, что-то выписывали с дотошностью исправных служащих, хотя Душан все время подспудно тревожился. С трудом дождался он конца дня и поспешил домой, перебирая по дороге в уме десятки вариантов того, что он скажет деду для убедительности.

И едва зашел в дом, сразу увидел деда во дворе. Он о чем-то доверительно беседовал с Юртаевым, и Амон, стоящий рядом, все время кивал, одобряя каждое его слово.

Юртаев, чувствуя к себе неприязнь Душана, стал прощаться и, проходя мимо, только подбадривающе кивнул ему. Но Душан будто и не заметил «друга семьи», приходящего теперь, впрочем, все реже. Ему не терпелось скорее поговорить с дедом — что-то такое ударило ему в голову после разговора с Мираковым, может быть, и вздорное, глупое, но тревожащее и не дающее покоя Душану.

Но едва Юртаев ушел, как Амон, видно, тяготившийся его присутствием, бросился в каком-то неестественном веселье обнимать Душана, хлопая его по спине и приговаривая:

— Брат пришел, смотрите — брат пришел.— И тут же с укором добавил:— Ну, какой же он мне брат, если не зайдет, не спросит, не похвалит, не осудит...

— Да я все в бегах и бумажной карусели.— Душан стоял и, вымученно улыбаясь, терпеливо слушал брата.

Дед, покашливая, ходил вокруг них, не желая вмешиваться в разговор братьев, хотя и видел, что Душан не очень-то рад встрече.

— Слышите, он говорит уже как заслуженный чиновник перед уходом на пенсию,— шутливым тоном, скрывая свою досаду, сказал ему Амон.

— Все у него теперь от джуйбарского аристократа Миракова — и слова и походка.— Дед тихо и незлобно засмеялся.

Но Душан уже с обидой отошел от брата и сказал деду совсем не то, о чем хотелось в нетерпении говорить:

— А вы Миракову странное сказали о Наби-заде. Это правда?

Дед сделал такое удивленное и раздосадованное лицо, что Душан пожалел о сказанном.

— Ох, эти истинные бухарцы. К старости у них собирается не только самое дурное от мужчин — сладострастие, любовь к азартным играм, но и женское — болтливость, недержание чужих тайн.— Непонятно, из-за чего вдруг вложил в свои слова столько иронии дед, и, наверное, он бы дал волю своему красноречию, если бы не встревоженный и укоряющий взгляд Душана, который несколько умерил его пыл:— Я ведь просил не говорить этого тебе. Да, именно тебе, отчужденному, не при-

знающему Наби-заде ни отцом, ни начальником, именно тебе, потому что ты больше всех и будешь переживать... Ни я, ни он,— кивнул он в сторону Амона,— ни даже мать твоя, а ты будешь печалиться, я-то знаю!

— Да о чем вы?! О чем?!— в недоумении развел руками Амон.— Какие тайны...

— Не тайны.— Дед поерзал, будто продрог от холода, и направился в комнату.— Просто я почувствовал, что Наби-заде как-то сразу сдал и притих. И мне это не понравилось...

Душан уже ступил было через порог за дедом, но Амон резко схватил его за руку и потянул к навесу. Душан же, думая, что брат все еще находится в своем беззаботно-веселом настроении, не сразу понял, о чем тот стал говорить, тяжело и прерывисто дыша ему прямо в лицо.

— Стало быть, все это так... А старик наш почувствовал. Сам-то ты ничего такого не слышал, Душан?— спрашивал Амон осторожно, но и нетерпеливо, окрашивая свои слова шутливым тоном, как бы заранее превращая их в несерьезную болтовню.

— О чем ты?— досадливо спросил Душан.

Амон с укором глянул на брата, все еще не зная, как выразиться, и шепнул:

— Говорят, у Наби-заде тысячи припрятаны. Ты, наверное, слышал об этом, знаешь, но молчишь... Ах, жаль, что Юртаев ушел, он бы подтвердил, что дети от той, первой жены, и мы, от второй, равны перед законом...

— Ты что, предлагаешь объединиться с его детьми в мафию?— насмешливо спросил Душан, не желая впускаться в этот разговор, кажущийся ему вздорным и нелепым.— Ты ведь знаешь, у меня ничего не выходит, когда я в компании, обязательно подведу всех.— И, оставив Амона недоумевающим, поспешил в комнату, и первое, что сказал деду, прилегшему отдохнуть на диване, было:— Я ведь совсем не о том хотел поговорить с вами... Конечно, меня встревожило то, что вы сказали о Наби-заде.— Душан умолк, пристально всматриваясь в лицо деда, и то ли от неяркого света в комнате, то ли от того, что навообразил себе, но вид деда, печального и притихшего, действительно испугал его, и он, все еще не зная, как выразиться, что сказать об этом, вдруг в досаде проговорил быстро и нервно об Амоне:

— Ну, какой же он странный, Амон?! И заботит его все дурное. Чьи-то тысячи...

— И что же твой брат-искуситель предлагает?— как-то глухо и сонно откликнулся дед.

Душана и голос его встревожил, отрешенная интонация, и он, будто не обращая внимания на смысл его слов, проговорил горячо, умоляюще:

— А вы уезжайте к себе, дедушка. Здесь и сам воздух вам вредит. Я же вижу, как вы томитесь. В деревне вы поправитесь. А здесь вы засиделись. И такое с Наби-заде тревожное. Вот и Амона заботит дрянное... Мне боязно за вас.

Дед, приподнявшись, с удивлением и недоумением слушал Душана.

— Ты что же, гонишь меня?— спросил он чутьчку насмешливо.

Душан, не ожидавший такого слишком прямо поставленного вопроса, в котором была и насмешка и подвох, с обидой покачал головой, как бы стыдя деда за непонятливость.

— Странно, все мы только себя слушаем. Я это замечаю теперь за каждым. Все делают вид, будто понимание — это плохо. Вот и с вами... Да разве я вас гоню? Вы ведь сами не верите, а говорите...

Душан умолк, переживая сказанное и еще больше обижаясь, дед же, чувствуя себя виноватым, вздохнул и сказал примирительным тоном:

— Все мы сегодня не в духе и говорим поэтому разное... Я и сам вижу, что засиделся здесь и что это может плохо кончиться. Я тете написал накануне. Пусть поживет с вами. Вдруг к текстильной фабрике привыкнет... А то, что ты все это понял про меня и позаботился — спасибо...— И уже по-другому, бесстрастно, будто говорит обычное и банальное, заключил:— А Амон тебе дело предлагает... Он все обдумал по справедливости...

— По справедливости?— Душан засмеялся, думая, что дед решил разыграть его в отместку за обидные слова в свой адрес.

— Не смейся. Я ведь всерьез,— осторожно, видно, не желая смущать самолюбие Душана, молвил дед.— Подумай...

Душан, все еще не веря, всматривался в деда растерянным, блуждающим взглядом и видел, как тот невозмутим, даже нарочито спокоен.

— Вы что, сговорились?— Голос Душана дрогнул, и он умолк, чтобы справиться с обидой, и тут некая

мысль пронеслась в голове, как прозрение:— А, понимаю! Я зашел, а вы шептались, и Юртаев стоял... И такая картина была — святая троица... Так о чем я должен подумать?!

Дед, не ожидавший такого поворота, негодования, испугался, глядя, как говорит Душан и как кривится после каждого слова.

— Нет, подожди ты...— Дед встал и протянул в сторону Душана руку, как бы успокаивая его.— Просто я подумал, что раз есть ты, еще не устроенный, покинутый родным отцом и к матери охлажденный, то было бы справедливо поделить все поровну...

— Но ведь вы сами...— Душан заикался от слез, подступивших к горлу и мешавших говорить,— сами утверждали, что деньги его — нечестные. И вообще, как можно делить деньги не убитого еще человека?!— Душан поразился тому, как правильно он оговорился, вместо «неумершего», сказал «неубитого», будто это слово точнее всего подходило к данной ситуации.— Да, не убитого еще!— повторил он упрямо.— Это ведь бесспорно!

Дед, уже жалея обо всем и не зная, как успокоить Душана, тихим и виноватым тоном произнес:

— Оттого, что они нечестные, отнятые у сирот... вот и справедливо было бы, чтобы они вернулись к неустроенному, отвергнутому... Ну ладно, прости меня и забудь...

Покорный тон его, извиняющийся успокоил Душана, но он не сумел сдержать себя, пока не сказал того, что возбудило в нем этот разговор.

— Это бессовестно,— повторил он тихо.— Впрочем, с тобой ли говорить о совести? Это ведь обременительный для восточных людей идеал старой Европы... Теперь я понял, что твоя справедливость,— как продажная... Брать у одних сирот — здесь совесть не замучает... И чтобы было справедливо — отдавать часть награбленного другим сиротам.— И, видя, как побледнел дед и как страдает, до того, что сделалось ему дурно, Душан в сердцах махнул рукой и выбежал из комнаты.

Во дворе вечерняя прохлада остудила его, успокоила было совсем, и он уже жалел о том, что наговорил столько обидного деду, хотел было вернуться к нему, но увидел под навесом Амона.

Брат весь в напряжении, в ожидании смотрел на него, это вдруг столько негодования пробудило в Душа-

не, столько злости, что он, не помня себя, бросился к нему через палисадник с криком:

— А ты ждешь?! Ждешь, подлец, чем кончится разговор?!

Амон ловко вывернулся, и Душан, ударившись плечом о столб, упал. А когда вскочил на ноги и снова прыгнул, Амон был уже на улице и крепко держал снаружи ворота за кольца, не выпуская Душана.

Душан застучал кулаками о ворота, но вспомнил о соседях, которые сбегутся, чтобы поглядеть на скандал братьев, остыл и вернулся во двор.

В нем не было уже злобы и обиды, после нервного спада он почувствовал тоску и даже вину за все, что случилось. Сейчас, когда столько всего было в семье с людьми близкими, какая-то суэта и неразбериха, страдание и обман, он не должен был резко, активно все это внешне притихшее и мирное разболтать, разбросать, да так, что деду сделалось дурно, а брат, оскорбленный, сбежал.

«Так всегда,— подумал Душан,— сделаю — и жалею... И со всеми воюю. Одного не признаю, другого осуждаю, третьего жалею... Плохо так...»

Он тихо вернулся в комнату и сел возле деда с таким видом, будто ничего не случилось.

Дед тяжело посапывал и все время потирал себе грудь — видно было, что он все еще переживает после их разговора.

— Поужинаем?— спросил Душан.

Дед кивнул. Молчали они и когда пили чай, только смотрели изредка друг на друга, радуясь чему-то невысказанному, недодуманному.

Но утром Душан еле проснулся, с трудом тело поворачивал, руку поднимал. И ощущал во рту вкус горечи, будто все, что случилось скандального, вздорного, за ночь отстоялось в душе, сгустило кровь и желчь.

А в комнате был обильный, но какой-то легкий, прозрачный свет, и Душан лежал как бы внутри чего-то защитного, чувствуя, как свет, едва коснувшись этого защитного слоя, отлетает. И среди этих перекрещений, среди легкого давящего он лихорадочно искал в мыслях чего-то, что могло его взбодрить, порадовать, вспоминал чьи-то отдельные слова, жесты, подумал о матери, о всех своих близких, о Миракове... но не почувствовал тепла, влечения...

Дед, встревоженный, вошел к нему и виноватым тоном спросил:

— Ты, я вижу, решил дать себе отгул?

Душан сел на кровати, внимательно глянул на деда, заметил, что и у того вид болезненный и подавленный.

— Да, да,— с какой-то непонятной горячностью откликнулся Душан,— представляешь, я не вышел сегодня на работу. В первый раз. Интересно. И даже забавно... И наверное, это нехорошо, правда?

То, как это сказал Душан — с долей наивного простодушия, удивления, но и не без лукавства,— тронуло деда, и, почувствовав облегчение, он сел рядом с Душаном на кровать и обнял его за плечи.

— Да ничего страшного,— ласково сказал он.— Подумаешь: один день!— И, наклонившись, доверительно прошептал:— А я по привычке вышел на рассвете прогуляться до полянки и обратно. И вижу... ее.— Дед хитровато прищурился.— К которой ты в школу бегал... Спрашиваю: «Куда так рано?» А она от смущения опять — шмыг!— и за ворота... Подождал... Но так и не вышла... И стыдно мне стало, будто я ее назад в дом загнал. Наверное, она собиралась спозаранку в пекарню. А я оставил их на завтрак без свежего хлеба,— притворно вздохнул дед.

Душан было смутился и, вместо того, чтобы посмеяться с дедом, сказать в ответ такое же легкое и насмешливое, нахмурился, с укором глядя на него:

— Зря ты сказал ей. И мне говоришь сейчас с каким-то значением...

— А понял ведь!— иронически воскликнул дед, но, зная, что говорит Душан все это не со зла, скрывая чувства, примирительно заключил:— Ну, довольно на меня с кулаками! Пошли чай пить. Мать уже с утра прибежала...

Душану сделалось неловко от того, что говорил с дедом капризно и нескрепно, и во время завтрака сидел смущенный и тихий, думал о Бунафше, глядя с благодарностью на деда, который понимал все и желал сделать Душану приятное.

Едва дед ушел по каким-то своим делам, снова подмигнув у ворот Душану и дразня его безобидно, как Душан побежал к лестнице и, поднявшись, сразу же увидел Бунафшу, сидевшую на стуле с книгой. Не поверив такому везению, он спрятался было от неожиданности, а когда снова заглянул в ее двор, понял, что Бу-

нафша нарочно пристроилась в таком месте, чтобы Душан мог увидеть ее со своей крыши.

Эта маленькая ее уловка так взволновала его, что, осмелев, Душан поднялся на ступеньку выше, и, когда напрягся весь, чтобы открыто и безбоязненно полюбоваться ею, Бунафша резко подняла голову, будто почувствовав его взгляд.

Она нахмурилась, подернув плечами, словно укоряя его за это подглядывание украдкой, и Душан уже было устыдился, но Бунафша вдруг сделала такой жест рукой, смысл которого был не сразу понятен — то ли, рассердившись, отгоняла его, то ли, наоборот, звала на улицу.

Душан выбежал на улицу и пошел в сторону полянки, ведомый каким-то непонятным чувством шемящего волнения и боязни.

И она шла следом — Душан услышал ее приглушенные шаги в пыли переулка, в них чувствовалась робость и осторожность, словно боялась Бунафша, что братья могут следить за ней, стоя у ворот.

Волнуясь, он стал под тутом и подумал, что впервые вот так открыто увидел ее, рассмотрел всю, не рассмотрел, а скорее почувствовал всем своим существом. Ему понравилось, как она идет — решительная и чуть смущенная. В ее походке было что-то трогательное и нелепое, наверное, от того, что она как-то странно держит руки, повернув ладони так, будто желает поймать нечто видимое только ей, и от жеста этого вся ее фигурка казалась беззащитной.

Увидев Бунафшу такой, Душан вдруг проникся нежностью, таким откровенно радостным, не признающим преград, запретов чувством, что, бросившись к ней навстречу, схватил ее за руку, не зная, что сказать.

— Ты что это? — Бунафша отдернула руку, но тут же, поняв, что обошлась с Душаном чересчур резко, попыталась улыбнуться. — Пришел в школу... Там до сих пор посмеиваются... А потом вовсе пропал...

— Я все думал о тебе и каждое утро желал видеть у ворот. И с крыши поглядывал, — торопливо проговорил Душан, и, должно быть, это, такое подкупающее, чистосердечное признание и смутило Бунафшу, сделав ее насмешливой, даже дерзковатой.

— И зря все, — сказала она.

— Что зря? — не понял Душан, отступив на шаг в удивлении и расстройстве.

— Зря! Зря!— На подвижном, очень живом лице Бунафши теперь очертилось лукавое выражение.— Слушай, что ты мне посоветуешь?— сказала она, чуть понизив голос и как бы по-свойски.— Ты ведь всегда считался самым благоразумным на нашей улице...

— Говори...

— Ко мне сваты ходят,— со смешанным чувством довольства и досады призналась вдруг Бунафша.— А я не знаю, как быть. Замуж мне пока не хочется, а подружки говорят: дура, проморгаешь ты свое время... Сейчас ведь так принято в добропорядочных семьях: если в восемнадцать не выйдешь замуж, тогда останется лишь маленький шанс в сорок... за какого-нибудь вдовца со взрослыми детьми... Или сиделкой при старике.

— Как это в сорок?— Не понимая до конца, о чем толкует Бунафша, но и не ожидавший, что разговор так повернется, Душан смутился и растерялся.

Бунафша пристально, вроде как бы укоряя, посмотрела на него и воскликнула в сердцах:

— Да какой же ты, ей-богу! Тугодум! Говорю ведь тебе, что так принято... мода.

— Ах, мода!— Душан иронически усмехнулся, но больше ничем не выдал своего смятения.— Не знаю, что и посоветовать... Лично я не стал бы по моде... Я как-то сказал матери, лет десять назад, что вообще не женюсь,— добавил он с удовлетворением.

Что-то досадливое промелькнуло на лице Бунафши, и она всматривалась в Душана, желая понять, шутит ли он или говорит все это с подвохом, в тон ей.

— Ты что, поклялся?

— Можно сказать, что поклялся,— с легкой беззаботностью, уклончиво ответил Душан.

— А если полюбишь?— горячо, будто уличая его в чем-то недостойном, спросила Бунафша.

Душан не ответил. Какая-то соседка, выглянувшая из ворот направо, с любопытством смотрела на них и даже, кажется, хотела что-то сказать. Душан с многозначительным видом подождал, пока она не уйдет снова в дом.

— А если жить без нее не сможешь?— в нетерпении спросила Бунафша.

— Видишь ли...— проговорил Душан таким тоном, будто вкладывал в свои слова много значения,— я смотрю вокруг, как живут... И Наби-заде со своими детьми. И Мираков, с которым я работаю. И все, все! Даже мать

моя... И мне, честно говоря, уже расхотелось и любить и жениться. Думаю: зачем все? Стоит ли тратить всего себя, чтобы понять потом, что любовь уходит и семья расплзается...— Душан вдруг умолк, почувствовал неприятное от того, что наговорил столько неискренного и в это неискреннее вмешал и мать, и Наби-заде с их мучениями и неразберихой.

Бунафша помолчала, беззащитно опустив плечи, и сказала:

— Ведь не у всех все должно быть одинаково... Каждый любит по-разному.

— Не знаю,— увлекся в своей неискренности Душан.— Я вижу, что вокруг. И не верю... И не могу тебе ничего сказать о твоих сватах.— Душан, с трудом подавив в себе обиду, посмотрел на нее бесстрастно, и, должно быть, этот взгляд его окончательно вывел из себя Бунафшу.

— А ты лжешь!— вдруг сказала она.

— Что значит — лжешь?— сделал удивленное лицо Душан.

— Лги! Лги и дальше!— Голос Бунафши дрогнул, но она с трудом овладела собой и, резко повернувшись, побежала к своим воротам.

Душан опешил, хотел было крикнуть ей вслед, объяснить, но что-то тяжелое будто сдавливало его, и он стоял, не в силах справиться со стыдом и страхом...

III

Вот ведь какая слепота и слабоумие, думал в досаде Душан, в суете беганья города не знал, не чувствовал... слепота застелила, слабоумие оглушило... И вот лишь теперь сквозь туман и бормотание вокруг вдруг слух прорезался, стал прислушиваться и видеть... А тут еще какая-то суматоха внешней жизни, приезд и отъезд родных, ссора и раздражение. И все в одну эту неделю — дед затосковал, приболел. Тетя увезла его обратно в деревню, сама вернулась, хотела вместо него остаться с Душаном в пустом доме, сунулась туда-сюда в поисках работы, но всюду ее шумом оглушало, многолюдие смущало, и, растерянная, она тихо вернулась в свой сельский домик, поплакала, глядя на деда и на сына, и успокоилась.

И после безудержно нервных объяснений Амон с же-

ной перебрались на время в родовой дом, и хотя Душан, весь устремленный теперь в новое и любопытное, и просил позволить ему пожить одному, мать, издерганная в последнее время, часто впадающая в тоску, упростила, настояла.

А ведь Душан так надеялся... думал: все то долгое время, пока он будет с утра до вечера ходить по городу от дома к дому, измеряя, подсчитывая, проверяя, свобода его будет полной и волнующей еще и оттого, что, вернувшись к себе домой, он ошутит свободу одиночества, насладится ею, избавленный от мелочной опеки. Его сверстники знали все о своем городе, да так, будто и не замечали город вовсе, а если и замечали, то лишь общее, мелочное, скажем, пыль, висящую плотным слоем в тесноте улиц, или чугунные колонки, весь день свистящие от слабой струйки воды. И только Душан, как чужак, как странствующий, познавал его стыдливо, не делаясь ни с кем своим впечатлениями. И наверное, поэтому то одиночество, которого он так жаждал дома, и выражало естественно его состояние удивления и растерянности.

Но с отъездом деда дома не стало тихо. Амон с Мавлюдой шумно переселились. Вернее, Мавлюда жила попеременно то здесь, то в своей квартире, Амон тоже метался, но Душан поначалу как бы не замечал некой странности их существования. Присутствие их ничем особенно не трогало его, и общался он с братом теперь все больше как-то внешне, ровно и приветливо, не чувствуя, что тот весь как бы собран внутри себя в ожидании чего-то подспудно накаливающегося, чего-то вздорного, бешеного, даже скандального, что обязательно выльется наружу; и не оттого ли брат пытается ненавязчиво, как бы между делом, завести разговор о Набизаде.

Душан же будто забыл о последней ссоре, когда набросился было на брата с кулаками, и вообще он был весь какой-то восторженно-возбужденный, отмахивался от всего, не желал ни о чем слышать, поздно возвращался домой с канцелярской панкёй под мышкой, а рано утром снова убегал кратким путем, оставляя в стороне тупики, глухие дворы — прямо, скажем, к кварталу Надира-курчи *. И только мысль о деде могла как-то нена-

* Гвардеец Надир.

долго отрезвить сбежавшего наконец на волю от унылого однообразия конторы Душана, как-то тревожно кольнуть сердце.

«Хорошо, что его потянуло назад. В деревне снова оживет», — устало думал Душан, вспоминая, как притихал, угасал в последние дни дед, как смирялся с чем-то неминуемым и не спорил уже, как прежде, не учил, не дразнил иронично, а лишь молча вздыхал, сидя на камне у ворот, и будто желал сказать что-то тихо, но и тихо, вполголоса не мог уже.

С тех пор как сказал дед о повальном море на стариков в этом году, Душана тревожило что-то дурное, какое-то предчувствие, и теперь он очень хотел верить, что дед в своей среде пересилит и заглушит, как заглушил и на этот раз свои бесчисленные болячки Мираков.

В тот самый день, как Мираков после долгой болезни снова пришел в контору и, сидя за своим столом, умиленно и виновато смотрел на Душана, Наби-заде разрешил младшему инспектору выйти, как у них принято говорить, на «полевые работы».

Душан в нетерпении вырвался было из осточертевшей конторы на воздух полевых работ, но, видно, неудачно разбежавшись, поначалу то и дело путался в незнакомых переулках, блуждал, не запоминая ни названий кварталов, ни ходов и подступов к ним, и ходил тихо и вкрадчиво мимо ворот, записывая номера, напустив на себя от робости такой важный вид, что жильцы не знали, как встречать этого не то ревизора, не то уполномоченного, не то агента какого-то управления. Если встречать по возрасту, то можно и просто, не заискивая, а если по виду, по красной папке под мышкой... на всякий случай заискивали, как истые бухарцы. И Душана это бодрило и смущало, и, испытывая сложные чувства, он, почти не вникая, механически сверял план дома, многозначительно проводил пальцем по замысловатым линиям двора, смежных комнат, летней кухни и, ничего не обнаружив лишнего, пристроенного самовольно, молча возвращал, лишь одобрительно кивнув хозяевам.

Его вежливо приглашали на чай, спрашивали, не внук ли он досточтимого Бако-ходжи? Великодушного, кроткого, любившего в старые добрые времена устраивать по пятницам бесплатное угощение водоносам, подметальщикам, фаэтонщикам со всех трех соседних гу-

заров... А ведь похож, похож молодой инспектор... А может быть, племянник костоправа Саида-Табиба — пусть аллах направляет движения его рук...

В другом квартале занскиваяуще интересовались: не сын ли он певца Бюльбюля... золотые его уста... А может, зять ювелира Сиддика, отец которого был доверенным архитектором эмира?

Вопросов и предположений было много, сколько имен известных в прошлом людей выплыло — и врачей, и аптекарей, и торговцев каракулем, а в квартале с игривым названием «Киргиз-оим»*какая-то старуха, вначале притворявшаяся глухой, вдруг после того, как Душан вернул ей домовую книгу, спросила громко:

— Молодой начальник, похож, похож... Душа моя чувствует: не из рода ли вы Ходжи Сохели?— И не успел Душан ответить, досадливо захлопнув свою папку; как старуха продолжила с таким отчаянным рвением, что на крики ее вышли из своих ворот соседи:— О, судьба! Наши отцы в один год переехали сюда из Персии. Мой отец построил шиитский молельный дом, а этот Сохели — он был красивый, с густыми, черными бровями!— служил у Цинделя в его фирме. А теперь от красавца только и осталось прозвище Синдиль... Все помнят: Синдиль! Синдиль!— И, сердито тряхнув головой, старуха захлопнула ворота.

Душан вначале смущался, ибо все эти расспросы были похожи на какой-то заранее обдуманый сговор, и только потом понял, что расспрашивать о родственных связях с известными и уважаемыми людьми — давно выработанная у бухарцев форма обращения с теми, кто уполномочен вести с ними официальные дела. Возможно, чтобы как то смягчить, умастить...

Должно быть, этот перс Синдиль и провел в сознании Душана какую-то черту, после чего тот успокоился и сделался увереннее. Общий хаос улиц с их постройками начал рассеиваться, линии стали четче вырисовываться. Душан зорче приглядывался, запоминал выходы, повороты к тупикам. Целый день ходил от одних чужих ворот к другим, но и вечером, дома, не мог уже вычеркнуть все увиденное, в голове сидело как блажь, как дурь... и он, лежа, перед сном снова и снова мысленно рисовал план квартала, где заблудился, вспоминал поворот, где нашел выход. «Нет, не здесь надо свернуть

* «Госпожа киргизка».

направо, а пройти еще вперед и, обойдя коричневый камень...»

Белая стена со срезанным углом, камень, закрывающий вход в переулок, ворота, каким-то чудом стоящие сами по себе, без стен, навес над правой, солнечной стороной улицы... Эти увиденные частности теперь, когда он вспоминает, почему-то привлекают, волнуют. Что они есть, такие близкие... как знаки защиты, родства? Что ушло от них? Выветрилось? А что осталось, чтобы мог он прикоснуться душой? И, озябший, почувствовать тепло и в ответ благодарно прошептать клятву верности...

Эта признательная тоска, трепетное чувство защиты и научили его как бы взглянуть шире и зорче вокруг, придали новый смысл его каждодневной работе, сделав ее легкой, волнующей и желанной. Нет, не разные истории интересовали его поначалу, не старины искал он, как когда-то Мираков тайком от Наби-заде, не волнующих рассказов о том, что здесь было и кто из именитых бухарцев здесь жил, хотя он все же каждый раз в удивлении останавливался, чтобы повторить про себя звучное название гузара «Бозори чуб»* или «Ходжа Габ»**, «Шуркуль»***, «Раъд-зада»****, «Тупхона»***** или «Гаукушон»*****.

Мечущийся, ни к кому и ни к чему не чувствующий искренней привязанности, страдающий от этого, Душан желал для примирения и умиротворения постичь город в его цельном образе, его гармонию, сложенную за эти три тысячи лет из многих живых судеб, чтобы ощутить себя растворенным в общем, в цельности...

Ведь подспудно он мучительно сознавал: все, что в нем есть вздорного, дурного, злые мысли, стыдные своей откровенностью,— все оттого, что назойливое, дерзкое в его личности не прикрыто, не защищено теплом и пониманием, которые сладостно чувствуешь, лишь растворившись малой долей среди всех...

И он уже не смущался, стучась в чужие ворота, чужие дворы манили его жизнью, присмотревшись к которой он думал найти если не успокоение, то хотя бы похожест, некую, пусть еле заметную схожест с его жиз-

* «Дровяной базар».

** «Скрывающийся святой».

*** «Соленое болото».

**** «Сраженный молнией».

***** «Арсенал».

***** «Умертвляющие быков».

ню, с жизнью его родных, а это взбодрило бы Душана, придало уверенности.

Были дворы и впрямь чем-то похожие на их в квартале «Суфиён», но больше попадались какис-то неуютные, не тихие, а сумасбродные, будто бы существующие лишь для того, чтобы всасывать в себя все чужеродное и окончательно уйти потом, скрывшись под обломками внешнего существования, бегущего и бегущего куда-то беспрерывно мимо ворот.

Дворы, некогда просторные, но поделенные теперь тремя, четырьмя глухими заборами между сыновьями или дочерьми, выданными замуж, были завалены еще и железом — всем современным, техническим, что стало завозиться в город каких-нибудь пятьдесят лет назад — колесами, трубами... где-то под навесом было прислонено к стене сиденье от трактора... там к дереву привязано рулевое колесо... здесь виноградник притянут к водопроводному крану кабелем толщиной в две руки.

Душан украдкой всматривался в глубину дворов, пока хозяева выносили завернутый в пожелтевшие газеты довоенной поры паспорт дома, и ощущал странное состояние от непонятной чужой жизни. Только удивляло его такое почтливое, благоговейное отношение к документу. Паспорт пятидесятилетней давности, той поры, когда впервые переписали в конторах, занесли в свои книги все дома города, все еще тверд в обложке, свеж на вид, будто выдан вчера, план двора с бессмысленным, неграмотным начертанием разглаживается медленно теплыми руками, прежде чем отдать в руки инспектору.

Хотя это и не было вписано в тот традиционный вопросник, глядя на который Душан строго выпрашивал, инспектор все же незапойливо, смотря по тому, кто выходил на стук ворот — простодушная, доверчивая юная особа или забывший о всех своих подозрениях старик, — интересовался: чем занимается глава семьи? И удивляло его еще и то, что бухарцы, как правило, не меняют десятилетиями место работы. Устраняются где-нибудь в пекарне за углом, недалеко от дома, в надежде проработать здесь до конца своих дней. Или же, заняв место парикмахера на базаре, проявляют потом такую изобретательность, такое хитроумие, чтобы перед выходом на пенсию устроить в эту же парикмахерскую вместо себя сына или зятя.

Такое ощущение, будто жизнь для них традиционно, еще со времен дедов, чертит один и тот же круг, как

игла патефона, застрявшая в одной бороздке пластинки и не в силах перескочить на другую, чтобы мелодия после легкого щелчка зазвучала плавно. Но опять все тот же короткий звук, похожий на бормотание.

Близко к вечеру утомленный Душан садился где-нибудь в глухом переулке на камне, чтобы в отчаянии упрекнуть себя.

«А может, это мне так видится?— думал он.— Все однообразно, без смысла и интереса... Может, что-то во мне дурное портит впечатление... недоверием и усмешкой? И как же я такой все это пойму и приму... чтобы ощущения, тепло во мне и мысли мои ушли в общее, растворились, избавив меня от себялюбия?..» И не зная, что думать об этом и как найти выход, Душан, встревоженный, возвращался домой, но, увидев Амона и Мавлюду, занятых другим, хлопочущих по поводу совсем другого, успокаивался и улыбался неприхотливости их желаний, вполне земных, вертящихся прямо здесь, под рукой.

«И смысл не в этом ли?— думал он меланхолично.— Совсем не там, где я ищу, а на земле, где твердо стоит Амон... не в совести и духе, запутанном и мучающем...»

Ведь все, чем жил брат, в чем он чувствовал себя уверенным и даже, кажется, счастливым, было таким реальным, даже слишком густо реальным — у себя на складе сделал какой-то удачный оборот и вот считает деньги, прижимая мокрый палец к сухому. И когда уже и Душан начинал ощущать веру в реальность всего этого, в прочность подобного существования, вдруг с ним происходило такое странное, такое непонятное пере-рождение, что он терял всякую веру.

Все опять начинало ускользать от него, терять смысл, когда, скажем, в следующий свой выход в город он попадал в ничем не отличающийся от других кварталов, повторяющий своими ходами и выходами обычную тесную слободку — «Гузари эронихо»*.

И все, наверное, оттого, что глубоко в памяти было это давнее, бабушкино, которое теперь взволновало. Рассказывая о ком-то, неважно, одобряя или порицая, бабушка любила вставлять как бы между прочим: «Это у арабов сплошь и рядом», или: «Типичная черта иранца», «А ведь не забывает о своем кровном — татарском», чтобы подчеркнуть это смешение языков, нравов в квартале. Афганец, лезгин, бухарский еврей, индус, перс-

* «Квартал иранцев».

шинт... Из всех в семье, кажется, только она и обращала внимание на принадлежность того, о ком шла речь, но делала это бабушка так искусно, говорила с такой иронией, пуская столько тумана, что все становилось похожей на игру, выдумку, и казалось, что люди, о которых она сейчас рассуждала с таким пылом, не только не живут по соседству, но и вообще не существуют в природе.

Всякий араб — искусный даллол* — на скотном базаре берет продавца и покупателя за руки, поглаживая их, с мольбой заглядывает им в глаза и, видя, что стороны уступают, начинает трясти им руки до тех пор, пока они, ослабев, не потянутся к кошельку. Перс из множества дел выбирает себе только два в Бухаре — конторку и станок, исправно где-то служит, переписывая бумаги, или ткёт шелковую ткань, еврей же не только хорошо лечит, но и поет и играет, угождая тонкому слуху. Афганцу же почему-то не везет, когда он торгует на базаре своим товаром — коврами и сухофруктами, прибыльно ему лишь от индийского чая и индиго, индус же и кандагарский ковер продаст с выгодой, и гиссарских овец... И только в одном индус проигрывает — в ювелирном деле; там, где он видит лезгина с золотым браслетом на продажу, индус в тоске отходит, свернув в хлопковый ряд.

Обо всем этом Душан, казалось, знал всегда — и лишь теперь, проходя от дома к дому по гузарам, стал понимать, как по-разному виделось окружающее; то, что казалось бабушке до утомления реальным, ускользало от него, похожее на выдумку и обман. В доме араба никто и не помнил о торге на бараньем базаре, а татарин в ватной шапке уже давно не шорничал, а если и шорничал втихомолку, боясь налогового инспектора, то скрывал это, индус же смешался в крови с бухарцем, сделался рослым на вид, побелел лицом и целый день теперь играет в шахматы в скверике возле Дома просвещения. Дочь его с особенным выражением смотрела на Душана, когда сообщала все это об отце.

Душан поначалу смущался, думая, что, возможно, он что-то не понимает из речи окружающих, не улавливает тонкости, ибо говорил по-узбекски, как посоветовал ему Мираков, для строгого, официального подхода. Надеялся, что и жильцов, тоже плохо выражавшихся

* Маклер, посредник.

по-узбекски, не насторожит его русско-таджикский акцент и неуклюжесть выговора. Но у всех, должно быть, после первых слов Душана: «Я из управления старого фонда. Прошу вынести для проверки план дома», сказанных с напускной холодностью, но с дрожью неловкости в голосе, обострялся слух, и все, как этот забавный старик, прекрасно понимали и тут же перебирали в уме десятки вариантов того, как схитрить, утаить недозволенное, незаконное от этого писаржона *, который, как и они, мучается от своей роли.

Едва Душан представился вышедшему на стук старику со своей бесстрастной, заученной фразой, как тот закивал, почему-то довольный: «Албатта!»**, но не ушел за бумагами, а стоял и не мигая напряженно смотрел прямо в рот Душану.

Душан, удивленный, повторил, жилец же не менее удивленно развел руками, сожалея о чем-то, и сказал, глянув направо, как будто оттуда шел к нему кто-то на помощь.

— Аз як тараф...***

Душан растерялся было и тоже посмотрел по сторонам, для убедительности кашлянув, жилец же подпрыгнул на одной ноге, кутаясь в халат с таким видом, будто ему зябко и нехорошо на сквозняке улицы, и виновато пожал плечами, заключив негромко:

— Аз тарафи дигар...****

В его тоне было столько лукавства, желанья хоть как-то повернуть разговор в выгодную для себя сторону, что Душан не выдержал глупости ситуации и рассмехался.

Жилец, довольный, потер руки и сказал:

— Вот такой вы мне нравитесь... Свой, из такого же дома, из тесной улицы. Бухарец...

— Я из «Суфиён»,— смущенно проговорил Душан.

— Не внук ли Бако-ходжи? Милосердный был человек. Столько нищих и сирот кормились каждый день в вашем доме... Я был машкоб***** в те годы. И все это видел...

— Нет, я не знаю,— нахмурился Душан, чувствуя, что еще несколько таких фраз, и жилец расположит его

* «Милый молодой человек» (тадж.).

** «Ну конечно!»

*** — С одной стороны... (тадж.)...

**** — С другой стороны.

***** Водонос.

к себе так, что инспектор потеряет бдительность. Деда моего звали иначе... Вы, может быть, и знали его... Но это к делу, с которым я пришел, не имеет отношения... И если у вас обнаружатся какие-то самовольные постройки — неважно, жилые, или хлев для овец, или гараж... то я вынужден буду...

— Да о чем вы?! Вы меня обижаете... — пробормотал жилец и ушел в глубь дома за документами.

Душан обычно листал документы, не переступая порога, у ворот. В первые дни, правда, он заходил внутрь дома, смотрел, примерял на глаз, сверял с планом, пока опытный Мираков не подсказал, что все это лишняя работа — ведь достаточно, подходя к дому, посмотреть на него снаружи, чтобы выделить свежую постройку от всего контура старых стен. И просто поинтересоваться, есть ли разрешение управления на расширение дома, потребовать документ, вместо того чтобы самому все дотошно измерять.

И еще много дает психологическая проверка, поучал Мираков, то, как повел себя жилец, увидев красную книжечку инспектора. Если начал чрезмерно заискивать или хитрить, как этот старик, сделавший вид, что ни слова не понимает из официального языка контор, то надо непременно зайти в дом и самому все проверить.

Душан поначалу чувствовал себя очень уверенно, без особой надобности вынимая всякий раз и показывая жильцам эту свою красную книжечку, чтобы произвести впечатление. Но потом устыдился, поймав себя на том, как схожи они в желании подчеркнуть власть с Мираковым — старший инспектор, оказывается, тоже, когда выходил на проверку, всякому выглядывающему испуганно из ворот еще и книжечку свою совал под нос, хорошо зная, видимо, противоречивую черту бухарцев — до комичности нежно почитать закон, желая вместе с тем найти в законе хотя бы маленькую лазейку, чтобы его нарушить.

А этот старый жилец, принявший его за внука милосердного Бако-ходжи, должно быть, из таких хитроумно провинившихся, подумал Душан и, хотя снаружи не заметил никаких свежих пристроек к ветхим стенам дома, все же решил зайти во двор.

Пока он с многозначительным видом листал домовую книгу, старик напряженно, не мигая смотрел ему в лицо, будто что-то припоминал мучительно. Это еще боль-

ше усилило подозрения Душана; едва он сделал движение в сторону двора, бросив мимоходом: «Позвольте проверить», как жилец растерянно и даже сердито замахал руками мелькнувшей в глубине женской фигуре, должно быть, дочери или внучке, и засеменил впереди, делая такие движения, словно расчищал перед инспектором дорогу.

Странное поведение жильца смутило было Душана... да и сам двор, где по лужам бродила с обрывком веревки на шее тощая овца, подавлял своим видом. Самый невообразимый хлам был собран здесь — сдавленные и продырявленные канистры, вспоротые шины, водоемкие кувшины, в которых хранят теперь тряпье и поношенную обувь, что в бухарских семьях по обыкновению не любят выбрасывать.

Душан лишь глянул во двор и поспешил обратно, подумав, что зря так поусердствовал, и, увидев, как недобро глянул на него старик, поспешно протянул ему домовую книгу.

— У вас все в порядке...

И долго не мог потом понять, что же его так оскорбило, вопрос ли старика, с которым он, усмехаясь, обратился к Душану перед тем, как захлопнуть ворота: «Вы еще стыдитесь брать взятки?..» — или то, как он властно и нетерпеливо гнал с глаз долой женщину, мелькавшую в глубине дома...

С бесстрастным видом, будто сама эта фраза о взятке кажется ему совершенно нелепой и вздорной, рассказал он о странном жильце из гузара «Лянги араб»* Миракову. Мираков, каждый раз умиленно восторгаясь наивной непосредственности младшего инспектора, выслушал его.

— Но это ведь извечно, милый мой! — воскликнул Мираков. — Кто выступает в роли проверяющего, тот и выслушивает больше всего небылиц... о себе. Ведь он пытается кому-то на мозоль наступить... Взятка — это еще похвала в устах жильцов! Посмотрел бы я, если бы вас, как когда-то Поччаева, обвинили бы в краже ковра...

— В краже? Разве и такое бывает? — с удивлением переспросил Душан, плохо слушавший Миракова и все еще переживавший это неприятное.

— Да, прибежали супруги к управляющему, били себя в грудь и клялись, что инспектор Поччаев зашел к ним в дом, сорвал со стены ковер, свернул и унес на

* «Хромой араб».

виду всей честной улицы... Да не какую-нибудь современную аляповато-синтетическую дрянь, а настоящий персидский ковер чуть ли не времен Кира и Дария, приобретенный, как потом выяснилось, на аукционе-распродаже вещей из эмирского дворца... Не всякий, однако, проглотит клевету, и особенно такой тонкий, совестливый человек, как Поччаев... И он забегал по улицам да по дворам, чтобы доказать свою невиновность. А время было летнее, ужасная жара. А он уже будто ничего не видел и не помнил. Бегал, не жалея себя, незащищенный. И вдруг дурно ему. Горячка, бред, словом, солнечный удар... Не выходили,— печально заключил Мираков.

Душан помолчал, переживая обиду и все больше проникаясь жалостью к оклеветанному Поччаеву, решил смолчать и не высказывать того, что его особенно волновало. Но глянул на Миракова, от которого веяло сочувствием и пониманием, не выдержал и признался:

— Я ведь тоже... я понять хочу и принять сердцем. Я ведь решил так — отчасти сам додумался, отчасти под влиянием споров с дедом,— что мне надо сейчас как можно глубже в самую простую и бесхитростную жизнь уйти, чтобы раствориться в ней... Думаю, это дурное во мне излечит, злое,— добавил Душан, помолчав.

— Это интересно... интересно,— пододвинул ближе к Душану свой стул Мираков и глянул на него с долей лукавства.

Он ждал еще каких-то признаний от Душана, но Душан уже молчал, не зная, как выразить то сложное, что сейчас мучило его. И он решил сказать о том, что уже обдумал.

— Я всюду хочу искренне, по-доброму. Хорошо хочу смотреть на людей и чувствовать их. Но трудно это. Все время что-то подмечаю, на чем-то дурном внимание держу. И язвлю потом, и иронизирую... И опять не могу уйти в это простое. К смеху, к простым, искренним словам, к доброте людей.

Мираков, слушая Душана, все ерзал на стуле, все вздыхал, а когда Душан замолчал опять, то, глядя на него не мигая, с удивлением и жалостью, кажется, вдруг прослезился. Но это, похоже, было лишь короткое и случайное в его искренних переживаниях, Мираков быстро совладал с собой и снова сделался, как обычно, суховатым резонером.

— Да где ж вам доброе и простое обрести, милый мой?!— И он стал по пальцам считать, сгибая их изящно.— С матерью и отцом — холод? Служба у вас не ахти какая увлекательная для молодого человека. Это уже два! Друга у вас близкого нет. Три!

— Да, не стоит считать,— виновато улыбнулся Душан.— Пальцев не хватит...

Но Мираков уже увлекся собственным остроумием и не желал менять тему разговора.

— Есть старое, доброе слово «нигилист»,— сказал он увлеченно.— На наших языках — ни на узбекском, ни на таджикском — такого понятия нет. Думаю, что и в русскую речь оно попало откуда-нибудь из европейского Запада...

— Но они ведь вовсе не виноваты,— перебил его в нетерпении Душан, увлеченный собственными мыслями и переживаниями и оттого плохо слушающий Миракова.— Нет, может быть, они и виноваты... мать моя, к примеру, или отец... но только ведь в отношении к себе они, может быть, вину чувствуют, к своей совести. Но мне ведь они что плохого сделали? И этот старик, сказавший о взятке?.. Я сам в отношении себя виноват, что родился такой... весь нескладный. Не как складной стул, на котором удобно сидеть,— усмехнулся Душан своему такому неожиданному сравнению.— Ведь тянулись ко мне в интернате, хотели дружить искренне, но ответного порыва во мне не чувствовали — и злились... И я злился... А про нигилиста мне и дед говорил, правда, другими словами.

Что-то, должно быть, в таком откровенном признании Душана показалось Миракову сомнительным, и он недоверчиво покачал головой:

— Ну, а как вы практически все это представляете — этот ваш уход в толщу жизни и растворение? И не красивая ли это игра, свойственная людям вашего возраста?— И, видя, как досадливо смутился Душан от этих его слов, сожалея о том, что и Мираков его не понимает, старший инспектор примирительно добавил:— Впрочем, даже если это игра, то, честно скажу, игра высокого полета... Со временем эти ваши поиски могут стать плодотворной вашей духовной сущностью... так сказать, приведут к добру...

— Это не игра,— тихо произнес Душан,— я ведь себя знаю... Это как сильная идея, которая меня все больше занимает...

Мираков снова сделался иронично-недоверчивым.

— Назовите это как-то по-иному. Страстью, увлечением, фантазией. Знаете, живая, текущая жизнь, она куда полнее, насыщеннее иссушающих построений. Это дед ваш запутался в построениях и себя мучает от этого, и других, не подозревая, что его идеи — это чистое воображение; пустая фантазия. И больше ничего! Вот вы сами признайтесь, о чем мечтали еще лет десять назад, куда вас воображение несло? — Он смотрел на Душана, прищурившись, как-то даже агрессивно, подзадоривая его.

— Да всякое мечталось. — Душан, усмехнувшись, махнул рукой. — Когда был еще дитя, воображал... — вы не смейтесь! — что сделаю что-нибудь выдающееся. Мисрыбий жир давали пить от слабости, а я тайком во дворе смешивал его с песком, серу спичечную добавлял. Хотел такой снаряд изобрести, чтобы он в воздухе бомбы перехватывал и уничтожал. Словом, чтобы никто не думал войну развязать... Или мечтал что-нибудь такое из ряда вон выдающееся сочинить. — Душан смущенно опустил голову.

Мираков молча походил по комнате, подул на ладони, будто отогревал озябшие, и вдруг высказался дрогнувшим голосом:

— Да, фантазии... Кому только они не нашептывали соблазнительное?! Кого только не уносили вдаль, чтобы потом как бы в усмешку обдать холодом отрезвления?! Но у вас, юноша, еще есть время. Еще не поздно изобрести этот ваш антивоенный снаряд — он сейчас был бы очень кстати! — или сочинить нечто такое, чего не удавалось ни Садриддину Айни, ни Фитрату... чтобы вернуть былую, утраченную славу нашей Бухаре!

— Вы, видно, смеетесь, — сказал Душан, все еще не глядя на собеседника. — А у меня уже просто интереса нет к этому выдающемуся. Я хотел бы жить... по возможности честно... и все тут.

— Вот и высказали вы свое противоречие! — воскликнул Мираков, будто обрадованный тем, что наконец-то поймал Душана на слове, чтобы устыдить. — Вы желаете уйти во все и раствориться, но и чистым остаться. А получится это у вас? Ведь в жизни — и доброе, и подлое, и жизнь — мечется между светлым и темным, отдавая предпочтение то тому, то другому. Поверьте, так мне мое прожитое подсказывает... Когда вы вкусите все — и чистое и греховное, тогда и почувствуете

вкус жизни. А входить в ее толщу в скафандре, чтобы защитить себя от отравленного воздуха, глупо, невозможно! Впрочем,— Мираков понизил тон, печально заключив:— Мой опыт не может быть полезным даже для меня самого, ибо он несовершенен и наивен. Жизнь иной раз так повернет, так закрутит, что стоишь и ахаешь, разводя в беспомощности руками, будто ничего подобного еще не случилось... Об этом, кажется, догадываются теперь даже дети. И только вы еще, неиспорченный ребенок, полны недоумения.

— Тогда как же быть?— с досадой спросил Душан.

— А так и живите, как задумали,— будто удивился его вопросу Мираков. И Душан, сразу же потерявший интерес к беседе, проговорил после паузы:

— Наверное, вы и правы...— И увидел, как подошел к окну со двора Наби-заде и кивнул ему, подзывая к себе.

Душан, редко видевшийся теперь с управляющим, всякий раз с удивлением подмечал, как Наби-заде меняется — делается печальнее и тише, со смирением и робостью глядя вокруг, словно чего-то ища такого, что бы успокоило его. В нем уже не проявлялась прежняя бравадность и подозрительность, и служащие поначалу с недоверием приглядывались к управляющему, который не кричал, не повелевал, а говорил тихо, как проситель. Вот и сейчас он дольше обычного глядел на Душана, будто не зная, с чего начать разговор, и взгляд его, ищущий понимания и сочувствия, смутил Душана.

— Мать тебя третий день не видит. Ты сходил бы к ней, утешил...

— Я с утра стал рано уходить... Чтобы к полудню, когда жара... хотя бы один квартал обойти,— почувствовал себя виноватым Душан.— Здорова она? А вы?

Наби-заде попытался улыбнуться:

— По-стариковски...

Но тут какая-то обида некстати вспомнилась Душану, что-то смутное, неприятное, и он, нахмурившись, сказал сухо:

— Я ее подожду завтра... и встретимся...— И, шагая к выходу, чувствовал, как проникается жалостью и сочувствием, досадуя на себя за то, что говорил с Наби-заде так холодно, обиду давнюю вспомнил, и вообще повел себя так, будто ничего в его душе не было теплого и человеческого. Он оглянулся, но Наби-заде уже

переступил порог своего кабинета и закрыл за собой дверь.

Душан глянул на скучный двор и пошел, все еще ощущая неловкость и не зная, как отвлечься, чтобы забыть то, каким взглядом смотрел на него сейчас Наби-заде.

Доселе равнодушный к Наби-заде и лишь временами чувствующий к нему какую-то обиду, Душан в последнее время стал с интересом присматриваться, замечая смирение на его лице и удивляясь тому, с какой страстью управляющий вдруг начинал доказывать, прямо-таки фанатично настаивать на том, чтобы служащие занимались лишь стариной, полуобвалившимися мечетями, которые еще сохранились в кварталах, мазарами святых покровителей и чтобы все это с тщательностью срисовывалось, измерялось, заносилось в книгу для будущего восстановления.

В квартале «Тупхона», где Душан пытался высмотреть на пустыре через проем в стене холмик Мардикассоба, покровителя мясников, к нему неожиданно бросился мальчик лет семи с лукавым выражением вседозволенности на лице и, крепко обняв его за ноги, сел на песок. Душан, не зная, как вести себя, попытался было откупиться коротким, вымученным смехом вслед за хохочущим мальчиком, который, несмотря на свой малый рост и хилое сложение, так держал Душана, что тот чуть было уже не падал на него.

К воротам вышел и понаблюдал за ними мужчина с полотенцем на шее, и судя по тому, как он смотрел на забавы мальчика и как сказал, был отец шалуна.

— Это очень хрупкий и благородный ребенок,— проговорил с теплым сочувствием мужчина,— и я, глядя на него с тайной завистью, пытаюсь учиться быть человеком. Но — увы! Я груб и испорчен... И часто думаю: в кого он такой? В нашем роду второй такой жемчужины не было... и не будет...

После такого поощрения мальчик отпустил Душана, но выхватил у него из рук конторскую папку и торжественно преподнес ее отцу, а сам спрятался за его спиной.

— Ну как тебе не стыдно вырывать из рук?!— воскликнул, засмутившись, мужчина и сделал неловкое движение, отчего бумаги вывалились из папки и рассыпались в пыли.

Мужчина бросился ловить их. Душан нагнулся было за бумагой, прилетевшей к его ногам, но мальчик снова выпрыгнул из ворот и молча и мрачно схватил его за шею и повис, да такой крепкой хваткой, что Душан после первой попытки освободиться остался стоять полусогнутый, ожидая, что мужчина вмешается и освободит его.

— Нет, это уже навсегда, намертво,— то ли сочувствуя Душану, то ли радуясь за своего сына, сказал мужчина и, подняв какой-то лист, стал с любопытством вчитываться в написанное, напряженно шевеля губами.— Вы его лучше чем-нибудь отвлекайте,— бросил он короткий взгляд в сторону Душана,— какую-нибудь небылицу расскажите, сказку... Такой отчаянной пиявки, такого клеща с мертвой хваткой у нас в роду еще не было...

Мальчик посопел, пробормотал что-то сердитое в ответ, но рук не расслабил.

Душан, больше раздосадованный не выходкой мальчика, а тем, что мужчина, заинтересовавшись, вчитывался теперь в каждую бумагу, прежде, чем положить ее в папку, хмыкнул и заворчал:

— Если бы не вы... я бы вашего хрупкого и благородного — пару раз по спине... и дело с концом.

Мальчик прыгнул на землю и тут же уселся на камне, и не успел Душан выпрямить шею, как мужчина вернул ему папку с подобострастием и чинностью.

— Вы, оказывается, уполномоченный,— проговорил он, улыбаясь и пытаясь скрыть неловкость и подозрение на лице.

Прижав папку к груди, Душан поспешил в переулок. Он услышал, как отец сказал сыну доверительно, по-приятельски лукаво, как равному себе по возрасту:

— Ловко ты его... Инспектор второпях и в растерянности забыл в домовую книгу заглянуть... Тише! Он может вернуться, этот угрюмый, недоверчивый человек. И начнет за все свои обиды с такой дотошностью и злостью проверять, что вылезет у нас то, о чем мы и сами не подозревали. Пусть уходит — тихо, тихо... как мышка.

Душан смутился, почувствовал себя неловко, услышав о себе такое нелестное, но, в общем, справедливое суждение. С одного взгляда мужчина определил, кто есть Душан и каков его характер.

Душан постоял, борясь с соблазном, но так и не пошел назад, только отметил про себя улицу и дом,

и решил, что придет как-нибудь в другой раз, когда мальчик будет в тихом, миролюбивом настроении.

И до самого вечера ходил он потом, ощущая какое-то странное чувство. Ему было смешно от всей этой истории с отцом и сыном, но и неприятно оттого, что незнакомый человек с одного взгляда определил, насколько несносен его характер. Почему-то ссегодня это его сильно задело, и поэтому первое, что он спросил у Бунафши, встретившись с ней в условленном месте — возле тута на полянке,— было:

— Скажи, я действительно недоверчивый и злой?

— Ты занудливый. Честно, ты занудливый,— повторила она с удовольствием, и Душан, ожидавший совсем других слов, обиделся.

— И ты меня терпишь такого?..— сказал он, по-мрачнев.

— До поры до времени,— лукавым смехом она думала несколько смягчить впечатление от собственных слов.

«Нет, я не женюсь на ней. Глупо...»— вдруг подумалось Душану с тоской. И что-то будто улетело из его души, что делало ее горячей и беспокойной.

— Я ведь о себе больше знаю плохого,— примирительно сказал Душан.

— Что, например, что? Мне интересно... А потом я скажу, что в тебе есть хорошего, что надо сохранить и развивать...

Душан внимательно посмотрел на Бунафшу, и вдруг представилась она ему, непонятно отчего, этакой кумушкой, легкомысленной особой, любящей поговорить, поспорить и имеющей на все заемное суждение и оттого в любом разговоре чувствующей себя уверенно.

— Развивать?— усмехнулся Душан.— Ты говоришь так, будто у меня не характер, а мотор, который должен развивать скорость...— Душан умолк, заметив, как искажилось в обиде лицо Бунафши в предчувствии ссоры,— в последнее время почему-то их любой вполне безобидно начатый разговор обязательно кончался ссорой.

— Тебе кажется...— начала было Бунафша, но, услышав скрип открывающихся ворот, спряталась за деревом, все еще боясь соседских пересудов, а Душан, переживающий обиду и злость, ничего не замечал. Стоял, прислонившись к стволу тута, обостренно ощущая всю разницу, всю несхожесть и неуютность атмосферы вокруг с теплом полянки того прежнего времени.

когда сидел он здесь мальчиком. И место представлялось ему теперь чужим, и время не то упущенным, не то мерцающим где-то впереди, в будущем...

— Тебе кажется,— отрезвил его голос Бунафши,— все тебе представляется преувеличенным. И то, как на тебя посмотрели, и что сказали. Надо быть добрее, внимательнее, и люди будут с тобой иначе...

— Все не то, все мы не о том,— все еще не остыв; наполовину всерьез, наполовину играя, произнес Душан.

— Да,— с увлечением подхватила Бунафша,— разве об этом говорят? Ты бы послушал, о чем говорят наши студенты. Говорят красиво, и все весело. Шутят и смеются. Легко с ними. Над девочками подшучивают, в любви признаются, над родителями посмеиваются. Танцы, диско. Машины, пластинки. Увлекаются, обманывают, предают, мирятся. И даже один отравился. А одна любила, ждала, потом не выдержала, решила со злости отомстить, пошла к старику... Вернулась, сидит и плачет... Вот где жизнь. А с тобой скучно, ты все о душе да о совести, бабушкины истории да предания...

Душан, с интересом слушавший ее, будто открывавший для себя неведомую и запретную сторону жизни, поначалу смутился от ее напора, ее правоты и обреченно проговорил:

— Да я и сам знаю, что скучно и угрюмо... Ты думаешь, я не переживаю.

— Вот опять о переживаниях.

— Иногда такая тоска схватит! Иду куда глаза глядят. Подхожу к какому-то дрянному, третьесортному кафе, и стою на той стороне улицы, и смотрю — танцы, музыка, веселье... жизнь увлекающая, манящая, даже запах у нее свой, такой дурманящий, стою вдыхаю. Хочу броситься туда, но боюсь, понимаю, что буду там нелепым, неумелым, не знающим, что сказать всем этим народным умельцам, торгашам да магазинщикам. Ибо все это мерещится мне таким недосягаемым! А когда приду домой и отрезвею, ощущая во рту запах этой жизни, осадок на языке — впитаю, чтобы ощутить до конца, и чувствую — дрянь! Дурман-то, оказывается, состоит из несложного букета — запаха сигарет с фильтром, трехзвездочного коньяка да салата «Бухара» с майонезом. И все это для привлекательности духами надушено... И стоит все это как комок обиды в горле — не проглотить, но и не выплюнуть... Кисловатый такой комок

на вкус, теплый и расслабляющий. А я его не могу проглотить... Вот что мерещится мне верхом жизни,— скривился в презрительной усмешке Душан.

— Ты опять осуждаешь,— негромко сказала Бунафша,— а как ты сам... ты ведь не живешь вовсе... Ты будто старик и отжил свое...

— Да, так уж у нас в городе теперь... или живешь для того, чтобы словчить, да насмехаться, да обмануть... или, говорят, не живешь вовсе.

— Откуда у тебя это суждение? Где ты все это видел? Вычитал?— возмутилась Бунафша.— Вот и братья мои говорят...— Она спохватилась и отвела глаза.

Душан насторожился, второпях схватил ее за руки.

— Что братья? Они знают про нас?

Сама форма его вопроса, несколько нескладная, взволнованная, чем-то задела Бунафшу, она хотела было ответить так, чтобы придать своим словам значение, от которого бы Душан окончательно растерялся, но получилось совсем не так, как хотела:

— Знают... Разве в нашем гузаре можно что-нибудь скрыть? Прибежали: «Ваша дочь... мы видели ее с ним — и на улице, и возле института, в кино...»

— В кино?— Больше всего почему-то это удивило Душана.

— Братья спрашивают: это правда? Я призналась. А они сразу: ну, что в нем интересного? Он уже давно не местный, не бухарский, обо всем нашем забыл в интернате...

— А ты?— У Душана от волнения задрожали руки, и Бунафша чувствовала это, сама же была спокойной.

— А что я?— В каком-то искреннем недоумении пожалала она плечами.— Сама не знаю... зачем я с тобой встречаюсь...

От этого ее непосредственного и даже растерянного вида Душану вдруг сделалось так легко, что он разом забыл свои обиды, усмехнулся над тем, каким он себя только что представлял, и, потянув Бунафшу к себе, задышал взволнованно:

— Поцелую тебя...— И, заметив, как Бунафша смутилась, опустив голову, сказал для убедительности:— Мы ведь всего лишь два раза целовались... а встречаемся уже столько...

— Но не здесь ведь! Не здесь!— Бунафша порывисто прижалась к нему всем телом и вдруг стала вырываться из его объятий.— Меня в дом не пустят. Ужас!

— Ужас! — передразнил ее Душан и засмеялся каким-то нервным смехом, в потках которого были слышны и отчаянный задор, и смущение.

Бунафша с обидой отодвинулась от него к дереву.

— А вообще ты груб! — сказала она подчеркнуто сердито. — Ухаживать не умеешь. Сразу видно, не нашего, бухарского, воспитания. Где это учили тебя — хватать девушку за руки и обнимать ее у всех на виду? А мне больше по душе... Мы как-то подслушали, как наш учитель музыки говорил фрау Мун, объясняясь в любви. — Бунафша заморгала увлажнившимися глазами: — «Чашмон шумо бо чашми оху монанд, ой, мемурам ман, мемурам! Лябхон шумо аз гули сурхам хушбуй, она-жонакам, ба синди ешам меравам! Абрекатон-думи мор, дилам об шуд...»*. Фрау Мун так и таяла, так и таяла, аж прослезилась... А ты посмотрел бы, какая она на самом деле, эта наша мадам Мунис Асадовна, немичка... Правая щека у нее почему-то черная, хотя и гладкая, зато левая — белая, но морщинистая...

— Но это ведь одни красивые слова, — с обидой проговорил Душан, — я их действительно не умею.. Наш Пай-Хамбаров, когда заигрывал с замужней тетушкой Бибисарой, был немногословен и хмур... — Вспоминал он об этом с таким коварным выражением лица, что Бунафшу еще больше подзадорило, и она сказала кратко, будто только что вычитала:

— Когда женщина без памяти от похвал, она и лжи-то не замечает...

— А я не хочу лгать. Все эти порхания, ухаживания — не для меня. Не могу быть как ваш учитель пения. — Душан сделал такой жест, словно отмахиваясь от чего-то назойливо-горестного, с чем он не мог сладить.

— Очень жаль, что не можешь. — В словах Бунафши прозвучали ирония и сожаление, и Душан не сразу нашелся, что ответить.

— Я с тобой всегда искренен, — сказал он как бы оправдываясь, хотя и понимал, что говорит неубедительно.

И, может быть, поэтому, уловив в его словах неточность и необязательность, Бунафша в сердцах, дрогнувшим голосом заключила:

* «Глаза ваши оленьи, ой, умру я, умру. Губы ваши благоуханнее роз, ой, матушка моя, умру я в молодые годы. Брови ваши как хвост змейки, сердце мое растаяло...»

— Нет, я тебе не нравлюсь! Я ведь чувствую... И не пойму, почему ты ждешь меня у ворот, хочешь видеть...

Вот и сегодняшняя их встреча, как и предчувствовали они оба, кончилась ссорой — Бунафша побежала к своему дому, а Душан повернулся и молча пошел переулками на окраину города, к воротам «Шергирон», каким-то чудом державшимся между ветхими крепостными стенами. Больше всего его почему-то задела ее слова о том, что он ведет себя как пришелец, забывший свое кровное. И хотя упрекали его в этом всегда — и дома, и в интернате, то, как сказала об этом Бунафша, особенно чувствительно тронуло Душана.

«Что я ей? — подумалось Душану с досадой. — Ищу встречи... Бегаю, говорю искренне. С Амоном так не говорю, с матерью... И все обиды. Я ведь такое говорю простое, даже банальное, но и в этом не понимаем друг друга...» От обиды сдавило ему горло, и Душан, не понимая, зачем он здесь, остановился у крепостных ворот, недалеко от базара, глядя в сторону источника Чашма Аюб, который еще недавно почитался как святое место. Тяжелые, влажные на вид, низкие стены и давящие их купола — тупоконечный и изогнутый в виде полумесяца, да и весь облик этой гудящей от сквозняков постройки на холодной неровной площадке навевали ощущение отрешенности, чего-то вытолкнутого из времени, чуждого теперешнему ритму и суетливому бегу, погоне за мишурой, всему блестящему и скоропортящемуся... дню, который промелькнет еще, засеменит в сторону базара по бетонным ступенькам, и уйдет в пыльное марево, даже не задев своим краем этих куполов...

Созерцание Чашма Аюба будто остудило Душана, и он, поежившись, вдруг бесстрастно и расчетливо решил наказать Бунафшу за свое обидное, за эти ссоры, нервные разговоры, полные упреков. Ни к кому другому не испытывал он никогда такого желания наказать, и вот, представив себе, как Бунафша будет мучиться, униженная, Душан взбодрился и побежал по мосту к парку.

В парке сплошь из одних только акаций, растущих на какой-то вязкой, маслянистой земле, было густо, душно, и Душан заторопился к выходу, все еще думая о том, как бы поискуснее да похитрее наказать. Может, поухаживать за кассиршей из управления, которая по сей день строит ему глазки, или за соседкой из дома справа, видно по всему, испытывающей неприязнь к Бунафше, а потом объявить во всеуслышанье о своей же-

нитьбе — ведь выдумала же как-то Бунафша эту вздорную историю со сватами?

В какую-то минуту этих расчетливых обдумываний Душан вдруг устыдился и, должно быть, не от того, что стало жаль Бунафшу, просто ничего увлекательного он и придумать не мог.

Все еще переживая обиду, он пересек площадь Пай-Минор — мимо лавки чеканщика и мастерской, где у входа покачивалась от ветра свежепокрашенная люлька, и неожиданно остановился, удивленный своими мыслями.

«Да откуда это? — подумал он в отчаянии. — Я ведь никогда не мстил так подло, ни тогда, в интернате, где меня столько оскорбляли, ни дома... И вдруг — к ней! Глупость! Я ведь люблю ее... И сказал это себе не раз. А теперь иду и придумываю злое...»

И Душан стал вспоминать, как это у него началось. Неужели голый, аскетический вид Чашма Аюба и родил в нем желание получить удовольствие от унижения Бунафши?

Что же ушло такое у Чашма Аюба, что выветрилось навсегда, если вместо участия и доброты, чей дух витал здесь, холодный камень вызывает опустошенность? Вот и Наби-заде, должно быть, тогда, в молодости, почувствовал себя так уверенно и безнаказанно, что одним ударом втоптал в землю мазар, не святой мазар уже, а лишь голую оболочку, внешнюю кладку камней...

И так все теперь — медресе Мир-и-Араб и мечеть Калян, мимо которых Душан сейчас прошел... в них тоже одна лишь внешность, блестящая, манящая для беглого взгляда, для бегущих от собора к собору с сувенирным ножом, зажатым в кулаке, и эта внешность выражает все, что Душан видит каждодневно во внутренних дворах. Резиновое колесо и кувшин с благородным налетом прошедших лет, железные трубы и черный мраморный столб из семейного склепа, халат, украшенный синтетической лентой галстука, вера и неверие, тихая отрешенность и плутовство, два языка, две скатерти для гостей, на столе и на полу, две мысли, раздвоенность, разбитость, несклеенность... И неуют, беспокойство, желание не отстать от современного, которое не понято еще, не усвоено психологией, потуги, которые рождают столько трагического и комического во всем.

Тот же Наби-заде, с неистовым желанием очистить все мечети и медресе от складских помещений, забитых

испотребной обувью, каменной солью, бочками с мясным маслом, с ежедневной теперь беготней в райфингорснаб, облпроф, как бы живой пример этой психологической смеси трагикомического.

Душан, кстати, вспомнил и давно услышанный рассказ о том, что еще в довоенные годы медресе Кукалтош, что высится над глиняными крышами недалеко от их дома, было переименовано в исправдом Кукалтош, и здесь, в одной из келий, в дни «золотой лихорадки» содержалась недолго под стражей и бабушка.

Сполна и не колеблясь сдавшая какой-то комиссии свои драгоценности, она все же оказалась в числе подозреваемых, и, как писалось в доносе соседей, припрятала бриллиантовый браслет в три пальца ширины, которым блистала на свадьбах.

Среди семейных глухих историй — это была одна из тех, которую не принято вспоминать из-за досадливой боязни вызвать дух прошлого, хотя перед самой смертью бабушки пришлось все же кратко и полуневнятно вспомнить. Землетрясение снесло наполовину две передние башни медресе, которые и по сей день старожилы гузара называли сторожевыми, хотя были воздвигнуты они для призыва мусульман на молитву. Бабушка из любопытства пошла и посмотрела на игру стихии, и это оказалось ее последним выходом на люди.

Сейчас уже передний ряд келий вдоль главных ворот вспорот, в проемы вставлены двери, протянуты полки, и среди густого амбарного запаха в лавках идет торговля всякой всячиной, больше всего товаром, неброским на вид, штучным — консервами и мылом, и над всем этим витает такой дух мошенничества...

С продавцом бакалейной лавки Истамом — известным в городе балагуром, заводилой всех драк и попок — дружит Амон, и его теперь часто можно видеть по вечерам сидящим у дверей лавки и пьющим пиво, краснощекого, говорящего лениво басом, с видом хозяйчика, подражающего Истаму.

Вот и в этот вечер, когда Душан, удрученный и подавленный, возвращался домой мимо медресе Кукалтош, своей привычной дорогой, Амон был возле лавки, и сидел он как-то тяжело, широко расставив ноги, с таким видом, будто в цепком обозрении прохожих находил себе отдохновение от семьи и забот.

Амон, удивленный, привстал, увидев брата, и в такой позе ждал, пока Душан поравняется с ним, но брат про-

шел, по своему обыкновенно никого не замечая. Амон, уже настроенный на шутливо-задорный лад, на теплую их встречу, желавший как-то взбодрить брата, обнять его у всех на виду, с досадой глянул вслед Душану и, не выдержав, бросился за ним, и так напористо, с такой силой обнял его, что Душан, хотя и узнал Амона по шагам сзади и по возгласу, вздрогнул от неожиданности:

— Да ты как же?! Да ты не заметил меня у лавки... и прошел, брат. Эх, брат,— как бы любя его, но журия и укоряя, говорил Амон, наваливаясь на Душана и прижимая его голову к груди.— Или ты хотел незаметно от брата домой... а там Мавлюда моя, одна... жена брата твоего...

Амон загнулся, видя, что Душан как-то бесстрастно и отрешенно смотрит на него, будто ничего не понимает.

— Идем, брат, к Истаму, посидим немного без жены...

— А ты как женился па ней?— вдруг тихо спросил Душан.— Просто? Или мучились до этого, ссорились?

Амон посмотрел на брата, удивляясь его вопросу, такому неожиданному и странному, и захохотал, но как-то вымученно, будто жалея Душана:

— Да кто о таком спрашивает на улице да при всех? Чудак!

Истам в черном фартуке стоял у дверей лавки, покуривая и задумчиво глядя на Душана. Амон потянул брата к нему за руку, сконфуженно и нервно смеясь, и отрекомендовал:

— Это мой брат... Не торгаш, не жулик, не маклер. Машины не перепродает, дрянью сингапурской — джинсами не торгует. А жаль, из него вышел бы великий жулик, преступник высшего класса... Он просто... угадай, Истам, кто он?...

— Да я знаю Душана,— с какой-то деликатной заинтересованностью произнес Истам.— Он здесь проходит каждое утро... не знаю, чем-то Душан меня привлекает...

Душан и Истам глянули друг на друга и улыбнулись, оба чуть смутившись: Душан оттого, что ему была приятна эта лесть, Истам же оттого, что его лесть дошла и была приятна.

— Что вы теперь читали?— вдруг спросил у него Истам.— Посоветуйте что-нибудь интересное...

— Ничего,— помрачнел Душан,— как стал работать — почти ничего...

— Что это ты ему на «вы»?— удивленно воскликнул Амон.— Да он мне брат...— И до самого дома Амон не мог успокоиться и все удивлялся, обращаясь к Душану:— Отчего он с тобой на «вы»? Да с таким подобострастием, будто ты имам нашего гузара...— Да и дома не забывал об этом, во время ужина с напряженным вниманием смотрел то на жену, то на брата и повторял:— Он вдруг при всех на улице спрашивает: «Брат, ты просто женился или сложно?» Толпа собралась. Одни кричат: «Просто!», другие: «Сложно!», лезут в нашу святая святых, разбирают...

— Да никакой толпы не было,— улыбнулся Душан, чтобы успокоить удивленную Мавлюду, и вдруг понял, что брат так ведет себя беспокойно и нервно, говорит с таким раздражением из-за обиды, оттого, что Душан проходил, не заметив его, и был холоден, не смог ответить лаской на теплый порыв брата, на восторг, с которым он обнимал его, жалел...— Это я так, по глупости спросил,— добавил Душан.— Просто день сегодня какой-то сумасшедший, вот и шел как оглушенный и не глянул в сторону лавки, где ты сидел... а всегда смотрю. И говорю себе: «Вон брат сидит», и радуюсь.— Голос Душана дрогнул, и он с трудом подавил нахлынувшее чувство не то обиды, не то жалости.

— А ты любишь меня?— с каким-то вызовом или мольбой произнес Амон.

— Ты ведь знаешь... люблю,— еле слышно сказал Душан и опустил голову.

— И как старшего признаешь... за отца?

Мавлюда вся тревожно поникла и что-то взяла со стола из пустой посуды, вышла — и сейчас испугалась она, как бы разговор этот не кончился ссорой, скандалом, извечной ссорой между нею и мужем из-за того, что не может она рожать детей.

— Ты ведь неспособный...— бросив вслед жене сердитый взгляд, произнес Амон.— У тебя всегда вид такой... ты мучаешься, будто со всем миром борешься...

— Мир...— досадливо усмехнулся Душан.— Мир извечен и останется таким. Я с самим собой борюсь... и не слажу никак.

— Мир вечен — правда,— поучительным тоном произнес Амон.— Поэтому надо ладить с ним, принимать

его сполна и крепко, какой он есть. А ты неспособный... Эх, мне бы твою голову, твою душу... нет, душу не надо, не люблю я мучиться, жизнь одна и коротка, надо жить... ум бы мне твой, да умение все от себя отринуть, мелкое, случайное...

— Что мой ум? Он глупый и беспокойный... А иной раз такая мысль промелькнет, что думаю: а нормален ли мой ум?— простодушно признался Душан, удивляясь своей откровенности.

— Он у тебя не то что ненормальный,— тряхнул упрямо головой Амон,— он у тебя не совсем современный. Суетным сегодняшним не набит до отказа...

— Отсталый, что ли?— улыбнулся Душан миролюбиво.

— Не то что отсталый...— Амон не мог подобрать удачного сравнения.— Я вот заметил, что ты в стариках все понимаешь, будто они с тобой равные. И к детям тянешься... Со стариками ты такой, будто уже пережил столько, сколько они, и удалился от своего возраста так далеко, что мне, например, еще предстоит это пережить. В этом ум твой кажется впереди, где-то даже в двадцать первом веке... Ну а с детьми ты такой, словно еще только-только начинаешь жить... и отстал на век...

Душан с волнением выслушал брата, удивляясь тому, каким тот оказался наблюдательным и умеющим разбираться в том, в чем он сам из-за невнимательности не разобрался бы, и сказал:

— Да, мне легче всего с ними... Но только ведь я не от современности отворачиваюсь... Просто современность — это я сам, то есть я вот сейчас живу, не в прошлом и не в будущем, сам я так живу, реальный... только борюсь с самим собой, с дурным в себе, злым... поэтому, наверное, и кажется, что я с современным не лажу... Нет, я лажу, но только не купаюсь в современном с восторгом и визгом, а лажу с трудом, мучительно...

— Будто в реке с мазутом плаваешь? А не в курортном Черном море?

— Можно и так сказать,— засмеялся Душан.

— Плавай, плавай, только знай: будешь задыхаться от отходов человечества, никто тебе на помощь не придет, кроме меня.

— Спасибо, брат...

Амон потянулся к нему, обнял, поцеловал и вдруг зарыдал, прижавшись к его плечу и приговаривая:

— Жизнь мудро решает... мудро: в одном месте прибавит, в другом убавит...— сына мне не прибавит...

— Да вы еще подождите...— только и сумел сказать ему в утешение Душан,— может, она и поправится, вылечится...— А у самого мелькнуло, что от этих-то мучений и стал Амон подозрительным, вроде и остыл к жене, все вечера уходит из дома, но и ревнует Мавлюду к каждому прохожему, и с Душаном иногда вдруг неуместно пошутит, как сегодня.

Амон походил взад-вперед по комнате, повздыхал отчаянно, а затем, ослабевший, опустился на ковер и уснул, не раздеваясь.

Душан же не мог уснуть, слышал: за стеной, в доме соседки, всхлипывала Мавлюда, да так надрывно и странно голося, будто оплакивала умершего. Душан прислушивался сквозь тонкую, прозрачную тишину двора, сквозь желтую, летнюю темноту к ее плачу, страдая от того, что не может выйти и утешить ее. Затем под утро, когда все звуки утихли, Душан вдруг ощутил тревожно всю эту одурманивающую атмосферу чьих-то похожих на кошмар снов и чьей-то бессонницы, бормотаний, криков, глухих шепотов, и все это так смешалось в его чувствах, в его сознании, что он, страшась одиночества, сел на кровати, тяжело дыша.

Он долго сидел так, всматриваясь в окно, светящее прямо на глазах и тихо, отрезвляюще успокаивающее Душана. И все утро потом он был подавленным, капризным и шел к Миракову с одним лишь желанием услышать в ответ на сетования хотя бы два-три слова утешения. Утаивая главное, он лишь в общих чертах рассказал о своей последней ссоре с Бунафшой, удивляясь тому, что именно этим, сокровенным, ему и захотелось поделиться.

— И она меня тоже упрекает,— добавил он неискренне, лишь желая показаться непонятым.

— Терпите,— Мираков засмеялся, уловив в его тоне это показное,— таким уж вы созданы... для упреков...

— Неужели у меня такой вид?

— И вид. И вообще. Подумайте-ка, может, кто-то и прав, упрекая вас?..

Душан, не ожидавший такого прямого вопроса, опустил голову и согласился, чем взбодрил и настроил старика на добродушный лад.

— Наверное, и правы... Во мне многого недостает, то ли и не было никогда, то ли как-то незаметно остудилось. Так, иногда еще лишь совесть кольнет, жалость... И еще чувство долга...— добавил Душан наивно,

будто ухватившись за эту свою последнюю добродетель...

— Вы прямо как добропорядочный, аккуратный немец...— весело сказал Мираков.

— Почему — немец?— не понял и даже обиделся Душан.— Вот-вот! В этом меня чаще всего упрекают, в том, что я забыл свое кровное, бухарское!

Сказано это было с таким отчаянием, что Мираков поспешил успокоить Душана, обнял его за плечо и, наклонившись над его ухом, прошептал:

— Никто из посторонних не слышит? Нет? Милое вы мое дитя, и не будьте вы никогда стопроцентным бухарцем, боже упаси... К тридцати годам брюшко наедите, лицом посерсете, мысли все растеряете, боже упаси. Дорогие наши земляки, сами погрязшие в будничности, да разве они позволят хотя бы одной живой, трепетной, боговдохновенной душе взлететь? Да они над этой душой еще в ее зародыше с арканом стоят, и чуть она встрепенется — они тут же ее в петлю и привяжут к кольцам ворот, чтобы засохла она на горячем ветру да пылью покрылась... знаменитой нашей белой пылью, которая через поры в тело проникает. Ворота открывают — скрипы слышали? Это души скрипят, подвешенные на медные кольца...

— Да что же вы? Вы мне совсем другое сказали!..— поразился его словам и сравнениям Душан.— Как же? А люди? А обычаи наши?

— Все обычаи хороши... Но жизнь сама так многообразна, что только стопроцентный дурак может желать весь век оставаться стопроцентным бухарцем. Все это я понял — не поверите — на войне. Кругом смерть, а я вдруг это и понял среди других мелких пониманий.— Мираков остановился, так и не досказав, не рассказав основного.

— Услышала бы все это моя бабушка,— почему-то вспомнил о ней Душан.

— Лучше всего жить так, будто внешний мир и ничего дать тебе не может, и отобрать у тебя ничего не в силах. К этой мысли я и приучил себя с возрастом. И теперь довольствуюсь, как вы знаете, обыкновенной вареной тыквой на ужин, чашкой воды на завтрак натощак, дыхательными упражнениями на обед... А отниму у меня все — и эту чашку воды, ничего, стерплю... может, еще спокойнее буду.

— Вы йогой увлеклись?— удивленно спросил Ду-

шан.— Сейчас это модно... Вот и поддались вы влиянию внешнего мира!

— Так круто тоже нельзя, надо иногда находить с ним общий язык,— как-то загадочно улыбнулся Мираков, и Душан опять почувствовал какую-то недосказанность, туман, хотя и знал, заметил давно, что такова черта Миракова — всякий серьезный и важный разговор доводить до такого завершения, что не поймешь, говорил ли он все это искренне или шутил.

И Душан ушел от Миракова в двойственном настроении. Многое из того, о чем с такой страстью говорил ему старший инспектор, было понятно Душану и находило в нем живой отклик теперь, когда над всем сказанным он думал, хотя слова старика о тревожениях внешнего мира и о том, чтобы не принимать их всерьез, представлялись ему бегством от жизни и боязнию ее. Ведь сам он как раз так желал теперь жить так, чтобы принимать все внешнее близко к сердцу и полностью раствориться в живой стихии жизни.

Вот сказанное Мираковым в прошлый раз, что нельзя жить полнокровно и оставаться чистым и чтобы почувствовать густоту существования, надо вкусить все — и доброе и подлое, было молча одобрено Душаном, ибо это бесхитрое объяснение подкупало искренностью.

И всю дорогу, до самого квартала «Кумухтгарон»*, откуда поступила анонимная жалоба, Душан мысленно и соглашался с Мираковым, и спорил с ним, жалея о том, что не сумел высказать ему свои сомнения в разговоре, хотя и знал, что все мало-мальски интересное приходит ему на ум потом, когда в одиночестве молча переживает, а во время спора он теряется и кажется легковверным и банальным.

Вообще-то за все время, пока Душан работал в управлении, это была вторая или третья жалоба, те две оставили без внимания, из-за неубедительности анонимных авторов: один из них, кажется, сообщал о том, что некто Саид-Касым Садри построил сбоку дома, где проживает с женой и детьми, нечто вроде дачного домика для какой-то сомнительной особы и с вечера до утра проводит с ней время в танцах и разврате.

Мираков, читая все это, хмыкнул:

— Чтобы в наше время скрытный бухарец — и та-

* Кумухтгарон — мастер-шагренищик.

кос... не поверю! Не дай бог!—никогда не выставит себя на всеобщее посмешище.

И Душан это чувствовал: все, что делается в среде города, делается тихо и незаметно, с тысячьей уловкой, чтобы спрятать, не подать виду, замазать, да и все, кто занят чем-то мало-мальски предосудительным, связаны друг с другом такой круговой порукой, что и не схватишь, не закричишь: «Караул!» Жалуются, если уж совсем не вмогуту от несоблюдения правил игры, да и то аксакалы*, посредники гузара, до последней возможности стараются образумить стороны и помирить. От жалобы, которая пришла из «Кумухтгарона», тоже можно было бы отмахнуться, как и думал поначалу сделать Мираков, если бы вдруг не прошел слух о том, что в самом архитектурном отделе горсовета засел какой-то служащий, который тихо торгует разрешениями на перестройку дома, вступая, таким образом, в негласную борьбу с управлением старого фонда, которое таких разрешений не дает, особенно в той части города, где дома так лезут друг на друга из-за нехватки земли: нельзя теперь там и камень сдвинуть без того, чтобы не обвалилась соседняя стена.

— Решено! Надо проверить!—вдруг воодушевился Душан, в спешке засовывая каверзный листок с жалобой на бедную женщину в папку.

Но по дороге от волнения он еще раз вчитался, сознавая, сколь серьезно дело, на которое он идет. Если обнаружится хоть малейшее нарушение в планировке той злополучной стены, которая разделила бывший некогда степенным и тихим дом надвое, между разведенными супругами, и если установится, что к этому противозаконному деянию причастен и тот служащий архитектурного отдела... Норов, кажется... То придется... Душан сразу и не смог вообразить, как сложатся потом его отношения с Норовым, наверное, надо будет сочинить какой-нибудь акт для подачи в суд...

Слово «суд» он произнес даже вслух, будто пробовал его на вкус, и вместе с чем-то щемящим, возбуждающим он почувствовал и досаду, вспомнив почему-то следователя Юртасва, который, правда, теперь совсем перестал появляться неслышно и деликатно в их доме.

«А, Юртаев!—подумал он.—Вот Юртаев и подскажет, как наказать Норова...»

* Старейшины.

И, увлеченный этими мыслями о скором наказании Норова, воображая что-то сильное, уносящее в какие-то фантастические высоты, Душан постучал настоятельно в ворота, но тут же отпрянул от них со сконфуженным видом.

«Вот уже и ошибка,— мелькнуло у него лихорадочное.— Не осмотрел ведь снаружи, без свидетелей...»

Благо ворота открыли не сразу, и Душан успел отбежать за угол, чтобы глянуть на наружную стену, но справа на глухой стене не увидел следов свежих работ, и в тот самый момент, когда он пробежал назад, звякнул засов на воротах, лязгнула цепь и закрипели половинки, но Душан прижался к левой противоположной стене дома с таким отчаянным видом, будто совершил предосудительное. И эта стена была давно замазана, уже успела покрыться солью, просочившейся из земли, а сверху выгорела на солнце и выветрилась.

Душан деловито глянул на все это, но, не избавившись от подозрений, свернул к воротам. Недоуменная хозяйка как раз собиралась их снова закрывать, чтобы возвратиться в дом, но еще раз посмотрела в обе стороны безлюдной улицы, уверенная, что стук ей послышался. С кончика языка этой тридцатилетней, чуть располневшей, но еще уверенной в своей неотразимости, очень живой на вид женщины уже готово было сорваться проклятие по адресу бывшего мужа, оно, кажется, уже и сорвалось в форме всегдашнего обвинения: «Ты довел меня, так повел себя, что мне уже не то видится и не то слышится...— но Душан торопливо крикнул ей:

— Я к вам... кажется...

— Кто мне?— Она удивленно глянула на Душана, прикрыв почему-то рот ладонью, но по угрюмому виду молодого человека, по тому, как он чинно держал свою папку, поняла и крикнула кому-то в дом:— Это к тебе! Не радуйся, я еще не сошла с ума, чтобы мне стук послышался зря... Ответь теперь за все!

— Да нет, я, кажется, к вам.— Душан растерянно посмотрел на номер дома.— К вам! У меня женское имя написано... Минотар,— от смущения он имя ее искажил, взволновавшись от того, что женщина ему кого-то напомнила, в ее облике промелькнуло связанное с запретным, такое далекое, дурманящее.

— А почему же Минотар?— обиделась женщина.— Уж лучше Минотавр. Знаете, я это читала... про этих прелестных зверей...

— А еще лучше: крокодил!— неожиданно сверху, непонятно с какой из крыш послышался мужской голос, сказавший все это с таким удовольствием, что женщина негодуя задергала плечами, да еще и крикнула нечленораздельно. И вдруг схватила Душана за руки так крепко, будто он собирался бежать, и потянула его в дом, на ходу пояся:

— Это мой бывший муж упражняется, сидя на крыше. Не верь ему, он совсем сумасшедший,— вкрадчиво, но настойчиво втолковывала она, уводя Душана все дальше в глубь двора, и лишь здесь, в пространстве за четырьмя стенами, Душан будто опомнился, отрезвел и с силой освободил свою руку, успев лишь вставить в момент краткой паузы:

— Да как же?! Я ведь при исполнении...

Но женщина словно и не слышала это, сказанное им в смущении и досаде, продолжая объяснять:

— Не верь ему, когда он меня так — ум его уносит куда-то в слепой злобе... В остальном же, что не касается меня, он трезв, даже слишком расчетлив и может давать отчет... Я знаю, это он написал на меня!

Душан только успел расстегнуть свою папку, чтобы глянуть на бумагу, где крупно было написано ее имя и обведено несколько раз красным и синим карандашом: Мунавар Тоева.

— Гражданка Мунавар Тоева,— начал было Душан, но вздрогнул, снова услышав знакомый мужской голос откуда-то сверху:

— Стану я на тебя свои мозговые очистки тратить! И вообще зря ты морочишь инспектору голову, нет у меня к тебе ни капли злости...

Слова эти удивили Душана, он поискал глазами, всмотрелся, но, не увидев нигде — ни на крыше, ни на заборе — мужчины, вдруг рассердился было от всей этой нелепой ситуации, шагнул и тяжело сел на стул у окна, пытаясь быть твердым, как и подобает лицу при исполнении.

— Это вы между собой разбирайтесь,— сказал он, ухмыльнувшись.— А мне пока принесите домовую книгу.— И сделал небрежный жест в сторону стены, разделяющей двор.— А, вот и стена... вроде незаконная...— И, растерянный, умолк, поймав на себе выразительный взгляд женщины, смотревшей на Душана испытующе и, судя по всему, думающей в это время совсем не о деле, с которым к ней пришел младший инспектор.

— Да здесь разве сидят? Да здесь сроду никто не сидит. А инспектору тем более нельзя.— Мунавар снова вцепилась в его руку и потянула Душана в комнату. Душан замотал головой, упираясь, но в ее усилнии было столько страсти, столько желання настоять на своем, что невозможно было не покориться.

Душан шагнул через порог, но успел, пожившись, посмотреть наверх, боясь невидимого наблюдателя и свидетеля, и только было ступил в небольшую, уютную комнатку, как услышал смех, но не злорадный, как тогда, а какой-то жалкий, надрывный.

— Соврати юного, чистого. По себе знаю, какое удовольствие ты получаешь, если что-нибудь хрупкое ломаешь, чистое замутишь...

Сразу же у дверей стояли два кресла, Душан споткнулся об одно из них и сел. Мунавар, тяжело дыша, словно бежала от преследования, закрыла дверь и бросилась в кресло рядом.

— Как он мне надоел! Шагу нельзя ступить. Два года как развелись, но нет! Все следит за мной: кто пришел, кто ушел...

Она говорила все это в какой-то нервной спешке, все время брала Душана за руки, но так, будто была это ее безвредная привычка, и Душан чувствовал, что подчиняется ее воле. Кашлянул, пытаясь быть невозмутимым.

— Мне бы домовую книгу,— проговорил он, понимая, что теперь это звучит совсем некстати, и, чтобы не показаться слишком назойливым, добавил, нахмурившись:— А как же он все видит и рассуждает... его самого-то не видно?— сказал он, но опять смутился от нелепого своего вопроса — ведь подглядывание и подслушивание сквозь тонкие стены и раздвинутые балки в домах нечто само собой разумеющееся, и любой бухарец знает об этом с младенчества и спокойно относится к тому, что не только свои, но и чужие вокруг осведомлены о каждом слове и шаге каждого.

Хозяйке бы мило посмеяться над его недогадливостью, но она почему-то упорно делала вид, что не слушает его. Должно быть, ей хотелось скорес высказаться, будто все, что накопилось в ее душе обидного, не давало ей покоя.

Не позволяя Душану опомниться, она ежесекундно пододвигала ближе кресло, прижималась к нему плечом,

завлекая бедного юношу в какую-то одурманивающую атмосферу шепота и улыбок, еле уловимых жестов и намеков, в атмосферу, которой он грезил и в бессонные часы и которая теперь сковала его робостью и стыдом.

— Я так устала! Не могу слушать его! Думать о нем! Он цель себе поставил — свести меня с ума и всем сполна овладеть, что выделил мне суд при разделе.— И она посмотрела на Душана с таким выражением, будто искала его защиты и сочувствия, и на белом, чувственном ее лице вдруг появились слезы, так легко выкатились из глаз, не застревая на ресницах, словно были это капли воды.— Ты избежь его,— шепнула она умоляюще,— позови своих друзей — и избежь. Ведь избиваете же вы по вечерам невинных прохожих ради забавы. А тут за дело, за мои муки... Избежь моего бывшего мужа, и я буду любить тебя...— Она потянулась к нему, порывисто дыша, и застыла так с закрытыми глазами, ожидая, что он прикоснется к ее губам неумелыми твердыми губами.

Душан покачнулся, но помимо своей воли подался назад и, на минуту совладав с собой, вымученно улыбнулся.

— Ведь это как в театре — избить чужого мужа... Юртаев,— произнес он глухо и сам в досаде поморщился от того, что некстати вспомнилось это имя.

— О ком это ты?— Мунавар с недоумением и обидой глянула на него.

— Следовательно...— Душан поерзал, чувствуя легкую дрожь в теле, и пояснил:— Ходил к нам, меня воспитывал...

— К вам ко всем в вашем возрасте следователи ходят,— вдруг сменила она свой тон на добродушный, даже участливый.— Вы в грош не ставите и чужую жизнь, и свою. Опасный возраст... У моего бывшего мужа он длится и по сей день...

От слов ее Душан поостыл; встал, чтобы выйти во двор. С опаской поглядел по сторонам и поймал на себе укоряющий взгляд Мунавар, которая вышла за ним следом.

— Принесите домовую книгу, мне отметку надо сделать о проверке...

— Смотри! Вон эта злополучная стена.— Мунавар сказала холодно, сделав вид, что потеряла разом к нему всякий интерес.

Это и смутило Душана, и он поспешил объяснить: — Я все видел и снаружи и изнутри. Зря вас оклеветали.— Душан подчеркнул это, давая понять, что удовлетворен не меньше хозяйки, в глазах которой мелькнуло такое неподдельное чувство победы, что и Душан не выдержал, рассмеялся.

Он пошел, все удаляясь от ее дома, со смешанными чувствами, не понимая, однако, что же его более всего взволновало — уж не то ли, как она пыталась заигрывать с ним, обещая любовь?

Вот и на этих улицах... был тот час вечера, когда солнце закатывалось, освещая лишь крыши, и на улицы и переулки, где чувствовалось легкое движение прохлады, выходили полусонные старухи, чтобы, сидя на камнях у ворот, посудачить о своих дневных грезах. Мальчишки выбегали с ведрами, поливая пяточки возле своих домов, раскаленный песок шипел, выпуская пар и разгоняя духоту, старухи устраивались поудобнее, слово за слово оживляясь и растягивая разговоры, чтобы хватило их до полуночи, когда снова надо будет уходить в дома.

Угрюмые старики выглядывали следом, неся свои низенькие стульчики. И простоватые на вид женщины, кто с тыквой для соседки, а кто и с обморочным от жары петухом... Куда? Зачем?

Завидев Душана, кумушки у ворот напряженно всматривались, силясь вспомнить что-то, а потом еще долго глядели ему вслед. Кто-то из тех, к кому Душан приходил с проверкой, наверное, узнал в нем инспектора, сделал произвольный жест, прижав ладонью рот, будто боялся воскликнуть...

Душан шел, насупившись, как бы самым своим видом заранее укоряя хозяев квартала за возможное мошенничество и обман солидного управления, неотложными делами которого он вынужден заниматься и в вечернее, неурочное время.

От дома костоправа Симона Душан свернул в еврейскую слободку и вздохнул свободнее, ибо знал, что старые еврейки почти никогда не выходят перед сумерками посудачить на улице, живут замкнуто и отчужденно от остальных бухарцев, собираются порассуждать в чьем-нибудь доме, потому их слободка всегда пустынна.

Всюду тускло мелькали лампочки, подвешенные так высоко над воротами, что свет их почти не касался фигур сидящих на камнях, будто были это ориентиры

для ночных птиц. Душан всмотрелся, но ему показалось, что сейчас у ворот беседуют другие, не те, кто провожал его взглядами к дому Мунавара: должно быть, старухи уже вдоволь поговорились и уступили свои места женщинам помоложе, а сами ушли во дворы и бродят там, полусонные, натываясь на бочки и колеса.

Душан недоумевал, спрашивал себя с любопытством и досадой: ну что же в ней, в Мунавара, что привлекло его, приманило, и так жгуче, так возбужденно?

Но острее всего устыдило, когда Душан вдруг подумал о Бунафше: вернее, он думал о ней все это время подспудно, даже когда ему делалось ненадолго приятно оттого, что чужая женщина пыталась соблазнить его.

Теперь его одно гнало: успеть бы, успеть бы! Как будто Бунафша должна была уехать, чтобы никогда больше не встретиться с ним.

На стук выглянул ее брат Рахмат и, будто чего-то испугавшись неожиданного, резко поднял лампу, чтобы осветить лицо пришельца. Душан с удивлением и досадой уставился на него, почему-то уверенный, что выйдет сама Бунафша, но Рахмату взгляд его показался дерзковатым, и он, как бы подзадоренный вначале, весело подмигнул Душану, но, видимо, тут же вспомнив о вражде их семей, насунился и сделался даже важным.

— Я к Бунафше,— через силу промолвил Душан и отступил на шаг от порога, ожидая чего угодно,— грубости, издевательского вопроса, даже брани, но не подострастия, не этого угодливого манерничанья, с которым Рахмат вдруг повернулся вполоборота, делая широкий жест в глубь двора.

— Прошу в дом... милости прошу.

Неожиданное приглашение его обескуражило Душана, и он, не зная, что делать, стоял, виновато улыбаясь.

— Да вы же не чужой... заходите,— еще раз, но настойчивее позвал Рахмат, с нескрываемым любопытством и затаенным страхом ожидая, как поступит этот самый последний Темурий. Никто из этого рода вот уже два десятка лет не переступал порог их дома.

— Да мне всего только два слова сказать... даже одно слово,— пробормотал Душан с таким миролюбивым и простодушным видом, будто ничего серьезного не скрывалось за этим его появлением, просто безобид-

ная, необязательная болтовня проходящего мимо соседа.

— И как же это одно слово?— вдруг помрачнел Рахмат, услышав за спиной шаги сестры.— Ведь вы вообще считаетесь великим молчальником нашей улицы — и вдруг одно слово... заветное... колдовское...

— Ничего колдовского... откуда вы взяли?— совсем растерялся Душан и хотел уже отпрыгнуть назад, к своим воротам, но услышал голос Бунафши в темноте двора, странный, отрезвляющий, словно обращенный к чужим людям:

— С кем это спор? Не с Душаном ли?

— С Душаном,— торопливо, будто оправдываясь, ответил Рахмат.— Я его в дом приглашаю... Говорю, что наша сестра не так воспитана, чтобы стоять и болтать в темноте у ворот... Милости прошу... в последний раз прошу,— обратился он снова к Душану, но уже резко, даже сердито.

Душана не столько его слова задели, в которых слышны были угрожающие нотки, сколько тон Бунафши... будто и ей в досаду было появление Душана. А ведь он так бежал, так хотел видеть ее...

— Ну, если в последний раз просите... зайду,— проговорил Душан, усмехаясь почему-то. И, не помня себя, шагнул к воротам — то ли от злости нарушил установленный между семьями запрет, то ли просто от растерянности ступил через порог, чуть не толкнув удивленного Рахмата, и остановился в коридоре, чувствуя запах чего-то сырого и сладкого.

— Идите, чай ставьте... с вареньем,— сказал он с таким дерзким, решительным видом, что Бунафша встрепнулась, бросилась к нему, боясь ссоры, драки, но Рахмат уже стал между нею и Душаном, подняв лампу и глядя напряженно.

— Это вы — джадиды*... с европейскими замашками, желудки ваши нежные — варенье и кисель. Мы же — кадими — гостю дорогому предложим такое, так щедро угостим, что век будете помнить,— нашел что сказать язвительное Рахмат.

— Джадиды — интересно... В вашем репертуаре еще не было этой песни.— Душан с воинственным видом приблизился к Рахмату, хотя и мелькнуло у него про-

* Буквально: новые люди, прогрессисты; антиподы — кадими, традиционалисты.

ническое, что посмотреть на все это со стороны, так смешно...

— Дурачитесь! Ну, глупое же говорите,— прошептала Бунафша и вдруг схватила Душана за руку с непосредственностью и отчаянием:— Душан, милый, не надо... Прошу, не ссорьтесь...

От слов ее все напускное, все неестественное разом сошло с Душана, и он почувствовал себя так легко, будто за этим и рвался сюда, чтобы ощутить ее горячее прикосновение на своих руках, и теперь, удовлетворенный сполна, успокоенный, с усыпленной совестью, мог уйти, сбегать в восторженном возбуждении.

Выбегая, он чуть было не сбил с ног соседку, перекошенное лицо которой красноречиво выражало то, о чем они так горячо спорили с Рахматом, а возле своего дома увидел еще одну любопытствующую, с полуоткрытым ртом ловящую непонятные звуки...

В воротах же столкнулся с Амоном. Брат от неожиданности сделал защитный жест, но вышло неуклюже, и рука его произвольно обхватила Душана за шею.

— Тебя били?— задыхаясь от волнения, спросил брат.

— Да нет же...— Душан, занятый своими переживаниями, ответил вяло и необязательно, отчего Амону показалось, будто он скрывает.

— Я сейчас с ним объяснюсь!— с угрозой прошептал он и медленно, тяжело ступая, двинулся через улицу.

Душан зашел в дом и только теперь подумал, что надо было остановить брата, хотел уже пойти за ним, но комический вид грозного Амона рассмешил его.

«Дурачье мы все...»— подумалось ему весело.

И, не заходя в комнату, смущаясь ее тесноты, ходил по двору, снова переживая случившееся и вспоминая лицо Бунафши, умолявшей не драться, и так забылся, что показалось Душану, будто он совсем один в доме, и от этого ему свободно дышалось и легко думалось. И как он растерялся, когда вдруг распахнулось окно летней комнаты и выглянула сонная Мавлюда, должно быть, смущенная неожиданным исчезновением Амона.

— Душан, ты давно здесь?

— Не очень... Брат к соседям пошел,— все еще продолжал он говорить бесстрастно и коротко, чем и Мавлюду задел неприятно.

Амон вернулся скоро, но совсем другой, загадочно улыбающийся.

— Ну, брат, нашел ты себе приключение... Ну, кто же это ночью в добропорядочный бухарский дом лезет за девушкой, не думая о том, что может быть крепко побит? Соседи сбежались, суды-пересуды. Рахмат кричит: «Он сестру оскорбил...»

— Как это — оскорбил? — не понял и даже испугался Душан.

— Этой своей выходкой странной да тем, что настойчиво желал видеть ее, не испросив разрешения у старших в ее доме... А я взял, наклонился к его уху и нашептываю Рахмату: «Хватит тебе, пошляк, собачий сын... Ведь все уже давно знают, что брат мой и сестра твоя встречаются, а ты вид делаешь оскорбленный, святоша! Так уж и быть, давай помирим семьи, и тогда все кривотолки разом умолкнут...»

— А он что? — по-доброму глядя на брата, спросил Душан.

— Гуфт-ки, дукбози мекунем!* — усмехнулся Амон.

— Ты согласился?! — воскликнул Душан, обрадованный тем, как все просто и достойно решилось.

— Дескать, за простым угощением несолидно мириться настоящим мужчинам. Дукбози так дукбози! Вызов принял. Завтра пораньше к Исмату пойду, пусть он нас немного поднатаскает... Он мастер по всем правилам дукбози...

— Благодарен! — с чувством сказал Душан. — Я всегда догадывался, что ты в этом, житейском, человеческом, самом трудном — да, да, самом трудном! — в сто раз мудрее меня... Я бы все напутал и сидел бы и переживал, не находя выхода из простого... А ведь все истинное, чем мы живем, оно ведь в простом... — Глухое настроение, когда Душан тихо все переживал про себя, сменилось словоохотливостью, желанием поделиться, похвалить всех вокруг, и такой брат больше нравился Амону, ибо казался искренним...

IV

Он должен был теперь все изложить, написать пространный рапорт управляющему Наби-заде о том, что увидел в домах и кварталах.

* Сказал: будем сражаться в кулачном бою! Дукбози — кулачный бой.

Странное дело, пытаюсь сейчас вспомнить свои хождения по старой части города, Душан с досадой замечал, как беспристрастный, деловой стиль изложения остужает впечатления, обесцвечивает и затуманивает, внося сумятицу и недоверие. Он в растерянности отводил глаза от листа бумаги с таким чувством, будто снова не знает ничего о городе, словно и не выходил на его улицы с красной конторской папкой в руке.

«Что ж это я... города не увидел и не понял... или он меня не принял как чужого?» — думал Душан и принимался писать обо всем заново, пытаюсь выйти из тесных рамок канцелярского стиля, чтобы дать волю воображению, каким-то подробностям, которые могли показаться излишними, не относящимися к делу, например, рассуждения о том, что было бы поэтично и исторично вместо скучных, данных наспех, без любви и вкуса современных названий улиц — Чугунная, Солидарная, вернуть им прежние. — Душан специально подчеркивал это слово — «народные» имена: «Чуббоз», «Бабои нонкаш»*.

Мираков, долго и скучно рассказывавший ему об особенностях составления рапортов, прочитав эти несколько страниц свободно рожденного текста, пришел в восторг:

— Прекрасно! Особенно вот эти рассуждения: «И как всякое искусство, зодчество познало свой наивысший взлет в образах медресе Мир-и-Араб, мечети Калян, мавзолея Чашма Аюб и пришло к своему естественному упадку в худосочном облике медресе Алимхана. И вместо того чтобы тратить свои силы на восстановление давно ушедшего и невозвратимого, утешая себя тем, что, мол, мы, бухарцы, снова причастны к великому, не лучше ли поискать себя в новом, чтобы выявить нашу сущность в доселе еще не рожденном искусстве во всем блеске национального гения?..» Хорошо! И откуда это у вас... умудренная, я бы сказал, утомительно-профессорская манера излагать мысли?

— Неужели хорошо? — Душан послушал похвалу, с трудом скрывая удовольствие. — И это, вы думаете, нужно для рапорта?

— Только я просил бы вас, дитя мое, после слов «давно ушедшего и невозвратимого» добавить: «дела в принципе полезного, нужного». Как бы Наби-заде не подумал, что вы вообще против реставрации — ведь он как раз сейчас носится с этой идеей...

* «Акробат», «Разносчик хлеба».

— Я здесь говорю об общем, а не частном,— холодно проговорил Душан, всегда упрямо отстаивающий свое мнение, даже если оно ошибочно.— Да и по логике это частное противоречит моим рассуждениям...

— Ну, хотя бы уточните: «полезного, нужного гостям города, туристам разных стран...»

Душан, польщенный тем, что написанное им вызвало такой спор, возбужденный, зашагал по комнате.

— Да при чем здесь туристы? И вообще эти пестрые люди, всюду суетливо бегающие... они, я заметил, так подпортили наши нравы. Сейчас по какой улице ни пройдешь, всюду бросаются к вам дети с протянутыми ручками: «Жвачка есть?!», «Жвачка!» Они как в тумане нереальности, не отличают своих и чужих. Сколько раз и ко мне выбегали с недоверчиво-ожидаящим видом. «Вы кто?»—«Немец»,— отвечаю я хмуро. «Жвачка есть?!» «Жвачка!»— Рассказывая об этом, Душан машинально ударял ладонью по столу, да так целенаправленно, что не могло это ускользнуть от внимательного взгляда Миракова.

Посмеявшись над забавной ситуацией с немцем, он вдруг спросил:

— Вы что это? Похоже, руку тренируете? Надеюсь, ничего страшного для вас? Ни нападения? Ни ограбления?

Душан в тон ему тоже рассмеялся, все еще испытывая легкий подъем и находясь под впечатлением утреннего занятия с Исмамом, поэтому, наверное, то, что он писал, выходило свободно и раскованно. Он будто все еще слышал, как лавочник, обучавший братьев несложному пока приему кулачного боя, удару открытой ладонью — торасаки, похваливая Душана, обращался к нему почему-то торжественно-книжно:

— Неповторимо! Бесподобно!

— Это у меня теперь как привычка,— на всякий случай Душан ответит Миракову уклончиво.

— Вот и я заметил, что вы собираете все новые и причудливые привычки,— насмешливо прищурился Мираков.— Конечно, привычка бить все время ладонью по ровной поверхности, может, кому-то и покажется угрожающей...

— Ну ладно...— весело прервал его Душан и торопливо, будто боясь остыть или наскучить своим рассказом, объяснил:— Так уж и быть, признаюсь... Это, ко-

нечно, вздорно... но сейчас все подошло к той черте, когда нам надо помириться семьями...

— И кто-то из вас... скорее всего какой-нибудь кади-ми из ее семьи предложил выйти в богатырское поле и вспомнить, как в старое, доброе время мужчины выясняли свои отношения...— Мираков дружелюбно обнял Душана за плечи.— Я — за! Это по-рыцарски! В мои годы столько мужчин — не-мужчин уходило с поля опозоренными, под свист и улюлюканье толпы... Сейчас, конечно, не вернешь все в первоначальном виде, но спародировать дукбози можно...

— Почему спародировать?— с обидой проговорил Душан.— Мы всерьез взялись. Каждое утро занимаемся...

— Не вернешь,— упрямо, кажется, даже с какой-то злостью повторил Мираков.— Мы уже не те...— И вдруг другим, упавшим голосом, без всякого интереса спросил:— А день уже назначили?

— Нет еще, но думаю, что скоро,— ответил Душан, удивившись такой неожиданной перемене его настроения, и сам тоже сразу поостыл и пошел к своему столу, чувствуя обиду. Он ведь искренне и так взволнованно рассказал, радуясь новому, всему, что задумано, даже этой драке-игре, а Мираков остудил все недоверием.

«Для него все отошло... и он встречает возвращающееся с иронией... Но для меня ведь это новое, сегодняшняя забота,— думал Душан.— И в этом мы разные и не понимаем друг друга...»

Душан вздохнул грустно и решил сосредоточиться на рапорте, чтобы к обеду закончить его.

Мираков в своей всегдашней позе, близоруко наклонившись над бумагой, так, что почти всем туловищем накрывал стол, тихо поскрипывал пером. По взглядам, которые он обращал в сторону Душана, чувствовалось: старик сожалеет об их напряженно закончившемся разговоре.

Душан в какой-то миг в беспокойстве поднял голову, глянул на стены комнаты, на шкаф, забитый папками, на болезненного, худосочного старика, весь облик которого говорил о бессмысленности его занятия,— и вдруг усомнился. Горечь поднялась в душе, и сделалось тоскливо.

«Зачем я здесь?— спросил он себя, с удивлением глядя вокруг и будто не понимая, как он мог вообще со-

гласиться на это.— Что привело сюда? Эти бумаги, схемы... и то, что я сейчас пишу, стараясь высказаться сполна... Разве это мое? Разве это истинно, когда я не чувствую ни к чему вкуса?..»

От тоски вдруг слезы подступили к горлу, Душан растерялся и, чтобы справиться с неприятным ощущением, торопливо вышел во двор, оставив Миракова в недоумении. Он стоял под навесом, защищенный от солнца, и глядел на унылый двор, как всегда безлюдный в этот предобеденный час и наполненный какой-то вязкой, густой духотой. К разным окнам в разное время подходили служащие контор, выглядывали наружу, но тут же отступали назад, будто задохнувшись от духоты; отступив, с деловым видом листали бумаги или становились в очередь у единственного на всю контору телефона, в нетерпении топая ногами.

Как-то все было застывшее, а если и мелькало движение, то выглядело оно чисто внешним, напоказ. Женщины бесстрастно проходили от комнаты к комнате, не слыша нигде игривых слов от сослуживцев в черных нарукавниках; не готовые к кокетству, мужчины что-то клеили... Странно, но все это почему-то успокоило Душана, должно быть, сам налаженный ритм, сама атмосфера устоявшегося, не показывающего своего смысла, а возможно, и лишнего его. И странно было поэтому терзаться и искать для себя в этом смысле, желать истинного...

Настроившись юмористически, Душан хотел было уже вернуться в свой кабинет, но был замечен Наби-заде, который постучал по окну и слабым жестом пригласил его к себе.

Наби-заде оказался в каком-то возбуждении, глаза его все время бегали, но мимо Душана, и тот слабый жест в окне, замеченный Душаном, так не вязался теперь с его обликом.

— Тебя что-то мучает?— спросил он, едва Душан переступил порог.

Вопрос был столь неожиданным и резким, что Душан не нашелся сразу, что ответить, хотя Наби-заде точно уловил его состояние.

— Я наблюдал за тобой, как ты стоял... Я чувствую... Я многое теперь чувствую в других,— как-то воодушевленно, будто радуясь этому, сказал Наби-заде.— Потому что собой перестал заниматься... вышел из своей замкнутой души. Разомкнул ее...

Хотя Душан и чувствовал: сейчас Наби-заде важнее самому высказаться, чем знать о том, что его мучает, он все же молвил доверительно:

— Я из-за пустяка теряюсь. Смешно! Написал один рапорт — не понравился, другой... Мысли есть, но все кажутся банальными... как конторские скрепки, — улыбнулся Душан, удивляясь странному желанию искать сочувствия Наби-заде, с которым всегда был неразговорчив и недоверчив. — Мираков готов помочь, он прекрасный, прекрасный старик! Но я сам хочу выразить. Это ведь мой первый рапорт... а я еще вчера не спал и вдруг подумал, что рапорт должен быть таким же солидным и глубокомысленным, как наше управление. Под статью ему должен быть рапорт, под статью!

— Да о каком ты рапорте толкуешь, не пойму я? — радусь вместе с Душаном его словоохотливости, воскликнул Наби-заде.

— Я ведь обход кварталов закончил... вот об этом рапорт...

— А! — вдруг досадливо поморщился Наби-заде, будто ждал другого, чего-нибудь возвышенного, по поводу каких-нибудь торжеств рапорта, не такого действительно банального, а под статью волнующему тону их разговора. — И что же? Ты должен обо всем этом рапорт? О кварталах? — добавил он с такой интонацией, будто все деловое, конторское, вся эта бумажная маета была сейчас так далека от него, что он даже боялся говорить об этом.

— Да, об этом, — упавшим голосом, сконфуженно проговорил Душан.

Наби-заде, глядя поверх его головы, что-то стал чертить в воздухе, судя по движению пальца, какую-то длинную фразу, и глаза его еле поспевали следом за невидимыми словами.

— Да, так все это и пишется... Я не забыл. Много забыл, вчерашнее забыл... как ты зашел — забыл, и где я тебя окликнул — не помню... А это выпукло перед глазами, как аляповатые рисунки на обоях... Обои — ведь это нечто европейское, мы раньше и не знали, что это можно кленить на стены... А теперь, представляешь, из всего пережитого в памяти остались только эти выпуклые рисунки... это письмо и рапорты...

Душан, ухватившись за край стола, прислушивался к этой странной речи, пока вдруг с какой-то фразы не

понял, что Наби-заде говорил не то чтобы нескладно, а как-то причудливо и очень интересно.

— Я все к тому, — несколько понизил тон Наби-заде, — что ты упрямец. Я бы мог освободить тебя от написания, но ты ведь гордец, захочешь дописать, чтобы никто не подумал, будто я... отец твой, делаю тебе на службе поблажки... — Он хотел было еще что-то добавить, вернее, вспомнить, ибо застыл с напряженно сморщенным лбом, но стук в дверь спутал его мысли.

Архитектор Ким шумно ввалился с бумагами, и, пока Наби-заде читал их, Душан не сводил с его лица глаз. Он испугался того, что и Киму Наби-заде скажет что-нибудь причудливое или спросит о бумагах так, будто сроду не имел с ними дела, и тогда архитектор за обеденным чаем с вареньем, окруженный кумушками конторы, станет издеваться над управляющим, вытягивая толстые губы и изображая мимически отрешенную чудаковатость Наби-заде.

Но, удивительно, после таких странных речей Наби-заде сейчас, когда дело коснулось бумаг, был снова трезв, деловит, ни словом, ни жестом не выказывая своей расслабленности, и, к удовлетворению Душана, даже сделал замечание, указал Киму на путаницу в отчете; самолично в нескольких местах поправил написанное и, возвращая бумаги, попросил переписать все заново и к вечеру снова зайти с докладом. Ким был отрезвлен и вытянулся в послушной позе.

И только Душан, за какие-то полчаса увидевший двух разных Наби-заде, мог догадаться по бледному и почти уже неживому, одутловатому лицу управляющего, каких ему сил стоило переходить из одного состояния в другое. Хотя отрешенность и властная четкость в деле была уже естественна для Наби-заде, эта раздвоенность, ранее скрываемая и мучившая, должно быть, только его самого, нынче бросалась в глаза и посторонним.

Подумал об этом Душан и вдруг все понял. Понял, что же его держит здесь, хотя к работе он давно остыл. Какой-то потаенный смысл, нечто смутное... Может, сочувствие? Сострадание? Своим послушанием и покорностью выказать сочувствие к Наби-заде, матери, потерявшим все свои сокровенные иллюзии и мечущимся в поисках тепла, хотя и не находящим его...

Тихий, с просветленным лицом вернулся Душан к своему столу, все еще переживая это понимание и радуясь тому, как освободился от сомнений и горечи.

Мираков, с опаской глянувший на него, облегченно вздохнул, увидев, каким спокойным был теперь Душан.

Душан хотел было с порога признаться ему, сообщить волнуемое о себе и Наби-заде, сказать:

«Я сейчас совсем другое к нему чувствую. Что-то близкое, сострадательное... Нет, нет, я теперь не такой, как раньше, когда он ко мне тянулся, а я замыкался, отталкивал всем своим видом...» — Но говорить не стал, боясь, как бы Мираков каким-нибудь ироническим вопросом не остудил впечатления.

Волнение и подъем Душан потратил на прежнее письмо, на вольное и свободное парение мысли, которое так украсило его рапорт.

Мираков, восторженно восклицая, читал потом это написанное, комментируя каждую читаную фразу:

— Умница! Золотые уста! Золотое перо!

И долго затем сидел, обхватив голову и с умилением глядя на Душана, отчего младший инспектор, засмутившись, слабо запротестовал:

— Обычные мысли... пережитое... в пыли бухарских переулков.

Потом Мираков вдруг переменялся, сказал нервно, словно злился на себя за то, что вынужден был говорить такое:

— Вы подарите мне свой драгоценный опус. Все же лучше, если он будет храниться у меня в сундучке дома, а не пылиться здесь, в шкафу, среди прочего бессмысленного хлама... Я же обещаю в минуты хандры перечитывать вам написанное и тихо плакать о былом, невозвратном...

Душан улыбался, принимая его слова за шутку, за очередное экстравагантное суждение, но, видя, что Мираков подошел к шкафу и стал торопливо вынимать оттуда папки, растерялся.

— А теперь на основе этих рапортов составьте нужный, но краткий, чтобы наш управляющий мог в один присест одолеть его до конца.

Душан, еще не зная, как ко всему этому относиться, попытался слабо возразить:

— Я ведь все это уже читал и знаю... — Но, видя, как Мираков настойчиво роется в шкафу, извлекая все новые бумаги, Душан будто отрезвел и горестно умолк, возмущенный даже не столько тем, что пришлось выложить всего себя на написание этого пространного рапорта, сколько поведением Миракова, подбадривавшего

его, говорившего столько лестного, а теперь с таким хладнокровием и трезвостью все перечеркнувшего и вдобавок еще и злившегося.

Мираков сел к краю его стола, и, протягивая к Душану руки, умоляющим тоном сказал:

— Простите меня, старика... Я, может быть, не в ногу с жизнью, может, не верю ничему свежему, вот-вот промелькнувшему... Только я хотел бы, чтобы вы высказались, освободили душу. Я ведь знаю, вы дитя пронизательное, вы все видите, вас боязно на люди пускать. В неподвижных улицах от вас ничего не ускользнет. Но вы высказались — и успокоились, правда ведь? Вы замутненный дух города хотели опять вызвать в чистые и высокие сферы... Но боюсь я, боюсь, слишком высока степень суеты и чиновничьего равнодушия... И погубить любое, даже высокое деяние, изложенное на бумаге, можно просто, до жуткого просто... не читать. Нет, не споря, поняв вашу идею, не опровергая и выдвигая в ответ свои доводы, исходя из высоких интересов управления, треста, объединения и так далее... а просто не читая до конца из-за длины рапорта. А вы кратко не можете, благородная мысль не любит стыдливо прятаться в коротких одежках. Самая коротко выраженная благородная мысль в истории человечества — «Сам дурак!», но ведь, к сожалению, она не нова и давно высказана древними... которые, я уверен, для своей этой короткой мысли исписали не один метр папируса... Но тогда чиновники были терпеливее и слово за слово пробирались сквозь философский туман к этому заветному — «Сам дурак!» и, великодушно рассмеявшись, продолжали из-за интереса, возбужденного этим изречением, читать до конца.

Душан несколько раз порывался возразить, прервать его, но сдерживал себя и, переживая досаду и возмущение, слушал Миракова невнимательно, не вникая в смысл его слов.

— В вас говорит, простите меня, возрастное... старческое неверие, — резковато ответил он. — Боязнь не то, чтобы изменить что-то, а просто переставить места... У вас вон, я заметил, чернильница. Уборщица каждое утро, вытирая от пыли ваш стол, отодвигает ее чуть в сторону, на миллиметр, а вы как зайдете в комнату — первый взгляд на эту чернильницу... и опять двигаете на прежнее место, на пятно, которое клеем разъедено...

Мираков, не ожидавший такого напористого выска-

звания, смутился было, но совладал с собой и настроился уже явно иронически.

— Вот-вот, об этом вашем пытливом, но недобром взгляде я и рассуждал нынче! Но каков мир — таковы и мы! — воскликнул он и пояснил, боясь, что Душан не совсем точно поймет его: — А само время-то, по-вашему, молодое? бодрее? румяное? Как старо время, так и мы стары, его старики. А вы, юные, бодрые, исполненные всяких зажигательных идей, вы благодарите нас — охранителей этой жизни, ее столпов... Сдвиньте нас, попробуйте, и весь дом рухнет... и простор откроется, ветер свежий подует, волна накатит... Поднимет и понесет на своем гребне — аж дух захватит! Но — чу! — уже слышно, как галька морская трется о берег. А когда волна совсем отхлынет — глядишь, остался один лишь ил. И чем выше волна накатила, тем ил дальше вынесло... Поклонитесь низко нам, старикам, нам, кто вечен, древен... кадимки. — Мираков вскочил и театрально поклонился, чуть не коснувшись лбом стола, затем сел, тяжело дыша, смиренный и расслабленный, приговаривая: — Я кончил! Я все сказал, ваша светлость...

Душан, подавленный этой тирадой, обдумывал сказанное, машинально переставляя папки с места на место и листая их. Слишком все горячо было сказано, претенциозно и слишком откровенно, чтобы можно было молча все это принять, не возразив хотя бы из чувства противоречия.

— Нет, я не согласен, — негромко и миролюбиво возразил Душан. — Выходит, все порывы должны гаснуть еще в зародыше, все благородное и смелое... и только лишь из боязни, как бы потом все хуже не обернулось? И что я, собственно, такого написал, что вы так бурно отреагировали? Это мое естественное желание видеть во всем новое, желать этого нового... Может, вы и правы, но мир стар лишь на Востоке, отсюда и извечный культ старых идей, вещей, понятий, старых управляющих, которым уже давно пора на покой... Сколько, по-вашему, лет Востоку в пересчете на человеческий возраст, лет восемьдесят, девяносто?

— Что-то около этого. Благородная старость, — с неохотой откликнулся Мираков, уже остывший и снова настраивающий себя на деловой медлительный ритм.

— А Европе? Европе лет сорок, Европа молода, — на одном лишь голом энтузиазме, желании высказаться продолжал спор Душан. — Вот и надо из Европы влить

сюда новое, научное,— сказал и вдруг смутился, вспомнив слова деда о западном неверии и духовном разладе, о нигилизме и водородной бомбе...

Мираков, уловив его смущение, удивленно поднял брови и, пожав плечами, ответил:

— Вливайте, дитя мое... Только не увлекайтесь и не дайте через край...

Душан, почувствовав отрезвление, не возразил. Шелест бумаги, мерное поскрипывание пера за столом, напротив, настроило его на меланхолический лад. Он с досадой подумал, каким был наивным, когда с увлечением писал то, что оказалось теперь ненужным, даже чуждым для канцелярского стиля, для всей атмосферы управления.

Он стал листать папку с рапортами, поданными в разные годы Мираковым, вчитываться, чтобы выбрать какой-нибудь из них себе для образца. За тридцать лет работы здесь Мираков написал шестьдесят рапортов, часть из которых начиналась словами: «О проверке старого фонда города в весенний сезон», другая — «О проверке в осенний сезон», и лишь это намекало на какую-то реальность, на то, что действительно существуют кварталы и сам город, и такое понятие времени, как «весна», «осень», в остальном же все смахивало на условное, фантастическое, мнимое, ибо ни осенний текст, написанный десять лет назад, ни весенний в прошлом году почти ничем не отличались друг от друга, были стандартны не только по объему — две страницы текста, но и по выражениям, по цифрам, количеству незаконных построек и оштрафованных жильцов. Все это кочевало, не потеряв по дороге ни одной запятой, из рапорта в рапорт как истинное свидетельство застывшего, одряхлевшего времени, о котором рассуждал нынче сам Мираков.

Мираков, наблюдавший все это время за выражением лица Душана, решил опередить его и поспешил с ответом на вопрос, который уже готов был вылететь из уст младшего инспектора.

— Не удивляйтесь... В отчетности отрицательный процент должен из года в год по возможности уменьшаться или хотя бы оставаться на прежнем уровне, слегка колеблясь... иначе вышестоящее начальство упрекнет наше управление за плохую работу...

— Даже если, допустим, в этом году мы в действительности работали хуже? — от смущения не поднимая

головы, спросил Душан таким тоном, будто и он участвует во всей этой игре.

— Несмышлениш вы,— только и сказал на это Мираков глухо, и губы его скривились, задрожали, должно быть, от сочувствия.

Душан ничего не ответил, только сник, с тоской глядя на эти бессмысленные бумаги на столе и отодвигая их с таким видом, будто вместе с бумагами отрывал от себя какие-то иллюзии, чтобы остыть навсегда.

Чувствуя неожиданно сковавшее равнодушие, апатно, Душан взял ручку и стал писать: «Управляющему старого фонда... Прошу освободить меня от...» Писал он легко, с таким ощущением, будто обращается к несуществующему управляющему фантастической конторы, не ожидая возражений, просьб не оставлять службу, потому и не готовил себя к объяснению с Наби-заде.

Но Наби-заде был слишком реален, и Душан с тревогой подумал о нем, когда тихо, не сказав ни слова Миракову, вышел из комнаты, чтобы направиться в кабинет управляющего.

И едва открыл дверь приемной, смутился по обыкновению, растерянно остановился, увидев, как секретарша Наби-заде вздрогнула и встала. Эта пожилая, многодетная женщина (в иные дни, когда Наби-заде не выходил за работу, дети ее, рассевшись на подоконниках, кидали друг в друга скрученные из бумаги шарики) при виде Душана всегда, должно быть, из почтения к его близким отношениям с управляющим вставала и стояла напряженно, прислонившись плечом к шкафу, с таким видом, будто Душан должен был сообщить ей нечто чрезвычайно важное. Кроме этой странности, в остальном она производила впечатление доброе, домашнее, отрешенная от служебной суеты, она не ведала о делах управления, зато была горячо и сердечно привязана к личным делам Наби-заде, знала о них все и всегда сочувствовала старику, принимая его сторону в споре с детьми. За это Наби-заде и ценил ее, за услужливость — всегда без напоминания чай принесет, окно закроет, чтобы управляющего не продуло, и травку какую-то достанет, когда он стонет от болей в пояснице!

— Дядюшки Наби-заде нет на месте,— сообщила она Душану, не называя его, как другие, манерно Пурридин Касымович, и этим выказывая к управляющему свою глубоко человеческую привязанность.— Ой, ему

стало плохо... Я его уговорила домой поехать, прилечь... Ведь погода меняется...

— Заболел?— переспросил Душан, почувствовав вдруг удовлетворение, подумал, что не надо сейчас объясняться с ним по поводу ухода, но, тут же удивившись своего чувства, опустил смущенно голову.—Что-нибудь серьезное?

— Дурно ему сделалось... Бумага какая-то под стол полетела, он наклонился, чтобы достать. И вдруг таким тоненьким голоском: «Ой, в глазах потемнело, дурно...» И левый глаз покраснел, видно, кровь к голове притекла,— вся светясь от учтивости, рассказывала тетушка секретарь.— Ослабел он сильно за этот год. Измучили его великовозрастные дети, разрывают на части... Только вас он и любит из своих детей, души не чаает... «Вот,— говорит,— кто искренне будет горевать, идя за моим гробом с посохом... Знаю это, потому что он в себе чувства хранит и потому они истинны...»

Душан помялся в дверях и, тихо повернувшись, ушел, до самого дома думая над тем, что сказал Наби-заде. Зачем он так драматично выразился? Только ли из желания скрыть от доброй женщины свое одиночество, мол, хотя и чужое дитя, но роднее родного... будет идти, опираясь на посох, и горько оплакивать... Или ему на самом деле так тоскливо... хочется, чтобы хоть одна живая душа была искренне привязана? Тогда как же? Что переменялось в жизни Наби-заде после второй женитьбы? Или оба они, он и мать, были уже так остужены, что не почувствовали ни тепла, ни привязанности и, поздно спохватившись, поняли, как они друг другу в тягость?

Все эти вопросы были от чувства сострадания к матери и Наби-заде, их несбывшимся надеждам, и в таком подавленном настроении Душан добрался домой.

Амон, несмотря на поздний час, что-то поправлял в палисаднике, взрыхляя лопатой утопанную землю, поднимал и привязывал кусты, поваленные во время утренней беготни, когда братья обучались приемам дукбози. По всему чувствовалось, что он опять повздорил с женой, и, чтобы разрядиться, делал он все это с каким-то ожесточением. Не желая показываться брату на глаза, Душан тихо ступал по двору, направляясь к своей комнате, но Амон швырнул лопату и, злясь на себя за испорченный вечер, спросил:

— Ты что это... как убитый?

От вопроса его Душану почему-то полегчало вдруг, и он стал, прислонившись к стене, спокойно и миролюбиво глядя на брата. Тот тоже смотрел на него в упор, боясь, что Душан, понявший все, осудит его за ссору с женой.

— Да всякое смущает...— признался Душан и, не зная, как выделиться главное, ухватился как за спасительное, вспомнив о заявлении.— Я уйти собрался из конторы... и написал уже...

Амон почему-то глянул наверх, словно могли их подслушивать соседи на крышах, и шепнул доверительно:

— Ты подожди, не торопись сгоряча... Я давно замечаю, что тебе работа эта в тягость... А потом куда? Что потом? Тебе, похоже, все в тягость...

— Да зачем ты так? Я стараюсь ладить,— дрогнул голос Душана, почувствовавшего горечь. Он уже повернулся, желая уйти в комнату, закрыть за собой дверь, чтобы переживать все это в одиночестве, но пересилил себя, улыбнулся брату и сказал торопливо:— Слушай, иду сейчас, а в голове другое, не это, что хотел уйти из конторы, а Аппак. Помнишь Аппака? Иду и смеюсь сам с собой, как помешанный. Вспомню, как лежал я больной, а Аппак подкрался к окну и как заревет по-ослиному. Я ему в ответ: «Аузу биллах мин аш-шайтан»*. Он тут же нашелся и не моргнув глазом: «Тогда давай я запою по-петушину, может, тебе покажется, что явился ангел». И закукарекал...

Рассказ этот, столь неожиданно вставленный в разговор, Амон слушал, смеясь, он чем-то успокоил братьев, которые в эти последние дни как-то по-доброму сблизились, хотя то, что их сблизило, было игрой жестокой и отчаянной — дукбози.

Братья и ложились и вставали теперь с мыслью о своем новом утреннем занятии, будто давно ждали чего-то такого, что разнообразило бы день, хотя дукбози приносил в их распорядок и некую лихорадочную струю — с волнением, досадой, хвастовством, показной бравадой. И лишь Исмат своим спокойствием, какой-то зыбкой медлительностью, не свойственной учителю такой темпераментной игры, подавлял в учениках возбуждение, не позволяя Амону, который ни минуты не мог стоять на одном месте спокойно, терять голову.

* Выражение «Призываю к защите от сатаны» бухарцы произносят, услышав рев осла, веря, что это предвещает дурное. Крик петуха на заре, наоборот, предвещает доброе начало дня.

Вот и в это утро, едва Душан проснулся и подошел к окну, сразу увидел во дворе Амона. Брат, разгоряченный, бегал и приседал на влажных плитах, прыгал с верхней площадки в палисадник, со всего маху ударяя кулаком в столб, подпирающий виноградник, да так, что сморщенные, подсыхающие уже ягоды сыпались на него синим градом. Он еще и головой глухо ткнул столб, повторяя один из самых эффектных приемов — каллазани, который, по словам Исмата, есть «коронный номер» заядлых профессионалов... И, услышав этот глухой звук, Душан поморщился, с трудом подавляя в себе чувство сопротивления, меланхолии, что угнетало его всегда после сна.

Душану обучение давалось с таким трудом, что в первые дни он шел на службу со странным ощущением, будто его крепко избили во время сна, да так, что и тело стало плоским и покачивалось теперь совсем не в такт шагам.

Но единственное, что его как-то бодрило, поддерживало, — Бунафша. Он все гадал, за кого же она будет переживать в час, когда выйдут они за город, на пустырь, чтобы, дерзко улыбаясь, стать друг против друга, — за родных братьев или за него, Душана? Он уже и заранее ревновал ее к братьям, и тихо радовался, представив, как она, босая, мечется по пыли, царапая до крови ноги об острые камни, и, глухо восклицая, умоляя, протягивает руки в сторону Душана, уже обессиленного, уже падающего, уже почти умирающего от ударов ее жестоких братьев...

Но что-то непонятное происходило с ней теперь, когда он видел ее без дымки этих грез. Была Бунафша не как прежде — вся напористая, дерзкая, настроенная так, чтобы любой безобидный разговор завершить ссорой. Теперь она, увидев Душана, почему-то смущалась и опускала голову, и Душан еле успевал заметить ее порозовевшие от волнения щеки. Была она какой-то притихшей и вся будто светилась изнутри мягкостью и растерянностью, словно отныне, когда их встречи перестали быть для всех тайной, а, наоборот, послужили поводом к попытке примирить семьи, она обязана была вести себя как истинная барышня из добропорядочной семьи — в меру деликатная, в меру жеманно-недоступная.

Им только раз за все это время удалось украдкой встретиться и поговорить, и Бунафша страшно удивила Душана, когда вдруг заявила:

— У меня идея! Нет, не то, чтобы идея, а желание, жизненное, искреннее. Я жить хочу так... детей брать на воспитание... тех, кого матери бросают, младенцев. И растить их... чтобы они не зябли, не страдали, — сказала она и умолкла с таким видом, будто испугалась, что глупость сказала, чтобы потешить Душана.

— Прекрасно! — откликнулся Душан досадливо, и вовсе не потому, что все это показалось ему смешным. Он просто желал другое сказать, готовил себя для другого разговора, чего-нибудь легкого, иронического, чтобы слово за слово сомнения свои рассеять, узнав, что она будет страстно и до смерти переживать за него во время дукбози.

Он все дни только об этом и думал, а она, оказывается, вот чем забила свою голову — о младенцах думала, а не о нем. И расстались они поэтому, не поговорив больше ни о чем, с чувством горечи.

У матери же, наоборот, чувство горечи теперь сменилось каким-то напряженным выжиданием. То, что возмущалось в ней в первые дни, когда узнала она, что сыновья ее согласились из-за Бунафши на кулачную, на мордобой, сейчас как бы осело в глубине души, и в глазах ее проглядывались лишь усталость и смирение, хотя за глаза она по-прежнему не одобряла Душана, не понимая, что же он нашел такого в соседской дочери — худой, нескладной, с некрасивым лицом, на котором нет-нет да и промелькнет злость.

И мать приглядывалась, думала, может, она, женщина под пятьдесят, что-то не понимает в нынешних молодых, упрямых, целеустремленных, в их странных мыслях и вкусах? Она присматривалась и, ничего не обнаружив в Бунафше для себя утешительного, ни одной живой симпатичной черточки, все же втайне надеялась, что ее непредсказуемый, неуправляемый младший сын в последнюю минуту откажется от мысли жениться на ней, да с таким упрямством повернет, что и сам толком не поймет почему. Как в истории с бегством из интерната, когда никто — ни она, мать, ни Пай-Хамбаров, ни воспитатели не могли ничего вразумительного добиться от Душана в оправдание. Сбежал, и все тут. Ударила мысль в голову — и понесло...

Вот и сегодня, когда мать, как обычно, по пути в свою поликлинику забежала с теплым завтраком в сумке (хотя в завтраке со стороны, из «хрустального дома», как окрестили его братья за обилие хрусталя и

серебра, и не было теперь особой нужды, с рассвета уже хлопотала на кухне Мавлюда) и увидела Душана, выходящего во двор к брату с видом мрачным и устремленным, с полотенцем вокруг шеи, у нее невольно защемило сердце от ощущения чего-то невозвратного, ошибочного, будто сын по ее вине ступил на дурной путь. И оба, чувствуя неловкость и стеснение, обменялись, как обычно, ничего не значащими словами.

— День сегодня с утра какой-то душный, не к дождю ли?

— Да не похоже что-то...

Душан усмехнулся про себя и хотел было сказать отчаяния: «Да что это мы с тобой, мать? Что-то странное говорим, необязательное...» — но сдержался, подавив обиду.

А Амон уже бегал по двору, весь настроенный на легкость, на точные и меткие движения и прыжки, и, желая развеселить мать, со всего маху прыгнул на столб и повис, обхватив его руками и ногами, да так цепко, будто висел на одном из соседских братьев, желая повалить его на обе лопатки.

Мать постояла, покачала головой, не то одобряя, не то укоряя старшего за выходку, передала Мавлюде сумку с едой. Потом обе женщины отошли в сторону, обнявшись, поцеловались и зашептались о чем-то, должно быть, не очень веселом, хотя и говорили мягко, улыбаясь в лицо друг другу.

Эта такая короткая и такая естественная сценка встречи матери с невесткой чем-то тронула Душана, решившего почему-то, что мать говорит сочувственное Мавлюде.

«Как красивы они обе, — подумал Душан. — Нет, красивы не то слово. Просто хорошо, что в них есть тепло и сочувствие...» — подумал так и пошел за матерью к воротам, всем своим видом желая показать свою неправоту и то, что он страдает от этой неправоты.

Возвращаясь во двор, он вспомнил, о чем мать говорила ему, без злости и желания унижить:

«Вы такие разные... не сможете вместе. Вы по-разному росли, в семьях... как в разных мирах. Она — в типично бухарском, во всем старом и традиционном... А я... я хорошо знаю и представляю, что тебе в Бунафше будет не хватать и раздражать... Это как с твоим отцом... Терпела, думала, с возрастом пустит корни в на-

шей городской среде. Но нет! Оторванного, его завертела, унесла стихия...»

Душан оглянулся и увидел на конце улицы уже другую сценку с матерью. Она стояла с Исматом, и здесь все выглядело по-иному, чем с Мавлюдой. У матери был такой вид, будто она говорила несколько свысока, отстранившись от собеседника. Исмат же, сложив руки на груди, с подобострастием слушал и выглядел комично в такой позе.

Зато появился он во дворе вскоре совсем другой — сдержанно-деловитый, без лишнего движения, в своем всегдашнем стиле, и Душан, должно быть, по контрасту с ранее увиденной сценкой с матерью и Мавлюдой удивился тому, сколь переменчиво отношение кого-то с кем-то (в данном случае его и Исмата), хотя Исмат с Душаном всегда сама деликатность, в чем-то даже стыдлив, будто стыдила его пронизательность Душана, и отрешенность от всего, чем жил лавочник.

— Устой азизам бевахт, бевахт *, — ироническим тоном приветствовал его Амон. Странно, чем успешнее овладевал он премудростями дукбози, тем быстрее терял былую почтительность к мастеру, будто подчинение его воле было теперь ему только в тягость.

— С матушкой вашей разговорились на улице, — словно что-то недосказывая, проговорил Исмат, снимая рубашку и подпоясываясь толстым ремнем, но тут же, встретившись с настороженным взглядом Душана, деловито потер руки: — Так, продолжим лингазани **. Ноги? Поясница? Не ломит? Если кому-то из вас трудно, перейдем к облегченному приему...

Амон уже в нетерпении готовился, и едва Исмат умолк, как он с разбега бросился на столб — с такой силой, подпрыгнув, ударил его ногой, что сам не устоял и повалился на спину.

— Ну, зачем так слепо и яростно? — развел руками Исмат. — Я ведь из тебя не убийцу делаю. — И коротко и стремительно коснулся пяткой столба, да так, будто и не прыгал вовсе, а просто и играючи очертил в воздухе фигуру. — Вот так, изящно... чтобы удар не выпирал, а был едва заметен... Кстати, в таком коварном ударе больше силы... У Душана получится лучше... Попробуйте-ка, сосед, — повернулся он к Душану, лиш-

* — Мой дорогой мастер, запаздываете, запаздываете.

** Удар ногой.

ний раз удивляя его своим обращением на «вы» и словом «сосед», хотя соседями они никогда не были.

Душан, чувствуя себя скованно и боявшийся выглядеть смешным, постепенно преодолевал в себе робость и чувство неумелости и благодаря этому делал все лучше Амона: услышав похвалу мастера, мрачно насутился и повторил движение Исмата.

— Точно! Нановал!— Исмат смахнул пот со лба и тихо, заговорщическим тоном сказал Душану:— Запомните... Вам, видно, придется с младшим схватиться, с Рахматом... У него, я знаю, печень чуть увеличена. И если вы достанете его таким ударом, противник выбросит белый флаг.— Сказал в порыве откровенности и схватился, поняв, что выдал запретное, профессиональную тайну. Но было уже поздно. Амона даже передернуло от подозрения, и он, сорвав с себя пояс, сел, давая понять всем своим видом, что пора уже разобраться в том, о чем он давно догадывался.

— Постой, постой... Откуда ты все знаешь, все их слабости? И что у кого увеличено? Ты, брат, признайся... мне давно подозрительно... и кажется, что ты и их обучаешь заодно.— Амон вскочил и бросился к Исмату, напирая на него и прижимая к стене с угрожающим видом.— И о нас все говоришь им... куда точнее бить?! Ах ты, продажная шкура! Да я тебя за брата считал, а ты вон какой подлец...

— Да успокойся ты! Пойми ты!— Исмат схватил Амона за плечи и потряс его, словно приводил в чувство, но, видя, что Амон еще больше распаляется, поднял руки вверх.— Ну, хорошо, ударь меня — и успокойся! Пни меня ногой — и я уйду...

— Не угрожай мне,— растерялся Амон после таких обескураживающих слов.— За что же мне бить тебя? За то, что продаешь нас... с ним, с братом моим,— кивнул он в сторону Душана, которому все это казалось какой-то бессмысленной игрой, непонятно в каком настроении затеянной.— А сам с подобострастием к нему, да с вечной похвалой, мол, душа моя светлая... эта цена тому, что он нас продает, слышишь, Душан?

— А кто еще, кроме меня, поднатаскает ваших соседей?— вдруг просто и буднично признался Исмат.

— Ах, ты признался?!— воскликнул Амон, будто его больше всего поразил не сам факт, а это признание мастера.

— А ты будто и не знаешь?— усмехнулся Исмат.—

Не слышал никогда, что в Бухаре это сплошь и рядом — один мастер обучает и ту и другую сторону... Правда, это тайна наша, но я сболтнул, виноват... Только в одном я честен и ни разу еще в жизни не нарушал эту свою профессиональную тайну — не говорить никогда ученику о силе его противника. О слабостях его я еще могу проболтаться, а о сильных сторонах — никогда! Даже под страхом смерти! Потому что, когда ты не знаешь о сильных сторонах своего противника, ты не знаешь, чего от него ждать... самого чувствительного удара... А слабости... ты можешь все их знать, но что это тебе даст? Ну, нацелишься чуть ниже печени, в его слабое место, а он прикроется, срежет удар...

Душану, который слушал все с неослабным вниманием, объяснение Исмата показалось таким здравым, так интересно, легко и с умом выраженным, что он не мог не поддержать мастера.

— Резонно! Резонно, Амон! Всегда надо бояться не слабости, а силы...

— Ну а наши слабости? О каких наших слабостях ты им поведал, подленько так хихикая? — не мог подавить в себе возмущения Амон.

— Почему же обязательно, подленько хихикая? Я так же, кажется, в азарте сболтнул... Душан слишком порывист, нервен — это лишняя трата энергии. Ему лучше не соглашаться на муштзани*... А у тебя, Амон, головокружение быстрое, внезапное потемнение в глазах. Ты слаб в каллазани**... Я ведь все это и вам говорил...

— А сила их в чем?

— Этого я не скажу... Почувствуешь все в день дукбози... Иначе какой смысл?

— С каких это пор ты о смысле задумался? Ты, который весь слеплен из одной большой бессмыслицы? — с издевкой сказал Амон, и Душан, идя потом на службу, всю дорогу почему-то думал именно об этой его фразе, не об удивительном и огорчительном, не о том, что открылось истинное лицо Исмата, обучавшего одному и тому же обе противные стороны. Думал Душан: что хотел сказать Амон своей фразой о бессмыслице? Почему так выразился? Или сказал просто так, чтобы как-то затуманить разговор, заглушить неприятное ощущение?

* Удар кулаком.

** Удар головой.

Должно быть, Амон почувствовал себя неуверенно с Исматом, с которым повздорил, беспокойство ощутил из-за того, что соседи-братья узнали все о его слабостях,— вот поэтому-то и заключил разговор необязательной фразой, но с таким видом, будто вкладывал в нее большой смысл.

«Все ложное обязательно прикрыто чем-то таким блестящим»,— подумал Душан банальное, уже сидя за своим рабочим столом и нехотя, с чувством досады перелистывая бумаги, которые надо было вычитать, переписать и отправить часть в архив, а часть дальше, в канцелярию управляющего, для делового хода, таких бумаг ежедневно набиралось до двадцати — различных жалоб, справок и отчетов из домоуправлений, напоминаний, просьб и нарядов из строительных контор, ведающих реставрацией богоугодных домов, переданных под складские помещения и хранилища.

С этими складами и хранилищами и было больше всего возни, ибо освобождать мечети и медресе, чтобы сложить свой товар в другие помещения современного типа с рядом окон и дверей, заведующие не хотели под разными предложениями.

Вот и сегодня служба началась в своем размеренном, медлительном темпе, и ничто, кажется, не предвещало прихода в контору великовозрастных детей Наби-заде и последующей за этим бурной сцены, закончившейся так неожиданно и нелепо, с такой пронзившей Душана развязкой, что он и сам не мог понять до конца тайный смысл своего признания, от которого он почувствовал себя так легко, так покойно, словно через мучения и сомнения готовился к этому давно.

Мираков за столом напротив по обыкновению первые полчаса сидел в расслабленной позе, прижимая ладони к шершавому дереву, так, будто боялся, что может неожиданно взлететь, легкий и бестелесный, освобожденный от всяческих мыслей, от обязанности и долга службы. Так, с годами уже совсем вялый, по утрам скованный и медлительный, настраивал себя на рабочий лад, но с таким лукавым видом, словно безошибочно знал цену своей прожитой жизни. Только раз на лице его отразилась растерянность, когда увидел он в открытую дверь, как промелькнули по двору, пробегая к кабинету Наби-заде, его дети — Бону и Саид, и его растерянность передалась Душану, который всегда спокойно,

даже с долей иронии воспринимал очередной приход к истрадавшей душе отца этих ангелов.

А тут он чего-то испугался, хотя и не мог понять чего, ибо никогда подробно не интересовался существом спора между Наби-заде и его детьми от первой... третьей? десятой? словом, предпоследней жены. И сидел так, может быть, впервые с тех пор, как узнал об их тяжбе, переживая и стараясь уяснить для себя, чего же хочет каждая из сторон, пока вдруг не прибежал к ним сам Наби-заде. Он был до того взволнован, что, кажется, не замечал Миракова, ибо никогда при нем не пожелал бы показаться таким откровенно-растерянным и униженным.

— Да так вот... уже и угрожать стали. Это мучение и предел!— задыхаясь, проговорил Наби-заде, с беспкойством глядя поверх головы Душана.

Душан стоял, не зная, что сказать, хотя то сочувственное, что вертелось у него на языке, было неподдельным. Он глянул на Миракова так, словно боялся, что, если выскажет это сочувственное, покажется неискренним. Зато Мираков удивил его и обрадовал, когда неожиданно вмешался в разговор, сорвавшимся голосом высказывая то, что, должно быть, давно накопилось у него в душе:

— Ну, какой это стыд! Какая бессовестность... чтобы вас столько мучить. Я знаю — ради дряни и тряпок...

Наби-заде долго смотрел на него со смешанным чувством подозрения и одобрения, отчего Мираков и вовсе растерялся, жалея о сказанном; потом управляющий сел сбоку его стола с вопросительным видом просителя.

— Это вы правы... дрянь и тряпки,— кивнул Наби-заде, затем, как бы заново всмотревшись в Миракова, заново узнавший и понявший его, сказал:— А ведь вы душа-человек... Ведь так? А я вас в суете да в бешеном тумане за сорок лет не разглядел... А ведь он душа-человек?— быстро глянул он на Душана.— Ты ведь прав... я чувствовал, что ты к нему тянешься.— И снова повернулся к Миракову, с удивлением всматриваясь в него:— Я верю чувствам Душана, они его никогда не обманывают... Если он кого невзлюбил — это значит сам бог подсказал... значит, это дрянь-человек. Меня он с первого взгляда невзлюбил...

Душан дрогнул от его слов, и вовсе не потому, что испугался откровенного разговора. Он чувствовал по

виду Наби-заде, в каком тот смятении находится, и может совсем разгорячиться, разоткровенничаться.

— Правда ведь: с первого взгляда?— с горечью повторил Наби-заде.

— Да, нет... зачем вы так? Он ведь не чужой вам,— прошептал было Мираков в оправдание Душана, но Душан поморщился, ибо слова его выражали совсем не то, что он теперь чувствовал.

— Да, раньше так было... с первого взгляда,— в каком-то непонятном нервном порыве признался он.— Вы правы... и это все видели... Но я потом изменил мнение... я стал чувствовать вас и понимать... может быть, не совсем верно понимать... У меня разное к вам... здесь одним словом не выразишь. Но злобы нет...

— Вот, ведь я говорил!— воскликнул Мираков, должно быть, за много лет впервые чувствуя себя свободно с Наби-заде.— Я знаю, он самую малость скажет, краем языка невнятно пробормочет... зато от души похвалит, искренне, без фальши. Вы уж извините его... молчаливика...

Наби-заде вскочил и кратко и быстро обнял Душана, словно сделал это украдкой, как недозволенный и запретный жест, и снова сел.

— Вот мы втроем... и хорошо, и разговорились,— сказал он, мельком глянув на сконфуженного Душана, и снова к Миракову подался телом, будто ждал от него понимания и сочувствия:— Я много о чем хотел всегда говорить — и именно с вами... ибо читал всегда в ваших глазах осуждение...

— Осуждение? Да никогда... клянусь.— Мираков, растерянный, отпрянул назад.— Другое было, другое... как все и всюду, где есть начальник и подчиненный... Я никогда не забывал, что я подчиненный, потому не смел осуждать...

— А что же в вас было такое?— вдруг криво усмехнулся Наби-заде.— Я ведь тоже подчиненный по отношению к своему начальству. Я по себе сужу так... у меня одно чувство — настороженность...

— Вот и у меня настороженность была,— облегченно вздохнул Мираков.— Это, наверное, естественно, ибо я не смел подняться даже в мыслях, а вы не могли опуститься, чтобы эту настороженность убрать...

— Так вы не будьте таким... настороженным!— в каком-то странном, умоляющем тоне проговорил Наби-заде.— Хотите, я вам оклад повышу? Я вас отдельно по-

сажу, за большой стол... Будьте ближе ко мне... без осуждения и настороженности... И вы не стойте оба в моем присутствии, вы оба садитесь... прошу...

Мираков, стесняясь чего-то, сел на край своего стула и глянул на Душана, который продолжал стоять, ибо не придавал значения словам Наби-заде. Он чувствовал себя так, будто его вовлекла какая-то сила в чужие страсти и признания, и, переживая их, Душан все больше терялся от непонятного, хотя все было откровенно и ясно. В какую-то минуту он даже потерял ощущение своего присутствия здесь, в этой комнате, и голос Миракова послышался ему как бы издалека.

— Нет, нет, вы не думайте об этом, не утруждайте себя, я уже не справлюсь за отдельным столом... И ради бога, не думайте, что я... настороженность — это просто моя дурная привычка, вовсе безобидная и безвредная...

Душан прислушивался к его словам, удивляясь тому, как легко и непринужденно заговорил он с человеком, перед которым столько лет робел. А здесь вдруг и Мираков разглядел сквозь плену предвзятости человека, который тоже нуждался в сочувствии.

Душан хотел было сказать что-то, чтобы не казаться безучастным к тому легкому, деликатному, личному, что стало смягчать отношения этих двух стариков, но шум и громкие голоса во дворе отвлекли его.

Наби-заде вздрогнул и побледнел, когда увидел, как мимо дверей промчались Бону и Саид — от навеса в сторону его кабинета.

— Вернулись... Что-то забыли сказать главное, существенное,— проговорил Наби-заде, бросаясь к двери и продолжая говорить как бы с самим собой.— Надо смутить их... Нет, не желаю я больше с ними с глазу на глаз. Пусть при всех, при всех моих сотрудниках.— И, выглянув во двор, позвал, но тоном каким-то занскивающим:— Бону! Саид! Вы ко мне опять? Я здесь...— И тут же, весь исполненный достоинства и начальственного вида, пошел и сел на место Душана, постукивая карандашом по столу, будто вел прием посетителей.

Бону с какой-то опаской заглянула к ним в комнату, и Душан, который всегда иронически оценивал ее облик, кажущийся сотворенным из какого-то плотного неземного материала из-за полноты ее тела и черноты всего ее облика, невольно вздрогнул, встретившись с ней взглядом.

— Папа, если вы заняты, мы подождем в вашем кабинете,— проговорила она звонким голосом, который смягчал впечатление от ее облика, раздваивая ощущение и оставляя слушателя в некой растерянности.

Из-за ее плеча выглянул брат Саид — худощавый человек с усиками, лицо которого было разрисовано тонкими морщинами,— следы жизни беспорядочной, суетливой, тратящейся на то, чтобы добиться на службе звания доцента.

— Да, мы подождем. Только недолго,— повторил он глухо, бросив взгляд на сырые стены и морщась.

Должно быть, эта его гримаса и вывела из себя отца, и он вдруг крикнул, ударяя кулаком по столу:

— Вы почему по-хамски? Врываетесь к чужим без обычного приветствия?! Где ваше «здравствуйте»? Или «добрый день»? Или хотя бы «извините за беспокойство»?— тоном, каким отчитывают подчиненных, спрашивал Наби-заде, весь побагровев и задыхаясь.— Это мои близкие сотрудники... Мне стыдно за вас?! Стыдно! Они люди близкие мне... родные. И я только лишь сегодня, к несчастью, понял, что они родные...

Эти его слова о сотрудниках, ставших теперь близкими, родными, больше всего неприятно удивили Бону и Саида. Не выдержав, они ввалились в комнату, с подозрением глядя на Душана и Миракова, Саид хотел было уже кричать, требовать, но Бону так глянула на него, что он сразу сник, пробормотав что-то невнятное.

— Какие новости!— сказала она, подходя вплотную к столу, где сидел, ерзая, Наби-заде.— Ладно, допустим, этот странный юноша вроде близкий,— кивнула она в сторону Душана...— А чем же старик заслужил честь быть для нас родным?

— Да не так все, не так,— пробормотал Мираков, будто оправдываясь, и виноватый тон его взбодрил Саида, который язвительно спросил:

— Не надеется ли он на что-нибудь... на какое-нибудь ваше особое внимание?

Наби-заде вдруг встал и, напустив на себя торжественный и важный вид, от которого веяло комическим, отпарировал:

— Он, может быть, и не надеется... Но я очень надеюсь, что Мираков поймет мои чувства братские и сердечные, достаточно братские, чтобы это обеспечило ему возможность жить потом в оставшиеся годы безбедно...

Мираков напрягся, слушая его нескладную речь и, поняв, что Наби-заде вовлекает и его в какую-то игру с наследством, дележом, испугался, но вместо того, чтобы промолчать, сделать вид, что не расслышал, возмутился от невозможности рассеять туман, внести ясность, и закричал истерично, поворачиваясь то к Бону, то к Саиду:

— Да как вы смеете?! Живого отца, родителя вашего, идущего от предков ваших... Да вы насмехаетесь над всем родом вашим! Живого отца загоняли...

Он хотел было еще что-то сказать, негодующее, но смутился вдруг, увидев себя со стороны таким вздорным и скандальным, потерял дар речи и остался стоять в растерянности, подняв левое плечо.

Его крик и неожиданное молчание заинтриговали Бону и Саида, которые усмотрели во всем этом некий дурной смысл, словно Мираков хотел скрыть тайный сговор с Наби-заде. Саид, однако, опомнился первым и, насупившись, твердым шагом двинулся к бедному старику.

— Да что же это?! Как смеете?!— И шагнул к отцу с таким видом, будто боялся, что тот сбежит.— Отец, вы ведь обещали его уволить... называли тихим и тоскующим сплетником... совратителем невинных душ. Ведь называли?

— Называл,— вдруг смиренно признался Наби-заде.— Но теперь решил даже приблизить его к себе за одно важное признание.

— Какое еще признание?!— Бону с подозрением глянула на бледного Миракова, но все трое в комнате промолчали, словно всех их разом осенила какая-то идея, которую они обдумывали теперь втайне от Бону и Саида, и эта загадочность нагоняла на детей Наби-заде неуверенность и тоску.

Бону и Саид выразительно переглянулись и молча заторопились к выходу.

— Слава богу!— вырвалось у Миракова, едва закрылась за ними дверь. Удовлетворенный таким исходом, он глянул на Наби-заде, видимо, желая сказать ему что-то успокоительное, но странно, от взгляда его Наби-заде, наоборот, почувствовал еще большее беспокойство и смятение. Он бросился к окну и выглянул на улицу, затем снова сел, беспомощно поглядывая на Душана — левая щека его подергивалась, искажая лицо в гримасе, а глаз быстро мутнел.

Душан, почему-то чувствуя вину за случившийся скандал, не сводил глаз с Наби-заде, следя за каждым его движением,—беспокойство старика передалось и ему.

— Вы сказали: слава богу?—с трудом раздвигая слипшиеся губы, спросил Наби-заде Миракова.—Возможно... возможно, что они не вернутся сегодня... Но только я знаю все о них, ибо все, что есть во мне, есть и в них...

Мираков растерянно смотрел на Наби-заде, замечая, как синева вокруг его рта расплзается к щекам и как тише и глуше становится его голос.

— Возможно, что в них...—Наби-заде умолк, чтобы отдышаться.—В них, может быть, мое повернуто по-иному... за счет времени. Хотя жил я со своими детьми в разное время, но густота порчи была одной вязкости...—Он весь сник, пригнулся к столу, но вдруг сделал неловкую попытку встать, вскинул руки, поскользнулся... Сам этот жест человека, теряющего опору, устремленного в какую-то пустоту, так напугал Душана, в такое привел отчаяние, что он бросился к Наби-заде в тот самый момент, когда старик уже падал.

Душан обнял его, ощущая что-то жуткое и невыразимое от мысли, что вместе с холодом рук Наби-заде, вместе с его последним бормотанием его уносит за какую-то черту, преодолеть которую можно только криком.

— Отец!—в отчаянии закричал он, наклоняясь к земле вместе с отяжелевшим телом Наби-заде.

Наби-заде открыл глаза и так посмотрел на Душана, тихим умпротворенным взглядом, удивленным и благодарным, будто ради одного этого слова и жил всю свою жизнь, и, услышав теперь заветное, сделался легким и податливым, как если бы сбросил с души всю тяжесть...

Мираков, в оцепенении наблюдавший всю эту сцену, наконец опомнился и побежал вон из комнаты с жалобным стоном. Душан же, вдруг потерявший ощущение остроты и трагичности, сидел все то время, пока Мираков отсутствовал, на полу, приподняв безжизненную голову Наби-заде.

И все, что мелькало потом перед его глазами — тетушка из приемной Наби-заде прибежала и запричитала, пришел угрюмый архитектор Ким, чтобы глянуть на бесчувственного управляющего, его перевезли в дом, и шумно ввалился в комнату врач,—Душан восприни-

мал сквозь какой-то туман, и, должно быть, от этого все виденное чуть искажалось и выглядело не так пугающе.

Ощущение того, что происходящее удалено от него, сделало Душана тихим, тоскливым, и все оставшееся время, до того часа, когда прибежала с криком мать, было наполнено для него тишиной и отрешенностью.

— Добили его! Убили! — послышался у ворот голос матери, и, едва вбежала она во двор, вся растрепанная, в разорванном платье, как Амон крепко обнял ее, а она вырывалась, пытаясь броситься на землю.

Тихо стали собираться соседи, и, увидев их, заголова Мавлюда, а мать говорила и говорила, стараясь пересилить ее плач, и из ее торопливого, сбивчивого рассказа все узнали, что едва Наби-заде привезли домой, как он пришел в себя и даже встал, несмотря на угрозы врача, и заперся в своей комнате. Мать стучалась к нему, но он не открывал, а только подавал голос для ее успокоения: «Я сейчас, душа моя. Сейчас...» Затем он вышел и все время пытался улыбаться, а потом позвал к себе мать и шепнул ей на ухо: «Он отцом меня назвал... Успокоил меня перед богом...» Попросил чаю, а когда отпил глоток, ему сделалось опять плохо — упал и расшиб себе лоб. Врач наклонился над ним, а он молча лежит и все отводит смущенно глаза. Врач почему-то не мать позвал за собой в коридор, а случайно оказавшегося при всем этом соседа и говорит ему: «Паралич у хозяина, и язык отняло...» И посоветовал матери не трогать его с того места, где он лежит, а сам поехал, как он выразился, «собирать консилиум». Мать напрямась, но так и не поняла, о чем врач завел речь, хотя и сама медичка, что-то отвлекло ее сознание, замутило. В какой-то момент, когда ей показалось, что Наби-заде уснул, она побежала почему-то советоваться с соседкой, торгующей в галантерейном магазине, которая всегда казалась ей женщиной трезвой и самостоятельной. Правда, мать и сама толком не знала, о чем она пошла советоваться, может, просто тоска ее погнала, страх. Словом, пока ее не было дома, Бону и Саид, которые вскоре явились, прослышав об отце, стали гонять старика из угла в угол по всем комнатам, чтобы показал он, куда спрятал драгоценности, кричали на него, торопили, а он, безъязыкий, все ощупывал, до всего дотрагивался, словно позабыл. Шкаф отодвинули в поисках тайника, стул разломали, зеркало расколотили вдре-

безги, а отец все прятал от них лукавый взгляд, а потом вдруг упал и скончался на глазах Бону и Саида, лежал с таким выражением лица, словно унес с собой тайну, перед которой вся ирония, весь сарказм жизни были лишь бледной тенью дурного представления.

Странно, мать рассказывала все это не сокрушаясь, не отчаиваясь, говорила так, будто заранее предчувствовала роковой конец второго замужества. Вот ведь поистине ничего не ждала она увлекательного от жизни и смирилась.

Смиренна была она и в день похорон, не голосила, не рвала на себе волосы, и соседки перешептывались, находя все это странным. В холодной атмосфере, где она жила и не жила, вся в мыслях о доме в квартале «Су-фиен», где оставила своих сыновей, и в доме Наби-заде, отделанном мрамором и кафелем, звенящем от хрусталя и зеркал, она вдруг выпрямилась и стала у ворот с выражением достоинства на лице, неприступности, когда стали выносить гроб. И должно быть, в этом ее выражении кратко и точно отразилось то, что она пережила за эти десять лет второго замужества, и то, с чем она теперь прощалась как с иллюзией. Не сбылось... и исполненная смирения в свои сорок семь лет, мать как бы мысленно подвела черту, прощаясь с еще еле теплившейся надеждой, вся обращенная теперь в темную даль одиночества.

Она смотрела на Амона и Душана, чтобы вспомнить их и полюбить, но видела по их поведению и словам, что и они устремлены в мыслях в другое, разное, что удаляет их от матери. Амона сейчас заботило то неожиданное, что он услышал и что его удивило и обрадовало. «Ты признал его... назвал отцом?»— спрашивал он Душана, ободряюще глядя на него, и этот его взгляд, в котором Душан улавливал совсем не тот смысл, выражающий совсем не то, что он чувствовал в момент, когда обнял теряющего сознание Наби-заде, смущал его и раздражал.

«Ты ведь искренне назвал?»— продолжал досаждать Амон, и Душан мучился оттого, что не может сказать, правильно выразить то, что он думал, когда назвал Наби-заде отцом, какое смятение пережил и как испугался потом, уловив в глазах умирающего Наби-заде благодарную улыбку.

Растерянный, он всматривался в дом, куда шли и шли сослуживцы, соседи, все, кто жил в ближних квар-

талах. Пройдет староста, следящий за тем, чтобы все было приготовлено к похоронам как положено, пробежит какая-нибудь женщина с подносом — и снова откроется ряд окон летней комнаты, нижние ступеньки лестницы, ведущей в мансарду, или часть двора с деревянным помостом — и все опять покажется уже знакомым, виденным.

За все время, пока Душан работал с Наби-заде, он два или три раза был в этом доме — забегал, не всматриваясь, говорил что-то торопливо, нахмурившись, матери, и уходил, чувствуя подсознательно, что и дом этот, несмотря на богатую отделку, духом своим мало чем отличается от всех остальных в городе. И это, казалось, должно было успокоить его, как-то примирить с Наби-заде, с мыслью, что мать ушла сюда. Но нет же, все, наоборот, чем-то настораживало его, и вот теперь, когда он все разглядел и окончательно убедился, что дом Наби-заде почти ничем не отличается от их родового, Душан почувствовал досаду.

«Вот ведь как... и дома похожи,— подумал он.— Неужто у всех все одинаково? И у меня так же, кончится, как с Наби-заде... Сколько бы я... как бы я ни пытался, чтобы зла не было во мне... чтобы по-доброму было, по-братски...»

Его недоверие усилилось еще и оттого, что Душан вдруг подумал — впервые вот здесь видит всех своих сослуживцев вместе. Нет, они и раньше собирались вместе, но сейчас сослуживцы были совсем не такими, как во время собраний в кабинете Наби-заде или у кассы в дни, когда выдавали получку. Сейчас все были как на одно лицо: и тетушка из приемной покойного управляющего, и девушка-делопроизводитель, у которой от пришивания бумаг на указательном пальчике образовался лиловый нарост (Мираков советовал прижечь соком верблюжьей колючки).

Приблизившись к воротам, возле которых в скорбной позе стоял Саид рядом с Амоном и Душаном, каждый из них, быстро пробормотав сочувственно, переступал порог дома, лихорадочно оглядываясь по сторонам, будто был наслышан о доме Наби-заде самого фантастического, самого невероятного — и о внутреннем убранстве комнат, и о внешней отделке двора. И так все, с одним выражением, целенаправленно выкатив глаза и помаргивая, словно чувствуя легкое жжение от увиденного.

Душан подумал, что при всей своей вздорности и суетности Наби-заде все же сумел заслонить свою личность от всех чем-то таинственным, куда, теряясь в догадках, не проникал посторонний глаз, и, должно быть, поэтому и сами его похороны были с самого начала сбиты с ритма торжественного и драматического, что всегда сопутствует похоронам человека, сполна прожившего свой век; прощание с Наби-заде было торопливым и даже плохо организованным. При всем изобилии всего в доме вдруг оказывалось, что кому-то из важных грибывших не хватает стула, а перед самым выносом тела выяснилось, что посланный на склад за белой материей еще не вернулся — все это раздражало мать, и она в какой-то момент, не выдержав, даже прикрикнула на старуху, замешкавшуюся было с чем-то на кухне.

Душан смотрел и отворачивался, чувствуя досаду, словно был он виноват в том, что Наби-заде скончался совсем некстати, и вот ко всем прочим хлопотам сослуживцев прибавились теперь и похороны.

Во всей этой суматохе, окрашенной скорбью и лукавым напряженным ожиданием чего-то, о чем, должно быть, догадывался и сам покойник, Душан несколько раз слышал этакое загадочное словечко «завещание», но ничем не выделил его среди шума и гомона, только почему-то запомнил, что говорилось о завещании Саиду... кажется, Бону два раза промелькнула у ворот, или, может, кто-то другой произнес... Почувствовал он с самого начала другое: Саид и Амон... мать и Бону... каждая из этих пар напряжена не только по отношению друг к другу, связанные между собой не сочувствием, не ощущением горя, а подозрением, даже страхом, но и перекрестно, сложнозапутанно, как в опасной игре, когда каждый не только неотступно следит за движущимся рядом, но и краем глаза наблюдает за согласованным действием всех противников.

Что-то такое они все негласно затеяли, еще не успев привлечь к этому Душана, а может быть, и вовсе не принимая его всерьез, как могущего неосторожно все расстроить,— Амон и мать сами были достаточно собраны, устремлены в какое-то жестокое хитроумие, и мать расслабилась лишь ненадолго, вздохнула облегченно, когда под самый конец впопыхах явился следователь Юртаев, отозванный по случаю из поездки в какой-то дальний район.

Мать вышла к нему во двор и что-то шепнула, и по тому, как Саид с беспокойством топтался у порога, чувствовалось, что появление «друга семьи» внесло неожиданную путаницу в его с Бону замысел.

С того момента, как Юртаев появился, окинув беглым взглядом всю обстановку двора, он, видимо, сразу перестроился на какое-то сосредоточенное размышление чисто профессионального свойства, трезвое и холодное, так не вяжущееся со всеобщим грустным расслаблением. И даже когда уже вынесли гроб и пошли толпой по улице, он, сосредоточенный на своем, лишь сделал несколько шагов со всеми, затем в суете и давке свернул и опять проскочил в дом, не желая, видимо, оставлять мать с глазу на глаз с Бону.

Душан не то чтобы удивился настороженно этому неожиданному ходу следователя из-за всегдашней своей неприязни к нему. Он почувствовал: что-то затевается матерью новое, во что вовлечен теперь и Юртаев, что-то лихорадочное, тяжкое, от чего Душан не сможет укрыться, как бы ни казался сейчас он в этом деле посторонним.

После похорон он вернулся во двор и сел на одинокий стул, чувствуя, как устал. Он был как оглушенный, ни о чем не мог думать. Благо и его никто не замечал из тех, кто пробегал по двору, никто не окликал из своих, сам же он не хотел идти в комнату, где, судя по голосам, собрались мать, Бону, все близкие Набизаде и Юртаев — боялся, что чем-то может смутить тех, кто не посвящал Душана в свою тайну.

«Я ведь матери не посочувствовал, не обнял ее», — вдруг подумал он с тоской, хотел было терпеливо ждать ее здесь, но отталкивающая расчетливость дела, в которую была она теперь вовлечена, остужала его желания, и он тихо, чтобы никто не заметил, вышел за ворота и направился к себе домой, мучаясь всю дорогу от невозможности искренне выразить свое сострадание без того, чтобы не притвориться, не солгать.

Бунафша ждала его возвращения, то выходя за ворота и напряженно всматриваясь в темноту улицы, то снова заходя к себе в дом и боясь, что братья могут заметить, как она волнуется.

Ее появление, однако, ничем не тронуло Душана, и он молча остановился рядом с ней, отводя глаза.

— Я весь день думала... и сочувствовала, — прошептала она торопливо и, видя, что Душан посмотрел на

все так, будто ничего не понял, добавила:— И что же теперь? Ничего этого не будет?

— Не будет?— удивленно переспросил Душан, чувствуя, как скованность и апатия сменяются снова живостью и интересом оттого, что он вдруг отчетливо услышал ее голос, только теперь, после третьей фразы, услышал напряженную, с мольбой смешанную интонацию, которая нравилась ему.— Ты о чем это? Что не будет?— потряс он ее за плечи с таким видом, будто испугался чего-то неожиданного, что могло случиться в этот суматошный день.

— Ну, всего, о чем мы думали... Ведь такое случилось, что может у всех все изменить... Может, ты теперь в том доме будешь жить, а мать твоя назад вернется... Разве это не новое?

— Да, не новое! Не новое!— поспешил успокоить ее Душан, а когда уже зашел к себе во двор, подумал: отчего он с Бунафшой всегда чувствует себя каким-то неловким, даже глупым, не умеющим ничего сказать интересного — будто все, что в нем есть, когда он говорит с другими — остроумие и ирония, желание выражаться страстно и не соглашаться,— все это разом уходит из него, и предстает он всякий раз перед Бунафшой скучным и неинтересным.

Думая об этом, он стал засыпать, ощущая какую-то странную, обволакивающую атмосферу безлюдного сейчас дома, в тишине которого отчетливее, чем когда-либо, были слышны вздохи и треск старых стен и дверей, звуки неожиданно пронизывающие, а потом долго и тягуче уходящие в темноту, в затаенные углы и пустые коридоры. И ощущение это будто не прерывалось, тянулось и во сне, кратком и беспокойном, и то, от чего он неожиданно проснулся, было как бы продолжением состояния издерганности и неуюта, с которым Душан лег в постель. А проснулся он от обилия света и шума во дворе. Уже были зажжены все три лампы по углам, и чья-то фигура мелькнула у четвертой, самой дальней. И почти одновременно включили свет в летней комнате, и в спальне Амона, еще и на кухню бросились, окно распахнули, бегали, второпях спотыкались — и Душан спросонья, еще не до конца понимая, из-за чего все это затеяно, сидел в постели с таким видом, словно самое фантастическое объяснение всего этого не могло его ничем теперь удивить. И все это, как выяснилось, делалось на волне подъема одних и подавленного, даже

злобного настроения других, и хотя мать, Амон и Юртаев, а также Бону и Саид примчались сюда в этот поздний час с разными намерениями, не досидев положенного времени в доме усопшего, всем потребовался яркий свет. Он манил из одной комнаты в другую, но было такое ощущение, будто в суеде и спешке свет их ложно ориентировал, и они никак не могли понять, в какой же из комнат устроился на ночлег Душан.

Но тот шум и гвалт, с которым они все ворвались в спальню к Душану, ничем, казалось бы, не потревожил его. Полусонный, все еще ничего не понимающий до конца, Душан встретил их равнодушным взглядом. Но от взгляда этого, напротив, мать так возбудилась, что в порыве, в каком-то неистовом, несвойственном ее меланхолической натуре напряжении бросилась к сыну, чтобы обнять его и расцеловать.

Душан отпрянул от неожиданности, сделал защитный жест, но, дав волю своему затаенному чувству, своей вине за нечуткость, тоже обнял мать.

— Вот и прекрасно!— воскликнула она.— Как рада я за тебя! Как счастлива!

Амон по-братски хлопнул Душана по плечу, Юртаев кивнул, доброжелательно улыбнувшись, и во всей этой непонятной атмосфере чего-то праздничного, что вдруг и неожиданно пришло на смену мрачному дню, отрезвляющими были взгляды Бону и Саида, топтавшихся у порога с таким видом, будто они в чем-то подозревали Душана.

— Ты устал, душа моя,— говорила мать, садясь с ним рядом на кровать.— Я видела, как ты переживал весь этот ужас — молча и тихо... Он ведь так любил тебя,— голос матери задрожал, но она сдержала себя, не давая волю слабости и слезам.— Незадолго, совсем незадолго до смерти, он сказал: «Я знаю, из всех моих детей только Душан успеет... только он успеет поддержать мою наклонившуюся голову...»

— Неправда!— в сердцах топнула ногой Бону.

— А вы уж лучше помолчите!— прикрикнула на нее мать.— Вы, которая недостойны даже... вы, которая проиграли свою опасную игру... Прочтите, пожалуйста, Душану,— повернулась она с властным видом к Юртаеву. И, пока тот вынимал из папки какую-то бумагу, пока разглаживал ее ладонью, мать сидела, крепко взяв Душана за руку, будто боясь, что он вскочит и убежит из комнаты. Душан же с недоверием посматривал на

Юртаева, не понимая, что все они затеяли и почему снова пытаются вовлечь его во что-то, от чего веет оскорбительным и что его снова надолго выведет из равновесия, бросая между виной и правдой, уверенностью и чувством ущемленности.

— Завещание,— прочитал ровным голосом Юртаев.— Я, Нуриддин Наби-заде, находясь в ясном сознании и здравом уме, отдавая полный отчет в том, что пишу, не испытывая ничего постороннего давления, составил данное завещание. После моей смерти все мое имущество, денежные сбережения в виде вклада в сберегательной кассе, а также находящиеся в наличии все облигации Государственного трехпроцентного выигрышного займа завещаю следующим лицам, находящимся со мной в родственных отношениях:

1. Душану Темурий, сыну моей жены от второго брака: а) принадлежащий мне дом со всем имуществом, описанным нотариусом, б) пятьдесят тысяч рублей из моих трудовых сбережений.

2. Мастуре Наби-заде, состоящей со мной в законном браке: облигации Государственного трехпроцентного займа в сумме двенадцать тысяч рублей при условии, что часть этой суммы будет потрачена на ограждение стальной оградой места моего погребения и сооружения на этом месте мраморной плиты высотой в полтора метра и шириной полметра с надписью: «Нуриддину Наби-заде. От скорбящих жены, детей и внуков».

Примечание. Оба пункта завещания по наследованию равносильны и равнозначны. В случае, если одна из сторон откажется от части своего наследства, то право наследования теряет и другая. Заверено Государственной нотариальной конторой первой категории в присутствии следующих свидетелей...»

Едва Юртаев умолк, как мать в сердцах снова обняла Душана, сидящего в отрешенной позе, в одном нижнем белье, поджав голые ноги, словно они заковенели. В иных обстоятельствах он устыдился бы такого своего вида, вскочил бы, чтобы одеться, но сейчас, все еще не до конца осмыслив услышанное, все еще не веря, что прочитанное имеет к нему касательство, не знал, что сказать, как ответить всем, кто стоял в разных позах, поразному глядя на него... А Душан не то чтобы не вник в основной смысл завещания, в эти денежные расчеты и облигации, его почему-то тронули и удивили вроде бы несущественные детали — стальная ограда и плита и

надпись на ней со словами «скорбящие... дети... внуки», в которых Душана снова беспокойно пронзили нотки его мучительного неприятия Наби-заде, сострадания к нему и неожиданно вырвавшегося в тот роковой день возгласа душевной муки.

«Ограду надо и плиту», — мелькнуло у него. И, сосредоточенный на этой мысли, боясь, как бы что не помешало выполнить это последнее пожелание покойного, Душан вдруг спросил виновато:

— А Мастура... Наби-заде?.. — но не договорил, умолк, вопросительно глядя то на мать, то на Бону.

Мать смутилась, поняв смысл его отчаянного вопроса, и заторопилась внести ясность:

— Да, да, все завещано только нам двоим — Душану Темурий и мне, Мастуре... и не из-за формальности, что приняла его фамилию, а из-за того, что всю жизнь была преданной ему женой и сиделкой возле его болезней... Ты, должно быть, не привык, тебя, должно быть, смутило, что я не Темурий... И ты сразу не понял...

— Он многого не понимает, — вдруг прервала ее Бону, воодушевившись таким поворотом разговора. — Он ведь у вас не совсем, я бы сказала, нормальный...

— За ним многое... многое замечено, — тут же подхватил ее слова Саид. — Вспомните-ка, товарищ следователь, как он бежал из интерната... прямо-таки патологически мечтая попасть в тюрьму. Разве это нормально?!

Амон вдруг возмутился и с поднятым кулаком прыгнул в сторону Саида:

— Это вы нормальные?! Отца загнали! Убили! — И с силой толкнул его к выходу, отчего Саид споткнулся о порог и чуть не упал. — Вон! Чтобы ноги вашей здесь больше не было?! И попробуйте еще раз сказать такое о моем брате... — И окно в ярости распахнул, чтобы прокричать им вслед: — Пронгравшим здесь не место! Идите прохладитесь лимонадом!

Душан, не ожидавший такого объяснения между своими и Бону и Саидом, продолжал сидеть в каком-то оцепенении, не понимая и не принимая доводов ни одной из сторон: из всего, что было здесь в спешке и необдуманности сказано, тронуло его лишь то, как Саид сказал о его давнем побеге из интерната: но человек, который, казалось бы, был более всего причастен к тому, что случилось потом после побега, Юртаев, тихо

вышел из комнаты, поманув за собой взглядом мать, и это успокоило Душана, приглушило его переживание.

— Ловко я их, а?!— с задором сказал Амон, помогая Душану натянуть на себя рубашку.— Ну как? Каково тебе, брат мой, миллионер и домовладелец? Или ты еще не опомнился от неожиданного... божьего подарка? Не почувствовал вкус, не переварил еще?..

Душан в растерянности посмотрел на него, не понимая, почему ему вдруг надо одеваться, после того, как все ушли, и снова устало опустил на кровать.

— Может, я посплю? Мне так жутко спать хочется,— с мольбой сказал он брату, не придавая значения его словам и принимая все, о чем он спрашивает, в шутку.

Брат ласково глянул на него, повернулся, чтобы уйти, и тут вдруг мысль какая-то пронзила Душана, из тех неожиданных густых мыслей, которые проясняют, даже если будят среди ночи с беспокойством.

— Только я не пойму, что я такое был для него? И почему он так ошарашил?— спросил Душан растерянно.

— Спи, спи,— успокоительно махнул ему Амон рукой,— мы с матерью должны вернуться в тот дом... в твой дом, брат, чтобы поставить возле блюда со сладкой водой свечку. Душа его прилетит и разбавит свою горечь...

Услышав о блюде с водой, освещенном свечкой, Душан вспомнил похороны бабушки — самые острые и самые невообразимые свои детские впечатления, когда душа его содрогнулась от удивления и госки: словно память разбавилась беспомощностью и еле мерцала теперь, пытаясь еще ухватиться за что-нибудь, хотя бы надуманное. Горлица с сизым крылом, душа, потянувшаяся по лучу ввысь, к луне... Он уснул, подумав об этом красивом бабушкином уходе, но, снова поддавшись тому подсознательному, что в нем сопротивлялось, проснулся среди ночи, чувствуя, как давит в горле, сжимает дыхание.

Он ощутил себя разбитым и больным, и, если бы не воркование горлицы во дворе, Душан, возможно, усомнился бы, решив, что пребывает теперь в том глубоком беспомоществе, от которого невозможно очнуться. И только эта горлица, ее короткое, перекастистое воркование между длинными паузами еще как-то связывало его

чувства с пробуждением, с этим утром, шорохами и шелестом уже желтеющих листьев.

Мало-помалу Душан снова приходил в себя, вспоминая то ночное, невообразимое, неожиданный яркий свет во всем доме, разбудивший его, когда все эти, впятером, ввалились к нему в комнату с завещанием.

Он сомневался во всем случившемся и не мог представить себе, что вокруг смерти человека будет столько накручено вихрей из ложных порывов, заклинаний, обвинений, корысти, а сам этот человек, уже недостижимый, умиротворенный и притихший, все еще будет плавать внутри этого вихря, касаясь чьих-то интересов, как воспаленных душ.

«С ним так и должно было случиться,— подумал Душан.— Ведь и жил он, раздираемый... Заклинал, искал сочувствия, презирал... Только отчего я оказался вовлеченным? Я ведь всегда сторонился и если сострадал и желал понять, то со стороны и молча — нося все в себе...»

Он стал вспоминать ночное, и как-то обрывками, не плавно. Прибежали возбужденные, подняли его теплою с постели и что-то читали над его головой монотонным голосом, а он, не вникая, сидел, не в силах унять нервную дрожь в теле. Смысл завещания и сейчас как бы ускользал, отлетал, прерываясь, и Душан спокойно обдумывал, не радуясь и не тревожась, с таким ощущением, что все это по-прежнему не имеет к нему касательства. И только это вдруг спутало мысли, смутило, задержав плавный ход размышлений и будто ошеломив. Дом!

Завещанный ему дом... Разволновавшись, он стал ходить по комнате, пытаясь обдумать все трезво и спокойно. Но чем больше думал об этом доме, пытаясь представить хотя бы его облик в общих чертах, тем больше нервничал. Дом он не знал и не чувствовал, и ни одну из его частей, ни комнату, ни даже ворота не принял душой, взгляд его ни разу ни на чем не останавливался, заинтригованный.

Чтобы не думать об этом, Душан вышел во двор и обрадовался, услышав голоса родных, открывающих ворота.

Все — и мать, и Амон, и даже Юртаев, ходивший теперь с ними неотступно, — были с Душаном предупредительно-напряженны, всматривались, пытаясь уло-

вить оттенки его настроения, и переглядывались многозначительно. И даже когда мать втолковывала Душану, что ему надобно хотя бы эти несколько дней быть у всех на виду в том доме, Душану казалось, что в объяснение всего этого обиденного, само собой разумеющегося она вкладывает слишком много страсти.

И в доме, через порог которого Душан переступил, преодолев внутреннее сопротивление, все вокруг будто имело окраску многозначительности. Все посторонние, все, кого Душан никогда не видел, всматривались в него и перешептывались с таким разным выражением лица, что можно было подумать, будто именно теперь жизнь в этом доме приобрела густоту и разнообразие, будто ей претила всегдашняя однозначность в суждениях, в поступках, в недомолвках.

— Любая из этих тетешек была бы счастлива выдать за тебя, брат, свою дочь,— шепнул Душану Амон, видя, как брат не знает, куда деть себя и чем заняться.— Самый богатый жених в городе, с домом, где одного добра на пятьдесят тысяч...

Душан смущенно промолчал и поспешил уйти от брата к воротам, и Амон пожалел о том, что не выдержал и сказал такое, что должно было, по мнению Юртаева, еще некоторое время раздражать Душана, пока тот не свыкнется с новой своей ролью.

Опять весь день до вечера Душан простоял с Саидом и Амоном возле ворот, чтобы встречать каждого запоздавшего сочувствующего и провожать их внутрь дома. И Душан, десятки раз переступавший через порог, заходивший с сочувствующими и выходивший обратно, успокоился, поддавшись некой монотонности того, что ему было поручено, и перестал замечать удивленные, а то и просто ошарашенные взгляды соседей, которые уже знали о каждом пункте завещания и обсудили его со всех сторон. Он лишь чувствовал некое напряжение между Саидом и Амоном и неприязненно отворачивался, видя, как брат горделиво и властно, каждым своим жестом подчеркивает перед притихшим и мучительно думавшим о чем-то мрачным Саидом свое превосходство.

А вечером, когда все ушли из дома, кроме двух-трех старух на кухне, простоявших весь день у ворот позвали на ужин. После короткого и торопливого ужина Душан вышел во двор, но, увидев, что мать подглядывает за

ним в окно, остановился с таким чувством, будто собирался делать нечто недозволенное и непристойное.

«А, собственно, что случилось? В чем я виноват?— вдруг мелькнуло у него решительное.— Дом мне завещан... А они все подумают, что я в позу стал — и играю... А ведь уже сегодня или завтра утром речь в открытую заведут... Пока вроде не к спеху, да и покойника дух всюду витает... Но завтра призовут объясняться...»

И еще раз оглянувшись и убедившись в том, что все и Юртаев наблюдают за каждым его шагом, но с видом доброжелательным и даже подбадривающим, Душан решительно ступил к двери летней комнаты и толкнул ее.

Странно, что в комнате было все так прибрано, так аккуратно сложено, словно в доме ничего и не случилось, не было суматохи, похорон и будто все знавшие Наби-заде не заходили сюда, чтобы бросить на него взгляд с выражением: прости и прощай...

Наоборот, дохнуло чем-то устоявшимся, запахом, который собирался между коврами, одеялами, внутри бесчисленных хрустальных ваз, выставленных напоказ за стеклом шкафа. Душан бегло посмотрел на все, удивляясь увиденному и прочувствованному, и прошел через небольшую дверь и смежную комнату меньшего размера и прохладную. Здесь тоже все было выставлено так, чтобы Душан мог рассмотреть каждую вещь — ковры, красное дерево, хрусталь и серебро — подробно, без ощущения того, что и здесь еще вчера царил беспорядок, вернее, другой порядок, более строгий, траурный, без ярких сверкающих цветов, без звона благородного стекла...

В другой, третьей комнате, где была спальня Наби-заде, Душан окончательно почувствовал себя подавленным. Что-то раздражающее накопилось в нем исподволь от вида всего, что было устремленно собрано изодня в день Наби-заде, что-то даже оскорбляющее, будто над Душаном зло пошутили... Другого, острого вкуса не ощутил он во всем этом, не заметил нового штриха, привлекательной краски — ведь все это он уже видел в тех домах, куда заходил с инспекторской проверкой, все то же самое, так же сложено, подвешено, прибито, прижато к стене, только, может быть, чуть меньше, чем у Наби-заде, чуть скромнее...

Его как бы осенило, и теперь он хотя бы знал свое отношение к неожиданно случившемуся, он мог возра-

зить искренне, не кривя душой, и в том, что он скажет, в каждом слове будет его, Душана, выраженный дух, может быть, еще в чем-то колеблющийся, сомневающийся... излишне жалостливый к матери, которая также названа в завещании... Туман как бы развеялся, и вдруг из суматохи, волнений, тревожных ожиданий, из всего наваянного страстями выплыл новый облик Юртаева. Выйдя сейчас обратно во двор, Душан подумал о нем, и ощутил его совсем другим, будто во все заботы их семьи вошел другой человек — с настороженно-тревожным взглядом, деликатный, медлительный — полная противоположность тому строгому, холодному, но неусыпно следящему, как казалось Душану, Юртаеву.

Юртаев теперь как бы расслабился после многодневных трудов, и, увидев его таким, Душан неожиданно ощутил еще большее беспокойство, ибо деликатный и медлительный Юртаев был более загадочным, более настораживающим. Он был таким, будто о чем-то сговорился с матерью, о чем-то таком, что есть тайна лишь очень близких людей, родственная тайна.

«Неужто и ему перепадет часть наследства?» — подумал Душан, но тут же смутился, отгоняя эту злую, подозрительную мысль, и решил с этой минуты не давать волю своим сомнениям и подозрениям, ибо дело, которое главным образом касалось его, походило на дело трезвое и жестокое.

По тому, как все смотрели на него из окна попеременно, Душан понял, что ждут его с нетерпением. С бодрым видом пошел он в ту единственную комнату, которую не успел осмотреть в одиночестве и которая сейчас напряженной своей атмосферой походила на убежище его близких, ищущих выхода из нелегкого положения. Впрочем, из близких были только мать и Амон... и вот почему-то еще и Юртаев, который спешно пододвинул к себе стул, чтобы Душан сел с ним рядом.

— Посмотрел все? Нравится? — спросила мать, и торопливо, словно вспомнив о чем-то, добавила: — Да ты ведь, кажется, и раньше здесь много раз был, почти каждый день... Так и скажешь на суде. Скажешь: приходил и навещал отца каждый день... — И, заметив, как Душан недоуменно и растерянно посмотрел на нее, пояснила: — Бону и Саид в суд подали, неблагодарные, на отца покойного, мол, он не в здравом уме был, когда завещание писал, и посему все завещал тебе, чужому, мол, не признающему его отцом... и будто бы я это ему

внушила каким-то особым внушением... страхом или заклинанием, не знаю уж.— И словно почувствовав, что запуталась, теряя стройную нить рассказа, глянула с укором на притихшего Юртаева.— Хабиб Тиллаевич тебе все объяснит юридически...

— Да объяснять пока тут собственно нечего,— начал с долей робости в тоне Юртаев,— и мне кажется, не стоит сейчас горячку пороть, перескакивая от этапа дела к этапу, теряя последовательность. Первым шагом завтра надо шагнуть, простым и обычным... нотариально оформить документ о приеме вами обоими, каждым своей доли наследства... А они пусть пока своим ходом разбираются с покойным отцом...

«Странно,— мелькнуло у Душана,— почему суд, а Юртаев такой расслабленный... даже растерянный?..»— И, подумав так, Душан вдруг усмехнулся, пожал плечами упрямо, чувствуя какое-то подспудное удовлетворение от такого поворота наследственного дела.

— Внушила?— переспросил он, посмотрев быстро и кратко на мать.— Как могла внушить ты?

— Они его до смерти загнали, а теперь спокойно в земле лежать не дают,— дрожащим голосом сказала мать.— Мыслимо ли, с покойником судиться?! Как?! Где? Да кто ответит за него, что он был в здравом уме, когда завещал, если он уже сам не сможет? Соседи? Свидетели? Сослуживцы?

Все помолчали, не глядя друг на друга, и Амон первым бросился к плачущей матери, чтобы успокоить ее:

— Ничего они не добьются! Только позорным еще больше обмажутся!

— Суда никакого не будет, мать,— тихо промолвил Душан.— Бояться не надо и плакать.— Но голос его вдруг дрогнул, словно испугался, что неправильно его поймут.— Нет, суд, может, и будет между ними и покойным... Только я ведь не пойму, зачем мне дом этот и деньги его, тысячи? Я этого, честное слово, не пойму... и потому удовольствия не чувствую, радости, одна лишь растерянность... Не знаю, как объяснить вам? Себе я объяснить могу... о себе я хорошо знаю, что не хочу всего этого...

Мать не вскрикнула, не запротестовала, словно знала, что Душан скажет такое, только растерянно глянула на Юртаева, ища его поддержки, и сказала усталым, почти безразличным тоном:

— Этим ты только врагам нашим доброе сделаешь, нашим недругам... Бону и Саиду.— Едва произнесла их имена, как вся опять возмутилась, схватила Душана за руку с таким видом, будто уличала в чем-то:— Но ты ведь признал его отцом? Под конец, но признал...

— Да... потому, что видел, что он живет без тех, кто бы искренне признал его отцом. Он страдал от этого...

— Но ты ведь с ним искренним был? Вот и Мираков слышал и видел,— почему-то именно это упорно продолжала выпытывать мать, будто данный штрих прояснял все и мог служить оправданием для суда.

— Не пойму, при чем здесь это?.. А Миракова не стоит впутывать в наши семейные дела... Он Наби-заде всю жизнь боялся, а теперь, после смерти...— Душан умолк, чувствуя, что теряет ясность рассуждения и потому говорит совсем не то, что нужно всем, кто с таким напряжением сидит напротив.

Здесь Юртаев вмешался, встал и с успокаивающим жестом сказал примирительно:

— Все сегодня усталые, издерганные... Еще много неясного и запутанного в деле, и думаю, не стоит его еще больше запутывать необдуманными словами, сказанными сгоряча, по неопытности и непониманию. Душан, мне кажется, еще не принял окончательного и верного решения, ибо не обдумал дело со всех сторон и не уяснил для себя, что его решение касается не только его одного... Здесь затронута честь и самолюбие не только твоей матери, Душан, не только брата, но и память человека, с которым ты проработал... И даже не это главное, что именно проработал...— Юртаев показался смешным не тем, что он все это говорит так, будто сам — главное заинтересованное лицо в данной истории, а тем, что с самого начала представлялся другим.

То, как Душан слушал его с видом удивленным, сильнее всего подействовало почему-то на Амона. Он резко подался вперед, угрожающе повертев перед лицом Душана указательным пальцем, затем вскочил и бросился в смежную комнату.

— Хватит на сегодня! Хватит!— воскликнула мать, побледнев. Но Амон уже вернулся обратно, прижав к груди какой-то черный предмет и приговаривая при этом:

— Он издевается над нами! Ему все воздухом пу-

стым кажется, духом, не блестящим, не шелестящим, не звенящим! Так пусть увидит собственными глазами и пощупает!

Душан от неожиданности не сразу разглядел, что черный предмет, который брат с такой силой прижал к столу и стал открывать ключом, был сундучок, точная копия того, какой был в их доме. Не поверив этому; Душан даже подумал было, что мать в память о прошлой своей жизни перевезла и его вместе с другими вещами в дом Наби-заде, но, увидев, как медленно поднимается крышка сундучка в сопровождении незнакомой мелодии, успокоился.

— Вот, видишь все это?! Блестящее, хрустящее?!— говорил Амон так, будто один вид того, что содержалось в сундучке, действовал на него умирительно, гипнотически — все это золото, браслеты и ожерелья, сверкнувшие камнями и заигравшие от света.— Теперь опомнишься? Подействовало?!

Все привстали, всматриваясь, а Амон, словно боясь неосторожным движением поломать что-то хрупкое, вынул из сундучка ожерелье, чтобы приблизить к глазам Душана.

— «Нози гардан»,— вырвалось у матери, должно быть, произвольно название самого ожерелья.— Очень старинное, разве сейчас такое делают?— Но, испугавшись, что своим доверительным тоном она вносит какую-то неестественную струю в строгость спора, спохватилась и крикнула на Амона:— Не смей все это трогать! Это Душана! И деньги его!— И, словно засомневавшись в чем-то, порылась в сундучке, и Душан успел заметить под золотыми вещами пачки денег, перевязанных не то бечевкой, не то мягкой проволокой. Из всего увиденного только эта странность привлекла его внимание, и пока он думал над тем, почему так наспех и небрежно были перевязаны деньги, лежавшие на дне сундучка, под ювелирными вещичками, которым цены, наверное, нет, и нет ли в этом какого-то смысла, понятного лишь одному Наби-заде, мать закрыла сундучок, заперла его, еще раз предупредив строго Амона:

— Не смей трогать! Это все теперь твоего брата,— протянула Душану ключ.— Не было счастья, да несчастье помогло... А я все боялась, как он такой, не совсем как все... неумелый, как жить будет дальше без отца, без помощи, на своей маленькой зарплате?

Душан машинально взял ключ и, не зная, что с ним

делать, повертел в руке и положил в карман, смутившись оттого, что мать говорила о нем так, будто Душана не было с ними рядом. И еще его удивило то, как Амон покорно принял крик и укоры матери, запретившей ему трогать сундучок, как виновато опустил голову и умолк. Обычно мать не смела повышать на него голос, зная, что Амон не стерпит обиды, ответит грубо, непристойно.

«Что-то во всех переменялось,— мелькнуло у Душана.— Не оттого ли все какие-то напряженно-притихшие, выжидающие... и виноватая улыбка промелькнет... не оттого ли, что знают: в сундучке этом все нечестно приобретенное? И мне предлагают с виноватой улыбкой».

Душан мрачно глянул на мать и хотел было уже сказать о том, что слышал, знает, как нажил все это Наби-заде, чтобы раз и навсегда высказать свое отношение к наследству, но промолчал, решив, что на сегодня хватит всех волнений и ссор.

Мать, видно, почувствовала, что Душан желает возразить, но чтобы не дать ему этой возможности, поторопилась воскликнуть:

— Да! Удивительна человеческая натура! Встретила сегодня мать Бунафши, она ко мне прямо в объятия: «Как я рада, что наших детей влечет друг к другу — Душана и Бунафшу...» — «Что-то я не заметила этого!» — отрезала я. Представляете, и это говорит та, которая всегда при виде меня с презрением отворачивалась, будто я пришла просить у нее подавния. А я за словом в карман не полезла, нашла, чем ее осадить, правда? — с удовлетворением добавила мать.

И все втроем глянули на Душана, будто прося поддержать. А он вдруг смутился и подумал, отчего он так агрессивно настроен против всех — ведь если они ему ключ от сундучка суют, то наверняка из добрых чувств, и ведь никто не виноват в том, что понятие добра у них с ним разное?

«Они-то и живут естественно, в потоке страстей, прикасаясь и к доброму и к низкому, а у меня все неживое, головное... Сколько раз желал я теперь жить в простом и обыденном, отдаваясь естественным чувствам? Но ни доброе, ни дурное, все только в мыслях да в благих желаниях...»

Душан будто ожил от какого-то толчка, пододвинул

стул и, упершись поудобнее локтями о стол, проговорил, усмехнувшись:

— Да, вот и Амон рассказывал... братья всякие знаки подают, мол, не пора ли нашим семьям помириться, не дожидаясь дукбози...

— Они сейчас сама вежливость и предупредительность... даже заискивают,— рассмеялся, почувствовав облегчение после слов Душана, брат.— Боятся упустить такого богатого жениха...

Душан поморщился, чувствуя, как в их разговор, стоило ему только подыграть, опять примешалось язвительное, унижающее чужих, будто и эти чужие были заранее причастны к тому, что Наби-заде составил такое завещание. Юртаев заметил его состояние, попытался как-то смягчить впечатление от хвастовства Амона.

— Ну а ты, Душан, конечно же, не отказался от дукбози?!— осторожно и заискивающе спросил он.— Знаю, что для тебя любой спор может решиться только в честном поединке...

— Иначе и быть не может,— с ироническим пафосом произнес Душан.— Я ведь воспитывался в благородной, насквозь патриархальной семье, где из всех щелей с благостной улыбкой выглядывала сама честь и сама доблесть.— Сказал и замолчал, сожалея о сказанном, и сидел все время подавленный, почти не прислушиваясь к тому, о чем говорят рядом. Только когда речь зашла о деде, Душан словно опять ожил... Сказано было, что человек, посланный в деревню, вернулся без утешительных вестей. Прихворнувший дед не смог прехать на похороны, почувствовал себя в эти дни совсем плохо, так что тетя побоялась оставить его без присмотра, чтобы самой отправиться в город и соболезновать.

Удивило Душана то, что и о них говорили как-то отстраненно, как о неживых людях, будто то, что занимало сейчас всех, не позволяло хотя бы на миг отвлечься на другое, словно все живое вместилось для них в скорлупу, где жар и вихрь страстей был подобен легкому дуновению, как от взмахов мушинных крылышек...

«И я сейчас весь в этом... мушинных страстях»,— с обидой подумалось Душану. И более всего было досадно от ощущения, что втянут он в эти страсти помимо своей воли, да так сильно, что могло это кончиться или смиренным, или скандалом.

Неужели, когда дело касается чужих денег и чужого

имущества, все обретает бездушную, казенную окраску и дом превращается в контору с горами трухлявой бумаги с бессмысленным текстом? Или так принято: чтобы скрыть эту бессмыслицу, все холодно сжимают губы, напуская на себя казенный вид? Ведь разве в том, о чем сейчас говорили, не было своей боли? Два кровных человека — дед и тетя, — живя в плотном окружении людей, не могут даже в дни болезни довериться присмотру и попечению чужих. Как же они там живут? Что их тревожит? Правы ли они в своем отшельничестве? Или, может, из гордости и себялюбия отвергают чужое участие? Дед, известно, упрям и своенравен, но ведь в тете нет и тени себялюбия, робкая и неназойливая, она всю жизнь, казалось, сглаживает грубость деда, пытаясь примирить его с окружающими...

Душан вдруг встал, встревоженный, и молча вышел из-за стола, чтобы подумать обо всем этом в тишине своего дома, сочувствуя деду и сострадавая. Мать в досаде протянула к нему руки, хотела остановить сына, но Юртаев жестом повелел ей не делать этого.

Жест Юртаева, в котором Душан почувствовал скрытый властный порыв, задел его чем-то. И Душан шел, переживая и неприятно удивляясь тому, что Юртаев в эти дни вдруг выдвинулся и стал играть в доме чуть ли не главную роль... теперь уже не скромного адвоката, говорящего порой косноязычно, а настойчивого покровителя, рассуждающего обо всем трезво и бесстрастно.

«Бедная мать, — подумал Душан, — в ней все еще страстная нужда в покровителях... Наби-заде, теперь Юртаев, как будто с годами не теряла она свои сокровенные иллюзии и не обрела уверенности в том, что ничего... ничего уже не осталось из того, что требовало защиты...»

Но ему сделалось стыдно оттого, что он вот так прямолинейно судит, да еще с долей иронии к близкому человеку. Не в силах справиться с обидой и вспоминая все время этот юртаевский жест исподтишка, Душан лихорадочно думал найти хоть какое-то оправдание матери. Хотел подумать сочувственное, но мысли опять ускакали в сторону осуждения, в темную сторону...

«Нет, это у нее не от слабости, я знаю. Желание защиты и внимания — от себялюбия, ведь всякое внимание лестно... Просто каприз...»

Он и себя поймал на таком капризе, когда увидел, как переменились к нему братья Бунафши. Теперь уже не только всегдашний негласный его соперник Рахмат, но и

старший брат — Амин оба караулили его, поминутно выглядывая из ворот и всматриваясь в темноту переулка, и, различив издали фигуру Душана, выбежали, чтобы поприветствовать его со смешанным чувством настороженности и занесения. Душан в первый их выход от неожиданности усмехнулся про себя, затем почувствовал, что ему нравится вся эта комедия, она льстила, искажала чувства, подливая что-то жиденькое и дурное в сознание. Каков он теперь, а? Богатый ухажер их бедной сестры. И только это, умение вдруг глянуть на себя со стороны, еще как-то отрезвляло...

Возбужденный и язвительный, походил Душан по дому, ожидая возвращения брата с женой, ему не терпелось и Амону высказать нечто, ибо не мог забыть его лица в момент объявления завещания. Что-то слишком проявилось в Амоне по отношению к брату, что-то слишком недоброе, что всегда наполовину утаивалось или выдавалось за заботу старшего и житейски опытного.

Да разве только у Амона, все очень выукло проявили себя вдруг в день кончины Наби-заде, но ярче и искреннее всех, пожалуй, вся теперь домашняя, редко появляющаяся на людях и самого Наби-заде видевшая всего два раза — Мавлюда. Узнав о смерти старика, она сначала впала в какое-то тихое оцепенение, сидела и, не шелохнувшись, смотрела на Душана, отчего Душан неприятно заерзал, затем вскочила и заметалась по дому, громче всех причитая, да так осиротело и жалобно, что женщины вокруг недоверчиво переглядывались.

Удивительно, но Наби-заде был единственный, кого Амон послушал и забрал на суде свое, еще не рассмотренное заявление о разводе. Непонятно, какие доводы мог привести в пользу этого шага в общем-то чужой, далекий от их жизни Наби-заде, хотя, казалось, Амон всех близких убедил, что надо ему по-доброму, без скандала, расстаться наконец с Мавлюдой, так и не родившей ребенка, несмотря на всевозможные лечения и курорты.

«Что с ней будет теперь? — подумал Душан о Мавлюде, чувствуя, что язвительное в нем сменяется усталостью и горечью. — И что же такое сказал Амону Наби-заде, чем убедил? Чем-нибудь уж очень сокровенным, от чего нельзя было отмахнуться? Несчастных и больных не осуждают, им сочувствуют — вот самое простое и сокровенное... это и птицы знают... Я бы жену не упрекнул, страдал бы, быть может, без детей — страдать я люб-

лю... но защитил бы жену и согрел бы сочувствием к ее горю...»

Он поймал себя на том, что подумал о своей будущей жене вообще, безотносительно к кому-то конкретному, к Бунафше. И дети, будущие его дети казались Душану чем-то надуманным, неправдоподобным, ибо не чувствовал, даже мысленно не представлял, какими они могут быть.

Его потянуло в летнюю комнату, где жили Амон с Мавлюдой. На все вокруг, на мебель, хрустальные вазы, привезенные ими из квартиры, Душан смотрел как бы украдкой, смущаясь. Непроизвольно открыл шкаф, и едва дотронулся до платьев Мавлюды, тесно висевших вдоль всего гардероба, ярких и блестящих, но почему-то никогда не надеваемых Мавлюдой, как почувствовал странный запах — не манящий, не волнующий, какой исходил от Мунавар — хозяйки, кокетливо одурачившей его. Что-то настоялось в одежде терпкое, соленым дохнуло, ощущение чего-то иссушающего, без воздуха улиц и чужих дворов, веселых посиделок... такая шемящая атмосфера и окружает, должно быть, всегда одинокую, исстрадавшуюся женщину, бесцветная пыль оседает на складках ее одежды...

Душан спешно вышел во двор и столкнулся с братом и Мавлюдой, тихо вошедшими в дом. Уловив в лице Душана смущение, Амон удивленно спросил:

— Ты что это?

— Хотел узнать, вернулся ли ты.— Душан отводил от них глаза и говорил как бы оправдываясь.— Спросить хотел...

— О чем? Да говори!— Вид брата не то чтобы встревожил Амона, но показался интригующим.

Душан молча пошел к себе в комнату, слыша за спиной шаги Амона, и упрекал себя за то, что выразился так неосторожно.

«Ну, как мне теперь?— мелькнуло у него досадное.— О чем спросить? Неужели о Наби-заде? Нет, нет, только не об этом...»

С растерянным видом сел он на кровать, затем вскочил и пододвинул к себе стул. Амон, постукивая пальцами по столу, с любопытством наблюдал за братом.

«Нет, только не об этом,— подумал Душан в панике.— Сейчас не время...» И хотя готов был он спросить о чем-то другом, незначительном, необязательном, то ли от чрезмерного возбуждения, то ли от страха, что ска-

жет о том, о чем не следует говорить, Душан вдруг спросил:

— Интересно, что тебе Наби-заде сказал?!— воскликнул он и покраснел.— Прости, я не хотел спрашивать об этом... и сейчас, минуту назад убеждал себя не спрашивать именно об этом... но именно это меня мучило... Что сказал Наби-заде такого, отчего ты смирился, брат, и заявление свое о разводе забрал из суда?

Амон выслушал его с удивлением и настороженностью и почему-то обиделся вопросу Душана, ибо ожидал какого-то другого разговора.

— Ах, вон ты о чем?!— вырвалось у него с недовольством.

— Но если ты не хочешь рассказывать...— торопливо перебил его Душан,— мне и самому не об этом хотелось спросить, вернее, об этом, но не сейчас... Глупое любопытство...

— Не помню уже, в каких выражениях он сказал,— скудно произнес Амон и зевнул,— по смысл таков... мол, послушай ты меня, я человек порочный, неправильно жизнь проживший, послушай меня, не оставляй жену... какая бы она ни была, она тебе богом дана, а что детей нет — не беда, я всю жизнь от детей страдал, ибо были они настояны на моей испорченной крови... послушай меня, сделай так, чтобы я умер хоть малость удовлетворенный...

Слова Наби-заде, даже в такой бесстрастной передаче все время зевающего Амона, чем-то поразили Душана, и, вскочив опять, он горячо спросил:

— Так и сказал о себе... что он порочный?! А как же теперь?! Ты ведь не подумаешь снова разводиться?!

— А почему нет?— удивленно глянул на него Амон.— Раз это давно решено... Откладывать больше нет смысла...

Душан порывисто наклонился над братом и обнял его за плечо:

— А мне? Что бы мне такое сделать, чтобы этого не случилось? Хочешь, брат, я тебе тот дом подарю и все ты-сячи? Клянусь! Чтобы ты жил там с женой. Ты ведь сам говорил, что квартира летом — печь адская...

Амон медленно встал и молча, прищурившись, словно подсчитывая что-то в уме, посмотрел на Душана, доверчиво, с мольбой глядевшего на него.

— Ты и вправду не совсем нормальный,— сказал Душану брат без всякой обиды и злости.— Ты сам женись скорее и отвози в тот дом Бунафшу...

— Не знаю.— Душан смутился от его слов.— Не знаю, смогу ли я теперь жениться... когда в доме такое... Сегодня я подумал было о женитьбе... и подумал я вообще, Бунафши почему-то и в мыслях не было... Странно... И среди нас опять беспокойство и разлад из-за этих тысяч...

Амон помолчал, с сожалением глядя на брата, и сказал тихо:

— Его дети в суд подали на тебя... что ты, мол, ненормальный и потому не имеешь право на наследство. Вспомнили разное — как ты из интерната сбежал и наговорить на себя хотел, и даже далекое такое, глупое — как ты из рыбьего жира зажигательную бомбу хотел сделать. Тот иск их на покойного отца суд отклонил... так сказать, за неявкой ответчика,— хихикнул Амон.— Теперь за тебя взялись.

Душана поначалу неприятно удивили его слова, но чем-то и подзадорили, позабавили, затем он вдруг понял, что это — обвинения детей Наби-заде — может быть спасением.

— Так это же хорошо, брат!— воскликнул он.— Хорошо, если повернется так, что я лишусь права на наследство!

— А ты о матери подумал?— зло спросил Амон.— О ее доле? И о нашем позоре, если победят его дети? Ты хочешь всех нас, весь род Темурий на посмешище выставить? Нет, брат, теперь мы возьмем свое! Это старшие в роду с гнильцой, во времена деда и отца все отступали, пока не лишились последней иголки. С нас должно пойти обратное, возрождение!

Все, что говорил Амон, казалось Душану не то чтобы странным, но несколько несерьезным, неуместным — эти разговоры об отступлении и возрождении, и именно теперь, когда между родными все воспалено. Братья помолчали, глядя друг на друга напряженно, и Душан, чтобы не казаться слишком уж недоверчивым, сказал, переводя разговор на легкий шутливый лад:

— Да, эти тысячи возродят наш дух, но совсем не так, как ты думаешь, совсем не так!

Амон, заинтересовавшись, подошел к нему поближе и подбадривающе кивнул. Душан же, вспомнив, как спорил когда-то дед с Мираковым о вещах и вещичках человеческих, рассмеялся и проговорил в манере их спора:

— Хорошо бы на эти тысячи нанять себе базарных

завсегдатаев и телохранителей. Будут ходить всюду з тобой, сдвинув кепки на носы, и дышать в усы. Ска жешь: «Ребята, вон та женщина...»— в миг они тебе е доставят, звенящую браслетами кокетку...— Душан не выдержал и опять нервно рассмеялся.

Амон, не зная, как воспринять сказанное им, воскликнул осерчав:

— Да о чем ты?!

— Я о том,— горячо сказал Душан,— много ли можно купить на эти деньги? Ну, базарного завсегдатая, женщи ну-кокетку, овцу... японские часы, лестницу,— перечислял он игривым тоном, с подвохом, да так, что и Амона настроил на шутливый лад. Брат вскочил и, размахивая руками, словно расслабившись во хмелю после суматош ных дней, крикнул:

— Машину, мельницу, мешок...

— Ты сказал: мешок?— поразился и обрадовался вдруг Душан.— Ты вспомнил о том мешке, о котором нам бабушка рассказывала? Помнишь? Мы в летней ком нате лежали после обеда, и все окна были завешаны от солнца. Над нами шмель летал, но мы боялись дверь открыть из-за жары... Ты помнишь, что было в мешке? Две серебряных иглы, и разная сурьма для глаз, и платок для рук, и я положил туда два позолоченных горшка и два подсвечника, кошку, двух собак, миску, два больш их мешка, две меховые шубы, корову, два зеленых шатра, верблюда, пару быков, львицу, скамеечку, две ложки, две беседки, кухню с двумя дверями и толпу ба зарных завсегдатаев, которые засвидетельствуют, что этот мешок — мой...:

— О, судья, этот мешок мой, клянусь аллахом, и я скажу тебе, что в нем,— весело подыгрывал брату Амон.— У меня в этом мешке только разрушенный до мик, и другой — без дверей, и собачья конура, и там школа для детей, и юноши, которые играют в кости, и палатки, и веревки, и город Басра, и Багдад, и дворец Шеддада ибн Али, и горн кузнеца, и девушки, и юноши, и тысячи завсегдатаев, которые могут тоже поклясться, что этот мешок — мой!

— О, владыка наш, судья, этот мешок известен, и все, что в нем есть, описано!— сразу же без паузы под хватил Душан.— В этом мешке укрепления и крепости, журавли и лвы, и люди, играющие в шахматы на дос ках, и в этом моем мешке кобыла и два жеребенка и жеребец, и там находятся лев, два зайца, город и де-

деревни, и два ловких всадника, и распутник в женском платье, и два висельника, и слепой, и два зрячих, и хромой, и два расслабленных, и священник неверных с двумя дьяконами, и имам, и два эмира, и судья, и два свидетеля, которые засвидетельствуют, что этот мешок — мой!

Амон поморщил лоб, пытаясь вспомнить текст притчи, а Душан, волнуясь, подбадривающе кивал ему, но не выдержал и подсказал:

— Да поддержит аллах владыку нашего, судью...
Қладовые с оружием и тысяча бодливых баранов...

Амон замахал брату протестующе и продолжил торопливо:

— И там пастбища для скота, и тысяча лающих псов, и смоквы, и кувшины, и кубки, картины, и статуи, и певички, и свадьбы, и суета, и крики, и удачливые братья, как мы с тобой, Душан, и тамбуры, знамена и флаги, и девушки, невесты с открытыми лицами, пять абиссинок и три индуски, пятьдесят турчанок, семьдесят персиянок, восемьдесят курдков, и Тигр и Евфрат, и сеть рыбака, и огниво и кремень, мечети, и бани, и гвоздь, и черный раб с флейтой, и начальник, и стремянный, и Газза и Аскалон, и земли от Дамиекты до Асуана, и дворец Хосроя Ануширвана, и страны от долины Намана до земли Хорасана, и страна от Индии до земли черных... И в нем еще — да продлит аллах жизнь владыки нашего — судьи! — исподнее платье, и куски полотна, и тысяча острых бритв, которые бреют бороду судьи, если он не побоятся меня наказать и постановит, что этот мешок — не мой...

Душан стал в комическую позу, с важным видом поглаживая воображаемую бороду, и воскликнул:

— Я судья! И вижу, что вы оба скверные люди, вы играете моим достоинством и законами и не боитесь порицаемого. Не описывали описывающие и не слышали слышавшие ничего удивительнее и вздорнее того, что вы сказали. Қлянусь аллахом, от Китая до дерева Умм Гайлан, и от земли персов до земли Судан, и от долины Намана до земли Хорасана не уместить то, о чем вы оба упомянули, и не поверит никто тому, что вы утверждаете! Разве этот мешок — море, у которого нет дна, или день страшного суда, когда соберутся чистые и нечестивые? Откройте мешок!

Амон нагнулся, делая вид, будто возится с мешком, пытаясь развязать его. Душан с удивленным лицом как

бы заглянул в этот мешок и, досадливо поморщившись, проговорил:

— Хлеб, луковица, соль... И все? Забирай, этот мешок и вправду твой!

— Нет, он твой, мне не нужен!* — запротестовал Амон. И оба брата порывисто обнялись, хлопая друг друга по спине, весело рассмеялись. — Да, брат, давно мы с тобой, так не дурачились, — ослабевшим голосом проговорил Амон, опускаясь на стул и вздыхая.

— Хорошо подурачились! Чудно! — не в силах еще успокоиться, восторженно ответил Душан и вдруг, как нередко с ним бывало, резко переменялся и досадливо спросил: — А Наби-заде?.. Вправду о себе так сказал, что он человек конченный?.. Порочный?

Амон удивленно посмотрел на брата и, поморщившись, дернул плечом:

— С чего ты о нем опять вспомнил? Покоя в тебе нет, весь издерганный...

— Я не вспомнил, — засмущавшись, миролюбиво сказал Душан. — Слова его все время у меня в голове сидят... И то, что он накапливал всю жизнь, эти тысячи... и складывал в тот мешок, где хлеб один и лук оказался... Это ведь правда! Он бессмысленную жизнь прожил, не порочную, нет, я его последнее время хорошо узнал, и все его страдания — они истинные... И тысячи эти — мнимые, как бумажная труха...

— Оставь эти разговоры! — запротестовал Амон. — Так мы можем опять запутаться и разругаться. А я, брат, этого не хочу... Мне ведь был дорог тот миг, когда мы с тобой опять в детство ушли, когда с мешком разыграли... Может, ты в одном прав, — помолчав, добавил Амон, — что деньгам этим ты применение не найдешь достойное... Другой бы... не знаю, что бы с ними сделал... хоть на зло бы пустил. Как ты говоришь, завсегдабаев базарных нанял бы, чтобы физиономию своим врагам расквасить, или бросил бы собакам под хвост на псиных боях...

— Почему обязательно на зло? — не понял и виновато глянул на брата Душан. — А может, на доброе потратил бы... Но ты прав! Ты прав! Я бы не знал, что с ними делать! И попал бы в какую-нибудь дрянную историю. Или меня ограбили бы! А может, даже убили бы, — сказал Душан лукавым тоном.

* Братья разыгрывают притчу из «Тысячи и одной ночи».

И утром следующего дня вся эта мягкость и атмосфера дружелюбия как будто естественно продолжилась с приходом Исмата. Мастер выглядел притихшим, даже каким-то стыдливым, без всегдашних призывных жестов и подбадривающих слов, и это отсутствие спешки и напора тем более казалось странным из-за многодневного перерыва в тренировках.

Удивленные братья подсели к нему с двух сторон на помосте под виноградником, но Исмат все медлил, прислушивался к треску уже задетых осенней прохладой лоз, вздыхал, будто то, что он собирался сказать, непременно должно было вызвать скандал. И может, именно поэтому, щадя чувства мастера, братья деликатно ждали, не желая высказать своего нетерпения, хотя Амону было очень трудно так долго сдерживать себя.

— То, что я вам вынужден сказать,— начал Исмат тихим и хриплым голосом,— конечно же, подрывает мой авторитет судьба и вашего тренера... и совсем не к лицу мастеру мужественной игры...

— Ну-ну! Не тяни!— не выдержав, воскликнул Амон, вплотную пододвинувшись к Исмату и горячо дыша прямо ему в лицо.

— Да вы, должно быть, уже все знаете... так сказать, в курсе,— сконфуженно-лукавым выражением лица чуть было не рассмешил он Душана,— и, поразмыслив, решили согласиться и уладить все по-мирному, по-соседски...

Хотя Исмат в основном обращался к Душану, Душан не очень-то вникал в смысл его слов, его больше всего потешала сама форма сказанного, зато Амон сразу догадался, о чем идет речь, заерзал, в сердцах ударил себя кулаком по колену.

— Похоже, что тебя всего с потрохами купили наши старообрядные соседи?! Ведь сидит все это в вас, сидит глубоко! Поете красивее соловья в эмирском саду о здоровой дедовской морали и чести кадими... а сами за копейку готовы продать невинных, доверившихся вам,— горячо рассуждал Амон, должно быть, все еще находясь под впечатлением ночной игры с Душаном.

— Я никогда не ожидал услышать из ваших уст такое,— обидевшись, перешел вдруг с Амоном на «вы» Исмат и встал, сделал несколько шагов к выходу.

— Он еще смеет разыгрывать из себя святую девицу,— с удивлением и сарказмом обратился Амон к брату.

Уже у самых ворот Исмат повернулся и с подобо-

страстным, деликатным видом, с каким говорил обычно с Душаном, сказал:

— Я просил извинить меня... даже сделал оговорку, сказав, что мне не к лицу передавать такое, но все же я вынужден передать просьбу ваших соперников-соседей. Они просили, если можно, если позволяет ваше самолюбие, помириться с ними, не прибегая к дукбози... просто, по-братски, за хорошим угощением... Я же буду посредничать,— добавил Исмат и уставился с умоляющим видом на Душана.

— Не знаю... как брат скажет,— проговорил Душан растерянно, но не выдержал и рассмеялся, ибо то, как выглядел сегодня мастер, как он говорил, умилило его с первой минуты.— Да вы совсем по-другому говорите, никогда таким вас не видел... удивительно, что вы это...

— Это он! Он подкупленный! Но разгаданный и смешной. Смейся, брат, над ним, смейся... И над соседями мы посмеемся, а то им, видите ли, теперь боязно даже пальцем шевельнуть над головой богатого жениха, не дай бог, случайно заденут,— язвительным тоном говорил Амон, довольный тем, что удалось ему наконец посрамить и поиздеваться над мастером, воле которого был подчинен все эти три месяца обучения, хотя исподволь и накапливал на приятеля обиду.— Передай им, что встретимся сразу же после сорока дней поминок!— прокричал он вслед Исмату, и Душан, увидев, как удаляется Исмат по улице, ссутулившись, проникся к нему жалостью.

— Зря ты так... обидел,— сказал он брату.— Он может и не прийти больше...

— Никуда не денется! Я ему заплатил в два раза больше, чем положено по таксе, и заарканил этим...

— Вот почему ты подозрительный с ним и капризный!— догадался Душан, но больше ничего не сказал, ощущая неприятное от всей этой истории. Покоробило его и то, что брат опять нажимал на это часто повторяемое им с поводом и без повода любимое словечко «богатый жених», в которое вкладывал и спесь, и злую пронию, будто было словечко это им же самим выдуманно для одурачивания тех же соседей.

Но если подумать трезво и без обид, «жених», да еще «богатый», применительно к нему, Душану, и вправду оказывалось сплошной выдумкой. Когда же о нем стали говорить как о женихе? Душан вспомнил, что он сам дал повод, желая как-то давно в споре задеть мать. И с тех пор это сидело у всех в голове, раздражая и искажая его

чувства, будто именно она, Бунафша, и нужна ему, чтобы делать по-своему, наперекор близким. Только для этого, волевого и рассудочного, иначе откуда это сомнение, остывание? Ведь теперь он все меньше думает о Бунафше, чувствуя, что образ ее, во многом нарисованный им, удаляется, теряя выразительность, остывает, размываясь в контурах.

Душану сделалось легко, едва подумал он об этом, почудилось, что еще в одном сложном разобрался — в наложении тех чувств, которые беспокоили его душу ненавистью и любовью, обидой, гордыней; выбросить из головы это вздорное, выражающее к нему отношение других, недвусмысленно дать понять всем, что никакой он не жених, что можно будет с чистой совестью отказаться от наследственного дома и денег, ибо близкие связывали это наследственное с его женитьбой.

Душан почувствовал такой душевный подъем, что поначалу и не понял, что же его одернуло, какая другая мысль, как отголосок незабывшейся еще тревоги, кольнула сердце? Поостыв немного, он с тоской ощутил, что была это простая мысль о том, что теряет он Бунафшу...

Ему захотелось тут же повидать ее, чтобы еще раз проверить свои к ней чувства. Он не стал ждать ее возвращения с занятий, а заторопился в институт. И то, что он должен был сейчас прошагать весь длинный путь, не дожидаясь Бунафшу у дома, тоже казалось Душану характерным для их отношений — с запретом, подготовкой к поединку и неожиданно свалившимся наследством. А это неожиданное так смутило Бунафшу, что, не зная, как объяснить с Душаном, она избегала его, страдая от этого, и видела, что братья, наоборот, заторопились, ища с семьей Душана примирения без того, чтобы применить силу, пусть даже ограниченную правилами дукбози.

Но здесь Душану все равно пришлось прождать, слоняясь под окнами серого двухэтажного дома, скромный облик которого, казалось, так подходит к названию самого института — учительского, — единственного в городе и потому известного всем бухарцам самими скрытыми изгибами и движениями своей жизни, не говоря уже об общей напряженной атмосфере, разогретой схваткой разных группировок преподавателей — молодых, нетерпеливо забегающих вперед со своей наукой, и стариков, утомленных методикой и потому отставших, сред-

него возраста доцентов с выраженным бухарским мышлением и питомцев какого-нибудь северо-западного, Тартуского университета.

Душан не из-за каприза принял все так лично, увидев за углом высунувшееся здание института, подумал: а может, пойти сюда учиться? Куда же еще? Ведь в свои восемнадцать лет он ничему толком не обучен, потому и не чувствует ни к чему влечения. И только в таком заваленном бесхитростной документацией, неделовом управлении он мог еще как-то продержаться на общих знаниях и увлечении, но теперь Душан решил твердо уходить из конторы. И вовсе не из-за того, что новый управляющий Дегук Петрович Ким излишне строг и несправедлив. Как раз наоборот, с первого дня Дегук Петрович снял все строгости и ограничения, чтобы придать работе управления более научную окраску, и все потому, что давно был занят поисками буддийских корней бухарского зодчества. Собирался даже написать об этих корнях труд, но во времена Наби-заде не смел, ибо покойный управляющий считал эту идею не только вздорной, но почему-то и вредной для ровной исторической логики.

Дегук Петрович рассердился на сотрудников за их привязанность к своим столам и разогнал по всему городу, чтобы всматривались они и выискивали на медресе и минаретах некий, особо выразительный изгиб куполов и округлостей, символизирующих скрещенные, полные покоя и умиротворения руки Сиддхартха Шакьямуни, этого отшельника из рода Шакья, пророчества которого, по мысли нового управляющего, вывели бухарцев из мрака огнепоклонничества, а расслабленных и усыпленных в вязкой атмосфере нирваны, их легко одурманили потом хитроумные мусульманские проповедники.

— Вот этому немой укор! — указывал Дегук Петрович на мечеть Магоки-Аттари, вместе с острыми куполами почти полностью ушедшую в землю, чтобы хранить в себе дух огня и слабые, все удаляющиеся звуки бубна... И, словно уловив этот умирающий звук, Дегук Петрович забежал по всем конторам, требуя себе в помощники археолога, чтобы расчистить мечеть от вековых наслоений затвердевшей пыли. Вся работа управления сегодня и выражалась в этой беготне. Подчинив ей все другие порывы, сотрудники, навалившись на большой стол, сочиняли еще более убедительный документ взамен отвергнутого, а Дегук Петрович, стоя у порога своего

кабинета, поторапливал их, чтобы успеть в горсовет к приему.

Представив Дегука Петровича таким беспокойным и поторапливающим, Душан и сам почувствовал нетерпение, вошел в здание и побежал наверх, к широким, на всю стену, окнам аудитории, выходящим в коридор. Он уже был здесь раз, и сидевшие у окна, едва Душан с растерянным видом заглянул, сразу же узнали его, повеселели, будто появление Душана обещало им расслабленность, беготню, конец занятиям и долгий, очень смешной анекдот.

— Буна! Буна! На выход!— закричали они, хлопая по столу и не обращая внимания на преподавателя, который поначалу застыл возмущенный, с поднятой для патетического жеста рукой, но затем почему-то поспешно сел, словно сразу же утомился от собственного порыва.

Душан хотел было отпрянуть назад, в угол, за черную трубу, но остался стоять, напустив на себя бесстрастный вид,— ему понравился эффект, связанный с его появлением, будто и он один из таких же студентов, развязных и беспечных. Хорошо бы, подавив свою всегдашнюю дурацкую робость, подзадорить всех какой-нибудь выходкой в тон общему настроению, мелькнуло у Душана, но выбежала смущенная, вся бледная от стыда Бунафша и прошептала сердито:

— Я ведь просила... просила...

— Фогель?— Душан кивнул в сторону преподавателя, упорно продолжавшего лекцию, несматривая на шум и крики.

Этот неожиданный вопрос как острым срезал что-то напускное и нервное между ними, и Бунафша, почувствовав облегчение, уже шла за Душаном торопливо к выходу.

— Фогель?— насмешливо переспросил Душан.

— При чем здесь Фогель?— не выдержала и рассмееялась Бунафша.— Инал-Ипа, музыковед, кавказец, женат на нашей, бухарской, Розие Садыковне из нотариальной конторы...

Душан удивился этим подробностям, но продолжил с прежним подвохом:

— А почему он не играет, не поет? Не изображает жеста, что дирижирует увлеченно? А я почему-то принял его за Фогеля... хотя, признаться, я и Фогеля-то ни разу в глаза не видел. Должно быть, к старости у

всех музыковедов, товароведов, правоведов стираются национальные узкие черты и все превращаются в одно большое благообразное лицо проповедника... читающего лекцию о том, где правильно переходить улицу... О, это очель важно! Ведь речь идет о вечной проблеме — жизни и смерти.— Душан оглядывался, напряженно ожидая, что кто-нибудь из студентов встретится в коридоре или на лестнице и пойдет за ним, с почтением прислушиваясь к его остроумным замечаниям, ибо, уверен Душан, подобные глубокие речи никогда еще не звучали в стенах этого института.

— Ты язвишь, а мне это, ты знаешь, не нравится! — пыталась перебить его Бунафша, но Душан был как в ударе.

— А ты? — продолжал он на улице, так же воодушевленно.— Почему все хором закричали: «Буна! Буна!»? Где уважение и благоговение перед святой и неприкосновенной личностью? И это хоровой голос уже распускающегося цвета нашей национальной интеллигенции?! Позор! Правда, когда-то и я сам проглатывал добрую половину, а то сразу и три четверти имени, кричал: «Пак! Шан! Хам!», поддавшись общей губительной атмосфере интерната, откуда я ушел, нырнул в течение жизни, увлекаемый... Но в этом проглатывании святого имени я вижу такое... что уже не только один человек другому в тягость, но даже имя его режет слух.

Бунафша пыталась было возразить, но решила молча дослушать, ибо чувствовала, что Душан нарочито обостряет, желая заглушить недомолвки, а может, и недоверие, что накопилось между ними за эти сумасшедшие дни.

— Конечно! Конечно, теперь, когда ты стал солидным домовладельцем, все должно быть вокруг важным и степенным,— решила подыграть Бунафша.— «Товарищ Темурий, позвольте представить вам Бунафшу Афзаловну Сафиеву, скромную студентку, мечтающую написать о ваших гениальных взглядах на наши нравы труд... окажите честь, пожмите ей ручку, а если вдруг окажете милость и поцелуете оную ручку, то это будет счастье, от которого не стыдно упасть в обморок...»

Мимическая игра, которая отразилась на лице Бунафши, интонация ее голоса так позабавили Душана, в такой привели восторг, что он схватил Бунафшу за руку и пустился бегом вдоль забора к рощице, приговаривая:

— Так уж и быть, снизойду, поцелую ручку в знак

почтения к вашему доцентскому мышлению. Поцелую! Поцелую!— Едва прибежали они, задыхаясь, под дерево, как Душан обнял хрупкую, еле стоящую на ногах Бунафшу, потянул к себе и прошептал, будто укоряя:— И ты дразнишь меня домовладельцем? Наследником? Богачом? Вот обозлюсь на весь свет и знаешь что сделаю? — Что?— Бунафша потянулась, словно хотела обнять его за шею.

— Ужасное сделаю. Найму себе множество служанок, буду лежать не двигаясь, наслаждаясь ленью, а они будут ходить вокруг и звать меня: «Господин курортник, чего пожелаете?» Я скажу: «Первое мое желание... оградите улицу и не пускайте ко мне товарищ Сафиеву Бунафшу Афзаловну, передайте, что я на нее смертельно обижен...»

Бунафша резко отпрянула от него.

— Глупо!

Душан, словно испугавшись того, что она может убежать, снова потянул ее к себе, желая скорее высказать наболевшее.

— Конечно, глупо!— торопливо сказал он.— И все это показное, все эти деньги, будто фальшивые, нарисованные, будто протянешь их в кассу, а тебя — цап!— за руки! Попался, фальшивомонетчик?! Вот так!— Легкость и насмешливость сменились на его лице тревожной досадой, даже горечью, и Бунафша словно догадалась о чем-то, вспомнила.

— А правда, что ты не хочешь... отказываться от наследства?

— Я ведь сказал, что это нарисованные деньги, из-за них за руки хватают и кричат «караул!»,— горячо повторил Душан.

Бунафша всматривалась в него с удивлением и нескрываемой гордостью.

— А братья говорят мне, что нормальные так не делают,— молвила она с обидой, даже злостью.— Я назвала их скрягами, мешочниками...

— А почему мешочниками? Да, да, понимаю, они важно ходят всюду с мешками, в которых ничего не оказывается из того, о чем они заявляют...

Бунафша схватила его за руку и крепко сжала, не зная, говорить ли Душану о том, что взволновало ее, и как сказать, чтобы было это убедительно.

— Послушай, помнишь, я тебе рассказывала... о спротках? Не смейся, может, это глупо... Я ведь тебе рас-

сказывала, как шла и вижу — за оградой на пустыре маленькие дети. Ты меня тогда чем-то обидел, и вот я в таком настроении смотрю на них через ограду... маленькие, хотят шаг ступить, падают, ручки протягивают. Смотрю, за оградой здание с надписью: «Дом ребенка», и женщина, степенная такая дама, выходит ко мне и зовет. Оказывается, это заведующая Домом — Мунира Шариповна, добрая такая женщина. Сели мы с ней посередине пустыря на стульчиках и разговорились, а вокруг малыши лопочут, ручки протягивают. Взяла я одну малышку к себе на руки, а она вдруг так горько расплакалась, с такой обидой, что я сама, дурочка, не выдержала и разревелась. О чем вспомнила малышка, о матери своей, которая родила ее и тут же бросила и сбежала из окна больницы? Ревела я, ревела и говорю доброй Мунире Шариповне, что не пойду никогда замуж, а возьму себе на воспитание таких брошенных малышей. Добрая Мунира Шариповна обняла меня и тоже заплакала у меня на плече. «Конечно,— говорит она,— легче чужого взять и воспитать... но труднее всего своего родить и вырастить, имея такого, современного мужа, который не мужчина и не муж, если живет на свою зарплату, неспособный уже один содержать семью и чувствовать себя не ущемленным, а как прежде защитником, добытчиком, главой...» О многом мы тогда поговорили, пошли к ней в кабинет и даже чаю выпили, и оказалось, что сама она в свои пятьдесят так и не вышла замуж, не имеет трудных своих детей, а воспитывает чужих сироток...— Бунафша умолкла, но губы ее продолжали дрожать, словно пауза эта была вынужденной и не выражала того состояния недоговоренности и смятения, что было в ее душе.— Давай поможем им!— умоляюще проговорила она.— Одеты они все убого, в один цвет, и вообще, чувствуется, что стеснен Дом тетушки Муниры Шариповны в средствах... Ты был бы самым благородным на свете, если бы отдал хотя бы часть тех денег... на одежду сироткам, на ремонт их спальни...— Бунафша умолкла и напряженно смотрела на него, от волнения даже прикусив губу. Душан, смутившись поначалу от этой ее неожиданной и странной просьбы, подумал, как бы ему поточнее выразиться, чтобы не показаться неискренним.

— Конечно же!— горячо подхватил он, обрадовавшись тому, что наконец-то найден выход из этого запутанного положения с наследством.— Конечно, я все

отдам — и дом отдам, и тысячи все, до копейки. Дом такой большой, множество комнат, они там будут бегать... хорошо им будет.

— Поклянись! — все еще не могла поверить такому повороту Бунафша.

— Клянусь! — Душан тоже будто не до конца верил, что может быть такой простой и легкий поворот. — Все равно, я уверен, эти деньги с самого начала принадлежали сиротам... так вышло, что они оказались у другого... теперь надо вернуть... И мать получит свою долю. А Бону и Саид, дети его, они, может быть, утешатся, узнав, что все это не мне досталось. Утешатся и перестанут злиться... мол, не нам, но и не ему... — И Душан, ожидавший какого-то порыва Бунафши, бурных восторгов и восклицаний, чего, впрочем, опасался, был удивлен и сконфужен тем, как вдруг притихла Бунафша, сделавшись задумчивой, даже тревожной.

— Я сама все объясню Мунире Шариповне, а потом вместе к ней сходим, — сказала она, и смущение промелькнуло на ее лице. — А ты пока со своими посоветуйся и сам еще раз подумай, чтобы не было это насильем... или капризом.

Но на следующий день Бунафша была опять так вдохновенно энергична, что Душан не успевал переживать вместе с ней в такт сообщаемые ею новости, поэтому выглядел несколько растерянным и даже отрешенным.

— Ой, не все это так просто! — рассказывала Бунафша, прибежав на условленное место — в рощицу возле института. — Нужна справка оттуда, заявление отсюда, еще доверенность, справка от врача... что все это благородное делается не в состоянии глупого ума.

— Как раз-таки ум мой самый наиглупейший, — безо всякой рисовки сказал Душан. — Всегда все делает себе во вред, не зная своего блага. Поэтому и завещанное не могу принять... себя опять мучаю и других.

— Боюсь, утону я в этом бумажном ворохе... Но зато как я рада! — горячо молвила Бунафша. — Есть у меня теперь большое дело, нужное малышам обиженным...

— А твоя тетушка, бессребреница Мунира Шариповна, как она? — спросил Душан, хотя с той минуты, как забегала Бунафша, подсчитывая справки, стал терять к делу интерес.

— Тетушка повела себя несколько странно. Вначале страшно удивилась, даже поразилась, бросилась обни-

мать меня, но потом вдруг сделалась подозрительной и как бы отстранилась от меня, холодно заговорила об этих самых справках. И два раза подчеркнула, что главное здесь справка от врача...

— Меня днями, должно быть, пригласят судебной повесткой к этому самому врачу, — вспомнилось Душану безо всякого волнения. — Бону и Саид меня как раз в том подозревают... А я ведь и не отказываюсь, да, да, признаю, у меня самый наиглупейший ум, не знающий своей пользы, — добавил он с каким-то вызовом, словно нравилось ему всякий раз подчеркивать это, не боясь насмешек и подозрений.

И даже в том, как оделся Душан, чтобы идти в Дом ребенка для представления добрейшей Мунире Шариповне, был намек на этот вызов. Почти каждый раз, открывая платяной шкаф, он разглядывал шляпу и трость — все, что осталось дома из вещей отца. Эту широкополую шляпу, будто сорванную с бесшабашной головы какого-нибудь ковбойского героя, отец надевал для того, чтобы спрятать еще временами накатывающую робость деревенского жителя перед городской конторской цивилизацией. И вот теперь, двадцать лет спустя, мода вернулась, и, хотя в сочетании с тростью в руке, шляпа эта могла показаться экстравагантной не одной только тетушке — директорисе, малышек она должна была покорить.

На улице Душан был поглощен собственным видом и тем впечатлением, которое мог произвести на встречаемых, но никто, кажется, и не обращал внимания на то, каким он был артистичным и подчеркнуто претенциозным. Лишь Бунафша краем глаза покосилась на его шляпу и сказала не без иронии:

— И мне следовало по такому торжественному случаю надеть на голову что-нибудь сногшибательное и обязательно с пером. Пышным таким, страусиным пером. Как ты думаешь, мне это пошло бы?

Душан кивнул, задетый ее словами, и всю дорогу молчал, покручивая в руке тростью, и не заметил, как подошли они к дому.

Душан удивленно остановился — все здесь: и само здание, и железная ограда, окружавшая здание и большой пустырь, по которому бегали дети, — выглядело знакомым и множество раз виденным. Неужто рассказ Бунафши о том, как она расплакалась от жалости, глядя на малютку, так подействовал своей выразительностью,

что увиденное ею во всех деталях передавалось и ему, Душану? Или, может, повеяло давно пережитым, интернатским? Ведь у всех коллективов, живущих в строго очерченном пространстве, несмотря на разность названий, направлений воспитания и обучения, возраст питомцев, есть общее, подчиняющее в самой атмосфере, и это не может не выразиться даже в походке, в жесте, в словах воспитателей и воспитанников.

И два стульчика посередине пустыря, на которых сидели воспитательницы, как бы выражали штрих этой атмосферы, да и плоскость самого пустыря, где бегали, падали и поднимались неуклюже маленькне, одетые в серые курточки и штаны дети, тоже было виденным.

Это успокоило Душана, и он легко шагнул в какую-то калитку за Бунафшой и пошел к зданию в глубине, слыша свои гулкие шаги. Дети, увлеченные игрой, не замечали их, зато Душан всматривался в их фигурки, которые, как казалось ему, еле касались поверхности пустыря, такого чистого, будто натертого до блеска камня, словно пыль улицы, густо долетев до ограды, тут же оседала, у черты территории дома.

Увидев их, одна из воспитательниц поспешно встала и бросилась к Бунафше, чтобы по-доброму, по-сестрински обнять ее.

— Вот мы и пришли, — растроганно проговорила Бунафша.

— Добро пожаловать, — приветливо закивала воспитательница Душану, не в силах спрятать сложную игру чувств, отразившуюся на ее лице. — Мы здесь каждый год копаем, но деревья почему-то не приживаются, — добавила она, делая короткие жесты направо и налево. — Но мы терпеливы, будем еще сажать, чтобы закрыть наших детей тенью...

— Возможно, тут камень, — пробормотал Душан, смутившись оттого, что воспитательнице пришлось и ему высказать эту явно заученную фразу о терпеливости, которой они обычно оправдываются перед какой-нибудь комиссией.

Директриса, должно быть, увидела их из окна, вышла и остановилась у входа, соблюдая подобающую в таких случаях служебную этику сдержанности.

— А я почему-то думала, что вы пожилой, солидный, — сказала Мунира Шариповна несколько разочарованно, и тоже, как и воспитательница на пустыре, обняла приветливо Бунафшу и поцеловала ее.

— Это еще все впереди, — пытался было вымученно отшутиться Душан, но Бунафша не дала ему продолжить.

— Тетушка! Милая! Да я же вам все рассказывала о нем! — воскликнула она и крепко сжала Душану руку, боясь, что он скажет не то или сделает что-нибудь в подтверждение своей несолидности.

— Да, да, я помню, все хорошо помню... но все равно мне почему-то казалось, что вы солидного возраста, а может, даже вдовец... Ну, ничего страшного, прошу. — Мунира Шариповна взяла гостей под руки и повела их в здание.

И с этого момента лениво-настороженный ритм встречи как бы выпрыгнул за порог дома, и все остальное — знакомство с самим домом, его спальней, столовой, комнатой игр — стало набирать такой бешеный темп, что все только мелькало — кровати, постельки, чашки, шкафчики, обувные ящики, не позволяя рассмотреть себя в подробностях. Мунира Шариповна лишь успевала открывать и закрывать двери, а Душан, который из всего пока запомнил лишь встречу Бунафши со здешними женщинами, их объятия и поцелуи, успел сказать ей в коридоре:

— А ты здесь как своя... как рады тебе!

В кабинете Муниры Шариповны ритм опять спал, дойдя почти до нуля, и все втроем некоторое время сидели как бы в оцепенении, тяжело дыша после бега по двум этажам.

— Вы всегда так быстро... с гостями? — спросил Душан, но, перехватив недовольный взгляд Бунафши, поспешил пояснить: — Нет, мне ни денег не жалко на них, ни дома... но тяжело было по ступенькам, да вдобавок они еще крутые...

— А что там у нас особенно смотреть? — искренне удивилась Мунира Шариповна. — Салфеточки, горшочки, мешочки... будто сами не прошли через это. Прошли ведь? А теперь вон какой выросли — красивый, в шляпе, да еще способный такое благородное жертвование сделать... — Она хотела было разговориться с теплой интонацией, душевно, как говорят с молодыми, привлекательными, невзирая на условности служебного положения, кабинетной обстановки, ибо была Мунира Шариповна по натуре действительно женщиной добрейшей, но то ли сомнение опять взяло верх, то ли подозрение, так что директриса некоторое время холодно смотрела на Душана, прежде чем пояснить: — Вы ведь видели, у нас всего в

достатке, мы на твердом и беспронимательном бюджете государственного попечения... Правда, в иные годы, когда мы в очередной раз пытаемся разбить на пустыре нечто вроде детского парка... — И, как бы не выдержав собственной холодности, Мунира Шариповна вдруг засмеялась и, поманив к себе поближе Бунафшу, зашептала ей: — Тут у нас недавно за оградой мужчина появился с футляром от скрипки... Ходит, посматривает на малышей, футляр к подбородку прижмет, призадумается, а мы-то уже знаем, у нас глаз наметанный — блудный наш отец. А таких мы не отпугиваем, наоборот, привлекаем. Смотрим — через калитку и прямо к одному из трехлеток. Схватил его нервно на руки, оторвал от земли, обнял, а ребенок от испуга вырывается... Смотрим, на следующий день на счет наш в банке блудный перевел сто рублей... Сто рублей — тоже неплохо, если совесть у него отцовская зашевелилась...

— Надо было его задержать! — воскликнула Бунафша, возмущившись. — При всех детях устыдить...

— Верно, может, больше денег перечислил бы. Но как докажешь? Если решился кто на такую подлость, чтобы подбросить нам свое дитя, то под страхом смерти не признается. Придут, поглядят через ограду, если смелые, как этот блудный, обнимут ребенка, ласковое слово скажут... Пыталась наша воспитательница поймать такого, а он в ответ: «Я просто чужак, мимо детей спокойно не могу пройти...»

— Обманывать и разбивать сердце любимой — не чудак?! Оставлять ребенка сиротой — не чудак?! — продолжала возмущаться Бунафша, да так искренне приняв все, что говорила Мунира Шариповна, с таким порывом, что по жестам их, по интимности тона можно было подумать, что вступили собеседницы в сговор не только против этого чужака, но и против всех мужчин.

Душан сидел тихо, чувствуя, что о нем и вовсе забыли, зато ему со стороны вдруг показалось, что Бунафша... в ней уловил он нечто общее с тетушкой — в умении от громкого возмущения тут же переходить на доверительный шепот, верно чувствуя колеблющийся ритм настроения Муниры Шариповны, будто были они, несмотря на разность возраста, близки по духу.

«Неужто и она с возрастом будет такой же кумушкой? — мелькнуло у Душана досадливо. — И, сидя в какой-то конторе, вот так, навалившись на стол, шептать всякое... вздорное?..»

Душан произвольно подался вперед, желая встать, но Мунира Шариповна сделала в его сторону повелительный жест, как бы укоряя за невнимательность к беседе, и Душан, чтобы исправить оплошность, сиротил:

— Что, разве только отцы приходят смотреть?

Директриса глянула на него, будто удивляясь тому, что и Душан заговорил наконец, и это ее чем-то так вдохновило, что Мунира Шариповна не могла спокойно усидеть в своем кресле, порывисто встала.

— Здесь, я заметила, такая тонкость... Женщины в своем отчаянии, или будучи так холодны и черствы, или чувствуя себя обманутыми, или из страха стать посмешищем для окружающих... словом, по моим многолетним наблюдениям, женщины, оставляя для нас где-нибудь свое дитя, исчезают, и редко кто из них возвращается, терзаемый совестью. Мужчины же, с самого начала пустившиеся в бег от обманутых ими женщин, сделав очень большой круг, во время которого, должно быть, и чувствуют наконец шевеление в своей душе — если, конечно, у них есть эта душа! — возвращаются и в первый раз видят свое дитя — не в родильном доме или дома у покинутой ими женщины, а у нас, в Доме ребенка, когда у дитя все естественные связи с породившими его матерью и отцом нарушены и оно попало в коллектив. — Чувствовалось, что эти рассуждения насчет обманутых матерей и поздно раскаивающихся отцов глубоко выношены Мунирой Шариповной и сделались частью ее душевного самочувствия, помогающего ей и гневаться и утешаться. — Правда, был такой случай... с женщиной, — торопливо продолжила Мунира Шариповна. — Приходит к нам невзрачная на вид, скромно одетая, с какой-то плетеной корзинкой в руках... Я даже спросила ее: «Вы цыганка?» — «Да что вы? — говорит она. — Я здесь родилась в городской семье». И называет дом, где живет, и соседку, которую я, оказывается, хорошо знаю. Словом, вошла в доверие. Расплакалась, говорит, что несчастная, не имеет детей, и просит показать ей самых маленьких, какие у нас есть... якобы желает усыновить...

В этот момент где-то совсем рядом, может, за стеной кабинета, зазвенел колокольчик. Мунира Шариповна умолкла на полуслове, взяла со стола свой колокольчик и, выглянув из окна во двор, просигналила в ответ плавающим и мелодичным звоном. И заторопилась к двери, на ходу поясняя:

— Сейчас у нас врачебный осмотр. Так что прошу

скорее во двор, чтобы успеть еще поглядеть на наших питомцев. — И, ведя Бунафшу и Душана по глухому, без окон, коридору, продолжила рассказ, правда, опустив теперь многие подробности:

— Словом, когда она ушла, мы обнаружили в спальне лишнюю малютку, — вдруг нервно рассмеялась директриса. — Она лежала на кровати рядом с нашей и что-то щебетала, протягивая к ней ручки, а наша, домовская, хмуро от чужой отворачивалась, недовольная таким соседством...

— Это она подкинула? — вырвался возглас удивления у Бунафши.

— До сих пор ума не приложу: как? Вроде корзину свою оставила в коридоре... и мы все плотно стояли с ней рядом, когда она наклонялась над каждой кроватью... Даже фантазия здесь бессильна! Правду говорят: женщина всегда исполнит что задумала коварное... Бросились мы мошенницу искать, но ни в доме, который она назвала, ни в квартале «Лайлак» никто о ней не слышал. Объявили мы тогда повсеместный поиск по нарисованному мной словесному портрету... По сей день, уже четвертый год ищут, — заключила директриса несколько упавшим голосом.

— А дитя? — почему-то разволновался Душан. — Оно теперь с вами?

— Конечно, куда мальчику деваться? Оставили мы его у себя и хлопот не оберемся... Сейчас увидите...

Если бы не эта история, Душан вряд ли бы снова заинтересовался всем, что здесь делается, ибо с первых слов Муниры Шариповны, еще у порога дома, почувствовал, что попал в какую-то неестественную обстановку вкрадчивого подозрения, что должно было само по себе характеризовать ровное течение здешнего существования без всплесков радости и огорчений. Иными словами — досаду почувствовал... И вот теперь возбудился, даже обрадовался, услышав нечто смахивающее на авантюрное, и заторопился за Мунирой Шариповной к пустырю, еще раз удивившись тому, как тщательно пустырь этот убран, вычищен и протерт почти до блеска — благо дом был расположен на маслянистой земле, испускающей еще и свой внутренний блеск.

Подшвы сандалий малышей сверкали. Бегающие и прыгающие самые старшие по возрасту резвились на дальней площадке, и воспитательница строго следила за тем, чтобы они не перебежали невидимую границу соб-

ственной территории. Ближняя площадка была отдана тем, кто еще нетвердо стоял на ногах, ползающим с восторгом, часто падающим; и совсем рядом располагался ряд деревянных перегородок, похожих на кровати без ножек, но с высокими спинками, чтобы самые маленькие, еще грудные питомцы, не могли в беспамятстве игры вывалиться на сверкающую плоскость пустыря.

Возле этих самых маленьких как раз-таки хлопотал врач вместе с помощницей-сестрой.

Должно быть, чтобы не мешать врачебному осмотру, Мунира Шариповна остановилась на почтительном расстоянии, жестом приглашая Душана понаблюдать со стороны, не входя в живую среду детей. Для оробевшего Душана эта дистанция была очень кстати, да и с отдаления вся картина просматривалась выпуклее и ярче.

Над всей этой территорией, втиснутой в железную ограду, витал дух строгого ритма и общей холодной определенности, которая чувствовалась в каждом слове и жесте воспитателей и воспитанников. И лишь как нечто чуждое, пытающееся внести разлад в этот ритм, метался из группы самых старших к кроваткам грудных, чего-то требуя, чего-то вырывая из рук, мальчик лет четырех, да с таким отчаянным видом, с таким выраженном превосходства, что и хитроватость и лукавство лишь украшали, делали его лицо еще более выразительным.

Душан, неволью залюбовавшись мальчиком, почему-то сразу догадался, что это и есть тот самый, тайком оставленный в доме, с которым, как выразилась директриса, хлопот теперь не оберутся. И вправду, едва он заметался, как на лицах воспитателей появилось выражение напряженного ожидания. Мунира Шариповна непроизвольно подняла руки, желая что-то крикнуть, но и она сдержалась, не решилась.

Мальчик же выхватил из рук врача трубку и стал дуть в нее, корча комические рожицы и передразнивая врача. Доктор опешил от неожиданности, затем решил, позабыв о солидности, и погнался за мальчиком.

Воспитатели, наблюдавшие эту сценку, заволновались, но не негодуя, а скорее сочувствуя мальчику, готовые простить ему дерзкую выходку.

Но доктор, несмотря на свой грузный вид, удивительно легко бегающий, догнал сорванца и отнял у него трубку, и это, должно быть, переполнило чашу терпения Муниры Шариповны. Она вскрикнула и бросилась к мальчику, который повалился на землю и, рыдая в истерике,

затрясся, ударяя себя в грудь и оглашая пустырь такими душераздирающими воплями, что все смешались, забегали...

Мунира Шариповна тем временем что-то объясняла доктору, а тот, поначалу возмущенный, постепенно терялся, сконфуженно пожимая плечами, видя, как все жалеют и сочувствуют несчастному, нервному мальчику.

Трубку ему попытались вернуть, но мальчик все отворачивался, все трясся, потом выхватил и метнул далеко докторский тонкий инструмент. И успокоился лишь, когда доктор собственноручно, что-то виновато бормоча, вернул ему свой инструмент. Мальчик, довольный тем, что и на этот раз его хитрость сработала, с торжествующим видом пошел от кровати к кровати, точь-в-точь повторяя движения доктора, когда тот выслушивал младенцев.

Чувствуя, что игра с трубкой, в которую вовлечены все взрослые и разумные Дома, будет продолжаться, Душан повернулся и, не замечанный никем, вышел за ограду.

Бунафша, растерянная, бросилась за ним, чтобы как-то оправдать Муниру Шариповну, оставившую ради плутишки благодетельного гостя, сказала:

— Ты теперь понял, как тяжело им?! Всех надо успокоить, приласкать...

— Да, да. Им это больше всего и нужно — тепло, участие, — рассеянно проговорил Душан и, почувствовав, как Бунафша насторожилась, поспешил вставить: — Им, конечно, и деньги нужны, чистая материя... но духовное — главное. — И чтобы скрыть нотки язвительного, пробуждающегося в нем, сделал удивленное лицо: — И вправду же ты здесь как родная!

— Закончу институт и приду сюда работать, — с каким-то вызовом сказала Бунафша, но тут же спохватилась, видя по подавленному настроению Душана, что одно неосторожное, резкое слово может привести к ссоре. — А как тебе Мунира Шариповна, правда добрая женщина?

— Добрейшая Мунира Шариповна, добрейшая, — согласно кивнул Душан, снова проникаясь юмористическим духом, повертел тростью и, подбросив шляпу, ловко поймал ее на лету. — И любопытная, до истерики любопытная, весь вид ее просвечивался от желания узнать, кто я? Зачем? Почему я? И откуда у меня это вздорное желание дом передать? И есть ли здесь корысть какая?

И вообще столько всего в ее бедной голове завертелось, столько вопросов перекрестно двигалось, что я с первой минуты, как ступил в ее владения, все думал назад незаметно улизнуть... боялся, как бы ей дурно не стало. И еще меня, знаешь, многолюдие подавило. Ведь дитя— это не один человек. Дитя своей искренностью, своей глубокой, незамутненной пока человечностью одно заменяет сто взрослых... Глубокомысленно, а?— засмеялся Душан, чувствуя, что своими рассуждениями нагнетает нечто неестественное в отношениях с Бунафшой.

— Верно,— горячо подхватила Бунафша.— Обидеть одно дитя все равно что десять взрослых обидеть.— И так расстались они под смех и шутки Бунафши, не забывшей лишней раз подчеркнуть, что утонет она в бумажном ворохе справок, да так глубоко, что Душан потеряет ее навсегда.

Странно, но это ощущение плотной многолюдности, в которой пребывал Душан все время со дня похорон Наби-заде, не покидало его теперь даже в тиши дома. Перед сном он чувствовал неуют и беспокойство, словно боялся, что среди ночи, в любой час, может с шумом распахнуться дверь комнаты и ввалиться толпа знакомых и незнакомых людей, и обязательно к нему с каким-нибудь делом, бумагу протянут, чтобы прочитал он вслух, или хором выкрикнут какую-нибудь просьбу все по тому же делу о наследстве.

Навязчивое вертелось у него на уме, сказанное Амоном не то в шутку, не то с вызовом, мол, с такими днями ты на все имеешь теперь право, можешь презирать всех вокруг, открыто высказывать ненависть к неудачникам, ходить горделиво, глядя по сторонам лишь краем глаза, и, чтобы унижить встречного знакомого, протягивать ему не всю открытую руку, а лишь два пальца подавать, чтобы жал тот с подобострастием. Азиатская душа... Набухшая от унижения других, но готовая тут же сжаться до копеечного размера, чтобы самой с удовольствием унизиться.

И утреннее появление матери, встревоженной, многословной, было все тем же продолжением раздражающей открытости, незащищенности, тем более что речь она повела сразу о каких-то грабителях.

Возбужденно, не делая пауз, рассказывала она, как слышала ночью чьи-то вкрадчивые шаги на крыше, какие-то стуки по стене летней комнаты, где зазвенела посуда в шкафу. С замирающим сердцем она глянула и

еще больше похолодела оттого, что посуда звенела сама собой, без чьего-либо прикосновения. Мать говорила все это, почему-то обращаясь только к Юртаеву, который слушал с усмешкой в глазах. И вообще, пока в доме нет хозяйна, можно всего ожидать... Бону и Саид из-за ненависти подговорят какого-нибудь бродягу, чтобы он поджег, и дом, деревянный изнутри, вспыхнет в один миг. Мать сказала это, а потом вспомнила о вкрадчивых шагах на крыше, услышав их, постучалась в слуховое окно к соседям и долго говорила им о своих страхах, а они, сонные, все не понимали, о чем речь, и успокоилась мать лишь после того, как сосед дал предупредительный выстрел из ружья.

«А почему сосед, а не Юртаев?»— чуть было не вырвалось у Душана, когда вспомнил он о вчерашнем— обидном и унижительном.

«Это, наверное, ощущение богатства путает сложные чувства, рождая вместе и страх и беспечность»,— думал Душан.

Иначе как объяснить неосторожность матери и Юртаева, спорящих у открытого окна и не услышавших ворвавшегося в дом Душана. А он и вправду ворвался, желая поскорее рассказать матери о том, где был и что решил делать с подаренным ему наследством, приготовился спорить, убеждать, думая, что одно лишь упоминание Дома ребенка может разжалобить ее. Вбежал во двор, удивившись тому, что ворота дома Наби-заде оказались незапертыми, хотел было окликнуть мать, но остановился у окна, услышав голос Юртаева.

— Ты намекни ему теперь...— говорил Юртаев тоном человека, в котором назревает нечто решительное, роковое.— Хватит! Надоело! И что если он после врачебного осмотра не согласится принять наследство, то все обернется просто: ему назначат опекуна как слабомумному, который и будет распоряжаться всеми деньгами... В конце концов я имею право, я столько лет ждал смерти Наби-заде... и за долготерпение я имею право на свой дом, уют и спокойную жизнь...

Душан с замирающим сердцем ждал, что мать возмутится, защитит Душана от угроз, но вместо этого она высказала свою обиду, то, что, должно быть, мучило ее давно, а сейчас вдруг придало силы для упреков и обвинений.

— Как я устала! И неужели в тебе нет ни штриха благородства, чтобы вот так, унижаясь, угрожая, не тре-

бовать? А кто виноват? Мы могли быть вместе сразу же после развода с отцом Амона, но ты просил еще несколько лет свободы. И чего ты достиг? Мечтал о большой карьере, о месте прокурора города. Помнишь свои фантазии? Зато со мной ты был трезв, даже слишком трезв... отослал, сделал на все это время заложницей Наби-заде. Да, да, именно так, я не боюсь сказать это слово! А теперь желаешь не упустить дом и мои тысячи из наследства... Разве это по-мужски?! Боже, в кого вы все превратились, вы, мужики?!

Все, что Душан услышал, было до того неожиданным, что он не сумел, ошеломленный, даже до конца вникнуть в общий смысл спора, и только это — упреки матери в адрес мужчин словно отрезвили его, устыдили, и, чтобы не быть разоблаченным в подслушивании, он попятился назад и выбежал на улицу. И шел торопливо, из-за горечи и удивления не зная, как оценить поведение матери в Юртаева — вот у них все сложно-запутанно... и примешан обман, хитрость...

Мелькнуло у Душана что-то определенное лишь к Юртаеву, ибо более всего показалась ему понятной его роль:

«А я ведь знал... подозревал Юртаева... что он — не без корысти... Ах, если бы она отринула от себя суету растерянности, деньги эти, покровителей и пожелала бы простой жизни, пусть с нуждой, с терпением, как было бы хорошо! Я бы оберегал ее... да и брат ведь не злой. Жили бы... А сейчас все напряжены, несутся сломя голову... Куда? К чему? К каким таким благам, от которых станет спокойнее и радостнее на душе?»

И мать открылась ему в теперешнем беспокойствии душевно раздираемой, тоскующей по чему-то определенному, успокаивающему, как и он сам. Но сейчас, слушая рассказы матери о ночных ее страхах, Душан смущался и не мог глянуть ей в глаза, ибо опять чувствовал в ней неискренность.

Такое состояние матери было кстати для общей ситуации: Душан собирался на врачебную комиссию, которая должна дать заключение о его здоровье для суда, и общая неискренность в семье и его чем-то взбадривала, разбавляя горечь в душе.

Мать, видя, как он нехотя одевается, не желая идти с ней и Юртаевым к врачам, воскликнула шутливым тоном:

— Ну, ну, бодрее, сын, еще одно маленькое усилие, и

мы победим! Ах, если бы ты знал, сколько мне пришлось выдержать.— Говорила она больше для Юртаева, который почему-то замкнулся, помрачнел, словно разговор этот вовсе не касался его.— Удивляюсь, откуда у меня столько сил и ума? И все ведь против образованных, доцентских умов... великих авиценновских умов!

Наверняка она имела в виду не одних только Бону и Саида, с их научной изощренностью в судебных делах, но и судебных заседателей и адвокатов противной стороны, логике которых сумела противостоять своей бесхитростной женской логикой — где-то всплакнула, где-то зывала к совести... хотя Душан и этих подробностей не знал.

Судебную возню он чувствовал лишь за спиной, прямо же, лицом к лицу с законом, стояла мать, на протесты писала опровержения, на жалобу — контржалобу, и все, должно быть, юридически грамотно и обоснованно, ибо имела такого пристрастного защитника, как Юртаев. Душан же, когда случайно замечал все это, удивлялся, ибо точно такое же рвение обнаружил он у Бунафши, писавшей все по требованию добрейшей Муниры Шариповны, которая сразу стала в позу оскорбленного доверия, едва узнала, что деньги, обещанные Душаном в дар ее Дому, вертятся в судебной волоките. Мунира Шариповна тут же отказалась от подозрительных денег и вздохнула так, будто их ей силой навязывали.

Бунафша всплакнула от досады, пытаясь втолковать Мунире Шариповне, что Душан чистосердечный, бескорыстный, но директриса и слышать уже не хотела, лишь заявила для успокоения Бунафши: «Я останусь вашей старшей сестрой — это я вам обещаю, но денег, которые неизвестно чьи, не приму».

Но Душана ее отказ, кажется, нисколько не смутил, просто с той минуты, как он зашел в первый раз во двор Дома ребенка и проникся общей тамошней атмосферой, был уверен, что ничего у него не выйдет с щедрым подарком, — и предчувствие не обмануло. Ведь и дарить надо уметь, а в разговоре с Мунирой Шариповной, как бы ни казались они оба благорасположенными друг к другу, Душан не почувствовал легкости и доверия, и не потому, что сама идея с таким подарком кажется в чем-то подозрительной, просто не преодолели даритель и одариваемая внутренней скованности.

И теперь Душана утешало лишь то, как оформляется в его голове одна шальная мыслишка, возбуждая вся-

кий раз и волнуя. Вот и сейчас выплыла и зашевелилась, показав себя такой осязаемой, катящейся колесом, что Душан готов был, не дожидаясь каких-то событий, чего-то определенного в этой судебной волоките, броситься, ведомый этой шальной мыслишкой.

«Нет, нет, надо, чтобы решилось с моим отъездом: к деду», — убеждал себя Душан, хотя то, что удерживало его от поездки в деревню к заболевшему деду, считал до обидного досадным — все та же судебная волокита с наследством...

О том, что дед так болен, что уже не встает даже с постели, тетя писала давно, но зыбкая неопределенность в семье, все нарастающая нервозность самого Душана не позволяли ему решительно махнуть на все рукой и порвать с этим домом, чтобы устремиться в тихий деревенский дом, где он найдет успокоение. Всегда горящийся своей независимостью, Душан сейчас чувствовал растерянность, ибо, сам того не желая, глубоко увяз в это дележное дело, окруженный, как стеной, чужими мнениями и порывами — матери, Юртаева, Бону и Саида. Он не зависел от себя, все больше склоняясь к доводам матери. И как желал он теперь быть рядом с человеком искренним, который не обманет и не предаст, — таким защитником представлялся ему дед, только он один из всех близких.

Но стихия обмана все заволакивала его. По лицам врачей Душан сразу почувствовал, что и они в чем-то сговорились с матерью и Юртаевым.

Боялся ли он в детстве сидеть один в темной комнате? Что чувствовал при этом? Ужас? Тайну? Ощущение того, что спускается в колодец?

Душан, ожидавший услышать что угодно, но только не это, вдруг рассмеялся, уловив напряженный, умоляющий взгляд матери, сидевшей у самого выхода.

— Почему колодец? — спросил он, продолжая смеяться, хотя понимал, что смех его звучит подозрительно и издевательски. — Это что же — таинственный образ? Символ? Тоненькая мысль доктора Фрейда и сюда проникла сквозь вязкое мышление бухарца... — возбужденно продолжал Душан, удивляясь тому, как он складно выражается, не смущаясь незнакомых людей с ученым видом и даже пытаясь чем-то ошеломить их, — было это вроде отдушины после напряженных колебаний и сомнений.

Душан вскочил, пододвинул стул ближе к стене и

снова сел, почти без паузы ответив на вопрос одного из врачей, который спросил мрачно:

— Ты что, Фрейда знаешь?— И комиссия выразительно переглянулась.

— Кто же не знает великого пророка, посланного Европой?— с ироническим пафосом произнес Душан, взбодренный еще и тем, как смутил своих защитников — мать и Юртаева, непредсказуемо спутал ход их мыслей.— О чем думали великие пророки — Муса, Иса, Мухаммед? Что несли нам? Говорили: умерщвляй плоть свою и спасешь душу... Доктор же Фрейд, западный пророк нового времени, провозгласил, роясь в паутине сознания, спасайте плоть свою, ибо все от спасенной плоти, сознавайте бессознательное.

Врачи с любопытством слушали Душана, должно быть, нащупывая в его высказываниях тот клинический случай, который и собрал их всех сюда, в маленькую однокомнатную пристройку сбоку лечебницы. Но времени, отведенного им для формального комиссования, было в обрез, поэтому главный врач прервал Душана доброжелательным тоном:

— Ты начитан, прекрасно! Но сейчас ты отвлекаешься на ненужное, пронизируешь, забыв о том, что у нас серьезное учреждение.— И глянул на Юртаева так, будто передавал его слова, а в ответ ждал похвалу.

Душан, боясь, что собьется ритм всего этого нервного и вздорного, что взбадривало его, облегчало душу, топорливо сказал:

— Возможно, что доктор Фрейд здесь ни при чем... Но, ей-богу, мне нравится это... как вы назвали веселую больницу — серьезным учреждением.— Чувство обиды, мелькнувшее в его сознании, заставило Душана умолкнуть на мгновение и с новой силой продолжить, вкладывая в свои слова что-то загадочное и как бы дразня этим комиссию.— Вас это интересует, я чувствую... в детстве я ломал голову над тем, как из рыбьего жира сделать адскую смесь для бомбы... и еще я воображал всякое вздорное... мечтал, что к моим теперешним годам весь населенный мир объединится в одну республику и я напишу для нее Устав жизни. Прямо-таки вселенская идея Искандера Двурогого или Темурленга, но не с головы, а с хвоста...

Главный в нетерпении постукивал пальцами по столу, утомленный, благообразного вида старик,— явно не рассчитывал на словоохотливость своего пациента, двое

других врачей что-то шепнули друг другу, опять переглянулись...

— А что тебя сегодня беспокоит, вот сейчас?— перешел вдруг на шепот главный врач.

Шепот его и смутил чем-то Душана, сбил пафос, показавшись не только странным, но и подозрительным, и тут главный, чтобы не дать Душану опомниться, спросил резко и категорично:

— Ты почему умолк? Или перестал нам доверять?

— А кому мне еще доверять, если не вам?— ясно и без тени сарказма глянул на врача Душан, хотя за всей этой смиренностью мог скрываться подвох.— К кому идет человек в минуту смятения — к отцу, к брату, к жене, к другу, к своему начальнику? Нет! Он ищет вас, психологов, душетерапевтов, ибо вы, только вы и есть современные спасители душ, нечто вроде духовных отцов имамов. Человек всякими правдами и неправдами ищет с вами связи, через знакомых... не гнушаясь даже, простите, взяткой, ибо наслышан о новом пророке всяких тонких деликатных штучек... Человек бежит к вам, чтобы рассказать о самом сокровенном, даже преступном, что заставило бы содрогнуться любого судью... И вы не отказываете ему, помогаете всякими таблетками — розовенькими, желтенькими, серенькими, тоном и звуком, всей защитой химии и науки заглушаете внутренний голос, чтобы загнать его поглубже... Отчего же не верить? Я верю...— Душан с простодушным видом оглядел всех троих, сидевших напротив за столом, чувствуя, что врач, самый молодой, почти ему одноклассник, пытается возразить, даже сделал повелительный жест рукой, чтобы сказать, но главный врач успел опередить своего помощника:

— Все! Иди, пожалуйста,— учтиво обратился он к Душану, и такой неожиданный финал беседы больше всего смутил мать, сидевшую все это время в смятении за спиной сына, рядом с бесстрастным Юртаевым.

Душан победно оглядел еще раз всех и, когда закрывал за собой дверь, услышал умоляющий голос матери, обращенный к врачам:

— Вы, конечно, догадались, что все его слова — вздор, желание казаться умнее...

— Да, да, успокойтесь, ради бога, все будет так, как мы договорились,— отвечал ей главный врач, и слова его затухали, сливаясь в неразборчивое бормотание, по мере того как Душан удалялся от окон лечебницы. Он

все еще не остыл, был увлечен собственными переживаниями, потому не стал дожидаться матери, хотя она и очень просила Душана не уходить, вдруг среди врачей возникнет спор и они пожелают задать ему дополнительные вопросы.

Дома во дворе он увидел Амона с женой и тут же, с порога, хотел крикнуть что-нибудь шутливое, но Мавлюда повернулась и ушла в комнату, пряча от Душана раскрасневшееся от слез лицо.

Амон смутился было, но совладал с собой и бросился навстречу брату:

— Ну, что там — забавно было? Смешно?— И, всматриваясь в Душана, догадавшегося о том, что было между ним и женой, ударил себя в сердцах по лбу.— Это я сумасшедший! Истинно я... столько лет терплю ее!

Душан, желая отвлечь брата, усмехнулся:

— Я врачам такое наговорил! Пусть думают, что я вздорный, самолюбивый, горделивый — пусть! Но не жалкий, не задавленный всей этой каруселью, не озабоченный дележом... О пророке ихнем такого наговорил...— На еще не затухшем нервном подъеме к нему возвращался прежний пафос и желание говорить красиво.— Я вот, брат, не женат...

— И не женись никогда!— прервал его Амон, выразительно махнув рукой.

-- Не женюсь,— машинально согласился Душан.— Так вот... я не женат и не бабский угодник, сам знаешь, а уже во мне досада, и сомнение в прекрасной половине мира, и развращенное любопытство — и все после чтения их пророка, холодно и научнообразно и без всякого сочувствия и любви говорящего нам, смертным, о нас же самих. Он всю прелесть снял, всю тайну... вообще всякую тайну и чудо в мужчине и женщине и выставил голые восковые фигуры, якобы для познания которых надо глубоко нырнуть, глубже тайны и чуда! Мне чудо нужно, и тайна, и чтобы всякого человека я встречал с долей иллюзии... И пусть я буду потом, отрезвленный, прощаться болезненно с одной иллюзией за другой и так всю жизнь... Благо их много — иллюзий, хватит на мой век. А не хватит, я сам их придумаю и буду им верить...

Амон сидел рядом на кровати, опустив голову, в такой позе, будто не слышал брата, а думал все время о своем, мучительном.

Душан лениво потянулся, подвинулся на солнечную

сторону двора, чтобы погреться, и потухшим голосом сказал:

— Не знаю, может, я и не прав... не понял их пророка.

— Прав ты,— глухо откликнулся Амон.— Я все больше думаю, что именно ты и прав из всех нас... неустремленный и не погрязший в этих мелких штучках жизни, даже не знающий о них...

— Нет, почему же,— будто обиделся Душан,— знаю я все эти штучки мелкие... Правда, жил я как в тумане, воображением, пока вдруг не очнулся и не увидел, что все так реально, слишком выпукло реально... до боли в глазах. И тут словно мое сознание окунули в химию и держали в жестком соленом растворе реализма. Так что не думай, брат, я все делаю очень даже сознательно, по убеждению... И неужели я не знал бы теперь, куда применить эти мелкие штучки жизни? Слушай,— вдруг как бы опомнился Душан,— я давно тебя хотел спросить: где эти «бывшие» собираются? На каком базаре?

Амон непонимающим взглядом посмотрел на него.

— Ну, «бывшие», которых ты как-то привел, чтобы двор они убрали и палисадник перерыли...

— В «Бозори нав»*. А зачем они тебе?

— Я ведь тоже теперь хозяйчик,— загадочно улыбнулся Душан, боясь, как бы шальная мыслишка, повернувшая их разговор, чем-то не выдала себя преждевременно.

Мать вернулась, раздосадованная странным поведением Душана, но, увидев братьев, мирно греющихся на нетеплом уже солнце, подавила в себе горечь и даже невольно залюбовалась ими.

— Ой, Душан, как можно быть таким — не знающим свою пользу?! — не выдержала и пожурила она сына.— Хорошо еще, врачи оказались людьми сговорчивыми...

— Смотри что называть пользой... И вообще то, что для иного польза, мне обязательно во вред,— угрюмо проговорил Душан, но больше как бы споря не с матерью, а с Юртаевым, который снова стал раздражать его.

«Как бы отвадить его от матери,— мелькнуло у Душана.— И чтобы забыл он сюда дорогу, особенно теперь... когда я узнал о его домогательствах...»

Мать хотела ответить Душану резко, но, уловив предостерегающий взгляд Юртаева, сказала примирительным тоном:

* «Новый базар».

— Да, да! Я же говорю: то, что всем на пользу, ты умудряешься повернуть себе во вред... Теперь, когда мы выиграли дело...

— Так легко и быстро? Без особых жертв?— все более раздражаясь, язвительно прервал ее Душан.— Выходит, род наш, Темурий, оказался куда изворотливее и хитроумнее распавшегося давно аристократического рода Наби-заде. Ай да род Темурий! Слава! Слава!

Юртаев, весь вдруг засиявший дружелюбием, тем временем уже выносил из соседней комнаты стулья.

— Как здесь хорошо! Тепло и приятно! Давайте посидим все вместе и расслабимся,— предложил он.— Мы это заслужили, ей-богу...

Но всех что-то сковывало, какая-то недоговоренность, нехотя расселись и помолчали, хотя мать, чувствовалось, страдала от этой недоговоренности, смиряя в себе и желание высказаться теперь окончательно, и боязнь навредить этой откровенностью.

— Ты будто бы и не рад, что все так кончилось,— осторожно, подбирая слова, обратилась мать к Душану, взяв его за руку.— Врачи признали тебя вполне способным наследовать и иметь собственное имущество. Так что успокойся, никто не будет тебя никуда больше таскать... Я ведь понимаю, как это тяжело — все эти врачи, осмотры, суды, справки, адвокаты. Но ради большого, мне кажется, стоило пожертвовать малым... Все скоро забудется, ты женишься, будешь жить самостоятельно... А Бунафша, знаешь, я вновь и вновь приглядываюсь к ней, и она мне все больше нравится с каждым разом. Родная мать не будет против твоего счастья.

— Я не пойму — при чем здесь Бунафша?— мрачно глянул Душан на мать.

— Она ведь тебе нравится!

— И что есть то большее, ради чего я пожертвовал меньшим?— не обратил внимания на ее реплику Душан.— Ты ведь сама убеждена, что у меня все не так, как у людей,— пользу обращаю себе во вред. И может быть, это большее, что для других было бы пользой, для меня вредно...

— Может, ты понимаешь, о чем он говорит, Амон?— в сердцах обратилась мать к Амону.

— Он не женится... вообще не женится!— Амон пристал и отодвинул стул к стене, подальше от Юртаева.

Мать с подозрением всматривалась в лица братьев,

повернулась к Юртаеву, словно прося его поддержки, и вдруг спросила настороженно Амона:

— Где Мавлюда? Куда ты ее выгнал? Я не пойму... Вы сговорились против матери? Хорошо, пусть не Бунафша, хотя я думала, Душан, что она тебе нравится, и ты как-то говорил, что женишься на ней. Правда, тогда я посчитала это за глупость, но теперь, когда я поближе узнала Бунафшу, я даже полюбила ее. А когда вы решили помириться с ее братьями, вызвав их на дукбози, я совсем успокоилась, — торопливо говорила мать, со смешанным чувством растерянности и досады. — Это правда, что ты на ней не женишься?!

— Да, я передумал, — тихо сказал Душан, — все это меня давно настораживало, когда я видел, что в мою будущую женитьбу входит это неискреннее, корыстное. Я бы женился, если б не связывалось это с подаренным домом и деньгами. Но теперь это будет неискренно, нечисто. А я хотя бы здесь, в том, что зависит от меня, желаю искреннего и чистого. А не будет этого — так и вовсе никогда не женюсь... — Он глянул иронически на Юртаева, который сидел в такой позе, будто был посредником, сдерживающим началом в споре, и спросил: — А вам... может быть, вам, доктор, все мои разговоры об искренности кажутся вздорными?

— Нет, почему же, все разумно, — несколько не изменив своего дружелюбного тона, молвил Юртаев. — Поступай по совести... И не пойму, почему ты так непочтителен ко мне, называешь в усмешку доктором?

— Да, не смей так разговаривать с уважаемым человеком, который столько для нас всех сделал и больше всего для тебя! — прикрикнула мать на Душана.

Душан, однако, не смутился, только удивленно пожал плечами:

— Просто мне показалось любопытным ваше упоминание о совести, — сказал он, обращаясь к Юртаеву.

— Ну, конечно же, только ты один у нас страдалец и можешь так живописно рассуждать о совести, — горячо возразила ему мать. — Но все ложь и твои фантазии! Нет совести, знай это! И особенно теперь, когда совесть так обременительна! Есть лишь справедливость, и все ею измеряется. И не справедливость твоя или моя, а общая для всех справедливость, и только к ней надо и прислушиваться... А по справедливости надо, чтобы мать, взрастившая тебя, была обеспечена на старости лет и чтобы ты, нелепый и живущий себе во вред, имел бы

дом, куда ты смог бы привести жену. Пусть не Бунафшу — согласна! Ведь сам ты никогда не сможешь дом себе постронть и семью создать, — голос ее дрогнул от подступивших к горлу слез, но мать совладала с собой, вдруг резко встала и сказала угрожающим тоном: — И знай, если ты не сделаешь, как тебя учат, чтобы было тебе лучше, я поступлю, как врач посоветовал... в больницу тебя запрячут и опекуна назначат, как слабоумному...

Слова ее больно задели Душана, и не столько сами слова, сколько то, что мать высказалась зло.

— Да, я не против... если вы так решили, — голос Душана задрожал и умолк, не в силах выразить взволновавшие его чувства.

Зато Амона вид брата и то, как он сказал, так задело, что он не выдержал и крикнул:

— Да что мы, все с ума посходили?! И ты, мать... ты смеешь говорить такое сыну?! Это мы с ума посходили из-за этих денег, а не он! Клянусь!

Амон вдруг бросился, повторяя, «клянусь, клянусь!», в свою комнату, и все после секундного замешательства почему-то побежали за ним. А он уже хватал из шкафа хрустальные вазы, чашки и чайники — все, что собирал годами, чтобы ничем не уступать богатым соседям, — и с криком: «К черту все это! Дрянь! Мишура!» — выбрасывал из окна во двор, и осколки со звоном разлетались в разные стороны.

Мавлюда, все это время сидевшая, как взаперти, в комнате, не желая выходить к ним во двор, попыталась было остановить мужа, но он, разъяренный, отталкивал ее, но в какой-то миг вдруг обнял ее за плечи, приговаривая:

— Мы все с ума посходили, жена... не плачь о нас, не горюй... С ума сошли... А он, — показал на Душана Амон, в возбуждении подбегая к брату и обнимая его, — он мне теперь за отца. Не я, как старший, а он по праву доброго своего сердца. — И тут Амон остановился, как-то странно глядя на Юртаева, с таким видом, будто впервые видит его, и подступил к нему, зло выговаривая:

— А вам что здесь надобно, доктор? Ходите за матерью неотступно... Долю свою хотите? Нет здесь вашей доли. Прочь! Прочь!

Мать в возмущении подняла руки, словно хотела

удержаться за что-то невидимое, но Юртаев, нисколько не смутившись, повернулся к выходу и сказал:

— Это истинно по-нашему, по-бухарски: кто сделал доброе, получает раньше всех удар камнем.— И торопливо, хотя и сохраняя достоинство в походе, вышел к воротам.

— Ты что натворил? Как ты смеешь?!— крикнула мать Амону и бросилась за Юртаевым.

Слова ее будто отрезвили Амона, пошатываясь, он вышел во двор и, виновато поглядывая на Душана, сел рядом с ним на стул. Душан хотел чем-то утешить его, но сказал совсем не то, что собирался:

— Мне кажется, что отец... Я знаю, поверь мне, семья наша из-за него распалась, а потом он мать заложницей отдал Наби-заде.

— Откуда ты знаешь?!— будто что-то кольнуло Амона, какая-то догадка осенила.

— Поверь мне, знаю,— повторил Душан тихо.

Мать вернулась во двор, притихшая и растерянная, и Амон бросился к ней и схватил ее за руки.

— Не ходи больше за ним, прошу тебя, не пускай к себе. Мы будем жить вместе,— умоляющим тоном проговорил он.— Сейчас я тебе поклянусь заветной клятвой: я не оставлю жену свою, Мавлюду. Я это понял искренне... понял, что не надо обижать обиженную, а надо защищать ее. Будем жить все вместе и защищать друг друга... Мавлюда!— крикнул Амон жене.

— Я при матери, при брате своем, которого теперь буду слушать, как отца, клянусь не обижать тебя, Мавлюда, и прожить с тобой в согласии весь отведенный нам век. Слышишь меня?

— Слышу,— прошептала Мавлюда и разрыдалась.

— И это не я своим умом до простой истины дошел, что нельзя обижать обиженных... это он, брат мой: шепнул мне, молча шепнул, беззвучно добрым сердцем своим.— Амон обнял одной рукой мать, другой Мавлюду.— Вот я такой перед вами, прозревший на простой истине, просьбу мою прими, мать,— прогони его от себя, Юртаева. И заживем мы весело и счастливо...

— Не знаю,— упрямо тряхнула головой мать,— не знаю, как будет. У тебя своя семья. А мне? Как быть мне одной? Кто защитит меня? Утешит? Душан? Но Душану я не верю...

— Прогони его, мать,— Амон вдруг снова разволновался, повысил голос.— Разве ты еще не раскусила его?

Юртаев — не человек, нет! Это — даджжалы!* Клянись тебе! Он нечто порочное, что родилось в наше время, — без веры, без совести, без языка, никакому народу не принадлежащее, и все помыслы его — соблазнять, порочить, подтачивать и разрушать семьи. Вот его профессия! Прогони его, и мы заживем весело... Втроем заживем... А Душан... Разве ты не поняла, мать, что Душана влечет другое, не наша с тобой жизнь. Его что-то тревожит и манит. Я давно почувствовал, что оболочка его с нами, а душа устремлена. Куда? Зачем? Этого, наверное, и он сам толком не знает. Ну и пусть, дадим ему волю. А мы с Мавлюдой будем оберегать твою старость, мать...

— Ты о чем это, о какой воле?! — Мать опять занервничала, побежала к воротам, почему-то заперла их на засов и, вернувшись к сконфуженному Амону, замахала перед его лицом руками: — Молчи! Вы, видно, сговорились против матери. Но я вам не верю! Ни одному слову не верю... И как теперь я буду одна, меня не только чужие, но и свои готовы обидеть? — Она была так возбуждена, что Амон почувствовал себя растерянным и лишь слабо возразил:

— Но ведь он порочный... Я его всегда не любил.

— Тебе ли, которого испортили дармовые деньги, рассуждать о пороке?

Этот ее довод, кажется, окончательно смутил Амона, он выглядел растерянным и униженным, бросился снова к матери, чтобы просить у нее прощения:

— Прости меня, прости... И перед ним я унижусь. Упаду на колени и буду целовать след его ноги на песке. Буду просить вернуться к тебе.

— Да, да, иди и проси у него прощения! И ты, Душан! — властно повернулась она к невозмутимо стоящему Душану, взбодренная поведением Амона.

— Я перед ним не виноват, — сдерживая раздражение, проговорил Душан. — И брат тоже.

— Спокойно, спокойно. — Амон порывисто потянул его за руку к воротам и прошептал: — Не надо спорить, ты ведь видишь, ей плохо. — Крикнул Мавлюде: — Жена, собирайся! Едем в нашу квартиру! Погостили здесь — и хватит! Надо меру знать...

Но на улице, куда они все втроем вышли, опять почувствовал обиду и сказал с горечью:

* Буквально: мировой зверь.

— Дурно все вышло, брат, нехорошо... Я, может быть, впервые в жизни чуть прозрел, чуть приоткрылась душа, и захотелось, чтобы было — как лучше всем — и матери и жене... Но нет! Меня тут же одернули и поставили на прежнее гнилое место... Неужели мы все так глубоко увязли в своих страстишках, что нет нам уже веры и доверия и всякий мало-мальски добрый порыв вызывает сомнение?

Душан посмотрел на Мавлюду, желая понять, как же она переживает слова мужа, и тихо проговорил:

— Не сердись, время сейчас в семье такое, смутное, бестолковое. Все как без памяти, и будто в потемках не узнают своих — оттого и издерганны и злы... Ох, задал же нам всем головоломку Наби-заде! Наверное, знал, что все так повернется после его смерти, и усмехнулся про себя, довольный. Видно, никого не пожалел, вот и ушел, загадочно усмехнувшись...— Душан еще раз глянул на Мавлюду, смущенный ее молчаньем и будто полной отрешенностью от всего, что сейчас говорилось...— Но ты, брат, только, кажется, ты один пробрался сквозь туман, и хорошо решил, по совести решил. Я так рад! Очень рад, что у вас с Мавлюдой все теперь образуется... Буду в своих холостяцких пеших прогулках заглядывать к вам на чай, примешь, сестра?— улыбнулся он Мавлюде.

Лицо ее просияло, и она сказала торопливо:

— Ты ведь знаешь, мы тебе всегда рады... И из всех наших мы больше всех тебя любим.

— Спасибо,— по-доброму засмеялся Душан.— Только гость я скучный, прихожу, молчу, спрошу: «Амон дома?»— и ухожу. Такой я гость.

Так, разговоривая в приподнятом и шутливом тоне, остановились они возле квартиры Амона, и Душан, прощаясь, вдруг сказал несколько торжественно:

— И я пойду к себе, в подаренный мне дом. Похожу из комнаты в комнату и надуюсь от самомнения, чувствуя, как разжижается во мне желчь собственника... Гляну вокруг хмуро...

— Только не забудь: рано утром на скотный базар... Выберем такого сумасшедшего самца, от одного взгляда которого враг наш затрепешет...

Душан помахал им и пошел, переживая разговор с братом и чувствуя, как разбавляется все неприятное на душе, что поднялось и накопилось за сегодняшний день:

Время близилось к вечеру, но вместо обычных для этого часа криков со дворов, звона посуды, стука топора

шла отовсюду какая-то неестественная тишина, будто во всех домах собирались ложиться без ужина.

Душан с удивлением прислушивался и даже заглянул в единственное окно на всей длинной глухой стене — лишь тень мелькнула, свет погас...

«Что за день? — подумалось Душану. — Праздник какой? Ведь не день поминовения, не пост?.. Странно...»

И вдруг он услышал тихую мелодию, напрягся, но не понял, на чем это играют — то ли на гармонике... Откуда эти звуки, эти затерянные среди множества чужих мелодий... будто и сама гармоника затерялась, заблудилась.

И кто-то играл на ней так печально, словно вспоминал свою родину и свой язык, но память ускользала, искажала, и тогда мелодия напрягалась, чтобы вспомнить...

Чей зов это? Чья душа ищет? Кто потерял и не может найти? Душан стоял, вслушиваясь, и как всегда с ним бывало в минуты растерянности, успокоение и примирение он почувствовал в родстве с этим неведомым и зовущим...

А на следующий день многоголосье базара заглушило в его душе эти странные звуки — даллолы трясли братьев за руки, склоняя их к торгу, выкрикивали цены, сбавляя, но Амон хмурился и отворачивался, и чем дольше ходили они, придирчиво осматривая фыркающих самцов, хватая их за рога, тем сильнее нервничали, ибо тагал*, купленный Мирзаевыми, в нетерпении бился головой об столб в сарае, где был привязан в ожидании дукбози.

Торговцы поначалу удивлялись привередливым покупателям, но затем эти две мрачные фигуры, шагающие плечом к плечу, как один человек, стали раздражать их, и они то ли в усмешку, то ли из-за желания поскорее избавиться от них принялись объяснять, что бойцовские бараны нынче большая редкость, советовали съездить в сторону Самарканда, к горам, может быть, там повезет, называли и какой-то дальний кишлак на краю пустыни... и даже давали адрес какого-то Арслан-бая.

— Неужто и братья Бунафши ездили за своим бойцом так далеко? — уныло проговорил Душан, потерявший интерес к торгу.

— А зачем? Это мы с тобой неумелые, как в тумане... А они крепко сидят в вековечной нашей жизни, связанные обычаями и традициями, — знают, где взять, где

* Тагал — бойцовый баран.

ловко свернуть и как договориться. Нас же словно вытолкнули в новое и современное, а языка нам современного для общения не дали. Вот и ходим, как посмешище для всего базара...— сказал Амон, рассердившись, и снова бросился в толпу как бы в последнем, отчаянном усилии.

И вот среди всего этого плутовского накручивания появился старичок, молча потянул Амона за рукав в сторону и завернул к пустырю за глинобитной стеной, где мрачный и недоступный на вид мужчина держал за веревку черного барана, изогнутые рога которого почти что касались земли.

— Это именно то, что вам надо, клянусь предками!— сказал старик и так резко дернул веревку, что баран за сопел и боднул воздух.— Если бы вы знали, как развито в нем чутье, как он точен и изворотлив. Змея! Всю весну пробегал он по камням Шурвальского перевала, где и был обучен прыжкам и резким поворотам, а меткий удар свой тренировал на Купырском солончаке. Это наполнило его рога стальной пудрой и закрутило их в такой естественной форме, что он может достать соперника с любого поворота... С самого утра от покупателей отбоя нет, хотя весь покупатель жидкий и болтливый, словом, несимпатичный покупатель. А мы ждали достойных и потому даже спрятали тагала за стеной от дурных глаз... Я долго ходил за вами, слушал и понял, что вы самые достойные, ибо перевелись нынче молодцы, которые пускают перед собой на бой винторогих красавцев... Я назову цену, не скупитесь, и вас ждет удача, клянусь предками!

Даже и без этого длинного представления, которое искусно скрывало притворство, боец сразу чем-то приглянулся Амону — ведь был он уже уверен, что вернутся они сегодня с базара без тагала, и Мирзаевы поднимут их на смех, утверждая, что Темурий поскупился, не бросили на круг лишнюю сторублевку. Подействовало на братьев, может быть, и то, что хозяин спрятал своего барана в укромном месте, подальше от базарной суеты, да и сам вид упорно молчавшего мужчины интриговал, словом, понял Амон, что именно такого бойца они и искали.

Торг был краткий и быстрый, что даже старичка удивило. Амон раза два дернул барана за рога, а потом они ударили по рукам с угрюмым хозяином, сговорившись о цене.

Душан взбодрился, засмеялся, довольный, и потянул за собой на веревке бойца, который заупрямился было вначале, но затем засеменил, потряхивая поминутно головой, будто там, куда его вели, его ожидала вольная жизнь.

Так прошли они почти через весь город, а у ворот дома им встретился мастер Исмат, который, едва глянул на бойца, сразу что-то заподозрил, но вида не подал.

— Ну, каков наш боец, мастер?— самодовольно прокричал ему еще издали Амон.— Побьет он мирзаевского, рахитичного?

— Я ошибаюсь в тагалах,— уклончиво отвечал Исмат.— Вид их всегда обманчив... и вообще, не знаю, болеют ли они рахитом?

— Эмирский боец! Ханская кровь!— все похвалялся Амон, но Исмат извинялся, говорил, что пришел ненадолго, чтобы сказать о завтрашнем — мол, и место выбрано удачное, и публика соберется доверенная, ценители дукбози и доброжелатели, будет красивое зрелище...

Амон с подозрением слушал его, не понравилось ему, что Исмат тороплив и суетлив.

— Ты опять глаза прячешь, продажная душа!— воскликнул он, смешивая горечь с иронией.— Сговорился с противниками нашими... Ах, мастер, мастер.— И видно, еще не отошедший от базарной суеты, от криков и гомона, долго был возбужден, во дворе не находил места, куда бы привязать тагала, второпях задел виноградную лозу в палисаднике, поломал ее...

Мать вышла и смиренно глядела на все это, не раздражаясь ничему нынче, в душе, может быть, и радуясь хлопотам братьев, но не показывая вида. Вела она себя так осторожно, будто и не осуждала сыновей, но и не принимала близко к сердцу их волнения, как бы говоря: устала я и отошла от суеты, взрослые вы теперь и самостоятельные, делайте, что хотите, вам отвечать за содеянное, я же жить решила тихо и без раздражения, с успокоенной душой, без злобы и хулы... и такая приму всех, и добрых и недобрых...

Узнав, что Амон с Душаном решили заночевать здесь, в этом доме, чтобы рано утром прямо отсюда погнать своего тагала к месту встречи с Мирзаевыми, мать стала собираться в дом Наби-заде; говоря о грабителях, и эти переходы из дома в дом, которые раньше выглядели чем-то естественным, сейчас вдруг показались Душану хлопотными, тягостными для утомленной женщины. Неуж-

то теперь, когда дело о наследстве выиграно ею, мать на спаде настроения, почувствовала опустошение и даже разочарование? Неужто ей важен был сам порыв, сама борьба и соперничество с женщиной одного с ней возраста — Бону?

Душан хотел было забыть с этой мыслью, ибо она все же оправдывала мать чисто по-женски, но беспокойный Амон, который все время выходил во двор поглядеть на тагала, мешал заснуть.

— Да спи ты уже,— сказал Душан,— сил наберись, не то побьют нас с первого захода.

— Здесь не сила важна, а дух. Станем против них крепким своим духом.

Душан, приподнявшись, долго смотрел, как ворочается с боку на бок на своей кровати брат, и высказал то, что волновало его все эти дни:

— Ты смысл видишь во всем этом, брат? Я нет! Ну, собрались, ну, побили друг друга на глазах у толпы, силой померились. А дальше? К чему все это? Не лучше ли просто посидеть обоим семьям за угощением, пригласить весь гузар?.. Конечно, надо помириться! Обязательно! Тем более теперь, когда в собственной семье непокой... когда потрясло ее из-за этого наследства. Надо, чтобы мир был и покой...— Душан умолк, явно чего-то не договаривая, Амон подождал, ожидая, что он все же выскажется до конца, и спросил:

— Ты хочешь сказать, что раньше смысл был... из-за Бунафши? Ты что, брат, вправду остыл к ней? Не трогает она тебя больше?

— Не знаю...— тихо и с обидой сказал Душан,— мне кажется, она меня никогда не трогала. Это я просто так, навоображал себе... А теперь пригляделся и вижу, что она самая обычная.— обидно это очень. Как забегала с этими справками, такое рвение выказала, так выявила себя в суете... У меня что-то дрогнуло внутри, сжалось... Знаешь, брат, может быть, это и глупо, но я как раньше задумал, много лет назад, так и теперь на том стою... люблю, наверное, за что-нибудь особенное. А если кругом одна бабская суета, кому же мне душу доверить, какой женщине? Я душу свою на другое направлю... не знаю на что! Травинку буду любить, горлицу, слово простое: «Ау, люди!», свет промелькнувший, краски осени. Природа, она чем хороша? У нее вроде свои законы, но природа деликатна, не приказывает, не предписывает, она бескорытна и необидчива: хочешь —

люби птаху, хочешь — отвернись, не замечай ее... А женщина... она для тебя такую жизнь придумает... Нет, нет, ты не думай, что я посягаю на святое, женское. Просто все женское вокруг истрепалось и измельчало и сделалось бабским, взамен доброте и участию пришла лишь пошлая чувственность. А этого душа моя не может принять... Конечно, любой, кто бы сейчас меня услышал, мог бы с полным правом возразить: а сам-то ты кто, чтобы требовать для своей души чистого и подлинного? В тебе самом столько дурного. Права не имеешь требовать, довольствуйся таким же дрянным и дурным, ибо ты, мужчина, не меньше женщины виноват в ее бабском... И это тоже будет истина. От мужчины как часто слышим мы теперь вместо благородного гнева, страстного порыва чести просто злобное, а то и истерику и кривляние, ибо и мужественное выродилось в мужицкое с таким плутовским прищуром подглядывания и подмигивания... И это теперь-то, когда так нужен человек новой породы, выбросивший из своей души весь хлам вековечной пошлости, суеты и неверия и приспособленный для меняющейся нашей жизни с ее скрежетом и ломкой трущихся друг о друга частей традиционного и современного. Новый человек нужен, возвращенный из отборного зерна разных культур в глубоких толщах жизни... И как теперь быть? — растерянно заключил Душан.

— Беспокойная душа, — жалея брата, откликнулся Амон. — Не знаю, что тебе сказать убедительное. Да и смогу ли, ибо мучает нас разное. Твоего мне не понять, хотя чувствую я, что мучает тебя то, что должно мучить совсем зрелого и умудренного. И может, поэтому я и сказал во всеуслышанье — искренне сказал! — что я тебя, младшего, за отца считаю и ни приказывать тебе отныне, ни учить тебя не могу. Ты — старше! Ты и есть тот идущий новый человек, не похожий на людей из тех двух поколений, ни на деда, не успевшего, как он сам признался, попасть в эпоху, ни на отца, которого жизнь так оглушила бравурными звуками, что вместо благородного гнева — верно ты подметил — вышла у него одна истерика и кривляние...

— Насчет деда и отца ты точно выразился, — удивился и порадовался Душан его словам. — Но вот я... какой я новый человек?! Это идеал, но каков он — об этом я даже сказать не могу. Может, он еще и не родился, а лишь зародыше природы, в яйце... А может, и природа пока еще напрасно откладывает такие яйца, слишком

мала температура душевного нагрева вокруг, чтобы из яиц этих что-то вылупилось. Вот и лежат они и каменеют миллионы лет. Ведь откапывают же в далеких пустынях окаменелые гигантские яйца и, не находя лучшего применения, выдают их за яйца динозавров...

Амон помолчал, должно быть, не заинтересовавшись тем, что сказал Душан, затем вдруг спросил:

— Не бывает с тобой такого фокуса? На меня часто находит что-то, забудусь, закрою глаза и воображаю себя маленьким, будто я воплотился, мальчиком стал... сыном, о котором так мечтал! И вот маленький, желаю я ласки и защиты, и будто сам я добрый, ласковый, все берут меня на руки, целуют... Но потом вздрагиваю от страха и думаю: ведь такого беззащитного задавят меня, унизят, и тогда я снова выпрямляюсь со сжатыми кулаками и принимаю защитную позу...

Этот откровенный ночной разговор будто снял с братьев давно накопившееся раздражение, и, может быть, поэтому проснулись они бодрые, с хорошим настроением, хотя и спали всего пару часов. Во дворе было тихо, не шумели и соседи за стеной, обычно в этот час готовящие завтрак, и было такое ощущение, словно они притаились и ждут чего-то особенного.

Так же тихо и безлюдно было на улицах, по которым братья погнали тагала, ближними гузарами, торопясь к крепостной стене у Шергиранских ворот. Никто, однако, не торопился на зрелище, мелькая на параллельных улицах, никто не пытался догнать их даже в тесных переулках, и это настораживало Амона. Душана же заботило другое, и он заранее переживал свое смущение перед толпой, которая соберется на пустыре, это сожмет его в неуклюжих движениях, как будто и не натаскивал его столько дней мастер Исмат... Всплывала из подавленного, смутного ощущения мысль о Бунафше, что-то неопределенное: то ли вопрос к ней невысказанный, то ли тревога и ревность.

Уже недалеко от Чашма Аюба по лестнице, ведущей вверх по базарной площади, бросились в их сторону двое, как-то нелепо размахивая руками и всем своим сконфуженным видом прося извинения за то, что не успели они еще втиснуться в толпу зрителей, в нетерпении пританцовывающих в забеленном инеем поле. Один из встречных оказался знакомым Амона, но Амон не сбавил шага — должно быть, этика горделивости не разрешала ему, участвующему в кулачном бою, быть запанибрата с

обыкновенным зевакой, дабы судья не заподозрил предварительный сговор поддержки.

Потом еще один показался слева, а на том месте, где дорога сужалась, раздваиваясь, и тропинка вела на место дуэли, поравнялся с братьями незнакомец, подобострастно кивая.

Это взбадривание торопливого ритма, в котором неслись братья, погоняя упрямого барана, сочувственное подмигивание знакомых, спешащих на дукбози, вдруг как бы осветило и выразило выпукло зрелище открывшегося пространства, и первое, что увидел оторопевший Душан, был покачивающийся длинный столб.

Четверо молодцов из числа помощников Исмата, обхватив столб, пытались вогнать его в яму, но всей своей тяжестью столб наклонялся то в одну, то в другую сторону, таская молодцов вокруг ямы, как в пьяном хороводе.

Эта забавная картина, чем-то понравившаяся Душану, сняла с него остатки робости, уже заранее перегоревшей, Душан весело и открыто глянул, и взгляд его сразу выхватил из толпы Бунафшу, стоявшую рядом с Мавлюдой, Миракова, знакомые лица соседей из гузара. Мальчишки восторженно носились всюду, высовывая из толпы лукавые рожицы. Братья Мирзаевы стояли, поглаживая своего тагала, но Душана более всего взволновал Мираков, издали махнувший ему рукой.

Исмаат, выглядевший сегодня не таким, каким привыкли видеть его братья, приятно возбужденный, в светлом-синем шелковом халате, делающем его фигуру легкой и стройной, встретил Амона и Душана несколько выпрненным обращением:

— Добро пожаловать, джигиты... Спасибо вам за праздник.— И сделал знак помощникам, которые подбежали к Амону и братьям Мирзаевым, чтобы увести их бойцов на осмотр.— Здесь все друзья и соседи, любят и уважают друг друга и терпеть не могут плутов, мошенников и тех, кто затаил в сердце зависть и злобу — таких мы давно изгнали бы с позором из нашего круга,— продолжал торжественным тоном Исмаат, обращаясь то к братьям Темурий, то к Мирзаевым, и Душан понял, что такие, специальные подобранные слова, были в стиле судейства.— Так поприветствуйте же друг друга по-доброму, все уже истомились...

В толпе послышались подбадривающие возгласы, задние продвинулись вперед, стихийно смыкая круг так, что

братья-соперники оказались внутри этого круга и, как бы подталкиваемые сзади нетерпеливыми взглядами, пошли навстречу друг другу; впервые со дня многолетней ссоры каждый пожал каждому поочередно руку, сдержанно и чинно, и отошел назад.

— Спасибо, братья, спасибо за уважение, — продолжал подбадривать Исмаи, бегая по кругу, и не только жестами и отдельными высокопарными репликами, но и всем своим видом профессионального устроителя зрелищ пытался создать вокруг атмосферу легкости и веселья. — Так потекла жизнь, так сложно закрутилась она, что ушли, притаились бухарские удальцы, поражавшие мусульман и Ближнего и Среднего Востока, Багдада и Исфахана своим умением весело и мужественно отстаивать в честном поединке доброе имя своей семьи и свое нетленное имя... Поле это давно не оглашалось возгласами одобрения, стены и ворота. — Судья повернулся, жестом указывая в сторону полуобвалившейся крепостной стены и ворот, кованных железом и угрюмо стоящих на собственной тяжести, без стен и подпорок — память о недалеком простодушном времени, когда город запирался на ночь, и продолжил: — Эти бойницы давно не видели молодцов, решивших по доброму нашему обычаю, на виду у всей честной публики протянуть друг другу соседскую нить любви и согласия... Так возродим же былой крепкий дух бухарской игры!

— Хорошо говорит, бродяга, — шепнул, усмехнувшись, Амон, и слова брата будто окончательно вернули Душана в волнующую атмосферу происходящего. Цепкий взгляд его успел заметить все, что, казалось, было скрыто за суетой первых минут: из множества зрителей выделил тех, кого он знал как знакомых Амона, а по виду незнакомых догадался, что собрались здесь торговцы и мясники, пронырливые складские работники... и столб успели поставить, зажечь огонь под двумя большими свадебными котлами, и в отблеске пламени Душан различил чуть хмельные уже лица тех, кто пришел показать свое поварское искусство, чтобы снять потом навар с щедрого угощения, которым закончится собрание.

— Ну, как тагалы? — крикнул Исмаи. — Не страдают ли бешенством? Нет ли какого обмана? Не вкручены ли стальные пружины в их рога? Не пабиты ли их желудки маковыми зернами для искусственного возбуждения? — спрашивал он, и, судя по шутливому тону, все

больше для этики, а не желая разоблачить мошенничество.

— Все в порядке!— ответили помощники. Они уже тянули назад бойцов, мирно обнюхивающих друг друга и не желающих расходиться в разные стороны, к своим хозяевам.

— Спасибо! Я несколько не сомневался в честности моих братьев!— снова заученно выразился Исмат и кивнул помощникам справа, гардеробщикам,— они уже давно держали наготове легкие ватные халаты и ждали его знака.

Гардеробщики лихо помогали братьям снимать куртки, чтобы набросить на их плечи халаты бухарского покроя с широким разрезом на груди и длинными рукавами, подшучивали, закатывали рукава почти до локтей и, накручивая, натягивали на талии пояса. Амон же язвил по адресу тагала, купленного Мирзаевыми, говорил, что пожалели они лишнюю сотню...

— Смотрите, он все время чихает, у него печень простужена,— говорил он, зло посмеиваясь, и гардеробщики ему подыгрывали подобострастно. И туго натягивали пояс, так что Душан еле стоял на ногах.

Душан опять разволновался, а когда бросили ему боксерские перчатки и он нехотя стал натягивать их, взгляд его снова поймал в толпе Бунафшу и Миракова, которые оказались теперь рядом, и оба подбадривающе помахали Душану. Душана это почему-то смутило, и он решил не думать о них до конца дукбози.

— Шире круг, земляки и братья!— Исмат, доселе стоявший в каком-то мрачном раздумье, вдруг опять, словно опомнившись, забегал, размахивая красным платком.— Я знаю сдержанность моих земляков, она даже вошла в поговорку: когда нашему эмиру Чингисхан отрубил голову, голова, рассказывают очевидцы, отлетая, удивленно спросила: «И это все?»

В толпе послышался смех, и Исмат, довольный тем, что расшевелил зрителей, деликатно, словно смущаясь, добавил:

— Знаю, что выдержанность моих земляков и на этот раз окажется на высоте и во время дукбози кругом царит тишина, которая хорошо действует на дух бойцов...

— Если, конечно, голова моя, отлетая, вдруг не нарушит тишину какой-нибудь репликой!— сказал смельчак из толпы, чем опять подогрел веселье.

— Мы на лету голове заткнем рот!— смеясь, ответил Исмат и махнул красным платком, давая знак к началу боя.

Амон и Гани, молодежато переглядываясь, потянули своих тагалов на круг, зрители пропускали их, хватая баранов за рога, хлопая их по бокам, подшучивая и споря о том, кому во сколько обошелся его боец на бойком базаре. Уже возбуждались страсти в ожидании поединка тагалов, а когда взвинченная этим зрелищем толпа станет требовать продолжения дукбози, выйдут и станут у столба братья.

Исмат приказал соперникам остановиться друг против друга и, перед тем, как пустить тагалов на середину круга, еще раз напомнил зрителям о правилах приличия.

— Здесь все бескорыстно,—пытался убедить их судья,— нет ставок, нет алчности выигрыша и унижения проигрыша в звонкой монете. Не обижайтесь, земляки, но тот, кто будет уличен в азарте ставки на тагала, с позором уйдет с нашего праздника!— Хотя по тону, каким он все это говорил, можно было догадаться, что ни одно дукбози никогда не обходится без денежного расчета азартных ставок.

Красный платок судьи снова взвился в воздухе, и помощники бросились снимать ошейники с тагалов, но тагалы, настроенные совсем не агрессивно, обнюхивали промерзшую землю и храпели. Хлестнули их веревкой по бокам, натравляя друг на друга, под гул зрителей бойцы побежали на середину круга, но вместо того, чтобы с разбегу боднуть и зацепить рогами соперник соперника, оба остановились и миролюбиво соприкоснулись черными носами.

Душан, стоя в первом ряду, видел, как зрители в напряжении, шаг за шагом, продвигались поближе, ожидая, что после тихого знакомства тагалы неожиданно резким ударом начнут поединок и будут биться отчаянно до тех пор, пока не отломятся рога у одного из них и униженный не отойдет в сторону, всем своим видом прося пощады.

Амон подтолкнул своего тагала; взбадривая его, и Гани хлестнул своего плетью, бойцы упрямо замотали головами, словно возбуждая в себе ярость, но вместо резкого и точного удара зацепились рогами, запутались и застыли так, не двигаясь и даже не пытаясь освободиться.

Среди зрителей послышались смех, шутки:

— Договариваются о мировой... Узнали друг друга близнецы...

И Душан, которого также развеселила эта картинка, подумал:

«А ведь и вправду, они как близнецы, оба одной масти... потому, наверное, черная не идет на черную...»

Исмат подбежал вместе с помощниками, и они стали вкручивать стальной прут между рогами тагалов, чтобы разнять их, а Амон и Гани в сердцах пинали их сзади ногами.

Бойцов оттянули друг от друга на середину круга и взмахами плетки опять направили на удар, тагалы резко прыгнули, подбадриваемые возгласами зрителей, а когда бросились, подняв острые рога, снова, как и после первого разбега, остановились, явно не желая биться.

В толпе засвистели, заулюлюкали, слышались реплики:

— Облезлый осел проворнее...

— Давно пора стариков на шашлык, для тех, у кого зубы еще крепкие!

Душан смутился, увидев Амона таким растерянным, зато Гани упрямо пожимал плечами, что-то втолковывая Исмату, и объявил во всеуслышанье:

— Мой боец никогда не дерется со слабым соперником! Так сказал Азим-бай, который обучал тагала, а лучше Азим-бая нет мастера!

— А не сказал ли тебе Азим-бай: берегись, если твой тагал убежит с позором из круга, то ты сам будешь побит?!— язвительно улыбаясь, ответил ему Амон и под смех и свист зрителей крикнул:— Расчистить поле, на шашлык обоих баранов! Веселиться так веселиться!

— На шашлык! На плов!— слышались радостные возгласы со всех сторон, и видно было, что зрители, раздосадованные странным поведением тагалов, не пожелавших биться, утешали себя предвкушением щедрого пиршества. Бараны, видно, предчувствуя свой печальный конец, упрямо не желали расходиться по обоим концам поля, где возле котлов мясники уже точили ножи.

Братья-соперники понуро глядели им вслед, не понимая, отчего вышло все так по-глупому, то ли торговцы сплутовали, сумев ловко сбыть им недрачливых баранов с разжиженной кровью, то ли тагалы сами не взбодрились и, обнюхав друг друга, остудили горечь желчи,

словом, внесли путаницу в порядок дукбози, зрелищем яростного поединка не настроили агрессивно ни толпу из круга, ни своих хозяев, которые должны были после них выйти к столбу.

Один только Исмат не был, кажется, обескуражен неудачным выходом тагалов, и, глядя на него, Душан все больше проникался симпатией к судье, который был по-прежнему весел, удачно шутил, словом, умело возбуждал атмосферу игры и праздника.

-- Прошу, земляки, соберитесь теперь вокруг того столба позора. Настал черед наших удалцов, и мы надеемся, что они покажут высшую игру и доблесть — за себя и своих тагалов! — говорил Исмат, выразительными жестами зовя за собой зрителей к столбу, вокруг которого земля была ровно утоптана и расчищена.

Амон обнял брата за плечи и пошел, кивая знакомым, отвечая на их шутки, подбадривания. Когда Душан проходил мимо Миракова, не выдержал и удивленно спросил:

— И вы здесь? Рад вас видеть... — Но голос его и ответ Миракова был перебит криком Амона, озорно и иронично обратившегося к Мавлюде и Бунафше:

— Страдайте за нас, красавицы! Омойте наши раны слезами...

Возле столба, называемого Исматом «позорным», братья Мирзаевы и Темурий, столько лет враждовавшие между собой, искавшие любой, даже самый мелкий повод, чтобы насолить, навредить, были сейчас спокойны, смотрели друг на друга доброжелательно, и Душан подумал, что, может, сама обстановка и то, что они оказались на виду у всех, настраивали на мирный лад.

— Мне, грешному, пришлось не только натаскивать ту и другую стороны, обучая приемам дукбози, но и быть посредником, а теперь волею судьбы и судьей, — снова обратился Исмат к зрителям. — Справедливость требует, чтобы старший брат дома Темурий вышел против старшего Мирзаева, младший же против младшего. Жребий определит, кто станет первым, ухватившись за позорный столб, чтобы принимать удары. — Вынул из кармана металлический рубль, показал всем и, прошептав шуточно нечто вроде заклинания: «Куф! Суф!», снова спрятал и протянул руки, сжав кулаки.

Рахмат, весело крикнув: «Таваккал!»*, хлопнул судью по руке и под свист и крики сконфуженно отошел в сторону.

— Первым бьет Душан!

Душан, услышав свое имя, глянул по сторонам, словно ища поддержки, но лица все были чужими...

— Как будем состязаться? Тан ба тан** или обе пары сразу?— спрашивал судья.

— Тан ба тан!— слышалось из толпы.

— Прекрасно! По правилам можно бить одним, в крайнем случае для разнообразия двумя видами ударов. Или кулаком и головой, или, скажем, только ногами и ладонью открытой руки — торасаки... Вы какой удар предпочитаете, брат Душан?— и здесь соблюдая манеру всегдашнего вежливого обращения к Душану, спросил Исмат, смущаясь чего-то.

Такое поведение на мгновение расслабило Душана, и теперь он как будто из дальнего далека слышал, как кричали ему из толпы, подбадривали:

— Бей ногами! А потом еще удар кулаком! Не промахнешься!

— Лучше с разбега головой! И коленом — в пах! Сразу согнется!

— Я буду только кулаками,— сказал Душан, сжимая перчатку.— Только ударом кулака. Так мне удобнее,— словно оправдываясь, тихо добавил он, удивляясь тому, что сказал совсем не о том, о чем заранее договаривался с братом — бить с разбега, подпрыгнув, пяткой в живот и ребром ладони.— быстрыми, короткими ударами по шее...

— Только кулачными ударами — условие принято!— с досадой в голосе проговорил Исмат и обратился к Рахмату, который уже стоял наготове, в позе, крепко обхватив столб; весь напрягшийся, всей тяжестью тела упираясь о землю.— А теперь договоримся о количестве ударов... Сколько ударов достаточно вам, чтобы устоять на ногах, брат? Тридцать? Сорок? Счет должен быть приемлемый для обоих противников...

— Будем биться до тех пор, пока один из нас не пригвоздится к этому позорному столбу,— куражился Рахмат, явно ожидая похвалу зрителей.

— Согласен,— сказал Душан, не чувствуя ни азарта, ни возбуждения соперничества, и, видя его таким,

* «Таваккал» — здесь в смысле «была не была!».

** «Тан ба тан» — «один на один».

Амон подбежал к брату, чтобы напутствовать его перед поединком:

— Ну, встряхнись же! Вспомни, как они всю жизнь изводили нас оскорблениями и насмешливыми прозвищами. Не подведи, брат, отомсти.— И отошел, с тревогой поглядывая на Душана.

Но и слова Амона не расшевелили Душана, и он злился на себя и досадовал за то, что пришел биться не из-за Бунафши, что почти равнодушен к ней и не будет ревновать, если узнает, что переживала она за своего брата.

— Начинаем самую прекрасную часть зрелища!— Слова судьи, поднявшего свой красный платок, будто подхлестнули Душана, и, чувствуя, как все вокруг затанцовало, он подбежал к Рахмату и, замахнувшись, ударил по спине. Неточный и несильный удар скользнул по халату соперника, зацепив перчаткой за пояс; Душан не целясь и сгоряча, на одном лишь нервном возбуждении, добавил еще и левой рукой, но Рахмат как стоял с самого начала, усмехаясь, так и остался стоять, даже не согнувшись, не дрогнув, будто врос в столб, сделавшись самой крепкой его частью.

Вокруг, по рядам зрителей, гул, начавшись с отдельных еле слышных реплик и восклицаний, завихрился, завертелся, будоража Душана, и на этой волне подъема, весь отдавшись порыву, он бил без пауз и передышки, ничего перед собой не видя, кроме столба и полосы халата, будто Рахмат так изловчился, что уже висел на столбе, зацепившись за него и ногами.

Но после нескольких прицельных ударов движения Душана стали однообразно машинальными, рука его не чувствовала более силу приложения и упругости отталкивания, будто все время скользила мимо тела Рахмата,— в нем так и не возбудился азарт, легкость, желание победы. Сознание его было застелено слепым туманом неосознанности, ненужности всей этой затеи на виду у сотен знакомых и незнакомых людей и обреченностью от слабеющей с каждым ударом руки.

Амон, бледный от отчаяния, поминутно шепчущий себе под нос ругательства, еле сдерживал себя, чтобы не броситься к столбу на помощь брату, и только строгие взгляды Исмата, который не меньше Амона был удивлен и раздосадован поведением Душана, не давали ему нарушить распорядок дукбози.

Рахмат все это время должен был крепко стоять на

ногах и беззвучно переносить удары до тех пор, пока Душан сам не ослабнет от собственного рвения и в знак снисхождения не опустит перчатку. У Рахмата же другого выхода не было, как защищаться ловкими поворотами тела, наклонами, избегая прямых ударов, хотя остерегаться их не было особой нужды, ибо Душан вел себя как необученный новичок, удары которого скользили, еле касаясь противника.

Вокруг посмеивались неодобрительно и издевательски, требовали настоящего кулачного боя, да так настойчиво, будто жалели о зря затраченном времени и о денежных своих ставках.

— Да очнись ты, парень! Зря, что ли, я на тебя ставил?!— не выдержал и крикнул кто-то, и крик его окончательно сковал Душана, показавшись наглым и оскорбительным. Не помня себя от гнева, он замахнулся, но удар ушел мимо, и это разом потушило еле тлеющий порыв, и он с обидой и злостью сорвал с руки перчатку и бросил ее на землю.

От неожиданного жеста его вокруг все разом утихло в напряженном ожидании. Где-то промелькнул Исмаат, махая платком. И тогда Рахмат с показным удивлением на лице повернулся к Душану и спросил:

— Шудед-ми, таксир? *

— Да, я кончил,— пробормотал Душан и добавил таким обиженным тоном, будто с самого начала подозревал всех в сговоре против себя:— Я ведь не скаковая лошадь, чтобы ставили на меня...— И хотел было уйти из круга, но, увидев испуганного Исмата рядом с собой, вспомнил, что теперь его черед стоять у столба, заторопился и стал, ухватившись за дерево, не в силах унять дрожь во всем теле.

— Было прекрасное зрелище, сосед, не огорчайтесь,— принялся успокаивать его Исмаат.— Столько точных и красивых ударов! Спасибо!— И крикнул зрителям с долей лукавства в тоне:— А насчет ставок я уже предупреждал! Уличенный будет с позором изгнан, как прокаженный, из всех увеселительных собраний, мужских озорных посиделок, и дурная молва будет преследовать его повсюду, до скончания века.— Сказав это высокопарное, смешанное с нелепицей, Исмаат, у которого уже иссякало красноречие, снова махнул своим красным платком.

Все замерли, всматриваясь в Рахмата, а тот еще

* — Вы кончили, господин? (тадж.).

постоял, поправляя на руках перчатки, всем своим мрачным, решительным видом как бы подразнивая публику, которая уже готова была криком одобрения поддержать его бросок в сторону безвольного противника, так безнадежно испортившего зрелище.

Словом, все жаждали отмщения, но Рахмат странно-лениво приблизился к столбу, несильно ткнул перчаткой в бок Душана и опустил руку. Никто ничего не понял, и прежде всего сам Душан, который, едва ухватился за столб, вдруг почувствовал в себе защитный прилив, дремавший дух, который вдохнул в него крепость и стойкость, желание выстоять до конца.

Но второго удара не последовало, вместо этого Рахмат отошел назад и, опережая уже накатывающий гул недоумения, поднял обе руки над головой и объявил во всеуслышанье:

— Я кончил!— и дерзко оглядел всех, как бы еще раз подчеркивая свое право.

Взгляд его, должно быть, более всего возмутил толпу, и по кругу — зрители словно выхватывали друг у друга эстафету, чтобы поупражняться в обвинениях,— завихрилось:

— Жульничество! Позор!

— Они заранее сговорились! За сколько ты ему продался, Рахмат?

— Детские шалости, а не дукбози! Опошлили игру; примешав мелкую хитрость и корысть. Не мужчины! Выродки!

Слева круг согнулся и вытянулся, расстроившись от возмущенных зрителей, которые двинулись на середину, к столбу, непонятно, с каким намерением, но Исмат бросился на них, в отчаянии размахивая плетью и отесняя назад, его помощникам пришлось даже пару раз пустить в ход кулаки.

— Все по местам! Не то я снимаю с себя халат судьи и покидаю поле свободным гражданином: Все у нас в дукбози идет по правилам. Можно закончить свой выход и одним-единственным ударом, как сделал брат Рахмат. Но в этом случае победа засчитывается тому, кто дал больше ударов! Победил брат Душан!— торжественно объявил Исмат, и тут же без паузы, словно и сам не очень-то верил в сказанное, добавил:— Терпение! Терпение, земляки! Я уверен, что вторая пара порадует нас еще более впечатляющим боем!

Душан слушал Исмата, не отходя от столба, и по-

прежнему держась за него крепко, словно то внутреннее, что поднялось в нем, чтобы защититься, продолжало жгуче дразнить и волновать кровь. И лишь услышав из толпы чей-то незнакомый голос: «Молодец, Душан! Так им — мясникам, конторщикам!», сразу отрезвел, остыл, словно одобрение это и было заменой его готовности выстоять, и, повернувшись, чтобы уйти, вдруг подумал с досадой: «Это он ради Бунафши не бил меня, пожалел жениха...» И, не глядя ни на кого от злости, протиснулся через ряды зрителей, уже потерявших к нему всякий интерес, и неожиданно оказался совсем недалеко от Миракова. Он так удивился и обрадовался этому, вспомнилось почему-то, что, когда стоял у столба, все время думал о старике, будто одному ему и дал слово выстоять в единоборстве, и вот теперь обостренное чувство само привело его к тому месту, где стоял Мираков, безошибочно найдя его среди сотен людей.

— Как вы узнали о нас... что именно сегодня?.. — воскликнул Душан, и Мираков, будто умеряя его страсть, положил руку ему на плечо и, потянув к себе, с теплотой прижал к груди.

— Дня мое... Весь город уже давно говорит о том, что две семьи чудаков решили возродить дедовский обычай и решить свой спор в рыцарском поединке. Думал: валом будут валить и все ноги отдавят,— говорил он своим обычным насмешливо-смущенным тоном, кажущимся Душану всегда таким убедительным и бесспорным, — но смотрю: народу хоть и предостаточно, но вот эта смазка, это обвинение в чудачестве повредило. Ведь чудаков в наше время если не бьют, то просто отмахиваются от них, как от воробьев... Простите,— спохватился Мираков,— я разболтался оттого, что рад вас видеть. И еще меня все это страшно взволновало — ведь последний раз я смотрел дукбози, кажется, еще до войны. Сколько лет прошло?.. А сам бился за честь одной прекрасной особы еще в год бегства эмира...

Душан всматривался в лицо Миракова с таким восторженным любованием, что старик не выдержал его взгляда и все время опускал глаза.

— Я много раз собирался сходить к вам, но все суета... домашняя карусель,— попытался оправдаться Душан, заметив, каким умиротворенным выглядело лицо Миракова, будто само его существо отделилось от нервного, суетного, мелкого, с чем соприкасался все

долгие свои годы, и сделалось свободным для внутренней тишины и отрешенности.

— А я ведь уже не в управлении. Вместо вас взяли какого-то старичка, мне надоело целыми днями говорить с ним о наших болячках. И я взял и уволился,— снова не без лукавства сообщил Мираков.

— Значит, вы теперь свободны?! Приходите завтра в дом... в бывший дом Наби-заде, прошу вас! У меня одна идейка беспокойная... Обещайте, что придете!

— Опять идейка?!— прищурился Мираков, неодобрительно покачав головой.— Ладно, приду... А теперь — смотрите, братец ваш...

Амон и мирзаевский Гани о чем-то шептались с судьей, напирая на него с обеих сторон, да так настойчиво, будто угрожали. Исмат вкрадчиво втолковывал что-то одному, то другому, затем в сердцах махнул рукой и, шагнув вперед, объявил:

— Эта пара молодцов изъявила желание биться, не держась за столб, как за подол матери. Они примут удары открытой грудью, крепко стоя на ногах и не прося пощады. Спасибо им! Так бьются только самые отчаянные молодцы! По рассказам дедов наших, в таком открытом бою бухарец одним ударом свалил насмерть монгольского баскака! Но мы не монголы и не баскаки и будем биться красиво и изящно, как и подобает истинным бухарцам, которых один китаец без всякой задней мысли назвал «парижанами Востока».— Исмат радовался собственному остроумию, кривя рот и передразнивая не то парижан, не то китайца, и слова его, и веселье снова возбудили толпу, уже раздосадованную неудачным выступлением первой пары.

Под одобрительные крики помощники Исмата бросились вынимать столб из ямы, убрали удивительно легко то, что так долго и мучительно вставляли, и поволокли к шипящим котлам, возле которых уже висели на крючках дышащие паром, только что разделанные мясниками туши тагалов, и принялись отчаянно рубить столб топорами сразу с обеих сторон и подбрасывать щепки в пламя.

А Исмат тем временем уже снова разыграл жребий, перекладывая из рук в руки свою тяжелую монету-рублевку, и Гани, который должен бить первым, выкрикнув что-то победное, поднял вверх перчатку.

Амон же, ухватившись за ворот собственного халата, будто в такой позе он становился намного сильнее,

в нетерпении пританцовывал, пытаясь нащупать под ногами твердое и ровное, чтобы любой, даже самый сильный удар, не мог подкосить его.

— Соперники договорились бить головой и ногами! — сообщил Исмат и, словно боясь, что зрители снова заскучают, энергично махнул платком.

Гани отбежал на несколько шагов, принял «бычью» позу и долго целился, зажмурив левый глаз, и, взбадриваемый криками: «Ур! Ур!»*, бросился на Амона, чтобы ударить головой в живот, но Амон, легко так, играючи, чуть наклонился, подняв плечо; удар протянулся мимо и затух, Гани же в порыве поскользнулся и чуть было не свалился на землю. И тут же, закружившись, как юла, на одной ноге, опять кинулся на соперника, желая ловким ходом ошарашить его, но Амон, заранее угадав его хитрость, увернулся от прямого удара и на этот раз.

Гани злился, напрягаясь в ярости, а это еще больше подзадоривало Амона. Кажется, его заботила не сама победа в поединке, а желание нравиться зрителям весельем, озорством, легкостью самой игры, и такой он действительно нравился всем.

Душан и Мираков также любовались тем, как легко уходил от ударов Амон. Душан весело оглядел толпу, но Бунафшу не увидел, Мавлюда стояла одна в стороне с бледным, растерянным видом, боясь даже посмотреть в ту сторону, где бился ее муж.

Толпа же, зараженная игрой Амона, смеялась над неуклюжими попытками Гани задеть своего соперника, и эта разлившаяся повсюду симпатия зрителей к нему, должно быть, и расслабила Амона, притупила его бдительность. Никто даже толком не успел разглядеть, как это Гани, целившийся головой, вдруг сумел в какие-то доли секунды подпрыгнуть и так ударить пяткой Амона в грудь, что тот сразу же рухнул как подкошенный.

Толпа замерла, глядя на корчившегося от боли Амона и ожидая, что любимец ее, пересилив себя, вскочит и снова станет в позе весельчака и балагура. А когда Исмат подбежал к нему и наклонился, зрители не выдержали, передние бросились, подталкиваемые задними, смешались, окружая вдруг притихшего и лежавшего без движения Амона — его, должно быть, умиротворила заботливая атмосфера сочувствующих.

* «Бей!»

Душан уже дернулся было, чтобы кинуться к брату, но сдержался, сделал бесстрастный вид, когда поймал на себе ликующий взгляд мирзаевского Рахмата.

Амону наконец помогли встать, поддерживая его с обеих сторон. Бледный и растерянный, он хотел было снова занять место на середине круга, но покачнулся и остановился, в досаде кусая губы и готовый заплакать от злости и обиды; видно было, что удар ногой, доставший его незащищенную грудь, мешал ему прийти в себя.

Гани, которого прямо-таки распирало от горделивости, быстрыми, небрежными кивками поклонился во все стороны зрителям и объявил:

— Я кончил, братья!— И повернулся к Амону с усмешкой:— Теперь ваш черед, прошу!— И пошел твердой походкой, играя всеми мускулами тела, и стал на том самом пятачке, где минуту назад вселил публику его противник, за что и поплатился жестоко.

По взглядам и репликам чувствовалось, что капризный и переменчивый зритель, обманутый в своих ожиданиях, сразу же подавил в себе симпатию к Амону, чтобы презирать его за слабость, теперь кричали:

— Он как пьяный в потемках! Вот потеха!

Амон сейчас и вправду мог быть только посмешищем для злых языков, ибо нетвердо держался на ногах, хотя и очень старался превозмочь боль и казаться еще драчливым, а может, думал даже взять реванш не точностью ударов, так ловкостью и маленькими хитростями, которым обучал Исмат на случай, если рука подведет, ослабевшая...

Он долго целился, приняв позу боксера с вытянутыми вперед кулаками, затем бросился для удара, но вдруг остановился как парализованный в двух шагах от Гани, под смех зрителей повернулся, делая вид, что уходит, чтобы снова разбежаться, но, повернувшись лишь вполоборота, неожиданно замахнулся, явно рассчитывая на то, что соперник не ожидает нападения, но неудачно. Гани успел наклониться, стремительно отреагировав, и Амон, споткнувшись, чуть было снова не упал.

Вокруг загалдели, засвистели, отворачивались, а кое-кто и вовсе выходил из круга, не желая больше зрелища и требуя, чтобы судья скорее вмешался и назвал во всеуслышанье Гани победителем. Размахивая энергично руками, сделавшие ставку на Амона до хри-

поты спорили, и, должно быть, всех одинаково будоражил уже запах шашлыка и жаркого, идущего от котлов.

Исмат, обняв Амона за плечи, долго в чем-то убеждал его, Амон, поначалу не соглашаясь, упрямо мотал головой, поглядывая на Гани косо, затем, видно, прислушался к доводам судьи, который поспешил объявить:

— Сегодня, согласитесь, земляки, нет побежденных. Но есть один, очень веский победитель. Это уважение и братство двух семей-соседей, которые отныне ближе и роднее самих дальних своих родственников. Так обнимитесь же, братья, пусть все возликует, глядя на ваш прекрасный союз!— И, взяв под руки Амона, повел к Гани, который, видно, только и ждал этого момента, ибо тут же бросился навстречу поверженному противнику, крепко обнял его и поцеловал.

Душан смутился, не зная, идти ли ему к середине круга, но Рахмат сам подбежал к нему и тоже обнял под одобрительные возгласы окружающих, и, думая, наверное, что этого мало для убеждения в искренности, еще и руку пожал, и панибратски похлопал по плечу.

— Мир!— повторял он. —Сердце без злобы...

— Мир, мир,—простодушно кивал Душан, чувствуя, как от беготни вокруг, толкотни и криков попадает в новый ритм, который может быть и легким, озорным, но и утомительным, в зависимости от того, как повернется настроение толпы, уже колеблющееся... Бунафшу увидел недалеко от себя, и, кажется, Юртаев промелькнул в толпе...

Ритм торопливого веселья стал завлакивать, подгоняемый криками подростков:

— На угощение! На угощение!— И хотя люди постарше из этики лишь почтенно кивали, в их взглядах также чувствовалось нетерпение и настрой, внутренняя готовность к соперничеству иного рода, в ужении не прозевать кусок пожирнее в узком кругу приглашенных на угощение.

Уже бежали помощники Исмата, неся на плечах туго скатанные циновки, бросали их под ноги и раскатывали ловко, расстилая полоса к полосе. Вся бесхитростная посуда для гульбища на открытом воздухе с ее простой грубой едой снималась одна за другой из стопок играючи... Алюминиевые чашки и стальные подносы звенели, и керамические аляповатые блюда сползали

по гладкому камышу циновок, к острому примешивался запах опаленной шерсти тех двух неудачливых тагалов, шкуры которых были постелены для самых уважаемых. В числе них были братья Мирзаевы и Темурий, теперь уже не соперничающие и вымученно настраивающие себя на веселье, Юртаев, неизвестно откуда появившийся, но сидящий с таким видом, будто давно захвачен приятными зрелищными переживаниями, что-то шутиливо рассказывал смущающемуся Миракову.

Смущение проглядывалось и на лицах Мавлюды и Бунафши, которых также пригласили, правда, на самый край почетного места. Складные стульчики, которые были поставлены для женского пола на шкурах тагалов, как бы венчали своими силуэтами общую картину неотлаженности симпатий и привязанностей собравшихся на пиршество, и Душан, встретившись взглядом с Бунафшой, вдруг и себя поймал на неудобной отрешенности от происходящего. Он уже беспокойно жил другим, был мысленно устремлен в новое, переживал это новое, хотя и не чувствуя до конца его шемящего вкуса, и поэтому показалось сейчас Душану, что и Бунафша тоже в другом, то ли безнадежно отставшая, то ли, наоборот, ушедшая вперед, и поэтому никак теперь не совпадающая с его душевным, манящим, новым...

Это меланхолическое переживание Душана вдруг заглушило слишком громкое восклицание Исмата, который, устроившись между братьями, разом потерял былое достоинство и сладкоречие, хватая блюдо с жирными кусками мяса, и чмоканьем и хихиканьем показывая свое нутро лавочника, чревоугодника и гуляки.

Впрочем, это могло быть и настраивающим его жестом, приглашением к раскованности и грубоватому веселью пиршества, ибо вокруг сидящего сразу же завертелись помощники судьи и повара, и еще два-три добровольных любителя обслуживать, получающие от этого не меньшее удовольствие, чем от самого лакомого куска баранины. Из рук в руки передавались блюда с шашлыками и кебабом; над рядом выстроившихся помощников от котлов до круга пирующих вместе с паром витал мясной и кровяной дух; отчего лица всех лоснились особым лоском довольства в предвкушении жирного, сытного. Пиалы пошли по рукам между блюдами с жареным, и во всей этой вертящейся, несущей, бега-

ющей атмосфере, после чего ритм веселья как бы разольется во всеобщее сосредоточенное питье и жеванье, Душан пропустил момент, как Исмат, уже чуточку хмельной, поднялся с чашкой в руке, чтобы сказать тост.

— Я буду краток, земляки,— предупредил он, но почему-то говорил так долго и путано, что утомил всех.— Человек я простой, вы все знаете, торгую в смешанной лавке солью и баклажанной икрой, мылом, печеньем, а теперь уже все чаще...— как их назвать?— шайтанским отребьем... консервированными кальмарами. Мир огромен, земляки, всюду океаны, которых мы не видим и где обитают, как мне шепнул всезнающий наш ученый — книжник Улуг-заде, эти кальмары. Может быть там, где-нибудь в Гималайских горах, ест их скот привозную верблюжью колючку из наших степей... Что я хочу сказать? Человек я простой, и очень дорожу своей дружбой с Улуг-заде. Я обучил братьев-молодцов Мирзаевых и Темурий всем правилам дукбози, и лучше меня никто не знает их сильных и слабых мест... И я счастлив, мой скромный труд так соединил обе противоположности, так склеил трещины и линии обрыва, буд-то самим небесам было это угодно! Что я хочу сказать? Словом, я счастлив, что силы братьев оказались равными, без победителей и побежденных! Отпразднуем же их прекрасный союз!— несколько поспешно предложил он, без каких-то еще подводящих к этому слов, хотя его поспешность как бы подхлестнула всех, раздосадованных длинной речью

Странное чувство охватило Душана среди хмельных разговоров, среди жующих и восклицающих от удовольствия. Глядя на Бунафшу, к которой Гани все время пододвигал блюдо с шашлыком, чувствовал грусть, и подумалось вдруг:

«Вот и ее потерял... Все другое... Многое еще впереди, а потерь уже сколько... и новые... новые подступают, пока не оторвешь от сердца с горечью...»

— Да очнись же, брат,— пододвинулся к нему Рахмат, протягивая чашку.— Я с детства мечтал, вот подрасту и посижу с братом Душаном,— как-то смешно выразился он, без иронии, даже, кажется, с искренней теплотой.— И вот мы наконец сидим рядом, а ты, брат, весь сжался.— Отчего? Ты такой всегда... загадочный. Вот и Бунафша кричала на меня: «Хам ты! Плоский, как доска!»— И он подмигнул сестре, которая, все боль-

ше удивляясь замкнутости Душана, с недоумением поглядывала на него.

Душан, будто желая что-то доказать ей, напрягся и глотнул из чаши, и то ли убедил себя в том, что он теперь тоже как все, свойский и веселый, то ли что-то действительно отпустило его внутренне, так что слух его обострился и он отчетливо стал различать голоса и слышать то, что говорилось всем и все слышали.

— Я с самого начала знал и поставил на Гани. Интуиция!

— Он только с виду казался таким вялым и меланхоличным, этот младший Темурий. Кто мог знать?!

— Слышал? Они на нас ставили, эта свора торгашей и сапожников!— толкнул Душана в бок Рахмат, показно возмущаясь, будто никогда не догадывался об этом.

— Главное ведь не это...—неопределенно выразился Душан, не зная, как говорить с ним на эту тему.

— Конечно! Главное теперь — ваша семья для нас как родная, мы все как одна семья, и ты брат мне...— наклонился и горячо задышал над его ухом Рахмат, но Душан, отвлекшись на другой голос, вдруг услышал явственно среди гомона, как Амон умоляюще говорит Юртаеву, протягивая ему блюдо с головой тагала, черную, лысую теперь, без рогов, обретшую под искусной рукой повара форму большой тыквы:

— Прошу вас, главе — голова, отведайте, вы ведь самый старший здесь и уважаемый...— и говорил он это так заискивающе, поглядывая на Юртаева, что Душан дрогнул и отвернулся.

— Старше всех нас и уважаемее, мне кажется, вот кто,— отвечал Юртаев, довольный и польщенный, и в ответ был слышен испуганный голос Миракова:

— Да нет уж, простите, голова в наше время достается самому ученому и умнейшему, кроме же вас, просрите...— И дальше Душан услышал лишь невнятное бормотание старика...

— Ладно, отведаю,— все важничал и тон свой сгущал до твердости Юртаев, хотя и пытался разбавить его иронией.— Какого же тагала эта голова? Мирзаевского или ваша, Амон?

— Должно быть, наша!— с готовностью откликнулся Амон.— Потому должна быть сладкая...

И реплика эта тут же сменилась звуками дутара рядом, и Душан увидел, как Рахмат настраивает, пере-

бирая струны, от тянучих звуков до озорных и легких, и, кашля и пробуя голос, готовится затянуть песню.

«Как глупо,— подумал Душан,— ведь никогда брат так... а сейчас лебезит и унижается перед Юртаевым...»

Понимая всю безвыходность его положения, всю тоску его и злобу, он чувствовал обиду за брата. И все после того скандала... мать металась, настаивала, Амон почти что на коленях просил Юртаева вернуться, тот, оскорбленный, отворачивался, заложив для выразительной позы руки за спину, но затем смягчился вроде бы.

«Я перед даджжалом пал ниц! Я даджжала мужем своей матери признал!»— кричал Амон и рыдал, бегая как в лихорадке по двору и проклиная все на свете, а потом вдруг сел и притих, будто прозрел и примирился.

А Рахмат уже запел, нангрявая себе и лихо поглядывая то на Душана, то на Бунафшу.

Милый, так давно тебя не было... Милый...
Горлицы свили себе гнездо в нашей корзине.
Свили, закрыли и вывели птенцов... Милый...
Птенцы оперились... оперились и улетели.
Ой, сколько тебя не было, милый...

Вокруг, обнявшись и раскачиваясь в такт мелодии, подхватили хмельными голосами:

Ой, сколько тебя не было, милый...

Рахмат, будто взбодренный хором, вдруг схватил Бунафшу за руку и потянул к себе:

— Иди же, сестра, сядь рядом с братом моим Душаном!— И, грубо усадив ее возле себя, снова ударил по струнам дутара:— Горлицы свили себе гнездо в нашей корзине...— И пока хор подпевал ему, вдруг зло шепнул Душану:— А ты почему не со всеми? Не поешь?! Знай, я тебя всегда ненавидел, весь ваш гнилой род ненавидел.— И, неожиданно вскочив, бросил дутар на землю и толкнул Душана к Бунафше.— А сейчас бери ее! Бери при всех и целуй! Не гляди, что здесь люди, плюнь, ты ведь богатый наследник! Тебе все дозволено!— И словно в каком-то беспамятстве заметался, потянул испуганную сестру изо всех сил, толкая в объятия оробевшего Душана.— Бери, целуй ее при всем народе, если ты джигит!

В первые секунды все словно оцепенели от его выход-

ки, Гани вскочил было, чтобы вмешаться, но остановился, по-глупому хохоча, непонятно, что ему привиделось, пьяному.

— Бери! Целуй! — раздались голоса, и Рахмат, еще больше распаленный этим, кинулся к Душану и, схватив его крепко за талию, попытался поднять, но не осилил и, споткнувшись, чуть не упал.

Бунафша в страхе металась, не зная, как выбежать из плотного окружения хохочущих и дразнящих, но Рахмат двумя прыжками догнал ее и крича: «Обнимитесь же! Жених и невеста!» — повалил сестру на землю и поволок, рыдающую и сопротивляющуюся, к тому месту, где стоял Душан. Что-то болью прочертилось внутри Душана, пронзив его гневом и отвращением, и, заметив рядом с собой сконфуженного Исмата, Душан выхватил у него из рук плеть и изо всех сил полоснул ею по лицу Рахмата.

Все разом — крики, хохот — оборвалось, и в мертвой тишине слышно было, как угасает свист плети. Мелькнул силуэт убегающей Бунафши, Рахмат же продолжал сидеть на земле, закрыв вздувшееся лицо руками, и тело его содрогалось, должно быть, от боли и обиды.

Брат Гани, проходя мимо него, остановился на мгновение в ярости и, подняв ногу, хотел было пнуть Рахмата в спину, но передумал и только проворчал:

— Идиот! Всем праздник испортил! — И, обращаясь к публике, которая, обсуждая происшедшее, уже начала расходиться, пояснил: — Он совсем пить не умеет. У него сразу разум мутнеет... простите его, простите...

Хотя все, что произошло под занавес пиршества, показалось Душану до обидного нелепым и жестоким, сильнее всего его задело происшедшее потом, когда рассыпался круг пришедших на дукбози.

Но, рассыпавшись, все стало собираться опять в ином количестве, по интересам и парам, растекаясь из пустыря по ближним улицам и переулкам.

Каждый потянулся к ближнему себе по духу и доверенному. За Душаном бросился Мираков, утешая его и все время повторяя: «Как дурно вышло! Как по-хамски дурно!», но Душан молчал, ни о чем теперь ясно не имея суждения, будто все, что он знал и понимал, разом спуталось и искажало его сознание. Так шел он рядом с безудержно болтавшим Мираковым, пока вдруг не пробило из тумана сознания, не осенило, и он

крикнул: «Сундучок!», вспомнив о матери, которая должна была ждать его в этот час дома.

— Что это вы, дитя мое?— удивился, сбавляя шаг, Мираков.— О каком таком сундучке?.. Вы забыли его на пустыре?

— Нет, нет, меня мать ждет!— поспешил успокоить его Душан и возле дома Наби-заде увидел мать, а также Амона с Юртаевым, поразившись тому, что эти двое не только пришли сюда раньше, хотя встали из круга позже, но и успели уже перегворить с матерью, рассказав ей, очевидно, и то, что произошло во время дукбози с Рахматом...

— Я ведь всегда знала, сколько в Мирзаевых грубости и пошлого,— только и сказала она Душану, как бы сочувствуя и боясь чем-то лишним испортить главное, саму торжественность и многозначность момента.— Ты уж прости, Душан, так будет надежнее...— и выразительно глянула в сторону Миракова, который, поняв намек и засмутившись, стал быстро прощаться.

— Так до завтра!— крикнул ему вслед Душан и пошел за всеми в дом, но в комнату, куда устремились мать с Юртаевым, не захотел входить, сел во дворе на стуле, чувствуя страшную усталость. Амон хотел было идти за матерью, но передумал, вернулся к Душану и, тихий, сожалеющий о чем-то, стал рядом с братом.

— Ну что, брат, как дальше?— тихо спросил он, чувствуя, должно быть, свою вину за то, что пошел с Юртаевым и, ожидая сейчас его у ворот, согласился с доводами матери.— Как будешь дальше?

— А что дальше?— будто встрепенулся от дремоты Душан.— Дальше—ведь это так длинно. Дальше, еще дальше—и так до бесконечности. Что-нибудь да утрясется, что-нибудь да уляжется. Я в хорошее верю...

Уже мать с Юртаевым выходили, Юртаев бережно нес закрытый красным бархатом, да еще обвязанный каким-то ремнем тот самый сундучок с золотыми и бриллиантовыми вещичками, которые вместе с пачками банкнот, закрученными грубой бечевкой, по праву наследования принадлежали Душану.

Мать, словно почувствовав минутную слабость стыда и желая не показать этого, взволнованно и громко заговорила:

— Поскольку ты здесь решил жить один... мне страшно, поверь. Не дай бог, грабители... А у нас все твое будет под неусыпным наблюдением. Мы даже ре-

шили к сундучку этому приделать сигнализацию, чтобы в случае чего милиция была поставлена на ноги по тревоге... И так он будет охраняться, а в день твоей свадьбы сундучок откроется торжественно, ослепив всех красотой и изяществом...

«Делайте, что хотите. Хотите, забирайте все себе, тратьте, продавайте, зачем ждать?» — хотел было искренне предложить Душан, но сдержался и промолчал, боясь, что слова опять будут неправильно поняты.

А потом весь вечер ходил он в одиночестве по всему дому, заходя то в одну, то в другую комнату, прислушиваясь и как бы снова обретая ясность сознания и тишину, тишину в душе.

«Вот прожил здесь человек, — подумал он о Наби-заде, — а потом ушел. Ведь говорил о чем-то, может, спорил, смеялся, а может, и всплакнул пару раз, огорчившись из-за своих непутевых детей. А потом отняло у него от паралича язык, и даже когда дети гоняли его по всему дому, из угла в угол, чтобы показал он якобы спрятанные драгоценности, слышны были бормотания... внутренний голос, загнанный глубоко... И где витают теперь эти звуки, смех его и рыдания? Где услышать их, в какой из комнат? Может, в них тайна какая и сокровенное? Смысл большой спрятан, а для общего человеческого общения слышится как простое и банальное слово?»

В какие-то моменты ему казалось, что он сам перед собой лукавит, желая услышать в тишине голос жившего здесь ранее, и тогда Душан с досадой думал, что утешится и воображаемым, придуманным, даже если от Наби-заде остался лишь вздох зевоты, одной затяжной зевоты, заключивший всю длинную череду дней, похожих одна на другую.

И испытывая всевозрастающее беспокойство и волнение, Душан, едва рассвело и послышались скребущие звуки метлы фарроша, вышел к воротам. Посмотрел по сторонам, как бы пытаясь угадать, кто же первый объявится из стариков — Мираков или Чуббоз * Али, вернее, бывший акробат, и беспокойство заставило его почему-то вспомнить о Рахмате.

«Зачем же он так? Унизил сестру при всех, — с горечью подумал Душан. — Но, может, он и не такой злой, просто его толпа подзадорила — утонченные бу-

* Чуббоз — акробат на ходулях.

харцы, парижане Востока...» Чувствуя, что мысли его перескакивают и думает он сейчас от волнения не о том, Душан вернулся во двор и прислушался.

Горлица заворковала, и какая-то птица с резким свистом вылетела из палисадника, словно укололась об острые шипы чайной розы... Такая картина и такая тишина, что в самый раз бы заплакать от ощущений добрых предчувствий, и слезы эти были бы чистыми, как роса. Вот воздух настоящий, и вот луч солнца... И от созерцания всего этого Душан не сразу услышал стук в ворота.

Все шестеро стариков, которых собрал когда-то для уборки двора Амон, как и в прошлый раз, пришли вместе. Едва Душан открыл ворота, как они глянули мимо него в глубь двора, как бы оценивая меру старания, которое им придется вложить, чтобы все было чисто убрано. И, видимо, оставшись довольными, посмотрели на хозяина дома без всякого интереса, как бы давая понять, что, кроме самой работы, которую надобно выполнить добросовестно, их ничто другое корыстное не занимает — желание урвать побольше, обмануть.

После этого бессловесного представления, переступая порог, один из них, Саид-Ахтачи*, снова повторил фразу, услышанную Душаном и во время первого знакомства, и которую они, должно быть, повторяли изо дня в день в разных домах, куда их приглашали на работу:

— Извините, мы, может быть, чуть опоздали, но у нас правило — собираться в условленном месте, возле бани... а с годами у одного ноги теряют резвость, у другого зрение слабеет, и он идет в темноте, держась за стены...

— Это я путаю теперь правую свою ногу с левой, — загадочно усмехнувшись, сказал старик Хаким, и Душан, растерянный и обрадованный тем, как тепло ему стало от самых первых их слов, воскликнул:

— Это вы меня простите!.. Мне хотелось выйти к большой улице, чтобы встретить вас, но проспал... Сейчас и Мираков придет, — добавил он, все еще смущаясь, и, уловив недоумение в глазах Саида-Ахтачи, поспешил пояснить: — Он мне как наставник здесь, в городе... А в деревне у меня дед. Я очень привязан к старым людям и прислушиваюсь, когда они наставляют меня добрым советом.

* Ахтачи — конюх.

Старик Хаким, чуть прищурившись, всматривался в Душана, слушая его торопливые излияния, затем обратился к кому-то из своей компании удивленно:

— Послушайте-ка, и это говорит брат того молодого человека, у которого мы были летом? Совсем другой, совсем другой человек. — И тут же, спохватившись, спросил: — Что прикажете? Двор убрать, виноградник подрезать? — И Душан, который мучительно вспоминал, вдруг по интонации его голоса вспомнил, как рассказывал старик, хотя и скупно и нехотя, Амону, о том, что был он во времена, когда требовалось красивое и терпеливое письмо, каллиграфом, переписывал замысловатой арабской вязью книги по врачеванию, отрывки из жизнеописания святых и главы из алгебраических учебников и имел двух помощников в своей рукописной типографии.

Сейчас же в его руке сверкнула короткая пила и лязгнули садовые ножницы, вынутые из чехла, кто-то заскрипел веником, выпрямляя его, мусорный совок звякнул... Заранее не договариваясь, опытным глазом определив каждый место своей работы, взялись они за уборку двора и палисадника, и был у них у всех такой вид, будто боялись причинить малейшее неудобство хозяину дома толкотней, суетой, лишним словом и неосторожным движением, и Душан, еще с прошлого раза отметивший про себя такую их черту, проникся к старикам симпатией и даже запомнил их имена, и то, чем занимались они, начиная еще с эмирских времен и вплоть до предвоенных лет, пока длинная череда алфавита в письме кисточкой, окрашенной тушью и гуашью, не сменила свинцовым набором в типографии, а акробатика на ходулях и скоморошья пьески на площадях посередине ярмарки — ослиным и медвежьим цирком заезжих гастролеров, с диковинными для бухарцев именами на афишах — Тобоззи, Мариотти, Аквинский.

Душан, все более чувствуя себя смущенно от безделья, искал случая вмешаться в общий ритм работы и чем-то помочь, но боялся нарушить отлаженность каждого их движения, рассчитанного на взаимную помощь, — видно, за много лет совместной работы они научились делать все с ловкостью одного, шестиголового и двенадцатирукого, существа.

Благо подоспел Мираков, который и спас своим появлением Душана от смущения, ибо как бы ни пытался Душан спасти себя сам, даже надменностью, которую на-

Чускают на себя хозяйчики, пригласившие работников, выглядело это комично.

Стариков, кажется, не заинтересовал приход Миракова, он же, придирчиво посмотрев, как подрезают гнилые лозы виноградника, сгребают в кучи опавшие листья, выпрямляют чуть наклонившиеся столбы навесов, в нетерпении шепнул Душану:

— Ну что вас осенило на сей раз, дитя мое? Рассказывайте... — По всему было видно, что он пришел сюда помимо своей воли, не желая нарушать обещанное, и оторопился назад.

— А вы что... вам надо скорее уходить? — с долей обиды и досады спросил Душан.

Мираков помялся, пожимая плечами, не зная, говорить ли ему, но решился, в сердцах махнув рукой:

— С ума сошла! Больше нет объяснения — бабская упрямоть. — И, уловив недоумевающий взгляд Душана, пояснил: — Я о той прекрасной особе, которую вы как-то мельком видели у меня... С утра опять скандал, ссора! Но я-то знаю, что непременно, еще до обеда надобно упасть на колени и просить прощения, иначе будет новый, еще более громкий скандал... за которым может последовать буря и землетрясение...

— А я думал, что вы побудете весь день, — растерялся Душан, всем своим видом как бы умоляя его. — А потом, может, и поживете здесь... и мы поговорим о многом, важном...

— Тогда давайте так, — забеспокоился старик, — я убегаю назад и упаду перед ней на колени прямо сразу с порога, не дожидаясь обеда. И мигом обратно!

— Так будет, наверное, гуманнее. Не то злоба — такая штука, чем больше ее оттягиваешь, храня в сердце, тем больше она накручивается плотными кольцами, — почему-то виновато улыбнулся Душан.

— Мудрец! — лукаво глянул на него Мираков и быстро пошел к воротам. Душан, проводив его, вернулся во двор и ходил потом до самого полудня, беспокоясь от чего-то смутного, неосознанного.

Близко к обеденному часу Душан вдруг вспомнил:

«Мне ведь нечего подать им на обед», — и пошел к ближнему квартальному базарчику, стал торопливо, не торгуясь и не пробуя, покупать и складывать в сумку все, что видел вареного, печеного, зелени и яблок, и, пока возвращался назад глухими переулками, в мыслях его оформилось логично, убедительно то, что хотел он ска-

зять этой шестерке старателей, не желая смущать их или ставить в неловкое положение.

«Им здесь будет вольно и хорошо», — заключил он и, зайдя в гостиную комнату, стал складывать на низеньком столике посуду — весь дорогой фарфор, выставленный в шкафу, все китайское, музейной редкости, совсем не думая этим богатством ни ошеломить, ни подразнить работников — просто все другое, для повседневного пользования, было сложено где-то на кухне, но там сейчас как раз убрали, и Душан не хотел беспокоить старика Хакима.

«Вот ему я и скажу», — подумал Душан, наблюдая из окна за тем, как старик подтягивает ослабевшую петлю двери, делая это с каким-то даже изяществом, будто предварительно рисуя в своем сознании каждый поворот инструмента. И по всему было видно, что в нем еще не забылись творческие навыки, не угас окончательно порыв, который уже давно не находил себе лучшего применения, ибо старик Хаким, работавший когда-то архитектором и все больше по возведению куполов на мечетях — самой сложной части постройки, — не сумел потом перейти на новый зодческий стиль бетонных домов, не почувствовал интригующей вязкости материала, потому и тихо отошел в строй «бывших», подрабатывающих себе на оставшуюся жизнь такими случайными заработками.

— Прошу вас в гостиную, ведь уже время обеда, — сказал Душан, невольно залюбовавшись тем, как чисто работает старик.

— Нет, нет, не волнуйтесь, молодой человек, мы никогда не садимся за еду, пока не кончим работу, — сказал старик так, будто даже остался недоволен приглашением, но, видя сконфуженное лицо Душана, шутливым тоном добавил: — Иначе расслабишься, ко сну потянет, а среди нас есть такие храпуны — ой! ой!

Теплота почувствовалась в его тоне, легкое ироническое подзадоривание, и Душан, давно мучительно думавший о том, как найти с артельщиками доверительный контакт, ухватился за возможность продолжить разговор:

— Может, если я подсобил бы, то скорее кончилась бы вся эта работа. Я с радостью... Вы не подумайте, что я хожу с таким видом, будто мое дело только платить. Нет! Нет! Просто я не знаю, боюсь помешать вам, сделать что-то не так, — торопливо проговорил Душан и хотел еще что-то добавить оправдательное, но ответа не услышал, и ни выражением лица или жестом старик не

выразил своего отношения к услышанному, продолжая неторопливо работать.

Другие так же молча делали свое в разных местах двора, одни ставни скошенные подгонял к окну, Саид-Ахтачи соскабливал ножом окаменевший слой глины с порога гостиной комнаты, Али-Чуббоз собирал в подол своего рваного халата комочки ваты, видно, лежавшие здесь еще со дня похорон Наби-заде...

Под самый конец работы вернулся Мираков — такой возбужденный, будто усмирил не одну бурю и отвел не одно землетрясение.

— Вот теперь совсем другой вид! — сказал он, торопливо оглядывая двор. — Раньше же боязно было заходить, словно здесь не жилой дом, а обитель шайтана! Ведь недаром же говорится, куда ступит нога семи праведников, там шайтан вопиет от ужаса! Простите, уважаемые, что и я причислил себя к вашей компании, назвавшись седьмым праведником...

— Если вы наставляете этого молодого человека, то вы — праведник, и ни один шайтан не смутит его, — удивительно серьезным тоном ответил на шутку Миракова старик Хаким. — Я чувствую это по его взгляду, походке и словам...

Душан, радостно встретивший появление Миракова, не знал, как воспринимать их слова, он искал в них нотки, которые помогли бы ему чувствовать себя раскованно и убедительно высказать то, о чем хотел сказать.

— Я накрыл в гостиной, — шепнул он Миракову, глядя на то, как неторопливо, тщательно артельщики чистят свои инструменты, пряча назад в чехлы, как стряхивают пыль со своей одежды, будто нарочно оттягивают время, не желая садиться за стол.

— О, посуда как в лучших ресторанах Стамбула! — воскликнул Мираков, широким жестом приглашая всех занимать места за столиком, куда Душан выложил все, что купил на базарчике, боясь, что и этого окажется мало.

Али-Чуббоз из деликатности взял одну из тарелок и, ударив пальцами, прислушался, как зазвенел фарфор, и сказал почему-то совсем не то, что ожидал услышать Душан:

— Хороший дом, еще тысячу лет престоит. Но за ним нужен уход и уход.

— Все верно, — поддержал его старик Хаким, отламывая хлеб и обмакивая его в чашке с чаем. — Таких

домов в городе осталось, наверное, с десятков, и по всему видно, что строил Усто-Шер, его почерк. Мой учитель, Усто-Пулод, работавший одно время архитектором самого эмира и выгнанный из дворца за то, что с ума сошел, влюбившись в одну из наложниц гарема, рассказывал, что знаменитый Усто-Шер был человеком весьма прелюбопытным, ночью бродил один по улицам, нашептывая стихи, и не раз попадался в руки миршаба. Тут с него все чудачество исчезало, и он тянулся к кошельку, чтобы отделаться от назойливого миршаба взяткой...

Душан, обрадованный тем, что наконец-то старики разговорились, вмешался, заметив, что все они, как и старик Хаким, едят только хлеб, смачивая его в чае, и ни к чему больше не притрагиваются.

— Ешьте, пожалуйста... Здесь все, что я смог купить,—простодушно признался он и, глянув на Миркова так, будто искал у него поддержки, добавил:— Дом этот странный... нет, не то чтобы сам был странный, он действительно старинный и крепкий, но странно мне достался, совсем неожиданно и нежелательно для меня...

— Мы знаем всю его историю,— сказал Али-Чуббоз просто.

— Знаете?!— удивился и еще больше разволновался Душан.— Откуда? Да, да, конечно, в городе, наверное, было столько разговоров из-за этой судебной тяжбы... нелепой и жестокой тяжбы детей с уже покойным отцом, будто бы он подарил все это в беспамятстве сумасшествия... Да что я рассказываю?! Вы ведь все сами знаете... Я даже хотел дом этот передать детям... брошенным детям, но судебная тяжба тогда еще шла, и директриса заподозрила что-то нечистое и отказалась...

— Мы все знаем про тебя, Душан,— снова бесстрастным тоном проговорил Али-Чуббоз.— В городе нет ни одного двора, где бы мы ни работали, а те, кто нас принимает, как правило, оказываются людьми, любящими выбалтывать чужие секреты. Вот так, сидишь с ними после работы за чашкой чая и слушаешь, а потом берешь, кто сколько даст, по совести, и уходишь, не обидевшись малому вознаграждению и не обрадовавшись большому...

— Наверное, и про наше дукбози слышали?— вдруг вспомнил это Душан.

— Услышали заранее и решили дать себе отдых на один день и пошли, смотрели все до конца.

Душан так поразился его словам, что не знал, как сразу ответить, зато Мираков поспешил подтвердить:

— Да, да! Вот теперь-то вспомнил, где я вас видел... На дукбози!

— Я тоже о вас кое-что знаю... потому что думал после того дня, как работали вы в том доме,— почему-то с обидой проговорил Душан, но тут же подавил в себе горечь и попытался улыбнуться.— Жалко, конечно, что все так дурно вышло. Вы видели, как я поднял плеть на соседа. Злого в нас много... Говорят: наша восточная мораль в справедливости. Тебя ударили плетью по лицу, и ты получай по справедливости ответный удар, может, даже сильнее. И тут твоя оскорбленная родня вмешивается, и кровная месть — и все по справедливости... И так можно, все больше возбуждая в себе ненависть, враждовать из поколения в поколение. А если по совести жить? Совесть требует прощения. Я полоснул его плетью по лицу, а он должен простить меня, не поднимая в ответ свою дубинку. Тут, кажется, сразу мир воцаряется и нет вражды. Все плохое забыто... Но зная, что твой удар останется безответным и сам ты безнаказанным, не соблазнишься ли на еще большее беззаконие и безнравственность? Вот что меня сейчас мучает... и хотелось бы услышать вас. Сейчас у меня столько разного, взаимоотрицающего возбуждено в голове, столько накручено за дни, пока шла эта тяжба с наследством, что я многого уже не знаю, о чем раньше ясное имел представление... Прошу вас, помогите мне, вы — люди бескорыстные.— Душан хотел подобрать какое-нибудь другое, более точное слово, но испугавшись, что потеряет нить искренности и убеждения, сказал:— А знаю я то, что вам всем негде жить: кто дом себе другой не построил, а у кого уже внуки живут в тесноте, а о ком-то, может быть, и бессердечные дети забыли... Я позвал вас не для уборки, нет, я все люблю делать сам! Не знаю, как вы отнесетесь к моему предложению, которое может показаться странным, но поверьте — в нем нет корысти или лукавого умысла... Я хотел предложить вам остаться и жить здесь. Комнат много, вы видели... И часть наследственных денег у меня есть... Каждый из вас сможет заняться тем, к чему душа его влечет. Отец Хаким, я знаю, у вас страсть к певчим птицам, слушайте их и радуйтесь, вы, отец Али, мечтаете написать историю последнего эмира, а вы, отец Санд, можете вернуться к своему старому — любимым лошадям и обучать молодых конным скачкам...

ведь мы, бухарцы, всегда были неплохими наездниками... А от вас, от нашей общины, мне нужно будет одно... Вы — люди без ложных страстей, уже без злобы в душе и зависти к чужим успехам и чужому добру — я это знаю! — вы не рветесь, чтобы, оттолкнув кого-то, занять его место, и давно смирились с потерей старого, приняв новый ход жизни. Души ваши чисты и спокойны — в этом я убедился и сегодня, наблюдая, как вы работаете... Мне — повторяю — хочется только одного — быть с вами, подражая вам, делаться лучше, избавляясь от дурного в себе... Вот и все! И неважно... Мне важно сейчас все вздорное из головы выбросить, все суетное, мелкое, и лучше стать! Это не слова, нет, это выстраданное мною, поверьте... — Душан умолк и, боясь взглянуть на стариков, опустил голову, все еще переживая высказанное и удивляясь тому, почему это Мираков вдруг заговорил шепотом, словно желая скрыть от него какую-то тайну.

Впрочем, Мираков и не думал говорить шепотом, он начал громко и взволнованно, просто Душану первые его слова приглушенными слышались от сильного переживания.

— ...Это от искренности и доверия. Трудно у него все сложилось — родной отец ушел и не подавал о себе вестей. Затем покойный Наби-заде, которого он отцом не пожелал признать. А теперь и того хуже. Какой-то... которого они с братом иначе не называют, как даджжалом... Он ведь сам чистосердечно выразился, мне прибавить нечего.

— Все так неожиданно, — начал Саид-Ахтачи, на которого все остальные смотрели подбадривающе, заранее соглашаясь со всем, что он скажет, ибо был он в их артели за главного. — Очень неожиданно, хотя, помнится, ты, Хаким, сказал, когда впервые увидел Душана: «Этот юноша носит в себе какую-то загадку, которая удивит всех, клянусь аллахом!» Вот он и удивил нас! Но тут сразу и не ответишь. Вроде другая, лучшая жизнь нам предлагается — вольная, беззаботная, но справимся ли мы с ней? Затрудняюсь что-либо сказать определенное. Ведь нам, старым людям, не то чтобы дом, но и простые галоши, к которым привычны ноги, менять опасно. Может оказаться, что новые галоши — они-то и последние, перейдут вместе с рубашкой и штанами на откуп мурдашью...*

* Мурдашуй — обмывающий покойников.

— Душан вам дом свой предлагает, крышу над головой, а вы по-прежнему можете каждое утро ходить на базар и наниматься в работники. Он общения искреннего хочет с людьми, которым поверил и считает достойными, а через это желает душе своей тепла и чистоты. Так я тебя понял?— повернулся к Душану Мираков, и Душан, словно только теперь стряхнувши с себя оцепенение, торопливо пояснил:

— Да, да, именно так. Ведь я не вам новую жизнь предлагаю, а пробую для себя ее устроить. Бездельничать мы не будем. Лишь досуг свой отдадим любимым занятиям, к которым есть влечение и талант!

После слов его все долго молчали, продолжая жевать хлеб и пить чай. Душан опять притих и смутился, и, глядя на то, как он сидел весь сжавшись, старик Хаким растроганно проговорил:

— Что ж... я думаю, грешно обманывать его доверие. Он нам честь оказал своей просьбой... Только боюсь я разочаровать его. Что можем мы, сами не избавленные еще от пороков, дать его душе?— И видя, как больно задела его слова Душана, поспешил смягчить тон и разбавить шуткой:— Разве что ты, Саид, обучишь Душана скакать на лошади и срывать поцелуи красавиц, а ты, Анвар, натаскаешь его ходить на своих ходулях и хватать с неба звезды...

У этой шестерки во всем чувствовалась отрешенность и успокоение — во взглядах и жестах, и даже то, что они ели один лишь хлеб с чаем, не дотронувшись до остального, было дополнительным штрихом их существования. Только вот теперь, обсуждая предложение Душана, они разволновались, но выглядели при этом так неестественно, будто соблазном тихой и обеспеченной старости Душан пробудил в них дремавшее дурное — беспокойство и сварливость.

— Хаким, сходи к бане и скажи Сухорукому, что сегодня у нас кое-что изменилось, если сможет, пусть назначит перепелиный бой на другой день,— сказал Саид-Ахтаци громко, явно рассчитывая на то, что и Душан его услышит, и посмотрел по сторонам, будто удивляясь, что молодого хозяина нет с ними рядом.

Душан вышел во двор в тот самый момент, когда и Миракова что-то забеспокоило. Чувствуя, что и он собирается уходить вслед за стариком Хакимом, Душан, растерянный, бросился к нему и прошептал:

— Прошу вас, останьтесь на одну ночь, всего на одну ночь. Нет, нет, я ничего плохого не думаю, кажется, впервые за много дней я буду спать сегодня спокойно... но я чувствую, что вам надо остаться, а объяснить не могу...

— Тогда я должен снова бежать, чтобы усмирять предстоящее вечернее землетрясение,— усталым тоном проговорил Мираков и, вдруг вспомнив давно мучившее его, остановился, чтобы предупредить Душана:— Только об одном я тебя прошу... ты можешь тратить на них все деньги, которые тебе достались, и даже можешь оставить им дом и уехать, но никаких идей, не мучай их идеями и уставами, даже если все параграфы этого устава от «а» до «я» будут предписывать одни лишь добрые деяния. Живи просто... доверяй самой жизни, она мудра,— заключил Мираков, оглянувшись, увидел, что никто из артельщиков их не слышал, и, довольный, направился к выходу, не забыв при этом и поиронизировать по своему адресу:— Даю тебе советы, а сам так усложнил свою жизнь, что бегаю на день по три раза навстречу бурям...

Душан засмеялся ему в ответ, и его раскованность словно передалась и старикам. Чтобы не смущать более хозяина, они из чувства деликатности повели себя так, словно все здесь не было отныне для них чужим — зашли и осмотрели сначала кухню, сказали, что надобно прочистить дымоход, затем переходили из комнаты в комнату, заметив, в какой из них пора перестилать крышу, чтобы не осела она весной от таяния снега, а Саид-Ахтачи сказал, что вообще на всех крышах и навесах следует протянуть взамен деревянных керамические трубы водосточков — красиво и долговечно — и добавил:

— Если поработать неделю засучив рукава, дом будет как новый...

— Что здесь меня всегда смущало — количество комнат, можно заблудиться,— сказал Душан, чувствуя себя легко и хорошо.— Каждому по две комнаты...

— Да, это сейчас непривычно и смущает. Но раньше ведь строили дом в расчете, что из одной пары, мужа и жены, потянется род, и новые поколения их сыновей, внуков и правнуков не разбредутся по чужим городам и домам, а будут жить все вместе, питаясь из одного большого котла. У моего деда в доме садилось разом за стол шестьдесят человек, и я представляю, каким самодовольным выглядел сей патриарх во главе такой огром-

ной семьи, не ощущая в себе страха одиночества и смерти, ибо такое понятие, как продолжить себя после смерти в других, в непрерывной цепочке жизни — не абстрактное понятие, тут одной голой философией не утетишься. Надо видеть, и чувствовать, и слушать. Видеть вокруг себя в доме щебечущих малышей, которые светом еще невинных глаз своих излучают саму вечность. А сейчас? Патриарх изгнан, осмеян, назван слабым и консерватором, и вместо него остался в одиночестве старичок, который дрожит каждую ночь от страха смерти, ибо не чувствует света и тепла вечности. И боится он даже не столько самой смерти, а послесмертного позора, зная наверняка, что почти некому будет проводить его в последний путь. — Старик Хаким иронически усмехнулся. — Человек — существо, любящее порадоваться обилию народа, пришедшего хоронить его...

— Ну, довольно, довольно, тебя лишь тронь, и разом вытечет из тебя вся черная желчь, — незлобно и шуточно сказал Саид-Ахтаци, и Душану понравилось, как они тепло заулыбались друг другу, будто давно договорились сдерживать любого, кого занесет вдруг в туман мудрствования и невеселых размышлений, словно шло это все от незрелого ума и каприза, смущающих саму жизнь недозволенными требованиями и претензиями.

— Прощение, господин, прощение, — комично поклонился ему старик Хаким, — это, должно быть, во мне запоздалая иллюзия промелькнула от ощущения этого дома. — И как бы опомнившись, быстро глянул на Душана и добавил: — Нашего теперь дома...

И во время ужина, потом, они ни к чему мясному, жирному, животному не притронулись, медленно жевали один лишь хлеб, изредка обмакивая его в чае.

— Ты не думай ничего такого... и не смущайся. Нам, старикам, только это теперь кажется вкусным — простой хлеб и вода. От остального всегда то печень заносит, то дыхание сожмется, — пояснил Саид-Ахтаци Душану, опять не без шуточного тона, и Мираков, видимо, также довольный своей диетой, подхватил разговор:

— А я все больше тыкву, печеную, вареную. Даже за счет нее меньше хлеба стал потреблять и жидкого. И сон, главное, сон давно стал спокойнее, без мучный молодости...

— А что это за мучения? — приняв его слова за очередной подвох, со смехом спросил Душан.

— В молодости кого обидел, тот приходит и мучает

упреками, — сказал Мираков в своей обычной манере говорить о серьезном полуиронично. — И самое целебное от этого кошмара — тыквенный сок...

Говорили о самом обыденном, как бы нарочито избегая острого и заумного, вспомнили о том, какие раньше были дыни, чмокали языками, восхищаясь вкусом «каллабури»*, высказался кто-то и о целебных свойствах кукурузного масла, а когда заговорили о том, как цвел олеандр весной, последнее дыхание тоски отпустило душу, и Душан почувствовал, что к нему снова возвращается та редкая атмосфера защиты и умиротворения...

Не в силах более сдерживать сон, Душан тихо встал и, пошатываясь, вышел незамеченный, и, не помня ничего другого, кроме ощущения полета, длинной воздушной волны, уснул, едва коснувшись своей кровати. Это странное ощущение потом много раз на протяжении ночи прерывалось... он слышал даже какие-то голоса, шаги, но ждал, что вот-вот полет снова продолжится, беспокойство сменялось падением — так до самого рассвета, когда что-то тревожное последний раз толкнуло Душана и окончательно разбудило его.

Прислушался — и хотя ничего не знал еще о случившемся, вдруг всем существом своим почувствовал, что он снова один в большом доме, чем-то холодным обдало всего изнутри, так сжало сердце, что по телу прошел легкий озноб.

Путаясь в одежде, он стал одеваться, распахнул окно и увидел, что Мираков сидит на стуле, дожидаясь его пробуждения, и коротает время тем, что подсчитывает что-то на пальцах и шепчет с таким сосредоточенным видом, будто читает молитву.

Душан вышел к нему и спросил глухо:

— Ушли?

Мираков, уже десятки раз проигравший в уме эту сценку: как Душан выйдет и что он, Мираков, скажет, чтобы все объяснить, все же растерялся от слишком прямого вопроса и пожал плечами:

— Видишь ли, дитя мое... Короче, они не смогли. Ушли под утро, пытаюсь мне объяснить, чтобы не тревожить тебя... Сказали, что, даже живя одну ночь вместе, они почувствовали стеснение, чем-то стали раздражать друг друга... то ли из-за лучшей комнаты, мягкой

* «Каллабури» — «волчья голова», сорт дыни.

постели, не знаю. Словом, испугались, как бы артель их, в которую собрались еще двадцать лет назад, не развалилась совсем. Поэтому извинились и ушли...

Душан, который поначалу ничего не понял из сказанного, сел рядом с Мираковым, растерянно поглядывая вокруг, и в момент, когда его словно осенило, вскочил и нервно зашагал взад-вперед.

— Выходит, я всем этим лучшим, красивым и дорогим не себе искал спасения через гостей своих, а их чуть было не развратил, не рассорил?

— Ну, ну, это ты слишком эмоционально, не надо так! Не в этом дело. Просто в них бродяжья жилка... — попытался утешить его Мираков и, в беспокойстве поглядывая на часы, спросил шутливо: — Ты не слышишь, как издали идет гул землетрясения? А я слышу... если до завтрака не поклонюсь одной прекрасной особе — не избежать семибалльной встряски!

— Да, да, как бы не трянуло! — попытался через силу улыбнуться Душан и, проводив Миракова до ворот, вернулся во двор, и, будто засомневался, что гости его могли так уйти, не попрощавшись и не объяснившись с ним, забежал в гостиную, повторяя: «Хоть бы трянуло, разнесло это все!», затем в спальню, на кухню, в каком-то яростном иступлении крича: «Хоть бы ударило, подбросило... земля!», и прислушивался, ожидая, что вот сейчас покачнется все, заходит ходуном... но день начинался тихий, опускаясь солнечной своей стороной уже с крыш на стены, горлица, высушив свои крылья, заворковала, не предчувствуя ни землетрясений, ни сильного ветра... и даже молчание человека, стоящего в позе ожидания во дворе, не показалось птице чем-то особенно подозрительным...

«...это было не молчание, — писал потом Душан брату, — наоборот, я хотел кричать от ярости и обиды. Но случилось нечто, как нервное замыкание, минутная немота. Бывало у тебя так во сне: хочешь кричать от ужаса, но голоса нет? Нечто вроде этого случилось и со мной, но только наяву... Впрочем, немота эта — как бы выразиться поточнее — невыразительная, что ли? Неplодотворная — вот более точное слово. Злоба, даже ярость — в ней мало плодотворного. Иное дело — молчание деда. В нем столько смысла и глубокого значения. Я думаю об этом, глядя в спокойные, умиротворенные глаза деда. С тех пор, как я приехал, ему стало немного лучше, он уже встает и даже пытается помо-

гать тете по дому. Врач говорит, что и молчание его может вдруг прорезаться, даже во сне — трогательный такой врач из районной больницы, приехавший сюда из Копейска, все время носит с собой шахматную доску и ищет, с кем бы сыграть. Дед еле доиграл с ним одну партию, я тоже пытался, но перепутал ходы, врач рассмеялся и ушел.

Вообще здесь больше легкости в обращении друг с другом и участия. Тетин сын, Арслан, учится в девятом классе, но уже водит трактор. Помнишь, когда-то давно дед привозил нас сюда, тогда Арслан лежал в люльке, а теперь он все время выразительно поглаживает пушок над верхней губой. Помнишь, брат, это время? Этот дом, тишина и заросли, где мы с мальчиками искали женщину-демона? А теперь я хожу за трактором Арслана и сгребаю вилами стебли хлопка, словом, работаю пока за тетю в ее бригаде. У меня, конечно, все неумело получается пока, и вокруг смеются незлобиво. Много шутят, говорят, уже десять дней здесь, а еще невесту себе не выбрал. Но случается и курьезное. Как-то утром приходит милиционер и говорит, что сельсовет послал его проверить, кто я и зачем здесь. Тетя ему все объяснила, он повернулся и, уходя, вдруг говорит: «Хочешь, пойдем в воскресенье на петушиный бой?!» Я опешил и говорю: «Пойдем, конечно!» Он вроде обрадовался, протягивая руку: «Будем друзьями, я чувствую!»

А я душой успокаиваюсь под молчаливым взглядом деда. Будто он хочет сказать тайну, которая ошеломит меня, и я улечу, взволнованный, в космос...

Когда дед вдруг заговорит однажды, проснувшись утром, удивленно и торопливо, словно вспоминая забытые слова, и скажет мне великую тайну своего молчания, и я, ошеломленный, улечу в космос... синяя полоса прочертится, звездная пыль проскрипит возле уха, и яркое пятно будет все уменьшаться, пока не станет в ночи просто точкой, и в этот момент, когда и точка промелькнет, поглощаясь темнотой, земля сделает свой очередной, триллион миллиардмиллионный круг и повернется освещенной своей стороной...»

МОРСКИЕ КОЧЕВНИКИ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Огромную баржу, списанную с флота и оборудованную так, чтобы содержать в ней по меньшей мере пятьсот опасных преступников — вождей туземных племен, — поставили на якорь в устье реки среди болот; ни крупным, ни мелким судам не разрешалось приближаться к ней на расстояние пушечного выстрела.

Государь самолично присутствовал на этой важной церемонии и остался, говорят, очень доволен той завесой тайны, которой была окутана плавучая тюрьма. Действительно, все было организовано с умом и должным рвением — в болота опущены насосы и преступники сами очищали себе воду, а другой механизм промывал и замешивал водоросли, подавая их душистыми и вполне съедобными на стол узникам.

Устроители надеялись, что их плавучая тюрьма будет действовать многие века, до того времени, пока цивилизованные общества не осудят, наконец, насилие белокожих над чернокожими.

Но случается, что даже в отлично слаженной системе обнаруживается маленькая брешь, которой никто не придавал значения, и ею тут же воспользуется сама природа, не прирученная дисциплиной.

Вот так и с плавучей тюрьмой, которая однажды, во время урагана, сорвалась с якоря и ушла в открытое море, где и затерялась вскоре среди необозримых вод...

Прискорбный случай этот почему-то не попал на страницы газет, и просвещенные умы долго находились в неведении. Но постепенно растерянность властей стала так бросаться в глаза, что либералы тут же воспользовались ею, чтобы выведать эту ужасную тайну.

В вольнодумных кругах было так много разговоров и споров, что, возбужденный ими, некий молодой человек по имени Ойя-Айя, офицер и спортсмен, решил немедленно выйти на своей яхте в открытое море, чтобы найти следы плавучей тюрьмы и освободить страждущих...

Невеста махнула ему на прощанье платком, и вот с тех пор она каждую ночь приходит на маяк, чтобы

обозревать море, всегда тихое и залитое от поверхности до самых глубин лунным светом...

Потом одинокая женщина, похожая на привидение, так же тихо, как и пришла, уходит все дальше от мола, и дочь сторожа маяка радуется, видя, как некогда стройная ее фигура с годами все ниже и ниже склоняется к земле, к той самой земле, которая, по-видимому, уже скоро примет ее, погубленную ожиданием.

«Прощай»,— шепчет она, и ночная чайка уносит ее слова далеко в море, туда, где плывет одинокая яхта со старым и больным человеком на борту.

Человек этот вздрагивает, в нем еще смутно живут какие-то воспоминания, и он чуть приподнимается и смотрит по привычке по сторонам, хотя уже и сам не помнит, чего ищет.

Яхта его давно неуправляема, потеряла всякую разумную форму, вся облеплена толстым слоем кораллов и ракушек всех видов, которые только существуют в Мировом океане, и похожа на гроб.

Этот странный предмет, бывший некогда красивой яхтой, встречные суда и вправду принимают за гроб какого-нибудь дерзкого путешественника, и всегда салютуют ему, потому что дерзость и мечта все еще достойны похвалы.

Того, кто почти всегда лежит на дне своего плавучего гроба, даже его невеста уже не узнала бы. А друзья-либералы и вовсе не вспомнили бы его; увлеченные новыми спорами, они давно забыли о нем, но если бы и вспомнили, то непременно осудили бы его деяния. И вправду, Ойя-Айя было за что осуждать!

Страсть, которая толкнула его на столь дерзкий поступок, была такой огромной и жгучей, что заглушила все остальные его человеческие страсти и превратилась в некую болезнь — от нее или излечиваются или умирают.

Но Ойя-Айя не умер, а переболев, как бы запово родился — причиной такому перерождению были исключительные обстоятельства.

В самом начале пути ему казалось, что плывет он по следам той самой баржи, ибо часто в тумане он слышал невнятные голоса и бормотание, которые мерещились ему зовом туземных вождей. Сделай еще одно усилие, последнее большое усилие и,— думал он,— цель близка. Он делал это усилие, и голоса были слышны уже за бортом, и он направлял яхту к невидимой плавучей тюрьме.

Но вот рассеивается туман, впереди солнце и водная гладь, которую разрезают лишь плавники акул. А где же баржа? Почему умолкли голоса?

Так плыл он месяц, два, но однажды понял истину, которая его ужаснула: оказывается, яхта попала в течение, с самого рождения Мирового океана делающее вечный круг мимо одних и тех же островов и скал, под одними и теми же звездами и над одними и теми же утонувшими кораблями.

Течение это столь быстрое и широкое, что даже большие корабли не в силах преодолеть его и, естественно, все усилия Ойя-Айя вывести из него яхту ни к чему не привели.

Ойя-Айя совсем было уже отчаялся, но как-то под утро его окликнули. Ойя-Айя выглянул из каюты, зажег фонарь и увидел, что рядом с его яхтой плывет лодка, и хотя яхта шла на большой скорости, а лодка никем не управлялась, она все же плыла почему-то быстрее — еще миг и совсем исчезла бы из виду!

— Объясните, дружище, что это за течение, в которое нас занесло, и как из него выбраться?— закричал Ойя-Айя в рупор человеку, мирно сидевшему в лодке.

— Самое обыкновенное течение, милорд,— ответил незнакомец, зевая.— Раз в тридцать лет оно делает свой круг. А круг этот замыкается у самых Магеллановых столбов, может, слышали?!

— Нет, нет!— закричал Ойя-Айя, боясь, что не успеет узнать подробности, ибо лодка незнакомца уже успела вырваться вперед.

Незнакомец тоже взял свой рупор и пояснил безо всякого усердия:

— Так вот, у самых этих столбов, князь, течение разбивается на мелкие ручейки и теряет свою силу. И лишь тогда мы сможем выбраться на свободу у острова Оранг-Утана Премудрого.

— Как вы сказали?!— ужаснулся Ойя-Айя.— Через тридцать лет?

— Нет, отсюда осталось уже двадцать пять.— И видя, как Ойя-Айя побледнел, незнакомец решил его утешить:— Не теряйте надежды, султан, вы еще так молоды! А вот я уже, наверняка, не доберусь, хотя моя лодка и движется быстрее.

— Странно, почему же она движется быстрее? Ведь вы сй ничем не помогаете...

— В том-то и дело, что помогать совершенно бессмысленно. Вот и вы: опустите паруса и ждите, яхта ваша пойдет сама. Течение не любит, когда кто-то старается пересилить его или даже просто подсобить, оно несет лишь тех, кто смирился. Смирите свою гордыню, дружище! И вы почувствуете большое облегчение... Иначе течение погасит все ваши порывы.

Последние слова свой незнакомец произнес, когда был уже довольно далеко и не слышал, как Ойя-Айя спросил в ответ:

— А кто вы? И как сюда попали?— и еще он хотел узнать, почему незнакомец так странно называет его: то султаном, то князем, то милордом?

«Не все ли равно, кто он. И не все ли равно, кто я»,— подумал Ойя-Айя и, следуя советам незнакомца, пошел и опустил паруса. А потом долго ходил по палубе и сомневался:

«А что, если незнакомец решил перехитрить меня, чтобы самому первым добраться до этих столбов? Впрочем, плут этот действительно очень стар, а мне надо еще жизнь прожить. И как-то бесчеловечно было бы мчаться впереди его лодки, бог с ним...»

Затем Ойя-Айя погрузился в еще более тяжкие размышления по поводу тех титулов, которыми так щедро наградил его незнакомец.

«Может быть, во всех его обращениях кроется какая-то загадка? Или это просто плутовские выходки?.. И вообще, что значит — смирить гордыню и полностью довериться воле течения? Чем-то болотным веет от такой философии, чем-то противоестественным...»

— Нет и нет!— закричал и засуетился Ойя-Айя, полный решимости. Он снова поднял паруса, ветер надул их, играючи, и Ойя-Айя налег на руль, желая сделать последнюю попытку, чтобы вырваться из плена течения.

Он повел яхту чуть вправо, и, кажется, она была послушна его воле — течение морское, утешал себя Ойя-Айя, должно быть не шире средней реки, а реку от берега до берега можно проплыть ну не дольше чем за час.

Но прошел час, два, и Ойя-Айя все напрягал силы и еще долго находился бы в неведении, если бы мимо него не проплыла другая лодка.

Человек в лодке привстал и, видя бесполезные усилия Ойя-Айя, сказал:

— Я вот наблюдаю за вами и удивляюсь долготерпению нашего течения. Вы пытаетесь перехитрить его, а

сно как бы благодушно не замечает этого. Берегитесь, течение может перевернуть яхту и сделать ее вашим гробом!

— Но сколь широко это течение, перед которым вы бледнеете от ужаса?— рассердился Ойя-Айя.

— Никто этого не знает,— спокойно ответил незнакомец, нисколько не обидевшись на Ойя-Айя за грубость.— Как-то боязно пытаться это узнать. Это неузнаваемо.

— Уж не хотите ли вы сказать, что оно необъятно и безгранично, что оно опоясывает все миры — на земле и на небесах?— решил съязвить Ойя-Айя.

Но незнакомец не ответил, ибо был уже на таком расстоянии, когда разговаривать бессмысленно — море поглощает и уносит в пучину голоса...

Ойя-Айя смирился, и теперь уже яхта шла сама, ведомая течением, и ход ее, кажется, убыстрился.

А может, это обман зрения? Ведь незнакомец посоветовал просто опустить паруса, но не пояснил, что если яхта пойдет быстрее, то достигнет этих Магеллановых столбов не за двадцать пять оставшихся лет, а гораздо раньше, лет за десять-двенадцать. Иначе зачем бы он стал говорить, что стар и все равно не достигнет острова Оранг-Утана Премудрого?

Вскоре сомнения Ойя-Айя разрешил еще один лодочник, появившийся у правого борта.

— Нет ли у вас на яхте немного зерна, брат?— поднялся он во весь рост и помахал руками Ойя-Айя.— Я бы мог предложить вам взамен лук для укрепления десен.

— Нет, пожалуй,— ответил удивленный Ойя-Айя.— А впрочем, постойте, пойду пошарю по углам.

Он зашел в каюту, постоял и тут же вышел, боясь, что лодка уйдет вперед и он не успеет поговорить с лодочником.

— Нет, к сожалению,— как бы извиняясь, проговорил Ойя-Айя и, наклонившись через борт, крикнул:— А зачем вам зерно, приятель?

— Путь долог, и я решил выращивать лук. Но он родится плохо. Видно, тот ил, что собрал я по пути, пригоден лишь для ячменя...

Ойя-Айя, сгорая от любопытства, взял подзорную трубу и увидел, что на носу лодки, наполненной землей, растет лук с какими-то странными желтыми стеблями.

— Послушайте,— заволновался Ойя-Айя,— через сколько лет вы достигнете Магеллановых столбов при вашей скорости?

— Ровно через столько же, через сколько и вы на своей яхте. Мы приедем в один и тот же день, даже в один и тот же час, если, конечно...

— Но ведь ваша лодка идет намного быстрее?!

— Это одна лишь видимость,— прокричал собеседник, лодка которого отплыла уже на приличное расстояние.— Просто каждый должен проделать свой долгий путь в одиночестве. Когда встречаются два судна, как, скажем, наши, течение толкает одно из них вперед, чтобы второе судно не могло его видеть, а потом все опять замедляется, и каждый плывет на том отрезке воды, который ему отведен... Прощайте, до встречи у Великих столбов!

— Прощайте!— уныло проговорил Ойя-Айя и снова остался в полном одиночестве.

«Мне тоже нужно что-нибудь выращивать,— подумал он.— На такой просторной яхте можно разводить плантацию лимонов. А потом выгодно обменивать их, скажем, на патиссоны».

И с этого дня он стал замечать, что все, кто проплывал мимо его яхты, были заняты каким-нибудь промыслом. Он видел цыплят, бегающих по палубе какого-нибудь судна, кузнецов, занятых изготовлением ножей и сабель, женщин, стегавших одеяла, алхимиков, колдующих над колбами, палачей, предлагавших свои услуги тем, кто решил свести счеты с жизнью. И каждый из них желал обмена с Ойя-Айя, спрашивал у него взамен консервов, цепей, противозачаточных таблеток, сухарей, лекарства против хандры, деньги ни золотые, ни серебряные не имели никакой цены, ибо общество, ведомое течением, жило бесхитростным натуральным обменом.

Часто, когда Ойя-Айя грустным взглядом смотрел в воду, наклонившись через борт, ему кричали:

— Эй, приятель, не желаешь ли молоденькой женщины?— И не успевал он брезгливо ответить, как ему тут же ставили условие, требуя взамен какой-нибудь железный хлам, вроде гаечного ключа, или библию.

А иногда он просыпался среди ночи от топота ног, бегающих по палубе его яхты, и утром обнаруживал, что из беседки унесли его любимое кресло из красного дерева, то самое кресло, сидя на котором наслаждалась красотами природы его невеста.

Замстив, что морские кочевники, догоняющие его, а потом бесследно исчезающие в тумане, совершенно ничем не удручены, а наоборот, очень поднаторены в обмене товарами, Ойя-Айя пришел к выводу, что, если он будет держаться особняком и хандрить, долго не протянет, надо было обменивать как все, брать и отдавать.

И он завел нечто вроде бухгалтерской книги, куда тщательно записал все, что можно было выгодно обменять — бутылки из-под виски, грабли, непонятно как попавшие на яхту, бриллиантовое ожерелье невесты, случайно оброненное ею, когда Ойя-Айя в страсти целовал ее в беседке, гарпун, сочинения Гегеля, Бердяева, Ницше и еще кое-что мелкое и незначительное.

Впрочем, грабли эти вскоре пригодились ему. Когда Ойя-Айя снова предложили женщину и спросили, что он может дать взамен, он закричал: «Грабли!» — и поднял над головой и показал до блеска начищенный накануне инструмент.

В проходящей лодке поворчали недовольно, потом согласились, и господин в цилиндре и фраке Нобелевского лауреата сказал, выхватывая из его рук грабли:

— Ты только не зевай! Следом идет лодка с женщиной — бери и наслаждайся!

Взявший грабли лауреат вскоре растворился в тумане, а Ойя-Айя весь напрягся, собравшись с силами, обдумывая заранее свой план: как только лодка, несущая его женщину, поравняется с яхтой, он резко повернет яхту, преградив путь лодке, наклонится за борт, схватит женщину за плечи и поднимет к себе на палубу, унесет в каюту. А утром, когда она ему надоест, он в свою очередь выгодно обменяет ее на складное кресло, столь необходимое ему для раздумий.

С трепетом ждал он появления за бортом лодки с женщиной, и когда она поравнялась с его яхтой, Ойя-Айя наклонился, но, видно, не рассчитал, не мог дотянуться.

— Ну, что же ты?! — закричала женщина. — Хватай, целуй! — и захохотала, видя, что он ничего не может сделать, и хохотала еще долго, пока голос ее не заглушило расстояние.

После волнения Ойя-Айя впал в меланхолию, лег прямо на палубу, покусывая кончик бороды.

«Что за жизнь? — стонал он. — Нельзя даже на миг украсить свое одиночество в обществе женщины...»

Тоска его была замечена из лодки, в которой плыл проповедник. Одет он был весьма странно, носил сутану, а на голове мусульманскую чалму и листал то Библию, то Аль-Коран, а потом вдруг замирал перед ликом Будды, бронзовая фигура которого была укреплена на носу лодки.

— Сын мой, печаль приближает к богу. Надейтесь на него и ищите с ним духовной связи...

— Святой отец!— закричал Ойя-Айя, хотя и не знал, какую религию он исповедует.— А вы за что же здесь?

— А где же мне быть еще?— совсем прозаично удивился проповедник и решил сказать о главном, пока еще было время:— Надейтесь только на божью амнистию. Только она освободит ваш дух...

Ойя-Айя не очень внимательно слушал — в лодке проповедника он заметил канат, нужный ему для гарпуна, чтобы промыслять больших рыб. Ойя-Айя хотел было уже предложить ему что-нибудь в обмен, но проповедник сказал на прощанье:

— И не занимайтесь торговым промыслом — это улаживает тело, но иссушает душу...

«Да ты сам, мошенник, не прочь...»— хотел было закричать ему вслед Ойя-Айя, доказывать, издеваться, но махнул рукой и снова лег на палубу.

«Ничего,— подумал он,— у меня еще будет время пристыдить его в тот день, когда мы всем обществом высадимся на острове Оранг-Утана Премудрого...»

Ведь был он уверен и так сказали ему проплывавшие мимо, что, встретившись единожды сейчас в море, встретятся они потом, уже во второй и последний раз у Магеллановых столбов, на свободе.

Но потом Ойя-Айя снова повстречал в пути того самого первого лодочника, который со знанием дела рассказывал ему о течении. Бедняга на сей раз сидел затылком к носу лодки, против течения, и с усердием, достойным всякой похвалы, греб обратно, туда, откуда начинал когда-то свой путь.

— Вы куда это, дружище?— спросил Ойя-Айя, поравнявшись с его лодкой.— Такое впечатление, что вы решили обратно...

— Я боюсь...— забормотал лодочник.— Ведь я так стар, а путь долог — целых пятнадцать лет. Боюсь, что не доберусь к Столбам...

— Станный вы человек,— ухмыльнулся Ойя-Айя,—

какая вам разница — плыть вперед пятнадцать лет или же назад — ровно столько же? Где логика?

— Если я доберусь назад, откуда я начал, я буду знать, что вернулся к первоначальной точке. Ну, а что ждет меня впереди? Кто мне скажет, что плыть вперед надобно еще пятнадцать лет? А может, тридцать? А может, вечно? А если там, у Столбов, вовсе нет свободы? Вы, сударь, можете что-нибудь сказать определенное об этом?

— Так вы ведь сами, черт бы вас побрал, назвали цифру тридцать!— рассердился Ойя-Айя.— И я привык, свыкся с этим числом, хотя, признаться, поначалу она меня просто ужаснула. А теперь вы снова вносите в мою душу сомнение...

— Ничего,— устало проговорил лодочник,— привыкнете и к другим, более крупным цифрам, привыкнете, наконец, к бесконечности нашего пути, то есть к тому, что в конечном счете представляет ничто. Бесконечность, которую мы не можем достигнуть, согласитесь, генерал,— есть ничто,— философски заключил он.

— Да прекратите ваше гнусное пророчество! И перестаньте называть меня генералом, князем, султаном — хам!

Лодочник в ответ ни слова не сказал и продолжил свою бессмысленную греблю назад. Она, действительно, была бессмысленной, его затея, ибо, как заметил опытным глазом Ойя-Айя, лодка его все же шла вперед — лодочник жил лишь иллюзией.

— Да вы к тому же еще и слепец!— закричал Ойя-Айя, чтобы позлорадствовать, но яхта его уже ушла далеко, и объяснять лодочнику его заблуждение было бесполезно.

После встречи с упрямым лодочником в душу Ойя-Айя действительно вкралось новое сомнение. А что если весь путь до Магеллановых столбов тянется не тридцать лет, а гораздо больше? Может, все плывут, находясь в неведении и заблуждении?

Надо что-то предпринять, решил Ойя-Айя, попытаться собрать лодки вместе и плыть всем обществом, чтобы вовремя поддержать потерявшего надежду, помочь впавшему в отчаяние. «Я поведу их за своей яхтой, ибо каждому организованному обществу требуется вождь.

Вот это и имел в виду лодочник, когда называл меня князем, султаном... Он как бы угадывал мое истинное назначение...»

«Но как это сделать?» — сел и задумался Ойя-Айя, ибо то, что он слышал о своенравном характере течения, вселяло лишь ужас. Течение не любит, когда кто-то пытается перехитрить его, сделать что-то против его воли. Оно — царь, истинный господин всего сущего.

Ведь разве недостаточно того, что этот великий государь милостиво несет на себе целое общество морских кочевников к свободе? Никого не притесняет в пределах своих законов и правил, никого не губит до отведенного срока, давая возможность проявляться всем людским страстям...

Оно — бог. Ведь недаром с таким усердием служит ему и тот проповедник, который призывал Ойя-Айя к духовному познанию течения, к примирению с ним. Так думал Ойя-Айя, но желание объединить морских кочевников под своей властью было столь велико, что он решил дерзнуть. Но так как сам ничего не мог придумать, решил обратиться за опытом и мудростью к другим. Может, кому-нибудь другому, человеку с более подвижным умом удастся разглядеть ахиллесову пяту течения, а Ойя-Айя, в свою очередь, сделает потом все, чтобы подчинить себе не только течение, но и этого хитроумного человека, члена будущего морского сообщества. И Ойя-Айя стал обращаться к каждому с таким вопросом:

— Вам, видно, ужасно одиноко, дружище? Признайтесь, как-то тоскливо плыть по течению, не зная, куда оно вас занесет. Только совместные усилия делают людей мужественными...

— А что вы предлагаете, сударь? — спрашивали у него лишь из чистого любопытства.

— Перехитрить течение и плыть, собравшись всем вместе.

— Тише! — с испугом прерывали его, боясь, как бы течение не подслушало их разговор и не рассердилось. — Это невозможно!

— Но почему? — чуть тише спрашивал Ойя-Айя. — Власть течения — призрачная, иллюзорная. В конце концов никто не уполномочивал течение делать с нами что душе его угодно. Где его право? Полномочия? Кто передал ему такую власть — бог, император, король, Солнце? Меня удивляет ваша трусость! — продолжал он кри-

чать в рупор, но одни лишь чайки слушали его, летая над яхтой.— Вы пассивны!

Те, к кому он обращался со страстными призывами, лишь спрашивали друг у друга:

— Кто этот человек?

И Ойя-Айя, важно расхаживая по палубе, отвечал, если видел белокожих кочевников:

— Я — король!

С людьми смуглыми, узкоглазыми объяснялся понятным для них языком, говоря:

— Я — султан!

И еще он утверждал:

— Я — бонза!— если видел чернокожих путешественников.— Сами небеса послали меня спасти вас!

Морские кочевники, возможно, и поверили бы ему, если бы им удалось чуть дольше поплыть рядом с его яхтой, но за столь короткое время, буквально миг, они, привыкшие считаться с властью течения, не могли, естественно, принести присягу на верность новому государю.

А то, что считали они своим государем течение, было ясно хотя бы по тому, как боготворили они его, пытаясь очеловечить высокую власть и называя течение ласковыми именами и прозвищами, совершенно безобидными: Тихим Батюшкой, Черным Соколом, Богатырем Голубоглазым, в зависимости от того, какого цвета было течение и каков был его нрав. И даже сложили о нем песню, которую распевали с большим усердием:

ПЕСНЯ МОРСКИХ КОЧЕВНИКОВ

МЫ С НАДЕЖДОЙ СМОТРИМ ВДАЛЬ,
ИИ ТРЕВОГА, НИ ПЕЧАЛЬ
НЕ СМУТЯТ ДУШИ ПОКОИ —
СОИ, НАВЕЯННЫЙ ТОБОИ.

ТАК НЕСИ ЖЕ НАС, ВЕЛИКИЙ,
ВЕЗДЕСУЩИИ, МНОГОЛИКИЙ!
ОТЕЦ ТЫ НАШ, ВНЕМЛИ МОЛЬБЕ,—
ВРУЧАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ТЕБЕ.

СПАСИБО, ЧТО МЫ НИКОГДА
НЕ СТРАЖДЕМ: ЗАЧЕМ И КУДА
ЖИЗНЬ НАША В КРУЖЕНЬЕ ТЕЧЕТ...
К СПАСЕНЫЮ ОТЕЦ ПРИВЕДЕТ!

ТАК НЕСИ ЖЕ НАС, ВЕЛИКИЙ!
ВЕЗДЕСУЩИИ, МНОГОЛИКИЙ!
ОТЕЦ ТЫ НАШ, ВНЕМЛИ МОЛЬБЕ,—
ВРУЧАЕМ НАШУ ЖИЗНЬ ТЕБЕ.

Видя, что его призыв о единстве не встретил никакого сочувствия среди морских кочевников, Ойя-Айя проклял всех и решил окончательно примириться со своим одиночным существованием...

Ровно тридцать девять дней и ночей лил дождь в море; и Ойя-Айя все ждал, не перевалит ли он за сорок дней, о которых говорится в Библии.

Шум дождя раздражал Ойя-Айя, и он искал места, куда бы скрыться, чтобы найти тишину, столь благоприятную для размышлений. Случайно нырнув в море, он обнаружил, что под верхним слоем воды — такая благодатная, такая пустая тишина, что выходить из нее не хочется. Он немного поплавал под водой, прислушиваясь к тишине, порезвился, но потом задохнулся и поспешил опять на яхту.

И вот с этого дня Ойя-Айя большую часть времени проводил под водой, плавая среди рыб и медуз, а на яхту, которая спокойно плыла своим путем, он возвращался лишь затем, чтобы перекусить и поспать. Немошные легкие его постепенно стали привыкать к подводной жизни, хотя Ойя-Айя часто болел и хандрил, что-то исподволь менялось в нем.

Однажды, когда он ощупывал свое лицо, с удивлением обнаружил, что чуть выше носа, где округлялся лоб, появился небольшой нарост с отверстием, величинной с мелкую монету — для того, чтобы он мог дышать под водой и выдыхать вместе с водой воздух, выплывая на поверхность.

Метаморфоза эта несколько не огорчила Ойя-Айя, наоборот, он мог теперь наперегонки мчаться с дельфинами и выбрасывать вместе с ними в воздух струйку воды.

Первое время дельфины разглядывали его и, издавая странные звуки, напоминающие хрюканье свиней, старались уплыть подальше. Но потом, чувствуя миролюбие Ойя-Айя, приняли его в свою компанию.

Единственное, что огорчало дельфинов и самого Ойя-Айя — он не мог, как они, стремительно несясь под водой, неожиданно разрезать гладь воды и лететь некоторое время над поверхностью моря в лучах солнца, а потом снова уходить в глубины.

Ойя-Айя старался изо всех сил, но в тот самый момент, когда надо было вместе с дельфинами оторваться от водной глади и описать кривую в воздухе, он лишь с глупой гримасой высовывал голову из воды, и был такой

жалкий и трогательный, что благовоспитанные дельфины отворачивались, чтобы не видеть его немощь.

Но старание Ойя-Айя, его каждодневное упорство было вознаграждено сторицей. Ноги его срослись, покрылись толстым наростом и чешуей, и ниже туловища образовался хвост, гибкий и сильный, нечто среднее между хвостом акулы, рыбы и дельфина.

Теперь Ойя-Айя мог вполне соперничать с дельфинами в прыжках над водой и прыгал даже лучше и дальше их, потому что усердствовал. А потом, ныряя глубже дельфинов, хватал какую-нибудь размечтавшуюся неповоротливую рыбу и поедал ее тут же, в морской пучине.

Время от времени, однако, он не забывал осторожно выглядывать из воды и смотреть, не угнал ли какой-нибудь морской разбойник его яхту, а вечерами, листая бухгалтерскую книгу, пересчитывал свой нехитрый скарб, пригодный для обмена.

Новый образ жизни позволял теперь Ойя-Айя внимательно изучать морских кочевников, по-прежнему плывущих в одиночестве по течению. Раньше, когда он плыл в яхте, для него было большой загадкой движение лодок, он не понимал, куда уходит лодка, которая вырывается вперед и удаляется от его яхты, уходит ли она еще дальше, догоняя впереди идущую лодку, или все плывут чуть в стороне друг от друга, квадратом, как на шахматной доске. Теперь он разглядел, что все плывут вереницей, на солидном расстоянии, но часто меняются местами.

Если, например, лодку, идущую самой первой, в начале колонны, обгоняет плывущая сзади, то первая лодка становится второй, а потом первую и вторую обгоняет шедшая ранее третьей, а их всех, в свою очередь, четвертая, и получается так, что первая оказывается в самом хвосте, а потом снова из хвоста вырывается вперед, обгоняя всех по очереди. Вся эта перестановка, заметил Ойя-Айя, занимает ровно двое суток — сутки на то, чтобы тебя обогнали другие, а на вторые сутки ты уже обгоняешь других — очень разумно, ничье самолюбие не ущемляется, полное ощущение равенства перед лицом грядущей свободы.

Человек от природы робкий и дружелюбный, Ойя-Айя, когда у него вырос хвост, стал причинять другим кочевникам одни неприятности. Высунув из воды позеленевшие усы и бороду, он внимательно выслеживал какую-нибудь лодку, а когда лодочник, ничего не подоз-

ревая, проплывал мимо него, приняв голову Ойя-Айя за обыкновенный комок водорослей, Ойя-Айя с криком взлетал в воздух и, описывая красивую дугу над лодкой, выхватывал из рук лодочника ножку жареной курицы или кусок окорока. Не успевал лодочник ахнуть, как Ойя-Айя был уже под водой, где принимался аппетитно поедать отобранное, а кости выбрасывать приятелям-дельфинам.

Отобедав, он вычищал жирный нос, уткнувшись в морской ил на берегу, а затем стремительно неся на поверхность и снова, притворившись комком водорослей, продолжал слезку. И очень скоро в веренице лодок он высматривал ту, которая казалась ему побогаче. И в тот самый момент, когда гурман-лодочник после вкусного ужина подносил ко рту рюмочку бургундского, в наслаждении закрывая глаза, Ойя-Айя подлетал к его лодке и выхватывал прямо из-под носа гурмана рюмочку, чтобы самому прополоскать горло вином. И прежде чем коснуться воды, успевал еще и залихватски разбить вдребезги рюмочку о борт лодки изумленного лодочника.

Потом он снова уходил в пучину, распевая во все пьяное горло песню о Великом течении. Он пел ее громко, с отчаянием, разгоняя рыб и приятелей-дельфинов, разоряя все вокруг и губя бесполезно медуз и водоросли и даже скалился на самих акул, дразня их и зовя на поединок.

Акулы вначале добродушно глядели на него зелеными глазами, а когда Ойя-Айя уже вконец надоедал им, дергая их за хвосты и плавники, акулы бросались на него, желая проучить.

Но не тут-то было! Ойя-Айя, спасаясь от них, проделывал такие акробатические номера, что кругом рты разевали, а акулы в отчаянии скрежетали зубами. Полет над водой, красивые прыжки, и Ойя-Айя уже на палубе своей яхты, спрячется за бортом, и, едва акула вытягивает поганую пасть, Ойя-Айя выстреливает в нее струей воды... И хохочет, выкрикивая, победно кружится в танце по палубе, волоча за собой хвост.

Как-то, резвясь в морской стихии, Ойя-Айя увидел одинокую лодку, в которой плыла молодая особа, решившая убить время чтением книги. Хорошенькое личико ее закрывал от солнца зонтик, а возле ног ее росли в лодке хризантемы. Ойя-Айя долго плыл за ней, вдыхая аромат духов и цветов, и в душе его шевелились какие-то

далекие воспоминания. Он вспомнил луг, где лежал со своей невестой, вспомнил балы и салоны либералов, полные хорошеньких женщин, но коварных, плетущих заговор против государя.

Вначале Ойя-Айя боялся не только заговорить с незнакомкой, но даже встретиться с ней взглядом — смущался своего нароста на лбу. Такое ощущение, будто явился на бал в изрядно помятом фраке... Потом подумал, что на бал являются не только во фраках, но и в масках для веселья, и Ойя-Айя стремительно понесся в пучину, схватил зубами зазевавшуюся рыбу — и обратно к даме!

Высунув голову вблизи ее лодки, он застенчиво приветствовал одинокую особу:

— Добрый день, сударыня!— И, чуть пригнувшись, положил рыбу возле ее ног.

Дама вскрикнула от неожиданности, и лодка ее закачалась, зачерпнув воду, но Ойя-Айя вовремя поддержал ее за локоть и сказал, чтобы поскорее развеять ее изумление:

— Я вынырнул к вам прямо из подводного бала.— И показал на свой нарост на лице.— Видите, я в маске...

Был легкий туман в море, и дама посему не четко разглядела его лицо, и когда успокоилась, улыбнулась:

— Вам, должно быть, там очень забавно...

— Да, да, чертовски презабавно,— осмелел Ойя-Айя.— А эта рыба подарок вам от хозяйки бала...

— Ах, балы, балы!— воскликнула дама, вздыхая, и по личику ее пробежали тени смутных воспоминаний. Глаза ее стали влажными, а носик задергался, и Ойя-Айя ушел под воду, чтобы покусать там в тоске бороду. А когда выплыл обратно, выпустив струю воды у самого борта ее лодки, дама уже успокоилась и даже, кажется, обрадовалась его появлению.

— Я боялась, что вы уплыли насовсем,— призналась она.— Прошу вас, не волнуйте мою душу разговорами о балах. Лучше признайтесь, зачем вы носите маску...

— Видите ли, графиня, я старый и прожженный дуэлянт, картежник. За мной по пятам гонятся по течению мои кредиторы. И чтобы они не узнали меня, приходится носить эту ужасно нелепую маску... Но едва они начинают догадываться, кто я, я тут же ныряю под воду — ведь я отличный пловец...

— Ах, как это романтично!— воскликнула дама.— Они вас путают с дельфинами, бедные кредиторы... Не

нужно быть особенно проникательной женщиной, чтобы оценить ваши добродетели,— добавила она осторожно.

Целые дни Ойя-Айя плыл теперь рядом с восторженной дамой, держась за борт ее лодки, а лишь в сумерки тоскливо уплывал к своей яхте. И долго потом не мог уснуть, нетерпеливо ожидая рассвета, чтобы опять вынырнуть возле ее лодки и бросить к ее ногам жемчуг или кораллы, подарки со дна моря.

Яхта его часто теперь плыла сама. Неуправляемая, ее то уносило вперед, в первые ряды каравана, то потом снова она оказывалась позади, а когда яхта, вся легкая и воздушная, в ослепительных лучах солнца, проплывала мимо ее лодки, Ойя-Айя восклицал, желая, чтобы и дама полюбовалась яхтой; думал он забрать даму к себе и проделать вместе с ней весь оставшийся путь к острову Оранг-Утана Премудрого, а там на острове, на свободе, жить с ней потом вместе до конца дней...

Дама поначалу сомневалась, но после долгих уговоров решилась перебраться к нему на яхту.

— Там нам будет очень просторно,— страстно убеждал Ойя-Айя,— мы разведем плантацию лимонов — моя давняя мечта. У меня много всякого припрятано — гарпун, два кресла-качалки, восточный рахат-лукум, боченок рома, который я достал со дна моря. Будете хозяйкой моей бухгалтерской книги...

— И мы будем танцевать на палубе,— мечтательно сказала дама.— В бальных платьях.

— И в масках,— вздохнул Ойя-Айя.

И вот когда яхта приблизилась снова к лодке, дама села к Ойя-Айя на спину, и он поплыл, пряча хвост в воде.

Но то ли без усердия хвоста было трудно плыть, то ли яхта слишком быстро исчезала в тумане — возлюбленную пришлось вернуть обратно в ее лодку.

Еще много раз пытались они догнать яхту, но все безрезультатно.

Как-то под вечер дама с нежностью протянула Ойя-Айя руки.

— Милый,— прошептала она, поглаживая его мокрые зеленые волосы.— Снимите же маску и идемте ко мне...

Ойя-Айя наклонился, поцеловал ее руки и перекинул туловище через борт, уткнувшись лицом в ее колени, а когда сделал последнее усилие, чешуйчатый хвост вдруг нечаянно ударил даму в грудь.

— Помогите! Чудовище!— В страхе закричала она.

Ойя-Айя ужасно побледнел и собрался было нырять обратно в море, но запутался хвостом и замешкался... Из соседней лодки услышали крики женщины, и лодочник, тот самый, что, струсив, плыл обратно, выхватил ружье и выстрелил...

Ойя-Айя упал в воду, истекая кровью, и поплыл на дно, привлекая внимание акул.

Он быстро слабел и терял сознание, но дельфины вовремя заметили его. Они кинулись к нему и, подталкивая его тело снизу, стали поднимать Ойя-Айя на поверхность.

А затем самый догадливый дельфин — афалина — положил Ойя-Айя на спину, обхватил его плавниками и, описав дугу над водой, опустил раненого на палубу яхты.

Много дней потом плыли дельфины за яхтой и все ждали, не нырнет ли Ойя-Айя к ним в пучину. И устав от ожидания, отстали от яхты, ибо такая жизнь наскучила им...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

«Это тот самый человек, которого нам всем так не хватало», — подумал начальник Охо-Бохо, опытным глазом наблюдая за Ойя-Айя, который кое-как выбрался из своей яхты и пошел к берегу.

Охо-Бохо радушно бросился к нему навстречу и взял Ойя-Айя за локоть, чтобы помочь сделать первый шаг на острове.

— Добро пожаловать на остров Оранг-Утана Премудрого! — приветствовал его Охо-Бохо и, заметив растерянность и смущение гостя, добавил: — Нет, нет, я не стану требовать у вас документов, я не бюрократ! Вы, джентльмен, внушаете мне доверие! — И с ловкостью обезьяны пощупал и галстук, и костюм, и трость Ойя-Айя и даже потянул его за цепочку часов, которые тот ловко прицепил на шаровары, прикрывающие хвост. — Вы человек сугубо официальный, не так ли?

— В некотором роде — да, — еще больше сконфузился Ойя-Айя.

— Вы инспектор Главной Королевской тюрьмы и приехали, чтобы перенять кое-какой наш опыт, не правда ли? Я писал об этом лет двенадцать назад в метрополию...

— Видите ли, — ответил Ойя-Айя и пробормотал что-то насчет течения.

— А, все ясно! Вы из Имперского туристического бюро. Туда я обращался впервые лет девять назад, но понимая страшную вашу занятость... Прошу, прошу, чего же мы стоим? Нам надо пройти финниковую рощу, а от туда до моей хижины рукой подать. Милости прошу... Как я рад, что вы приехали — хоть будет с кем поболтать по душам...

Пятидесятилетний Охо-Бохо был одного с Ойя-Айя возраста, но выглядел, естественно, моложе и крепче, ибо большую часть жизни провел на этом понстине райском острове. А в том, что остров был действительно райским, Ойя-Айя убедился сразу, когда пошел, а точнее пополз за начальником, опираясь на крепкие ласты на конце хвоста.

За узкой полоской песчаного пляжа начинались заросли винограда, бананов, дикого ореха, на деревьях резвились обезьяны, передразнивая королевских птиц.

Увидев Охо-Бохо, обезьяны приняли строгий вид и, кажется, даже козырнули ему, а начальник снисходительно погрозил им пальцем. Но обезьяны не выдержали строгого стиля и запустили в Ойя-Айя кокосовый орех, чтобы подразнить его.

Охо-Бохо оглянулся и, поняв, что обезьяны сыграли с гостем злую шутку, сказал — непонятно, то ли всерьез, то ли пронично:

— Никак не могу заполучить до сих пор инструкцию, чтобы знать, по какой статье наказывать этих мартышек. Министерство Охраны Природы, к сожалению, не отвечает на мой вопрос, а заниматься самоуправством — не в моих принципах.

— Да ведь это безобидные существа, наказанные богом,— великодушно сказал Ойя-Айя, замечая, однако, что начальник удалился от него на приличное расстояние, а сам он застрял возле какой-то овальной ямы. Точнее не застрял, а, отученный ходить по прямой дороге, стал машинально кружиться, встретив на пути яму, и сделал уже три круга, прежде чем Охо-Бохо окликнул его:

— Я вижу, вы запутались, сударь... Идите и смотрите мне прямо в затылок, и тогда вы легко сможете ориентироваться в пространстве.

Когда Ойя-Айя, наконец, с большим трудом вырвался из своего круга и подошел к Охо-Бохо, тот, проявив деликатность, объяснил:

— Не смущайтесь! Человек, который долго плывет

по морю, теряет ощущение липки, не срабатывает, говоря по-научному, вестибулярный аппарат. Но это пройдет!

Ойя-Айя, следуя совету начальника, шел и смотрел ему прямо в толстый, бритый затылок, и Охо-Бохо привел его к своей хижине.

У входа их встретила здоровенная косматая горилла с довольно свирепым и независимым видом. Подняв лапу вверх, горилла приветствовала хозяина, а хозяин, ответив ей кратко: «Чунга-Чанга!», подал слуге стальной шлем, который носил, несмотря на жару.

Обезьяна взяла шлем и ловко повесила его на кол, а потом помогла Охо-Бохо снять мундир и стянула с его ног сапоги, тут же пододвинув к нему домашние туфли.

— Поухаживай теперь за гостем,— приказал ей хозяин, но гордая обезьяна сделала вид, что не поняла. Она как бы невзначай повела глазами сверху вниз по шароварам Ойя-Айя и, кажется, почуяла что-то неладное, потому что проклятые шаровары, обмененные Ойя-Айя уже совсем недалеко от Магеллановых столбов на грабли, оказались столь узкими, что подчеркивали контуры хвоста. Горилла поняла, хихикнула, но, уловив неодобрительный взгляд хозяина, засуетилась, стряхивая со стола кое-какой сор.

— Бесполезно просить его о каком-либо одолжении,— извинился Охо-Бохо,— ужасно ленивый зверь и упрямый, как человек.

— Да нет, я сам... не утруждая...— пробормотал Ойя-Айя и снял шляпу.

А Охо-Бохо, тем временем, наблюдая, как обезьяна стряхивает на пол огрызки кокосовых орехов, упрекнул ее:

— Ты опять затащил сюда Чики-Чики, негодник?!— И пояснил Ойя-Айя с нескрываемым удовольствием:— Ужасный прелюбодей, от него все мартышки острова брюхаты...

Пока Охо-Бохо говорил, гость от растерянности принялся ходить вокруг ведра, которое стояло посередине комнаты; в нее через худую крышу капала вода от пробежавшего недавно ливня.

Начальник взял Ойя-Айя за руку и, показав на скромную обстановку комнаты, где стоял лишь стол и вешалка с двумя ружьями, повел его в соседнюю комнату, видимо, спальню — там была широкая кровать для него, а рядом кровать поуже, для слуги-обезьяны.

Постель его, действительно, оказалась в ужасном со-

стоянии: подушка и простыня покусаны во время обезьяньих игр.

— Вот смотрите, живу я очень скромно. И даже не насилюю человеческую природу. Взял к себе в помощники обезьяну, от которой терплю одни лишь неприятности... Простите,— сказал он и взглянул на часы.— мой принцип — сначала дело, а потом все остальное. Если вы не возражаете, мы вернемся на берег, и я введу вас в курс дела, нужного вам для отчета Имперскому туристическому бюро... Чтобы вы, господин инспектор, не испытывали затруднений при передвижении, я надеву на себя собачий намордник, а вы будете идти сзади и держаться за поводок...

— Да зачем это? Утруждать вас...— запротестовал Ойя-Айя, после некоторого утомления снова почувствовав прилив сил.

— Не сопротивляйтесь, так будет лучше. Иначе вы снова начнете кружить вокруг каждого оврага или ямы, и мы опоздаем к приходу баржи...

Охо-Бохо надел на голову собачий намордник, крепко впился зубами в металлическую сетку, а поводок бросил в руки Ойя-Айя, и под неодобрительные возгласы обезьяны они покинули хижину.

— Я бы заставил надеть все это моего слугу, но вель он, паршивец, все равно отказался бы вести вас. Хитрил бы, хромал, словом, придумал бы тысячу причин,— пояснил начальник и сделал такой рывок, что поводок крепко натянулся, и Ойя-Айя пришлось не идти, а бежать трусцой, вернее, делать такие замысловатые движения, которые со стороны можно было бы принять и за бег и за быстрое ползание.

Так скакали они сквозь заросли диких плодов над неистовый хохот и крики мартышек, которые вели себя с гостем так же недружелюбно, как и при первой встрече. Забегая вперед, они корчили разные рожи, поднимали хвосты и показывали неприличные свои места, швыряли в Ойя-Айя кокосовые орехи.

Ойя-Айя изворачивался, хотя и не мог ни присесть, ни спрятать голову из-за дурацкого поводка.

Единственное, что он смог понять из всей этой шумной истории — то, что обезьяньей ватагой верховодил неизвестно откуда появившийся слуга господина начальника. Это удвительно безобразное существо, видимо, хорошо знавшее место, куда бежал его хозяин с намордником, показывал остальным обезьянам самые

наикратчайшие пути через заросли и очень ловко обошел с ними овраги и другие естественные преграды.

Начальник, чувствующий, что слуга его где-то поблизости, сказал нечто, что было трудно разобрать. И Ойя-Айя пришлось трижды напрячь слух, чтобы понять его просьбу:

— Простите, сударь, не бредет ли где-нибудь рядом моя образина?

— Да, прыгает тут...— пробормотал Ойя-Айя, да так тихо, чтобы не рассердить гориллу.

— Ах, мошенник!— вдруг затрясся весь от волнения начальник.— Что же теперь делать? Как прогнать его? Он вечно вмешивается в мои дела.— И доверительно сообщил Ойя-Айя:— Я знаю, он хочет снова стать начальником острова, чтобы насаждать здесь свои звериные законы. Как в те времена, когда меня здесь еще не было...

— Это невозможно,— прошептал Ойя-Айя, представив весь ужас положения.

— Да, да, вот и помогите прогнать его! Крикните или сделайте что-нибудь! Я бы сам на него прикрикнул, но видите, мне мешает намордник. А если я его сниму, то мы можем сбиться с ритма, в котором бежим. А нам крайне важно бежать именно в этом ритме, чтобы успеть. Ведь вы тоже не хотели бы опоздать, не так ли?

— Да, это было бы некстати,— ответил Ойя-Айя, смутно догадываясь о том, что начальник говорит так, чтобы ввести его в заблуждение. Ведь было ясно, что он побаивается крикнуть на своего волосатого слугу, не решаясь, видимо, его гневить.

— Да, мы взяли хороший темп и было бы жаль его нарушить,— повторил Ойя-Айя.— Но, видит бог, я не знаю, как прогнать вашего слугу.

Начальник долго и тяжело молчал, переживая, но потом пробормотал нечто, похожее на стон; гость ответил ему также невнятно, и они бежали, говоря друг другу всякие невразумительные вещи и желая поскорее забыть об обезьяне, которая по пятам преследовала их.

Роша неожиданно кончилась, еще два-три дерева промелькнули мимо них — и за узким берегом открылось море.

Не в силах сразу замедлить бег, они чуть не очутились в воде, и только когда холодная волна лизнула их ноги, Охо-Бохо и Ойя-Айя остановились и, тяжело ды-

ша, опустились на два кресла, стоящих под небольшим навесом.

Начальник снял с себя намордник и посмотрел на часы.

— Мы примчались на пять минут раньше,— сказал он, беспокойно оглядываясь и нища, видимо, своего свирепого слугу.

— Я, наверное, занял его кресло,— сказал Ойя-Айя, заметив на песке возле своих ног скорлупу кокосового ореха.

— Ничего, переживет,— досадливо поморщился Охо-Бохо,— нельзя же все время потакать его прихотям.— Сказал, хотя сам не очень-то был уверен в том, что говорил.

Еще раз напряженно посмотрев на часы, начальник поудобнее устроился в кресле и обратился к гостю, желая направить разговор на обычную светскую болтовню:

— Что там в метрополии? Как поживает принцесса? Вы помните, как она появлялась на балах в своеобразном платье с таким высоким воротом, вокруг которого мило и кокетливо вились кружева? И никто, конечно, не замечал, что у этой прелестной женщины растет ужасный зуб под этими кружевами. Вы не знаете, как прошла у нее операция?

— По-моему, удачно... Я видел ее в последний раз...— решил ловко соврать Ойя-Айя, но начальник опередил его, чтобы не дать возможности согрешить:

— О, я видел ее очень и очень давно, лет двадцать пять назад. И не могу представить ее постаревшей. Тогда у нее был роман с моим другом, сенатором Йо-Йо — интересно, чем все это кончилось? В то время были модны связи между аристократией и буржуа, государь очень поощрял их... А Йо-Йо был типичный буржуа, вне всякого сомнения... Простите!— прервал вдруг свои трогательные воспоминания начальник.— Мы чуть было не пропустили главного. Слышите?!

Ойя-Айя напряг слух и услышал неторопливое шлепанье ног по воде, а потом, посмотрев, куда повел рукой начальник, вздрогнул, увидев, как из-за деревьев, заслонявших часть острова, показалась толпа людей, низкорослых существ, бредущих по воде.

— Что это?— невольно воскликнул Ойя-Айя, страшась всяких неожиданностей.

— Не спешите, я вам все расскажу,— услышал он

голос начальника, который еще больше озадачил Ойя-Айя.

Каждый из этой однообразной массы был привязан к чему-то ремнем, и шли они медленно, понуря голову и не издавая ни единого звука — только плескалась вода, слабо сопротивляясь их ходу.

Сразу показалось и то, что они так усердно тянули — огромная, но уже ветхая баржа, облепленная снаружи ракушками и морскими травами, и начальник цепко посмотрел прямо в глаза Ойя-Айя, стараясь уловить его реакцию. И несколько удивился тому, что гость никак не переживал увиденное — раз смутившись, он сразу утомился, потеряв интерес, и безразлично смотрел на этих странных существ, кожа которых позеленела от долгого пребывания в воде.

Охо-Бохо не выдержал и, чтобы хоть как-то взбудоражить гостя, крикнул морским труженникам:

— Эй, рыцари! — но ответа, естественно, не услышал, потому что никто из толпы не повернул в его сторону головы.

Возбужденно вели себя обезьяны, прыгающие на барже. Собравшись на самом краю, они размахивали длинными прутьями, как бы понукая толпу, протягивали к привязанным ремнями волосатые руки и ловко бросали узникам на головы скорлупы гигантских орехов.

Охо-Бохо захохотал, глядя на эту картину, и дернул гостя за рукав:

— Не правда ли, потрясающий номер?! Как в цирке, с шутами гороховыми! Бедные пигмен... Эти гориллы так и норовят достать их и скрутить им шею, они страшно не терпят туземцев. И чтобы хоть как-то обезопасить их, я соорудил на носу баржи некое вращающееся устройство... Видите, как только гориллы протягивают к ним лапы, это устройство, незаметно вращаясь, отводит их в сторону... В молодости, когда я был офицером королевской гвардии, я наблюдал (дело было в теперешней метрополии), как двое пигмеев искали мед в дупле баобаба. Сверху их заметила горилла. И тогда пигмен, громко вопя, пустились наутек. Горилла помчалась за ними, круша все на пути и колотя себя кулаками по груди — так она была вне себя от ярости! У несчастных пигмеев от страха заплетались ноги. И тогда горилла с горящими глазами протянула к ним длинные волосатые лапы и, схватив их обоих за шиворот, ударила их лбами друг о друга — и что же вы думаете? Пигмен тут же

испустили дух... Простите,— спохватился начальник и, как бы жалея Ойя-Айя за то, что ему приходится выслушивать банальные истории, нежно погладил нарост на лбу гостя.

— Сейчас мы видели то, о чем я писал вам в Бюро около десяти лет назад. Теперь вы и сами согласитесь, что тут есть на что поглядеть состоятельным туристам... Как человек, вращающийся в высоких сферах государства, вы не могли не слышать, что ровно четверть века назад, во время сильного бурана, плавучая тюрьма, которая стояла в устье реки, ушла в открытое море. То, что вы сейчас видели,— это и есть та самая тюрьма, а толпа оборванцев, усердно тянущая баржу — ее узники — туземные вожди пигмеев.

— Да, да, я что-то припоминаю,— сказал Ойя-Айя.— Так это, действительно, та самая беглая тюрьма?

— Совершенно верно!— воскликнул начальник, взбодренный интересом, который, наконец-то, появился у гостя.— Я бы посоветовал вам, сударь, взять карандаш и бумагу и записывать наиболее интересные детали моего рассказа — это помогло бы вам составить для своего начальства безукоризненную докладную записку о вашем путешествии на остров.

— Пожалуй, вы правы. Я так и сделаю,— ответил Ойя-Айя и взял у начальника бумагу, сморщил лоб для солидности и приготовился делать заметки.

— Должен заметить в связи с этим вот что: рассказ мой будет предельно связанным, я его давно отшлифовал в своем мозгу и выучил наизусть в ожидании такого официального слушателя, как вы, господин инспектор, так что ничего лишнего, ничего сентиментального, никаких моих посторонних эмоций! Прямо сиди и записывай слово в слово, как на лекции в богословской академии...

...Так вот, к ужасу моей команды, узники были в это время на палубе в своей получасовой прогулке, и когда мы увидели, что нас понесло в море, сразу приготовились к самым крайним мерам на случай бунта. Но вместо бунта и резни преступные туземцы с криками: «Свобода! Свобода!»— бросились обнимать нас, своих стражей, думая, видимо, что и нас коснулась божья милость. Я дал команду брататься с ними, зная, что только так можно избежать нежелательных эксцессов, и думая, что скоро власти все равно обнаружат беглую тюрьму, и тогда опять воцарится порядок... Но прошло очень много времени, может быть месяц, и баржу нашу, без руля

и без ветрил, все дальше и дальше уносило от берегов родины, и все мы, и стража, и узники, продолжали жить в мире и во взаимном понимании — вместе ели, гуляли по палубе и удили рыбу. Я, конечно, понимал, что грубо нарушал тюремный устав, но надеюсь, что даже вы, человек сугубо гражданский, поймете, что иного выхода у меня не было. Их было пятьдесят узников — вождей, а нас всего десять стражей, и любая строгость с нашей стороны могла бы вызвать бунт, а это привело бы к гибели всей баржи...

— Нет! — вдруг прервал его Ойя-Айя, хотя с его стороны это было не очень-то деликатно. — Вам все равно придется нести ответственность. Даже в самых исключительных обстоятельствах вы не должны были ронять честь своего мундира, ослабляя строгость и порядок, на который нас уполномочил сам государь! Ведь посудите сами, что будет с государством, где жандарм из чувства самосохранения сбросит свою униформу и растворится в толпе мятежников, а судья при виде преступника спрячет парик и мантию, а налоговый инспектор, забредший в трущобы, сорвет петлицы?..

— Да, вы правы, с меня спросится, — не огорчился, а обрадовался Охо-Бохо неожиданной словоохотливости собеседника. — Но об этом поговорим после...

— Простите, — извинился гость и бросил взгляд на толпу, размеренно тянущую баржу.

— Одним словом, сударь, тюрьма наша плыла в море, а узники наслаждались свободой. Мы проплыли нейтральные воды и оказались в водах какого-то соседнего государства, и тут я, честно говоря, потерял всякую надежду на то, что наши власти когда-нибудь обнаружат нас и вернут на родину. И я стал думать, как же быть дальше. И поверьте, это были очень горькие, почти безнадежные мысли. К тому же я столько слышал о некоем течении, которое якобы носит по замкнутому кругу суда, что временами впадал в черную меланхолию, думая, не попала ли и наша плавучая тюрьма в плен этого течения...

— Да, течение, — просто сказал Ойя-Айя, но мысль его тут же погасла.

— Вы что-то сказали? — сделал вид, что не расслышал, начальник, но, не получив ответа, продолжил, сделав поначалу небольшое философское отступление: — Вот все мы ломаем над чем-то голову, полны страстей, ковыряемся в себе, извлекая прежний опыт, в трудную

минуту обращаем взоры к небу, ударяясь в мистику и алхимию, но все это мишура, ибо все на свете просто, потому что все — есть непрерывная цепь мирового порядка, или точнее — правопорядка... Вот так просто решилось и с одиссеей нашей баржи. Однажды в туман мы почувствовали, что тюрьма наша не плывет больше, а стоит. Да, представьте себе, мы вдруг остановились после стольких дней блужданий — и все, и стража и вожди туземных мошенников, страшно переполошились. Узники задумали против нас заговор — вот первое, что пришло на ум, и теперь, устроив поголовную резню, они попытаются бежать. Я тут же приказал страже быть наготове и занять удобные позиции, чтобы в случае надобности перестрелять всех туземцев до единого. И очень удивился потом, видя, что узники ничего против нас не предпринимают, а напротив, находятся в крайней растерянности... Впрочем, растерянность их длилась недолго. Как будто давно сговорившись, они вдруг попрыгали в воду и стали лихорадочно привязывать себя к барже ремнями. Мои стражники уже направили на них винтовки и не успел я скомандовать «пли!», как почувствовал, что баржа пришла в движение, чуть наклонилась направо-налево и медленно поплыла, ведомая запрягшимися в нее туземцами... Мы тут же вышли из полосы тумана, и я понял, что баржа попала на мель возле какого-то островка, и что узники снова дали ей ход, напрягая остатки сил и снова крича неистово: «Свобода! Свобода!» Они везли нас, своих стражников, на себе, и я сидел и думал, что зря переволновался: достаточно было того, что баржа пришла в движение и толпа туземных бродяг снова счастлива, потому что само движение было для них равнозначно свободе... Чуть позже я понял и другую истину, еще более удивившую меня: для них было неважно, куда движется их плавучая тюрьма, вперед или назад, важно то, что она просто в движении, а двигалась она теперь вокруг острова, по замкнутому кругу; видимо, так им было удобнее всего.

Мы сделали один круг, второй, и я уже успел разглядеть все прелести острова — а остров ведь вправду прелестный, сударь? И теперь я уже ни за что не беспокоился и ни о чем не жалел. Так они возили нас вокруг этого острова целый день, а к вечеру, поняв, что у узников нет дурных намерений, я приказал страже спуститься на берег. Теперь у меня снова появилась надежда, что мы рано или поздно вернемся на родину, ибо плавучая

тюрьма застряла возле определенной земной точки, которую нетрудно было обнаружить нашим спасательным судам.

Пока я размышлял над тем, как связаться с метрополней и какую временную жизнь устроить на острове, чтобы, во-первых, узников не покидала иллюзия свободы, а во-вторых, чтобы у меня, напротив, было чувство того, что они находятся на заслуженной несвободе, мошенники-вожди от долгого блуждания по кругу с тюрьмой на привязи проделали такую работу, что углы острова изменились от трения воды, и остров Оранг-Утана Премудрого стал совершенно круглый, как монета — вы успели это заметить, господин инспектор Имперского бюро, когда сюда причалили на яхте?

— Нет, к сожалению, не успел,— промолвил Ойя-Айя и, чтобы не показаться слишком бездеятельным, сделал какую-то пометку в тетради.

— Торжественно обещаю, сударь!— Встал и принял строгий вид начальник.— Завтра, в день рождения нашего великого государя, мы совершим приятную прогулку на барже, и вы тогда все увидите.

Он снова сел и продолжил:

— Так вот, остров наш стал совершенно круглый и, чтобы как-то управлять плавучей тюрьмой, я приказал своей команде незаметно установить на берегу небольшие колеса, дабы привязать к ним баржу длинным стальным тросом. Получилось довольно оригинальная картина — они, то есть узники, были привязаны к своей тюрьме ремнями, а тюрьма, в свою очередь, была привязана к берегу этим тросом, и так как они ходили по кругу, то и трос тоже двигался вместе с ними вокруг острова, не причиняя мошенникам никаких неудобств... Теперь, к сожалению, вы не увидите этого троса, ибо от многолетней службы он износился и в один прекрасный день упал на дно моря... Как вы догадываетесь, я бы мог вполне обойтись и без этого троса; потому что тюрьма и без него никуда не уплывет, но, сами понимаете, порядок есть порядок. Если, скажем, явится какой-нибудь чересчур педантичный инспектор из тюремного управления, то мне не будет оправдания, когда он увидит, что с моей стороны нет надежного управления тюрьмой при помощи упомянутого троса. А обыкновенный трос — это и есть мое алиби, вот почему я так умолял своего друга сенатора Йо-Йо посодействовать мне в этом важном деле, а если нужно, то обратиться лично к самому госу-

дарю за тросом, если сенат большинством голосов отклонит мою просьбу... Между нами говоря, я даже пообещал Йо-Йо, что если он достанет мне трос, то я, со своей стороны, буду ходатайствовать перед государем, чтобы он позволил переименовать остров в честь жены сенатора — Соледат. И тогда вы, сударь, в своих будущих туристических путеводителях могли бы назвать этот остров романтично — островом Примадонны Соледат. Ведь согласитесь, что от нынешнего его туземного названия веет чем-то первобытно-звериным?

— Да, название «Остров Оранг-Утана Премудрого» переименовать! — энергично согласился Ойя-Айя и снова для видимости отметил в тетради.

Начальник хотел было сообщить еще что-то интересное, но вдруг увидел своего косматого слугу и закричал:

— Ты что тут делаешь, образина?! Ты позоришь меня перед уважаемым гостем из метрополии!

Ойя-Айя заволновался не меньше хозяина, увидев, как недалеко от них сидит и не сводит глаз с баржи горилла. Поганая морда ее была серьезной, а уголки безобразного рта опущены от звериной тоски. Услышав крики хозяина, обезьяна нехотя встала и побрела в заросли, издавая трубные звуки.

Охо-Бохо, однако, долго не мог успокоиться, он ходил взад-вперед, заложив руки за спину, и что-то бормотал без устали, видимо, проклятия.

— Вот так, — пожаловался он, — всегда найдется какой-нибудь хам, который нарушит стройный ход ваших мыслей. Теперь, простите, у меня сумбур в голове. Давайте сделаем так: вы будете задавать мне интересующие вас вопросы, а я постараюсь отвечать на них, ничего не утаивая.

Начальник снова сел в кресло и приготовился слушать, но Ойя-Айя долго не мог собраться с мыслями. «Это мучительно — задавать вопросы», — подумал он, не желая напрягаться. Потом тревожно оглянулся по сторонам, боясь снова встретить слугу начальника, и спросил, наконец:

— А где же команда? Кроме вашего домика я не заметил здесь никакого людского жилья.

— Вы правы — я совершенно один, если, конечно, не считать этих преступных пигмеев, привязанных к барже. Через год, когда я понял, что излишне содержать на острове большой штат, я сказал своим стражникам: возвращайтесь, сеньоры, по домам! Каждый, как может.

Они, конечно, были страшно недовольны, потому что жили вольготно, слоняясь целыми днями по острову и пожирая фрукты — но приказ есть приказ. Поворчали и разъехались. Каждого из них я снабдил точным описанием координат нашего острова, но напрасно. За двадцать пять лет вы, господин инспектор, первый человек, который посетил меня из метрополии. Не знаю, что там произошло, возможно, все они погибли по пути на родину. Но ведь за людей уволенных я не несу ответственности. Нет, не несу! Я отвечаю за вот этих пигмейских вождей и за каждый гвоздь, вбитый в плавучую тюрьму, — показал начальник на баржу, уже подходившую к изгибу острова, возле которого море заслоняли густые заросли.

— Вот вы сказали: двадцать пять лет, — напрягая ум, проговорил гость. — Скажите, есть ли среди них такие, чей срок давно истек?

— Признаюсь вам откровенно: срок заключения истек у всех, у всех до единого! Но и тут я ничем не могу им помочь. Узники сами, когда впрягли себя в тюрьму, уничтожили свои документы, потому что считали, что обрели свободу. Они замели следы своих прошлых преступлений, чтобы никто о них не мог вспомнить... Да, — с уверенностью подчеркнул Охо-Бохо, — срок их наказания истек давно!

— Разумеется, — согласился Ойя-Айя, — теперь это уже не имеет никакого значения, потому что все они на свободе... А как с новичками, прибывают ли к вам новые заключенные?

Вопрос этот, против ожидания, почему-то очень взволновал начальника, и он встал, чтобы скрыть свое состояние. Он стоял спиной к гостю и криво усмехался, покручивая ус. Большим усилием воли он взял себя в руки и сказал, потупив взор в то место, где был спрятан у гостя хвост.

— Ваш вопрос, признаться, кольнул меня словно ножом прямо в сердце. Потому что ничто меня так не волнует, как новички. Но их просто нет! Да, да, не удивляйтесь! Тюремное управление не отвечает на мои заявки, они глухи к моим мольбам. Если бы они знали, как мне приходится работать в необычных условиях, они над этим не задумываются. А новички мне нужны больше, чем кому-либо... Вы заметили, как они бредут по воде, вы видели упадок их энтузиазма? Часы, на которые я смотрю, достаточно красноречиво говорят о их состоянии... Со временем, когда остров округлился, узники вы-

работали такой темп, при котором они стали совершать один полный круг за двадцать четыре часа — видимо, на них действует космическое притяжение. Но теперь бывают дни, когда они обходят остров дольше — за двадцать четыре часа и двадцать минут. О чем это говорит, милостивый государь? Да лишь о том, что в них вкрадывается сомнение! Мы с вами понимаем, что свобода — вещь метафизическая, и она требует, чтобы время от времени ей давали новый стимул. А для монахов узников таким хорошим стимулом были бы новички. Когда они видят, что свободой, которой они так долго пользуются, почему-то не пользуются другие, они начинают сомневаться, думая, действительно ли так уж хороша их свобода... Но когда они увидят в своей толпе новое лицо, которое решило воспользоваться такой же свободой, они воспрянут духом и поверят, что находятся на истинном пути. Вот почему им позарез нужны сейчас новички, хотя бы один новичок, за которого я бы молил бога. Право, сударь, — печально заключил начальник, — ведь не пошлешь же в их компанию моего слугу, этого волосатого образину, для которого все понятие свободы заключается в том, чтобы с ворчаньем исполнять мои приказания и выбирать для гадких своих утех каждый раз новую мартышку...

— Но ведь вы могли бы найти такого новичка среди общества, которое несет течение. Там, я уверен, много типов с преступными замыслами...

— О каком течении вы говорите? — прищурился начальник. — Да, да, я вспомнил... мне говорили, разное, граничащее со слухами, суеверием, вымыслом. Но всему этому я не верю...

— Я слышал, что недалеко эти пресловутые Магеллановы столбы, — сказал робко Ойя-Айя.

— Как вы сказали? Магеллановы? — переспросил начальник. — Не знаю, не знаю... Тут, правда, есть какие-то причудливые скалы, которые можно с большой натяжкой назвать столбами. Их сейчас не видно из-за тумана. И они вообще так редко видны, что можно сказать, что их вовсе нет... Интересно, а что слышали вы об этом течении, господин инспектор?

— Нет, ровным счетом — ничего, — засомневался Ойя-Айя после того, как начальник столь убедительно доказал отсутствие в море Магеллановых столбов.

— Тогда, я надеюсь, исчерпывающе ответил и на этот ваш вопрос, — сказал начальник. Потом встал и

поежился:— Вы заметили, как подуло с моря? Идемте вернемся в мою хижину, не то нас может застать ливень...

Ойя-Айя поднялся и случайно глянул на море: баржа, обогнув видимую часть острова, тянулась теперь где-то мимо другой ее половины...

Ночью, страдая от бессонницы в соседней комнате, Ойя-Айя вдруг услышал сквозь шум ливня за окном какую-то возню в хижине, стоны и бормотание, мимо него дважды пробежала страшно возбужденная горилла с одеялом под мышкой. Потом суета стихла, и гость подслушал, как Охо-Бохо ругает своего смирившегося слугу.

— Отстань!— кричал он.— Ты вечно вмешиваешься в мои дела, поганая образина! Не делай, пожалуйста, вид, что ты что-то понимаешь в людской жизни. Я тебя арестую, посмотришь! И посажу в клетку на смех мартышкам.— Потом начальник несколько умерил свой пыл и продолжал нравоучительным тоном:— Я ведь дал тебе прав и свобод больше, чем какому-нибудь другому зверю острова. Разве этого мало? Ты требуешь большего? Но что ты будешь делать со своей свободой — ты думал об этом? Ты нарушишь разумный порядок вещей для своего звериного анархизма. Ступай вон!

Слуга в ответ что-то робко бормотал, чмокал губами и еле слышно трубил, но хозяин прервал его, сказав:

— Хватит, я уже сплю! Завтра мне надо проснуться со свежей головой. Закройся одеялом, чтобы я не видел твою плутоватую физиономию.

Возможно, они еще потом продолжили спор, но Ойя-Айя, утомившись, уснул, словно провалился. А утром, когда проснулся, никого в хижине не обнаружил, зато увидел за окном ясный, удивительно голубой день, промытый за ночь тропическим ливнем.

«Сегодня ожидается что-то очень важное»,— стал думать Ойя-Айя, потом вынул из чемодана фрак, вспомнив, что в этот день родился государь, посему надо одеться соответственно торжеству и своему положению инспектора.

Фрак оказался несколько не по размеру, и тогда он, лежа на кровати, долго искал удобного положения, понимал хвост то вверх, то перегибал дугой, чтобы пристегнуть к нему фалды фрака. И элегантный вышел из хижины и побрел по тропишке сквозь рощу к знакомому берегу.

Мартышки, почуяв приближение гостя, вооружились кокосовыми орехами, чтобы продолжить свою вчерашнюю вакханалию, но увидев Ойя-Айя во фраке с белоснежной манишкой — ахнули. Они долго всматривались в него, прыгая с дерева на дерево, а несколько самых порочных, видимо, бывших любовниц слуги господина начальника, стали хихикать, выпячивая свои толстые губы и изображая любовный танец.

Ойя-Айя шел поначалу не обращая на них внимания, но потом засмутился и нервно задергал плечами. Боясь, как бы мартышки не рассердились на него и не закидали тяжелыми орехами, он поминутно улыбался им и вздыхал, словно о чем-то очень сожалел.

Мартышки поняли его хитрость и попрыгали все на баобаб, для того чтобы посоветоваться. Затараторили, строя разные рожи и жестикулируя и лапами и хвостами, а затем мигом умолкли, когда большая мартышка с белым клоком шерсти на лбу ударила лапой по стволу дерева, приказывая повиноваться ей. И заговорила только она, мягко и вкрадчиво, словно стонала, и все мартышки кивали ей.

Подперев лапами подбородки и приняв выжидательный вид, они смотрели, как Ойя-Айя приближается к баобабу, а когда гость был уже под кроной дерева, белолобая мартышка вдруг прыгнула вниз и стала в соблазнительной позе перед ним, и не успел Ойя-Айя что-нибудь предпринять, как мартышка вскочила на него, обхватила за шею, и оба они упали на траву.

И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не крик слуги господина. Он прибежал с намордником на носу, и мартышки мигом исчезли, попрятавшись в листья, а ту, которая лежала рядом с гостем, слуга начал усердно хлестать вожжами и по самым больным местам!

Ойя-Айя смущенно поднялся, отряхивая фрак, и хотел было уже как-то оправдаться перед гориллой, но та, избив до полусмерти свою любовницу, бросила вожжи в руки гостя и побежала, оставив мартышку стонать на траве.

Темп, взятый гориллой, был довольно приличный, бежала она быстрее своего господина, и Ойя-Айя приходилось напрягать все свои силы, чтобы хоть как-то поспевать за ней. Если не считать этого неудобства, гость в остальном чувствовал себя хорошо от сознания того, что поводом у него на сей раз был не сам господин, а слуга.

Так бежали они до тех пор, пока не открылась перед ними большая поляна со скалой посередине. Приблизившись к скале, Ойя-Айя увидел начальника, который, стоя на лестнице, с усердием выводил что-то на скале. При внимательном рассмотрении оказалось, что хозяин острова выбивает на мраморе довольно стройный ряд букв.

Услышав топот примчавшихся, Охо-Бохо оторвался от работы и приветствовал гостя во фраке:

— Доброе утро, господин инспектор! Поздравляю вас с днем рождения нашего государя! Я рад, что этот счастливый день мы проводим в дружеской компании.

— Необходимо поднять флаг нашей родины над островом,— пробормотал Ойя-Айя и бросил тревожный взгляд на гориллу, боясь, как бы та не дала понять Охо-Бохо о его приключениях с мартышкой.

— Да, вы совершенно правы насчет флага, но мне бы не хотелось осложнять международные дела нашего государя. Пока еще нет официального постановления сената о присоединении острова к метрополии, и мы ограничимся лишь салютом из ружей!

— Тоже логично,— согласился Ойя-Айя и, посмотрев еще раз на слугу начальника, успокоился. Тот, даже не сняв намордника с поганой своей физиономии, лежал на траве и тяжело дышал с пеной у пасти.

— Это он притворяется,— поймал начальник взгляд Ойя-Айя,— из него вышел бы превосходный артист. Делает малость, а вздохов и страданий, рассчитанных на жалость... Вставай и убирайся!— приказал господин слуге, и тот скрылся в густой траве.

Оставшись одни, хозяин и гость полюбовались одеянием друг друга и остались довольны. Рядом с романтичным Ойя-Айя начальник выглядел крайне строго и внушительно в своем новом мундире с длинным рядом орделов, свисающих к ручке шпаги на боку. Единственное, что было несколько неуместным — белые перчатки на руках Охо-Бохо и какая-то ярко-красная матерчатая фиалка в петлице, неизвестно для чего приколотая им. Впрочем, эта странность тоже шла к его облику, как-то очеловечивая его.

— Я вижу, вы заняты важным делом,— сказал Ойя-Айя, обозревая надписи на скале, но ничего не понимая в них из-за высоты.

— Да, крайне важным, таким важным, что приходит-

ся работать даже по праздникам!— засуетился начальник, приятно и трогательно, как человек, который очень дорожит сделанным.— Ступайте за мной!— пригласил он гостя и стал подниматься по лестнице вверх, туда, где ожидала его неоконченная строка.

Охо-Бохо добрался к площадке, венчающей лестницу, а потом помог гостю, и когда тот стал рядом с ним, покачиваясь от непривычной высоты, начальник сказал, показывая на огромного размера буквы, высеченные на красном фоне:

— Вот, полюбуйтесь! Дело, на которое я потратил почти всю свою жизнь, проведенную на острове. Отбросив ложную скромность, спрошу: правда, великолепно-внушительно?!

— Да, совершенно внушающее уважения зрелище,— несколько нелепо выразился гость, все еще не до конца понимая смысла содеянного начальником. Только при втором или третьем внимательном взгляде стало ясно, что тут какое-то очень строгое, лаконичное изречение, похожее на закон.

— Кажется, это нечто глубокомысленное,— сказал гость.

— Вы совершенно правы! Это Имперский тюремный устав!— И, уловив недоумение, пробежавшее по лицу гостя, добавил:— Да, да, не удивляйтесь, это именно тюремный устав— основной закон для поддержания порядка в местах заключения.

Само по себе услышанное и увиденное, естественно, должно было родить неимоверный трепет и уважение в душе гостя, но, с другой стороны, некоторая необычность формы, в которую был заключен сей основной закон, а именно его запечатленность на гигантской скале, могла вызвать и недоумение. И посему Ойя-Айя пробормотал нечто насчет целесообразности затраченного труда, но Охо-Бохо, перебив его, внес ясность:

— Видите ли, господин инспектор, вся та сотня экземпляров, которые я вез на барже, пропали при неизвестных обстоятельствах. И тогда я решил по памяти восстановить весь текст устава на этой скале. Почему? Во-первых, устав— это основной закон жизни пигмейских узников, в которой даже самая малая запятая наполнена огромным содержанием. Надеюсь, это вам не надо объяснять?

— Совершенно верно,— быстро согласился гость.— Но почему именно на скале?

— А! Это интересный вопрос! Когда туземные вожди находились в неволе, им достаточно было того, что закон вмещался в пределах маленькой книжки. То есть, при самой минимальной свободе, которой они пользовались — свободе есть то, что им дают, или голодать, свободе спать или бодрствовать, ожидая срока окончания заключения, то есть свободе существовать или же прервать это существование, наложив на себя руки — достаточно того, чтобы закон своим видом не давил на них. Теперь же все переменилось. С тех пор как у них появилась иллюзия свободы, надобно, чтобы и закон вырос в их глазах до гигантских размеров — а сделать это можно лишь физическим растягиванием закона, тогда закон, как дамоклов меч, довлечет над ними. Поверьте, я бы никогда не стал тратить свои силы на эту изнуряющую работу, если бы не был уверен, что, делая свои круги, узники бросают взгляд на скалу и проникаются ощущением всемирного правопорядка... Иными словами, сударь, для того, чтобы управлять малой свободой, достаточно, чтобы над ней довлел малый закон, а куполом большой свободы должен служить закон, доведенный до гигантских размеров... Кроме всего прочего, это моя работа может создать отличную мне репутацию, как начальнику тюрьмы, при внезапной проверке со стороны метрополии. Думаю, что и для вашего Бюро эта скала смогла бы послужить хорошей приманкой, как одна из главных достопримечательностей острова, не так ли?

— Да, тут есть на что полюбоваться. Очень привлекательный плод упорства ума и рук...

— Вы совершенно правы, говоря об упорстве, — поддержал заявление гостя хозяин. — Посмотрите, я почти закончил целый параграф и сейчас всецело занят шлифовкой одной лишь запятой, знака, который должен венчать мысль, а потом продолжить ее в несколько новом качестве... И что вы думаете? Над этой запятой я быюсь уже добрый месяц — в этом месте порода попалась очень твердой, поломал и выбросил уже десяток зубил. Казалось бы, надо просто отмахнуться и идти дальше, оставив вместо запятой вот этот еле заметный след, который я выцарапал. Но нет! И вот почему: прочтите эту фразу без запятой, и получится совсем другой смысл закона. Вместо параграфа, который гласит, что побег из тюрьмы карается казнью через повешенье, получается параграф с другим смыслом, а именно — смертная казнь приво-

дится в исполнение расстрелом. Существенная разница, правда? Вот что значит буква закона... А теперь обратите свой взор на строку параграфа выше — тут запятая играет огромную роль в толковании духа закона. Речь, как вы заметили, идет о нападении на стражу. Здесь запятая, как говорится, ставит все точки над «и», уточняя, что за нападение на охрану — вас ждет смертная казнь. А теперь вот я закрыл ладонью эту самую запятую, читаем — совершенно другой смысл. Из него вытекает, что за то же деяние вас ждет помилование... Если судье надо вас помиловать, он просто не задержит свой взгляд на этой запятой, а если же, наоборот, повесить, будет тыкать на нее пальцем, молиться, боготворить и доведет ее в своем воображении до такого размера, что она, эта мелюзга — запятая, заслонит все, даже самые большие буквы... Кстати, насчет запятой в законе очень хорошо сказано в изречении нашего короля Мнадапалаха XIV, хронику деяний которого, написанную более четырехсот лет назад, мне довелось как-то прочитать. Между нами говоря, будучи не в ладах с грамматикой, он, составляя законы, поставил запятую совершенно ни к селу, ни к городу, то есть там, где она по его полному невежеству должна была стоять. И когда кто-то из отцов законодателей осмелился обратить его внимание на эту несуразность, наш Мнадапалах XIV сказал приблизительно следующее: я оставляю эту запятую затем, чтобы, явившись поводом для дискуссий, она могла дальше развивать демократические традиции нашего общества. Мудро, а? Мудро! — согласился сам с собой Охо-Бохо. — Ничего не возразишь... Эта знаменитая запятая до сих пор прочно сидит в законе, вон она, в самом параграфе, наверху скалы. И попробуй — сдвинь ее с места, не сдвинешь. ...Но, чтобы как-то незаметно опровергнуть этот первый параграф, наш нынешний государь внес в закон последний параграф, который мне еще предстоит высекать на скале. Но это не все, сударь! Есть еще несколько других параграфов в этом уставе, которые отвергаются несколькими другими параграфами этого же устава. Или что еще более любопытно: есть один такой параграф, первая половина которого отвергается второй половиной, ну прямо как змея, которая проглатывает свой хвост... Я вижу на вашем лице легкое недоумение, но спокойствие, господин инспектор: все они, и те и другие виды параграфов, крайне важны для закона, свободного его толкования. Вы — судья, можете тол-

ковать закон в нужном вам направлении, то есть, в зависимости от характера судопроизводства обращать свои взоры то к параграфам отвергаемым, то к параграфам отвергающим... Простите,— неожиданно прервал свои объяснения Охо-Бохо,— вижу, что изрядно утомил вас. Тем более, слушать все это, стоя на одной ноге на узкой площадке, не совсем удобно. Спустимся!

Внизу начальник снова помог гостю встать на землю и крикнул в сторону кустов:

— Эй, паршивец!

И тут же выползла к нему с виноватым видом горилла-слуга, явно подслушивавшая весь разговор у скалы.

— Ступай со своей ватагой на баржу. Пора уже загружать ее бананами!

Слуга послушно пустился в сторону рощи, ломая ветки по пути, и вскоре все вокруг огласилось обезьяньими криками...

До самого вечера Охо-Бохо без устали трудился над тем, чтобы привести свою запятую на скале в некое соответствие с правилами ее написания, и Ойя-Айя помогал ему. Он спускался вниз, чтобы достать выскользнувший из рук начальника резак, а потом, держа его в зубах, задыхаясь, карабкался опять на площадку, или бегал к соседнему ручью и набирал воды во флягу, которую Охо-Бохо держал на ремне чуть ниже подбородка, чтобы время от времени смачивать горло.

Часто в перерывах между работой гость подслеповатыми глазами изучал уже высеченные параграфы и находил их удивительно грамотными орфографически — ни одной досадной ошибки, ни одной оплошности. А ведь начальник, судя по всему, был малограмотным, и когда Ойя-Айя высказал ему свое восхищение, тот ответил не без гордости:

— Чему же вы удивляетесь, сударь, ведь у меня прекрасная зрительная память. Достаточно мне было несколько раз полистать устав — и я запомнил весь этот словесный порядок... Нет, в смысл написанного я и не старался вникать — бесполезное занятие. Огромный опыт работы с узниками вполне достаточен, чтобы знать, что от тебя требуется. Так что устав и законы живут сами по себе, а я сам по себе, но наши интересы все равно тесно переплетаются. Так-то, господин инспектор...

Все это он говорил, когда уже спускался вниз, закончив работу на сегодня.

— А теперь,— сказал он, взяв гостя под локоть и стряхивая с его фрака мраморную пыль,— пора совершить прогулку.— И был суетлив, забегая вперед, рвал цветы и вдыхал их аромат, и, найдя какой-то гладкий камушек, сначала запрятал его в карман, затем подумал и вынул обратно, чтобы брезгливо выбросить — словом, вел себя так, будто забыл о госте. Только один раз он тревожно глянул на Ойя-Айя и сказал:

— Надо поторапливаться, боюсь, что моя образина попросится в нашу компанию. Ведь согласитесь — ходить в обнимку с волосатым чучелом в день рождения государя как-то непристойно...

— Вы совершенно правы,— согласился гость и убыстрил шаг.— Лучше уж иметь своим слугой одного из этих туземных вождей, чем бесчеловечную гориллу!

— Я подумаю над вашим крайне интересным предложением,— пообещал начальник и больше не проронил ни единого слова, пока шли они через рощу к берегу.

Удивительная тишина была кругом, и так, кажется, ни звука на всем острове. Торжественная тишина праздничного дня, которую не решались нарушать даже самые несдержанные мартышки.

— Мне говорили, сударь, что вы подверглись нападению одной бесстыжей мартышки,— пробормотал Охо-Бохо, боясь, как бы его непривычная неразговорчивость не насторожила гостя.— Прошу вас, когда вернетесь в метрополию, поторопите тюремное управление насчет инструкции — как наказывать провинившихся обезьян и прочую лесную тварь.

— Хорошо, я займусь,— ответил Ойя-Айя, проклиная в душе слугу начальника за его болтливый язык. Но когда он мог рассказать про постыдный случай? Ведь целый день гость и хозяин провели вместе наедине, и горилла, если она и пряталась в ближайших кустах, все равно не могла незаметно шепнуть ему на ухо. Может быть, господин и слуга объясняются с помощью непонятных гостю жестов? Может, у них есть тайная азбука, и покрытый грязной шерстью хам доносит Охо-Бохо обо всем, что делается на острове?

Пока Ойя-Айя ломал над этой загадкой голову, они вышли на прибрежную полосу, и повеяло гнилыми водорослями и запахом рыбы. Гость увидел какое-то деревянное сооружение бесхитростной конструкции — длинную

ровную доску на двух колесах, покачивающуюся от легкого дуновения ветра.

— Это сооружение — еще одна достопримечательность острова — также будет бесполезна для вашего отчета в туристическое бюро, — подчеркнул Охо-Бохо всжливво и, предупредительно взяв гостя за локоть, повел его к скрипучей доске. Не ожидая расспросов, Охо-Бохо пояснил: — Его я придумал на тот случай, если туземные вожди получат свободу и тогда придется, вернее, можно будет использовать их для развлечений заезжей публики. Больше ведь они ни на что не годятся, эти пигмеи — вы согласны?

— Полностью согласен, — сказал Ойя-Айя, и не успел задать вопрос, как начальник легко подтолкнул его к доске, приглашая подняться на нее.

— Прошу, утолите свое любопытство, — сказал он, покручивая ус. И ждал, пока гость поднимется на доску, а тот ступил, закачался, а потом пошел осторожно, не твердой из-за хвоста походкой.

— Включаю! — неожиданно крикнул начальник, и не успел гость возразить, как что-то шелкнуло, край доски, на которой стоял Ойя-Айя, опустился, а потом резким толчком подбросил гостя в воздух. Описав дугу, Ойя-Айя пролетел прибрежную полосу и нырнул в море...

Ойя-Айя крикнул, но крика не получилось — его проглотила плотная вода. И только стайка рыб метнулась в сторону, а потом наступила тишина, та самая благостная тишина, которую так искал в пучине Ойя-Айя, когда плыл вместе с течением.

Немного отвыкший за эти дни от моря, Ойя-Айя минуты две задышался, но вскоре снова почувствовал себя в родной стихии. Дельфины, промышлявшие поблизости, увидели его и поплыли к Ойя-Айя, хрюкая. Сначала они сконфузились, увидя его джентльменский фрак, надетый по случаю праздника, но потом, когда фалды фрака разошлись и выглянул хвост, дельфины зарезвились вскруг старого знакомого.

Их резвость немного заразила и Ойя-Айя, он даже совершил вместе с ними большой прыжок над водой в лучах солнца. И начальник, преспокойно сидевший на берегу, заметил, как он вынырнул из воды, выпустив струю, а потом снова ушел в пучину.

«Нет, — подумал начальник, хотя и страшно позавидовал гостю в эту минуту, — стихия человека не море, а земля. Да, именно — земля...»

Плавая с дельфинами, Ойя-Айя уже подумал: а не остаться ли ему навсегда в море, но затем прочь прогнал сомнения. Роль инспектора Имперского бюро, так импонировавшая ему, не позволила Ойя-Айя испытывать терпение хозяина острова.

«Если я неожиданно исчезну и больше не вернусь, начальник не вынесет такого удара. Ведь я разбил бы все его иллюзии, все его планы устройства жизни на острове, все его мечты. С моей стороны это было бы бесчеловечно. И вдвойне бесчеловечно предавать начальника в такой торжественный день...»

Подумав так, он поплыл к берегу и увидел, что к тому месту, где сидел в ожидании Охо-Бохо, приблизилась и баржа, ведомая узниками.

Ойя-Айя и тюрьма почти одновременно поравнялись с начальником, и Охо-Бохо, сделав несколько шагов по мелкой воде и ловко затем взобравшись на баржу, крикнул гостю:

— Простите за нелепый случай! Думаю, что приятная прогулка на барже снимет вашу горечь. Прошу в мою компанию.— И, перегнувшись за борт, хотел помочь Ойя-Айя подняться на палубу. Но остался так, помахивая руками, ибо что-то не дало Ойя-Айя ухватиться за край баржи, неведомая сила, похожая на течение.

— Ну, что же вы?!— приглашал его Охо-Бохо, ловко так и артистично жестикулируя.— Скорее же, иначе мы можем разочаровать пигмеев. В такой день мы должны сделать им что-нибудь приятное. Залезайте ко мне скорее и займитесь раздачей бананов, господин инспектор... Они-то и не догадываются, кто вы на самом деле— пусть думают: из богоугодного благотворительного общества,— суетился страшно начальник, не понимая, отчего это гость никак не может подняться к нему. Откуда ему было знать, что Ойя-Айя старается изо всех сил, но течение не выпускает его из воды.

— Вы не представляете, какая будет радость для пигмеев пожевать бананы. Ведь обычно они питаются тем, что плавает в воде перед их носом — водорослями, ракушками, дохлой рыбой. А тут такая роскошь! Поистине королевская еда!— все заманивал его на палубу Охо-Бохо, все протягивал руки, чтобы схватить за фалды фрака, плавающего по воде следом за гостем.

— Спасибо, я так и сделаю,— обещал Ойя-Айя, ибо роль благотворителя нравилась ему теперь куда больше, чем официального инспектора.

Желая показать гостю пример, Охо-Бохо поднял тяжелую связку бананов и заторопился к носу баржи, туда, где был вделан хитроумный круг для обмана зарвавшихся горилл.

— Скорее же, сударь. Когда бросите им банан, скажите что-нибудь душеочистительное из Священного писания... Чтобы пошло впрок.— И швырнул банан в толпу узников, пробормотав:— Не единым хлебом жив человек...— И, увлеченный зрелищем, смотрел, как узники вытягивают головы, чтобы достать плавающий перед их носом божий дар — банан. Они высовывали языки и старались подцепить плод носом, издавая при этом еле слышные звуки, но банан достался узнику с самой длинной шеей.

Высунув из воды руки, он схватил плод и стал грызть его с остервенением, поглядывая на своих братьев. А те галдели, видимо, от зависти проклиная его.

— Ну, выходите же, сударь мой!— еще раз пригласил барахтающегося Ойя-Айя начальник и выбрал крупный банан, поднял его над головой и размахнулся, чтобы бросить в ненасытную толпу.

Но вот конфуз!— круг, на который он незаметно, забывшись, стал, вдруг потерял прочность, половина его со скрипом отодвинулась, уходя в сторону, и Охо-Бохо с бананом, крепко сжатым в руке, провалился в открывшуюся дыру.

И когда увидел Ойя-Айя, как начальник, очутившись в воде, сразу же запутался в ремнях, понял, куда его так отчаянно приглашал Охо-Бохо.

А Охо-Бохо сделал попытку освободиться, но ремни крепко держали его, не давая возможности уплыть в море или схватиться опять за край баржи.

Ойя-Айя хотел было броситься к нему на помощь, но течение все держало его, да и увидел он, что Охо-Бохо надеется теперь только на своего слугу — гориллу.

Новый узник протянул в сторону гориллы руки, уже успевшие позеленеть от воды, умоляя освободить, и обезьяна, сидевшая все это время на мачте, бросилась к хозяину... Но едва коснулась лапами палубы, как тоже попала в плен — клетка, которую на случай бунта соорудил для нее Охо-Бохо, открылась и обезьяна оказалась запертой в ней.

Она попыталась отодвинуть прутья лапами, но не смогла, покорно села и с такой тоской посмотрела на своего хозяина, будто жалела его больше, чем себя.

Увидев плененную обезьяну, Охо-Бохо высунул из воды страшно сконфуженную физиономию. Но узники, кажется, уже заметили в своей толпе новое лицо. Крепко сдвинув Охо-Бохо с обеих сторон, словно он дал им нужных сил, потянули они свою тюрьму чуть быстрее.

Охо-Бохо хотел было крикнуть им, желая доказать, что он не тот, что у него другой бог, другие права, понятия чести и добра, и наконец, другой цвет кожи и овал лица, но ремень, которым он был теперь привязан к барже, стеснял ему грудь и вместо доказательств выходили одни лишь невнятные бормотания...

Единственное, что его как-то утешало во всей этой непристойной истории — это тот самый банан, который он сжимал в руке. Пожирая его мякоть, можно было хоть на время заглушить тоску и казаться в глазах остальных узников удачливым.

А что же Ойя-Айя? Он посмотрел на все это и подумал, что страшно хлопотно было бы пытаться помочь Охо-Бохо — надо отыскать его в толпе, затем отвязывать ремни... Кто знает, как отнесутся к этому пигмеи? А потом надо будет еще повозиться с клеткой, где сидел пойманный слуга... Нет, хлопотно, да и течение вряд ли выпустит теперь его.

Похрюкав в последний раз по-дельфиньи — ведь надо же было теперь не выделяться из их среды, — Ойя-Айя нырнул и исчез в глубине океана, переплыл ту черту в воде, глубже которой все исчезает навсегда во мраке и видны отблески какой-то другой, неземной жизни...

Дельфины покружились над тем местом, где навсегда исчез Ойя-Айя, затем поплыли в открытое море, чтобы поскорее забыть о нем...

ЯКИ СЕРЫЕ, РЫЖИЕ...

За скалой открылась знакомая поляна. На ледовом пространстве одиноко чернела юрта старика. Не было видно ни яков, ни Карима, одна только тревожная пустота.

«Что-то случилось,— заволновался Молла-бек, когда нашел на остром камне клочок серой шерсти.— Несомненно, что-то случилось...»

Серая шерсть зимой растет на лбу яка, а когда як трется лбом об острые камни, возбуждая себя, значит он зол — жди неприятности.

Молла-бек упал на снег — сильно заныла нога. Дальше, куда старик пойдет, должно быть еще много шерсти на камнях и выступах скал — это ориентир.

Яки зимой серые, как снег на склонах гор вокруг села, летом — рыжие, как маки после снега на поляне...

«Зря я лежу. Надо идти и идти,— стал ругать себя пастух.— Проклятая нога... И яки ушли».

Нога совсем распухла, была как деревянная. Яки будто все знали, все чувствовали. Хозяин их, когда устанет, начнет замерзать, а впереди ночь и кругом лед да снег, чувствовали это животные и будто стремились поделиться со стариком своей шерстью. Чтобы пастух мог засунуть ее себе под тулуп и в валенки, положить шерсть под голову, а если хватит, то постелить и на лед, чтобы тепло было спать.

«Нет, вас что-то рассердило, я это вижу. Вон как лбами терлись о камни, столько зла накопили, что хватило бы скалу разворотить».

И раньше так случалось, что стадо уходило от пастуха. В прошлый раз, например, яков увели за собой шакалы. Каждую ночь приходили на поляну и выли, сидя на валунах вокруг юрты. Старик знал, что шакалы не страшны, просто вой их неприятен, как плач голодных детей. Их можно терпеть ночь, от силы — две. Молла-бек терпел, а потом вышел с ружьем и стал палить в воздух.

Шакалы исчезли, но только на эту ночь. Назавтра все началось с новой силой. И яки, видимо чувствуя, что старик не в состоянии справиться с ними, пришли в ярость. И ночью, проснувшись, погнались за шакалами, гнали их до самого рассвета к ущелью, ловко перепрыгивая через расщелины, через валуны, на ледовых площадках садились на задние ноги, и их несло по льду, километров за десять унесло...

Старик догнал их только к утру на совершенно незнакомой поляне, и яки ни за что не хотели возвращаться на старое место — будто дорожили той землей, которую отвоевали у шакалов; пастуху пришлось перетаскивать сюда юрту со всем хозяйством.

Что же все-таки увело яков на этот раз? Волки отпадают, шакалы тоже. Снежный барс? Но барс в одиночку не страшен якам. А двух или трех барсов старик встречал очень редко.

Люди увели? Но разбойники в горах давно исчезли. Были еще лет сорок назад всякие бродяги, которые угоняли яков. Но даже если появились бы бродяги, целое стадо им все равно не угнать — негде спрятать, вертолет их сразу обнаружит.

Вертолет — это на крайний случай. Если старик не найдет стадо к завтрашнему утру, нужно будет спуститься вниз и попросить, чтобы подняли в воздух машину... Спуститься... С раненой ногой не спустишься, замерзнешь на тропинке.

Ладно, нечего об этом думать. Надо самому искать. Самому выпутываться из этой истории.

— Карим! — закричал пастух, подходя к юрте.

Затем махнул рукой в отчаянии и пошел вверх по тропинке...

«Может, Карим чем-то рассердил яков, — думал старик, разгребая свежий снег и ища под ним на льду следы животных. — Нет, мальчик он кроткий, да яки и не злятся на него. Человек якам не враг, животные это чувствуют...»

Ведь кто в пургу загоняет яков за валуны, в пещеры? Кто лечит им раны маковыми зернами? Кто якам висячие мосты строит через пропасти? Пастух.

Яков мало, намного меньше, чем людей, вот человек и оберегает их от всякой напасти.

«Что они без нас? Вот и следы слишком глубокие отпечатали на льду, чтобы снегом не занесло. Чтобы мог я быстрее найти их убежище...»

Постой, постой, может, он нарочно ранил меня, толкнул сзади валун, и я упал, подвернув ногу. Хотел силой заставить подписать эту бумажку. Ай, шайтан...» — застонал пастух.

От тоски Молла-бек снова сел на снег и стал засовывать в валенок шерсть, чтобы больной ноге было теплее.

«Поздно же я догадался, дурная голова...»

Старик шел и вспоминал все, как было. Хотел забыть эту историю, но не мог. Может, если б не ушло стадо, он бы успокоился, Карим бы ему ногу вылечил маковыми зернами.

...В день первого снега прилетел он на вертолете и стал осматривать стадо. Потом сел на валун, вытер пот с лица и сказал:

— Слушай, Молла-бек, тут два яка больны. Могут они все стадо попортить. Увезу-ка я их лечить в село.

— Какные? — удивился старик. Знал он, что все яки здоровы, а если какой и заболел, то всегда сам лечил их прямо здесь, на пастбище.

— Вон, два крайних. Я им уже ноги обвязал, чтобы энергию не тратили.

Подошел старик к тем якам, осмотрел со всех сторон — яки в неволе вздыхают, бьются мордами о камни. Затем в глаза заглянул, глаза отчаянные, здоровые.

— Не ошиблись ли вы, домла-зоотехник?

— Не ошибся! Ты на язык их посмотри. Печень у них простужена.

Молла-бек открыл якам пасти — языки действительно белые, обложенные, но под языками комочки орлиного помета.

— Это они пометом объелись, домла, — не успел старик сказать это, как вскрикнул от боли — один из яков в грусти укусил пастуха за палец.

— Ах, чтоб шайтан вас!..

— Ты со мной не спорь, отец, — рассердился зоотехник. — Мне за больных яков отвечать. Каждый як восемьсот рублей стоит, не шутка!

— Ну, раз вы так считаете... — говорил старик, а сам думал: пусть яки там, внизу, на хорошем корме немного сил наберутся, впереди зима длинная.

Зоотехник отдохнул немного, затем развязал якам ноги и погнал их по тропинке вниз.

— Может, вам, домла, в помощники мальчика дать? — крикнул ему вслед старик.

— Спасибо, сам управлюсь.

— Ну, с богом! — напутствовал его старик перед трудной дорогой.

После шума вертолета яки становятся очень суетливыми. Целыми днями топали они ногами, высекая искры из камней, и почти ничем не питались.

Стали старик с мальчиком якам под ноги соль бросать, чтобы животные лизали ее и успокаивались. Каменная соль тревогу снимает. Хорошо действует на нервы яков орлиный помет, но его надо долго собирать в пещерах.

...Молла-бек остановился, заметив на камне еще клочок шерсти. Значит, правильно идет, по следам. Шерсть он засунул себе в рукавицы и тихо, морщась от боли, пошел дальше.

...Так прожили они с Каримом неделю-другую. И яки совсем было уже успокоились и стали прибавлять в весе. Но тут опять на тропинке появился зоотехник.

Был он какой-то нервный, суетливый, как напуганный як.

— Рад вас видеть, домла. — Молла-бек провел руками по щеке и погладил бороду — таким жестом встречаются в горах каждого, кто проделал длинный, благополучный путь наверх.

— И я рад тебя видеть, отец, — ответил устало зоотехник.

Они оба помолчали, посмотрели на яков, на мальчика, сидящего возле юрты со свирелью в руке.

— Путь долгий проделал я из-за пустяка, — сказал зоотехник. — Вертолет на ремонте. Пришел просить тебя, чтобы забрал ты яков из лечебницы. Выздоровели они. Сам я не в силах гнать их наверх. На главной дороге камнепад, может, слышал?

— Хорошо, спущусь я с вами.

Они молча пообедали вместе, затем старик приказал Кариму смотреть в оба за яками, пообещав к вечеру вернуться.

Спускались они по узкой тропинке, сначала Молла-бек шел впереди, затем пропустил зоотехника, а сам поплелся сзади, потом снова был впереди. Так менялись они местами из вежливости — закон гор: передний упадет, задний поддержит.

Вдруг сзади что-то сильно ударило старика по ноге.

— Боже! — закричал он и упал, перевернулся несколько раз и оказался в яме. Мимо Молла-бека прокатился и рухнул в пропасть валун.

— Проклятый камень сорвался,— огорчился зоотехник, помогая старику встать. Но стоять Молла-бек не мог, тут же упал, ноги не держали.

— Я понесу тебя на руках,— сказал зоотехник.— Село уже близко, увидим его за скалой.

— Нет, что ты, сынок, я полежу немного, отдышусь и пойду.

Зоотехник осмотрел его ногу — лодыжка опухла, ушиб был серьезный.

— В прошлом году точно такой же валун сорвался на меня,— сказал зоотехник.— Только тогда было лето. А сейчас не мудрено и замерзнуть. Пойду-ка поищу поляну и наберу там шерсти, чтобы теплее было лежать.

Зоотехника долго не было, и старик стал уже беспокоиться. «Впрочем,— успокаивал он себя,— домла хорошо знает горы».

Вернулся зоотехник лишь к вечеру, без шерсти, удрученный.

— Я думал, что тебя шакалы съели,— мрачно пошутил он.

Да, шакалы. Как старик о них сразу не подумал? Ведь не так давно они растерзали одинокого раненого пастуха в пещере.

Стало страшно. Хоть и прожил Молла-бек целую жизнь и подготовил себя к мысли об уходе из этого мира, все равно лицом к лицу с опасностью струсил.

— Ну, как нога?

Старик попытался шевельнуть ею, но только вскрикнул.

— Плохо,— сказал зоотехник.— А знаешь, отец,— неожиданно признался он,— ведь где-то здесь недалеко погибли те два твоих яка. Я ходил проверять их трупы, но ничего не нашел, кроме помета шакалов.

— Как погибли?

— Пока гнал я их вниз в тот день, околели. Слишком больны были, не дотянули... А пришел я к тебя вот зачем: тут есть одна бумажка, ты подпиши ее, чтобы мне оправдаться. Пишу я, что мы вдвоем с тобой гнали яков вниз, что ты свидетель их смерти.— Зоотехник вынул эту бумажку.— От тебя ничего не требуется. И никто ничего не узнает.

Молла-бека бросило в жар от его слов.

«Я ведь тебя любил, домла, а ты мне в душу плюнул. Значит, не все в горах братья, есть и такие, кто

идет сзади по тропинке и замышляет зло...» От этих мыслей старик невольно застонал.

— Жить мне мало осталось, домла,— прошептал Молла-бек.— Не хочу прибавлять себе грехов.

— Да каких грехов?!— засмеялся зоотехник.— Здесь в горах никто ни о чем не узнает. Мы одни, свидетелей нет.

«Совість моя — свидетель,— подумал старик,— от нее никуда не спрячешься».

— Нет, нет, лучше уходи. Оставь меня.

Зоотехник бросил на Молла-бека презрительный взгляд и пошел вниз, оставив его одного.

Старику стало легче, он закрыл глаза, довольный собой. Но не прошло и минуты, как зоотехник снова наклонился над стариком.

— Послушай, старик, неужели ты хочешь, чтобы я пропал из-за двух несчастных яков.

— Уйди, ради бога,— прошептал Молла-бек с мольбой.— Ничего я не подпишу. Яки были здоровы... Совість меня замучает и на этом и на том свете, оставь меня.

— Хорошо, ты умрешь. И никто не соберет твои кости. Прощай!

Как только зоотехник исчез за скалой, старика снова охватил страх. Скоро ночь, и должны прийти шакалы, они, видно, уже прячутся за валунами, ждут.

Глупая смерть. Молла-бек всегда думал, что умрет спокойно, среди яков. Два яка лягут, и пастух сядет между ними, зароется в их шерсть, и яки долго будут согревать его тело. А потом душа улетит на вершину горы, и какая-нибудь скала обвалится и нарисует нечто, очень похожее на Молла-бека: ведь пастухи не умирают, скалы вокруг очень похожи на ушедших, они стоят, как люди, которые жили среди яков.

«Нет, я не умру! Надо выйти скорее из этой ямы и ползти, не думать ни о чем, ползти к стаду, яки меня вылечат»,— решил старик.

Но уже стемнело, можно сбиться с пути. Здесь, где горы невысокие, тропинок много и в темноте можно уйти по чужой.

Вдруг Молла-бек сполз в высохший ручей и нащупал стенку, сложенную в свое время пастухами, чтобы перегородить воду. Вот здесь, на этой стене, и решил Молла-бек провести ночь. А завтра, с новыми силами, продолжит он путь к стаду.

Уже не помнит Молла-бек, как взобрался он на стену, помнит только запах крови на израненных руках.

Кровь быстро позвала к старику шакалов. Сначала вдалеке они выли, потом, набравшись злости, молча подступили со всех сторон к стене, лязгали зубами и грызли лед.

Потеряй старик волю, он тут же упал бы без сознания. От страха. От боли и усталости. От шакалов, он знал, спасенья не будет. Нет у Молла-бека ни огня, ни ножа, ни веревки — все это так опрометчиво оставил он в юрте.

Что же делать? Бросать в шакалов камни — не поможет. Эх, если бы увидели старика его яки! Они бы вмиг прогнали этих проклятых шакалов. Его серые, рыжие яки...

Но вот уже вожак полез на стену, и старик отчетливо увидел его грустные глаза — говорят, шакалы жалеют свою жертву. Вот уже его передние лапы, совсем немощные, тонкие, не такие, как у яков.

— Вон от меня! Вон!!!—вдруг встал Молла-бек, затрясся весь и закричал: — Проклятые мошенники! Думаете, что я мертв? Шайтан вас побери!

Кричал он во всю глотку, но не от страха, а от злости, от решимости во что бы то ни стало победить. Что-то в нем пробудилось, что всю жизнь спало, что набирало сил тихо, исподволь.

Вожак спрыгнул вниз, стая в страхе заметалась вокруг стены, и шакалы бросились наутек.

А Молла-бек еще смеялся им вслед, кусал в ярости губы и бороду...

Пастух устало опустил на покрытый льдом валун. От воспоминаний у него лихорадочно дрожало тело. Но, может, это не от воспоминаний? Может, нога стала гноиться?

Что бы там ни было, надо продолжить путь. Уже недолго. Яки всегда уходят самое большее за десять километров. Уже пройдено больше половины пути. И в этом месте следы на льду неглубокие — видно, яки успокоились и дальше теперь не бежали, а брели медленно.

Теперь Молла-бек знает, как спастись от шакалов. Надо подпустить их к себе совсем близко, потом хорошенько отругать их. Крик отчаявшегося человека действует на волков, на диких собак и даже, наверное, на снежного человека.

Старик еще долго будет помнить эту ночь у стены — шакалы выли где-то далеко и подошли к Молла-беку не решались. Если бы даже и подошли, старик придумал бы что-нибудь новое, чтобы прогнать их — криком вторично их не возьмешь.

Только одного не помнит старик — было это во сне или наяву — отчетливо видел он, как под утро над его головой пролетали птицы. Черные большие птицы, не ормы. Странные птицы, не здешние... Нет, наверное, это был сон. Равнинные птицы не могут так высоко подняться в горы...

...Молла-бек медленно, цепляясь за скалу, прошел узкую тропинку и замер от удивления: на большой ледовой поляне мирно паслось его стадо.

Сбившись в кучу, видно, привыкая к новому месту, яки ломали копытами лед и щипали сухую прошлогоднюю траву — мох и лишайник.

«Здесь скудная пища», — смекнул сразу старик. И стоял и смотрел, как, ухватившись за горб старого яка, ездил взад-вперед его помощник Карим.

Вдруг один из яков увидел Молла-бека. Тихо замычал. И яки медленно побрели навстречу старому пастуху.

Яки терлись головами о его тело, как бы делясь своим теплом, лизали старику руки и удивленно смотрели ему в глаза, будто спрашивая, что с ним.

Карим подъехал к старику и виновато проговорил:

— Все это из-за птиц, отец. Под утро птицы пролетали над поляной, вот они и сорвались с места. Я совсем из сил выбился...

— Черные птицы? — спросил пастух.

— Черные... Бежали, пока не нашли эту поляну. А где два яка? Вы ранены, отец?

— Ничего... Только корма здесь мало... Что ж, сами виноваты. Подумать только — птицы понравились! Ладно, за юртой пойдем завтра, а пока заночуем с яками.

Яки послушно опустились на лед, образуя стену, чтобы защитить пастухов от холода, и Молла-бек и Карим легли между их теплыми телами.

Мальчик долго не спал, ворочался, потом сказал в раздумье:

— Видно, в Индию полетели. Там тепло...

СОДЕРЖАНИЕ

Страсти бухарского дома. <i>Роман-жизнеописание</i>	
Книга первая. Хор мальчиков	5
Книга вторая. Числа и ступени	111
Книга третья. Семь удовольствий и сорок печалей	241
Морские кочевники. <i>Повесть</i>	493
Яки серые, рыжие... <i>Рассказ</i>	536

ТИМУР ИСХАКОВИЧ ПУЛАТОВ

СТРАСТИ БУХАРСКОГО ДОМА

Роман-жизнеописание

Переиздание

МОРСКИЕ КОЧЕВНИКИ

Повесть

ЯКИ СЕРЫЕ, РЫЖИЕ...

Рассказ

Рецензенты — О. Сидельников, Н. Стрижков

Редактор В. Кива

Художник Г. Кадыров

Художественный редактор А. Кива

Технический редактор Э. Саидпа

Корректоры Л. Лебедева, Э. Джамбарходжаева

ИБ № 3700

Сдано в набор 12.08.86. Подписано в печать 10.02.87. Р 02501. Формат 84×108^{1/32}. Бумага № 1. Высокая печать. Литературная гарнитура. Усл. печ. л. 28,56. Усл. кр.-оттисков 28,56. Уч.-изд. л. 30,34. Тираж 60000. Заказ № 1937/1040. Цена 2 р. 20 к. Договор № 53—86.

Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма. 700129. Ташкент ул. Навои. 30.

Набрано и отмастрировано на ГП ТПО «Матбуот» Государственного комитета УзССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. Отпечатано в типографии № 1. Ташкент, ул. Хамзы, 21.

